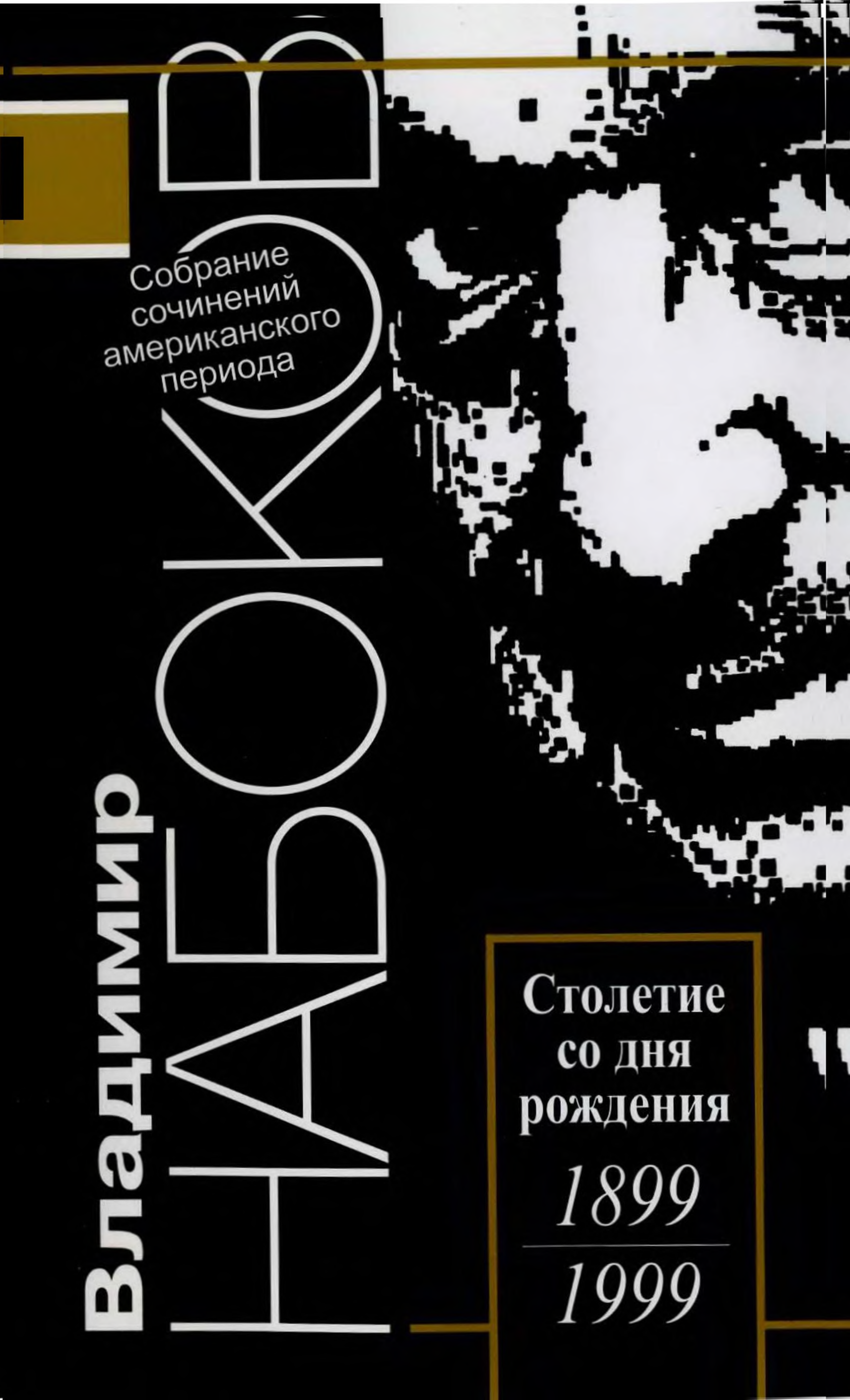
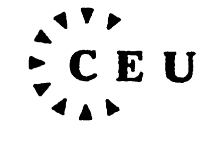

Владимир
НАБОКОВ
Собрание сочинений американского периода
Столетие со дня рождения
1899
1999



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИМПОЗИУМ»

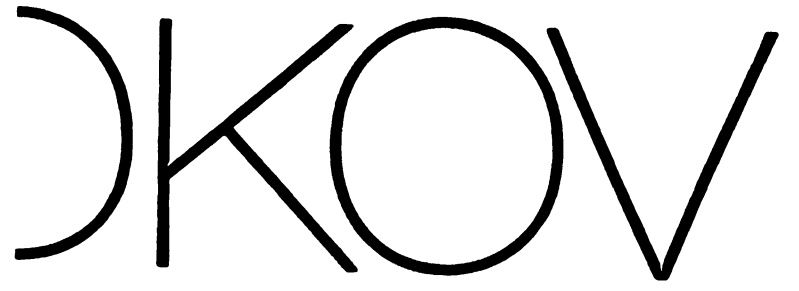
Vladimir
NABO

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ АМЕРИКАНСКОГО ПЕРИОДА В ПЯТИ ТОМАХ

Столетие со дня рождения

1899

1999



В Л А Д И М И Р
Н А Б О К О В

Прозрачные вещи

Смотри на арлекинов!

Память, говори

Санкт-Петербург
«Симпозиум»
2004

ББК 84.7США
Н14

Составление
С. Б. Ильина и А. К. Кононова

Комментарии
С. Б. Ильина и А. М. Люксембурга

Художник
М. Г. Занько

Издание осуществлено в рамках программы «Современная зарубежная художественная литература» Института «Открытое общество. Фонд Содействия» (OSIAF — Moscow) при поддержке Центра по развитию издательской деятельности (OSI — Budapest).

ISBN 5-89091-014-0
ISBN 5-89091-048-5 (Т.5)

От составителей

Два последних романа Набокова — "Прозрачные вещи" (1972) и "Смотри на арлекинов!" (1974), вместе с окончательным вариантом автобиографии — "Память, говори" (1967) образующие этот том, завершают собрание его сочинений «американского периода», или, более точно, собрание его англоязычной художественной прозы. Более или менее достоверно известно, что в архиве писателя сохранилась рукопись следующего романа — "Подлинник Лауры" и, возможно, наброски второй книги мемуаров "Говори дальше, память", завершить которые Набокову не было суждено — великий (уже без оговорок) русско-американский писатель скончался 2 июля 1977 года, в литературно нейтральной Швейцарии, ставшей ему пристанищем на последние пятнадцать лет жизни.

Три эти произведения объединяет одна тема, или нота, прозвучавшая еще в "Машеньке" и то слабевшая, то вновь набиравшая силу на протяжении всего его творчества — тема памяти, стараний восстановить минувшее во всей чувственной прелести его деталей. "Теряя память, теряешь бессмертие", сказал однажды юный Ван Вин. Набоков трижды переписывал свои воспоминания, посвященные, хоть они и охватывают первые сорок лет его жизни, большей частью детству и юности, не оттого, что ему нечем было заняться, но пытаясь добиться все большей точности воссоздания прошлого на двух родных ему языках. (Мы публикуем здесь последнюю версию, хорошо если наполовину узнаваемую читателем предпоследней (1954) — "Других берегов"). Однако, прошлое невозвратимо, и попытки вернуть его приводят в "Прозрачных вещах" к неуправляемому разрастанию, к мутации пустяковой подробности, которая убивает героя романа. Окончательная точность недостижима, и, может быть, единственный путь к ней лежит через ее негатив — окончательную неточность, блистательно воссозданную в "Арлекинах", в воспоминаниях, ни единому слову которых верить нельзя. Являются ли они "итогом размышлений автора о жизни" или он в который раз играет с читателем злую (или добрую — зависит от читателя) шутку, каждый определит для себя сам.

VLADIMIR NABOKOV

TRANSPARENT THINGS

...pany
San Francisco • Toronto

VLADIMIR NABOKOV

TRANSPARENT THINGS

A Novel by the Author of LOLITA and ADA

Прозрачные вещи

Перевод Сергея Ильина

РОМАН

1972

Bepe

1

А, вот и нужный мне персонаж. Привет, персонаж! Не слышит.

Возможно, если бы будущее существовало, конкретно и индивидуально, как нечто, различимое разумом посильней моего, прошлое не было бы столь соблазнительным: его притязания уравновешивались бы притязаниями будущего. Тогда бы любой персонаж мог уверенно утвердиться в середине качающейся доски и разглядывать тот или этот предмет. Пожалуй, было бы весело.

Но будущее лишено подобной реальности (какой обладает изображаемое прошлое или отображаемое настоящее); будущее — это всего лишь фигура речи, призрак мышления.

Привет, персонаж! Что такое? Не надо меня оттаскивать. Не собираюсь я к нему приставать. Ну ладно, ладно. Привет, персонаж... (в последний раз, шепотком).

Когда *мы* сосредотачиваем внимание на материальном объекте, как бы ни был он расположен, самый акт сосредоточения способен помимо нашей воли окунуть нас в его историю. Новичкам следует научиться скользить над материей, если они желают, чтобы материя оставалась во всякое время точно такой, какой была. Прозрачные вещи, сквозь которые светится прошлое!

Особенно трудно удерживать в фокусе поверхность вещей — рукодельных или природных, — по сути своей недвижных, но изрядно помыканных ветреной жизнью (вам приходит на ум, и правильно делает, камень на косогоре, над которым за неисчислимые годы просновало многое множество разных зверюшек): новички, весело напевая,

валятся сквозь поверхность и, глядишь, уже с детской отрешенностью смакуют кто историю этого камня, а кто — вон той вересковой пустоши. Поясняю. Тонкий защитный слой промежуточной реальности раскинут поверх искусственной и естественной материи, и если вам угодно остаться в настоящем, при настоящем, на настоящем, — то уж постарайтесь не прорывать этой напряженной плевы. Иначе неопытный чародей может вдруг обнаружить, что он уже не ступает больше по водам, а стойком утопает в окружении удивленно глазеющих рыб. Подробности следом.

2

В качестве персонажа Хью Персон (испорченное "Петерсон", кое-кем произносимое "Парсон") высвобождал свое нескладное тело из такси, которое доставило его из Трукса на этот дрянной горный курорт, и еще не подняв головы из низенького проема, предназначенного для нарождающихся гномов, поднял глаза, — не для того, чтобы поблагодарить открывшего дверцу шофера за схематически услужливый жест, но желая сравнить облик отеля "Аскот" ("Аскот"!) с восьмилетней давности — пятая часть его жизни — воспоминанием, награвированным горем. Страшноватое это строение из серого камня и бурого дерева щеголяло вишенно-красными ставнями (не сплошь затворенными), которые он по какому-то мнемооптическому капризу запомнил яблочно-зелеными. По сторонам ступеней стояли на двух железных столбах каретные фонари с электрическими лампочками внутри. Лакей в фартуке дробно сбежал по этим ступеням, чтобы принять два чемодана и (под мышку) обувную коробку, проворно извлекаемые водителем из зияющего багажника. Персон расплачивается с проворным водителем.

Неузнаваемый вестибюль был, без сомнения, так же убог, как и всегда.

Записывая у консьержкиной стойки имя и отдавая паспорт, Персон спрашивал по-французски, английски, немецки и сызнова по-английски, здесь ли еще старый Кро-

ниг, распорядитель, чью толстую физиономию и поддельную жовиальность он помнил так ясно.

Консьержка (белокурый шиньон, милая шея) ответила: нет, мсье Крониг оставил их, чтобы занять, представьте себе, пост управляющего отелем "Воображение" в Буре (или так оно прозвучало). В виде иллюстрации или же довода возникла травянисто-зеленая, небесно-голубая открытка с раскорячившимися постояльцами. Подпись на трех языках, и только в немецкой имеется идиома. Английская гласит: "Лежачий Лужок" — и словно назло, мошенница-перспектива расперла лужок до диких размеров.

— Он умер в прошлом году, — сказала девушка (en face[1] совсем не похожая на Арманду), сметая последние крохи интереса, какой представлял цветной снимок "Восхождения" в Куре.

— Значит, здесь меня вспомнить некому?

— Сожалею, — сказала она с привычной интонацией его покойной жены.

Сожалела она и о том, что, поскольку он не может сказать, какую из комнат третьего этажа он занимал, она в свой черед не может его туда поселить, да и этаж к тому же заполнен. Разминая лоб, Персон сказал, что номер комнаты был где-то в середине трехсотых, а выходила она на восток, солнце встречало его на кроватном коврике, впрочем, никакого вида из нее не открывалось. Он очень нуждался в ней, но закон требовал уничтожения записей в случае, если распорядитель, пусть даже и бывший, проделает то, что проделал Крониг (как видно, самоубийство считалось сродни подделке отчетности). Помощник девушки, представительный молодой человек в черном, с угрями на горле и подбородке, проводил Персона в комнату четвертого этажа; во весь путь он с пристальностью телеманьяка ел глазами уплывавшую вниз пустую синеватую стену, а по другую его руку не менее пристальное зеркало лифта на несколько текучих мгновений отразило господина из Массачусетса, его длинное, худое и скорбное лицо с чуть выступающей челюстью и четой симметричных складок

---

[1] С лица *(фр.)*.

у рта, которые, пожалуй, и могли бы наделить облик этого господина грубоватой суровостью, свойственной альпинистам, если бы его меланхолическая сутулость не спорила с каждым вершком воображаемого восхождения.

Окно, как и следовало, выходило на восток, но из него-то определенно открывался вид: гигантский кратер, полный землеройных машин (промолчавших субботний вечер и все воскресенье).

Слуга в яблочно-зеленом фартуке внес два чемодана и картонную коробку, надписанную по обертке "Подошли", после этого Персон остался один. Он ждал, что отель окажется устарелым, но этот явно переборщил. Belle chambre au quatriéme[1], хоть и великоватая для одного постояльца (но для нескольких тесная), была решительно неуютна. Номер внизу, в котором он, крупный тридцатидвухлетний мужчина, плакал чаще и горше, чем за все его грустное детство, помнится, тоже был неказист, но хотя бы не так бестолково обставлен, как этот его новый приют. Совершенно кошмарная кровать. "Ванная" с биде (достаточно обширным, чтобы принять присевшего циркового слона), но без ванны. Крышка унитаза отказывалась стоять. Норовистый кран резко прыснул ржавой водицей, потом из него потекла обычная вялая струйка, — которую ты ценил недостаточно, которая есть текучее таинство и заслуживает, да-да, воздвижения в ее честь монументов — храмов, полных прохлады! Покинув убогую уборную, Персон плотно прикрыл за собою дверь, но та, словно глупый щенок, скульнула и увязалась за ним в комнату. Давайте теперь проиллюстрируем наши трудности.

3

Озираясь в поисках комода, в который он мог бы сложить свои вещи, Хью Персон, человек аккуратный, заметил, что средний ящик пожилого стола, сосланного в тем-

---

[1] Милая комната на четвертом этаже *(фр.)*.

ный угол комнаты и обратившегося в подставку для похожей на остов сломанного зонта лампы, лишенной и лампочки, и абажура, не был толком задвинут постояльцем либо слугой (на самом деле — ни тем ни другим), — словом, последним, кто полюбопытствовал (никто), так ли он пуст. Мой добрый Хью попытался, расшатав, впихнуть его внутрь; на-первях ящик не подавался, но затем — в ответ на случайный рывок (невольно усиленный накопленной мощью многих толчков) — выскочил и обронил карандаш. Прежде чем сунуть его назад, Хью скользнул по нему глазами.

То был не восьмиугольный красавец из виргинского можжевельника или африканского кедра с оттиснутым серебряной амальгамой именем производителя, а простенький, круглый, совершенно безликий старый карандашик из дешевой сосны, выкрашенной в серовато-сиреневый цвет. Лет десять назад его потерял здесь плотник, который, не закончив осмотра, не говорю уж — починки, старенького стола, отправился за инструментом, найти который так и не смог. Ну вот, мы и добрались до акта сосредоточения.

У плотника в мастерской, а задолго до нее в деревенской школе карандаш сносился до двух третей первоначальной длины. Оголенная древесина на коническом кончике потемнела, приобрела свинцово-сливовый оттенок, слившись с тупым мыском графита, чей слеповатый лоск один только и отличал его от дерева. Нож и медное точило основательно потрудились над ним; будь в том нужда, мы могли бы проследить путаную участь очисток, в пору свежести лиловых с одной стороны и смугловатых с другой, но теперь ссохшихся в крошево праха, которого широкое — широчайшее — рассредоточение жутью сжимает горло, впрочем, этим следует пренебречь, — привыкаешь, и довольно быстро (выпадают ужасы и похуже). В целом строгать его было одно удовольствие — стародавней выделки вещь. Отступив на множество лет (впрочем, не к году рожденья Шекспира, в котором и был открыт карандашный графит), а затем возвращаясь в "настоящее" и попутно собирая заново историю этой вещицы, мы видим девочек

и стариков, перемешивающих с мокрой глиной графит, очень тонко помолотый. Эту массу, эту давленую икру, помещают вовнутрь металлического цилиндра, снабженного синим глазком — сапфиром с просверленной дыркой, сквозь которую икру и продавливают. Она выползает одним неразрывным и аппетитным шнурком (следите за нашим маленьким другом!), вид у него такой, словно он сохранил форму пищеварительного тракта дождевого червя (но следите, следите, не отвлекайтесь!). Теперь его режут на прутики нужной длины — нужной как раз для этих карандашей (мы замечаем резчика, старого Илию Борроудэйла, боковым зрением мы чуть не вцепились в его рукав, но осеклись, осеклись и отпрянули, торопясь различить интересующий нас кусочек). Видите, его пропекают, варят в жиру (на этом вот снимке как раз режут шерстистого жироноса, а вот мясник, здесь пастух, здесь отец пастуха, мексиканец) и вставляют в деревянную оболочку.

Теперь, пока мы возимся с древесиной, важно не упустить из виду наш драгоценный кусочек графита. Вот оно, кстати, и дерево! Самая та сосна! Ее валят. В дело идет только ствол, кора обдирается. Мы слышим визг недавно изобретенной мотопилы, видим, как сушат бревна, как их распиливают на доски. Перед нами доска, которая даст оболочку карандашу, найденному в пустом мелковатом ящике (по-прежнему не закрытом). Мы распознаем ее присутствие в бревне, как распознали бревно в дереве, и дерево в лесу, и лес в мире, который построил Джек. Мы распознаем это присутствие посредством чего-то для нас совершенно ясного, но безымянного — и описать его невозможно, как не опишешь улыбку человеку, отродясь не видавшему смеющихся глаз.

Так перед нами в мгновение ока раскрылась целая маленькая драма — от кристаллического углерода и срубленной сосны до этого скромного приспособления, этой прозрачной вещицы. Жаль только, сам карандаш, в его вещественности, недолго помешкавший в пальцах Хью Персона, все еще как-то ускользает от нас! Зато уж Хью-то не ускользнет, будьте уверены.

4

Это его четвертый приезд в Швейцарию. Первый состоялся восемнадцать лет назад, в тот раз он провел несколько дней в Труксе, с отцом. Десять лет спустя, тридцатидвухлетним мужчиной, он вновь посетил этот старый город у озера и, отправившись повидать их гостиницу, благополучно изведал сентиментальную дрожь — полуизумление, полураскаяние. Муравчатый косогор и старая лестница вели к отелю от озера и от безликой станции, где он сошел с местного поезда. Он помнил названье отеля, "Локье", потому что оно походило на девичью фамилию матери, канадской француженки, которую Персону-старшему довелось пережить меньше чем на год. Он помнил и то, как утл и тускл был этот отель, стоявший униженно рядом с другим, много лучшим, сквозь нижние окна которого различались призраки бледных столов и подводные половые. Теперь обоих уж нет, и на месте их воздвигся "Банк Бле", стальное строение, — полированные плоскости, сплошные стекла и растения в кадках.

Он спал в несмелом подобье алькова, отделенном аркой и одежной стойкой от отцовской кровати. Всякая ночь — великанша, но та оказалась в особенности страшна. Дома у Хью была собственная комната, и эта общая могила сна вызывала в нем ненависть, он лишь угрюмо надеялся, что обещание раздельных спален будет сдержано на следующих стоянках их путешествия по Швейцарии, мреющем впереди сквозь разноцветную дымку. Отец, шестидесятилетний, коротковатый и грузный в сравнении с Хью, за недолгое время вдовства неаппетитно состарился; характерный, предвещающий скорое будущее запашок, еле слышный, но безошибочный, исходил от его вещей; во сне он вздыхал и покряхтывал, ему снились громоздкие глыбы мглы, которые приходилось разбирать и отваливать с дороги или карабкаться по ним, поднимаясь на выматывающие выси немощи и отчаяния. Мы не сумели сыскать в истории европейских турне, прописанных семейными докторами отставным старикам в качестве средства для утоления одинокого горя, ни единой поездки, достигшей названной цели.

Руки у Персона-старшего и всегда-то были неловкие, но в последнее время его копошенье в вещах, плавающих в купальне пространства, попытки на ощупь поймать прозрачное мыло уклончивого вещества, пустые потуги связать или развязать те части рукодельных предметов, которые следует застегивать либо расстегивать, становились определенно комичными. Хью отчасти унаследовал отцовскую косность и это ее преувеличение раздражало его как повторенье пародии. Последним своим утром в так называемой Швейцарии (то есть перед самым событием, вследствие коего все для него станет "так называемым") старый неумеха, желая узнать погоду, потягался с венецианскими жалюзи, едва успел углядеть мокрую мостовую, — жалюзи низвергнулись тресклИВОЙ лавиной, — и решил прихватить зонт. Зонт оказался неправильно сложен, и он принялся приводить его в порядок. Сначала Хью наблюдал за ним с безмолвной брезгливостью, ноздри его раздувались и дергались. Презрение было ничуть не заслуженным, ибо существует масса вещей — от живых клеток до мертвых светил, — переживающих от поры до поры мелкие неприятности в не всегда умелых или осторожных руках безымянных формовщиков. Черные клинья зонта неопрятно вывертывались наизнанку, приходилось их укладывать заново, и ко времени, когда наконец можно было пустить в ход тесемочную петельку (крохотное, едва осязаемое колечко между пальцами, указательным и большим), пуговка ее затерялась в складках и рытвинах пространства. Понаблюдав немного за этой бездарной возней, Хью так резко выдрал зонт из отцовских рук, что старик несколько мгновений еще месил воздух руками, прежде чем ответить на внезапную грубость извиняющейся мягкой улыбкой. Так ни слова и не сказав, Хью свирепо сложил и застегнул зонт, — который, правду сказать, приобрел форму, едва ли лучшую под конец сообщенной отцом.

Чем они собирались занять этот день? Они собирались позавтракать (там, где вчера отобедали), а после пройтись по магазинам и осмотреть достопримечательности. На двери коридорной уборной было красочно намалевано местное чудо природы, водопад Тара, его же воспроизводила

огромная фотография на стене вестибюля. Доктор Персон приостановился у стойки портье, чтобы с всегдашней хлопотливостью выяснить, нет ли ему почты (не то чтобы он ее ждал). После недолгих поисков нашлась телеграмма для миссис Парсон, но ничего для него (кроме глухого удара неполного совпадения). Под руку ему подвернулась валявшаяся на стойке свернутая мерная лента, он попытался обернуть ею свою толстоватую талию, раз за разом теряя конец и тем временем объясняя хмурому портье, что намеревается купить в городе летние брюки и желал бы подойти к этому делу со всевозможной ясностью. Хью вся эта чушь допекла окончательно, и он двинулся к выходу, не дожидаясь, когда опять скрутится серая лента.

5

После завтрака они подыскали подходящий на вид магазин. Confections. Notre vente triomphale de soldes[1]. Наш паданец продается триумфально, перевел отец, и Хью поправил его с утомленным презрением. Снаружи витрины стояла на железной треноге корзина со сложенными сорочками, не защищенная от пошедшего гуще дождя. Перекатился гром. Давай заскочим сюда, нервно сказал доктор Персон, чей страх перед грозами являлся для сына еще одним источником раздражения.

В то утро Ирме, измаянной и озабоченной продавщице, пришлось в одиночку управляться в плохоньком одежном магазинчике, куда Хью неохотно последовал за отцом. Двух ее сослуживцев, супружескую чету, только что уложили в больницу — после пожара в их квартирке, — хозяин укатил по делам, а людей валило в лавочку больше, чем обычно валит по четвергам. Сейчас она помогала тройке старушек (с лондонского автобуса) выбрать наряд, попутно объясняя еще одному персонажу, белокурой немке в черном, где делают снимки для паспорта. Каждая старушка по очереди

---

[1] Готовое платье. Наша триумфальная распродажа уцененных товаров *(фр.)*.

расстилала у себя на груди одно и то же цветистое платье, а доктор Персон старательно переводил их кудахтанье с кокни на убогий французский. Девушка в трауре вернулась за оставленным свертком. Старушки стелили все новые платья, скашиваясь на новые бирки с ценой. Еще вошел покупатель и с ним две девчушки. Доктор Персон успел вставить слово, попросив пару летних штанов. Ему вручили несколько пар для примерки в соседней комнатке; Хью выскользнул из магазина.

Он брел без цели, держась под прикрытием разных архитектурных выступов, ибо ежедневная газета этого дождливого городка попусту призывала построить в торговой части аркады. Хью осмотрел вещицы в витрине сувенирного магазина. Зеленая фигурка лыжницы показалась ему довольно соблазнительной, хоть он не сумел определить сквозь стекло, из чего она сделана (из “алебастрита”, то есть поддельного арагонита, а вырезал ее и раскрасил сидевший в грумбельской тюрьме Армандо Рэйв, педераст, придушивший склонную к кровосмесительству сестру своего дружка). Неплох и тот гребешок в кармашке из настоящей кожи — неплох-то неплох, да только мигом замызгается и придется потом часами выковыривать всякую забившуюся между тесных зубьев дрянь с помощью одного из маленьких лезвий вот этого ножичка, ощетинившего в витрине высокомерные внутренности. Симпатичные наручные часики с украшавшим их личико изображением песика — всего за двадцать два франка. Или, может, купить (для соседа по комнате в колледже) то деревянное блюдо с белым крестом посередке в окружении всех двадцати двух кантонов? Ибо Хью, которому стукнуло двадцать два, всегда томила символика совпадений.

Резкое дин-дин-дон и мигание красного света на переезде известили о скором событии: медленно опускался неумолимый шлагбаум.

За коричневой занавеской, лишь наполовину опущенной, виднелись обтянутые чем-то черно-прозрачным элегантные ноги женщины, сидевшей внутри. Ах, как хочется нам изловить это мгновенье! Занавешенная будка на панели, внутри подобие рояльного стула для высоких и низких

и автомат, позволяющий каждому получить собственный снимок — для паспорта, из спортивного интереса. Хью оглядел ноги, а за ними и вывеску на будке. Мужское окончание и отсутствие диакритического знака подпортили ненамеренный каламбур:

3PHOTO
OSES

Пока он, все еще девственник, воображал эти рискованные позы, произошло двойное событие: промахнул, громыхая, безостановочный поезд, и в кабинке сверкнула молния магния. Вышла, закрывая сумочку, блондинка в черном, отнюдь не убитая электричеством. Память о каких бы похоронах ни желала она запечатлеть изображением своей светлой красы, затянутой по случаю в креп, они ничего не имели общего с третьим событием, одновременно случившимся по соседству.

Надо пойти за ней, вот и выйдет хороший урок, — пойти за ней вместо того, чтобы тащиться неизвестно куда глазеть на водопад: хороший урок старику. Выругавшись и вздохнув, Хью поворотил оглобли, что было когда-то меткой метафорой, и направился к магазину. Впоследствии Ирма рассказывала соседям, как она была уверена в том, что джентльмен ушел вместе с сыном, и как не сразу поняла, о чем последний толкует, несмотря на его беглый французский. Поняв же, она рассмеялась своей несообразительности, проворно свела его к примерочной и, все еще от души веселясь, откинула зеленую, не коричневую, занавеску жестом, ставшим в воспоминании драматическим. Всегда есть что-то смешное в пространственной путанице и беспорядке, и мало на свете вещей забавней, чем три пары штанов, в оцепенелом танце сплетенные на полу, — коричневые просторные панталоны, синие полотняные штаны и старые брюки из серой фланели. Неловкий Персон-старший с трудом протискивал обутую ногу сквозь зигзаг узкой штанины, когда ощутил, как кромешная краснота с ревом вливается в голову. Он умер, еще не достигнув пола, словно

падал с большой высоты, и теперь лежал на спине, вытянув руку. Шляпа и зонт, недосягаемые, стыли в высоком зеркале.

6

Названного Генри Эмери Персона, отца нашего персонажа, можно представить достойным, серьезным, симпатичным человечком, а можно — жалким прохвостом, — все зависит от угла, под которым падает свет, и от расположения наблюдателя. Как много рук заламывается во тьме раскаяния, в темнице непоправимого!

Школьник, пусть он даже силен, как бостонский душитель, — покажи-ка нам твои лапища, Хью, — конечно не в силах одолеть всех своих однокашников единовременно, когда они разом принимаются отпускать жестокие замечания в адрес его отца. После двух-трех неуклюжих драк с самыми пакостными из них он занял позицию поумнее и featureподлее — молчаливого полусогласия, которое ужасало его, когда он вспоминал то время; впрочем, изумительная изворотливость совести позволяла ему утешаться самим сознанием этого ужаса, как доказательством того, что он все-таки не законченное чудовище. Теперь еще предстояло как-то справиться со множеством воспоминаний о жестоких поступках, в коих он был повинен вплоть до самого этого дня, — избавиться от них оказалось не проще, чем от вставных челюстей и очков, бумажный пакет с которыми вручил ему муниципальный чиновник. Единственный родич, которого он сумел отыскать, скрантонский дядюшка, прислал ему из-за океана совет не тащить тело домой, а кремировать за границей; на деле же наименее рекомендованный образ действий оказался во многих смыслах наипростейшим — и главным образом потому, что позволил Хью практически сразу избавиться от страшного предмета.

Все были очень участливы. Хотелось бы в особенности поблагодарить Хэролда Холла, американского консула в Швейцарии, через посредство которого к нашему бедному другу поступала разнообразная помощь.

Двойственный трепет, испытанный юным Хью, можно подразделить на общий и частный. Первым пришло общее чувство свободы, большой ветер, восхитительный, чистый, сдувший прочь немало жизненного сора. В частности же, он с приятным удивлением обнаружил в потрепанном, но пухлом отцовском бумажнике три тысячи долларов. Подобно многим невнятно одаренным юношам, ощущающим в пачке банкнот осязаемое обилие немедленных наслаждений, он был лишен и практической сметки, и стремлений к дальнейшему обогащению, и томлений по поводу будущих средств к пропитанию (последние оказались ничтожны, ибо выяснилось, что наличность составляет больше десятой доли всего наследства). В тот же день он перебрался в Женеву, в гораздо более пристойное жилье, съел на обед homard à l'américaine[1] и вышел в проулок за отелем, чтобы найти первую в своей жизни женщину.

По оптическим и животным причинам половая любовь — вещь не настолько прозрачная, как иные, куда более сложные. Известно, впрочем, что в родном его городе Хью одновременно ухаживал за тридцативосьмилетней матерью и ее шестнадцатилетней дочкой, но проявил себя импотентом с первой, а со второй оказался недостаточно предприимчив. Здесь перед нами банальный случай затянувшегося эротического зуда, уединенных упражнений, дающих привычное успокоение, и запоминающихся снов. Девушка, к которой он подошел, была приземиста, но обладала приятным, бледным, грубым лицом с итальянистыми глазами. Она привела его к одной из лучших кроватей в уродливых старых "номерах", — а точно сказать, в тот самый "номер", где девяносто один, нет, девяносто два — почти девяносто три года назад заночевал по пути в Италию русский писатель. Застелилась, потом расстелилась, накрылась сюртуком и вновь застелилась кровать — другая, с медными шишечками; приоткрытый саквояж в зеленую клетку встал на кровати, а сюртук перебрался на плечи странника, взлохмаченного, в ночной сорочке без ворота; мы застали его в нерешительности, он размышляет, что ему вынуть

[1] Омар по-американски *(фр.)*.

из саквояжа (который уедет вперед почтовой каретой) и переложить в заплечный мешок (который он понесет на себе через горы к итальянской границе). Он ожидает, что теперь уже в любую минуту приятель его, Кандидатов, живописец, присоединится к нему для совместного путешествия, одной из беспечных прогулок, от которых романтиков не могла удержать даже мелкая августовская морось; в те неуютные времена дождило даже сильнее, сапоги его оставались еще мокры после десятимильного похода в ближнее казино. В позах изгнанников они стояли за дверью, а ноги он несколько раз обернул немецкой газетой, кстати сказать, по-немецки читал он с большею легкостью, нежели по-французски. Непонятно, главное, что ему делать с рукописями — упрятать в мешок или отправить почтою в саквояже, — тут наброски писем, недоконченный рассказ в русской тетради с матерчатой обложкой, отрывки философской статьи в синей школьной тетрадке, купленной в Женеве, и разрозненные листы рудиментарного романа, предположительно названного “Фауст в Москве”. Пока он сидит за дощатым сосновым столом, тем самым, на который Персонова девка плюхнула свою поместительную сумку, сквозь эту сумку, так сказать, проступает первая страница “Фауста” с энергическими подчистками и неопрятными чернильными вставками, фиолетовыми, черными, лягушачьи-зелеными. Созерцание собственного почерка увлекает его; для него хаос на странице — это порядок, кляксы — картины, наброски на полях — крылья. И вместо того чтобы заняться разбором бумаг, он откупоривает дорожную чернильницу и с пером в руке придвигается поближе к столу. Но в этот миг веселый грохот долетает от двери. Дверь растворяется и затворяется вновь.

Хью Персон проводил свою случайную девушку по длинной лестнице, а там и до ее излюбленного уличного угла, — тут они на долгие годы расстались. Он надеялся, что девушка продержит его до рассвета — и тем избавит от ночи в гостинице, где в каждом темном углу одиночества маячил призрак отца, — но уяснив, что он не прочь остаться, она неверно истолковала это желание и, грубо объявив, что слишком долго пришлось бы приводить в приличную

форму столь жалкого исполнителя, выставила его. Впрочем, не дух отца, а духота помешала ему уснуть. Он широко распахнул оба окна; окна выходили на автостоянку, раскинувшуюся четырьмя этажами ниже; узкого мениска над головой недоставало для освещения крыш, уходящих вниз, к незримому озеру; свет гаража выхватывал из темноты ступени безлюдной лестницы, ведущей в мешанину теней; все казалось таким подавленным и далеким, что наш акрофобический Персон почувствовал, как тяготение манит его, приглашая соединиться с ночью и с отцом. Множество раз он, голым мальчишкой, бродил во сне, но привычное окружение хранило его до поры, пока наконец не миновал этот чуждый недуг. Той ночью, на верхнем этаже чужого отеля, защитить его было нечему. Он затворил окна и до зари просидел в кресле.

7

В отрочестве, когда Хью страдал припадками сомнамбулизма, он по ночам, обнимая подушку, покидал свою комнату и плелся в нижний этаж. Он помнил, как пробуждался в самых странных местах — на ступеньках, ведущих в подвал, или в высоком гардеробе в прихожей, среди плащей и галош, и хотя мальчика не так уже и пугали эти босые блуждания, однако он, недовольный тем, что "ведет себя, как привидение", упросил, чтобы его запирали в спальне. Правда, толку из этого не вышло, потому что он все равно выбирался в окно на наклонную крышу галереи, ведущей в школьные дортуары. В первый раз его пробудил холодок черепиц под ступнями, и он возвратился в свое темное логово, огибая стулья и прочие вещи скорее на слух, чем как-то еще. Старый и глупый доктор посоветовал родителям покрыть пол у постели мокрыми полотенцами и расставить в стратегических пунктах тазы с водой, — единственный результат операции свелся к тому, что, миновав в магическом сне все препятствия, он обнаружил себя дрожащим у подножия дымохода в обществе школьной кошки. Вскоре после этой вылазки призрачные припадки стали

редеть, а к концу отрочества практически прекратились. Предпоследним их отголоском стала странная история со столиком у кровати. Хью уже учился в колледже и жил с однокашником, Джеком Муром (не родственником), в двух комнатах только что выстроенного Снайдер-Холла. Джека, утомленного целодневной зубрежкой, пробудил среди ночи треск, долетавший из спальни-гостиной. Он отправился на разведку. Спящему Хью примерещилось, будто трехногий столик, стоявший рядом с кроватью (и утянутый из-под телефона в прихожей), сам собой исполняет яростный воинственный танец, — нечто подобное он уже видел однажды на “сеансе”, когда у приблудного духа (Наполеона) спросили, не скучает ли он по весенним закатам Святой Елены. Джек Мур увидел, как Хью, перевесясь за край кушетки, обхватил столик руками и корежит безобидную вещь в смехотворных потугах прекратить ее несуществующее движение. Книги, пепельница, будильник, коробочка таблеток от кашля — все разлетелось по полу, а терзаемое дерево трещало и крякало в дурацких объятиях. Джек Мур разнял драчунов. Хью, не проснувшись, молча поворотился на бок.

8

За те десять лет, которым полагалось пройти между первым и вторым приездами Хью Персона в Швейцарию, он зарабатывал на жизнь различными скучными способами, что выпадают на долю множеству блестящих молодых людей, не наделенных ни особым даром, ни честолюбием и привычно отдающих лишь часть ума выполнению пустых, а то и шарлатанских обязанностей. Что они делают с другой, гораздо обширнейшей частью, где и как поживают подлинные их причуды и чувства, это не то чтобы тайна, — какие уж тайны теперь, — но может повлечь за собой откровения и осложнения, слишком печальные, слишком пугающие, чтобы сходиться с ними лицом к лицу. Лишь знатоки и знатокам на потребу вправе исследовать скорби сознания. Он обладал способностью перемножать в уме восьмизначные числа — и утратил ее за несколько серень-

ких, убывающих ночей в больнице, куда попал в двадцать пять лет с вирусным заражением. Он опубликовал в университетском журнале стихотворение, длинное и бессвязное, с многообещающим началом:

> Блаженны многоточия... Вот солнце
> роняет в воду райский образец...

Ему принадлежит письмо в лондонскую "Times", перепечатанное несколько лет спустя в антологии "To the Editor: Sir"[1], в нем читаем:

> "Анакреон скончался восьмидесяти пяти лет от роду, задушенный "винным скелетом" (как выразился иной иониец), а шахматисту Алехину цыганка напророчила, что его убьет в Испании мертвый бык".

Семь послеуниверситетских лет он состоял в секретарях и анонимных помощниках у знаменитого проходимца, ныне покойного символиста Атмана, и именно на нем лежит ответственность за сноски подобные этой:

> "Кромлех (ассоциируемый с млеком, молоком и молоками), очевидно, представляет собой символ Великой Матери столь же явственно, как менгир ("mein Herr"[2]) несет мужское начало".

Еще один срок он отбыл, торгуя канцелярскими принадлежностями, и пущенная им в продажу самопишущая ручка носит его имя: "Персоново Перо". Впрочем, она и осталась наивысшим его достижением. Мрачной двадцатидевятилетней персоной он поступил на службу в крупную издательскую фирму, где подвизался в разных должностях — помощника изыскателя, ловца талантов, помощника редактора, младшего редактора, корректора, улещевателя наших авторов. Угрюмый раб, он был отдан в распоряжение миссис Фланкар, пышной дамы с претензиями, краснолицей и пучеглазой на осьминожий покрой. Издательство

---

[1] К издателю: Сэр... *(англ.)*

[2] Мой господин *(нем.)*.

намеревалось опубликовать ее исполинский роман "Самец" при условии основательной правки, безжалостных сокращений и частичной переработки. Предполагалось, что переписанные куски — по нескольку страниц там и сям — перекинут мосты над черными, кровоточащими прогалами щедро отвергнутой писанины, зиявшими меж уцелевших глав. Эту работу проделала сослуживица Хью, милая девушка с "конским хвостиком", уже успевшая из фирмы уволиться. Талант романиста был ей присущ еще в меньшей мере, чем миссис Фланкар, и Хью пришлось маяться с окаянной задачей — залечиванием не только нанесенных ею ран, но и не тронутых ею бородавок. Несколько раз его приглашали к чаю в очаровательный пригородный дом миссис Фланкар, украшенный почти исключительно полотнами кисти ее покойного мужа, — ранней весной в гостиной, летом в столовой, пышной красой Новой Англии в библиотеке и зимой в спальне. В этой именно комнате Хью предпочитал не задерживаться, ибо испытывал неприятное чувство, что миссис Фланкар уповает на изнасилование под сиреневыми снежинками мистера Фланкара. Подобно многим перезрелым, но еще недурным собою артистическим дамам, она, казалось, вовсе не сознавала, что объемистый бюст, шея в морщинах и запашок затхловатой женственности, настоенной на одеколоне, способны отпугнуть нервного мужчину. Когда "наша" книга наконец вышла в свет, он облегченно всхлипнул. Благодаря коммерческому успеху "Самца" ему поручили дело поприметнее. "Мистер R.", как его называли в издательстве (обладатель длинного двухчастного немецкого имени с благородной частицей между скалой и твердыней), писал по-английски лучше, чем говорил. Соприкасаясь с бумагой, его язык обретал богатство, стать, зримый напор, побуждая кое-кого из не самых придирчивых критиков облюбованной им страны именовать его великолепным стилистом. Корреспондентом мистер R. был раздражительным, невежливым и неприятным. Его и Хью сношениям через океан, — мистер R. жил все больше во Франции и Швейцарии — недоставало сердечного пыла, озарявшего муки с миссис Фланкар; но мистер R., мастер, быть может, и не первостатейный, был хотя бы настоящим

художником, сражавшимся собственным оружием и на собственной территории за право использовать неправоверную пунктуацию, отвечающую неповторимой манере мышления. Наш покладистый Персон безболезненно запустил в производство мягкое издание одной из первых его книг, но затем началось долгое ожидание нового романа, который R. обещал представить еще до окончания этой весны. Весна миновала, не принеся плодов, — и Хью полетел в Швейцарию для персональной встречи с медлительным автором. Это была вторая из четырех его поездок в Европу.

9

С Армандой он познакомился в швейцарском железнодорожном вагоне одним ослепительным вечером между Туром и Версексом, в самый канун встречи с мистером R. Хью по ошибке сел в медленный поезд, она же выбрала его потому, что поезд вставал на маленькой станции, от которой ходил автобус до Витта, где у ее матери было шале. Оба одновременно опустились на два супротивных сидения у окна, с озерной стороны вагона. Четыре места за проходом заняла американская семья. Хью раскрыл “Journal de Genève”.

О да, она была красива и была бы красива необычайно, окажись губы ее немного полнее. Темные глаза, светлые волосы, медового тона кожа. Две серповидные морщинки спускались вдоль загорелых щек по сторонам от скорбного рта. Черный жакет поверх сборчатой блузки. На коленях, под ладонями в черных перчатках, лежала книга. Ему показалось, что он узнал пламя и копоть бумажной обложки. Механизм их знакомства был идеально банален.

Они обменялись взглядами учтивого неодобрения, когда трое американских детишек затеяли тянуть из чемодана свитера и штаны в яростных поисках чего-то, по глупости забытого (груды комиксов, уже перешедшей вместе с грязными полотенцами в распоряжение расторопной гостиничной горничной). Один из двух взрослых, встретясь с холодными глазами Арманды, ответил добродушно-беспомощным взглядом. Кондуктор пришел за билетами.

Хью, слегка наклонивши голову, уверился в своей правоте: действительно, мягкая копия "Фигур в золотом окне".

— Из наших, — сказал Хью, кивком указав на обложку.

Она взглянула на книгу, словно надеясь найти в ней какие-то объяснения сказанному. На ней была очень короткая юбка.

— Я к тому, что работаю в этом издательстве, — сказал он. — У американского издателя, который выпустил ее в твердой обложке. Вам нравится?

Она отвечала на беглом, но искусственном английском, что терпеть не может сюрреалистических романов с поэзией. Ей требовалась жесткая реалистическая литература, отражающая наше время. Ей нравились книги о насилии и о восточной мудрости. Может, дальше получшает?

— Вообще-то там есть довольно драматичная сцена на ривьерской вилле, когда девочка, дочь рассказчика...

— Джун.

— Да. Джун поджигает свой новый кукольный домик, и вилла сгорает дотла; правда, насилия, боюсь, и в ней маловато; все это скорее символично, в высоком смысле слова, и, как бы сказать, временами удивительно нежно, как пишут в обложечных рекламках или, по крайней мере, писали на нашем первом издании. Это обложка известного Пола Плама.

Разумеется, она ее докончит, как бы ни было скучно, потому что в жизни любое дело следует доводить до конца, как то шоссе над Виттом, у них в Витте дом, chalet de luxe[1], и пока не проложили новое шоссе, приходилось тащиться пешком до канатной дороги на Дракониту. "Горящее окно", кажется, так она называется, ей только вчера подарила на двадцатитрехлетие падчерица автора, которую он, может быть...

— Джулия.

Да. Джулия и она вместе преподавали зимой в тессинской школе для девочек-иностранок. Отчим Джулии только-только развелся с ее матерью, вообще он безобразно

[1] Шикарное шале *(фр.)*.

с ней обходился. Что преподавали? Ну, осанку, ритмику — в этом роде.

Теперь Хью и новая, неотразимая персона перешли на французский, на котором он говорил во всяком случае не хуже, чем она по-английски. А как ему кажется, кто она по национальности? Датчанка или голландка? Нет, семья отца происходит из Бельгии, он был архитектор, его прошлым летом убило, когда он командовал сносом знаменитого отеля на заброшенных минеральных водах, а мать родилась в России, в весьма благородном milieu[1], конечно полностью уничтоженном революцией. Нравится ему его работа? Не согласится ли он чуть-чуть приспустить эту сторку? Погребение павшего солнца. Это что, поговорка? — поинтересовалась она. Да нет, только что выдумал.

Тою же ночью в Версексе Хью писал в дневнике, который вел от случая к случаю: "Разговорился в поезде с девушкой. Восхитительные голые коричневые ноги и золотые сандалии. Безумное вожделение школьника и никогда не испытанное прежде романтическое смятение чувств. Арманда Камар. La particule aurait juré avec la dernière syllabe de mon prénom[2]. По-моему, Байрон использует chamar в значении "павлинье опахало" в весьма благородном восточном milieu. Чарующе рассудительна и притом чудесно наивна. Выстроенное отцом шале над Виттом. Если окажетесь в этих parages[3]. Пожелала узнать, нравится ли мне моя работа. Моя работа! Я отвечал: "Не спрашивай, чем я *занят*, спроси, на что я *способен*, дивная девушка, дивные солнечные поминки под полупрозрачной черной тканью. Я способен ровно за три минуты заучить наизусть целую страницу телефонной книги и не могу запомнить номер собственного телефона. Я могу сочинять стихи без конца и начала, странные и неслыханные, совсем как ты, таких еще триста лет никто сочинить не сумеет, и все же я не напечатал ни единой строки, не считая той юношеской ерунды,

---

[1] Окружении *(фр.)*.

[2] Частица не идет к последнему слогу моего имени *(фр.)*.

[3] Местах *(фр.)*.

в колледже. На кортах отцовской школы я изобрел убийственный возврат подачи — резаный льнущий драйв, — и все же теряю дыхание после первого гейма. Я могу написать акварелью и тушью непревзойденной светозарности озеро, отражающее горние выси, но не способен нарисовать ни лодки, ни моста, ни очертаний человеческой паники в пламенеющих окнах Пламовой виллы. Я преподавал в американских школах французский язык, но так и не смог избыть канадского акцента моей матери, хотя отчетливо слышу его, когда шепчу французские фразы. Ouvre ta robe, Déjanire, чтобы я мог взойти sur mon bûcher[1]. Я могу левитировать, могу провисеть в вершке над полом десять секунд, но не способен забраться на яблоню. У меня степень доктора философии, и я не знаю немецкого. Я влюбился в тебя, но ничего не стану предпринимать. Короче говоря, я — всеобъемлющий гений". По совпадению, достойному другого гения, книга, которую она читала, оказалась подарком его падчерицы. Джулия Мур, несомненно, забыла, что я обладал ею два года назад. И мать, и дочь — обе заядлые путешественницы. Они побывали на Кубе, в Китае, в иных таких же тоскливых и неразвитых странах и с уважительным неодобрением отзываются о множестве очаровательных и странных людей, с которыми там подружились. Parlez-moi de son[2] отчим. Быть может, он très fasciste[3]? Не сумела понять, почему я назвал левые устремления миссис R. заурядным буржуазным поветрием. Mais au contraire[4], она и дочь без ума от радикалов! Ну что же, сказал я, мистер R., lui[5], обладает иммунитетом к политике. Моя бесценная считает, что в том-то и горе его. Шея цвета сливочной ириски, золотой крохотный крестик и grain de beauté[6]. Соразмерная, сильная, смертоносная!"

---

[1] Распахни свои одежды, Деянира... на мой костер *(фр.)*.

[2] Расскажите мне о ее... *(фр.)*

[3] Совсем фашист *(фр.)*.

[4] Ничуть не бывало *(фр.)*.

[5] Сам-то *(фр.)*.

[6] Мушка *(фр.)*.

10

Кое-что он все же предпринял, при всем уважительном неодобрении к собственной персоне. Он послал ей письмо из почтенного версекского "Паласа", где ему предстояло через пару минут сойтись за коктейлем с самым ценимым из наших авторов, лучшая книга которого Вам не понравилась. Нельзя ли мне навестить Вас, скажем, в среду, четвертого. Потому что я к этому времени как раз буду в отеле "Аскот" в Вашем Витте, где, говорят, даже летом можно отлично покататься на лыжах. С другой стороны, главная цель моего пребывания *здесь* — выяснить, когда старый мошенник закончит теперешнюю книгу. Странно вспомнить, как волновался я только позавчера, предвкушая возможность наконец-то увидеть великого человека во плоти.

Плоти оказалось даже поболее, чем ожидал, исходя из недавних снимков, наш Персон. Пока он сквозь окно вестибюля вглядывался в R., выползающего из машины, ни горны гордыни, ни вопли восторга не сотрясали его нервной системы, ныне полностью занятой голоногой девушкой в пронизанном солнцем вагоне. И все же зрелище R. являл собой величавое: красавец шофер поддерживал тучного старика с одного боку, чернобородый секретарь подпирал с другого, а на ступенях крыльца чета отельных chasseurs[1] изображала участливые порывы. Скрытый в Персоне репортер отметил, что на мистере R. бархатисто-шоколадные теннисные туфли, лимонная рубашка с сиреневым шейным платком и помятый серый пиджак, как будто лишенный особых примет, — по крайней мере на взгляд рядового американца. Привет, Персон! Они расположились в холле при баре.

Иллюзорный характер события в целом был подчеркнут видом и речами двух персонажей. Этот монументальный мужчина в глинистом гриме и с притворной улыбкой, казалось, разыгрывал на пару с украшенным бандитской бородкой мистером Тамвортом косной рукой написанную сцену, потешая ею незримую публику, от которой Персон,

---

[1] Рассыльные *(фр.)*.

бутафорское чучело, все отворачивался, словно его вместе с креслом передвигала затаившаяся Шерлокова квартирная хозяйка, — как бы он ни садился и куда бы ни взглядывал в ходе этой недолгой, но пьяноватой беседы. В сущности, все казалось подделкой, паноптикумом в сравнении с подлинностью Арманды, чей облик, напечатленный в очах его души, просвечивал сквозь представление на самых различных уровнях — порой кверху ногами, порой на манящей обочине поля зрения, — но постоянно присутствующий, постоянно, пронзительный и правдивый. Пустые слова, которыми он и она обменялись, ослепляли пламенем истинности в сравнении с натужным гоготком в плохо подделанном баре.

— Ну что же, вид у вас прямо цветущий, — сказал с оживленной лживостью Хью вслед за тем, как заказали напитки.

Барон R. имел бледное, грубой лепки лицо, бугристый нос с раздутыми порами, воинственные косматые брови, бестрепетный взгляд и бульдожий рот, полный плохих зубов. Скверноватая изобретательность, столь явственная в его сочинениях, проявлялась и в заранее подготовленных кусках его речи, — к примеру, когда он, как сейчас, говорил, что, имея вид отнюдь не "цветущий", он прямо-таки чует, как его все больше поражает ползучее сходство с фильмовой звездой по фамилии Рубенсон, игравшей когда-то старых гангстеров в фильмах, снимавшихся во Флориде; на самом деле такого актера и вовсе не существовало.

— Во всяком случае — как ваши дела? — спросил, справясь с ощущеньем неловкости, Хью.

— Говоря как нельзя короче, — отвечал мистер R. (имевший пренеприятное обыкновение не только прибегать к избитым клише в своем подпорченном тяжким акцентом, якобы разговорном английском, но к тому же еще их калечить), — мне, понимаешь ли, всю зиму неможилось. Печень, понимаешь, что-то такое затаила против меня.

Он основательно отхлебнул из стакана виски и, споласкивая им рот, чего Персону никогда еще видеть не приходилось, очень медленно опустил стакан на низенький столик. Затем, вслушиваясь, проглотил и перешел на вторую

из своих английских манер — на велеречивый слог самых памятных его персонажей:

— Бессонница и сестрица ее, Никтурия, конечно, порядком меня изнурили, но в остальном я крепок, как пласт почтовых марок. По-моему, ты еще не знаком с мистером Тамвортом. Персон, произносится "Парсон", — и Тамворт: от английской породы пятнистой свиньи.

— Нет, — сказал Хью, — фамилия произошла не от "Парсон", скорее от "Петерсон".

— О'кей, сынок. Ну, как там Фил?

Они коротко обсудили мощь, проницательность и обаяние издателя R.

— Не считая только того, что он норовит заставить меня писать не те книги. Ему нужен... — и он заговорил стесненным горловым голоском, перечисляя заглавия романов своего соперника, также издаваемого Филом, — ему нужен "Мальчик для развлечений", хотя сгодится и "Щуплая шлюшка", а все, что я могу ему предложить, — это не "Фигли-мигли", но первый и самый унылый том моих "Фигуральностей".

— Уверяю вас, что он с огромным нетерпением ожидает рукописи. Кстати...

Вот уж действительно "кстати"! Надо думать, в риторике существует особый термин для этого рода алогических поворотов. Неповторяемый вид, мельком, сквозь черную ткань. Кстати, я помешаюсь, если она не станет моей.

— ...кстати, я вчера познакомился с девушкой, которая встречалась на днях с вашей падчерицей.

— Бывшей, — уточнил мистер R. — Бог знает, сколько не виделись, надеюсь, и не придется. Того же пойла, сынок (это бармену).

— Довольно занятный случай. Сидит напротив девушка и читает...

— Прошу прощения, — ласково сказал секретарь и, сложив второпях нацарапанную записку, протянул ее Хью.

"Мистеру R. неприятно любое упоминание о мисс Мур и ее матери".

И я его не виню. Но куда подевался такт, прославивший Хью? Легкомысленный Хью отличнейшим образом знал

положение в целом, его просветил Фил, — не Джулия, девушка хоть и не целомудренная, но скромная.

Эта часть просвечивания выйдет у нас скучноватой, но мы обязаны завершить настоящий отчет.

В один прекрасный день мистер R. с помощью наемного соглядатая установил, что у его жены Мэрион роман с Христианом Пайнзом, сыном известного в мире кино человека, ставившего картину "Золотистые окна" (шатко основанную на одном из лучших романов нашего автора). Мистера R. это весьма устраивало, поскольку он напропалую ухаживал за Джулией Мур, своей восемнадцатилетней падчерицей, и теперь у него зародились планы на будущее, вполне достойные сентиментального сладострастника, коего еще не насытили три или четыре супружества. Впрочем, он очень скоро узнал от того же сыщика, в настоящее время умирающего в горячей и грязной больнице на Формозе (остров), что молодой Пайнз, приятный плейбой с лягушачьей физиономией (тоже скоро умрет), состоял в любовниках и у мамочки, и у дочки, которых он целых два лета обслуживал в Кавалерии (штат Калифорния). В итоге расставание оказалось полней и болезненней, чем рассчитывал R. И надо же было нашему Персону в самый разгар этой истории на свой непритязательный и неприметный манер (он, впрочем, ростом на полвершка превосходил статного R.) втиснуться с уголка в переполненный холст.

11

Джулия любила высоких мужчин с сильными руками и грустью в глазах. Хью познакомился с ней на приеме в одном из нью-йоркских домов. Дня два спустя он снова столкнулся с ней у Фила; она спросила, не желает ли он посмотреть "Звезду пирушки", нашумевшую "авангардную" пьесу, — у нее было два билета, для себя и для матери, но матери пришлось уехать из Вашингтона по делу (связанному, как правильно догадался Хью, с разводом): так не согласится ли он составить ей компанию? В искусстве "авангард" означает немногим больше подлаживания

под какую-нибудь отчаянно смелую обывательскую моду, и потому, когда разъехался занавес, Хью без удивления обнаружил, что его собираются потчевать видом голого анахорета, сидящего посреди пустой сцены на треснувшем толчке. Джулия захихикала, предвкушая чудный вечер. Хью пришлось огромной стеснительной лапой накрыть ее детскую ладошку, ненароком павшую ему на колено. На взгляд сластолюбца, она — с ее кукольным личиком, наклонным разрезом глаз и топазовыми слезками в мочках ушей, с легкими формами под оранжевой блузкой и черной юбкой, с нежно сочлененными конечностями и с экзотически гладкими волосами, ровно подрезанными на лбу, — была удивительно мила. Не менее милой представлялась и мысль, что мистер R., похвалявшийся интервьюеру наличием у него немалой телепатической силы, в настоящий момент пространства-времени должен испытывать в своем швейцарском прибежище ревнивые корчи.

Поговаривали, будто после первого представления пьесу запретят. Буйные молодые манифестанты, коих изрядное число собралось, чтобы на всякий случай попротестовать, ухитрились-таки сорвать тот самый спектакль, который они пришли защитить. Взрыв нескольких карнавальных петард наполнил зал горьковатым дымом, шустрое пламя побежало по змеистым лентам зеленой и красной туалетной бумаги, и публику пришлось эвакуировать. Джулия объявила, что умирает от разочарования и жажды. Прославленный бар при театре оказался безнадежно заполнен, и "в сиянии райской упрощенности нравов" (как в иной связи писал мистер R.) наш Персон повез девушку к себе на квартиру. Не стоило бы ему загадывать — после того как слишком страстный поцелуй заставил его обронить в такси несколько нетерпеливых огненных капель, — оправдает ли он ожидания Джулии, которую R., если верить Филу, совратил еще тринадцатилетней, в самом начале бедственного брака ее матери.

Холостую квартирку, которую Хью снимал на шестьдесят пятой восточной улице, ему подыскала фирма. И так уж совпало, что именно в этих комнатах Джулия тому два года назад навещала одного из лучших ее молодых любовников.

Ей хватило вкуса смолчать, но призрачный образ юноши, чья смерть на далекой войне так сильно ее поразила, то выходил из ванной, то рылся в холодильнике — и вообще так странно замешивался в пустяковое дело, которым ей предстояло заняться, что она не позволила ни расстегнуть на себе молнию, ни уложить себя в постель. Разумеется, после приличного промежутка малышка пошла на попятную и вскоре уже помогала огромному Хью в его бестолковом любодействе. Однако едва прервалась привычная череда тычков и запышек и Хью с неумело подделанной бойкостью отправился за новой порцией выпивки, как образ бронзоватого и белозадого Джимми Мейджера вновь заместил костлявую реальность. Она обнаружила, что зеркало одежного шкапа, если смотреть из кровати, отражает ту же постановку для натюрморта — апельсины в деревянной чаше, — что и в короткую, словно жизнь цветочной гирлянды, пору Джима, ненасытного пожирателя этого лакомства долгожителей. Оглядевшись, она обнаружила источник видения в складках своей яркой одежды, брошенной на спинку стула, и почти пожалела об этом.

Следующее их свидание она в последний момент отменила, а вскоре за тем укатила в Европу. В душе Персона этот роман оставил след немногим больший пятнышка светлой помады на бумажной салфетке — и романтическое ощущение человека, державшего в объятиях возлюбленную великого писателя. Впрочем, время берет в работу эти эфемерные приключения, сообщая воспоминанию новый букет.

Ну вот наконец мы видим драный лист "La Stampa" и пустую бутылку из-под вина. Строительство шло полным ходом.

12

Строительство шло полным ходом в окрестностях Витта, и целый склон холма, на котором он, как ему было сказано, сможет найти виллу "Настя", оказался изрыт и измызган. Ближайшее его окружение было так или иначе прибра-

но, образуя оазис тишины посреди гремящей и лязгающей дичи канав и кранов. И даже дамский магазинчик поблескивал среди лавчонок, обступивших полукругом свежевысаженную молодую рябину, под которую уже нанесли всякого сору вроде пустой пролетарской бутылки и такой же итальянской газеты. Здесь способность ориентироваться покинула Персона, но женщина, торговавшая поблизости яблоками с лотка, наставила его на истинный путь. Чересчур привязчивая большая белая псина неприятно затрусила следом за ним, но, окликнутая женщиной, отстала.

Он полез вверх по крутой асфальтовой стежке, шедшей вдоль белой стены, над которой виднелись ели и лиственницы. Узорчатая дверца в ней вела к какому-то лагерю или школе. Из-за стены доносились крики игравших детей, потом над нею проплыл и приземлился к ногам Персона бадминтонный волан. Персон оставил его без внимания, он не принадлежал к породе людей, услужливо подбирающих вещи для посторонних — перчатки, укатившуюся монету.

Чуть дальше проем в каменной стенке обнаружил короткую лестничку и дверь беленого бунгало с надписью французским курсивом “Вилла Настя”. Как часто случалось в романах R., “на звонок никто не ответил”. Хью заметил пообок крыльца ступеньки, спускавшиеся (после дурацкого-то восхождения!) в едкую сырость самшита. Обогнув дом, они привели его в сад. Широкий и мелкий бассейн, лишь наполовину достроенный, соседствовал с небольшой лужайкой, в середке которой, загорая, покоилась в полотняном кресле дебелая дама средних лет с болезненно малиновыми конечностями, намазанными чем-то жирным. Экземпляр, и без сомнения, тот же самый, “Фигур” и так далее со сложенным письмом заместо закладки (коего, по нашему мнению, было бы лучше Персону не признавать) лежал поверх сплошного купальника, в который была упрятана основная часть ее туловища.

Мадам Шарль Камар, рожденная Анастасия Петровна Потапова (весьма почтенная фамилия, превращенная ее покойным супругом в “Патапуф”), была дочерью богатого скотопромышленника, который вскоре после большевистской революции эмигрировал с семейством из Рязани

в Англию через Харбин и Цейлон. Она давно уж свыклась с необходимостью развлекать то одного, то другого из молодых людей, обмороченных непостоянной Армандой; однако этот новый ухажер оказался одет будто прикащик, и было в нем что-то еще (твоя одаренность, Персон!), озадачившее и раздражившее мадам Камар. Она предпочитала, чтобы люди умещались в какие-то рамки. Швейцарский юноша, с которым Арманда в эту минуту каталась на лыжах в вечных снегах высоко над Виттом, — умещался вполне. То же и близнецы по фамилии Блэйк. То же и сын старого горного гида, златоволосый Жак, чемпион бобслея. А мой долговязый и хмурый Хью Персон в этом ужасном галстуке, вульгарно пристегнутом к дешевой белой сорочке, и в невозможном каштановом костюме не принадлежал к миру, который она почитала приемлемым. Услышав, что Арманда развлекается неведомо где и едва ли воротится к чаю, он не потрудился скрыть удивление и досаду. Стоял, поскребывая щеку. Испод его тирольской шляпы потемнел от пота. А письмо его Арманда получила?

Мадам Камар ответила неразборчивым отрицанием, — она могла бы свериться с предательской закладкой, но по безотчетной материнской осмотрительности воздержалась от этого. Взамен она сунула книжицу в свою садовую сумку. Хью машинально заметил, что на днях навещал ее автора.

— Он ведь, по-моему, живет где-то в Швейцарии?

— Да, в Диаблоне, около Версекса.

— Диаблоне всегда напоминает мне русскую "яблоню". Хороший дом у него?

— Да как вам сказать, мы встретились в Версексе, в гостинице, не у него дома. Я слышал, что дом очень просторный и старомодный. Мы-то говорили с ним о делах. Конечно, в доме вечно полным-полно его, ну, довольно беспутных гостей. Я обожду немного, а там и пойду.

Скинуть пиджак и отдохнуть в полотняном кресле, стоявшем бок о бок с креслом мадам Камар, он отказался. Пояснил, что от обилия солнца у него кружится голова. "Alors allons dans la maison" [1], — сказала она, верно перево-

---

[1] Тогда пойдем в дом *(фр.)*.

дя с русского. Увидев, каких усилий ей стоит подняться, Хью предложил ей помощь, но мадам Камар резким тоном велела ему держаться от ее кресла подальше, — чтобы не создавать своей близостью “психологического препятствия”. Ее неподатливый корпус приводился в движение только посредством особого, точно исполненного рывочка, а произвести его удавалось, лишь сосредотачиваясь на воображаемых попытках облапошить силу тяжести, пока в конце концов внутри что-то не щелкало и нужный подскок не совершался сам собой, подобно чуду чихания. До той поры она лежала недвижно, как оглушенная, и бравый пот посверкивал у нее на груди и над лиловатыми дугами пастельных бровей.

— Этого вовсе не нужно, — говорил Хью, — я с удовольствием подожду тут, под деревом, мне просто нужна тень. Никогда не думал, что в горах может стоять такая жара.

Все тело мадам Камар вдруг встрепенулось так, что каркас ее кресла испустил почти человеческий крик. В следующий миг она уже сидела, утвердив обе ступни на земле.

— Все в порядке, — уютно объявила она и встала, оказавшись с внезапностью волшебного превращения облаченной в яркий махровый халат. — Пойдемте, я напою вас холодненьким и покажу вам мои альбомы.

“Холодненькое” обернулось высоким граненым стаканом тепловатой водопроводной водицы с ложкой домашнего клубничного варенья, закрасившей воду в цвета просвирника. Альбомы, четыре увесистых переплетенных тома, были разложены на очень низком, очень круглом столе в очень “модерной” гостиной.

— Я вас ненадолго покину, — сказала мадам Камар и на глазах у публики с грузной решимостью затопала вверх по отовсюду видной и слышной лестнице, ведущей на столь же откровенный второй этаж, где из одной раскрытой двери глядела кровать, а из другой биде. Арманда говорила, что это творение ее покойного отца само просилось на выставку, привлекая туристов из таких дальних стран, как Родезия и Япония.

Альбомы оказались нелицемерны под стать постройке, но хотя бы не так угнетали. Линия Арманды, чрезвычайно интересовавшая нашего voyeur malgré lui[1], торжественно открывалась портретом покойного Потапова, весьма импозантного семидесятилетнего старца в седой эспаньолке и домашней китайчатой куртке, подслеповато крестившего на русский манер невидимое в глубокой колыбели дитя. Снимки не только проходили вслед за Армандой сквозь все периоды прошлого и все успехи любительской фотографии, но и девочку являли в разнообразных состояниях невинной голизны. Ее родители и тетки, ненасытимые изготовители очаровательных карточек, питали уверенность в том, что десятилетняя девочка, мечта лютвидгеанца, имеет столько же прав на полную наготу, сколько их есть у новорожденного младенца. Гость уложил альбомы стопой, ограждая пламя своей любознательности от всякого, кто пожелал бы присмотреться к нему с верхней площадки лестницы, и несколько раз возвращался к картинам купания маленькой Арманды, прижимавшей к блестящему животу хоботастую игрушку или стоявшей во весь рост, с ямками на ягодицах, ожидая, когда ее станут намыливать. Еще одно откровение недозрелой мякоти (которой срединная линия явственно рознилась от льнущей к ней, но не столь вертикальной травинки) обнаруживал снимок, на котором она нагишом сидела в траве, расчесывая прошитые солнцем волосы и в ложной перспективе широко разведя прелестные великанские ноги.

Он услышал, как наверху забурлил унитаз, и виновато наморщась, захлопнул толстую книгу. Хмуро съежилось, умерив толчки, его растяжимое сердце, но с адских высей никто не спустился, и он, урча, воротился к своим неприличным картинкам.

К концу второго альбома фотографии вспыхнули красками, празднуя оживленную смену нарядов, ее подростковую линьку. Она появлялась средь резкой зелени и синевы коммерческого спектра то в цветистых платьях, то в затейливых брючках, то в теннисных трусиках, то в купальных

[1] Подглядывающего поневоле *(фр.)*.

костюмах. Он открыл элегантную угловатость ее загорелых плеч, длинную линию бедер. Он узнал, что к восемнадцати годам поток ее светлых волос достиг поясницы.

Ни одна из брачных контор не сумела бы предложить своей клиентуре такого обилия вариаций на тему единственной девственницы. В третьем альбоме он с радостным чувством возвращенья домой обнаружил промельки своего ближайшего окружения: лимонные и черные подушки дивана в дальнем конце гостиной и Дентонову подставку с парусником на каминной доске. В начале четвертого, недозаполнсниого альбома искрились самые целомудренные из ее изображений: Арманда в розовой парке, Арманда самоцветно-яркая, Арманда, кренящаяся на лыжах в облаке сахарной пыли.

Наконец мадам Камар начала с опаской спускаться из верхней части прозрачного дома, студенистое голое предплечье ее подрагивало, когда она вцеплялась в перила. Теперь ее облекало сложное, все в оборках летнее платье, словно бы и она, подобно дочери, прошла через несколько стадий метаморфозы. "Не вставайте, не вставайте", — вскричала она, рукой прибивая воздух, но Хью упорствовал в желании уйти. "Скажите ей, — прибавил он, — скажите вашей дочери, когда она вернется со своего глетчера, что я ужасно разочарован. Скажите, что я проживу неделю, две, даже три недели здесь, в мерзком отеле "Аскот" презренной деревни Витт. Скажите, что я позвоню ей, если она мне не позвонит. Скажите, — продолжал он, уже шагая скользкой тропой вдоль кранов и могучих копалок, застывших в золоте раннего вечера, — скажите, что все мое естество отравлено ею, двадцаткой ее сестер, двадцаткой сброшенных ею оболочек, скажите, что я погибну, если она не станет моей".

Он все-таки был простоват, что не редкость между влюбленными. А стоило бы сказать толстой, вульгарной мадам Камар: как смеете вы выставлять ваше дитя напоказ перед чувствительными незнакомцами? Впрочем, нашему Персону смутно воображалось, что это проявление современной нескромности, обычной в кругу мадам Камар. Господи, да в каком там еще "кругу"? Мать этой дамы была

дочерью деревенского ветеринара, точь-в-точь как и матушка Хью (по единственному стоящему особой отметки совпадению во всей этой довольно грустной истории). Да уберите же вы эти снимки, глупая вы нудистка!

Она позвонила ближе к полуночи, вырвав его из мимолетного, но определенно дурного сна (порожденного расплавленным сыром, юной картошкой и бутылкой молодого вина в отельном carnotzet[1]). Хватая трубку, он другой рукой нашарил очки для чтения, без которых, по странной причуде союзных чувств, толком не мог разговаривать по телефону.

— Вы Персон? — спросил ее голос.

Он знал уже — с той минуты, как она зачитала вслух содержимое карточки, врученной ей в поезде, что она выговаривает его имя как "You"[2].

— Да, это я, то есть "вы", я хочу сказать, что вы произносите мое имя неправильно, но совершенно очаровательно.

— Я все произношу правильно. Послушайте, я так и не получила...

— Оставьте! Вы опускаете начальные согласные, словно — словно жемчужины в чашку слепца.

— Правильно говорить не "в чашку", а "в шапку". Моя взяла. Ладно, послушайте, завтра я занята, как вы насчет пятницы, — сможете быть готовы à sept heures précises?[3]

Разумеется, сможет.

Она пригласила "Перси", объявив, что отныне будет звать его так, раз ему не нравится "Хью", отправиться с ней в Дракониту кататься на лыжах, и ему представился темный лес, защищающий романтических путников от синего пламени альпийского полудня. Он сказал, что хоть и проводил отпуска в Шугарвуде, Вермонт, но так и не освоился с лыжами, однако будет счастлив прогуляться с ней по тропе, не только сотворенной его фантазией, но и чисто выметенной метлою снежного человека, — одно из тех

[1] Ресторанчик *(фр.)*.

[2] Вы, ты *(англ.)*.

[3] Ровно в семь *(фр.)*.

мгновенных, невыверенных видений, что могут запорошить глаза и умнейшему человеку.

13

Теперь у нас в фокусе главная улица Витта, какова она в четверг, назавтра после ее звонка. Улица кишит прозрачными людьми и процессами, в которые или сквозь которые мы бы могли уплыть с упоением ангела или автора, но для настоящего отчета нам надлежит выделить одну лишь персону — Персона. Не Бог весть какой ходок, он ограничил свой досуг скучноватым осмотром деревни. Железный поток машин катил и катил, одни с грузной опасливостью косных механизмов искали, куда бы приткнуться, другие бежали со стороны или в сторону Тура, курорта куда более модного, лежавшего в двадцати милях к северу. Несколько раз миновал он старый фонтан, источавший по капле в желоб, продолбленный в старом обсаженном геранью бревне; он осмотрел почту и банк, церковь и туристическое агентство, и знаменитую закопченную хибару, которой вместе с грядкой капусты и распятым пугалом позволяли еще прозябать между пансионом и прачечной. Он выпил пива в двух разных харчевнях. Постоял перед лавкой спортивных товаров; вернулся, еще постоял — и купил хороший серый свитер с высоким горлом и с крохотным, очень красивым американским флагом, вышитым прямо над сердцем. Бирка шепнула: "Сделано в Турции".

Наконец он решил, что пора подкрепиться, и увидел ее, сидящую за столиком уличного кафе. Ты прянул к ней, решив, что она одна, и слишком поздно заметив вторую сумку на стуле насупротив. И сразу ее подруга вышла из чайной и, усевшись, сказала милым нью-йоркским голосом с тем оттенком распутного натиска, который он признал бы даже в раю:

— Сатира на сортир.

Между тем подошел не сумевший содрать маску учтивой ухмылки Хью Персон, и его пригласили к столу.

Женщина за соседним столиком, комически напомнившая Персону его покойную тетю Мелиссу, которую все мы так любим, читала "L'Erald Tribune". Арманда думала

(в вульгарном значении этого слова), что Джулия Мур знакома с Перси. Джулия тоже так думала. Тоже и Хью, конечно, еще бы. Не разрешит ли двойник его тетки позаимствовать незанятый стул? Пожалуйста, пожалуйста. Дивной души была старушка, жила с пятью кошками в игрушечном домике в самом конце березовой аллеи посреди тишайшей...

Прервав нас ушираздирающим лязгом, бесстрастная официантка, существо по-своему тоже несчастное, уронила на стол поднос с лимонадом и булочками и сложилась втрое, рассыпаясь во множестве странных в подобной женщине мелких, суетливых движений; лицо ее осталось бесстрастным.

Арманда уведомила Перси, что Джулия прикатила из самой Женевы, чтобы получить у нее консультацию относительно перевода нескольких фраз, которыми она, Джулия, собиравшаяся назавтра в Москву, намеревается "сразить" своих русских друзей. Перси, к слову сказать, работает у ее отчима.

— У моего *бывшего* отчима, благодарение Богу, — сказала Джулия. — А кстати, Перси, если это ваш nom de voyage[1], возможно, вы сможете нам помочь. Как она вам сказала, мне хочется ошарашить кое-кого в Москве, они меня обещали свести с молодым, знаменитым русским поэтом. Арманда снабдила меня кучей чудных словечек, но мы с ней застряли на... (извлекая из сумки листок) — Мне нужно знать, как сказать: "Какая милая маленькая церковь, какой огромный снежный занос". Понимаете, мы сначала разбираемся по-французски, и она считает, что "snowdrift"[2] — это "rafale de neige"[3], но я уверена, что это не может быть ни "rafale"[4] по-французски, ни "рафалович" по-русски, или как они там называют метель.

— Нужное вам слово, — сказал наш Персон, — это "congère", женского рода, я его знаю от матери.

— А, тогда это по-русски "сугроб", — сказала Арманда и сухо добавила: — Вот только снега там в августе будет негусто.

---

[1] Псевдоним путешественника *(фр.)*.

[2] Сугроб *(англ.)*.

[3] Вьюга *(фр.)*.

[4] Шквал *(фр.)*.

Джулия рассмеялась. Джулия выглядела счастливой и поздоровевшей. Джулия еще похорошела в сравнении с тем, какой она была два года назад. Будет ли она теперь сниться мне с этими новыми бровями, с новыми длинным волосами? Как быстро перенимают сновидения новую моду? Или ближайший сон еще сохранит ее прежнюю стрижку японской куколки?

— Давайте я вам что-нибудь закажу, — сказала Арманда Перси, не сделав, однако, приглашающего жеста, обыкновенно сопровождающего эти слова.

Перси решил, что ему не помешает чашка горячего шоколада. Опасное обаяние прилюдной встречи с прежней любовью! Конечно, Арманде бояться нечего. Она-то совсем из другого разряда, она вне конкуренции. Хью вспомнилась знаменитая повесть R. "Три времени".

— У нас что-нибудь еще осталось невыясненным, Арманда, или мы все уже обсудили?

— Да уж два часа только этим и занимаемся, — с некоторым раздражением обронила Арманда, — не сознавая, возможно, что бояться ей нечего. Ее обаяние было совершенно иного, чисто интеллектуального или художественного толка, — это хорошо показано в "Трех временах": светский господин в синем, как ночь, смокинге ужинает на залитой светом веранде с тремя декольтированными красавицами, Алисой, Беатой и Верой, никогда до того друг дружку не знавшими. А. — его прежняя любовь, Б. — теперешняя любовница, В. — будущая жена. Он пожалел, что не стал пить, как Арманда и Джулия, кофе. Шоколад оказался непотребным. Вам подают чашку горячего молока. Отдельно вы получаете к ней толику сахара и подобие щегольского конвертика. Отрываете у конвертика верхнюю кромку. Высыпаете находящуюся внутри бежеватую пыль в безжалостно обезжиренное молоко. Делаете глоток — и поспешно добавляете сахар. Но никакому сахару не по силам улучшить этот пресный, грустный, нечестный вкус.

Арманда, наблюдавшая за различными фазами его изумления и неверия, улыбнулась и сказала:

— Теперь вам известно, что понимают в Швейцарии под "горячим шоколадом". Мама, — продолжала она, обра-

щаясь к Джулии (которая с разоблачительной sans-gêne[1] Прошедшего Времени, хотя вообще-то она уже похвалила себя за скромную сдержанность, потянулась ложечкой к чашке Хью и отобрала пробу), — мама просто разревелась, когда ей впервые подали эту бурду, потому что питала нежнейшие воспоминания о шоколаде своего шоколадного детства.

— Жуткая дрянь, — согласилась Джулия, облизывая полные бледные губы, — но, по мне, все же лучше нашего американского варева.

— Это потому, что ты самое непатриотичное создание в мире, — сказала Арманда.

Прошедшее Время чарует своей сокровенностью. Зная Джулию, он был совершенно уверен, что она не стала бы рассказывать случайной подружке об их романе — одном мелком глоточке среди многих дюжин глотков. Так в этот драгоценный и хрупкий миг Джулия и он (иначе — Алиса с рассказчиком) скрепили договор о прошлом, неосязаемый пакт, направленный против реальности, представленной шумным углом улицы с шелестящими мимо машинами, деревьями и чужими людьми. Б. этой троицы изображал Бойкий Витт, а основным чужаком, — что вызывало совсем иное волнение, — была его завтрашняя любовь, Арманда. Арманда же знала о будущем (конечно, известном автору в каждой детали) не больше, чем о прошлом, которое Хью вновь смаковал заодно с молоком, припорошенным бурой пыльцой. Хью, сентиментальный простак и в общем-то персонаж не из лучших (лучшие выше этого, а он был просто довольно славный), сожалел, что сцена не сопровождается музыкой, что никакой румынский скрипач не пронимает сердца двух сплетенных на манер монограммы существ. Даже громкоигратель в кафе не повторял механически "Очарования" (вальса). И все же какое-то ритмическое подспорье имелось, его создавали голоса пешеходов, перезвон посуды, горный ветер в маститой массе углового каштана.

---

[1] Бесцеремонностью *(фр.)*.

Вот они и расходятся. Арманда напомнила ему о завтрашней прогулке. Джулия, пожимая руку, попросила молиться за нее, когда она будет произносить перед тем очень пылким, очень известным поэтом русское je t'aime[1], которое звучит по-английски как (полоща этой фразой горло) yellow blue tibia[2]. Расстались. Девушки уселись в изящный автомобильчик Джулии. Персон направился было к отелю, но запнулся, выругался и вернулся за свертком в кафе.

14

Пятница, утро. Торопливая кока. Отрыжка. Быстрое бритье. Он надел свое обычное платье, добавив для стиля свитер. Последняя встреча с зеркалом. Выдернул черный волос из красной ноздри.

Первая горесть этого дня поджидала его с седьмым ударом часов в условленном месте встречи (площадь у почты), где он обнаружил ее в обществе трех атлетов — Джека, Джейка и Жака, чьи ухмыляющиеся медные физиономии он уже видел на одном из последних в четвертом альбоме снимков. Заметив, как обиженно заходило его адамово яблоко, Арманда весело предположила, что он, может быть, еще и не захочет связываться с ними, "потому что мы собираемся пешком добраться до единственного работающего летом подъемника, а это для непривычного человека целое восхождение". Белозубый Жак, приобняв разбитную девицу, доверительно сообщил, что monsieur стоило бы надеть башмаки покрепче, но Хью отверг совет, заявив, что в Штатах принято надевать в поход первую попавшуюся пару ношеных туфель, случается что и теннисных. "Мы надеемся, — сказала Арманда, — что сможем уговорить вас взять несколько лыжных уроков, мы держим все снаряжение наверху, у тамошнего управителя, он наверняка подыщет что-нибудь и для вас. Пяток занятий — и вы уже будете поворачивать на полном ходу. Правда, Перси?

---

[1] Я люблю тебя *(фр.)*.

[2] Изжелта-синяя берцовая кость *(англ.)*.

И еще, я думаю, вам понадобится парка. Здесь-то лето, но это две тысячи футов, а выше девяти условия почти что полярные". — "Малышка права", — заявил Жак, в притворном восторге хлопнув ее по плечу. "Тут минут сорок медленным ходом, — сказал один из близнецов. — Отличная разминка перед склоном".

Вскоре выяснилось, что Хью не способен, двигаясь с ними вровень, достичь четырехтысячной отметки, на которой — строго к северу от Витта — их ожидала гондола подъемника. Чаемая "прогулка" обернулась мучительным маршем, худшим, чем все, испытанное им в пору школьных пикников в Вермонте или Нью-Гемпшире. Тропу, состоявшую из очень крутых подъемов, очень скользких спусков и новых исполинских взлетов по скату новой горы, сплошь покрывали камни, канавы и старые корни. Жалкий и жаркий Хью с трудом держался за светлым затылком Арманды, легко поспешавшей вослед легконогому Жаку. Арьергард составляли близнецы-англичане. Быть может, шагай они все немного помедленнее, Хью и управился бы с восхождением — не таким уж и сложным, — но его бессердечные и бездушные спутники передвигались немилосердным махом, чуть ли не вскачь одолевая подъемы и резво соскальзывая по откосам, с которыми Хью еле-еле справлялся, топыря руки в позе униженного просителя. От предложенного посоха он отказался и наконец, после двадцатиминутных мучений, взмолился о небольшой передышке. В довершенье обид не Арманда оставалась с ним, пока он сидел, свеся голову и отдуваясь, с жемчужиной пота, болтавшейся на кончике носа, — а Джек и Джейк. Близнецы оказались неразговорчивы и только обменивались безмолвными взглядами, пока стояли, уперев руки в бока, чуть выше него на тропе. Он почувствовал, как тает их расположение, и попросил их продолжить путь, пообещав скоро двинуться следом. Дождавшись, пока они отойдут, он заковылял обратно в деревню. В том месте, где сходились мыскáми два леса, он еще раз присел отдохнуть, на этот раз на скамейку над открытым обрывом, — с нее, слепой, но старательной, открывался замечательный вид. Сидя на скамье и куря, он вдруг увидал своих спутников

высоко-высоко над собою: синий, серый, розовый, красная, они махали ему с утеса. Он помахал в ответ и возобновил угрюмое отступление.

Однако сдаваться Хью Персон не пожелал. Назавтра он в мощных ботинках, при альпенштоке, жуя резинку, вновь отправился с ними. Он попросил разрешения двигаться с той скоростью, какую выберет сам, чтобы никто его не дожидался, — и достиг бы подъемника, если б не сбился с пути и не закончил его на заросшей ежевикой пали, в которую уперлась просека. Еще одна попытка — дня через два — оказалась гораздо успешней. Он почти достигнул границы леса, но тут испортилась погода, его окутал мокрый туман, и он два часа одиноко стучал зубами в вонючем коровнике, дожидаясь, когда сквозь пряди тумана снова проглянет солнце.

В следующий раз он подрядился нести за Армандой пару только что купленных лыж, — диковатого вида, по-лягушачьи зеленых штуковин, сделанных из металла и фибергласа. Мудреные их крепления казались кузенами ортопедических приспособлений, призванных помогать калекам передвигаться. Ему разрешили взвалить драгоценные лыжи на плечо, и поначалу они казались волшебно легкими, но скоро стали тяжелыми, словно длинные бруски малахита, и погодя он уже ковылял за Армандой, как клоун, помогающий менять снаряжение на цирковой арене. Как только он присел отдохнуть, ношу у него отобрали, предложив взамен бумажный пакет (с четверкой мелких апельсинов), который он оттолкнул не глядя.

Наш Персон был упрям и к тому же чудовищно влюблен. Казалось, некий сказочный элемент пропитал готическим розовым маслом все его попытки взобраться на зубчатые стены твердыни ее Дракона. Через неделю он все же их одолел и в дальнейшем был уже меньшей обузой.

15

Сидя на солнечной террасе “Café du Glacier” чуть ниже “Хижины Дракониты” и потягивая ром, он не без самодовольства и воодушевления, порождаемых смесью вина и

горного воздуха, обозревал лыжный склон (волшебное зрелище после такого обилия воды и спутанных трав!); вглядываясь в глазурь верхнего участка трассы, в синюю елочку лыжных следов под ним, в разномастные фигурки, как бы разбросанные вольной кистью фламандского мастера по сияющей белизне, Хью говорил себе, что из этого вышла бы превосходная обложка для книги "Кристи и прочие девочки" — автобиографии великого лыжника (прошедшей в издательстве через множество рук, основательно ее переделавших и приукрасивших), — типоскрипт ее он совсем недавно готовил к набору и, помнится, выставлял вопросительные закорючки против терминов вроде "godilles" и "wedeln" (курс.?). Приятно было смотреть по-над третьей порцией выпивки на гладко сплывающих вниз красочных человечков, теряющих там лыжу, тут палку или совершающих победный вираж в веере серебряной пыли. Хью Персон, уже перешедший на вишневую водку, раздумывал, сумеет ли он принудить себя последовать ее совету ("такой славный, большой, сутулый янки, такой весь спортивный и не стоит на лыжах!") и оказаться на месте того или этого удальца, летящего, стильно сгорбясь, вниз, или он обречен раз за разом валиться и замирать, подобно нескладному новичку, распростершемуся на спине в безнадежном, но благодушном покое.

Он так ни разу и не смог отыскать ослепленными, слезящимися глазами силуэт Арманды среди прочих лыжников. Правда, однажды ему показалось, что он поймал ее, летящую и мерцающую, в красном анораке, с непокрытой головой, мучительно грациозную, вон там, там и вот уже здесь, перепорхнула пригорок, близится, близится, подобралась, притиснув палки к бокам, и вдруг обернулась незнакомкой в пучеглазых очках.

Наконец она, в лоснистом зеленом нейлоне, с лыжами в руках, но еще обутая в страховидные сапоги, появилась с другого конца террасы. Он потратил достаточно времени, изучая в швейцарских магазинах лыжное снаряжение, и знал, что обувную кожу ныне заместила пластмасса, а шнуровку — крепкие скрепы. "Вы похожи на первую женщину на Луне", — сказал он, указывая на сапоги, и не

будь они так тесно подогнаны по ноге, она пошевелила бы внутри пальцами, как обыкновенно делают женщины, когда кто-то с похвалой отзывается об их обуви (ужимка пальцев взамен улыбки).

— Послушайте, — сказала она, разглядывая свои “Мондштейновы сексуальные” (их несусветное торговое имя), — я оставлю здесь лыжи, переобуюсь, и мы вернемся с вами в Витт à deux[1]. С Жаком я разругалась, он убрался отсюда со своими дорогими друзьями. Слава Богу, все кончено.

Сидя лицом к нему в небесной повозке, она изложила сравнительно деликатную версию того, что ей еще предстояло пересказать ему с безобразно живыми подробностями. Жак потребовал ее присутствия на онанистических сеансах, которые он проводил с близнецами Блэйками в их шале. Однажды он уже заставил Джека показать ей свои причиндалы, но она притопнула и велела им вести себя попристойнее. Теперь Жак предъявил ультиматум — либо она участвует в их омерзительных играх, либо он больше ей не любовник. Она готова быть сверхсовременной, свойской, сексуальной, но это унизительно, пошло и старо, как Древняя Греция.

Гондола скользила бы вечно в синем мареве, уместном в раю, если бы дюжий служитель не осадил ее на повороте к подъему. Они вышли. В сарае, где механизм исполнял свой скромный, нескончаемый долг, из земли пробивался ключ. С чопорным “извините” Арманда на краткий срок удалилась. Снаружи среди одуванчиков стояли коровы, и радиомузыка неслась из ближней buvette[2].

С робким трепетом юной любви Хью гадал, осмелится ли он поцеловать ее, если выпадет вдруг подходящая пауза во время спуска по извилистой стежке. Пожалуй, осмелится, когда они доберутся до рододендронов и, может быть, остановятся — она, чтобы сбросить парку, он, чтобы вытряхнуть камушек из правого башмака. Рододендроны и можжевельник уступили пространство ольхе, и знакомый голос отчаяния уже начал склонять его отложить на потом

---

[1] Вдвоем *(фр.)*.

[2] Закусочной *(фр.)*.

и камушек, и летучий поцелуй. Они вошли в еловый бор, и тут она встала, осмотрелась вокруг и сказала (как-то мельком, будто предлагая грибов поискать или набрать малины):

— А теперь кое-кто займется любовью. Вон за теми деревьями я знаю хорошее мшистое место, там никто нас не потревожит, если ты поторопишься.

Место метила кожура апельсинов. Он попытался обнять Арманду — для приготовительной ласки, в которой нуждалась его нервная плоть ("поторопишься" было ошибкой), — но она, по-рыбьи вильнув, ускользнула и присела в чернику, снимая ботинки и брюки. Еще пуще расхолодила его рубчатая ткань черных, плотной вязки колготок, оказавшихся на ней под лыжными штанами. Их она согласилась опустить не ниже, чем требовала необходимость. Ни поцеловать, ни погладить ее по бедрам она не позволила.

— Ладно, не повезло, — сказала она наконец, но стоило ей изогнуться под ним в попытке натянуть колготки, как к нему мгновенно вернулись и сила, и способность выполнить то, что от него ожидалось.

— А теперь кой-кому пора домой, — без промежутка сообщила она всегдашним ее безразличным тоном, и оба в молчании продолжили торопливый спуск.

За новым поворотом тропы внизу открылся первый из Виттовых садов, дальше виднелся проблеск ручья, лесной склад, покосы, бурые дачи.

— Ненавижу Витт, — сказал Хью. — Ненавижу жизнь. Ненавижу себя. И эту сволочную старую скамью ненавижу.

Она остановилась, взглянуть, куда он тычет гневным перстом, и он обнял ее. Поначалу она уклонялась от его губ, но он отчаянно настаивал, и внезапно она покорилась, и случилось малое чудо. Дрожь нежности прошла по ее чертам, как ветер проносится рябью по отражению в воде. Ресницы ее намокли, плечи, сжатые им, затряслись. Этому мигу ласковой муки не суждено было повториться, — а вернее, ему недостало времени, чтобы вернуться назад по завершении присущего его ритму цикла; но то недолгое содрогание, в котором она растаяла вместе с солнцем, вишнями, с прощенным пейзажем, установило тон его нового

бытия с царившим в нем ощущением “все-идет-хорошо”, которого не колебали ни самые дурные ее настроения, ни самые дурацкие причуды, ни самые досадные притязания. Этот поцелуй, а не то, что его предварило, и стал подлинной их помолвкой.

Без единого слова она разомкнула его объятия. Длинная вереница мальчиков, замыкаемая школьным учителем, поднималась к ним по крутой тропе, Один из мальчишек вскарабкался на ближайший круглый валун и с веселым воплем сиганул вниз. “Grüss Gott”[1], — сказал их учитель, минуя Арманду и Хью. “Приветик”, — откликнулся Хью. “Он решит, что ты спятил”, — сказала Арманда.

Буковой рощей, и перейдя потом реку они добрались до околицы Витта, прошли по грязному косогору — коротким путем, между недостроенных дач — и очутились у виллы “Настя”. Анастасия Петровна хлопотала на кухне, расставляла по вазам цветы. “Мама, выйди, — прокричала Арманда. — Жениха привела.”

16

В Витте имелся новенький теннисный корт. Однажды Арманда вызвала Хью на партию.

С самого детства с его ночными страхами сон составлял для нашего персонажа привычное затруднение. Затруднение было двояким. Порой приходилось часами уламывать черный автомат, вновь и вновь автоматически воскрешая некий действенный образ, — но то была лишь одна из докук. Другую представляло мнимо-безумное состояние, в которое погружал его сон, если, конечно, сон приходил. Никак не мог он поверить, что приличных людей посещают нелепые и непристойные ночные кошмары, корежившие его по ночам и во весь остальной день отзывавшиеся гудом в ушах. Ни редкие рассказы друзей о дурных сновидениях, ни истории болезней в фрейдовых сонниках с их смехотворными разъяснениями и близко не походили на изощренные гнусности его почти еженощных переживаний.

[1] Здравствуйте *(нем.)*.

В отрочестве он пытался сладить с первой бедой посредством хитроумной методы, помогавшей лучше всяких пилюль (из коих слабые насылали сон слишком краткий, а сильные усугубляли живость монструозных видений). Открытый им способ состоял в том, чтобы с метрономической точностью мысленно переиграть все удары. Единственной игрой, в какую он игрывал в юности и в какую еще сохранял в сорок лет способность играть, был теннис. Играл он не просто сносно, с некоторой лихостью стиля (перенятой многие годы назад у удалого кузена, тренировавшего мальчиков в той новоанглийской школе, где директорствовал отец), он еще изобрел удар, которого ни Гай, ни Гаев зять, профессионал даже лучший, не умели ни дать, ни взять. Было в нем нечто от искусства для искусства, ибо ничего общего с низкими, опасными мячами, для которых потребна идеально уравновешенная постановка тела (в спешке не легко достижимая), он не имел и сам по себе никогда не позволял Хью выиграть матч. "Удар Персона" исполнялся напряженной рукой и сочетал в себе сильный драйв с льнущей "подрезкой", как бы влекущейся за мячом от его столкновения с ракетой и до самого завершения удара. Причем столкновению (в чем и состояла главная прелесть) полагалось происходить на дальнем краю ракетной сетки, а исполнитель удара находился достаточно далеко от точки отскока и как бы дотягивался до мяча. Опять же и отскок требовался довольно высокий, чтобы верхушка ракеты как должно, без тени "подкрутки", приникала к мячу, отсылая "подклеенный" мяч по тугой траектории. Если "прилипание" оказывалось недостаточно долгим или начиналось слишком близко, в середине ракеты, результатом была рядовая, вялая, медленно клонящаяся "галоша", которую, конечно, вернуть ничего не стоило; но при точном исполнении удар резким щелчком отзывался в предплечье и мяч, свистя, соскальзывал по строго выверенной прямой в точку у задней линии. Ударясь о грунт, он словно бы приклеивался к нему, и казалось, что так же, как к струнам ракеты в миг нанесения удара. Вполне сохраняя скорость, мяч едва взлетал над землей; в сущности, Персон верил, что, упражняясь долго и самоотверженно,

можно добиться, чтобы мяч вообще не отскакивал, а стремглав катил по поверхности корта. Никто не способен вернуть мяч, если тот не отскакивает, и конечно, в ближайшем будущем такие удары попросту запретят, как недопустимую порчу спорта. Но даже в грубой версии своего создателя удар порой приносил сладкое удовлетворение. Любая попытка вернуть его неизменно выставляла противника забавным мазилой, потому что ни подцепить низко несущийся мяч, ни тем более толком ударить по нему было невозможно. Гай и еще один Гай недоумевали и злились всякий раз, как Хью исхитрялся выполнить свой "прилипчивый драйв", — жаль только, удавалось это нечасто. Он утешался тем, что не открывал озадаченным профессионалам, пытавшимся повторить этот удар (и добивавшимся всего лишь вялой "подкрутки"), что весь фокус не в "подрезке", и даже не в "прилипании", а в том месте ракеты, на котором оно происходит, — в верху ракетных струн, — да еще в напряге достигающего движения руки. Многие годы Хью мысленно лелеял свой драйв, даже после того, как возможность прибегнуть к нему свелась к паре ударов в бестолковой игре. (В сущности, последнее исполнение состоялось тем днем в Витте, когда он играл с Армандой, после чего она удалилась с корта, и больше ее туда заманить не удалось.) По большей же части он применял его в качестве средства самоусыпления. В ту пору, еще до супружеской спальни, он значительно усовершенствовал свой удар, — к примеру, убыстрив подготовку к нему (для отражения резкой подачи) и научившись воспроизводить его зеркальное, левостороннее отображение (взамен дурацкого обегания мяча). Стоило только найти на мягкой прохладной подушке место, удобное для щеки, как знакомый твердый трепет уже бежал по руке, и он начинал прохлопывать себе путь сквозь игры — одну за одной. Имелись и дополнительные приправы: он то втолковывал сонному репортеру: "Подрезать, не повреждая", то завоевывал в благодатном тумане Кубок Дэвиса, до краев наполненный маками.

Почему, женившись на Арманде, он отставил это снотворное снадобье? Не потому ведь, что она порицала его любимый удар как оскорбительное занудство? Была ли

тому виной новизна общей постели и близость иного мозга, гудящего по соседству с его, разрушая укромность выполнения усыпительной, — и пожалуй, довольно детской — процедуры? Возможно. Как бы там ни было, он отступился, уговорив себя, что две совершенно бессонных ночи в неделю составляют для него безвредную норму, а иными ночами довольствовался обзором событий дня (тоже на свой манер автомата), забот и горестей заводной жизни, украшенной там и сям павлиньим глазком того, что у тюремных психиатров называлось "иметь секс".

Так он говорит, что, помимо трудностей засыпания, его еще донимали сны?

Да, вот именно донимали, очень точное слово! Он мог потягаться с первейшим безумцем по части повторения определенных кошмарных ходов. Иногда он сразу же различал первый грубый набросок, и с ним варианты, вразрядку идущие один за другим, они менялись в мелких деталях, подчищая сюжет, добавляя новые частности, погнуснее, но всякий раз переиначивая очередной вариант все той же, иначе не существующей повести. Ну, хорошо, послушаем о частностях погнуснее. Как вам будет угодно. В особенности один эротический сон повторялся в течение нескольких лет с упорством кретина — до и после смерти Арманды. В этом сне, от которого психиатр (чудачливый отпрыск цыганки и неизвестного солдата) отмахнулся, сочтя его "слишком прямолинейным", ему подносили огромное блюдо со спящей красавицей под цветочным гарниром и подушку с набором орудий. Последние рознились шириной и длиной, а количество их и подбор ото сна ко сну изменялись. Они лежали опрятным тесным рядком: один, в ярд длиною, был изготовлен из вулканизированной резины и венчался фиолетовой головкой, за ним шел надраенный штырь, короткий и толстый, за этим — штопоровидная штука потоньше с кольцами мокрого мяса и сквозистого сала, — и так далее, примеры выбраны наугад. Вообще-то и смысла не было выбирать — коралл, бронзу или мучительный каучук — потому что за какой инструмент ни возьмись, он тут же менял размеры и форму, не удавалось и толком приладить его к своей анатомии, он либо отламывался в самой точке

воспламенения, либо продольно трескался между ног или костей более-менее раскромсанной красотки. Он желал бы с наиполнейшим, неистовым, антифрейдовым пылом подчеркнуть следующее: эти онейрические пытки никак не соприкасались — ни впрямую, ни в "символическом" смысле, — ни с чем, испытанным им в сознательной жизни. Эротическая тема оставалась лишь темой, одной среди многих, как "Мальчик для развлечений" остался лишь чужеродной причудой в ряду сочинений серьезного, слишком серьезного автора, осмеянного в недавнем романе.

В другом, не менее зловещем ночном испытании он старался остановить или отвести струйку то ли зерна, то ли мелких камушков, сочившуюся из прорехи в ткани пространства, но ему во всех мыслимых смыслах мешало какое-то паутиноподобное, ветошное, волокнистое крошево, какие-то кучи и котлованы, ломкий хлам, валкие великаны. В конце концов он утыкался в массы мусора — и *это* была смерть. Не такими пугающими, но может быть даже в большей степени опасными для рассудка были "обвальные" сны на краю пробуждения, обращающего их образы в движение словесных осыпей в долинах Сона и Стоуна, чьи округлые серые скалы, Roches étonnées[1], названы так по причине их как бы изумленной, осклабленной поверхности, меченной темными "зенками" (écarquillages). Грезящий человек являет нам идиота, не вполне лишенного звериного хитроумия; роковой изъян его разума смахивает на слитный лепет скороговорщиков: "во-рискует-сукин-кот!"

Очень жаль, сказали ему, что он не повидал своего аналитика, едва усилились эти кошмары. Он ответил, что аналитика не держал. Доктор, проявляя большое терпение, пояснил, что применил местоимение "свой" не в притяжательном смысле, а в бытовом, ну, как в рекламе: "Требуйте у своего бакалейщика". А Арманда когда-нибудь анализировалась? Если речь идет о миссис Персон, а не о кошке или ребенке, ответом будет "нет". Она, кажется, еще в юности увлеклась необуддизмом или чем-то похожим, и когда в Америке новые друзья уговаривали ее, как вы

[1] Изумленные скалы *(фр.)*.

выражаетесь, проанализироваться, она отвечала, что, пожалуй, попробует, но сначала нужно закончить восточные штудии.

Выяснилось, что по имени ее назвали единственно для создания непринужденной обстановки. Это всегда так делается. Да вот не далее как вчера один заключенный совсем перестал смущаться, едва лишь ему предложили: Скажи-ка дяде, чего тебе снится, а то из тебя прямо дым идет. Все-таки кое-что осталось недостаточно ясным, а именно, — не приходилось ли Хью, вернее, мистеру Персону, переживать во сне "позыв к разрушению"? Возможно, сам термин недостаточно ясен. Ну, скажем, скульптор, он имеет возможность сублимировать этот позыв, налетая с молотком и зубилом на неодушевленный предмет. Полезнейшим средством канализации такого позыва является и хирургия: один уважаемый, хотя и не всегда удачливый хирург признался в личной беседе, как трудно бывает ему удержаться при операции от того, чтобы не отхватить всякий орган, какой только лезет в глаза. В каждом с детства таятся скрытые напряжения. И Хью нечего их стыдиться. Ведь в сущности, и половая тяга зарождается при созревании как подмена тяги к убийству, нормально реализуемой в сновидениях; а бессонница — это просто боязнь осознания во сне подсознательной потребности в сексе и насилии. У взрослых мужчин порядка восьмидесяти процентов всех сновидений являются сексуальными. Вы ознакомьтесь с результатами Клариссы Дарк, — она собственноручно исследовала около двухсот здоровых заключенных, — конечно, сроки им скостили на число ночей, проведенных в спальнях Исследовательского Центра. Так вот, у ста семидесяти восьми из них наблюдалась мощная эрекция в той стадии сна, которую мы называем ГАРЕМ ("Глаза Активно Рыскают, Ерзают, Мечутся"), для этой стадии характерны видения, вызывающие резкое вращение глаз, человек как бы сам себя ест глазами. А кстати, когда мистер Персон впервые почувствовал ненависть к миссис Персон? Без ответа. Может быть, ненависть с самой первой минуты входила в состав его чувства к ней? Без ответа. Ему не случалось покупать для нее свитеров с высоким сборчатым

воротом? Без ответа. И он не сердился, когда она говорила, что свитер слишком давит горло?

— Меня вырвет, — сказал Хью, — если вы будете приставать ко мне с этой омерзительной белибердой.

17

Порассуждаем теперь о любви.

Какие могучие слова, какое оружие хранится в горах, в укромных углах, в особых тайниках гранитного сердца, за стальными плитами, выкрашенными под масть окрестным крапчатым скалам! Однако Хью Персон, когда он в недолгие дни ухаживания и супружества покушался высказать свою любовь, не знал, где найти слова, которые ее убедят, которые проймут ее и застят яркой слезой жесткий взор ее темных глаз! И напротив, что-то произнесенное мимоходом, не подразумевавшее ни поэзии, ни печали, какая-нибудь пустяковая фраза вызывала внезапно истерически счастливый отклик в суховатой душе этой, в сущности говоря, несчастливой женщины. Сознательные попытки проваливались. Если он, как бывало порой в самый серенький час, откладывал чтение, чтобы без малейших любовных помыслов войти в ее комнату и, подвывая от обожания, подползти к ней на четвереньках, подобно исступленному, доселе еще не описанному недревесному ленивцу, холодная Арманда предлагала ему подняться и перестать валять дурака. Самые пылкие прозвища, какие только ему удавалось придумать, — моя принцесса, любовь моя, мой ангел, моя зверушка, мой упоительный зверь, — попросту выводили ее из себя. "Ну почему, — осведомлялась она, — почему ты не можешь разговаривать со мной нормально, по-человечески, как джентльмен с дамой, почему тебе обязательно нужно разыгрывать шута горохового, ты что, не способен быть простым, серьезным, понятным?" Да ведь в любви, отвечал он ей, есть все, что угодно, кроме понятности, ведь нормальная жизнь отдает шутовством, а простой человек при слове "любовь" только скалится. Он норовил поцеловать полу ее платья, куснуть брючную

складку, или подъем, или палец ее гневливой стопы, — и пока он пресмыкался, немузыкально мыча, так сказать, самому себе на ухо слезные, неземные, редкостные, рядовые слова, незначительные и всезначащие, простое изъявление любви становилось сродни ублюдочному подражанию птичьей повадке, фарсом, который мужчина разыгрывает в одиночку, без единой женщины вблизи, — длинная шея вытягивается, изгибается, падает клюв, и шея распрямляется снова. В конечном итоге ему становилось стыдно, но остановиться он не умел, а она не умела понять его, потому что ни разу не нашел он в эти минуты нужного слова, нужной ниточки водорослей.

Он любил ее, как ни была она для любви непригодна. Арманда обладала множеством неприятных, хоть и не обязательно редкостных черт, без изъятия почитавшихся им за дурацкие ключи к умной загадке. Свою мать она прямо в глаза называла скотиной, не сознавая, конечно, что, отправляясь с Хью в Нью-Йорк и на гибель, никогда больше матери не увидит. Она любила устраивать дотошно продуманные приемы, и как бы давно ни состоялся тот или иной замечательный вечер (десять месяцев назад, пятнадцать или раньше, еще до замужества, в материнском доме в Брюсселе или Витте), каждый участник и каждая частность навек застывали в гудящей стуже ее опрятного разума. В воспоминании эти вечера представлялись ей звездами на волнующемся занавесе прошлого, а гости — оконечностями ее собственной личности: уязвимыми точками, к которым следует впредь относиться с ностальгическим уважением. Если Джулии или Джун случалось к слову обмолвиться, что они никогда не встречали художественного критика К. (кузена покойного Шарля Камара), при том что и Джун, и Джулия присутствовали на приеме, как то было помечено в голове у Арманды, она не на шутку злилась и с надменной неторопливостью отчитывала их за ошибку, да еще прибавляла, изгибаясь, словно танец живота исполняла: “Вы, значит, забыли и бутерброды от “Отца Игоря” (какой-то особенный магазин), которыми так объедались”. За всю свою жизнь Хью не встречал такого неровного норова, такого смертельного самолюбия, настолько

замкнутого на себе существа. Джулия, катавшаяся с ней на коньках и на лыжах, считала Арманду милочкой, но в большинстве женщины ее порицали, и болтая по телефону, передразнивали ее довольно жалостные приемы наскока и отступления. Стоило кому-то начать: "Как раз перед тем, как я сломал ногу..." — и она уже победно отзванивала: "А я в детстве сломала обе!" По какой-то неясной причине она усвоила тон иронический и в общем неласковый, обращаясь к мужу на людях.

Странные ее посещали причуды. В пору их медового месяца в Стрезе, последней тамошней ночью (нью-йоркская редакция требовала его возвращения), она решила, что последние ночевки в гостиницах, не оборудованных пожарными лестницами, статистически опаснее прочих, а их отель действительно выглядел чрезвычайно горючим, на грузный старинный покрой. Неизвестно по каким причинам телевизионные режиссеры считают, что нет ничего фотогеничнее и вообще занимательнее, чем хороший пожар. Арманду, смотревшую итальянские новости, встревожило, если она не прикинулась (она любила поинтересничать), одно такое несчастье, появившееся на местном экране, — язычки пламени, словно слаломные флажки, и языčища, как внезапные демоны, скрещение изогнутых водных струй, как будто бьющих из вычурных фонтанов, и клеенчатый посверк бесстрашных мужчин, направляющих разнообразно запутанные действия на фоне распада и дыма. Той ночью в Стрезе она настояла, чтобы они отрепетировали (он в спальных трусах, она в пижаме "Дзюдо-Юдо") акробатический побег в грозовом мраке, спустившись по прихотливо украшенному фасаду отеля с их четвертого этажа на второй, а оттуда на крышу галереи, окруженной протестующе машущими деревьями. Хью понапрасну ее урезонивал. Воодушевленная девушка заявила, что она, будучи опытным скалолазом, уверена в осуществимости этой затеи, нужно только воспользоваться как приступками разнообразными украшениями, обильными выступами и металлической оградой балкончиков, разбросанных там и сям в помощь аккуратному нисходителю. Она велела Хью следовать за ней, освещая ей сверху путь электрическим

фонарем. Предполагалось также, что он будет держаться достаточно близко, чтобы помогать при нужде, держа ее на весу и тем увеличивая в отвесной протяженности, пока она станет нашаривать голой ступней очередную ступеньку.

Хью при немалой мощи передних конечностей был антропоидом на редкость неловким и основательно испортил все предприятие. Он застрял на карнизе прямо под их балконом. Фонарик, бестолково обрыскав малый участок фасада, выскользнул из его лапы. Свесясь со своего насеста, Хью кричал, умоляя ее вернуться. Ставень хлопнул у него под ногой. Хью ухитрился вскарабкаться назад на балкон, все еще выкликая ее, хоть и уверился уже, что она погибла. Впрочем, она в конце концов отыскалась в одном из номеров третьего этажа — мирно курящая, завернутая в одеяло, она лежала в постели незнакомого господина, а тот сидел у кровати в кресле и читал журнал.

Любовные ее странности озадачивали и тревожили Хью. Он мирился с ними во время свадебного путешествия. После его возвращения со своей непростой новобрачной в нью-йоркскую квартиру причуды эти обратились в привычку. Арманда постановила, что они будут систематически заниматься любовью в гостиной, во время вечернего чая — как бы на воображаемой сцене, непрестанно и непринужденно беседуя о том о сем, причем обоим исполнителям долженствует быть пристойно одетыми: на нем его лучший деловой костюм и галстук в горошек, на ней — элегантное черное платье, застегнутое на горле. В виде уступки природе дозволялось расстегивать, а то и стягивать кое-что из исподнего, но совсем, совсем неприметно, ни на миг не прерывая изысканной беседы: нетерпеливость объявлялась неподобающей, показной, безобразной. Газета или книга, прихваченная с кофейного столика, помогала прикрыть те из приготовлений, без которых он, бедный Хью, никак уж не мог обойтись, и горе ему, если он вдруг поморщится или замешкается во время совокупления; но гораздо сильнее ужасной возни с подштанниками в путанице его ущемленного лона или скрипучего соприкасания с ее гладкими, словно латы, чулками удручала его необходимость поддерживать пустой разговор — о знакомых, о политике, о зна-

ках Зодиака или о слугах, между тем без запретной зримой поспешности подвигая тайком томительные труды к конвульсивному концу в полусидячем сплетении на неудобном диванчике. Посредственная потенция Хью едва ли пережила бы эти мучения, если б Арманде удавалось в большей, чем она полагала, степени скрывать от него возбуждение, вызываемое контрастом между фактическим и фиктивным — контрастом, способным в конечном счете претендовать на артистическую утонченность, особенно если вспомнить кое-какие обычаи некоторых дальневосточных народов, только что не полоумных во многих иных отношениях. Но главным, что питало ее, было ни разу не обманувшее ожидание ослепляющего блаженства, понемногу сообщавшего нечто идиотическое ее милым чертам, как бы ни силилась она поддерживать поверхностную болтовню. В сущности, он предпочитал эти сцены в гостиной еще даже менее нормальной обстановке тех редких оказий, когда ее посещало желание, чтобы он обладал ею в спальне, надежно спрятанный под одеялом, пока она щебетала по телефону, обмениваясь сплетнями с приятельницей или дурача незнакомого мужчину. Способность нашего Персона со всем этим мириться, отыскивать разумные объяснения и так далее, усугубляет наше к нему теплое отношение, но порою, увы, провоцирует также прозрачный смешок. Он, например, объяснял себе ее нежелание обнажаться тем, что она стесняется своих крохотных выпяченных грудей и шрама на правом бедре, полученного при несчастливом падении с лыж. Глупенький Персон!

Сохраняла ли она верность ему в те месяцы их супружества, что протекли в непрочной, нестрогой, неумеренной Америке? В первую и последнюю их американскую зиму она несколько раз уезжала покататься на лыжах в Авал, Квебек, или в Шут, Колорадо. Оставаясь один, он запрещал себе думать о пустяковых прелюбодеяниях, когда, скажем, рука ее задерживается в руке какого-нибудь балбеса или когда тому вместе с пожеланием доброй ночи даруется поцелуй. Даже помыслить о такой ерунде было для него так же мучительно, как вообразить похотливое соитие. Стальная дверь его души оставалась в ее отсутствие наглухо

запертой, но стоило ей появиться — с сияющим загорелым лицом, с точеной, словно у стюардессы, фигуркой в синем пальто с плоскими пуговками, яркими, как золотые жетоны, — что-то в нем призрачно растворялось, и дюжина гибких атлетов принималась, разбирая ее по статям, роиться вокруг нее во всех мотелях его мозга, хотя на деле, по нашим сведениям, она за все три поездки вкусила полную близость от силы с дюжиной пробных любовников.

Никто, и менее всех ее мать, не мог постичь, чего ради Арманда выскочила за довольно бесцветного американца с не очень солидной работой, — но пора нам уже закончить наше рассуждение о любви.

18

Во вторую неделю февраля, примерно за месяц до того, как смерть их разлучила, Персоны на несколько дней слетали в Европу: Арманда — чтобы навестить мать, умиравшую в бельгийской больнице (преданная дочь опоздала), а Хью — повидаться по поручению издательства с мистером R. и еще с одним американским писателем, также осевшим в Швейцарии.

Лил сильный дождь, когда такси высадило его перед стоявшим в горах над Версексом большим, старым и уродливым загородным домом R. Он прошел гравистой тропкой с дождевыми потоками, пузырящимися по обеим ее сторонам. Парадная дверь оказалась раскрытой, и притаптывая половик, он с веселым удивлением увидел Джулию Мур, стоявшую спиной к нему у телефонного столика в прихожей. Опять, как в прошлом, она носила прическу хорошенького пажа и ту же оранжевую блузу. Когда он наконец вытер ноги, она положила трубку и обернулась ничем не похожей девушкой.

— Простите, что заставила вас дожидаться, — сказала она, уставя на него пару смеющихся глаз. — Я заменяю мистера Тамворта, он отдыхает в Марокко.

Хью Персон прошел в библиотеку, уютно обставленную, но решительно старомодную и очень скудно освещен-

ную, полную энциклопедий, справочников, указателей и авторских экземпляров произведений нашего автора во множестве изданий и переводов. Он присел в клубное кресло и вытащил из портфеля список вопросов, которые следовало обсудить. Два главных были такие: как изменить некоторых слишком легко узнаваемых в рукописи "Фигуральностей" лиц и что делать с этим коммерчески невозможным заглавием.

Вышел R. Он не брился дня три или четыре и был облачен в смешной синий комбинезон, который находил очень удобным для рассовывания по нему орудий своего ремесла, как то: карандашей, шариковых ручек, трех пар очков, справочных карточек, крупных скрепок, круглых резинок и — невидимого — кинжала, который он после нескольких приветственных слов нацелил в нашего Персона.

— Могу повторить только то, — сказал он, падая в кресло, освобожденное Хью, и указывая ему на такое же насупротив, — что уже говорил — и не раз, но частенько: можно охолостить кота, но моих персонажей не выхолостишь. Что до заглавия, представляющего собой вполне добропорядочный синоним слова "метафора", то его из-под меня не выдрать и взбесившимся жеребцом. Мой врач присоветовал Тамворту запереть погреб, тот послушался и ключ куда-то засунул, а кузнец не берется подделать его раньше чем в понедельник, я же, знаешь ли, слишком горд, чтобы покупать дрянные деревенские вина, поэтому могу предложить тебе только, — ты заранее замотал головой, и ты чертовски прав, сынок, — консервную банку с абрикосовым соком. Теперь позволь мне сказать кое-что насчет заглавий и печатных клевет. Знаешь, от этого письма, которое вы мне прислали, у меня глаза изо лба полезли. Меня обвиняют в том, что я копаюсь в пустяках, но и пустые личности в моих книгах неприкосновенны, если ты мне простишь такой каламбур.

И он принялся объяснять, что когда настоящий художник создает персонаж, беря за основу живого человека, то любая попытка переписать этот персонаж в целях его маскировки равносильна умерщвлению здравствующего

прототипа, — это, знаешь, как протыкаешь булавкой глиняную куколку, и девушка по соседству валится замертво. Если композиция художественна, если в ней не одна вода, но присутствует и вино, тогда она неуязвима в одном отношении и страшно хрупка в другом. Хрупка, потому что, когда пугливый редактор заставляет художника заменить "щуплый" на "пухлый" или "брюнет" на "блондин", он уродует и образ, и нишу, в которой тот установлен, и целую церковь вокруг; а неуязвима по той причине, что, как бы сильно ни менялось изображение, прототип будет все равно узнаваем по очертаниям дырки, оставшейся в ткани рассказа. И помимо всего, этим бездельникам, в описании которых его обвиняют, слишком на все наплевать, чтобы они стали негодовать и кричать о своем присутствии в книге. На самом деле каждый из них скорее станет с наслаждением вслушиваться в пересуды по литературным салонам, делая, как говорят французы, знающее лицо.

Что до заглавия — "Фигуральности" — это совсем другая история. Читатель не сознает, что существует два типа заглавий. К одному относятся те, что находятся глупым автором или умным издателем уже после того, как книга написана. *Это* попросту бирка, прилепленная на книгу и пришлепнутая кулаком. Большая часть худших наших бестселлеров носят заглавия именно этого рода. Но есть и иная разновидность: заглавие, которое просвечивает сквозь книгу наподобие водяного знака, заглавие, которое рождается вместе с книгой, заглавие, с которым автор за годы накопления исписанных страниц свыкается до того, что оно проникает в состав каждой из них и всех сразу. Нет, с "Фигуральностями" мистер R. расстаться не может.

Хью несмело заметил, что ухо все норовит заменить "Фигуральности" на какое-нибудь "Фигу-в-рай-нести".

— Ухо невежи! — рявкнул мистер R.

Припрыгала хорошенькая секретарша и объявила, что ему не следует ни волноваться, ни уставать. Великий человек с усилием встал и стоял, подергиваясь, ухмыляясь, протянув большую волосатую лапу.

— Ну что же, — произнес Хью, — разумеется, я расскажу Филу, насколько важными кажутся вам его замечания.

До свидания, сэр, на той неделе вам доставят проект обложки.

— Пока до скорого, — сказал мистер R.

19

Мы снова в Нью-Йорке, это последний их вечер вместе.

Подав им прекрасный ужин (может быть, несколько сытноватый, но не сверхизобильный, — ни он, ни она не любили слишком наедаться), полная Паулина, femme de ménage[1], чьи услуги они делили с бельгийцем-художником, жившим в пентхаузе прямо над их головами, перемыла посуду и в обычный свой срок (примерно девять с четвертью) ушла. Поскольку она имела неприятное обыкновение на минутку присаживаться у телевизора, Арманда всегда дожидалась ее ухода, а там уже крутила его ручки в свое удовольствие. Вот и теперь она включила приемник, дала ему подышать с минуту, переменила канал — и, фыркнув от омерзения, выключила (ее приязни и неприязни по этой части не отличались особой последовательностью, она могла с пылким постоянством смотреть одну-две программы или, напротив, неделями не касаться ящика, словно бы казня волшебную выдумку за известный лишь ей проступок, — Хью предпочитал не вникать в ее темные распри с актерами и комментаторами). Она раскрыла книгу, но тут позвонила жена Фила, чтобы пригласить ее на завтрашнюю премьеру лесбийской драмы, исполняемой лесбийской же труппой. Их разговор занял двадцать пять минут, Арманда журчала доверительно и приглушенно, а Филлис голосила так, что Хью, за круглым столиком правивший стопку гранок, мог при желании слышать оба берега пустого потока. Взамен он довольствовался кратким отчетом, данным Армандой по возвращении на серого плюша диванчик при ложном камине. Часов около десяти на них, как обычно, обрушилась сверху череда раздирающих ухо скрежетов и содроганий: идиот-сосед отволакивал тяжеленный образ-

[1] Служанка *(фр.)*.

чик неописуемой скульптуры ("Pauline anide" по каталогу) из середины студии в угол, занимаемый ею по ночам. Реакция Арманды была неизменной: смерив потолок разгневанным взглядом, она заметила, что соседи менее добродушные и сочувственные давно бы уже нажаловались кузену Фила (управлявшему этим доходным домом). Когда мир был восстановлен, она принялась отыскивать книгу, которую держала в руках перед телефонным звонком. Всякий раз, замечая в точной, трезвой, толковой Арманде красоту и беспомощность человеческой рассеянности, муж ее испытывал прилив особенной нежности, примирявший его с унынием и уродством того, что люди не очень счастливые называют "жизнью". В этот раз он нашел предмет ее трогательных поисков (в журнальной стойке у телефона) и, вручая его, получил дозволение тронуть почтительными губами ее висок и прядь светлых волос. Затем он возвратился к вычитке "Фигуральностей", а она к книжке — французскому путеводителю, перечислявшему множество отменных ресторанов, помеченных в перечне вилкой и звездочкой, но совсем немного "приятных, тихих, удобно расположенных гостиниц" с тремя и более башенками, а то и с красной певчей птичкой на ветке.

— Занятное совпадение, — заметил Хью. — Один его персонаж в довольно похабном пассаже... кстати, как правильно — "Савой" или "Савойя"?

— Что за совпадение?

— Да. Один его персонаж, просматривая расписание поездов, говорит: как много миль отделяют Кондом в Гаскони от Письки в Савойе.

— "Савой" — это гостиница, — сказала Арманда и двукратно зевнула, сначала не размыкая губ, потом открыто. — Не знаю, отчего я так устала, — прибавила она, — но все эти зевки только отваживают сон. Пожалуй, испытаю-ка я сегодня новые таблетки.

— А ты попробуй представить, что съезжаешь на лыжах по очень крутому и ровному склону. Я в юности играл мысленно в теннис — и часто помогало, особенно с новыми и очень белыми мячами.

С минуту она посидела, задумавшись, потом заложила красной ленточкой книгу и пошла за стаканом на кухню.

Хью любил перечитывать гранки дважды, раз — ради недостатков набора, другой — ради достоинств текста. Он верил, что дело только выигрывает, когда зрительную проверку сменяет утоление разума. Теперь он как раз тешил последний, и не ища ошибок, сохранял все же возможность приметить пропущенный промах — свой или наборщика. Помимо того, он позволял себе — с всемерной почтительностью — подвергать сомнению (на полях второго, предназначенного автору, экземпляра) кое-какие своеобычности слога и правописания, полагаясь на понимание великим человеком того, что сомнение вызывает не гениальность его, а грамматика. После долгих обсуждений с Филом решено было не предпринимать ничего по поводу риска быть обвиненными в диффамации, сопряженного с прямотой, присущей R. в описании его непростой любовной жизни. Он “уже однажды заплатил за нее одиночеством и раскаянием и готов теперь расплатиться наличными с любым дураком, которого заденет его рассказ” (укороченная и упрощенная цитата из его последнего письма). В длинной главе, куда более разнузданной (при всей грандиозности словесной отделки), чем жеребячья болтовня охаянных им модных авторов, R. изобразил мать и дочь, которые ублажают своего молодого любовника впечатляющими ласками в горах, на краю скалы, обрывающейся в театральную бездну, а также в иных, не столь рискованных местах. Хью не знал миссис R. достаточно близко, чтобы оценить ее сходство с матроной из книги (отвислые груди, дряблые бедра, при соитии всхрапывает, словно енот, и тому подобное); но дочь, ее повадки и жесты, ее бездыханная речь и множество иных черточек, с которыми он не был знаком сознательно, но которые укладывались в общее его представление, дочь была определенно Джулией, хоть автор и сделал ее светловолосой и вообще приглушил евразийские особенности ее красоты. Хью читал со вниманием и любопытством, не забывая, впрочем, вылавливать в прозрачном потоке текста опечатки, чем грешат и иные из нас, — там

починяя увечную литеру, тут помечая курсив; глаз его и хребет (главный орган подлинного читателя) скорей оттеняли, чем оттесняли друг друга. Случалось, что смысл фразы ему не давался, — к чему, собственно, клонится “промежек” и что это за “бурные баланы”, не вставить ли “к” перед “л” или после и не заменить в последнем случае второе “б” заглавным? Словарь, которым он пользовался дома, был не столь осведомителен, как издательский, встрепанный, огромный, и теперь он спотыкался на таких чудных вещах, как “вся прелесть юных черев” или “пятнастый небрис”. Он усомнился в имени “Омир ван Балдиков” — голландская частица вроде бы не вязалась со всем остальным; или все сочетание — попросту лукавая перетасовка? В конце концов он зачеркнул знак вопроса, зато в другом месте утвердил в правах “Reign of Cnut”[1]: робкая считчица, правившая текст до него, полагала, что нужно либо переставить в последнем слове две буквы, либо совсем заменить его на “the Knout”, — она была из русских, как и Арманда.

Наш Персон, наш читатель не был вполне уверен, что ему по душе вычурный, изломанный слог R., и все же в лучших его проявлениях (“серая радуга обглоданной облаками луны”) этот слог дьявольски расшевеливал память. Он поймал себя на том, что прикидывает, исходя из подложных данных, в каком именно возрасте, в каких обстоятельствах приступил автор к совращению Джулии: в детстве ли, когда он щекотал ее в ванне, целовал в мокрые плечи и наконец уволок в свое логово, завернув в просторное полотенце, — одно из самых вкусных мест в романе! Или он начал за ней ухаживать в первый ее студенческий год, тот, в котором ему заплатили две тысячи долларов за чтение (перед огромной толпой студентов и жителей университетского города) одного из его рассказов, к той поре уже изданного-переизданного, но и вправду прекрасного? Как хорошо обладать талантом *такого* покроя!

[1] Правление Кнута *(англ.)*.

20

Уже двенадцатый. Он погасил в гостиной свет и растворил окно. Ветреная мартовская ночь что-то тронула в комнате пальцем. За полузадернутыми шторами электрическая вывеска "ДОППЛЕР" сместилась к лиловому тону и осветила мертвенно-белые листы, оставленные им на столе.

Дав глазам свыкнуться с темнотой смежной комнаты, он воровато вступил внутрь. Начальный ее сон помечался обычно громовым храпом. Невозможно было не изумляться, как ухитряется женщина, столь хрупкая и изящная, порождать эти ревущие раскаты. В начале супружества Хью томился, боясь, что храп может продлиться целую ночь. Но всякий раз что-нибудь — шум снаружи, приснившийся толчок, сдержанный кашелек кроткого мужа — заставляло ее встрепенуться, вздохнуть, может быть, почмокать губами или поворотиться на бок, и после она уже спала беззвучно. Эта смена ритма, как видно, уже состоялась, пока он работал в гостиной, и теперь, дабы не вызвать возобновления целого цикла, он старался раздеться по возможности бесшумно. Впоследствии он вспоминал, с какими предосторожностями пришлось вытягивать чрезвычайно скрипучий ящик комода (которого днем он не слышал ни разу), чтобы достать оттуда свежие трусы, надеваемые им вместо пижамы. Шепотом выругав старую деревяшку за идиотские стенания, он не стал задвигать ящик, однако стоило ему на цыпочках двинуться к своей стороне кровати, как на смену ящику заступил дощатый пол. Разбудил? Пожалуй что разбудил, но не вполне, так — проворошил дырку в стогу, и Арманда что-то пробормотала про свет. На самом деле мрак нарушался только наклонным лучом из гостиной, дверь в которую он лишь притворил. Тихо закрыв ее, он ощупью забрался в кровать.

Несколько времени он лежал, не закрывая глаз, вслушиваясь в еще один упорный звучок, треньканье капель о линолеум под неисправной батареей. Так вы говорите, что ждали бессонной ночи? Ну не совсем. Вообще-то он ощущал сонливость и полагал, что устрашающе действенные "Пилюли Морфи", к которым он иногда прибегал, сегодня

навряд ли понадобятся; но все же сознавал, несмотря на дрему, как подбираются к нему готовые наброситься тревоги. И что за тревоги? Тревоги как тревоги, ничего серьезного или из ряду вон. Лежа на спине, он ждал, когда поднакопятся и они, и блеклые пятна, воровато ползшие по потолку к привычным местам, пока глаза привыкали ко мраку. Он думал о том, что жена опять изображает женское недомогание, чтобы держать его на расстоянии; что она, вероятно, обманывает его и во многом ином; что и он тоже в определенном смысле изменяет ей, скрывая ночь, проведенную с другой: еще до женитьбы, если ограничиться временем, но в рассужденье пространства — вот в этой самой комнате; что подготовка чужих книжек к печати — работа в общем-то унизительная; что ни эта неизбывная тягомотина, ни мимолетное недовольство ничего не значат в сравнении с его все возрастающей, все более нежной любовью к жене; что надо бы на следующий месяц повидать офтальмолога. Он подставил "д" вместо неправильной буквы и продолжил просмотр крапчатых гранок, в которые превращалась теперь застилавшая зрение тьма. Сдвоенный сбой сердца вновь катапультировал его в полную ясность сознания, и он пообещал своему невыправленному "я" ограничить дневное табачное довольствие парой сердцебиений.

— Тут вы и провалились в сон?

— Да. Может быть, я пытался еще различить неясную строчку, однако — да, я уже спал.

— Полагаю, урывками?

— Нет, напротив, другого такого глубокого сна я не упомню. Понимаете, в ночь перед этой я спал не больше нескольких минут.

— Так. Теперь я хотел бы выяснить, сознаете ли вы, что состоящие при крупных тюрьмах психологи обязаны, кроме прочего, практиковаться в той части танатологии, которая судит о средствах и способах причинения насильственной смерти?

Персон издал вялый отрицающий звук.

— Ну хорошо, попробую выразить это иначе: полиции нужно знать, какое орудие применил нарушитель закона,

а танатологу — как и почему он его применил. Пока понятно?

Вялое подтверждение.

— Орудия — это, ну, что ли — орудия. Фактически они могут составлять с применяющим их единое целое, как, скажем, плотницкий уголок — это просто часть плотника и ничего больше. С другой стороны, и сами орудия могут состоять из костей и плоти вроде вот этих (приподняв ладони Хью, поочередно похлопав их и поместив на свои для показа, как бы приступая к какой-то детской игре).

Огромные лапы Хью вернулись к нему, словно пара пустых тарелок. За ними последовали пояснения, что при удушении молодого, но вполне уже взрослого человека, как правило, пользуются одним из двух способов: любительским (и не очень надежным) — это когда нападают спереди, и более профессиональным подходом — сзади. При первом способе восемь пальцев крепко охватывают шею жертвы, а два больших сжимают горло — ему или ей; тут, правда, имеется риск, что руки, ее или его, вцепятся вам в запястья или как-то еще помешают покончить дело. При второй, более верной методе, то есть при нападении сзади, оба больших пальца сильно сдавливают тыльную часть мужской или, что предпочтительней, женской шеи, а остальные восемь заняты горлом. Первый у нас зовут "большаком", а второй "пианистом". Мы знаем, что вы на нее набросились сзади, но тут возникает такой вопрос: когда вы обдумывали, как задушить жену, почему вы выбрали "пианиста"? Потому ли, что инстинктивно чувствовали, что такой внезапный и крепкий захват сулит больший успех? Или у вас имелись другие, субъективные соображения, скажем, вы полагали, что вам будет не очень приятно смотреть, как изменяется в ходе процесса выражение ее лица?

Да ничего же он не обдумывал. Он проспал все это жуткое машинальное действо и проснулся, лишь когда оба грохнулись о пол рядом с кроватью.

Он вроде упоминал, что ему приснилось, будто дом охвачен огнем?

Именно так. Струи пламени бились вокруг, и все, что он видел, казалось застланным алыми лентами стеклянистого

пластика. Его случайная соложница метнулась к окну и настежь его распахнула. Так, а это кто же такая? Она из прошлого — уличная девица, которую он подцепил в первую поездку за границу, лет двадцать назад, бедная девушка смешанного происхождения, хотя на самом деле американка и очень милая, ее звали Юлия Ромео, эта фамилия на староитальянском означает "паломник", но ведь и каждый из нас — паломник, как каждый сон — лишь анаграмма дневной реальности. Он бросился к ней, чтобы не дать ей выпрыгнуть. Окно было большое, низкое, с широким подоконником, мягким, обтянутым тканью, по обычаю этой пламенной и льдистой страны. Какие ледники, какие зори! Светозарное тело Юлии или Джулии покрывала допплеровская сорочка, она простерлась на подоконнике, еще касаясь раскинутыми руками оконных боков. Он перегнулся через нее и заглянул вниз: там, далеко, в бездне двора или сада, шевелилось такое же пламя, вроде язычков красной бумаги, которые спрятанный вентилятор побуждает биться вокруг поддельных святочных поленьев в праздничных витринах заметенного снегом детства. Выпрыгивать, как и пытаться спуститься по бахромчатой ткани, покрывающей подоконник (в зеркальце за спиною у сна длинношеяя девушка-продавщица с чем-то средневековым, пожалуй фламандским, в лице предъявила образец бахромы), показалось ему безумием, и бедный Хью старался, как мог, удержать Джульетту. Пытаясь понадежней ее ухватить, он вцепился ей сзади в шею, прямоугольные ногти больших пальцев ушли под залитый лиловым светом затылок, другие восемь стиснули горло. На экране образовательного синема за двором или улицей появилась терзаемая трахея, но в остальном все стало удобным и безопасным: он крепко удерживал Джулию и спас бы ее от верной погибели, если б в самоубийственных попытках убежать от огня она не соскользнула неведомо как с подоконника и не увлекла его за собой в пустоту. Какое падение! Какая глупая Джулия! Какая удача, что мистер Ромео еще держал, и скручивал, и сокрушал округлый хрящик, который просвечивали рентгеном пожарники и горные гиды, собравшиеся на улице. О, как они летели! Супермен, несущий в объятиях младую душу!

Удар о землю вышел не таким жестким, как он ожидал. Это концертный вальс, а не сон пациента, Персон. Мне придется о вас доложить. Он ушиб локоть, а ее ночной столик свалился вместе с лампой, стаканом, книгой; но, благодаренье Искусству, — она была в безопасности, она была с ним, она лежала совершенно спокойно. Он нашарил и аккуратно включил упавшую лампу, не меняя ее непривычного положения. Примерно с минуту он недоумевал, что делает здесь жена, раскинувшись по полу, раскинув, словно в полете, волосы. Потом он уставился на свои застыдившиеся лапы.

21

"Милый Фил,
вне всяких сомнений, это последнее из моих писем к вам. Я ухожу от вас. Ухожу к другому Издателю, еще более великому. В его Издательском Доме меня будут править херувимы — или набирать с ошибками черти, в зависимости от того, к какому отделу припишут мою бедную душу. Итак, прощайте, милый друг, и пусть ваш наследник спустит это письмо с торгов с наибольшей для себя выгодой.

Собственноручный характер письма объясняется моим нежеланием, чтобы его прочитал Том Там или кто-то из его удальцов-машинистов. Меня смертельно мутит в единственной отдельной палате болонской больницы, после топорной операции. Добрая молодая нянюшка, которая отнесет это письмо на почту, рассказала мне, жестикулируя, как дровосек, нечто, оплаченное мной с такой же щедростью, с какой я оплатил бы иные ее услуги, будь я еще мужчиной. В сущности, услуга смертного знания бесконечно ценнее услуг любви. Согласно моей миндалеокой шпионочке, великий хирург, да прогниет и его печень тоже, соврал, объявив мне вчера с ухмылкой скелета, что operazione[1] прошла perfecta[2]. Что ж, она и была таковой

[1] Операция *(ит.)*.

[2] Прекрасно *(ит.)*.

в том же смысле, в каком Эйлер назвал ноль совершенным числом. На самом деле они распороли меня, бросили один ошалелый взгляд на руины моей fegato[1], и ничего не коснувшись, заштопали заново.

Я не стану утомлять вас проблемой Тамворта. Жаль, что вы не видели самодовольной складки выпирающих из бороды губ этого долговязого деятеля, когда он навещал меня нынешним утром. Как вы знаете, — как знают все, даже Мэрион, — он прогрыз ходы во все мои дела, заползая в каждую щель, подбирая каждое мое слово, от которого тянет немецким душком, так что теперь он в состоянии разыгрывать при покойнике Босуэлла с тем же успехом, с каким разыгрывал босса при живом человеке. Я напишу еще моему и вашему адвокату относительно мер, принятия коих я бы желал для того, чтобы Тамворт застревал на каждом из поворотов его лабиринтообразных планов.

Единственное дитя, какое я когда-либо любил, — это восхитительная, глупенькая, вероломная Джулия Мур. Каждый мой цент и сантим, а равно и все литературные останки, которые удастся выдрать из Тамвортовых лап, должны перейти к ней, какие бы темные двусмысленности ни содержались в моем завещании: Сэм знает, о чем я, и будет действовать соответственно.

В ваших руках две последние части моего Опуса. Как жаль, что нет с вами Хью Персона, чтобы присмотреть за его публикацией. Когда будете отвечать на это письмо, не пишите ни слова о том, что вы его получили, но взамен, в виде шифра, который укажет мне, что вы знакомы с его содержанием, сообщите, как добрая старая сплетница, что-либо о Хью: почему, например, он год — или больше? — проторчал в тюрьме, если признано, что действовал он в эпилептическом трансе; почему его перевели в заведение для душевнобольных преступников после того, как дело пересмотрели и никакого состава преступления в нем не нашли? И почему следующие пять или шесть лет его мотало между тюрьмой и психушкой, пока он не оказался на приватном лечении? И кто берется лечить сновидения, кроме явных мошенников? Пожалуйста, сообщите мне все

[1] Печень *(ит.)*.

подробности, потому что Персон был одним из самых славных людей, каких я знал, а также и потому, что в письмо о нем вы сможете украдкой втиснуть всякого рода секретные сведения, предназначенные для нашего бедолаги.

И поверьте, бедолага — самое точное слово. Моя увечная печень грузна, как отвергнутый манускрипт; они ухитряются с помощью частых инъекций не подпускать ко мне гиену гибельной боли, но она все же маячит *за* стеной моей плоти, подобно глухому грому непрестанной лавины, сметающей там, у меня за спиной, все постройки моего воображения, все вешки моего сознательного "я". Смешно, но я как-то привык верить, что умирающие видят тщету вещей, суетность славы, страстей, искусства и прочего. Я верил, что драгоценные воспоминания истираются в мозгу умирающего до радужной ветоши; теперь же я ощущаю совершенно противное: самые пустяковые мои чувства и таковые же всех людей обрели исполинский размер. Вся Солнечная система — лишь отражение в стеклышке моих (или ваших) наручных часов. И чем я сильнее ссыхаюсь, тем крупней становлюсь. Полагаю, это явление не вполне рядовое. Полное отвержение всех религий, когда бы то ни было примечтавшихся человеку, и полная собранность перед лицом полной погибели! Если бы мне удалось описать эту тройственную полноту в одной большой книге, она, несомненно, стала бы новой Библией, а ее сочинитель — основателем новой веры. Моей самооценке просто повезло, что книга эта написана не будет — и не только потому, что умирающие книг не пишут, но потому, что именно эта книга не смогла бы в единой вспышке выразить то, что может восприниматься лишь *непосредственно*".

Приписано адресатом:

Получено в день кончины писателя. В архив; раздел: Хранение — R.

22

Персон ненавидел свои ступни — их вид и даруемые ими ощущения. Ступни были на редкость уродливы и чувствительны. Даже повзрослев, он, когда раздевался, старал-

ся на них не смотреть. Вследствие этого его миновала американская мания разгуливать по дому босиком — этот попятный проскок сквозь детство во времена еще более бесхитростные и бережливые. Какой зазубристый трепет испытывал он при одной только мысли, что ноготь может занозиться в шелке носка (стало быть, отпадали и шелковые носки)! Так содрогается женщина, заслышав визг протираемого стекла. Ступни его были бугристы, слабы и вечно саднили. Приобретение обуви приравнивалось к посещению зубного врача. Теперь он долгим неприязненным взглядом смерил пару, купленную в Бриге дорогою к Витту. Ничего и никогда не обертывают с такой сатанинской старательностью, как обувную коробку. Он ободрал бумагу, испытав при этом нервное облегчение. В магазине он уже примерил эти неприятно тяжелые, грубые горные сапоги. Определенно они приходились впору и так же определенно вовсе не отличались удобством, на котором настаивал продавец. Добротны — да, но эта добротность угнетала. Стеная, он натянул их, и проклиная, зашнуровал. Деваться некуда, придется терпеть. Задуманное восхождение в городских туфлях не проделаешь: при первой и единственной такой попытке ноги его раз за разом разъезжались на скользких каменных плитах. Эти, по крайности, будут держаться на предательских плоскостях. Он вспомнил и волдыри, набитые такой же, правда замшевой, парой, купленной восемь лет назад и выброшенной при отъезде из Витта. Ну что же, левый давит чуть меньше правого — хромое, но утешение.

Он снял тяжелый темный пиджак и напялил старенькую ветровку. Проходя коридором к лифту, он насчитал три ступеньки. Единственное их назначение, приходившее в голову, состояло в предупреждении ему — придется страдать. Но он запретил себе думать о рваной кромке боли и закурил.

Лучший вид на горы открывался в этом отеле, — что вообще присуще подобным ему, второсортным, — из окон северного коридора. Темные, почти черные скальные пики в белых пронизях, часть гребней сливается с мрачным набрякшим небом; ниже боровый мех; еще ниже более

светлая зелень полей. Грустные горы! Гордые груды гравитации!

Ложе долины с городишком Витт и множеством деревенек вдоль узкой реки состояло из унылых лужков, обнесенных колючей проволокой и украшенных лишь буйно цветущим высоким фенхелем. Реку, ровную, словно канал, теснила ольха. Раздолье для глаз, но упокоиться им не на чем ни вдали, ни вблизи — не на слякотной же коровьей тропе, косо идущей муравчатым скатом, не на питомнике лиственниц, выстроенных по ранжиру на противоположном откосе.

На этой, первой стадии памятного посещения (Персон питал склонность к паломничеству, как и французский пращур его, католический поэт и без малого святой) он отправился через Витт к пригоршне дач на склоне над городком. Сам городок, казалось, стал еще убожей и бестолковей. Хью признал фонтан, банк, церковь, огромный каштан и кафе. Вот и почта, и скамья у ее двери дожидается писем, которые никогда не приходят.

Мост он перешел, не остановившись, чтобы выслушать пошлый шепот потока, которому не о чем было ему рассказать. Верхушку склона окаймляла еловая бахрома, дальше тоже теснились ели — туманные призраки или отряд пополнения — сереющей массой под дождливыми облаками. Здесь проложили новую дорогу, и новые дома подросли, вытеснив скудные вешки, которые он помнил или думал, что помнит.

Теперь предстояло найти виллу "Настя", еще сохранявшую нелепо уменьшенное русское имя покойной старухи. Она продала ее бездетной английской чете перед самой своей последней болезнью. Ему бы только взглянуть на крыльцо, как, случается, глянешь на глянцевитый конверт, и ты уже в прошлом.

На уличном углу Хью замешкался. Сразу за ним женщина торговала с лотка овощами. Est-ce que vous savez, Madame[1]... — Да, конечно, вверх по тому проулку. Пока она говорила, большой, белый, трясучий пес выполз из-за

---

[1] Вы не знаете, мадам *(фр.)*.

корзины, и Хью, потрясенный бессмысленным узнаванием, вспомнил, как восемь лет тому стоял на этом же месте и смотрел на этого пса, и тогда уже престарелого, а ныне отважно достигшего баснословного возраста с единственной целью — услужить его ослепшей памяти.

Кругом все стало неузнаваемо — за исключением белой стены. Сердце Хью колотилось, словно после крутого подъема. Белокурая девочка с бадминтонной ракетой присела и подняла с панели волан. Дальше вверх он увидал виллу "Настя", теперь окрашенную в небесную синеву. Все окна были закрыты ставнями.

23

Выбирая одну из уводящих в горы размеченных троп, Хью вспомнил другую подробность прошлого, а именно маститого ревизора скамеек, загаженных птицами, таких же старых, как он, там и сям догнивавших по затененным углам, — бурые листья снизу, зеленые сверху — по бокам решительно идиллической пешей тропы, поднимавшейся к водопаду. Он вспомнил трубку ревизора, усыпанную богемскими самоцветами (в гармонии с фурункулезным носом ее обладателя), и обыкновение Арманды обмениваться со старикашкой скабрезными комментариями на швейцарском немецком, покамест тот обревизовывал сор под сломанными сиденьями.

Ныне в этих местах к услугам туристов имелось множество новых подъемников и подъемов плюс недавно проложенное шоссе от Витта к гондольной станции, куда Арманда с друзьями добиралась пешком. В свое время Хью старательно изучал карту, приколотую для общего пользования к доске объявлений у почты, — большую Carte du Tendre, или Карту Терзаний. Если бы ему теперь приспело с удобством достичь ледового склона, он мог подъехать новым автобусом от Витта к подъемнику Драконита. Он, однако, желал проделать это на прежний нелегкий манер, пройдя по дороге наверх через достопамятный лес. Он надеялся, что гондолы Дракониты окажутся теми, какие

он помнил, — кабинками о двух обращенных друг к дружке скамьях. Кабинки плыли, держась в двадцати, что ли, ярдах над полоской травянистого склона, по прочисти между елями и зарослями ольхи, через каждые тридцать, примерно, секунд обмениваясь с пилонами неожиданными толчками и стрекотом, но в остальном скользя чинно.

Память Хью увязала в единый путь целый пук лесных стежек и просек — все они вели к первому сложному участку восхождения, к свалке валунов и рододендроновым дебрям, по которым приходилось продираться наверх, подбираясь к кабельной дороге. Неудивительно, что скоро он заблудился.

А память тем временем торила собственный путь. Снова он задыхался, следуя по ее немилосердным пятам. Снова она дразнила Жака, красивого юношу-швейцарца с мечтательным взглядом и с телом, покрытым рыжими, как у лисы, волосками. Снова она флиртовала с эклектическими английскими близнецами, называвшими лощины "холодными войнами" и говорившими про горные гребни "класса Ах". Ни ноги, ни легкие Хью, при всей его крепости, не позволяли ему даже в воспоминаниях двигаться с ними вровень. И когда четверка ускоряла шаги, исчезая со своими жестокими ледовыми топорами, мотками веревок и прочими орудиями пыток (снаряжение, преувеличенное невежеством), он опускался отдохнуть на камень и, глядя вниз, казалось, видел сквозь подвижный туман, как нарождаются те самые горы, которые топчут его мучители, кристаллическая кора, что заодно с его сердцем воздымалась со дна незапамятного more (моря). Впрочем, обычно он отставал еще до того, как они выбирались из бора, унылого скопища старых елей с крутыми тропками в мокрых кущах кипрея.

Ныне он поднимался по этому бору, задыхаясь так же мучительно, как в прошлом, когда тащился за золотым затылком Арманды или огромным заплечным мешком на голой мужской спине. Как и тогда, правый сапог тер в носке и уже протер в коже круглую дырку у основания среднего пальца, там теперь помещался раскаленный крас-

ный глазок, просвечивавший сквозь всякую истертую мысль. Наконец он стряхнул с себя лес — добрался до усеянного каменьями поля и амбара, которые вроде бы помнил, но ни ручья, где он мыл некогда ноги, ни поломанного моста, перемахнувшего вдруг временной провал в его разуме, нигде не было видно. Он все шел. Казалось, немного разведрилось, но скоро туча опять ладошкой прикрыла солнце. Тропка вышла на пастбище. Он заметил большую белую бабочку, распяленную на камне. Ее бумажные крылья в черных кляксах и тускло-малиновых пятнах, в обрамленье прозрачных полей, на вид неприятно измятых, чуть подрагивали на безрадостном ветру. Хью не любил насекомых, а это выглядело особенно неизящно. И все же непривычно доброе настроение помешало ему поддаться порыву и раздавить ее слепым сапогом. С неопределенной мыслью, что бедняжка, может быть, устала, проголодалась и обрадуется, если ее перенести на ближайшую коростянку, всю в розоватых цветочках, он склонился над бабочкой, но та, шумно всшелестев, увернулась от его носового платка и, неряшливыми шлепками крыльев одолев тяготение, мощно махнула в сторону.

Он добрел до указательного столба. Сорок пять минут до Ламмершпица, два с половиной часа до Римперштейна. Это не та дорога, что вела к гондолам у глетчера. Приведенные расстояния казались смутными, будто бред.

Лобатые камни, серые, в пятнах черного мха и бледно-зеленого лишайника, выстроились вдоль тропы, уходившей за столб. Он глянул на тучи, размывшие дальние пики или повисшие между ними вроде медуз. Нет смысла продолжать одинокий подъем. Быть может, она проходила здесь, быть может, ее подошвы когда-то оттиснули в этой глине замысловатый рисунок? Он оглядел остатки одинокого пикника — куски яичной скорлупы, взломанной пальцами еще одного, немногие минуты назад сидевшего здесь одинокого путника, смятый пластиковый пакет, в который одни проворные женские руки за другими вкладывали тонкими щипчиками белые шарики яблок, черные черносливы, изюм, липкую мумийку банана — сейчас их уже перева-

ривают. Скоро все поглотит серость дождя. Он почувствовал на темени первый его поцелуй и повернул назад — к лесу и вдовству.

В дни, подобные этому, зрение отдыхает, предоставляя прочим чувствам пользоваться большей свободой. С земли и с неба смыло все краски. Дождь то ли шел, то ли притворялся идущим, то ли не шел совсем, а все казалось, что он идет — в том смысле, который дано выразить в слове лишь некоторым старым северным языкам или даже не выразить, но как бы *переложить*, создавая призрак звучания, порождаемого редким дождем в сумраке благодарных розовых зарослей. "Дождь в Виттенберге, сушь в Витгенштейне". Темная шутка из "Фигуральностей".

24

Прямое вмешательство в жизнь персонажа — занятие не по нашей части, а с другой, фигурально говоря, стороны, и судьба его не является цепью предопределенных звеньев: кое-какие "будущие" события могут быть вероятней иных, ну и ладно, — все они химеричны, и каждая причинно-следственная цепочка есть итог проб и провалов, даже если вокруг вашей шеи действительно сомкнулся люнет и толпа кретинов затаила дыхание.

Мы достигнем лишь хаоса, если одни из нас примутся отстаивать мистера N., а другие стакнутся для поддержки мисс Джулии Мур, чьи увлечения — например, далекие диктатуры — придут в столкновение с интересами ее старого хворого ухажера, мистера (ныне лорда) N. Все, что мы можем сделать, понукая нашего фаворита двигаться в лучшем из направлений, в обстоятельствах, не влекущих за собой причинения кому-то другому ущерба, — это поступать подобно легкому ветерку, и уж коли подталкивать, так очень легко и в высшей степени опосредованно, — скажем, *пытаясь* наслать нашему фавориту сон, который, *мы только надеемся*, он припомнит как пророческий, если похожее происшествие и вправду случится. На печатной странице

слова "похожее" и "вправду" следует также набрать курсивом, хоть *легоньким*, указывая на *легкость*, с какой ветерок отклоняет курс персонажей. Вообще говоря, мы от курсива зависим даже сильнее, чем сочинители детских книжек со всем их милым лукавством.

Жизнь человека уместно сравнить с персонажем, танцующим во множестве обличий вкруг собственного "я": так овощи из первой нашей книжки с картинками окружали спящего мальчика — зеленый огурец, синий баклажан, красная свекла, картофель père[1], картофель fils[2], женственная спаржа и многие, ох как многие иные — их кружащий ronde[3] несся все быстрей и быстрей, образовав наконец прозрачное, смешанного окраса кольцо вокруг покойника или планеты.

И еще в одно мы не намерены ввязываться — объяснять необъяснимое. Люди научаются жить с черным бременем, с огромным саднящим горбом — с предположением, что "действительность", может статься, всего только "сон". А насколько было б страшнее, если бы ваша уверенность в том, что вы уверены в сноподобной природе действительности, и сама оказалась бы сном, встроенной галлюцинацией! Следует, впрочем, помнить, что не бывает миража без точки исчезновения, как не бывает озера без замкнутого круга твердой земли.

Мы показали, что без кавычек ("действительность", "сон") нам обойтись не под силу. Решительно можно сказать, что знаки, которыми Хью Персон все еще перчит граночные поля, имеют основу метафизическую или зодиакальную! "Прах ко праху" (мертвецы недурные смесители, это, по крайности, точно). Пациент, находившийся с Хью в одном из сумасшедших домов, дурной человек, но хороший философ, бывший в ту пору смертельно больным (кошмарная фраза, которой не вылечить никакими кавычками), записал в "Альбоме психушек и тюрем" (род дневника, ведомого Хью в те страшные годы):

---

[1] Отец *(фр.)*.

[2] Сын *(фр.)*.

[3] Хоровод *(фр.)*.

"Распространено убеждение, что если человек установит факт посмертного выживания, он тем самым решит или вступит на путь, ведущий к решению загадки Бытия. Увы, две эти проблемы вовсе не обязательно перекрываются или сливаются".

На этой причудливой ноте мы и закроем тему.

25

К чему клонилось твое паломничество, Персон? К простому зеркальному повторению застарелых мучений? К поискам сочувствия со стороны старого камня? К насильственному воссозданию невосстановимых мелочей? К поискам утраченного времени в смысле, полностью отличном от ужасного "Je me souviens, je me souviens de la maison où je suis né"[1] Гудгрифа да и от Прустовой погони? Он никогда (разве однажды, в конце последнего восхождения) не испытывал здесь ничего, кроме смятения и скуки. Что-то другое заставило его вновь посетить тоскливый и тусклый Витт.

Не вера в призраков. Кто из них возымеет охоту вселиться в полузабытые груды материи (он не знал, что Жак лежит, погребенный под шестью футами снега, в Шуте, Колорадо), в неверные тропы или в клубную лачугу, до которой какое-то заклятие помешало ему добраться и самое имя которой к тому же безнадежно спуталось с "Драконитой" — давно уж не выпускаемым возбуждающим средством, чья реклама, однако, продолжала пятнать заборы и даже стремнины. И все-таки нечто связанное с призрачными посещениями, вынудило его притащиться сюда с другого материка. Это, пожалуй, стоит несколько прояснить.

Практически каждый сон, в котором она являлась ему после своей кончины, разыгрывался в декорациях не американской зимы, но гор Швейцарии и итальянских озер.

---

[1] "Помню, помню я дом, где был я рожден" *(фр.)*.

И ведь он не нашел даже места в лесу, на котором веселая орава маленьких путешественников прервала незабываемый поцелуй. Миг соединения с ее доподлинным образом в обстановке, которую удастся в точности вспомнить, так и остался недостижимым.

Вернувшись в "Аскот", он сгрыз яблоко, стянул, рыча от облегчения, заляпанные глиной сапоги и, оставив без внимания ссадины и сырые носки, влез в уютные городские туфли. Теперь назад, к мучительной задаче!

Уповая на то, что какой-нибудь мелкий зрительный толчок поможет ему вспомнить номер комнаты, приютившей его восемь лет назад, он прошелся вдоль коридора третьего этажа — и после того, как номер за номером ответили ему непонимающим взглядом, остановился: уловка сработала. Он увидел очень черное 313 на очень белой двери и сразу же вспомнил, как говорил Арманде (обещавшей прийти к нему, но не желавшей справляться у гостиничной прислуги): "Мнемонически это можно представить тремя профильными фигурками — арестант, проходящий со стражником впереди и стражником сзади". Арманда ответила, что для нее это слишком кудряво и что она просто запишет номер в маленький ежедневник, который носила в сумочке.

За дверью тявкнула собака — признак, сказал он себе, постоянного постояльца. И все же с собой он унес приятное ощущение, что сумел воскресить важный кусочек вот этого, частного прошлого.

Затем он спустился вниз и попросил красавицу-консьержку позвонить в Стрезу, в гостиницу, и узнать, могут ли там дня на два сдать ему номер, в котором восемь лет назад останавливались мистер и миссис Хью Персон. Она называлась, сказал он, как-то наподобие "Бью-Ромео". Девушка повторила название в его истинном виде и сказала, что на это уйдет несколько минут. Он подождет в гостиной.

В гостиной сидели лишь двое: женщина в дальнем углу, она закусывала (ресторан оказался закрыт, там еще не прибрали после фарсовой драки), и швейцарский делец, лис-

тавший старинный номер американского журнала (кстати сказать, брошенного тут Хью тому восемь лет, — впрочем, эту линию жизни никто не исследовал). Стол по соседству с швейцарцем покрывали гостиничные брошюрки и относительно свежая периодика. Локоть дельца покоился на номере “Transatlantic”. Хью потянул журнал, и швейцарский господин едва не выпрыгнул из кресла. Взаимные извинения расцвели разговором. Английский язык мсье Вильда во многом походил на английский Арманды — и грамматикой, и интонациями. Его сверх всякой меры поразила статья в “Transatlantic” (на минуту отняв номер у Хью, он облизал большой палец, отыскал нужное место и, постукивая по странице ногтями, вернул журнал открытым на возмутительной статье).

— Тут один рассказывает про человека, который убил свою супругу лет восемь назад и...

Консьержка, чью стойку и грудь он видел в миниатюре с места, на котором сидел, издали махала ему. Вырвавшись из загончика, она затрусила в сторону Хью:

— Не отвечает, — сказала она, — хотите, чтобы я продолжала?

— Да-да, — ответил Хью, вставая и стукаясь о кого-то (о женщину, выходившую из гостиной, обернув в бумажную салфетку оставшееся от окорока сало). — Да. Ох, простите. Да, непременно. Позвоните в справочную или еще куда.

Так вот, лет восемь назад убийце дали пожизненный срок (был он дан, в старинном значенье, и Персону, но Персон растранжирил его, растранжирил в болезненном сне!), а теперь его вдруг взяли и выпустили, потому что он, видите ли, вел себя образцово и даже научил сокамерников шахматам и кункену, разговорному эсперанто (он заядлый эсперантист), наилучшим способам выпекания тыквенного пирога (он еще и кондитер), знакам Зодиака и прочее, и прочее. Некоторым людям, к сожалению, что кандалы, что кандела — это такая единица силы света в спектроскопии — им все едино.

Страшное дело, продолжал швейцарский господин, применяя выражение, прихваченное Армандой у Джулии (ныне леди N.), просто страшное дело, до чего в наше время цацкаются с преступниками. Вот хоть сегодня вспыльчивый официант, когда его обвинили в том, что он стянул ящик гостиничного "Dôle" (которого мсье Вильд, просто в скобках, не рекомендует), заехал в глаз метрдотелю — и здорово его подбил. И как полагает его собеседник, отель — что, вызвал полицию? Нет, мистер, не вызвал. Eh bien[1], по высшему (или низшему) счету ситуации очень схожи. Приходилось ли двуязыкому господину заниматься проблемой тюрем?

Как же, как же, еще бы не приходилось. Он сам сидел в тюрьме, в сумасшедшем доме, снова в тюрьме, дважды состоял под судом за удушение американской гражданки (ныне леди N.): "В свое время я целый год просидел в одной камере с совершенно чудовищным типом. Если бы я был поэт (а я всего лишь корректор), я описал бы вам рай одиночного заключения, благость незапятнанного унитаза, свободу мысли в идеальной тюрьме. Назначение тюрем (улыбаясь мсье Вильду, который смотрел на часы и мало что видел) определенно не в том, чтобы излечить душегуба, и не только в том, чтобы его покарать (чем можно покарать человека, у которого все с собой, в себе, вкруг себя). Их *единственное* назначение, назначение прозаическое, но единственно логичное, — в том, чтобы помешать убийце убить снова. Исправление? На свободу под честное слово? Миф, шутка. Зверя не исправишь. А воришек не стоит и исправлять (для них достаточно кары). В наше время в так называемых либеральных кругах заметны некие прискорбные настроения. Коротко говоря, убийца, который сам себя почитает за жертву, — он не просто убийца, он еще сумасшедший".

— Я, пожалуй, пойду, — сказал бедный, стойкий мсье Вильд.

— Дома для душевнобольных, лечебницы, клиники — все это я тоже прошел. Жизнь в сумасшедшем доме, в куче

[1] Что ж *(фр.)*.

с тридцатью, примерно, бессвязными идиотами, — это ад. Я нарочно подделывал буйство, чтобы попасть в одиночку или в это их чертово крыло для особо опасных, — для пациента вроде меня там был рай несказанный. Единственный мой шанс остаться в своем уме состоял в том, чтобы изображать недоумка. Тернистый путь. Красивый дюжий санитар с удовольствием отвешивал мне оплеуху открытой ладонью, добавляя для сходства с сандвичем еще парочку — тыльной стороною руки, — и я возвращался в блаженное уединение. При этом всякий раз, как извлекали на свет мое дело, тюремный психиатр доносил, что я отказался обсуждать с ним то, что на их профессиональном жаргоне называется "супружеским сексом". С грустной радостью должен сказать, и с грустной гордостью также, что ни охранникам (а среди них попадались люди гуманные и прозорливые), ни фрейдовым инквизиторам (эти все как один дураки или жулики) не удалось ни взломать, ни каким-либо способом изменить ту грустную личность, которой я обладал.

Мсье Вильд, заключив, что перед ним либо пьяный, либо помешанный, тяжело удалился. Хорошенькая консьержка (плоть есть плоть, а красное жало есть l'aiguillon rouge[1], и любовь моя не обидится) снова замахала ему. Он встал и пошел к ее стойке. Гостиницу в Стрезе ремонтируют после пожара. Mais[2] (поднимая хорошенький пальчик)...

Всю свою жизнь, и мы счастливы это отметить, наш Персон испытывал странное ощущение (знакомое трем знаменитым теологам и двум поэтам поплоше) присутствия за спиной — так сказать, у плеча — гораздо более крупного, невообразимо более мудрого, спокойного и сильного незнакомца, превосходящего его в рассуждении нравственности. В сущности, это и была его главная "сопроводительная тень" (некий критический скоморох задал R. таску за этот эпитет), и не будь у него этой прозрачной тени, мы бы и разговаривать не стали о дорогом нашем Персоне. На не-

---

[1] Красное жало *(фр.)*.

[2] Но *(фр.)*.

долгом пути от кресла в гостиной до восхитительной девичьей шеи, полных губ, длинных ресниц и полуприкрытых прелестей Персон услышал, как нечто или некто предупреждает его, что лучше ему оставить Витт и уехать в Верону, Флоренцию, Рим, Таормину, если Стреза окажется недоступной. Он не внял своей тени и в фундаментальном смысле был, наверное, прав. Мы-то считаем, что у него оставалось еще в запасе несколько лет животных удовольствий, и мы-то были готовы затащить эту девушку в его постель, но в конечном счете ему оставалось решать и ему умирать, если он того пожелает.

Mais! (чуть сильнее, чем "но" или даже "однако") у нее имеется для него хорошая новость. Он хотел перебраться на третий этаж, ведь так? Сегодня вечером он сможет это сделать. Дама с собачкой съезжает перед обедом. Довольно забавная история. Оказывается, ее муж присматривает за собаками в отсутствие их хозяев. А дама, когда сама отправляется путешествовать, обыкновенно берет с собой собачонку, выбирая из самых печальных. Сегодня утром позвонил муж и сказал, что владелец вернулся домой раньше времени и, не найдя своего любимца, закатил ужасный скандал.

26

Гостиничный ресторан, довольно убогое заведение, обставленное на деревенский покрой, был далеко не полон, впрочем, назавтра ожидались два обширных семейства, а кроме того, во второй — более дешевой — половине августа предполагался или мог бы предполагаться (складки временных оборотов применительно к изучаемому строению пришли в большой беспорядок) небольшой, но приятный приток немцев. Новая невзрачная девушка в народном наряде, порядочно открывавшем ее сливочный бюст, заменила младшего из двух официантов; черная повязка покрывала левый глаз мрачного метрдотеля. Нашему Персону предстояло вселиться в номер 313 сразу после обеда, и он

отпраздновал подступающее событие благоразумной дозой "Ивана Кровавого" (водка с томатным соком), предварив им гороховый суп, свинину (переодетую в "телячьи котлеты") с бутылкой рейнского и чашкой кофе с двойной виноградной водкой. Мсье Вильд смотрел в другую сторону, когда тронутый или одурманенный американец проходил мимо.

Комната оказалась точь-в-точь как ему требуется или требовалась (опять путаются времена) для ее посещения. Безупречно застеленная кровать стояла в юго-западном углу, и горничная, что несколько погодя стукнет или могла бы стукнуть, чтобы ее разобрать, не была или навряд ли была бы допущена внутрь, — если, конечно, те, кто внутри и вовне, а также кровати и двери дотянут до той минуты. На прикроватном столике соседствовала со свежей пачкой сигарет и дорожным будильником опрятно обернутая коробка с зеленой фигуркой лыжницы внутри, светившейся сквозь сдвоенный кокон. Коврик у кровати — преувеличенное полотенце, такое же бледно-синее, как постельное покрывало, — оставался еще засунут под столик, но поскольку она наперед отказалась (капризная! строгая!) остаться с ним до зари, она навряд ли увидит, навряд ли когда увидит, как коврик выполняет свой долг, принимая первый квадрат солнца и первое прикосновение оклеенных пластырем Персоновых ступней. Пучок колокольчиков и васильков (различие их тонов походило на легкую ссору любовников) был помещен либо чтившим чужие чувства помощником распорядителя, либо самим Персоном в вазу на комоде, близ которой лежал сброшенный Персоном галстук — третий оттенок синего, но в ином матерьяле (сериканет). При верной фокусировке удалось бы увидеть, как в кишечнике Хью шустро перемещаются брюссельская капуста и картофельное пюре, живописно перемешанные с розоватым мясом; в этом змеисто-пещерном ландшафте можно было бы разглядеть и два или три яблочных семечка, стеснительных странников, забредших сюда из более ранней трапезы. Сердце его, маловатое для такого увальня, имело форму слезы.

Вернувшись на правильный уровень, мы видим на крючке черный плащ Персона, а поверх спинки стула его же угольно-черный пиджак. Под карликовым письменным столиком, полным бессмысленных ящиков, в северо-восточном углу освещаемой лампой комнаты, донце мусорной корзины, недавно опустошенной уборщиком, еще сохраняет сальный мазок и клочья бумажной салфетки. Маленький шпиц спит на заднем сиденье "Амилькара", уводимого в Трукс женою собачника.

Персон забрел в ванную, опорожнил пузырь, поразмыслил, не влезть ли под душ, но теперь она могла явиться в любую минуту — если явится вообще! Он натянул щегольский свитер и вытащил последнюю таблетку антацида из хорошо ему памятного, но не сразу найденного кармана пиджака (удивительно, с каким трудом кое-кто из людей с первого взгляда отличает правый карман от левого в наброшенном на стул пиджаке). Она всегда говорила, что настоящий мужчина должен одеваться с иголочки, но мыться не слишком часто. Исходящий от gousset[1] мужской запашок, говорила она, может при некоторых положениях оказаться до крайности привлекательным, а дезодорантом следует пользоваться только дамам и гостиничным горничным. Никого и ничего в своей жизни не ждал он с таким волнением. Лоб у него намок, он дрожал, коридор был долог и тих, немногие обитатели отеля в большинстве находились внизу, болтая, играя в карты или просто счастливо балансируя на мягком краю дремоты. Он стянул покрывало и прилег головой на подушку, каблуки его туфель еще продолжали касаться пола. Новичкам нравится разглядывать такие увлекательные пустяки, как впадинка в подушке, видимая сквозь лоб персонажа — через лобную кость, зыблистый мозг, кость затылочную, сам затылок, черные волосы на затылке. В самом начале нашего всегда чарующего, порой пугающего нового бытия такого рода невинное любопытство (так играет ребенок с извилистыми

[1] Подмышки *(фр.)*.

отражениями в воде ручейка, так в приполярной обители африканка-монахиня с наслаждением трогает хрупкий циферблат первого своего одуванчика), дело вполне обычное, особенно если персонаж и тени соотнесенного с ним вещества удается проследить от юности и до смерти. *Этот* персонаж, Персон, стыл на воображаемой грани воображаемого блаженства, когда заслышались шаги Арманды, вычеркивающие оба "воображаемых" на полях корректуры (никогда не слишком широких для сомнений и правки!). Вот где оргазм искусства сквозит по спинному хребту с несравнимо большею мощью, чем любовный восторг или метафизический ужас.

В этот миг ее, теперь нестираемого, проявления сквозь прозрачную дверь его комнаты он испытал восторг, какой испытывает турист, когда отрывается от земли, земля — прибегнем к неогомеровской метафоре, — накренившись, выравнивается, и мы, почти не потратив пространства-времени, обретаемся уже в тысяче футов над нею, и облака (летучие легкие облака, белые-белые, размещенные довольно просторно) как бы разложены в небесной лаборатории по плоским пластинам стекла, и сквозь это стекло видны далеко внизу ржаные ломти земли, ободранный бок холма, индиговое круглое озеро, темная зелень сосновых лесов, инкрустации деревень. Тут с яркими напитками является стюардесса — и это Арманда, сию минуту принявшая его предложение, хоть он и предупредил, что она преувеличивает ценность многих вещей — очарование нью-йоркских вечеринок, значительность его работы, будущее наследство (дядюшкину торговлю канцелярскими принадлежностями), вершины Вермонта, — и тогда самолет взрывается с ревом и рвотным кашлем.

Кашляя, наш Персон сел в удушающей тьме, нащупал лампу, но щелчок выключателя оказался таким же бесплодным, как попытка шевельнуть парализованным членом. Поскольку на четвертом этаже его кровать помещалась в другом, северном углу, он бросился к двери и распахнул ее, вместо того чтобы пытаться спастись, что полагал он

возможным, через окно, притворенное, но открывшееся хлопком, едва лишь смертельный сквозняк втянул из коридора дым.

Огонь, вскормленный поначалу промасленным тряпьем, подброшенным в подвал, а после ободренный горючей жидкостью, толково разбрызганной там и сям по стенам и лестницам, шибко помчал по отелю, — хотя "по счастью", как выразилась наутро местная газета, "погибли немногие, поскольку заняты оказались лишь несколько комнат".

Теперь клубы пламени лезли по лестнице — по двое, по трое, отряд краснокожих, рука в руке, язык с языком, беседуя и весело напевая. Впрочем, не их трепещущий жар, а темный и едкий дым заставили Персона отпрянуть обратно в комнату; прошу простить, сказал вежливый язычок, придерживая дверь, которую он тщетно пытался закрыть. Окно грохнуло с такой силой, что стекла осыпались рубиновым ливнем, и перед тем как насмерть задохнуться, он понял, что буря снаружи помогает пожару внутри. Перед самым концом удушье заставило его попытаться спастись, выбравшись из окна и спустившись, но на этой стороне ревущего дома не было ни балконов, ни выступов. Когда он достиг окна, длинный язык пламени, украшенный лавандовым кончиком, заплясал перед ним, преградив ему путь изысканным жестом гантированной руки. Раскрошившиеся участки штукатурки и дерева еще позволили человеческим воплям долететь до него, и одним из последних его заблуждений стала мысль, что это крики людей, спешащих к нему на помощь, а не вой таких же несчастных, как он. Разномастные кольца сомкнулись вокруг, кратко напомнив картинку из страшной детской книжки о торжестве овощей, все быстрей и быстрей летящих по кругу, в середине которого мальчик в ночной рубашке отчаянно порывается пробудиться от радужного дурмана приснившейся жизни. Последним его видением была добела раскаленная книга или коробка, становившаяся совершенно прозрачной и совершенно пустой. Вот это, как я считаю, и есть самое главное: не грубая мука телесной смерти, но ни с чем

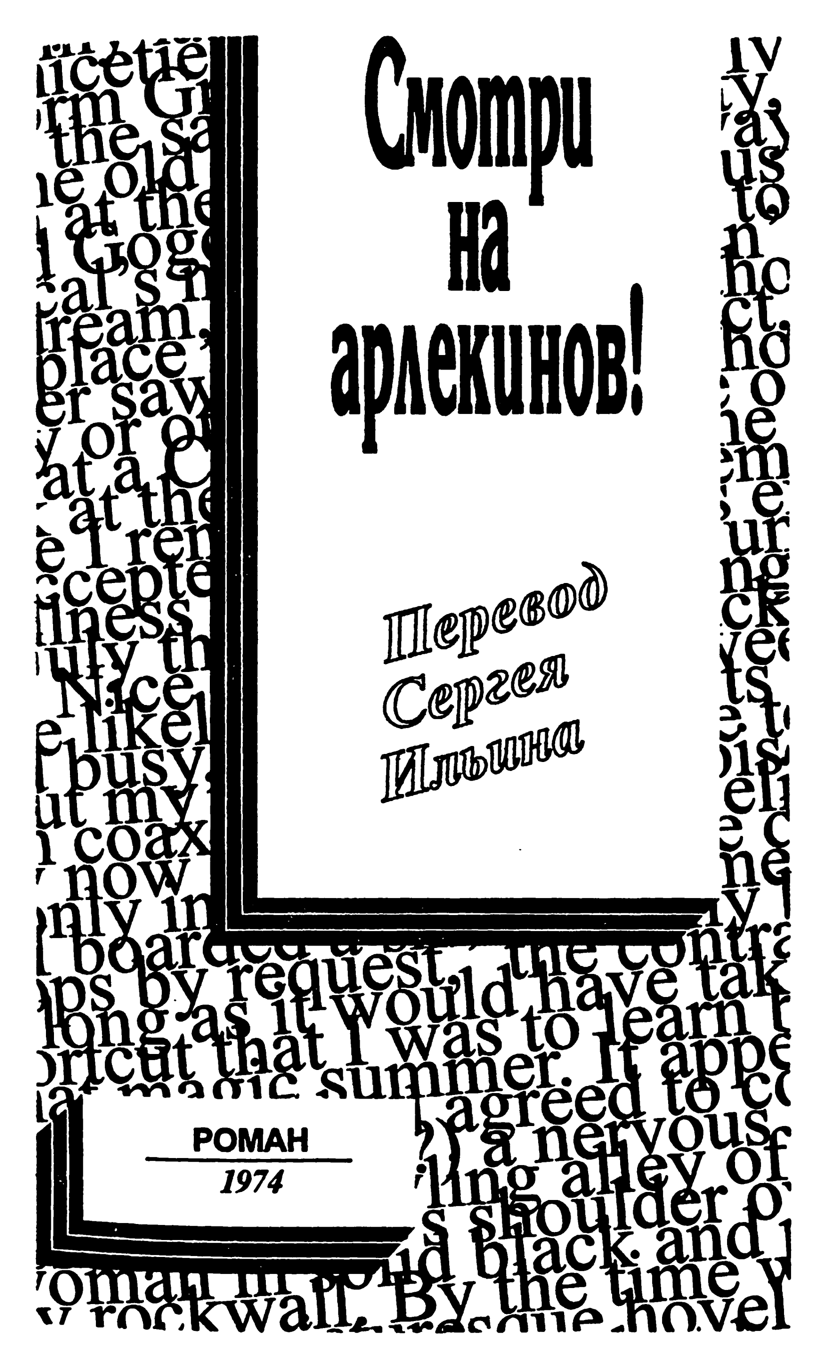
не сравнимая пронзительность мистического мыслительного маневра, потребного для перехода из одного бытия в другое.

И знаешь, сынок, это дело нехитрое.

VLADIMIR NABOKOV

LOOK AT THE HARLEQUINS!

NABOKOV
LOOK AT THE HARLEQUINS!


Смотри
на
арлекинов!
Перевод
Сергея
Ильина
РОМАН
1974

Другие произведения повествователя

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Тамара 1925
Пешка берет королеву 1927
Полнолуние 1929
Камера люцида (Slaughter in the Sun) *1931*
Красный цилиндр 1934
Подарок Отчизне 1950

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

See under Real (См. также “Реальность”) *1939*
Esmeralda and Her Parandrus (Эсмеральда и ее парандр) *1941*
Dr Olga Repnin (Д-р Ольга Репнин) *1946*
Exile from Mayda (Изгнание с Мэйды) *1947*
A Kingdom by the Sea (Королевство у моря) *1962*
Ardis (Ардис) *1970*

Вере

Часть первая

1

С первой из трех не то четырех моих жен я познакомился при обстоятельствах несколько странных, — само их развитие походило на полную никчемных тонкостей неловкую интригу, руководитель которой не только не сознает ее истинной цели, но и упорствует в бестолковых ходах, казалось бы отвращающих малейшую возможность успеха. Тем не менее из самих этих промахов он соткал нечаянную паутину, которой череда моих ответных оплошностей спеленала меня, заставив исполнить назначенное, в чем и состояла единственная цель заговора.

В один из дней пасхального триместра моего последнего кембриджского года (1922-го) случилось мне "как русскому" консультировать по части некоторых тонкостей грима Ивора Блэка, недурного актера-любителя, под управлением которого театральная артель "Светлячок" собиралась поставить переведенного на английский гоголевского "Ревизора". В Тринити у нас с ним был общий наставник, и Блэк умучил меня нудными имитациями жеманных ужимок старика — представление заняло бóльшую часть нашего ленча в "Питте". Недолгая деловая часть оказалась еще менее приятной. Ивор Блэк намеревался облачить Городничего в халат, потому что "все это просто приснилось старому проходимцу, не правда ли? — ведь и само название "Ревизор" происходит от французского rêve, то есть "сон". Я ответил, что идея, по-моему, самая жуткая.

Если какие-то репетиции и происходили, то без меня. Мне, собственно, только теперь и пришло в голову, что я не знаю даже, довелось ли этой затее увидеть свет рампы.

Вскоре после того я встретил Ивора Блэка на какой-то вечеринке, и он пригласил меня, и со мной еще пятерых,

провести лето на Лазурном Берегу — на вилле, которую он, по его словам, только что унаследовал от старенькой тети. В ту минуту он был здорово пьян и, похоже, удивился, когда через неделю или несколько позже, перед самым его отъездом, я напомнил ему об этом щедром предложении, которое, как выяснилось, один только я и принял. Мы оба сироты, заметил я, никто нас не любит, так надо уж держаться друг за друга.

Болезнь задержала меня в Англии на целый месяц, и только в начале июля я отправил Ивору Блэку учтивую открытку с известием, что смогу приехать в Канн или в Ниццу на следующей неделе. Я почти уверен, что назвал в качестве наиболее правдоподобного времени вторую половину субботы.

Попытки дозвониться со станции оказались бесплодными: линия оставалась занятой, а я не из тех, кто упорствует в борьбе с неисправными абстракциями пространства. Неудача отравила мне послеполуденные часы, любимое мое время. В начале долгого путешествия я убедил себя, что самочувствие мое вполне сносно, теперь оно было ужасным. День стоял не по поре влажный и пасмурный. Пальмы вообще уместны лишь в миражах. Бог весть почему, такси, будто в дурном сне, оставались неуловимы. В конце концов я погрузился в тщедушный и душный автобус из синей жести. Вползая по петлистой дороге, где поворотов было не меньше, чем "остановок по требованию", этот рыдван достиг места моего назначения за двадцать минут: примерно столько же занял бы пеший переход с побережья — путем легким и кратким, который мне в то волшебное лето предстояло выучить назубок, камень за камнем, куст за кустом. Впрочем, каким угодно, но не волшебным смотрело лето во время той мерзкой поездки! Главную причину, по которой я решился приехать сюда, составляла надежда подлечить, у "брильянтовых валов" (Беннетт? Барбеллион?), расстройство нервов, порубежное сумасшествию. Теперь в левой доле моей головы расположился кегельбан боли. По другую ее сторону неосмысленное дитя таращилось над материнским плечом поверх спинки передней скамьи. Я же сидел побок бородавчатой бабы в

черном и кое-как одолевал тошноту всякий раз, что автобус накренялся к зеленому морю от серой скальной стены. Когда мы наконец дотащились до деревушки Карнаво (крапчатые платаны, картинные хижины, почта, церковь), все мои чувства влеклись к одному золотистому образу — к бутылке виски, которую я вез в чемодане для Ивора и которую поклялся почать еще до того, как она попадется ему на глаза. Водитель оставил мой вопрос без ответа, но сошедший передо мной черепаховидный малютка-священник со ступнями гиганта ткнул, не взглянув на меня, в поперечную аллею деревьев. Вилла "Ирис", сказал он, в трех минутах ходьбы. Пока я приготовлялся волочь чету моих чемоданов по этой аллее к внезапно вспыхнувшему вдали солнечному треугольнику, на супротивной панели завиделся мой предполагаемый хозяин. Помню, — а ведь полвека прошло! — я на миг усомнился, того ли сорта одежду прихватил я с собой. Ивор Блэк был в брюках-гольф и грубых башмаках, но почему-то без носков; голени, оголенные на полвершка, отливали болезненной краснотой. Он направлялся — или прикинулся, что направляется, — на почту, дабы телеграммой просить меня отсрочить приезд до августа, когда работа, только что найденная им в Канницце, уже не сможет помешать нашим утехам. Сверх того, он надеялся, что Себастьян, — кто бы то ни был, — все же сумеет приехать к поре винограда или к триумфу лаванды. Пробормотав все это вполголоса, он отнял у меня чемодан, что поменьше, — с туалетными мелочами, запасом лекарств и почти доплетенным венком сонетов (коему вскоре предстояло отправиться в Париж, в русский эмигрантский журнал). Следом он подхватил и другой чемодан — я поставил его, чтобы набить трубку. Столь чрезмерную мою приметливость по части мелочей вызвал, полагаю, павший на них случайный свет, заблаговременно отброшенный великим событием. Ивор нарушил молчание, чтобы прибавить, нахмурясь, что, как ни приятно ему принимать меня в своем доме, он обязан кое о чем меня предупредить, собственно, это следовало сделать еще в Кембридже. Существует одно прискорбное обстоятельство, способное донять меня меньше чем за неделю. Мисс Грант,

прежняя его гувернантка, женщина бессердечная, но умная, любила повторять, что его сестренка навряд ли когда-нибудь сможет нарушить правило, согласно которому "детей не должно быть слышно", — да, собственно, вряд ли и услышит о нем. Прискорбное обстоятельство в том-то и состоит, что сестра — впрочем, ему, пожалуй, лучше отложить рассказ о ее недуге до времени, когда и чемоданы, и мы более или менее водворимся.

2

"Что же это за детство у тебя было, Мак-Наб?" (так, упорствуя, называл меня Ивор, по мнению коего я походил на изможденного, но изящного молодого актера, принявшего это имя в последние годы своей жизни — или по крайности славы).

Отвратное, нестерпимое. Надлежало б существовать мировому — межмировому — закону, запрещающему начинать жизнь столь нечеловеческим способом. Когда бы в возрасте лет девяти-десяти мои больные страхи не заместились более отвлеченными и пустыми тревогами (проблемами бесконечности, вечности, личности и проч.), я утратил бы разум задолго до того, как обрел размеры и рифмы. Дело идет не о темных комнатах или агонизирующих ангелах об одном крыле, не о длинных коридорах или кошмарных зеркалах, из которых переливаются, растекаясь по полу грязными лужами, отражения, нет, не об *этих* опочивальнях жути, а — проще и много страшнее — о некоей вкрадчивой, неумолимой связи с иными состояниями бытия, не "бывшими", в точности, и не "будущими", но определенно запредельными, между нами смертными говоря. Мне предстояло еще узнать гораздо, гораздо больше об этих болезненных связях всего несколько десятилетий спустя, так что "не будем опережать событий", как выразился казнимый, отстраняя заношенную, сальную повязку для глаз.

Радости созревания даровали мне временное облегчение. Унылая пора самоинициации миновала меня. Да будет благословенна моя первая сладостная любовь, дитя в пло-

довом саду, пытливые игры — и ее растопыренная пятерня, с которой капают жемчуга изумления. Домашний учитель позволил мне разделить с ним услуги инженю из частного театра моего двоюродного деда. Две похотливые юные дамы однажды напялили на меня кружевную сорочку и паричок Лорелеи и уложили между собою в постель — "стеснительную малышку-кузину" из скабрезной новеллы, — пока их мужья храпели в соседней комнате после кабаньей охоты. Просторные дома разнообразной родни, с которой я в отрочестве съезжался и разъезжался под бледными летними небесами то одной, то другой из прежних российских губерний, предоставляли мне столько же уступчивых горничных и модных кокеток, сколько могли предложить туалетные и будуары двумя столетьями раньше. Словом, если пора моего младенчества сгодилась бы для ученой диссертации, на которой утверждает пожизненную славу педопсихолог, отрочество в состоянии дать, да, собственно, и дало, порядочное число эротических сцен, рассыпанных, подобно подгнившим сливам и бурым грушам, по книгам стареющего романиста. Собственно, ценность настоящих воспоминаний по преимуществу определяется тем, что они являют catalogue raisonné[1] корней, истоков и занимательных родовых каналов многих образов из моих русских, и особливо английских, произведений.

Родителей я видел не часто. Они разводились, вступали в новые браки и вновь разводились с такой стремительностью, что, будь попечители моего состояния менее бдительны, меня могли бы в конце концов спустить с торгов чете чужаков шотландского или шведского роду-племени, обладателям скорбных мешочков под голодными глазками. Моя поразительная двоюродная бабка — баронесса Бредова, рожденная Толстая, — с лихвой заменяла мне более кровную родню. Ребенком лет семи-восьми, уже таившим секреты законченного безумца, я даже ей (тоже далеко не нормальной) казался слишком уж хмурым и вялым, — на деле-то я, разумеется, предавался наяву грезам самого безобразного свойства.

---

[1] Аннотированный каталог *(фр.)*.

— Довольно кукситься! — бывало восклицала она. — Смотри на арлекинов!

— Каких арлекинов? Где?

— Да везде! Всюду вокруг. Деревья — арлекины, слова — арлекины. И ситуации, и задачки. Сложи любые две вещи — остроты, образы, — и вот тебе троица скоморохов! Давай же! Играй! Выдумывай мир! Твори реальность!

Так я и сделал. Видит Бог, так я и сделал. И в честь моих первых снов наяву я сотворил эту двоюродную бабку, и вот она медленно сходит по мраморным ступеням парадного крыльца памяти — бочком, бочком, бедная хромая старуха, испытывая край каждой ступени резиновым кончиком черного костыля.

(Когда она выкрикивала три этих слова, они вылетали бездыханной ямбической строчкой с быстрым лепечущим ритмом, как будто "смотрина", ассонируя со "стремнина", мягко и ласково вело за собой "арлекинов", выходивших с веселой силой, — за протяжным "ар", жирно подчеркнутым в порыве убежденного воодушевления, следовало струистое осыпание похожих на блестки слогов.)

Мне было восемнадцать, когда грянула большевистская революция, — глагол, согласен, сильный и неуместный, здесь примененный единственно ради ритма повествования. Возвратная вспышка детского недуга продержала меня большую часть следующих зимы и весны в Императорской Санатории Царского. В июле 1918-го я приехал восстанавливать силы в замок польского землевладельца, моего дальнего родича Мстислава Чарнецкого (1880–1919?). Как-то осенним вечером юная любовница бедняги Мстислава указала мне сказочную стезю, вьющуюся по огромному лесу, в котором при Яне III (Собеском) первый Чарнецкий зарогатил последнего зубра. Я ступил на эту тропу с рюкзаком на спине и — отчего не признаться — с трепетом тревог и угрызений в юном сердце. Прав ли я, покидая кузена в наичернейший час черной русской истории? Ведаю ли, как уцелеть — одному, в чужой стороне? А диплом, полученный мною после того, как особенный комитет (во главе с отцом Мстислава, математиком, маститым и продажным) проэкзаменовал меня по всем предметам, преподаваемым

в идеальном лицее, коего я во плоти ни разу не посетил, — достаточен ли для поступления в Кембридж без каких-либо адских вступительных испытаний? Целую ночь я брел лабиринтом лунного света, воображая шуршание истребленных зверей. Наконец рассвет расцветил киноварью мою древнюю карту. Едва я решил, что пересек границу, как красноармеец с непокрытой головой и монгольской рожей, собиравший при дороге чернику, окликнул меня: "Далеко ли ты, яблочко, котишься? — поинтересовался он, снимая кепку с пенька. — Показывай-ка документики".

Порывшись в карманах, я выудил потребное и пристрелил его, едва он ко мне рванулся, — он повалился ниц, как валится под ноги королю солдат, ударенный солнцем на плац-параде. Из сомкнутой шеренги древесных стволов никто не взглянул в его сторону, и я побежал, еще сжимая в ладони прелестный револьверик Дагмары. Лишь через полчаса, когда я достиг наконец иной части леса, лежащей в более-менее приемлемой республике, лишь тогда икры мои перестали дрожать.

Проваландавшись несколько времени по не удержавшимся в памяти городам, немецким и голландским, я переправился в Англию. Следующим моим адресом стал отельчик "Рембрандт" в Лондоне. Два-три мелких бриллианта, сохраненных мною в замшевой мошне, растаяли быстрее градин. В серый канун нищеты автор — в ту пору молодой человек, пребывающий в добровольном изгнании (выписываю из старого дневника), — обрел нечаянного покровителя в лице графа Старова, степенного старомодного масона, который во времена обширных международных сношений украшал собою несколько великих посольств, а с 1913 года осел в Лондоне. На родном языке он говорил с педантической правильностью, не чураясь, впрочем, и полнозвучных простонародных присловий. Чувства юмора у него не было никакого. Прислуживал ему молодой мальтиец (ненавижу чай, но коньяку спросить не решился). По слухам, Никифор Никодимович, — воспользуемся, рискуя свихнуть язык, его именем-отчеством, — долгие годы обожал мою прекрасную и причудливую мать, мне извест-

ную в основном по избитым фразам безымянных мемуаристов. "Великая страсть" может служить удобным прикрытием, но, с другой стороны, только благородной преданностью ее памяти и можно объяснить плату, внесенную им за мое английское образование, и скромное вспомоществование (большевистский coup[1] разорил его, заодно со всем нашим кланом), доставшееся мне после его кончины в 1927 году. Должен признать, однако, что меня порой озадачивал живой взгляд его в прочем мертвенных очес, помещавшихся на крупном, одутловатом, достойном лице, — русский писатель называл бы его "тщательно выбритым" — несомненно, из желания изгнать призраков патриархальных бород в предполагаемом воображении читателей (теперь давно уж покойных). Я, насколько хватало сил, старался отнести эти взыскующие вспышки к поискам каких-то черт изысканной женщины, которую он когда-то давно подсаживал в calèche[2] и с которой, обождав, пока она усядется и растворит парасоль, тяжело воссоединялся в этом пружинном возке, — но в то же время я невольно гадал, сумел ли мой старый grandee[3] избежать извращения, некогда столь обыкновенного в так называемых высших дипломатических сферах. Н. Н. восседал в своем мягком кресле, будто в объемистом романе, одна пухлая длань его покоилась на грифоне подлокотника, другая, украшенная перстнем с печаткой, вертела на стоявшем пообок турецком столике что-то вроде серебряной табакерки, содержавшей, впрочем, малый запас бисерных пилюлек от кашля — даже, скорей, капелюшек — сиреневых, зеленых и, сколько помню, коралловых. Должен добавить, что определенные сведения, впоследствии мной полученные, показали, сколь мерзко я заблуждался, предполагая в нем нечто отличное от полуотеческого интереса ко мне, равно как и к иному молодому человеку, сыну известной в определенных кругах петербургской куртизанки, предпочитавшей calèche электрический брогам; но довольно этого вкусного бисера.

---

[1] Переворот *(фр.)*

[2] Коляска *(фр.)*.

[3] Вельможа *(фр.)*.

3

Назад в Карнаво, к моему багажу, к Ивору Блэку, что тащит его, изображая невесть какие мучения и бормоча комический вздор из какой-то рудиментарной роли.

Солнце уже разгулялось вовсю, когда мы входили в сад, отделенный от дороги каменной стеной и шеренгой кипарисов. Эмблематические ирисы окружали зеленый прудок, над которым восседала бронзовая лягушка. Из-под кудрявого каменного дуба убегала между двух апельсиновых дерев гравистая дорожка. С одного края лужайки эвкалипт ронял полосатую тень на парусину садового кресла. Это не кичливость фотографической памяти, но лишь попытка любовного воссоздания, основанная на старых снимках из старой конфетной коробки с ирисом на крышке.

Нет смысла взбираться по трем ступенькам парадного крыльца, "волоча две тонны камней", сказал Ивор Блэк: запасной ключ он забыл, прислуга, выбегающая на звонки, по субботам отсутствует, а с сестрой, как он уже объяснял, связаться обычными средствами нет никакой возможности, хотя она где-то там, внутри, всего вернее, рыдает в своей спальне — это с ней всякий раз, что ожидаются гости, особенно по уик-эндам, когда они способны заявиться в любое время и проторчать тут чуть не до вторника. И мы пошли за дом, огибая кусты опунции, цеплявшие плащ у меня на руке. Вдруг я услышал жуткий, недочеловеческий звук и глянул на Блэка, но невежа лишь ухмыльнулся.

То был большой, индиговый ара с лимонной грудью и полосатыми белыми щечками, изредка пронзительно вскрикивавший, сидя на холодном заднем крыльце. Ивор прозвал его "Мата Хари" — отчасти из-за акцента, но главное, по причине его политического прошлого. Покойная тетушка Ивора, леди Уимберг, уже отчасти свихнувшись (году в четырнадцатом или пятнадцатом), пригрела старую скорбную птицу, которую, как говорили, бросил один подозрительный иностранец со шрамами на лице и моноклем в глазу. Птица умела сказать "алло", "Отто" и "папа" — скромный словарь, отчего-то приводящий на ум хлопотливую семейку в жаркой стране, далеко-далеко от дома.

Порой, когда мне случается заработаться допоздна и лазутчики разума больше не шлют донесений, шевеление неверного слова отдает чем-то схожим с сухим пресным печеньем, зажатым в большой медленной лапе попугая.

Не помню, чтобы я успел повидать Ирис до обеда (а может быть, это ее спина помаячила мне у витражного окна на лестнице, когда я прошмыгнул от salle d'eau[1] с его сомнениями в мою аскетичную комнату?). Предусмотрительный Ивор уведомил меня, что она — глухонемая, и притом такая стеснительная, что даже теперь, на двадцать втором году, никак не заставит себя выучиться читать по мужским губам. Это показалось мне странным. Я всегда полагал, что названная немочь облекает страдальца в абсолютно надежный панцирь, прозрачный и крепкий, как непробиваемое стекло, и внутри него ни озорство, ни позор существовать не могут. Брат с сестрой объяснялись на языке знаков, пользуясь азбукой, сочиненной ими в детстве и выдержавшей с тех пор несколько переработанных изданий. Нынешнее включало несообразно замысловатые жесты низкого рода пантомимы, — скорее пародии вещей, чем их символы. Я было сунулся с какой-то нелепой собственной лептой, но Ивор сурово попросил меня не валять дурака: она очень легко обижается. Все это (вместе с сердитой служанкой, старой канницциaнкой, грохотавшей тарелками где-то за рамкою рампы) принадлежало к другой жизни, к другой книге, к миру неуследимо кровосмесительных игр, которого я еще не сотворил сознательно.

Оба были некрупными, но замечательно сложенными молодыми людьми, семейственное же их сходство не оставляло сомнений, даром что Ивор имел внешность вполне простецкую — рыжеватый, веснущатый, — а она была смуглой красавицей с черной короткою стрижкой и глазами цвета ясного меда. Не помню платья, что было на ней в нашу первую встречу, но знаю, что тонкие руки ее остались голы и впивались мне в сердце со всякой пальмовой рощицей и осажденным медузами островком, какие она чертила по воздуху, пока ее братец переводил мне эти узо-

---

[1] *Букв.* "комната с водой" — умывальная, туалет *(фр.)*.

ры идиотским суфлерским шепотом. После обеда я был отомщен. Ивор отправился за моим виски. В безгрешных сумерках мы с Ирис стояли на террасе. Я раскуривал трубку, меж тем как Ирис, бедром приткнувшись к перилам, по-русалочьи помавала руками, — изображая волну, — и указывала на марево береговых огней в развале черных, как тушь, холмов. Тут в гостиной за нами зазвонил телефон, и она стремительно обернулась, — но с прелестным присутствием духа обратила этот порыв в беспечный танец с шалью. Тем временем Ивор уже скользил по паркету в сторону телефона, — услышать, что понадобилось Нине Лесерф или кому-то еще из соседей. Ирис и я, мы любили в поздней нашей близости вспоминать эту сцену разоблачения, — Ивор несет нам стаканы, чтобы отпраздновать ее сказочное выздоровление, а она, не обинуясь его присутствием, легкой кистью накрывает мои костяшки: я стоял, с нарочитым негодованием вцепившись в перила, и не был, бедный дурень, достаточно скор, чтобы принять ее извинения, поцеловав эту кисть "на континентальный манер".

4

Привычный симптом моего недуга — не самый тяжкий, но тяжелее всего избываемый после каждого повторного приступа, — принадлежит к тому, что Нуди, лондонский специалист, первым назвал синдромом "нумерического нимба". Составленное им описание моего "случая" недавно перепечатано в числе его избранных трудов. Оно изобилует смешными неточностями. Ничего этот "нимб" не значит. "М-р Н., русский аристократ" никаких "признаков вырождения" *не* выказывал. Годов ему, когда он обратился к сей прославленной бестолочи, было не "тридцать два", а двадцать два. Что хуже всего, Нуди слепил меня воедино с господином В. С., который является не столько даже постскриптумом к сокращенному описанию *моего* "нимба", сколько самозванцем, чьи ощущения мешаются с моими на всем протяжении этой ученой статьи. Правда, описать упомянутый симптом трудновато, но полагаю, что я сделаю это

лучше профессора Нуди или моего пошлого и болтливого сострадальца.

Вот что бывало в худшем случае: через час примерно после погружения в сон (а совершалось оно, как правило, далеко за полночь и не без скромной помощи "Старого Меда" или "Шартреза") я вдруг пробуждался (или, скорей, "возбуждался") мгновенно обезумелым. Мерзкая боль в мозгу запускалась каким-то подвернувшимся на глаза намеком на призрачный свет, ибо, сколь тщательно ни увенчивал я усердных усилий прислуги собственным единоборством со шторами и шорами окон, всегда сохранялась окаянная щель, некий атом или корпускула тусклого света — искусственного уличного или натурального лунного, — оповещавшего о невыразимой опасности, когда я, задыхаясь, выныривал на поверхность удушающего сна. Вдоль тусклой щели тащились точки поярче с грозно осмысленными интервалами между ними. Эти точки отвечали, возможно, торопливым торканьям моего сердца или оптически соотносились с взмахами мокрых ресниц, но умопостигаемая их подоплека не имела значения; страшная сторона состояла в беспомощном и жутком понимании мною того, что случившееся было дурацки непредугадано мной и, однако ж, не могло не случиться, суть же его сводилась к предъявлению мне задачки на прозорливость, — предстояло решить ее или погибнуть, собственно, она бы решилась, если бы я заранее немного подумал над ней или не был столь сонным и слабоумным в такую отчаянную минуту. Сама задача принадлежала к разряду вычислительных: надлежало замерить определенные отношения между мигающими точками или, в моем случае, угадать таковые, поскольку оцепененье мешало мне толком их сосчитать, не говоря уж о том, чтобы вспомнить, каким должно быть *спасительное* число. Ошибка влекла мгновенную кару — отсечение головы великаном, а то и похуже; напротив, правильная угадка позволяла мне ускользнуть в волшебную область, лежавшую прямо за скважинкой, в которую приходилось протискиваться сквозь тернистые тайны, — в область, схожую в ее идиллической отвлеченности с теми ландшафтиками, что некогда гравировались в виде вра-

зумляющих виньеток — бухта, боскет — близ буквиц рокового, коварного облика, скажем, рядом с готической *"Б"*, открывавшей главку в книжке для пугливых детей. Но откуда было мне знать в моем онеменье и страхе, что в *этом-то* и состояло простое решение, что и бухта, и боль, и блаженство Безвременья — все они открываются первой буквою Бытия?

Выпадали, разумеется, ночи, в которые разум разом возвращался ко мне, и я, передернув шторы, сразу же засыпал. Но в иные, более опасные времена, когда я бывал еще далеко не здоров и ощущал этот аристократический "нимб", у меня уходили часы на упраздненье оптического спазма, которого и светлый день не умел одолеть. Первая ночь на всяком новом месте неизменно бывала гнусной и наследовалась гнетущим днем. Меня раздирала невралгия. Я был дерган, прыщав, небрит и отказался последовать за Блэками на пляжный пикник, куда, оказывается, и меня пригласили, — так во всяком случае мне было сказано. По правде, те первые дни на вилле "Ирис" до того исказились в моем дневнике и смазались в разуме, что я не уверен, — быть может, Ивор и Ирис даже и отсутствовали до середины недели. Помню, однако, что они оказались очень предупредительны и договорились с доктором в Канницце о моем визите к нему. Визит предоставлял замечательную возможность сопоставить некомпетентность моего лондонского светила с таковою же местного.

Мне предстояло встретиться с профессором Юнкером — сдвоенным персонажем, состоявшим из мужа и жены. Тридцать лет уже они практиковали совместно, и каждое воскресенье в уединенном, хоть оттого грязноватеньком углу пляжа эта парочка анализировала друг дружку. У их пациентов считалось, что по понедельникам Юнкеры особенно востры, — я таковым не был, безобразно надравшись в одной-двух забегаловках, прежде чем достичь убогого квартала, в котором обитали и Юнкеры, и, как я вроде бы заприметил, иные врачи. Парадная дверь глядела очень мило в обрамленье цветочков и ягод рыночной площади, но не мешало бы взглянуть и на заднюю. Меня приняла женская половина, пожилая карлица в брюках, что в 1922-м покоряло отвагой. Эту тему продолжило — сразу же за

створным окном ватер-клозета (где мне пришлось наполнить нелепый фиал, вполне поместительный для целей доктора, но не для моих) — представление, разыгранное бризом над улицей, достаточно узкой, чтобы три пары подштанников сумели перемахнуть ее по веревке за то же число шагов или прыжков. Я сделал несколько замечаний об этом и о кабинетном витражном окне с лиловой дамой — точно такой, как на одной из лестниц виллы "Ирис". Госпожа Юнкер осведомилась, кого я предпочитаю, мальчиков или девочек, и я, озираясь, осторожно ответил, что не знаю, кого она сможет мне предложить. Она не засмеялась. Консультация не увенчалась успехом. Перед тем как определить у меня челюстную невралгию, она пожелала, чтобы я повидался с дантистом, — когда протрезвею. Это тут, через улицу, сказала она. Я уверен, что она позвонила ему при мне, чтобы договориться о приеме, вот только не помню, пошел я к нему тогда же или на следующий день. Звали его Мольнар, и это "н" было как семечко в дупле; лет через сорок я им воспользовался в "A Kingdom by the Sea".

Девица, принятая мною за ассистентку дантиста (для которой она, впрочем, была чересчур нарядно одета), сидела в прихожей, уложив ногу на ногу и болтая по телефону, она просто ткнула в дверь сигаретой, которую держала в пальцах, ничем иным своего занятия не прервав. Я очутился в комнате, банальной и безмолвной. Лучшие места уже были заняты. Большая шаблонная картина над перегруженной книжной полкой изображала горный поток с перекинутым через него сваленным деревом. В какой-то из ранних часов приема несколько журналов уже переправились с полки на овальный стол, содержавший собственный скромный подбор предметов — пустую цветочную вазу, к примеру, и casse-tête[1] размером с ручные часы. То был крохотный круговой лабиринт с пятью серебряными горошинками, кои следовало, благоразумно вращая запястьем, заманить в центр волнистой поверхности. Для ожидающих деток.

---

[1] Головоломка *(фр.)*.

Таковых не имелось. Кресло в углу обнимало толстого господина с букетом гвоздик на коленях. Две престарелые дамы расположились на бурой софе — незнакомые друг с дружкой, судя по благопристойному просвету меж ними. Во множестве лиг от них сидел на мягком стуле интеллигентного вида молодой человек, вероятно писатель, и, держа в ладони памятную книжечку, заносил туда карандашом разрозненные заметки, вероятно описания разных разностей, по которым блуждал, отрываясь от заметок, его взгляд, — потолка, обоев, картины и заросшего загривка мужчины, что стоял у окна, сцепив за спиною руки, и лениво взирал поверх хлопающих подштанников, поверх лилового окна в юнкерском ватер-клозете, по-над крышами и холмами предгорья на далекую горную цепь, где, лениво раздумывал я, еще, может быть, цела та высохшая сосна и еще мостит нарисованный поток.

Но вот дверь в конце комнаты распахнулась, послышался смех, и появился дантист, румяно-сизый с лица, при галстуке бабочкой, в мешковатом празднично-сером костюме с довольно щегольской черной повязкой на рукаве. Последовали рукопожатия, поздравленья. Я попытался было напомнить ему о нашей договоренности, но величавая старая дама, в которой я признал мадам Юнкер, перебила меня, сказав, что это ее ошибка. Тем временем Миранда, дочь хозяина дома, виденная мной минуту назад, затолкала длинные бледные стебли дяденькиных гвоздик в тесную вазу на столе, который чудесным образом облекся в скатерть. Под шумные рукоплескания субретка водрузила на стол чудовищный торт, розовый, словно закат, с цифрою "50" каллиграфическим кремом. "Какое очаровательное внимание!" — воскликнул вдовец. Подали чай, и кое-кто присел, иные ж остались стоять, имея в руках бокалы. Я услышал ласковый шепот Ирис, предупредивший меня, что это приправленный пряностями яблочный сок, не вино, и, подняв ладони, отвергнул поднос, предложенный мне женихом Миранды, человеком, пойманным мною за тем, что он, улучив минуту, уточнял кой-какие детали приданого. "Вот уж не ждали вас здесь обнаружить", — сказала Ирис — и проболталась, потому что это никак не могла

быть та partie de plaisir[1], куда меня зазывали ("У них чудный домик на скалах"). Нет, я все-таки думаю, что большую часть путаных впечатлений, перечисленных здесь в связи с дантистами и докторами, следует отнести к онейрическим переживаниям во время пьяной сиесты. Тому есть и письменные подтверждения. Проглядывая самые давние мои записи в карманных дневничках, где имена и номера телефонов протискиваются сквозь описанья событий, истинных или выдуманных в той или этой мере, я заприметил, что сны и прочие искаженья "реальности" заносились мною особым, клонящимся влево почерком, по крайности поначалу, когда я еще не отринул принятых разделений. Большая часть докембриджского материала записана этой рукой (но солдат действительно пал на пути у беглого короля).

5

Я знаю, меня называют чванливым сычом, но мне отвратительны розыгрыши, и у меня попросту опускаются руки ("Только люди, лишенные юмора, пользуются этим оборотом" — по Ивору) от непрестанного потока игривых выпадов и пошлых каламбуров ("Руки — ладно, чего бы другое стояло" — снова Ивор). Впрочем, малый он был добрый, и, в сущности, вовсе не перерывами в зубоскальстве радовало меня его отсутствие в будние дни. Он трудился в туристическом агентстве, руководимом прежним homme d'affaires[2] тети Бетти, тоже весьма чудаковатым на свой манер, — обещавшим Ивору автофаэтон "Икар" в виде награды за усердие.

Здоровье и почерк мои скоро пошли на поправку, и юг стал доставлять мне радость. Мы с Ирис часами блаженствовали (на ней — черный купальник, фланель и блайзер — на мне) в саду, который я предпочитал поначалу неизбежным соблазнам морского купания, плотскости пляжа.

---

[1] Увеселительная прогулка *(фр.)*.

[2] Адвокат, поверенный в делах *(фр.)*.

Я переводил для нее кое-какие стихотворения Пушкина и Лермонтова, перефразируя их и слегка подправляя для пущего эффекта. Я с драматическими подробностями рассказывал ей о моем бегстве с родины. Я поминал великих изгнанников прошлого. Она внимала мне, как Дездемона.

— Мне бы хотелось выучить русский, — говорила она с вежливым сожалением, что так идет к этому признанию. — Моя тетя родилась чуть ли не в Киеве и в семьдесят пять еще помнила несколько слов, румынских и русских, но я — никчемный лингвист. А как по-вашему "eucalypt"?

— Evkalipt.

— О! хорошее вышло бы имя для героя рассказа. "Эф. Клиптон". У Уэльса был "м-р Снукс", оказавшийся производным от "Seven Oaks"[1]. Обожаю Уэльса, а вы?

Я ответил, что он величайший романтик и маг нашего времени, но что я не выношу его социального вздора.

Она тоже. А помню я, что сказал Стивен в "Страстных друзьях", когда выходил из комнаты — из бесцветной комнаты, в которой ему позволили напоследок повидаться с любимой?

— На это я ответить могу. Там мебель была в чехлах, и он сказал: "Это от мух".

— Да! Дивно, правда? Просто пробурчать что-нибудь, лишь бы не заплакать. Напоминает кого-то из старых мастеров, написавшего муху на руке натурщика, чтобы показать, что этот человек тем временем умер.

Я сказал, что всегда предпочитал буквальный смысл описания скрытому за ним символу. Она задумчиво покивала, но, похоже, не согласилась.

А кто наш любимый современный поэт? Как насчет Хаусмана?

Я много раз видел его издали и один раз вблизи, очень ясно. Это было в Тринити, в библиотеке. Он стоял с раскрытой книгой в руке, но смотрел в потолок, как бы пытаясь что-то припомнить — может быть то, как другой автор перевел эту строку.

---

[1] Семь дубов *(англ.)*.

Она сказала, что "затрепетала бы от восторга". Она выпалила эту фразу, вытянув вперед серьезное личико и мелко потрясая им, личиком, и гладкой челкой.

— Так трепещите, что же вы! Как-никак, вот он я, *здесь*, летом 22-го, в доме вашего брата...

— Вот и нет, — сказала она, уклоняясь от предложенной темы (и при этом повороте ее речей я ощутил внезапную переслойку в текстуре времени, как если бы это случалось прежде или должно было случиться вновь). — Дом-то как раз *мой*. Тетя Бетти *мне* его завещала, и с ним немного денег, но Ивор слишком глуп или горд, чтобы позволить мне уплатить его дикие долги.

Тень укора в моих словах была больше чем тенью. Я действительно верил даже тогда, едва перейдя за второй десяток, что к середине столетия стану прославленным, вольным писателем, живущим в вольной, почитаемой всем миром России, на Английской набережной Невы или в одном из моих великолепных сельских поместий, и творящим в стихах и в прозе на бесконечно податливом языке моих предков, между коими насчитывал я одну из двоюродных бабок Толстого и двух добрых приятелей Пушкина. Предчувствие славы било мне в голову сильнее старых вин ностальгии. То было воспоминание вспять, огромный дуб у озера, столь картинно отраженный ясными водами, что зеркальные ветви его кажутся принаряженными корнями. Я ощущал эту грядущую славу в подошвах, в кончиках пальцев, в корнях волос, как ощущаешь дрожь от грозы, от умирающей красоты глубокого голоса певца перед самым ударом грома, от строки "Короля Лира". Почему же слезы мутят мне очки, едва лишь я вызываю этого призрака славы, так искушавшего и терзавшего меня тогда, пять десятилетий тому? Образ ее оставался невинен, образ ее был неподделен, и несходство его с тем, чему предстояло сбыться на деле, разрывает мне сердце, словно жгучая боль расставания.

Ни честолюбие, ни гордыня не пятнали воображенного будущего. Президент Российской Академии приближался ко мне под звуки медленной музыки, неся подушку с лавровым венком, — и с ворчанием отступал, ибо я покачивал

седеющей головой. Я видел себя правящим гранки романа, которому, разумеется, предстояло дать новое направление русскому литературному слогу, — *мое* направление (но я не испытывал ни самодовольства, ни гордости, ни изумления), — и столь густо засевали поправки их поля, в которых вдохновение отыскивает сладчайший клевер, — что приходилось все набирать наново. И к поре, когда, наконец, выходила запоздалая книга, я, мирно состарившийся, радовался, развлекая нескольких близких и льстивых друзей в увитой ветвями беседке моей любимой усадьбы Марево (где я впервые "смотрел на арлекинов"), с ее аллеей фонтанов и мреющим видом на девственный уголок волжских степей. Этому непременно суждено было статься.

Из холодной постели в Кембридже я озирал целый период новой российской словесности. Я предвкушал освежительное соседство враждебных, но вежливых критиков, что станут корить меня в петербургских литературных журналах за болезненное безразличие к политике, к великим идеям невеликих умов и к таким насущным проблемам, как перенаселенность больших городов. Не меньше утешало меня и предвидение непременной своры плутов и простофиль, поносящих улыбчивый мрамор, недужных от зависти, очумелых от своей же посредственности, спешащих трепливыми толпами навстречу участи леммингов и сразу вновь выбегающих с другой стороны сцены, прохлопав не только суть моей книги, но и свою грызуновую Гадару.

Стихи, которые я начал писать после встречи с Ирис, должны были передать ее подлинные, единственные черты — то, как собирается в складки лоб, когда она заводит брови в ожидании, пока я усвою соль ее шутки, или как возникает иной рисунок мягких морщин, когда, нахмурясь над Таухницем, она выискивает место, которым хочет поделиться со мной. Но инструмент мой был еще слишком туп и неразвит, он не годился для выраженья божественных частностей, и *ее* глаза, *ее* волосы становились безнадежно общи в моих в прочем неплохо сработанных строфах.

Ни один из тех описательных и, будем честными, пустеньких опусов не стоил (особенно в переводе на голый английский — не оставлявший в них ни склада ни ляда)

того, чтобы их показывать Ирис, к тому же диковинная застенчивость, какой я отроду не знавал, приволакиваясь за девицей на бойкой заре моей сладострастной юности, мешала мне представить Ирис этот свод ее прелестей. Но вот ночью 20 июля я сочинил более косвенные, более метафизические стихи, которые решился показать ей за завтраком в дословном переводе, взявшем у меня времени больше, чем сам оригинал. Название стихотворения, под которым оно появилось в парижской эмигрантской газете (8 октября 1922 г., после нескольких напоминаний с моей стороны и одной просьбы "прошу вас вернуть..."), было да и осталось — во всех антологиях и собраниях, перепечатавших его в последующие пятьдесят лет, — "Влюбленность", — оно облекает золоченой скорлупкой то, на выраженье чего в английском уходит три слова.

Мы забываем, что влюбленность
не просто поворот лица,
а под купавами бездонность,
ночная паника пловца.

Покуда снится, снись, влюбленность,
но пробуждением не мучь,
и лучше недоговоренность,
чем эта щель и этот луч.

Напоминаю, что влюбленность
не явь, что метины не те,
что, может быть, потусторонность
приотворилась в темноте.

— Прелестно, — сказала Ирис. — Звучит как заклинание. А что это значит?

— Это у меня здесь, на обороте. Стало быть, так. "We forget — or rather tend to forget — that being in love (*vlyublyonnost'*) does not depend on the facial angle of the loved one, but is a bottomless spot under the nenuphars, *a swimmer's panic in the night*" (здесь удалось передать трехстопным ямбом последнюю строчку первой строфы, "ночная паника пловца"). Следующая строфа: "While the dreaming is good — в смысле "пока все хорошо", — do keep appearing to us in our dreams, *vlyublyonnost'*, but do not torment us by waking

us up or telling too much: reticence is better than that chink and that moonbeam"[1]. Теперь последняя строфа этих философических любовных стихов.

— Этих — как?

— Этих философических любовных стихов. "I remind you, that *vlyublyonnost'* is not wide-awake reality, that the markings are not the same (например, полосатый от луны потолок, moon-stripped ceiling, — это реальность иного толка, нежели потолок дневной), and that, may be, the hereafter stands slightly ajar in the dark"[2]. Voilà[3].

— Вашей девушке, — заметила Ирис, — должно быть, здорово весело с вами. А, вот и наш кормилец. Bonjour[4], Ив. Боюсь, тостов тебе не осталось. Мы думали, ты уж несколько часов как ушел.

На миг она прижала ладонь к щечке чайника. И это пошло в "Ardis", все пошло в "Ardis", моя бедная, мертвая любовь.

6

После пятидесяти лет или десяти тысяч часов солнечных ванн в разных странах — на пляжах, палубах, на лежаках и лужайках, на скалах и скамьях, на кораблях, на кровлях и балконах — я мог бы и не упомнить чувственных тонкостей моего посвящения, если б не эти мои старинные заметки, так утешающие педантического мемуариста рассказами о его болезнях, браках и жизни в литературе.

---

[1] Мы забываем — или, лучше, склонны забывать, — что влюбленность не зависит от угла, под которым нам видится лицо любимой, но что она — бездонное место под купавами... Пока сон хорош... продолжай появляться в наших снах, влюбленность, но не томи, пробуждая нас или говоря слишком много, — умолчание лучше, чем эта щель или этот лунный луч *(англ.)*.

[2] Напоминаю, что влюбленность — не реальность, видимая наяву, что у нее иной крап... и что, может статься, загробный мир стоит, слегка приоткрывшись, в темноте *(англ.)*.

[3] Ну вот *(фр.)*.

[4] Здравствуй *(фр.)*.

Огромные массы Шейкерова Кольдкрема втирались мне в спину коленопреклоненной, воркующей Ирис, пока я лежал на пламенном пляже, на грубом полотенце, ничком. Под закрытыми веками, притиснутыми к предплечью, проплывали пурпуровые светородные образы: "Сквозь прозу солнечных волдырей проступала поэзия ее прикосновений..." — так значится в моем карманном дневничке, но теперь я могу уточнить эти юношеские утонченности. Пронимая зудящую кожу и претворяясь, с приправой этого зуда, в неизъяснимое и довольно смешное блаженство, прикосновенье ее ладони к лопаткам, скольжение вдоль спинного хребта, слишком уж отзывалось умышленной лаской, чтобы не быть умышленным подражанием ей, и я не мог обуздать потаенного отзыва, когда под конец проворные пальцы спархивали без нужды к самому копчику, прежде чем отлететь совсем.

— Ну вот, — произносила Ирис в точности с тою же интонацией, к какой прибегала, закончив более специализированную процедуру, одна из моих кембриджских душечек, Виолетта Мак-Д., девственница опытная и сострадательная.

У ней, у Ирис, было немало любовников, и когда я открывал глаза и поворачивался к ней и видел ее и пляску алмазов в сине-зеленом исподе каждой близящейся, каждой валкой волны, и черную мокрую гальку на гладком предпляжье, там, где мертвая пена ожидает живую, — и, ах, она подступает, хохлатая линия волн, рысью, словно цирковые лошадки, по грудь погруженные в воду, — я постигал, созерцая ее на фоне этого задника, сколько льстивых похвал, сколько любовников помогло сформировать и усовершить мою Ирис вот с этой ее безукоризненной кожей, с отсутствием какой ни на есть неточности в обводе ее высокой скулы, с изяществом ямки под нею, с accroche-coeur[1] маленькой ладной игруньи.

— Кстати, — сказала Ирис (не вставая с колен, она немного откинулась, перевив под собою ноги), — кстати, я так и не извинилась за то мое прискорбное замечание

[1] Завиток волос на виске или на лбу *(фр.)*.

о ваших стихах. Я уже сотни раз перечитывала ваше "Valley Blondies"[1] (влюбленность) и по-английски, ради содержания, и по-русски, ради музыки. Мне кажется, они совершенно божественны. Вы меня прощаете?

Я потянулся губами — поцеловать радужную коричневую коленку рядом со мной, но ее ладонь, как бы измеряя младенческий жар, легла мне на лоб и остановила его приближение.

— За нами присматривает, — сказала она, — множество глаз, глядящих якобы в какую угодно, только не в нашу сторону. Две милых учительницы-англичанки справа от меня, — шагах примерно в двадцати, — уже поведали мне, что ваше сходство с фотографией Руперта Брука, той, где у него голая шея, просто a-houri-sang[2], — они и по-французски немного знают. Если вы снова попытаетесь поцеловать меня или мою ногу, я попрошу вас уйти. Слишком часто в моей жизни мне делали больно.

Последовало молчание. Крупинки кварца источали радужный свет. Когда девушка начинает разговаривать, как героиня рассказа, все, что вам требуется — это немного терпения.

Я уже отослал стихи в ту эмигрантскую газету? Покамест нет; прежде нужно отправить венок сонетов. Судя по кое-каким мелочам, двое слева от меня (я понизил голос) — мои соотечественники-экспатрианты.

— Да, — согласилась Ирис, — они почти окоченели от любопытства, пока вы читали Пушкина, — про волны, с обожаньем ложившиеся к ее ногам. А какие еще признаки?

— Он очень медленно, сверху вниз, гладит бородку, глядя на горизонт, а она курит папиросу.

Еще была там малышка лет десяти, баюкавшая в голых руках большой желтый мяч. Казалось, на ней нет ничего, кроме какой-то оборчатой упряжи да короткой складчатой юбки, не скрывавшей ладные бедра. В более позднюю эру любитель назвал бы ее "нимфеткой". Поймав мой взгляд,

---

[1] "Блондинки из долины" *(англ.)*.

[2] *Искаж.* ahurrissant — "сногсшибательный" *(фр.)*.

она улыбнулась мне похотливо и сладко по-над солнечным шаром, из-под золотисто-каштановой челки.

— В одиннадцать или в двенадцать, — сказала Ирис, — я была такой же смазливенькой, как эта французская сирота. Вон ее бабушка сидит вся в черном и вяжет на расстеленной "Cannice-Matin"[1]. Я позволяла дурно пахнувшим джентльменам ласкать меня. Играла с Ивором в неприличные игры — так, ничего особенного, и вообще он теперь донов предпочитает доннам, так он, во всяком случае, говорит.

Она рассказала мне кое-что о своих родителях, по чарующему совпадению скончавшихся в один день, — мать в семь утра в Нью-Йорке, отец в полдень в Лондоне, — всего два года назад. Они разошлись сразу после войны. Она была американка, ужасная. О матери так говорить не положено, но она и вправду была ужасна. Папа, когда умер, был вице-президентом "Samuels Cement Company". Он происходил из почтенной семьи и имел "хорошие связи". Я спросил: почему, собственно, у Ивора зуб на "общество" и наоборот? Она туманно ответила, что его воротит от "своры охотников на лис" и "банды яхтсменов". Я заметил, что к этим противным штампам прибегают только мещане. В нашем кругу, в моем мире, в изобильной России моего отрочества мы настолько стояли выше любых представлений о "классах", что лишь усмехались или зевали, читая о "японских баронах" или "новоанглийских патрициях". Все же довольно странно, что Ивор отбрасывал шутовство и обращался в нормальную серьезную личность, лишь седлая своего дряхлого, чубарого в подплешинах конька и принимаясь поносить английские "высшие классы" — в особенности их выговор. Ведь последний, возражал я, представляет собою речь, превосходящую качеством наилучший парижский французский и даже петербургский русский, — обаятельно модулированное негромкое ржание, которому Ирис и он в их обиходном общении подражали довольно удачно, хоть, разумеется, и неосознанно, если только не забавлялись, длинно вышучивая ходульный или устарелый

---

[1] "Утро Канниццы", газета *(фр.)*.

английский безобидного иностранца. К слову, кто по национальности этот бронзовый старикан с вековой порослью на груди, вон он выбирается из низкого прибоя следом за своей мокрой собакой, — по-моему, его лицо мне знакомо?

Это Каннер, сказала Ирис, великий пианист и охотник на бабочек, его лицо и имя не сходят с колонок хроники Морриса. Она как раз пытается добыть билеты хотя бы на два его концерта; а вон там, прямо на том месте, где отряхивается пес, в июне, когда здесь было еще пустовато, загорало семейство П. (высокое древнее имя), причем Ивора отшили, хоть он и был в Тринити знаком с молодым Л. П. Теперь они перебрались вон туда. Только для избранных. Видите, оранжевая точка? Их купальня. У подножия "Мирана-палас". Я промолчал, хоть тоже знал молодого П. и тоже его не любил.

В тот же день. Налетел на него в мужской уборной "Мираны". Восторженные приветствия. Как я насчет того, чтобы познакомиться с его сестрой, завтра у нас что? Суббота. Скажем, завтра в полдень они выйдут прогуляться к "Виктории". Видите, там, справа от вас, что-то вроде бухточки. Я здесь с друзьями. Вы ведь знаете Ивора Блэка? Молодой П. объявился в должное время с милой долгоногой сестрой. Ивор — возмутительно груб. Вставай, Ирис, ты разве забыла, — мы пьем чай с Рапалловичем и Чичерини. В этом духе. Дурацкая вражда. Лидия П. помирала со смеху.

Достигнув кондиций вареного рака и лишь тогда обнаружив чудесное действие крема, я переменил мой консервативный caleçon de bain[1] на более короткую его разновидность (о ту пору еще подзапретную в парадизах построже). Запоздалое переодевание породило причудливые наслоенья загара. Помню, как я пробрался в комнату Ирис, чтобы полюбоваться собою в высоком зеркале — единственном в доме — в то утро, что она избрала для похода в косметический салон, — я позвонил туда удостовериться, что она именно там, а не в объятьях любовника. Не считая мальчика-провансальца, натиравшего лестничные перила, никого

---

[1] Купальные трусы *(фр.)*.

в доме не было, и это позволило мне предаться самой давней и постыдной моей усладе — бродить голышом по чужому жилищу.

Портрет в полный рост получился не очень удачным, а лучше сказать — содержащим легкомысленные элементы, часто присущие зеркалам и средневековым изображениям экзотических тварей. Лицо у меня было коричневое, руки и торс — цвета жженого сахара, его окаймлял карминный экваториальный пояс, а за ним простиралась белая, более-менее треугольная, заостренная к югу область, с двух сторон ограниченная избытками багреца, и, поскольку я целыми днями разгуливал в шортах, ноги были так же коричневы, как лицо. Белизна брюшины вверху оттеняла страшный repoussé[1] с уродливостью, никогда не виданной прежде, — портативный мужской зоосад, симметричный ком животных причиндалов, слоновый хобот, двойняшки морские ежи, крошка-горилла, вцепившаяся мне в пахи, обратив к публике спину.

Нервы мои продрало упреждающей судорогой. Бесы неизлечимой болезни, "освежеванного сознания", распихивали моих арлекинов. Нужно было отвлечься, и я стал искать неотложной помощи у безделушек из лавандовой спальни любимой: у лилового плюшевого медведя, у занятного французского романа ("Du côté de chez Swann"[2]), который я ей купил, у плетенки с опрятной стопкой свежепостиранного белья, у двух барышень с цветного снимка в вычурной рамке, косо надписанного "Леди Крессида и лапочка Нелл, Кембридж, 1919"; первую я принял за Ирис в золотом паричке и розовом гриме, но внимательное изучение показало: это Ивор в роли той чрезвычайно докучной девицы, что так егозит в небезупречном фарсе Шекспира. Впрочем, и хромодиаскоп Мнемозины тоже ведь может прискучить.

Когда я уже с меньшим пылом возобновил мои нудистские блуждания, мальчишка, насилуя уши, смахивал пыль с клавиш "Бехштейна" в музыкальной гостиной. Он что-то

---

[1] Здесь: рельеф *(фр.)*.

[2] "По направлению к Свану" *(фр.)*.

спросил у меня, похожее на "Hora?"[1] и я повертел перед ним запястьем туда и сюда, показывая бледный призрак часов и браслетки. Совершенно неверно истолковав этот жест, он отвернулся и покачал тупой головой. То было утро неудач и ошибок.

Я повернул в буфетную ради стакана-другого вина — лучший завтрак при любых неурядицах. В коридоре я наступил на осколок фаянсовой плошки (накануне мы слышали ее дрызг) и с руганью заплясал на одной ноге, норовя разглядеть воображаемый распор посреди бледной ступни.

Литр rouge[2], который я так живо себе представлял, оказался на месте, но штопора я не смог отыскать ни в одном из буфетных ящиков. Грохая ими, я в промежутках слышал, как ара орет что-то дурное и страшное. Пришел и ушел почтальон. Редактор "Новой Зари" ("The New Aurora") опасался (жуткие трусы эти редактора), что его "скромное эмигрантское начинание" не сможет и проч. — скомканное "проч.", полетевшее в кучу отбросов. Без вина, без венка, с Иворовой "Times" подмышкой я прошлепал по черной лестнице в мою душную комнату. Буйство в моем мозгу все-таки началось.

Именно тогда, отчаянно рыдая в подушку, я и решил предварить завтрашнее предложение руки и сердца исповедью, которая, быть может, сделает его неприемлемым для моей Ирис.

7

Если посмотреть из нашей садовой калитки вдоль асфальтированной аллейки, что тянется леопардовой тенью к деревне, отстоящей от нас шагов на двести к востоку, увидишь розовый кубик маленькой почтовой конторы, зеленую скамью перед ней, а над нею — флаг; все это с оцепенелой яркостью вписано прозрачными красками между двух последних платанов из тех, что одинаковыми рядами вышагивают по сторонам дороги.

---

[1] Час (*исп.*).

[2] Красное (здесь: вино, *фр.*).

На правой (южной) ее стороне, за каемкой канавы, занавешенной ожиной, виднеются в прогалах пятнистых стволов полоски лаванды или люцерны, а дальше тянется параллельно нашей стезе (к чему эти вещи имеют всегдашнюю склонность) низкая белая ограда погоста. На левой (северной) стороне мельком видишь сквозь те же проемы простор восстающей земли, виноградник, далекий крестьянский дом, сосновые рощи и очертания гор. К предпоследнему стволу на этой стороне кто-то приклеил, а кто-то другой частью отодрал бессвязное извещение.

Едва ли не каждое утро мы, Ирис и я, выходили этой аллейкой на деревенскую площадь, а с нее — прелестными краткими тропками — к Канницце и к морю. Ирис любила время от времени возвращаться пешком, она была из тех некрупных, но крепких девчушек, что упражняются в беге с барьерами, играют в хоккей, лазят по скалам и потом еще отплясывают шимми "до безумного бледного часа" (цитирую из моего первого стихотворения, обращенного к ней). Поверх скудноватого купальника она надевала обычно "индийский" наряд, род сквозистого покрова, и, следуя вплотную за ней и ощущая уединенность, укромность и вседозволенность сна, я впадал в животное состояние и испытывал трудности при ходьбе. По счастью, не уединенность, не столь уже и укромная, удерживала меня, но моральная решимость сделать серьезнейшее признание прежде, чем я стану любиться с ней.

Море виделось с этих откосов расстеленными далеко внизу величавыми складками, и медлительность, с которой вследствие расстояния и высоты подступала возвратная линия пены, казалась слегка шутовской, ибо мы понимали, что волны осознают, как и мы, несвободу их побежки, а тут — такая сдержанность, такая торжественность...

Внезапно откуда-то из окружавшего нас кавардака природы донесся рев неземного блаженства.

— Господи Боже, — сказала Ирис, — надеюсь, это не удачливый беглец из "Цирка Каннера". (Не родственник пианиста — так по крайней мере считалось.)

Мы шли теперь бок о бок: тропинка, перекрестив для начала с полдюжины раз петлистую основную дорогу, стала

поширe. В тот день я по обыкновению препирался с Ирис относительно английских названий тех немногих растений, которые я умел отличить: ладанника и цветущей гризельды, агавы (которую она называла "столетником"), ракитника и молочая, мирта и земляничного дерева. Крапчатые бабочки, будто быстрые блики солнца, там и сям сновали в случайных тоннелях листвы, и раз огромное, оливковое, с розовым отблеском понизу животное ненадолго присело на головку чертополоха. О бабочках я не знаю ничего да, собственно, и знать не желаю, особенно о ночных, мохнатых, — не выношу их прикосновений: даже прелестнейшие из них вызывают во мне торопливый трепет, словно какая-нибудь летучая паутина или та пакость, что водится в ванных Ривьеры, — сахарная чешуйница.

В день, пребывающий ныне в фокусе, день, памятный событиями куда более важными, но несущий и всякого рода синхронную чепуху, приставшую к нему, как колючки, или въевшуюся наподобие морских паразитов, мы увидали, как движется между цветущих скал рампетка, а следом появился и старый Каннер с панамой, качающейся на тесьме, зацепленной за пуговицу жилета; белые локоны веяли над багровым челом, и весь его облик источал упоенье, эхо которого мы, без сомнения, и услыхали минуту назад.

После того что Ирис не медля описала ему авантажное зеленое существо, Каннер отверг его как eine[1] "Пандору" (во всяком случае, у меня так записано) — заурядную южную Falter (бабочку).

— Aber (впрочем), — пророкотал он, воздевая указательный палец, — если вам угодно взглянуть на истинный раритет, до сей поры ни разу не встреченный к западу от Nieder-Österreich[2], то я покажу вам, кого я сию минуту поймал.

Он прислонил сачок к скале (сачок немедленно рухнул, и Ирис уважительно его подняла) и под рассыпчатый аккомпанемент выражений пространной признательности

[1] Неопределенный артикль в немецком языке.

[2] Нижняя Австрия *(нем.)*.

(кому? — Психее? Ваалзевуву? Ирис?) извлек из отделения своей сумки конвертик для марок и очень нежно вытряс из него на ладонь сложившую крылья бабочку.

Бросив на нее единственный взгляд, Ирис сказала, что это всего лишь крошечная, совсем еще юная капустница. (У ней имелась теория, что, скажем, комнатные мухи *понемногу растут.*)

— Теперь смотрите внимательно, — сказал Каннер, игнорируя ее диковинное замечание и тыча сжатым пинцетом в треугольное насекомое. — То, что вы видите, это испод: левое Vorderflügel ("переднее крыло") с исподу белое, а левое Hinterflügel ("заднее крыло") — желтое. Я не стану раскрывать ей крылья, однако надеюсь, вы поверите тому, что я вам сейчас скажу. С наружной стороны, которой вам не видать, эта разновидность имеет такие же, как у ее ближайшей родни — у малой белянки и у белянки Манна, обе попадаются тут на каждом шагу, — типичные пятнышки на переднем крыле, а именно точку у самца и черное Doppelpunkt ("двоеточие") у самки. С исподу пунктуация у этих родственников воспроизводится, и только у вида, сложенный образчик которого вы видите на моей ладони, крыло снизу чистое — типографская причуда Природы! Ergo[1] — это эргана.

Одна из ножек лежащей бабочки дернулась.

— Ой, да она же живая! — вскрикнула Ирис.

— Не волнуйтесь, не улетит — одного сдавливанья довольно, — успокоительно ответил Каннер, спуская образчик назад в его прозрачную преисподнюю; и победоносно вскинув на прощание руки с рампеткой, он снова полез наверх.

— Животное! — простонала Ирис. Мысль о тысячах замученных им крохотных тварей томила ее, но через несколько дней, когда Ивор водил нас на концерт Каннера (поэтичнейшее исполнение Грюнберговой сюиты "Les Châteaux"[2]), она отчасти утешилась презрительным замечанием брата: "Вся эта его возня с бабочками — не более

[1] Следовательно *(лат.).*

[2] "Зáмки" *(фр.).*

чем рекламный трюк". Увы, я, как собрат-сумасшедший, понимал, что это не так.

Все, что мне, достигнув нашей полоски пляжа, оставалось проделать, чтобы впитать в себя солнце, это скинуть рубашку, шорты и тапочки. Ирис пожатием плеч стряхнула свою оболочку и легла, голорукая и голоногая, на полотенце рядом со мной. Мысленно я репетировал заготовленную речь. Пес пианиста сегодня довольствовался обществом статной старухи — его (пианиста) четвертой жены. Двое дураковатых мальчишек закапывали нимфетку в горячий песок. Русская дама читала эмигрантскую газету. Муж ее созерцал горизонт. Две англичанки качались на ослепительных волнах. Большое французское семейство слегка подрумяненных альбиносов пыталось надуть резинового дельфина.

— Я созрела, чтобы макнуться, — сказала Ирис.

Она извлекла из пляжной сумки (хранившейся у консьержки в "Виктории") желтый купальный чепчик, и мы перенесли полотенца и все остальное на относительно уединенный старый причал, где она любила обсыхать после купания.

Уже дважды за мою молодую жизнь приступ *всепроникающей* судороги — телесного двойника молниеносного помраченья ума — едва не одолевал меня среди паники и мрака бездонных вод. Вспоминаю, как пятнадцатилетним парнишкой я вместе с мускулистым кузеном переплывал в сумерках узкую, но глубокую речку. Он уже оставлял меня позади, когда чрезвычайное напряжение сил породило во мне ощущение несказанной эйфории, сулящей чудеса скорости, призрачные призы на призрачных полках, — но в миг сатанинской ее кульминации сменяющейся нестерпимыми корчами сначала в одной ноге, потом в другой, а после в ребрах и в обеих руках. В позднейшие годы я часто пробовал растолковать ученым и ироническим докторам странную, уродливую *раздробленность* этих пульсирующих резей, обращавших меня в исполинского червя, а мои члены — в чередующиеся кольца агонии. По фантастическому везению, третий пловец, совсем чужой человек, оказался прямо за мной и помог выволочь меня из бездны сплетенных стеблей купавы.

Во второй раз это случилось спустя год на западном побережье Кавказа. Я бражничал с дюжиной собутыльников постарше на дне рождения у сына тамошнего губернатора, и около полуночи удалой молодой англичанин, Аллан Эндовертон (коему предстояло году в 39-м стать моим первым британским издателем!), предложил поплавать при лунном свете. Пока я не отважился слишком далеко забраться в море, приключение казалось довольно приятным. Вода была теплая; луна благосклонно блистала на крахмальной сорочке первого в моей жизни вечернего туалета, расстеленного на галечном берегу. Вокруг слышались веселые голоса; Аллан, помню, не потрудился раздеться и резвился средь пестрых зыбей с бутылкой шампанского; как вдруг все поглотила туча, большая волна подняла и перевернула меня, и скоро все чувства мои смешались настолько, что я не смог бы сказать, куда я плыву — в Туапсе или в Ялту. Малодушный ужас мгновенно спустил с цепи уже знакомую боль, и я утонул бы прямо там и тогда, если бы новый вал не подпихнул меня и не высадил на берег рядом с моими штанами.

Тень этих воспоминаний, отвратительных и довольно бесцветных (смертельная опасность бесцветна), всегда сопровождала меня, пока я "макался" или "плескался" (тоже ее словцо) рядышком с Ирис. Она свыклась с моим обычаем сохранять уютную связь с донышком мелководья, когда сама она уплывала "крилем" (если именно так назывались в двадцатые годы эти рукоплесканья) на весьма приличное расстояние; в то утро, однако, я едва не совершил изрядную глупость.

Мирно плавая взад-вперед вдоль берега, по временам опуская на пробу ногу, дабы увериться, что еще могу ощутить липковатое дно с его неаппетитной на ощупь, но вполне дружелюбной растительностью, я обнаружил вдруг, что морской пейзаж изменился. На среднем его плане коричневая моторная лодка, управляемая молодым человеком, в котором я опознал Л. П., описав пенистый полукруг, остановилась вблизи от Ирис. Она уцепилась за край яркого борта, а он что-то сказал ей и затем будто бы попытался втянуть ее внутрь, но она ускользнула, и он унесся, смеясь.

Все заняло, быть может, минуту-другую, но, помедли этот прохвост с его ястребиным профилем и белым узорчатым с перехватами свитером еще несколько секунд или будь моя девушка похищена, средь грома и брызг, новым ее ухажером, я бы, верно, погиб; ибо, пока эта сцена длилась, некий мужественный инстинкт — скорей сохранения рода, нежели самосохранения — заставил меня проплыть сколько-то неосознанных ярдов, и, когда я затем принял, чтобы перевести дух, вертикальное положение, ничего, кроме воды, не нашлось у меня под ногами. Я развернулся и поплыл в сторону суши, — я уже ощущал, как зловещее зарево, странный, никем досель не описанный ореол всепроникающей судороги, охватывает меня, заключая убийственный сговор с силами тяготения. Внезапно мое колено ткнулось в благословенный песок, и сквозь несильный откат я на карачках выполз на берег.

8

— Ирис, я должен сделать признание, касающееся моего душевного здравия.

— Погодите минутку. Надо спустить эту проклятую штуку как можно дальше — так далеко, как дозволяют приличия.

Мы лежали с ней на причале, я навзничь, она ничком. Она содрала с себя шапочку и возилась, пытаясь стянуть плечные бридочки мокрого купальника, чтобы подставить солнцу всю спину; вспомогательные бои развернулись на ближней ко мне стороне, рядом с ее аспидной подмышкой, — бесплодные усилия не обнаружить белизну маленькой груди в месте ее мягкого слияния с ребрами. Как только она, извернувшись, добилась удовлетворительного декорума, она полуоткинулась, придерживая черный лиф у груди, и свободная ее рука закопошилась в очаровательных шустрых поисках, напоминающих обезьянью поческу, — обычных у девушки, выкапывающей что-то из сумки, — в данном случае лиловую пачку дешевых "Salammbôs"[1] и

[1] "Саламбо", сорт сигарет *(фр.)*.

дорогую зажигалку; затем она снова притиснула грудью расстеленное полотенце. Мочка уха пылала среди черных привольных прядей "медузы", как называлась в начале двадцатых ее стрижка. Лепка ее коричневой спины с маленькой родинкой под левой лопаткой и с длинной ложбинкой вдоль позвоночника, искупающей все оплошности эволюции животного мира, болезненно отвлекала меня от принятого решения предварить предложение особливой, необычайно важной исповедью. Несколько аквамариновых капель еще поблескивало снутри ее коричневых бедер и на крепких коричневых икрах, и несколько камушков мокрого гравия пристало к розовато-бурым лодыжкам. Если в моих американских романах ("A Kingdom by the Sea", "Ardis") я так часто описывал невыносимую магию девичьей спины, то в этом главным образом повинна моя любовь к Ирис. Плотные маленькие ягодицы, — мучительнейший, полнейший, сладчайший цвет ее мальчишеской миловидности, — были как не развернутые подарки под рождественской елкой.

Вернув, после этих недолгих хлопот, на место терпеливо ожидавшее солнце, Ирис выпятила полную нижнюю губу, выдохнула дым и наконец сообщила:

— По-моему, с душевным здоровьем у вас все в порядке. Вы иногда кажетесь странноватым и хмурым, нередко глупым, но это в природе гения, ce qu'on appelle[1].

— А что такое, по-вашему, "гений"?

— Ну, способность видеть вещи, которых не видят другие. Или, вернее, невидимые связи вещей.

— В таком случае я говорю о состоянии жалком, болезненном, ничего общего с гениальностью не имеющем. Давайте начнем с живого примера, взятого в доподлинной обстановке. Пожалуйста, закройте ненадолго глаза. Теперь представьте аллейку, ведущую к вашей вилле от почтовой конторы. Видите, платаны сходятся в перспективе, а между двух последних — калитка вашего сада?

— Нет, — сказала Ирис, — последний справа заменен фонарным столбом, — его не так-то легко разглядеть с деревенской площади, но это фонарь, обросший плющом.

[1] Что называется *(фр.)*.

— Ну пусть, не важно. Главное, вообразите, что мы глядим из деревни, *отсюда*, в сторону садовой калитки — *туда*. В этой задаче нужна особая осторожность в отношении наших "там" и "тут". Покамест "там" — это прямоугольник солнечной зелени за полуотворенной калиткой. Теперь начинаем перемещаться по алеейке. Справа на втором стволе мы замечаем остатки какого-то местного объявления —

— Это Ивор его налепил. В нем объявлялось, что обстоятельства изменились и подопечным тети Бетти следует прекратить их еженедельные визиты.

— Великолепно. Продолжаем двигаться к садовой калитке. Между платанами по обе стороны видны кусочки пейзажа. Справа от вас, — пожалуйста, закройте глаза, чтобы видеть получше, — справа от вас виноградник, слева церковь и кладбище, вы различаете его длинную, низкую, очень низкую стену —

— У меня мурашки от вашего тона. И еще я хочу что-то добавить. Мы с Ивором нашли в ожине старое покосившееся надгробье с надписью "Dors, Médor!"[1] и с единственной датой — смерти — 1889-й; скорее всего, могила приблудной собаки. Это перед самым последним деревом слева.

— Итак, мы добрались до калитки. Мы уж было вошли, но тут вы внезапно остановились: вы забыли купить красивые новые марки для своего альбома. И мы решаем вернуться на почту.

— Можно я открою глаза? А то я боюсь заснуть.

— Напротив: самое время закрыть их покрепче и сосредоточиться. Мне нужно, чтобы вы вообразили, как вы разворачиваетесь, и "правое" сразу становится "левым", и вы вмиг ощущаете "тут" как "там", и фонарь уже слева от вас, а мертвый Медор — справа, и платаны сходятся к почтовой конторе. Можете это сделать?

— Сделано, — сказала Ирис. — Поворот кругом выполнила. Теперь я стою лицом к солнечной дырке с розовым домиком в ней и с кусочком синего неба. Что, можно шагать обратно?

---

[1] "Спи, Медор!" *(фр.)*

— *Вам-то* можно, да мне нельзя! В этом вся суть нашего опыта. В действительной, телесной жизни я поворачиваюсь так же просто и быстро, как всякий другой. Но мысленно, с закрытыми глазами и неподвижным телом, я не способен перейти от одного направления к другому. Какой-то шарнир в мозгу, какая-то поворотная клетка не срабатывает. Я, разумеется, мог бы сжулить, отложив мысленный снимок одной перспективы и спокойно выбрав противоположный вид для прогулки назад, в исходную точку. Но если я не жульничаю, некая пакостная помеха, которая свела бы меня с ума, примись я упорствовать, не дает мне вообразить разворот, преобразующий одно направление в другое, прямо противоположное. Я раздавлен, я взваливаю на спину целый мир, пытаясь зримо представить себе, как я разворачиваюсь, и заставить себя увидеть "правым" то, что вижу "левым", и наоборот.

Мне показалось, она заснула, но, прежде чем я утешился мыслью, что она не услышала, не поняла ничего из того, что губит меня, она шевельнулась, вернула на плечи бридочки и села.

— Во-первых, — сказала она, — давайте условимся оставить все эти опыты. Во-вторых, признаем, что сама наша затея сродни попыткам разрешить дурацкую философскую головоломку — вроде того что *значат* "правое" и "левое" в наше отсутствие, когда никто не смотрит, в пустом пространстве, да заодно уж и что такое пространство; я вот думала в детстве, что пространство — это то, что внутри нуля, любого, нарисованного мелом на доске, пускай не очень красивого, но все же хорошего, отчетливого нуля. Мне не хочется, чтобы вы сошли с ума или меня свели, — ведь эти сложности заразительны, — так что лучше нам совсем перестать крутить ваши аллеи. Я бы с удовольствием скрепила наш договор поцелуем, но придется его отложить. С минуты на минуту появится Ивор, он собирается покатать нас в своей новой машине, но, поскольку вы, наверное, кататься не захотите, давайте встретимся на минутку-другую в саду, перед самым обедом, пока он будет принимать ванну.

Я спросил, что ей рассказывал Боб (Л. П.) в моем сне.

— Это был не сон, — сказала она. — Он просто хотел узнать, не звонила ли его сестра насчет танцев, на которые они нас троих приглашают. Ну, если она и звонила, дома все равно было пусто.

И мы отправились в бар “Виктории” перекусить и выпить, и там нас нашел Ивор. Он сказал, глупости, он отменно танцует и фехтует на сцене, но в обычной жизни — медведь медведем, и потом, ему противно, когда любой rastaquouère[1] с Лазурного Берега получает возможность лапать его целомудренную сестру.

— Между прочим, — добавил он, — мне как-то не по душе маниакальная одержимость П. ростовщиками. Он едва не пустил по миру лучшего из имевшихся в Кембридже, но только и знает, что повторять о них традиционные гадости.

— Смешной человек мой брат, — сказала Ирис, обращаясь ко мне, точно на сцене. — Нашу родословную он скрывает, словно сомнительную драгоценность, но стоит кому-то назвать кого-то другого Шейлоком, как он закатывает публичный скандал.

Ивор продолжал балабонить:

— Сегодня у нас обедает Морис (его наниматель). Холодное мясо и маседуан под кухонным ромом. Еще я разжился в английской лавке баночкой спаржи, — она гораздо лучше той, что выращивают здесь. Машина, конечно, не “Ройс”, но все ж и у ней имеется руль-с. Жаль, что Вивиан слишком слаб на желудок, чтобы с нами поехать. Нынче утром я видел Мадж Титеридж, она уверяет, что французские репортеры произносят ее фамилию как “Si c’est riche”[2]. Никто не смеется сегодня.

9

Слишком взволнованный для моей обычной сиесты, я потратил бóльшую часть предвечернего времени на любовное стихотворение (ставшее последней записью в кар-

---

[1] Расфуфыренный проходимец *(фр.)*

[2] “Уж если это богатство” *(фр.)*.

манном дневничке 1922 года, — сделанной ровно через месяц после приезда в Карнаво). В ту пору у меня, казалось, были две музы: исконная, истошная, истинная, терзавшая меня неуследимыми вспышками воображения и ломавшая руки над моей неспособностью усвоить безумие и волшебство, которыми она наделяла меня, и ее подмастерье, подмена, девчонка для растирания красок, маленькая резонница, набивавшая в рваные дыры, оставляемые госпожой, пояснительную или починявшую ритм начинку, которой становилось тем больше, чем дальше я уходил от начального, тающего, варварского совершенства. Неверная музыка русских рифм обманно выручала меня, наподобие демонов, нарушающих черную тишь художнического ада подражаниями греческим поэтам и доисторическим птицам. Еще один, и уже последний лукавый обман совершался в беловике, где чистописание, веленевая бумага и черная тушь на краткий срок скрашивали мертвящие вирши. И только подумать — едва не пять лет я все упорствовал и все попадался в ловушку, пока наконец не прогнал эту размалеванную, забрюхатевшую, покорную и жалкую служаночку.

Я оделся и сошел вниз. Дверь на террасу стояла раскрытой. Старина Морис, Ирис и Ивор сидели, смакуя мартини, в ложе изумительного заката. Ивор кого-то изображал — человека с престранным выговором и преувеличенной жестикуляцией. Изумительный закат не только сохранился в виде декорации к сцене, переиначившей всю мою жизнь, но, может быть, дотянул и до предложения, годы спустя сделанного мною моим английским издателям: выпустить настольного формата альбом восходов и закатов, добившись сколь можно более правдивых оттенков, — такое собрание имело бы и научную ценность, ибо можно было привлечь какого-нибудь дельного целестиолога, чтобы он обсудил образцы, взятые в разных странах, и проанализировал поразительные, никем пока не изученные различия в колористических структурах сумерек и рассветов. Альбом со временем вышел, дорогой и со сносными красками, но текст к нему написала какая-то неудачница, и ее причесанная проза и заемная поэзия испакостили книгу (Allan and Overton, London, 1949).

Минуту-другую я простоял, рассеянно вслушиваясь в визгливую декламацию Ивора и вглядываясь в огромный закат. По его размывке — классических светло-оранжевых тонов — наискось прошаркивали иссиня-черные акульи туши. Особый блеск придавали этому сочетанию яркие, словно уголья, облачка, плывшие в лохмотьях и куколях над красным солнцем, принимающим форму то ли шахматной пешки, то ли балюстрадной балясины. "Смотрите, ведьмы летят на шабаш!" — едва не воскликнул я, но тут увидел, что Ирис встает, и услышал ее слова:

— Хватит уж, Ив. Морис с ним не знаком, ты попусту тратишь порох.

— Вовсе нет, — возразил ей брат, — сию минуту они познакомятся, тут Морис его и *распознает* (в глаголе послышались сценические раскаты), в том-то и штука!

Ирис спустилась в сад по ступенькам террасы, и Ивор не стал продолжать своего скетча, который, когда я быстро прокрутил его вспять, обжег мне сознание ловкой карикатурой моего говора и манер. Странное я испытывал чувство: как будто от меня оторвали кусок и бросили за борт, как будто меня разлучили с моей собственной личностью, как будто я устремился вперед, одновременно отваливая в сторону. Второе движение возобладало, и скоро мы с Ирис соединились под дубом.

Стрекотали сверчки, сумрак заливал маленький пруд, и луч наружного фонаря отблескивал на двух застывших машинах. Я целовал ее губы, шею, ожерелье, шею, губы. Она отвечала мне, изгоняя мою досаду, но, прежде чем ей убежать на празднично озаренную виллу, я ей высказал все, что думал об идиоте.

Ивор самолично принес мне ужин — прямо на столик у постели, — с умело упрятанным смятеньем артиста, чье искусство осталось неоцененным, с очаровательными извинениями за причиненную мне обиду и с "у вас вышли пижамы?", я же отвечал, что, напротив, я скорее польщен и, собственно, летом всегда сплю голышом, но предпочел не спускаться в сад, опасаясь, что не дотяну, по причине легкой мигрени, до уровня столь блестящей имперсонации.

Спал я урывисто и лишь в первые послеполуночные часы соскользнул в более глубокое забытье (без всякой

на то причины проиллюстрированное видением моей первой маленькой возлюбленной — в саду, на траве), из которого меня грубо вытряхнули трескучие звуки мотора. Я накинул майку, высунулся в окно, вспугнув стайку воробьев из жасмина, чья роскошная поросль достигала второго этажа, и с чувственным вздрогом увидал, как Ивор укладывает сумку и удилище в машину, что стояла, подрагивая, практически прямо в саду. Было воскресенье, и я ожидал, что он целый день проторчит дома, ан глядь — он уже уселся за руль и захлопнул дверцу. Садовник обеими руками указывал тактические направления, здесь же стоял и его пригожий мальчишка, держа в руках желтую с синим перьевую метелку для пыли. Тут я услышал милый английский голос Ирис, желавший брату приятного препровождения времени. Пришлось высунуться подальше, чтобы увидеть ее: она стояла на полоске прохладной, чистой травы, босая, с голыми икрами, в пеньюаре с просторными рукавами, повторяя шутливые слова прощания, которых он расслышать уже не мог.

Через лестничную площадку я метнулся в ватер-клозет. Несколько мгновений спустя, покидая бурливый, жадно давящийся приют, я увидел ее по другую сторону лестницы. Она входила ко мне. Моя тенниска, очень короткая, розовато-оранжевая, как семужина, не могла укрыть моего безмолвного нетерпения.

— Не выношу очумелого вида вставших часов, — сказала Ирис, потянувшись коричневой нежной рукой к полке, на которой я пристроил старенькие песочные часики, ссуженные мне взамен нормального будильника. Широкий рукав ее соскользнул, и я поцеловал надушенную темную впадинку, о чем мечтал с первого нашего дня под солнцем.

Дверной запор не работал, я это знал, но все же сделал попытку, вознаградившую меня дурацкой видимостью вереницы щелчков, ничего решительно не замкнувших. Чьи шаги, чей болезненный юный кашель слышался с лестницы? Ну конечно, это Жако, мальчишка садовника, по утрам вытирающий пыль. Он может впереться сюда, сказал я, уже с трудом выговаривая слова. Чтобы надраить, к примеру, вот этот подсвечник. Ах, это не важно, шептала она, он всего лишь прилежный малыш, бедный подкидыш, как все

наши собаки и попугаи. А животик-то у тебя все еще розовый, совсем как майка. И пожалуйста, милый, не забудь улизнуть, пока не будет слишком поздно.

Как далеко, как ярко, как нетронуто вечностью, как изъедено временем! В постели встречались хлебные крошки и даже кусок оранжевой кожуры. Юный кашель заглохнул, но я отчетливо слышал скрипы, осмотрительные шажки, гул в ухе, прижатом к двери. Мне было, наверное, лет одиннадцать или двенадцать, когда племянник моего двоюродного деда приехал к нему, погостить в подмосковную, где и я проводил то жаркое и жуткое лето. Он привез с собой пылкую новобрачную — прямо от свадебного стола. Назавтра, в полуденный час, в горячке грез и любознательности, я прокрался под окно гостевой на втором этаже, в укромное место, где стояла, укоренясь в жасминовых зарослях, оставленная садовником лестница. Она достигала лишь до верху закрытых ставен первого этажа, и, хотя я нашел над ними опору для ног, какой-то фигурный выступ, я только сумел ухватиться за подоконник приотворенного окна, из которого неслись неясные звуки. Я различил нестройный дребезг кроватных пружин и ритмичное звяканье фруктового ножичка на тарелке рядом с ложем, один из столбов которого мне удалось разглядеть, до последней крайности вытянув шею; но пуще всего меня заворожили мужские стоны, исходившие из невидимой части кровати. Сверхчеловеческое усилие позволило мне увидеть спинку стула с оранжево-розовой рубахой. Он, упоенный зверь, обреченный, подобно многим и многим, на гибель, повторял теперь ее имя со все нарастающей силой и ко времени, когда нога моя сорвалась, уже кричал в полный голос, заглушая шум моего внезапного спуска в треск веток и метель лепестков.

10

Перед самым возвращением Ивора с рыбной ловли я перебрался в "Викторию", и там она ежедневно меня навещала. Этого не хватало, но осенью Ивор уехал в Лос Ангелес, чтобы вместе с братом (половинным) управлять

кинокомпанией "Аменис" (для которой через тридцать лет, спустя годы после гибели Ивора над Дувром, мне довелось писать сценарий по самому популярному в ту пору, но далеко не лучшему из моих романов — "Пешка берет королеву"), и мы вернулись на нашу любимую виллу в действительно очень приличном синем "Икаре", подаренном нам на свадьбу рачительным Ивором.

В один из дней октября мой благодетель, уже достигший последней стадии величавого одряхления, прибыл с ежегодным визитом в Ментону, и мы с Ирис без предупреждения приехали с ним повидаться. Вилла у него была несравненно роскошнее нашей. С трудом поднялся он на ноги, чтобы сжать руку Ирис в своих восково-бледных ладонях, и по крайности пять минут (малая вечность по светским понятиям) обозревал ее мутными голубыми глазами в своего рода ритуальном молчании, после чего обнял меня и медленно перекрестил, по жуткому русскому обычаю, троекратным лобзанием.

— Ваша суженая, — сказал он, разумея, насколько я понял, "невеста" (и говоря на английском, который, как потом отметила Ирис, в точности отвечал моему — в незабываемой версии Ивора), — так же прелестна, как будет прелестна ваша жена!

Я поспешил уведомить его — по-русски, — что месяц назад мэрия Канницци совершила над нами проворную церемонию, соединившую нас узами брака. Никифор Никодимович вновь воззрился на Ирис и наконец поцеловал ей руку, которую она, к моему удовольствию, подняла положенным образом (несомненно, натасканная Ивором, при всякой возможности учившим ее подавать лапку).

— Я превратно истолковал слухи, — сказал старик, — но тем не менее рад знакомству со столь очаровательной юной дамой. А осмелюсь спросить, в какой же церкви состоится освящение принесенного вами обета?

— В храме, который мы выстроим сами, сэр, — ответила Ирис — немного нахально, подумалось мне.

Граф Старов "пожевал губами" по обыкновению стариков из русских романов. Вошла, и очень кстати, мадемуазель Вроде-Вородина, пожилая кузина, ведавшая хозяй-

ством графа, и увела Ирис в смежный альков (озаренный портретом работы Серова, 1896 год, — известная в определенных кругах красавица, мадам де Благидзе, в кавказском костюме) на добрую чашку чаю. Граф желал поговорить со мной о делах и располагал всего десятью минутами "перед уколом".

Как в девичестве величали мою жену?

Я ответил. Он обдумал ответ и покачал головой. А матушку ее?

Я назвал и матушку. Та же реакция. А какова финансовая сторона нашего брака?

Я сообщил, что у нее есть дом, попугай, машина и небольшой доход, какой в точности, я не знаю.

Поразмыслив еще с минуту, граф осведомился, не желаю ли я получить постоянную работу в "Белом Кресте"? Нет, Швейцария тут ни при чем. Это организация, которая помогает русским православным христианам, рассеянным по свету. Работа подразумевает разъезды, интересные знакомства, продвижение на видные посты.

Я отверг ее так решительно, что он выронил серебряный коробок с пилюлями, и множество ни в чем не повинных леденчиков усеяло стол вокруг его локтя. Он их смахнул на ковер рассерженным выпроваживающим жестом.

Чем же я в таком случае намерен заняться?

Я отвечал, что хотел бы по-прежнему предаваться моим литературным мечтаниям и кошмарам. Большую часть года мы станем жить в Париже. Париж становился средоточием культуры и нищеты эмиграции.

И сколько же я смогу зарабатывать?

Ну, как известно Н. Н., разного рода валюты подрастеряли свою самоценность в водовороте инфляции, однако Борис Морозов, знаменитый писатель, слава которого опередила его изгнание, просветил меня, приведя несколько "примеров из жизни" при нашей недавней встрече в Канницце, куда он приезжал читать о Баратынском в местном "литературном кружке". В его случае четверостишие окупало bifstek pommes[1], а две статьи в "Новостях эмиграции"

---

[1] Бифштекс с картошкой *(фр.)*.

доставляли месячную плату за дешевую chambre garnie[1]. Ну и потом, чтения, самое малое дважды в год собиравшие изрядное количество публики, — каждое могло принести сумму, равноценную, скажем, ста долларам.

Обдумав все это, мой благодетель сказал, что, покамест он жив, я буду получать чек на половину названной суммы первого числа каждого месяца и что в своем завещании он мне откажет кое-какие деньги. Он сказал, какие. Ничтожность их ошеломила меня. То было предвестие огорчительных авансов, которые мне предлагали издатели — после долгого, многообещающего молчания под постукивание карандашом.

Мы наняли квартирку в две комнаты в шестнадцатом округе Парижа, на рю Депрео, 23. Соединявший комнаты коридор выходил передним концом к ванной и кухоньке. Предпочитая (из принципа и по склонности) спать в одиночестве, я уступил Ирис двойную кровать, а сам ночевал на кушетке в гостиной. Стряпать и прибирать приходила консьержкина дочка. Кулинарные способности у ней были скудные, так что мы часто нарушали однообразие постных супов и отварного мяса, обедая в русском "ресторанчике". В этой квартирке нам предстояло провести семь зим.

Благодаря предусмотрительности моего хранителя и благотворителя (1850?–1927), старосветского космополита со множеством связей в нужных местах, я ко времени женитьбы обратился в подданного уютной чужеземной державы и потому был избавлен от унижения нансеновским паспортом (вид на бродяжничество, в сущности говоря), как и от пошлой одержимости "документами", вызывавшей столько злого веселья у большевистских правителей, ухвативших определенное сходство между советской властью и бессовестной волокитой, как равно и близость гражданской стреноженности изгнанников политической обездвиженности красных крепостных. Я, поэтому, мог поехать с женой на любой курорт мира без того, чтобы неделями дожидаться визы и получить, быть может, отказ в визе на возвращение в случайную страну нашего обитания, в данном

[1] Меблированная комната *(фр.)*.

случае — Францию, — по причине неких изъянов в наших бесценных и презренных бумагах. Ныне (в 1970-м), когда моему британскому паспорту унаследовал не менее действенный американский, я все еще сохраняю тот 1922-го года снимок загадочного молодого человека, каким я тогда был, — с загадочно улыбающимися глазами, при полосатом галстуке и с вьющимися волосами. Помню весенние поездки на Мальту и в Андалузию, однако каждое лето, под 1 июля, мы приезжали в Карнаво и проводили там месяц, а то и два. Попугай помер в 25-м, мальчишка-лакей исчез в 27-м. Ивор дважды навещал нас в Париже, думаю, она с ним встречалась и в Лондоне, куда наезжала по крайности раз в год, чтобы провести несколько дней с "друзьями", мне не известными, но, по-видимости, безвредными — хотя бы в какой-то степени.

Мне полагалось быть посчастливей. Я и *рассчитывал* быть посчастливей. Здоровье мое продолжало снашиваться, и сквозь обтрепанные прорехи в нем проступали зловещие очертания. Вера в мой труд стояла неколебимо, но, несмотря на трогательные намерения Ирис разделить его со мной, она так и осталась от него в стороне, и чем большего совершенства я достигал, тем более она от него отчуждалась. Она брала разрозненные уроки русского, постоянно прерывая их на долгие сроки, и кончила тем, что выработала устойчивое и вялое отвращение к этому языку. Я скоро приметил, что она оставила попытки казаться внимательной и понимающей, когда в ее присутствии разговаривали по-русски и только по-русски (продержавшись из вежливого снисхождения к ее немощи минуту-другую на примитивном французском).

В лучшем случае это сердило, в худшем — дергало душу, впрочем, не угрожая ее здоровью, — подобно кое-чему иному.

Ревность, колосс в маске, ни разу не встреченный мною прежде, посреди любострастных затей ранней юности, теперь, сложив на груди руки, вставал предо мной на каждом углу. Кое-что из эротических игр моей милой, послушной, сладкой Ирис, любовная изворотливость, лакомость ласк, легкая точность, с какой она приноравливала свой гибкий

остов к любой из построек страсти, — все предполагало обилие опыта. Прежде чем заподозрить настоящее, я почитал обязательным исчерпать подозрения по части прошедшего. Во время допросов, которым я подвергал ее в мои худшие ночи, она отметала ранние романы как вовсе незначащие, не понимая, что эта недоговоренность больше оставляет моему воображению, нежели грозно раздутая правда.

Трое любовников, бывших у ней в отрочестве (это число я вытягивал из нее с яростью пушкинского безумного игрока и с еще меньшей удачливостью), остались безымянными, а значит, призрачными, лишенными личных черт, и значит, совершенно одинаковыми. Они исполнили свои жалкие па в тени ее одиночной партии, — фигуранты кордебалета, годные для жеманной гимнастики, не для танца: было ясно, что из них никому не стать премьером труппы. Напротив, она, балерина, была словно дымчатый алмаз, все грани ее таланта готовились просиять, но под гнетом окружающей гили она пока ограничивалась в жестах и поступи выражениями холодного кокетства, увертливого флирта, ожидая, когда из-за кулис, после приличной прелюдии, вылетит в великолепном прыжке мраморнобедрый атлет в сверкающем трико. Мы полагали, что я избран на эту роль, однако мы ошибались.

Лишь проецируя эти стилизованные образы на экран моего сознания, мог я умерить муку обращенной на призраков сладострастной ревности. И однако ж, нередко я уступал ей по собственной воле. Высокое окно моего кабинета на вилле "Ирис" выходило на тот же крытый красной черепицей балкон, что и окно ее спальни; приоткрыв, створку удавалось установить под углом, дававшим два разных, сплавленных вида. Стекло косо улавливало за монастырскими сводами, ведшими из комнаты в комнату, часть ее постели и тела — прическу, плечо, — которых иначе я бы не смог углядеть от старинной конторки, за которой писал; но в нем содержалась еще, казалось, только вытяни руку, зеленая существенность сада и шествие кипарисов вдоль его боковой стены. Так, откинувшись наполовину в постели, наполовину в бледном и жарком небе, она писала

письмо, распяв его на моей шахматной доске, на той, что поплоше. Я знал, что, задав вопрос, услышу: "Так, давней школьной подружке", или "Ивору", или "Старушке Купаловой", и знал, что так или иначе письмо достигнет почтовой конторы на дальнем конце аллеи платанов без того, чтобы я повидал имя на конверте. Но я позволял ей писать, и она уютно плыла в спасательном поясе из подушек над кипарисами и оградою сада, а я неустанно исследовал — безжалостно, безрассудно, — до каких темных глубин достанет щупальце боли.

11

Русские уроки Ирис большей частью сводились к тому, что она относила мои стихи или опыты в прозе какой-нибудь русской даме — мадемуазель Купаловой или мадам Лапуковой (ни та ни другая английского толком не знали) и получала устный пересказ на своего рода домодельном воляпюке. Когда я указывал Ирис, что не стоит попусту тратить время на такую пальбу наугад, она измышляла еще какой-нибудь алхимический метод, который мог бы позволить ей прочесть все, мною написанное. Я уже начал тогда (1925) мой первый роман ("Тамара"), и она, лестью выманив у меня экземпляр первой главы, только что мной отпечатанной, оттащила его в агентство, промышлявшее французскими переводами практических текстов вроде прошений и отношений, подаваемых русскими беженцами разного рода крысам, в крысиные норы различных "комиссарьятов". Человек, взявшийся представить ей "дословное переложение", которое она оплатила "в валюте", продержал типоскрипт два месяца и, возвращая, предупредил, что моя "статья" воздвигла перед ним почти неодолимые трудности, "будучи написанной идиоматически и слогом, совершенно непривычным для рядового читателя". Так безымянный кретин из горемычной, гремучей и суматошной конторы стал моим первым критиком и переводчиком.

Я и знать не знал об этой затее, пока в один прекрасный день не застукал Ирис наклоняющей каштановые кудри

над листками, почти пробитыми люто-лиловыми буковками, покрывавшими их без какого-либо подобья полей. В те дни я наивно противился любым переводам, частью оттого, что сам пытался переложить на собственный мой английский два или три первых моих сочинения и ощутил в итоге болезненное отвращение — вместе с безумной мигренью. Ирис — кулачок у щеки, глаза в истомленном недоумении бегут по строкам — подняла на меня взор — несколько отупелый, но с проблеском юмора, не покидавшего ее и в самых нелепых и томительных обстоятельствах. Я заметил дурацкий промах в первой строке, младенческое гугуканье во второй и, не затрудняясь дальнейшим чтением, все разодрал, — что не вызвало в моей неудачливой душечке никакого отклика, только безропотный вздох.

Дабы возместить себе недоступность моих писаний, она решила сама стать писательницей. С середины двадцатых годов и до конца своей краткой, зряшной, необаятельной жизни моя Ирис сочиняла детективный роман в двух, трех, четырех последовательных вариантах, в которых интрига, лица, обстановка — словом, все непрестанно менялось в помрачительных вспышках отчаянных вымарок — все, за исключеньем имен (из коих я ни одного не запомнил).

У нее не только напрочь отсутствовал литературный талант, ей недоставало и сноровки, чтобы подделаться под малую толику одаренных авторов из числа процветавших, но эфемерных поставщиков “детективного чтива”, которое она поглощала с неразборчивым жаром образцового узника. Но как же тогда моя Ирис узнавала, что ей переменить, что выкинуть? Какой гениальный инстинкт велел ей уничтожить целую груду черновиков в канун, да, в сущности, в самый канун ее внезапной кончины? Только одно и могла представить себе эта странная женщина (причем с пугающей ясностью) — алую бумажную обложку идеального итогового издания, с которой волосатый кулак злодея тыкал пистолетообразной зажигалкой в читателя, коему, разумеется, не полагалось догадываться, пока не перемрут все персонажи, что это и впрямь пистолет.

Позвольте мне привести наугад несколько вещих мгновений, до времени ловко замаскированных, незримых в узорах семи зим.

В минуту затишья на великолепном концерте (мы не сумели купить на него смежных мест) я заметил, как Ирис радушно раскланивается с тускловолосой и тонкогубой дамой; я ее точно где-то встречал, и очень недавно, но сама незначительность ее облика не позволяла уловить смутного воспоминания, а Ирис я так о ней и не спросил. Ей предстояло стать последней наставницей моей жены.

Всякий автор при выходе первой книги верует, что те, кто ее похвалил, — суть его личные друзья или безликие, но благородные радетели, на хулу же способны лишь завистливый прощелыга да пустое ничтожество. Без сомнения, мог бы и я впасть в подобное заблуждение по части разборов "Тамары" в периодических русскоязычных изданиях Парижа, Берлина, Праги, Риги и иных городов, но я к тому времени уже погрузился во второй мой роман — "Пешка берет королеву", а первый в моем сознании ссохся до щепотки разноцветного праха.

Издатель "Patria"[1], эмигрантского ежемесячника, в котором стала выпусками печататься "Пешка", пригласил "Ириду Осиповну" и меня на литературный самовар. Упоминаю об этом единственно потому, что то был один из немногих салонов, до посещенья которых снисходила моя несходчивость. Ирис помогала приготовлять бутерброды. Я покуривал трубку и наблюдал застольные повадки двух крупных романистов и трех мелких, одного крупного поэта и пяти помельче, обоих полов, а также одного крупного критика (Демьяна Базилевского) и девяти маленьких, включая неподражаемого "Простакова-Скотинина", прозванного так его архисупостатом Христофором Боярским.

Крупного поэта, Бориса Морозова, похожего на дружелюбного медведя, спросили, как прошел его вечер в Берлине, и он ответил: "Ничево" — и затем рассказал смешную, но не запомнившуюся историю о новом председателе Союза русских писателей-эмигрантов в Германии. Дама, сидевшая рядом со мной, сообщила, что она без ума от вероломного разговора между Пешкой и Королевой — насчет мужа, — неужели они и вправду выбросят бедного

[1] "Отечество" *(лат.)*.

шахматиста из окна? Я ответил, что вправду, но не в ближайшем выпуске и впустую: он будет жить вечно в сыгранных им партиях и во множестве восклицательных знаков, рассыпаемых будущими комментаторами. Я также слышал — слух у меня почти под стать зрению — обрывки общего разговора, например пояснительный шепот из-под руки: "Она англичанка" — за пять стульев от меня.

Все эти пустяки навряд ли стоили б записи, когда бы они не служили привычным фоном для всякой подобной сходки изгнанников, по которой там и сям, среди пересудов и цеховой болтовни, просверкивала некая вешка — строчка Тютчева или Блока, приводимая походя, с привычной набожностью, — вечно сущей, неведомой иным высоты искусства, украшавшего печальные жизни внезапной каденцией, нисходившей с нездешних небес, сладостью, славой, полоской радуги, отброшенной на стену хрустальным пресс-папье, которого мы никак не отыщем. Вот чего была лишена моя Ирис.

Но возвратимся к пустякам: помню, я попотчевал общество одним из просчетов, замеченных мной в "переводе" "Тамары". Предложение "виднелось несколько барок" превратилось в "la vue était assez baroque"[1]. Выдающийся критик Базилевский — пожилой коренастый блондин в мятом коричневом костюме — заколыхался в утробном веселье, — но радостное выражение вскоре сменилось подозрительным и недовольным. После чая он въелся в меня, хрипло настаивая, что я выдумал этот пример оплошного перевода. Помню, я ответил, что, если на то пошло, я мог бы с тем же успехом выдумать и его самого.

Когда мы не спеша возвращались домой, Ирис пожаловалась, что ей никак не удается замутить стакан чаю с одной только ложки поднадоевшего малинового варенья. Я сказал, что готов примириться с ее умышленной отчужденностью, но умоляю оставить привычку объявлять à la ronde[2]: "Пожалуйста, не стесняйтесь меня, мне нравится звук русской речи". *Вот это* уже оскорбление, — все равно

[1] "Вид отдавал чем-то барочным" *(фр.)*.

[2] Всем вокруг *(фр.)*.

как сказать автору, что книга его неудобочитаема, но отпечатана превосходно.

— Я собираюсь искупить мою вину, — весело ответила Ирис. — Просто я никак не могла найти хорошего учителя, — всегда считала, что только ты и годишься, но ты же меня учить отказывался: то тебе недосуг, то ты устал, то тебе это скучно, то действует на нервы. Ну вот, я наконец нашла человека, который говорит сразу на двух языках, твоем и моем, словно оба ему родные, теперь все сойдется одно к одному. Я про Надю Старову. Собственно, она сама мне и предложила.

Надежда Гордоновна Старова была женой лейтенанта Старова (имя значения не имеет), служившего прежде при Врангеле, а ныне в какой-то конторе "Белого Креста". Я познакомился с ним недавно, в Лондоне, мы вместе тащили гроб старого графа, чьим незаконным отпрыском или "усыновленным племянником" (что бы это ни значило) он, как сказывали, был. Темноглазый, смуглый мужчина, года на три-четыре старший меня; мне он показался довольно красивым — на раздумчивый, хмурый манер. Полученное в гражданскую войну ранение в голову наградило его ужасающим тиком, от которого все лицо через неравные промежутки вдруг искажалось, как если б незримая рука сминала бумажный пакет. Надежда Старова, тихая, невидная женщина с чем-то неуловимо квакерским в облике, невесть для какой причины, конечно медицинской, замечала эти промежутки по часам, сам же он своих "фейерверков" не сознавал, если только не случалось ему увидеть их в зеркале. Он обладал мрачноватым юмором, замечательно красивыми руками и бархатным баритоном.

Теперь-то я понял, что тогда, в концерте, Ирис как раз с Надеждой Старовой и беседовала. Не могу точно сказать, когда начались уроки или насколько хватило этой блажи — на месяц, самое большее на два. Происходили они либо у госпожи Старовой дома, либо в одной из русских чайных, куда повадились обе женщины. Я держал дома списочек телефонов, дабы Ирис имела в виду, что я всегда могу выяснить, где она есть, если, скажем, почувствую, что вот-вот помешаюсь, или захочу, чтобы она дорогой домой

купила жестянку моего любимого табаку “Бурая Слива”. Другое дело, Ирис не знала, что я ни за что не решился б вызванивать ее, потому что, не окажись она в названном ею месте, я пережил бы минуты мучений, для меня непосильных.

Где-то под Рождество 1929 года она мимоходом сказала мне, что уроки давным-давно прекратились: госпожа Старова уехала в Англию и, по слухам, к мужу возвращаться не собиралась. Видать, лейтенант был изрядный повеса.

12

В некий таинственный миг, под конец нашей последней парижской зимы, что-то в моих отношениях с Ирис стало меняться к лучшему. Волна новой привязанности, новой близости, новых ласок поднялась и смела все обманы отдаления — размолвки, молчания, подозрения, ретирады в крепость amour-propre[1] и тому подобное — все, что мешало нашей любви и в чем виноват я один. Более покладистой и веселой подруги я не мог себе и представить. Нежности и любовные прозвища (основанные в моем случае на русских лингвистических формах) вновь воротились в наш повседневный обиход. Я нарушал монашеский распорядок труда над романом в стихах “Полнолуние” (“Plenilune”) верховыми прогулками с ней по Булонскому лесу, послушными хождениями на рекламные показы модных нарядов, на выставки мошенников-авангардистов. Я поборол презрение к “серьезному” синематографу (который приделывал к любой душераздирающей драме политический выверт), предпочитаемому ею американской буффонаде и комбинированным съемкам немецкой фильмы ужасов. Я даже выступил с рассказом о моих кембриджских денечках в довольно трогательном Дамском Английском Клубе, к которому она принадлежала. И в довершение праздника я рассказал ей сюжет моего следующего романа (“Камера люцида”).

---

[1] Самолюбие, гордость *(фр.)*.

Как-то под вечер, в марте или в начале апреля 1930-го, она заглянула ко мне в комнату и, получив разрешенье войти, протянула копию отпечатанной на машинке страницы номер 444. Это, сказала она, предположительный эпизод ее нескончаемой повести, в которой вымарок скоро станет больше, чем вставок. По словам Ирис, она застряла. Диана Вэйн, лицо проходное, но в общем приятное, поселившись на время в Париже, знакомится в школе верховой езды со странным французом корсиканского, а может быть и алжирского, происхождения, — страстным, брутальным, неуравновешенным. Он ошибкой принимает Диану — и упорствует в этой ошибке, несмотря на ее веселые увещания, — за свою былую возлюбленную, также англичанку, которой он многие годы не видел. Здесь перед нами, указывал автор, род галлюцинации, навязчивый вымысел, которым Диана, прелестная резвунья, наделенная острым чувством юмора, позволяет Жюлю тешиться на протяжении двадцати примерно уроков; но затем его интерес к ней становится более реалистическим, и она перестает с ним встречаться. Ничего между ними не было, и, однако ж, его никак нельзя убедить, что он спутал ее с девушкой, которой некогда обладал или думает, что обладал, потому что и та девушка вполне могла оказаться лишь остаточным образом увлечения еще более давнего, а то и застрявшим в памяти бредом. Положение сложилось очень запутанное.

Так вот, этот листок будто бы содержал последнее, зловещее письмо к Диане, написанное французом на нескладном английском. Мне надлежало прочесть его так, словно оно настоящее, и в качестве опытного писателя дать заключение, какими последствиями или напастями чревата эта история.

"Любимая!

Я не способен представить себе, что ты действительно желаешь порвать со мной всякую связь. Видит Бог, я люблю тебя больше жизни — больше двух жизней, твоей и моей, вместе взятых. Ты совсем не больна! Или, быть может, у тебя появился другой? Другой любовник, да? Другая жертва твоей привлекательности? Нет-нет, эта мысль слишком ужасна, слишком унизительна для нас обоих.

Мое ходатайство (supplication) *скромно и справедливо. Дай мне еще лишь одно свидание! Одно свидание! Я готов встретиться с тобой все равно где — на улице, в каком-нибудь café, в Лесу Булони, — но я должен увидеть тебя, должен открыть тебе многие тайны прежде, чем я умру. О, это не угроза! Клянусь, если наше свидание приведет к положительному результату, если, иначе говоря, ты позволишь мне надеяться, — только надеяться, — тогда, о, тогда я соглашусь подождать немного. Но ты должна мне ответить без промедления* (without retardment), *моя жестокая, глупенькая, обожаемая девочка!*

Твой Жюль"

— Тут есть одно обстоятельство, — сказал я, аккуратно укладывая листок в карман для последующего изучения, — о котором девочке следует знать. Это написано не романтическим корсиканцем, стоящим на грани crime passionnel[1], а русским шантажистом, знающим по-английски ровно столько, чтобы управиться с переводом самых затасканных русских оборотов. Меня поражает другое, — как это ты, имея три-четыре русских слова в запасе — "как поживаете" да "до свиданья", — как это ты, сочинительница, ухитрилась выдумать такие словесные тонкости и подделать ошибки в английском, на которые горазд только русский? Я знаю, что способность к перевоплощению — ваша семейная черта, и все же...

Ирис ответила (с той ее замысловатой non sequitur[2], которую мне предстояло спустя сорок лет отдать героине "Ardis'a"), что да, конечно, я прав, на нее, должно быть, подействовало чрезмерное обилие путаных русских уроков, она, разумеется, выправит это странное впечатление, попросту дав все письмо на французском, из которого, кстати, как ей говорили, русские и переняли целую кучу клише.

— Но дело не в этом, — прибавила она. — Ты не понял, главное — что будет дальше, я имею в виду логически? Как поступить моей бедной девушке с этим неотвязным живот-

[1] Преступление на почве ревности *(фр.)*.

[2] Вывод, не соответствующий посылкам, непоследовательность *(лат.)*.

ным? Ей не по себе, она запуталась, ей страшно. Куда заведет эта история — в трагедию или в фарс?

— В мусорную корзину, — шепнул я, прерывая работу, чтобы привлечь ее изящное тело к себе на колени, — что я, благодарение Господу, часто проделывал в ту роковую весну 1930 года.

— Верни мне листок, — нежно взмолилась она, пытаясь просунуть ладошку в карман моего халата, но я покачал головой и лишь крепче обнял ее.

Моя подспудная ревность воспламенилась бы, взревев, точно топка, если бы я заподозрил, что жена переписала подлинное послание — полученное, скажем, от одного из жалких, немытых эмигрантских поэтиков с прилизанными волосами и выразительно водянистыми глазками, которых она часто встречала в салонах изгнанников. Но, пересмотрев письмо, я решил, что она вполне могла сама составить его, подпустив несколько промахов, заимствованных из французского (supplication, sans tarder[1]), тогда как иные, верно, явились подсознательными отголосками воляпюка, приставшего к ней во время уроков у русских учителей или подхваченного в двух- и трехъязычных упражнениях из велеречивых грамматик. И потому все, что я сделал взамен блужданий по дебрям нечистых догадок, — это сохранил тонкий листок с неровными отступами, так характерными для отстуканных ею страниц, в полинялом, потрескавшемся портфеле, который лежит передо мной между иных воспоминаний, иных смертей.

13

Утром 23 апреля 1930 года визгливый зов коридорного телефона застал меня вступающим в полную ванну.

Ивор! Он только что прибыл в Париж из Нью-Йорка на важное совещание, до вечера будет занят, завтра уедет, но хотел бы...

Тут вмешалась голая Ирис и ласково, неторопливо, сияя улыбкой, отобрала у меня трубку вместе с его монологом.

---

[1] Без промедления *(фр.)*.

Минутой позже (при всех своих недостатках брат ее был милосердно немногословным телефонным говоруном) она, еще улыбаясь, обняла меня, и мы перешли в ее спальню для последнего нашего "fairelamourir"[1], как она называла это на своем небрежном и нежном французском.

Ивор обещал заехать за нами в семь вечера. Я уже надел старый обеденный смокинг, Ирис стояла бочком к коридорному зеркалу (лучшему и ярчайшему в доме), легко колеблемая стараньями поясней разглядеть в ручном зеркальце, которое держала у головы, свой темный, шелковистый, коротко остриженный затылок.

— Если ты готов, — сказала она, — хорошо бы купить немного маслин. Из ресторана мы поедем сюда, а он так любит их к послеобеденному коньяку.

И я спустился вниз, и перешел улицу, и содрогнулся (стоял сырой, безрадостный вечер), и толчком отворил дверь деликатесной лавчонки напротив, и мужчина, шедший за мной, крепкой рукой придержал ее, не давая закрыться. Он был в макинтоше, в берете, темное лицо его дергалось. Я узнал лейтенанта Старова.

— Ah! — сказал он. — A whole century we did not meet![2]

Облачко, выдохнутое им, отозвалось странным химическим душком. Я однажды попробовал нюхнуть кокаину (от чего меня только вырвало), но тут был какой-то другой наркотик.

Он стянул черную перчатку для одного из тех обстоятельных рукопожатий, которыми мои соотечественники почитают приличным обмениваться при всяком приходе-уходе, и освобожденная дверь тюкнула его между лопаток.

— Pleasant meeting![3] — продолжал он на своем удивительном английском (не выставляя его напоказ, как могло бы подуматься, но прибегая к нему вследствие подсознательного сближения). — I see you are in *smoking*. Banquet?[4]

---

[1] От faire l'amour — "предаваться любви" *(фр.)*.

[2] Сто лет не виделись! *(англ.)*

[3] Приятная встреча! *(англ.)*

[4] Я вижу вы в... Банкет? *(англ.)* Слово smoking означает не "смокинг", а "курение", "копчение".

Я платил за оливки, между тем отвечая, по-русски, что да, мы с женою нынче обедаем на людях. Затем я сумел уклониться от прощального рукопожатия, воспользовавшись тем, что прикащица обратилась к нему за новыми распоряжениями.

— Вот несчастье! — воскликнула Ирис. — Нужно черных, а не зеленых!

Я сказал, что отказываюсь возвращаться за ними, потому что не желаю еще раз нарваться на Старова.

— А, этот мерзкий тип, — сказала она. — Вот увидишь, теперь он явится нас навестить в надежде на "vaw-dutchka". Напрасно ты с ним разговаривал.

Она распахнула окно и высунулась наружу как раз в ту минуту, что Ивор вылез из таксомотора. Послав ему воздухом звучный поцелуй, она прокричала, иллюстративно маша руками, что мы спускаемся.

— Как было бы хорошо, — говорила она, пока мы торопливо сходили по лестнице, — если бы ты носил оперный плащ. Мы бы с тобой завернулись в него, как сиамские близнецы из твоего рассказа. Ну, теперь скоренько!

Она влетела в объятия Ивора и через миг уже укрылась в машине.

— "Паон д'Ор", — сообщил водителю Ивор. — Приятно видеть тебя, старичок, — сказал он мне с явственным американским выговором (которому я застенчиво подражал за обедом, пока он не прорычал: "Очень смешно").

Ресторана "Паон д'Ор" теперь уж не существует. Хоть и не первостатейный, но приятный и чистый, он был особенно люб американским туристам, которые называли его "Pander"[1] или "Пандора" и всегда заказывали "putty saw-lay", — и, сколько я понял, мы тоже его получили. Яснее я помню стекленный ящичек на расписанной золотыми фигурами стене рядом с нашим столом: в нем виднелась четверка бабочек морфо — две огромные, сияющие одинаково резко, но обладающие разными очерками, и две помельче под ними, слева сладостно-синяя с белыми полосками, а справа мерцающая, как серебристый атлас.

[1] "Сводник" *(англ.)*.

По уверениям метрдотеля, их поймал в Южной Америке каторжник.

— А как моя приятельница Мата Хари? — поинтересовался Ивор, вновь оборачиваясь к нам, его растопыренная пятерня по-прежнему плоско лежала на скатерти с той минуты, как он повернулся к обсуждаемым "насекомым".

Мы сообщили, что бедный ара заболел, пришлось его умертвить. А машина все еще бегает? Бегает и преотличнейшим —

— Собственно, — продолжила Ирис, тронув мое запястье, — мы решили завтра отправиться в Канниццу. Жалко, Ив, что ты не можешь присоединиться к нами, но, может быть, тебе удастся приехать потом.

Я не стал возражать, хоть и слыхом не слыхивал об этом решении.

Ивор сказал, что если нам захочется продать виллу "Ирис", то он знает человека, который ухватится за нее сразу. Ирис, сказал он, тоже его знает: Дэвид Геллер, актер.

— Он был (повернувшись ко мне) первым ее ухажером, пока тебя не принесло. У нее, небось, и теперь где-то спрятана наша с ним фотография — "Троил и Крессида", тому уж лет десять назад. Он играл Елену Троянскую, а я Крессиду.

— Врет, врет, — мурлыкала Ирис.

Ивор описал свой дом в Лос Ангелесе. Он предложил обсудить с ним после обеда сценарий, который ему хотелось мне заказать, — по гоголевскому "Ревизору" (мы, так сказать, возвращались в исходную точку). Ирис попросила добавки.

— Помрешь ведь, — сказал Ивор. — Это жутко сытная штука. Помнишь, что говорила миссис Грант (их давняя гувернантка, которой он приписывал всякого рода отвратные апофегмы): "Белые черви ждут не дождутся обжору".

— Вот потому-то я и хочу, чтобы меня после смерти сожгли, — заметила Ирис.

Он потребовал вторую или третью бутылку посредственного белого вина, которое я похвалил из малодушной учтивости. Мы выпили за его новую фильму — забыл название, — назавтра ей предстояло пойти в Лондоне, а там, надеялся он, и в Париже.

Ивор не выглядел ни особенно хорошо, ни особенно счастливо; он обзавелся порядочной весноватой лысинкой. Я прежде не замечал, как тяжелы его веки, как жестки и белесы ресницы. Наши соседи, троица безвредных американцев, здоровенных, краснолицых, горластых, были, возможно, не очень приятны, однако ни Ирис, ни я не сочли оправданной Иворову угрозу "заткнуть эти бронксиальные трубы", тем более что и сам он звучал довольно зычно. Честно говоря, я уже с нетерпением ждал окончанья обеда — и домашнего кофе, — напротив, Ирис, казалось, утвердилась в намерении вполне насладиться каждым кусочком, каждым глотком. На ней было очень открытое платье, черное, ровно смоль, и длинные ониксовые серьги, мой давний подарок. Щеки и руки, лишенные летнего загара, отливали матовой белизной, которую мне еще предстояло раздать — и может быть, слишком щедро — юным женщинам моих будущих книг. Блуждающий взор Ивора все примеривался, пока он говорил, к ее голым плечам, но мне с помощью простого приема — встревая с каким-то вопросом — удавалось сбивать этот взор с пути.

Наконец испытание подошло к концу. Ирис сказала, что через минуту вернется; ее брат предложил мне "пойти отлить", но я уклонился, — не то чтобы я не нуждался в этом, — нуждался, — а просто по опыту знал, что говорливый сосед и вид его близкой струи наверняка поразят меня испускательной импотенцией. Сидя в холле ресторана и покуривая, я размышлял о разумности внезапного переноса сложившегося уклада работы над "Камерой люцидой" в иную среду, к иному столу, с иным освещением, с иным напором внешних звуков и запахов, — и видел, как мои листки и заметки, мелькая, уносятся, словно яркие окна скорого поезда, не останавливающегося на моей станции. Я решил переговорить с Ирис об ее идее, и тут как раз брат и сестра, улыбаясь друг дружке, появились по обе стороны сцены. Ей осталось прожить меньше пятнадцати минут.

Номера вдоль рю Депрео едва различимы, и таксист на два дома проскочил мимо нашей парадной двери. Он предложил сдать назад, но нетерпеливая Ирис уже выпорхнула, и я полез следом, оставив Ивора расплатиться. Она огляде-

лась и зашагала к нашему дому так скоро, что я с трудом поспевал за ней. Почти уже подсунув ладонь ей под локоть, я услышал, как Ивор окликает меня — ему не хватило мелочи. Я бросил Ирис и побежал назад, к Ивору, и как раз поравнялся с двумя хиромантами, когда и я, и они услыхали, как Ирис крикнула громко и храбро, словно отгоняя злую собаку. В свете уличной лампы мы различили мужчину в макинтоше, шагавшего к ней с противоположной панели, — он выстрелил с такого малого расстояния, что мне почудилось, будто он проткнул ее своим большим пистолетом. Теперь таксист и мы с Ивором следом за ним подбежали уже так близко, что увидели, как убийца споткнулся о ее упавшее, сжавшееся тело. Но он и не пытался удрать. Вместо того он встал на колени, стянул берет, расправил плечи и в этой жуткой, смехотворной позе поднял к обритой голове пистолет.

Рассказ, после полицейского расследования (которое мы с Ивором запутали, как смогли) появившийся среди прочих faits-divers[1] в дневных парижских газетах, сводился к следующему — перевожу: русский из "белых", Владимир Благидзе, он же Старов, подверженный приступам умопомрачения, ночью в пятницу впал в исступление и открыл посреди тихой улочки беспорядочную стрельбу из пистолета, одним выстрелом убив английскую туристку миссис [фамилия переврана], случайно проходившую мимо, после чего вышиб себе мозги прямо над ее телом. На самом деле он не умер на месте, но, сохранив в замечательно прочном черепке осколки сознания, как-то дотянул аж до мая, в тот год необычно жаркого. Ивор из своего рода извращенного любопытства, какое, бывает, испытываешь во сне, посетил его в весьма специальной больнице знаменитого доктора Лазарева — в круглом-круглом, безжалостно круглом строении на верхушке холма, густо поросшего конским каштаном, собачьей розой и прочей кусачей зеленью. Через дырку в мозгу Благидзе улетучился полный набор недавних воспоминаний, зато пациент совершенно отчетливо помнил (по словам русского санитара, хорошо умевшего разби-

---

[1] Краткие новости *(фр.)*.

рать речи пытаемых), как его, шестилетнего, водили в Италии в увеселительный сад, и там крошечный поезд о трех открытых вагончиках с шестеркой безмолвных детей в каждом и с зеленым паровозиком на батарейном ходу, испускавшим через уместные промежутки клуб поддельного дыма, катил по кругу сквозь живописные, как в дурном сне, заросли ожины, чьи одуряющие цветы кивали в постоянном согласии со всеми кошмарами детства и ада.

Надежда Гордоновна с другом-священником заявилась в Париж откуда-то с Оркнеев лишь после погребения мужа. Из ложного чувства долга она попыталась встретиться со мной и рассказать мне "все". Я уклонился от всяких свиданий с ней, но она изловчилась поймать в Лондоне Ивора перед самым его отъездом в Штаты. Я никогда его не расспрашивал, и милый смешной человечек так и не рассказал мне, к чему это "все" сводилось, — отказываюсь верить, что ко многому, — да и, как бы там ни было, я знал достаточно. Человек я по натуре не мстительный, но, однако ж, люблю иногда помедлить воображеньем на том зелененьком поезде, бегущем по кругу, по кругу, по кругу, навек.

Часть вторая

1

Удивительная форма самосохранения заставляет нас избавляться, мгновенно, необратимо, от всего, что принадлежало потерянной нами возлюбленной. В противном случае вещи, к которым она каждый день прикасалась и которые удерживала в положенных рамках самим обращением к ним, начинают вдруг наливаться своей, безумной и жуткой жизнью. Каждое ее платье обзаводится собственной личностью, книги сами листают свои страницы. Мы задыхаемся в теснящем кругу этих чудовищ, не находящих себе ни места, ни образа, потому что ее здесь нет и некому их приголубить. И даже самый храбрый из нас не может встретиться взглядом с ее зеркалом.

Как от них избавиться — это иная проблема. Не мог же я топить их, будто котят, собственно, я и котенка не могу утопить, что уж там говорить о ее гребешке или сумочке. Не мог я и видеть, как чужой человек собирает их, утаскивает и возвращается за добавкой. Поэтому я просто сбежал из квартиры, велев служанке любым удобным ей способом избавиться от всех этих нежелательных предметов. Нежелательных! В миг расставания они выглядели вполне нормальными и безвредными, я бы даже сказал — озадаченными.

Поначалу я пытался обосноваться в третьеразрядном отеле в центре Парижа. Пробовал одолеть ужас и одиночество целодневным трудом. Закончил один роман, начал другой, написал сорок стихотворений (все как один — разбойники и братья в пестрых нарядах), дюжину рассказов, семь эссе, три разгромных рецензии и одну пародию. Чтобы не лишиться разума в течение ночи, приходилось заглатывать пилюлю особенной крепости или же покупать кого-то в постель.

Помню опасный майский рассвет (1931? или 1932?); все птицы (воробьи большей частью) пели, как в гейневском месяце мае, с монотонной бесовской силой, — я потому и думаю, что стояло чудное майское утро. Я лежал, повернувшись лицом к стене, и в недобром помрачении размышлял, не отъехать ли "нам" на виллу "Ирис" раньше обычного. Имелось, впрочем, препятствие, мешавшее мне предпринять эту поездку: и дом, и автомобиль были проданы, так сказала мне сама Ирис на протестантском погосте, потому что владыки ее веры и участи воспрещали кремацию. Я повернулся в постели от стенки к окну, рядом, между мной и окном, лежала Ирис, обратив ко мне темный затылок. Я содрал одеяло. Она была голая, в одних только черных чулках (это показалось мне странным, но в то же время напомнило что-то из параллельного мира, ибо разум мой стоял враскоряку на двух цирковых лошадях). В виде эротической сноски я в десятитысячный раз напомнил себе отметить где-нибудь, что нет ничего соблазнительней женской спины с профильным подъемом бедра, когда женщина лежит на боку, чуть подогнув ногу. "J'ai froid"[1], — сказала женщина, едва я тронул ее за плечо.

Русское обозначение любого предательства, неверности, вероломства — это муаровое, змеистое слово "измена", в основе которого лежит представление о перемене, подмене, превращении. Такое его происхождение никогда не приходило мне в голову в моих постоянных думах об Ирис, теперь оно поразило меня, как разоблаченное ведьмовство, обращение нимфы в шлюху, — и вызвало немедленный и истошный протест. Один сосед забухал мне в стену, другой застрекотал у дверей. Испуганная женщина, схватив свою сумку и мой плащ, вылетела из комнаты, и ей на смену явилась бородатая личность, облаченная, словно в фарсе, в ночную сорочку и галоши на босу ногу. Крещендо моих криков, криков гнева и горя, разрешилось истерикой. Кажется, были какие-то попытки сплавить меня в больницу. Во всяком случае, иное жилище пришлось искать sans tarder, — оборот, которого я не могу слышать без мучитель-

[1] Мне холодно *(фр.)*.

ных корчей, ибо он связан в моем сознании с письмом ее любовника.

Какой-то мелкий лоскут сельского пейзажа беспрестанно маячил перед моими глазами на манер светородной иллюзии. Я пустил указательный палец блуждать наугад по карте северной Франции, кончик ногтя застрял на городке Petiver или Petit Ver — червячок ли, стишок — и то и другое отзывалось идиллией. Автобус привез меня на какую-то станцию, кажется, поблизости был Орлеан. Все, что я помню о моем обиталище, — это странно уклончивый пол, отвечавший наклону потолка в кафе под моей комнатой. Помню еще пастельно-зеленый парк на восточной окраине города, старую крепость. Лето, проведенное мною там, — это просто мазок краски на тусклом стекле моего рассудка; но я сочинил несколько стихотворений, — по крайности одно из них, про акробатов, представляющих на площади перед церковью, множество раз перепечатывали за последние сорок лет.

Вернувшись в Париж, я обнаружил, что добрый мой друг, Степан Иванович Степанов, журналист с большим именем и независимыми средствами (он был из тех очень немногих русских счастливцев, что перебрались за границу и деньги туда же прибрали перед самым большевистским переворотом), не только устроил мое второе или третье публичное чтение ("вечер" — вот русское слово, приставшее к представлению этого рода), но и желает, чтобы я остановился в одной из десятка комнат его просторного старомодного особняка (авеню Кох? или Рош? Она упирается в статую генерала (или подпирается ею), имя которого мне не дается, но, наверное, прячется где-то в моих старых заметках).

В ту пору здесь проживали старики Степановы, их замужняя дочь баронесса Борг, ее одиннадцатилетнее чадо (барона, человека делового, фирма услала в Англию) и Григорий Рейх (1899–1942?), мягкий, меланхоличный, тощий молодой поэт, совсем бесталанный, печатавший в "Новостях" под псевдонимом "Лунин" по еженедельной элегии и служивший у Степанова секретарем.

По вечерам мне волей-неволей приходилось спускаться вниз для участия в частых сборищах литературных и по-

литических персонажей, происходивших в пышном салоне или в обеденной зале с ее огромным, долгим столом и масляным портретом en pied[1] юного сына Степановых, который погиб в 1920-м при попытке спасти тонущего одноклассника. Сюда частенько заглядывал близорукий, грубовато жовиальный Александр Керенский, отрывисто вздевавший монокль, чтобы разглядеть чужака или поприветствовать старого друга всегда готовой колкостью, произносимой скрипучим голосом, сила которого большей частью сгинула многие годы тому в реве революции. Бывал здесь и Иван Шипоградов, отменный романист и недавний Нобелевский призер, излучавший обаяние и одаренность, а после нескольких стопочек водки тешивший закадычных друзей какой-нибудь русской похабной байкой, вся художественность которой держится на деревенской смачности и на нежном уважении, с которыми в ней трактуются самые наши укромные органы. Фигурой куда менее привлекательной был старинный соперник И. А. Шипоградова, щуплый человечек в обвислом костюме, Василий Соколовский (странно прозванный И. А. “Иеремией”), который с начала столетия посвящал том за томом мистической и общественной истории украинского клана, основанного в шестнадцатом веке скромной семьей из трех человек, но к тому шестому (1920-й) ставшего целым селом, обильным мифологией и фольклором. Приятно было увидеть умное, грубо отесанное лицо старика Морозова с копной тусклых волос и яркими ледяными глазами; и наконец, у меня имелась причина внимательно приглядываться к приземистому и мрачному Базилевскому, — не потому, что он вот-вот должен был поцапаться или уже поцапался со своей молодой любовницей, красавицей с кошачьей повадкой, писавшей пес их знает что за стихи и вульгарно флиртовавшей со мной, а потому, что он, как я надеялся, уже уяснил, что это его я высмеял в последнем номере литературного журнала, в котором мы оба участвовали. Хотя английский его не годился для перевода, скажем, Китса (которого он определял как “доуайльдовского эстета начала эпохи

[1] Во весь рост *(фр.)*.

индустриализации"), Базилевский именно этим и обожал заниматься. Обсуждая недавно "в целом довольно приятную изощренность" моих переводов, он имел неосмотрительность процитировать знаменитую строку Китса, передав ее так:

Всегда нас радует красивая вещица, —

что в обратном переводе приобретает вид:

A pretty bauble always gladdens us.

Наш разговор, однако, оказался слишком коротким, чтобы мне удалось обнаружить, усвоил ли он мой веселый урок. Он спросил у меня, как мне показалась новая книга, о которой он толковал Морозову (одноязыкому), — а именно "впечатляющий труд Моруа о Байроне", и, услышав в ответ, что мне она показалась впечатляющей дребеденью, суровый критик мой, проворчав: "Не думаю, чтобы вы ее прочитали", продолжал просвещать невозмутимого старика-поэта.

Я норовил ускользнуть задолго до окончания вечера. Звуки прощания обычно настигали меня, когда я вплывал в бессонницу.

Большую часть дня я коротал за работой, засевши в глубоком кресле и удобно разложив перед собой принадлежности на особой доске для писания, предоставленной мне хозяином, большим любителем ловких безделиц. Со времени постигшей меня утраты я как-то стал прибавлять в весе, и теперь, чтобы выбраться из чрезмерно привязчивого кресла, приходилось кряхтеть и крениться. Только одна маленькая особа навещала меня, для нее я держал мою дверь приоткрытой. Ближний край доски услужливо изгибался, обнимая авторское брюшко, а на дальнем имелись зажимы и резинки, позволявшие удерживать карандаши и бумаги, я до того привык к этим удобствам, что неблагодарно тужил об отсутствии туалетных приспособлений — вроде тех полых палок, которыми, говорят, пользуются на Востоке.

Каждый день, всегда в один час, беззвучный пинок распахивал дверь пошире, и внучка Степановых вносила под-

нос с большим стаканом крепкого чаю и тарелкой аскетичных сухариков. Она приближалась, опустив глаза, осторожно переставляя ступни в белых носочках и синих полотняных тапочках, почти совсем застывая, когда начинал колыхаться чай, и вновь подвигаясь медленными шажками заводной куклы. У нее были соломенные волосы и веснущатый нос, и я подобрал для нее льняное платьице и глянцевый черный ремень, когда заставил ее продолжить таинственное продвижение прямо в книгу, которую писал о ту пору, в "Красный цилиндр", где она стала грациозной маленькой Эми, двусмысленной утешительницей приговоренного к казни.

Это были приятные перерывы, приятные! Из салона внизу слышалась музыка, — баронесса с матушкой играли à quatre mains[1], как они, несомненно, игрывали и переигрывали последние пятнадцать лет. У меня — в подкрепленье к сухарикам и для обольщения маленькой гостьи — имелась коробка печенья в шоколадной глазури. Доска для писания отодвигалась, заменяясь ее сложенными ручками. По-русски она говорила бегло, но с парижскими перебивками и вопрошающими звуками, эти птичьи ноты что-то страшненькое сообщали ответам, которые я, пока она болтала ножкой и покусывала печенье, получал на обычные вопросы, какие задаются ребенку; потом она вдруг выворачивалась у меня из рук посреди разговора и устремлялась к двери, будто ее кто позвал, хотя на деле пианино продолжало ковылять уютной стезей семейного счастья, в котором мне части не было и которого я, в сущности, и не знал никогда.

Предполагалось, что я проживу у Степановых недели две, однако я застрял на два месяца. Поначалу я чувствовал себя сравнительно хорошо — по крайности, мне было удобно, я отдыхал, — но новое снотворное снадобье, так отменно сработавшее на первой, завлекательной стадии, понемногу отказывалось справляться с кое-какими мечтаниями, которым, как выяснилось в невероятном последствии, мне следовало по-мужски уступить и осуществить их — неваж-

---

[1] В четыре руки *(фр.)*.

но каким способом; вместо того я воспользовался отъездом Долли в Англию и нашел для моего жалкого остова иное пристанище. Им оказалась спальня-гостиная в ветхом, но тихом доходном доме на левом берегу, "угол rue St Supplice", как сообщает с беспощадной неточностью мой карманный дневник. Подобие древнего посудного шкапа вмещало первобытный душ, иных удобств не имелось. Раза два или три в день я выходил ради еды, чашки кофе или экстравагантной покупки в деликатесной, и это давало мне небольшую distraction[1]. В соседнем квартале я отыскал синема со специальностью старых вестернов и крохотный бордель с четырьмя проститутками, разнившимися в возрасте от восемнадцати до тридцати восьми, самая молодая была и самой невзрачной.

Мне предстояло долгие годы прожить в Париже, связанному с этим гнетущим городом нитями, на которых держится достаток русского писателя. Ни тогда, ни теперь, задним числом, я не чувствовал и не чувствую чар, что так обольщали моих соплеменников. Я не о кровавом пятне на темнейших камнях самой темной из улиц этого города; не об этом непревзойденном ужасе; я только хочу сказать, что смотрел на Париж с его сероватыми днями и угольными ночами как на случайное обрамление самой подлинной и верной из радостей моей жизни: красочной фразы в моем мозгу под моросью, белой страницы под настольною лампой, ждущей меня в моем жалком жилище.

2

С 1925 года я написал и напечатал четыре романа; к началу 1934-го мне предстояло завершить пятый — "Красный цилиндр" ("The Red Top Hat"), — рассказ о том, как срубили голову. Ни одна из этих книг не превосходила объемом девяноста тысяч слов, но мой способ отбора и смешивания их едва ли можно было назвать экономным в рассуждении времени.

---

[1] Развлечение, отвлечение *(фр.)*.

Первый, карандашный набросок занимал несколько синих cahiers[1] из тех, что в ходу у школьников; по достиженье поправками точки насыщения он являл собой хаос клякс и кривулин. Хаосу отвечала беспорядочность текста, в котором лишь на нескольких страницах кряду выдерживалась правильная последовательность, затем прерываемая каким-нибудь объемистым куском, относящимся до более поздней или ранней части рассказа. Все это упорядочив и перенумеровав страницы, я приступал к следующей стадии: к беловику. Он опрятно вносился самоструйным пером в пухлую, крепко сшитую общую тетрадь или в гроссбух. Затем все красоты нарочитого совершенства мало-помалу вымарывались в оргии новых поправок. Третья фаза начиналась там, где кончалась удобочитаемость. Тыча нерасторопными, косными пальцами в клавиши старой верной "машинки" (свадебный дар графа Старова), я успевал отпечатать примерно три сотни слов за час — вместо округлой тысячи, которой мог бы вручную напичкать его какой-нибудь модный романист прежнего века.

Впрочем, к поре "Красного цилиндра" невралгические боли, за последние три года распространявшиеся во мне подобно мучительному внутреннему "я" — сплошные углы да когти, — наконец добрались до крайних моих оконечностей, обратив задачу печатания в счастливую невозможность. Я подсчитал, что мой скромный доход, — если сэкономить на любимых кормах вроде foie gras[2] и шотландского виски и отложить сооружение нового костюма, — позволит мне нанять опытную машинистку, которой я смог бы надиктовать выправленный манускрипт за, скажем, тридцать тщательно спланированных послеполудней. И я поместил в "Новостях" приметное "требуется" с указанием имени и телефона.

Из трех-четырех машинисток, предложивших свои услуги, я выбрал Любовь Серафимовну Савич, внучку сельского батюшки и дочку знаменитого эсера, незадолго до того скончавшегося в Медоне по завершении жизнеописания

[1] Тетради *(фр.)*.

[2] Гусиная печенка *(фр.)*.

Александра Первого (утомительный двухтомный труд, озаглавленный “Монарх и мистик” и ныне доступный американским студентам в посредственном переводе: Гарвард, 1970).

Люба Савич начала работать у меня 1 февраля 1934 года. Она приходила так часто, как требовалось, и готова была оставаться на сколько угодно часов (рекорд, установленный ею при одном особенно памятном случае, — от часу до восьми). Если бы присуждалось звание “мисс Россия” и если б предельный возраст призовых мисс повысили до “ровно под тридцать”, красавица Люба завоевала бы этот титул. То была высокая женщина с тонкими лодыжками, крупными грудями, широкими плечьми и радостными голубыми глазами на розовом круглом лице. Ее русые волосы, казалось, вечно были растрепаны, ибо в разговоре со мной она все время сгоняла вспять их боковую волну, грациозно вздымая локоть. Здрасьте и еще раз здрасьте, Любовь Серафимовна, — и как обольстителен был этот сплав “любви” с “Серафимом”, крестным именем раскаявшегося террориста!

Машинисткой Л. С. была бесподобной. Едва я надиктовывал, расхаживая взад-вперед, одно предложение, как оно уж ссыпалось в ее борозду подобно горсти зерна и, подымая бровь, она глядела на меня в ожидании новой россыпи. Если во время диктовки меня осеняло, как переменить что-либо к лучшему, я предпочитал не нарушать чудесного чередующегося ритма наших совместных трудов болезненной паузой, потребной для взвешивания слова, — особо нервирующей и бесплодной, когда стеснительный автор сознает, что разумнице за ожидающей машинкой не терпится встрять с пользительным предложением: я ограничивался тем, что помечал у себя в манускрипте место, дабы впоследствии осквернить своими каракулями ее безупречное творенье; но она, конечно же, была только рада перестучать на досуге страницу.

Обыкновенно мы прерывались минут на десять часов около четырех — или около четырех тридцати, если мне не удавалось прямо с ходу осадить всхрапывающего Пегаса.

Она на минутку удалялась в скромные toilettes[1] по другую сторону коридора, закрывая дверь за дверью с воистину неземной тихостью, и возвращалась так же беззвучно с наново припудренным носом и подкрашенной улыбкой, а у меня ее уже ожидали стакан vin ordinaire[2] и розоватые вафельки. Именно в эти невинные паузы и начала развиваться некая музыкальная тема — тема судьбы.

Не хочу ли я что-то узнать? (Затяжной глоток и облизывание губ.) Вот, она была на всех пяти моих вечерах, с самого первого, 3 сентября 1928 года, в Саль Планьоль, уж хлопала, хлопала, пока ладоши не заболели (показывает ладоши), и все говорила себе, что в следующий раз будет умницей, наберется духу и протиснется сквозь толпу (да-да, толпу, не надо так иронически усмехаться), и непременно возьмет меня за руку, и выльет всю душу в единое слово, — которого, правда, никак не могла подыскать, — ну и оставалась стоять, осклабясь, как дура, посреди пустевшего зала. А я не стану ее презирать за то, что у нее хранится альбом, в который она наклеивает все рецензии на мои книги — чудесные статьи Морозова с Яблоковым и нелепицы жалких щелкоперов вроде Бориса Ниета и Боярского? А знаю ли я, что это *она* оставила тот загадочный букетик ирисов там, где четыре года назад погребли урну с прахом моей жены? Мне, верно, и в голову не приходило, что она способна на память прочитать любые стихи из напечатанных мной в эмигрантской прессе полудюжины стран? Или что она помнит тысячи чарующих мелочей, разбросанных по моим романам, вроде крекота кряквы (в "Тамаре"), "что будет до скончания дней отзываться черным русским хлебом, которым в детстве делился с утками", или шахмат (в "Пешка берет королеву") с утраченным конем, "замещенным какой-то фишкой, сироткой иной, незнакомой игры"?

Все это, размазанное по нескольким сеансам, процеживалось с изрядной сноровкой, и уже к концу февраля, когда

---

[1] Туалеты *(фр.)*.

[2] Ординарное вино *(фр.)*.

экземпляр “Красного цилиндра”, безукоризненный типоскрипт, втиснутый в объемистый конверт, был передан из рук (опять же ее) в руки в приемной “Patria” (первейшего из русских журналов Парижа), я ощущал себя завязнувшим в тягостной паутине.

Я не только ни разу не испытал и легчайшего укола желания по отношенью к красавице Любе, но безразличие моих чувств положительно клонилось к отвращению. Чем более нежного волнения изображал ее взор, тем менее джентльменским становился мой отклик. Самая ее утонченность остренько отдавала изысканной пошлостью, овевавшей всю ее личность сладким душком распада. Я начинал с растущим раздражением примечать такие трогательные вещи, как ее аромат — вполне почтенные духи (кажется, “Adoration”[1]), неуверенно забивающие природный запашок редко омываемого тела русской девы: около часа “Adoration” еще как-то держалось, но дальше налеты из подполья становились все более частыми, и когда она подымала руки, чтобы надеть шляпку... ну да что там, намерения у нее были самые лучшие, и надеюсь, что ныне она счастливо нянчит внучат.

Я оказался бы хамом, возьмись я описывать нашу последнюю встречу (1 марта того же года). Довольно сказать, что, печатая сделанный мной русский рифмованный перевод “Оды к осени” Китса (“Пора туманов, спелости плодов”), она разрыдалась и часов до восьми вечера изводила меня признаниями и слезами. Когда она наконец ушла, я потратил еще битый час, составляя пространное письмо, в котором просил ее больше не возвращаться. Кстати, это было впервые, что она оставила в моей машинке неоконченную страницу. Я ее вынул и вновь обнаружил в своих бумагах несколькими неделями позже и тогда уже сохранил намеренно, потому что докончила эту работу Аннетт (с парочкой опечаток и х-образных забивок в последних строках), — и что-то в этой подмене затронуло мою комбинаторную жилку.

---

[1] “Преклонение” *(фр.)*.

3

В настоящих воспоминаниях мои жены и книги сплетаются в монограмму, подобную водяному знаку или рисунку экслибриса; и пока я пишу эту косвенную автобиографию — косвенную, ибо главный ее предмет не история обывателя, но миражи романтика и вопросы литературы, — я упорствую в стараниях настолько легко, насколько то в нечеловечьих возможностях, касаться до развития моей душевной болезни. Да, Дементия есть одно из действующих лиц моего рассказа.

К середине тридцатых мало что изменилось в моем здоровье по сравнению с первой половиной 1922 года и его ужасными муками. Битва моя с реальной, респектабельной жизнью все еще сводилась к внезапным обманам, к внезапным тасовкам — калейдоскопичным, витражным тасовкам! — раздробленного пространства. Я все еще ощущал, как Тяготение, этот адский и унизительный элемент нашего перцептуального мира, прорастает в меня, подобно чудовищному ножному ногтю, уколами и клиньями невыносимой боли (о какой и помыслить не может счастливый простак, не находящий ничего фантастического и убийственного в побеге карандаша или гроша *под* что-либо — под стол, за которым проходит жизнь, под кровать, на которой приходит смерть). Я все еще не умел управиться с абстракцией направления в пространстве, так что всякий данный участок мира лежал либо вечно "справа", либо вечно "слева", в наилучшем же случае удавалось сменить один на другой усилием воли, грозившим вывихнуть спину. О, как терзали меня люди и вещи, душа моя, я тебе и сказать не могу! Тебя ведь еще и на свете-то не было.

Вспоминаю, как в середине тридцатых, в черном проклятом Париже, я навещал мою дальнюю родственницу (племянницу госпожи СНА!). Чудесная была чудачка. По целым дням она сидела в кресле с прямым прислоном, подвергаясь непрестанным наскокам трех, четырех, более чем четырех умственно отсталых детей, пребывавших под ее платным присмотром (платил Союз вспомоществования нуждающимся русским дворянкам), пока их родители

трудились в местах, которые были не столько тягостны и тоскливы сами по себе, сколь тоскливы и трудны при достижении их общественным транспортом. Я сидел у нее в ногах на старом пуфике. Речи ее текли и текли, безбурно и гладко, и в них отражались светоносные дни, покой, достаток, доброта. И во все это время то один, то другой несчастный маленький монстрик, косоглазый, слюнявый, норовил подобраться к ней, прячась за ширмой или столом, и треснуть по креслу или вцепиться в подол. Когда визг становился слишком уж громок, она только морщилась, что почти не мрачило ее вспоминающей улыбки. Под рукой она держала что-то вроде отгонялки для мух и от случая к случаю взмахивала ею, шугая агрессоров посмелее, но все время, все время продолжалось журчанье ее монолога, и я понимал, что и мне надлежит оставлять без внимания грубый гомон и возню вкруг нее.

Допускаю, что и моя жизнь, мое положение, голоса слов, бывших моей единственной отрадой, и тайная борьба с неверным порядком вещей несут какое-то сходство с тяготами той бедной старухи. И поимей в виду, то были мои лучшие дни, когда приходилось отшугивать всего только свору гримасничавших гоблинов.

Живость, сила, ясность моего искусства оставались неповрежденными — хотя бы в какой-то степени. Я наслаждался, я заставлял себя наслаждаться уединеньем труда и тем, гораздо более утонченным, уединением, в котором автор взирает по-над ярким щитом манускрипта на рыхлую публику, едва различимую в темной яме.

Дебри пространственных помех, отделявших мою прикроватную лампу от освещенного островка лекционной кафедры, упразднялись заботливым чародейством друзей, помогавшим мне добираться до того или иного удаленного зала без возни с ужасно мелкими, тонкими, липучими лентами автобусных билетов и без рискованных погружений в громовую муть Métro. Как только я надежно водружался на сцену, примостив у груди исписанные или отпечатанные листы, я напрочь забывал о присутствии трех сотен слушателей. Графинчик разбавленной водки, единственная моя лекторская причуда, был также и моей единственной

связью с вещественной вселенной. Подобно пятнышку света, брошенному живописцем на бурую бровь какого-нибудь упоенного проповедника в миг божественного наития, сияние, облекавшее меня, с аккуратизмом оракула выявляло все неисправности текста. Мемуарист отмечает, что я не только порой замедлял чтение, раскупоривая перо и заменяя запятую на точку с запятой, но был также известен и тем, что замирал и хмурился над предложением и перечитывал его, и вычеркивал, и вносил исправления, и "заново зачитывал целый абзац с каким-то вызывающим самодовольством".

Почерк мой хорош для беловых экземпляров, но, имея перед собой типоскрипт, я себя чувствую поуютней, а опытной машинистки опять у меня не было. Помещать тот же самый призыв в ту же газету было слишком рискованно: а ну как он сызнова приведет ко мне Любу, пышущую обновленной надеждой, и сызнова раскрутит все то же чертово колесо?

Я позвонил Степанову, надеясь, что он сможет помочь; он полагал, что сможет, и после глухих переговоров со своей суматошливой супругой, ведомых у самой кромки мембраны (я только расслышал, что "сумасшедшие непредсказуемы"), она овладела трубкой. Они знали очень достойную девушку, работавшую в русском детском саду "Passy na Rousi", который года четыре назад посещала Долли. Звали девушку Анна Ивановна Благово. Знаком ли мне Оксман, владелец русского книжного магазина на улице Кювье?

— Да, немного. Но я хотел бы спросить...

— Ну вот, — продолжала она, перебивая меня, — Аннетт секретарствовала у него, пока его постоянная машинистка лежала в больнице, но теперь машинистка поправилась, так что вы можете...

— Это прекрасно, — сказал я, — но я хотел бы спросить вас, Берта Абрамовна, почему вы обвинили меня в том, что я "непредсказуемый сумасшедший"? Уверяю вас, я не имею привычки насиловать барышень...

— Господь с вами, голубчик! — воскликнула госпожа Степанова и торопливо объяснила, что отчитывала своего

растяпу мужа, усевшегося, подойдя к телефону, на ее новую сумочку.

Я хоть и не поверил ни единому слову (слишком прытко! слишком гладко!), но притворился, будто принял эту версию, и пообещал заглянуть к ее книготорговцу. Через несколько минут, — я уже было открыл окно и принялся перед ним раздеваться (в минуты, когда начинает свербить вдовство, весенняя ночь, мягкая и черная, есть наилучшая voyeuse[1], какую только можно представить), — Берта Степанова протелефонировала — сообщить, что быкочеловек (сколько восторгов принес моей Ирис островной зоосад д-ра Моро, — особенно такие детали, как "визжащая форма", еще полузабинтованной удирающая из лаборатории!) до утра просидит в магазине над унаследованным кошмаром бухгалтерских книг. Она ведь, хе-хе (русский смешок), знает, что я лунатик, так отчего бы мне не пройтись до книжной лавки "Боян" sans tarder, без промедления, пакостный оборот. Действительно, отчего бы?

Выбор, оставленный мне этим саднящим звонком, был невелик — метанья бессонницы либо прогулка до рю Кювье, ведущей к Сене, в которой, согласно полицейской статистике, в каждый межвоенный год топится в среднем до сорока иностранцев и Бог весть сколько несчастных туземцев. Я никогда не испытывал ни малейшего позыва покончить с собой — это пустая растрата личности (драгоценной при любом освещении). Однако нужно признать, что именно в эту ночь, в четвертую, пятую или пятидесятую годовщину смерти моей голубки, я, в моем черном костюме и театральном шарфе, должен был выглядеть весьма подозрительно на взгляд среднего полицейского из берегового участка. Особенно нехороший знак, когда человек без шляпы рыдает на ходу, тронутый не строками, которые мог бы и сам сочинить, но чем-то, принятым им за свое вследствие безобразной ошибки, и даже когда его наконец передергивает, он оказывается слишком труслив, чтоб повиниться:

---

[1] Подглядчица *(фр.)*.

Звездообразность небесных звезд
Видишь только сквозь слезы...

(Heavenly stars are seen as stellate
only through tears.)

Да, теперь я, конечно, гораздо храбрее, храбрее и горделивее двусмысленного хулигана, которого мы застаем той ночью идущим между по видимости бесконечным забором с его обветшалыми объявлениями и рядом разрозненных фонарей, свет которых нежно избрал для жалящей сердце игры наверху молодой, изумрудово-яркий липовый лист. Теперь признаюсь, что меня томило в ту ночь (и в следующую, и какое-то время до них): дремное чувство, что вся моя жизнь — это непохожий близнец, пародия, скверная версия жизни иного человека, где-то на этой или иной земле. Я ощущал, как бес понукает меня подделываться под этого иного человека, под этого иного писателя, который был и будет всегда несравнимо значительнее, здоровее и злее, чем ваш покорный слуга.

4

Издательская фирма "Боян" (мы с Морозовым печатались в "Медном Всаднике", главном ее сопернике) с книжным магазином (где продавалась не только эмигрантская литература, но и московские тракторные романы) и прокатной библиотекой занимала нарядный трехэтажный дом из породы hôtel particulier[1]. В мое время он стоял между гаражом и кинематографом; за сорок лет до того (в перспективе обратной метаморфозы) первый был фонтаном, а второй — группой каменных нимф. Дом, принадлежавший семейству Merlin de Malaune, в начале века купил русский космополит Дмитрий де Мидов, который обосновал в нем совместно с другом, С. И. Степановым, штаб-квартиру антидеспотической организации. Последний любил вспоминать о языке знаков, бывшем в ходу у старомодных бунтовщиков: полуотведенная штора и алебастровая ваза

[1] Особняк *(фр.)*.

в окошке гостиной указывали ожидаемому из России гостю, что путь открыт. В те годы революционную интригу украшал налет артистизма. Мидов умер вскорости после Первой мировой, к тому времени и партия террористов, в которой состояли эти уютные люди, лишилась, по словам самого Степанова, "стилистической притягательности". Не знаю, кто купил впоследствии дом и как получилось, что Окс (Осип Львович Оксман, 1885?–1943?) снял его для своих предприятий.

Дом был темен за вычетом трех окон: двух смежных прямоугольников света в середине верхнеэтажного ряда, d8 и e8 в европейских обозначениях (где буквы указывают вертикаль, а цифры — горизонталь шахматного квадрата), еще горело прямо под ними — e7. Господи Боже, уж не забыл ли я дома нацарапанной наспех записки к неведомой госпоже Благово? Нет, записка лежала в нагрудном кармане под старым, любимым, томительно теплым и длинным шарфом Тринити-колледжа. Я поколебался между боковой дверью справа, — с русской табличкой "Магазин", — и парадным подъездом с шахматной короной над звонком. Наконец выбрал корону. Мы разыграли блиц: противник пошел мгновенно, засветив на d6 веерное окно вестибюля. Поневоле явился вопрос — нет ли под домом еще пяти этажей, довершающих шахматную доску, и не таятся ли где-то в подпольной укромности новые люди, вершители судеб иной тирании, гораздо более гнусной?

Окс, высокий, поджарый, пожилой господин с шекспировской лысиной, начал докладывать мне, как он польщен возможностью приветствовать автора "Камеры...", — тут я сунул ему записку в протянутую ладонь и попытался откланяться. Ему уже доводилось иметь дело с истерическими художниками. Ни один не смог устоять против его льстивых манер литературной сиделки.

— Да-да, я знаю, — сказал он, удерживая и гладя мою руку. — Она позвонит вам, хотя, если правду сказать, не завидую я никому, кто прибегнет к услугам этой капризной и рассеянной юной особы. Ну что ж, поднимемся ко мне в кабинет, — или вы предпочтете... — да нет, не думаю, —

так продолжал он, открывая налево двойные двери и нерешительно включая свет, на миг обнаруживший промозглую читальню, где длинный, покрытый суконкой стол, тертые стулья и дешевые бюсты русских классиков спорили с прелестной росписью потолков, на которых голые дети резвились среди лиловых, розовых и янтарных кистей винограда. Направо (другой на пробу вспыхнувший свет) куцый проход вел в сам магазин, помнится, я там однажды повздорил с дерзкой старухой, не пожелавшей даром отдать мне несколько экземпляров моего же романа. И мы пошли наверх по аристократической некогда лестнице, теперь обзаведшейся чем-то таким, что редко встречается даже в комиксах венских сонников, — непарными перилами: слева какие-то уродливые, станционные поручни на подпорках, а справа — изначальный узорный подбор ободранной, обреченной, но все еще обаятельной деревянной резьбы с опорами в виде увеличенных шахматных фигур.

— Я польщен... — сызнова начал Оксман, когда мы достигли его так называемого "кабинета" на е7 — комнаты, забитой учетными книгами, книгами упакованными, полураспакованными, книжными башнями, кипами газет, гранок, брошюр и тощих поэтических сборников в белых бумажных обложках — трагические высевки с холодными, скованными названиями, в ту пору бывшими в моде, — "Прохлада", "Сдержанность".

Он был из тех людей, которых невесть почему часто перебивают, но которым никакая сила в нашей благословенной галактике не помешает докончить фразу, несмотря на все новые препоны, поэтические или природные, — будь то смерть собеседника ("Я как раз говорил ему, доктор...") или появленье дракона. Вообще-то похоже, что такие помехи на самом деле помогают им отшлифовать предложение, придать ему окончательный вид. Тем временем мучительный зуд его незавершенности отравляет их разум. Это похуже прыща, которого не выдавишь, пока не придешь домой, и почти так же худо, как воспоминания пожизненного каторжанина о последнем маленьком изнасилованье, сорванном в сладостной стадии еще нераскрывшегося бутона вмешательством подлеца-полицейского.

— Я глубоко польщен, — наконец-то закончил Окс, — возможностью приветствовать в этом историческом здании автора “Камеры обскуры” — это ваш лучший роман, по моему скромному мнению!

— И как же не быть ему скромным, — ответил я, сдерживаясь (опаловый лед Непала перед самым обвалом), — когда *мой-то* роман, идиот вы этакий, называется “Камера люцида”.

— Ну полно, полно, — сказал Окс (милейший, в сущности, человек и джентльмен) после ужасной паузы, во время которой все не распроданные остатки раскрывались, будто сказочные цветы в фантастической фильме. — Обмолвка не заслуживает столь резкой отповеди. “Люцида”, конечно “Люцида”! A propos[1], — касательно Анны Благово (еще одно незавершенное дело или, кто знает, трогательная попытка отвлечь и утихомирить меня занятным анекдотцем). Вы, верно, не знаете, ведь мы с Бертой двоюродные. Лет тридцать пять назад в Петербурге мы с ней состояли в одной студенческой организации. Готовили покушение на Премьера. Как это все далеко! Требовалось точно выяснить его ежедневный маршрут, я был в числе наблюдателей. Каждый день стоял на определенном углу, изображая мороженщика! Представляете? Ничего из нашей затеи не вышло. Все карты спутал Азеф, знаменитый двойной агент.

Я не видел проку затягивать мой визит, но он извлек бутылку коньяка, и я согласился выпить, потому что меня опять начинало трясти.

— Ваша “Камера”, — сказал он, справясь в гроссбухе, — неплохо идет у меня в магазине, очень неплохо: двадцать три — виноват, двадцать пять — штук за первую половину прошлого года и четырнадцать за вторую. Конечно, настоящая слава, а не просто коммерческий успех, определяется поведением книги в библиотечном отделе, — там все ваши названия нарасхват. Чтобы не быть голословным, давайте поднимемся в хранилище.

Я последовал за прытким хозяином в верхний этаж. Библиотека топырилась, как гигантский паук, она набуха-

---

[1] Кстати *(фр.)*.

ла, подобно чудовищной опухоли, угнетала сознание, словно расширяющаяся вселенная обморока. В ярком оазисе, окруженном смутными полками, я увидел людей, сидевших за овальным столом. Краски были живые и четкие, но в то же время как бы видные издалека, словно изображал всю сцену волшебный фонарь. Немалая толика красного вина и золотистого коньяка участвовали в оживленной беседе. Я признал критика Базилевского, его подпевал Христова и Боярского, моего друга Морозова, романистов Шипоградова с Соколовским, честную фикцию по фамилии Сукновалов (автора модной социальной сатиры "Герой нашей эры") и двух молодых поэтов: Лазарева (сборник "Мирность") и Фартука (сборник "Молчание"). Несколько голов повернулось к нам, а благодушный медведь Морозов попытался даже привстать, улыбаясь, — но мой хозяин сказал, что у них совещание и лучше им не мешать.

— Вы подсмотрели, — прибавил он, — рождение нового литературного журнала, "Простые Числа", — то есть это они думают, что рожают, на деле же — просто сплетничают и пьют. Теперь позвольте вам кое-что показать.

Он завел меня в дальний угол и торжественно повел фонарем по прорехам на полке с *моими* книгами.

— Видите, — воскликнул он, — сколько томов отсутствует. Вся "Княжна Мери", то есть "Машенька" — а, дьявол! — "Тамара". До чего я люблю "Тамару" — вашу "Тамару", конечно, — не Лермонтова или Рубинштейна! Простите меня. Как не запутаться среди стольких шедевров, черт их совсем подери!

Я сказал, что мне дурно, хочу домой. Он предложил проводить меня. Или, может, лучше в такси? Не лучше. Сквозь заалевшие пальцы он украдкой посвечивал на меня фонарем, высматривая, не собираюсь ли я грохнуться в обморок. С успокоительным воркованием он свел меня вниз боковой лестницей. По крайности, весенняя ночь выглядела настоящей.

Немного замешкавшись, глянув на освещенные окна, Окс устремился к ночному дозорному, гладившему грустного песика, которого вывел на прогулку сосед. Я глядел, как мой предусмотрительный спутник пожимает руку

старику в серой накидке, указывает на разгульный свет, справляется с часами, сует постовому мзду и на прощание вновь пожимает руку, словно десятиминутный поход к моему жилищу был опасным паломничеством.

— Bon[1], — сказал он, присоединившись ко мне. — Раз не хотите в таксомоторе, давайте пройдемся. Он приглядит за моими запертыми гостями. Я хотел кучу всего выспросить у вас о вашей работе, о жизни. Ваши confrères[2] уверяют, будто вы "нахмурены и молчаливы", как Онегин говорит о себе Татьяне, но ведь не быть же нам всем Ленскими, правда? Позвольте мне, пользуясь этой приятной прогулкой, рассказать о двух моих встречах с вашим прославленным отцом. Первая случилась в опере, в пору Первой Думы. Я, разумеется, знал портреты ее наиболее приметных членов. И вот из божественных высей я, бедный студент, увидел, как он появился в розовой ложе с женой и двумя мальчуганами, одним из которых, конечно же, были вы. Второй раз я увидел его на публичном диспуте по вопросам текущей политики, на розовой заре Революции; он выступал сразу после Керенского, и контраст между нашим пламенным другом и вашим отцом с его английским sangfroid[3] и отсутствием жестикуляции...

— Мой отец, — сказал я, — умер за шесть месяцев до моего рождения.

— Ну, видать, опять оскандалился, — отметил Окс после того, как, проискав целую минуту платок, высморкался с величественной нарочитостью Варламова в роли гоголевского Городничего, запеленал результат и уложил свивальник в карман. — Да, не везет мне с вами. И все же этот образ запал мне в память. Контраст и правда был воистину замечательный.

В годы, которых все меньше оставалось до начала Второй мировой, мне довелось встретиться с Оксманом еще раза три-четыре самое малое. Он приветствовал меня с понимающей искрой в глазах, как будто мы вместе владели

[1] Хорошо *(фр.)*.

[2] Собратья *(фр.)*.

[3] Хладнокровие *(фр.)*.

каким-то очень личным и не очень приличным секретом. Его превосходную библиотеку со временем захапали немцы, да не удержали, и она оказалась у русских, еще даже лучших хапуг в этой освященной временем игре. Сам Осип Львович погиб при отчаянной попытке к бегству, — уже почти убежав, босой, в заляпанном кровью исподнем, из "экспериментальной больницы" в нацистском концентрационном лагере.

5

Мой отец был игрок и распутник. В свете его прозвали Демоном. Портрет, писанный Врубелем, передает его бледные, как у вампира, ланиты, алмазные очи, черные волосы. То, что присохло к палитре, использовал я, Вадим, сын Вадима, прописывая отца обуянных страстью детей в "Ardis'e", лучшем из моих английских романов (1970).

Отпрыск княжьего рода, верно служившего дюжине царей, отец застрял в идиллических предместьях истории. Его политические взгляды были поверхностны и реакционны. Он вел ослепительную и сложную чувственную жизнь, что до культуры, сведения его были отрывочны и заурядны. Он родился в 1865-м, женился в 1896-м и погиб 22 октября 1898 года на револьверной дуэли с молодым французом, повздорив с ним за карточным столом в Deauville — это какой-то курорт в серой Нормандии.

Ничего особенно пугающего в ошибке доброжелательного, нелепого, в сущности, и бестолкового старого дурня, принявшего меня за какого-то другого писателя, могло и не быть. Я сам прославился тем, что во время лекции сказал однажды "Шелли", желая сказать "Шиллер". Но то, что обмолвка этого олуха или оплошность его памяти смогла внезапно связать меня с миром иным сразу за тем, как я с сугубым испугом представил, что, может быть, я непрестанно подделываюсь под кого-то, ведущего настоящую жизнь за созвездиями моих слез и звездочек над стихами, — вот *это* было невыносимо, как посмело *это* случиться со мной!

Едва затихли последние звуки прощаний и извинений бедного Оксмана, как я содрал удушавшую меня полосатую шерстяную змею и шифром записал каждую подробность моего свидания с ним. Затем провел пониже жирную черту и вывел караван вопросительных знаков.

Махнуть ли рукой на совпадение и на все, что из него вытекает? Или, напротив, переиначить всю мою жизнь? Должен ли я забросить искусство и выбрать иной путь притязаний — серьезно заняться шахматами, или, скажем, стать лепидоптерологом, или дюжину лет провести неприметным ученым, приготовляющим русский перевод "Потерянного рая", который заставит литературных кляч шарахаться, а ослов лягаться? Но только писательство, бесконечное воссоздание моего текучего "я", способно удерживать меня в более или менее здравом уме. И все, что я сделал в итоге, — это отбросил псевдоним, приевшийся и отчасти сбивавший с толку, — "В. Ирисин" (сама моя Ирис говаривала, что он звучит так, будто я — вилла) — и вернулся к своему родовому имени.

Этим именем я и решил подписать ожидаемую эмигрантским журналом "Patria" первую часть нового моего романа "Подарок Отчизне". Я как раз закончил переписывать рептильно-зелеными чернилами (плацебо, имевшее целью оживить выполнение этой задачи) второй или третий беловой вариант начальной главы, когда пришла договариваться о времени и условиях Анна Благово.

Она появилась 2 мая 1934 года, на полчаса опоздав, и, как человек, лишенный ощущения длительности, свалила опоздание на свои неповинные часики — устройство, предназначенное для замера движения, а не времени. Она была грациозной блондинкой лет двадцати шести, с очень приятными, хоть и не вполне миловидными чертами. В сером, сшитом по мерке жакете поверх белой шелковой блузы, глядевшем нарядно и празднично благодаря подобию банта между его отворотов, к одному из которых она приколола букетик фиалок. Было что-то мило напористое в ее изящного покроя короткой юбке, вообще она казалась более шикарной и soignée[1], чем средняя русская барышня.

---

[1] Опрятной, холеной *(фр.)*.

Я объяснил ей (поразившим ее, — как она рассказала мне позже, — неприятно-насмешливым тоном циника, примеряющегося к новой жертве), что предполагаю ежедневно после полудня надиктовывать ей “прямо в машинку” густо исчерканные черновики, или, иначе, ломти и начинку чистовой рукописи, куски, которые я, вероятно, буду переделывать в “часы одинокие ночи”, выражаясь словами А. К. Толстого, и которые буду просить ее перестучать на следующий день. Она не сняла тесноватой шляпки, но слущила перчатки и, напучив яркие, красные, свеженакрашенные губы, надела большие черепаховые очки, чем-то довершившие ее миловидность: желательно взглянуть на мою машинку (ее ледяная сдержанность обратила бы и святого в похотливого гаера), приходится спешить, у нее еще одна встреча, она забежала только затем, чтобы проверить, подходит ли ей машинка. Сняв зеленое кабошоновое кольцо (которое мне предстояло найти после ее ухода), она уж было начала отстукивать торопливый образчик, но со второго взгляда уверилась, что мой инструмент той же выделки, что и ее.

Наш первый сеанс оказался совершенно ужасен. Я вызубрил свою роль с тщанием нервного актера, но где мне было управиться с партнером, который помнит реплики через одну, да и в тех сбивается. Она попросила меня диктовать помедленнее. Она мешала мне дурацкими замечаниями: “Так по-русски не говорят” или “Никто не знает этого слова (“взводень”), — зачем не сказать просто “большая волна”, если вы ее имели в виду?” Когда гнев сбивал меня с ритма и приходилось тратить время на то, чтобы выпутать конец предложения из ставшего вдруг незнакомым лабиринта вставок и вымарок, она откидывалась на спинку стула и ожидала, с видом провокатора-мученика, и душила зевок или разглядывала ногти. После трех часов работы я просмотрел итог ее щеголеватой и дерзкой молотьбы. Итог изобиловал орфографическими ошибками, опечатками и уродливыми вытирками. Я очень кротко заметил, что она, видать, не привыкла к литературному (то есть нешаблонному) материалу. Она отвечала, что я ошибаюсь, литературу она любит. Да вот, сказала она, за одни

только пять последних месяцев она прочла Галсворти (по-русски), Достоевского (по-французски), громадный исторический роман генерала Пудова-Узуровского "Царь Бронштейн" (в оригинале) и "L'Atlantide"[1] (о которой я и не слыхивал, но которую мой словарь приписывает Пьеру Бенуа, romancier français né à Albi[2], воззиявшему в Тарне). А стихи Морозова ей знакомы? Нет, ее вообще никакие стихи не интересуют, стихи не отвечают темпу модерной жизни. Я пожурил ее за то, что она не прочла ни одного моего рассказа либо романа, тут она приобрела вид досадливый и, возможно, отчасти испуганный, (боялась, гусынюшка, что я ее прогоню) и наконец одарила меня до странного эротическим удовлетворением, пообещав, что теперь просмотрит *все* мои книги, а уж "Подарок" определенно выучит наизусть.

Читатель должен уже заметить, что о моих русских произведениях двадцатых-тридцатых годов я говорю очень общо, полагая, что он с ними знаком или хотя бы может легко получить их английские версии. Здесь, однако, придется сказать несколько слов о "Подарке Отчизне" (по-английски названном "The Dare" — т. е. "дерзость", "вызов"). Когда я в 1934 году принялся диктовать Аннетте его начало, я знал, что это будет мой самый длинный роман. Однако я не предвидел, что он почти сравнится в длине с паскудным и глупым "историческим" сочинением генерала Пудова о том, каким манером Сионские Мудрецы присвоили власть на Святой Руси. Почти целых четыре года ушло у меня на то, чтобы написать эти четыреста страниц, многие из которых Аннетт перепечатала по крайности дважды. К маю 1939 года, когда мы, еще бездетные, перебрались в Америку, большая часть его была напечатана выпусками в эмигрантских журналах; но в виде книги русский оригинал появился только в 1950-м (Turgenev Publishing House, New York[3]), спустя десять лет за ним последовал английский перевод, заглавие которого изящно отсылает нас не

---

[1] "Атлантида" *(фр.)*.

[2] Французский романист родом из Альби *(фр.)*.

[3] Издательство "Тургенев", Нью-Йорк *(англ.)*.

только к известному устройству, посредством коего морочат глупую крачку, но также и к дерзкому нраву Виктора, героя и частично рассказчика романа.

Роман начинается ностальгическим описанием детства в России (более счастливого, хоть и не менее изобильного, чем мое). Затем наступает английская юность (которая мало чем рознится от моих кембриджских лет), а после — жизнь в эмигрантском Париже, писание первого романа ("Мемуары любителя попугаев") и завязывание забавных узлов разного рода литературных интриг. В середину романа целиком вставлена книга, написанная Виктором "из дерзости", — это краткая биография и критический разбор сочинений Федора Достоевского, чьи политические взгляды автору отвратительны, а романы порицаемы им, как нелепые, с их чернобородыми убивцами — попросту негативами традиционного облика Иисуса Христа, и с плаксивыми потаскушками, взятыми напрокат из слезоточивых романов предыдущего века. В следующей главе описаны гнев и оторопь эмигрантских рецензентов, жрецов достоевского вероисповедания; а на последних страницах мой молодой герой принимает вызов ветреной возлюбленной и напоследок совершает даровой подвиг, пройдя полным опасностей лесом на советскую территорию и столь же беспечно воротившись назад.

Я привожу эти выжимки в виде примера того, что определенно усваивал и самый убогий из читателей моего "Подарка", если только электролиз не разрушал в нем некие важные клетки сразу за тем, как он захлопывал книгу. Так вот, непрочное очарованье Аннетт частью крылось в ее забывчивости, все и вся погружавшей в вечерние сумерки, словно пастельная мгла, что скрадывает горы, облака и даже себя самое, меж тем как впадает в забытье летний день. Я уверен, что множество раз видел ее с номером "Patria" на истомленных коленях провожавшей печатные строки маятниковым качанием глаз, наводящим на мысль о чтении, и действительно добиравшейся до "Будет продолжено" в конце очередного куска "Подарка". Я знаю также, что она отпечатала в нем каждое слово и бóльшую часть запятых. Но факт остается фактом — в ней ничего не

застряло, — быть может из-за того, что она раз и навсегда решила, будто моя проза не только "трудна", но и герметична ("пренеприятно герметична", если повторить комплимент, сделанный мне Базилевским в минуту, — наставшую в должное время, — когда он смекнул, что в третьей главе мой великолепно счастливый Виктор высмеял его склад ума и манеру). Должен сказать, что я ей охотно прощал ее отношенье к моей работе. Читая перед публикой, я любовался ее — публике предназначенной — "архаической" улыбкой греческой статуи. Когда ее жутковатые родители пожелали увидеть мои книги (так подозрительный доктор желает увидеть образчик семени), она ошибкой дала им для чтенья чужой роман — из-за дурацкого сходства заглавий. Единственное настоящее потрясение я испытал, подслушав, как она объясняет какой-то дуре-подруге, что мой "Подарок" включает биографии "Чернолюбова и Доброшевского"! Она пыталась даже поспорить со мной, когда я в опровержение заявил, что полоумный разве мог выбрать себе в предмет двух журналистов третьего сорта, — да вдобавок вывернуть их имена!

6

За долгую мою жизнь я заметил или мне кажется, что заметил, что, когда я почти уж влюблен или даже еще не осознаю влюбленности, меня посещает сон, знакомящий с тайной возлюбленной на сумрачной заре, в обстоятельствах довольно детских, отмеченных на редкость болезненным возбуждением, которое мне приходилось испытывать и подростком, и юношей, и безумцем, и старым умирающим сластолюбцем. Ощущение повторяемости ("кажется, что заметил") является, вполне вероятно, присущим сновидению вообще: тот сон, например, мог привидеться мне лишь единожды или дважды ("за долгую мою жизнь"), и знакомость его — лишь капельница, прилагаемая к каплям. Напротив, место, которое я вижу во сне, — это не какая-то знакомая комната, но горстка воспоминаний о тех, в которых мы просыпались детьми после рождественского бала

или летних именин, в огромном доме, принадлежавшем чужим людям или дальней родне. Впечатление такое, что будто бы две кровати, кроватки в данном случае, внесли в комнату и поставили к противоположным ее стенам, притом что это, собственно говоря, и не спальня вовсе, а просто комната, в которой мебели, кроме этих раздельных кроватей, никакой нет: в снах, как в старинных новеллах, домовладельцы скупы либо нерадивы.

В одной из кроватей я вижу себя, только что пробудившегося от какого-то вторичного сна, имеющего лишь формульное значение; а в кровати дальней, у правой стены (ориентация также предоставлялась), в этой частной версии сна (летом 1934 года по дневному исчислению) лежит девушка — более юная, худая и бойкая Аннетт — и, резвясь, негромко беседует сама с собою, на самом же деле, как я понимаю с упоительным учащением нижних пульсов, притворяется, что беседует, — ради меня, привлекая мое внимание.

Следующая моя мысль, — от которой толчки учащаются, — о том, как странно, что мальчик и девочка оказались спящими в одной временной спальне: тут, конечно, ошибка или, может быть, дом переполнен, а расстояние между кроватями, голый участок пола, сочтено достаточно дальним для соблюденья приличий, тем паче в рассужденье детей (мой средний возраст всю жизнь составлял тринадцать лет). Чаша наслаждения уже налилась до краев, и, прежде чем ей расплескаться, я на цыпочках перемахиваю голым паркетом из моей постели в ее. Ее волосы заступают дорогу моим поцелуям, но скоро губы находят щеку и шею, и у нее рубашка на пуговицах, и она говорит, что в комнату вошла служанка, но слишком поздно, мне уже не сдержаться, и служанка, тоже очень красивая, смотрит на нас и хохочет.

Сон, увиденный мной через месяц, что ли, после встречи с Аннетт, ее облик во сне, эта ранняя версия голоса, мягкие волосы, нежная кожа стали моим наваждением и изумляющим счастьем — счастьем открытия, что я влюблен в маленькую госпожу Благово. Ко времени сновидения наши отношения еще оставались формальными — даже

сверхформальными, — и потому я не мог передать ей мой сон с необходимыми живостью и связностью (присущими этим запискам); а сказать попросту "вы мне приснились" — значило ляпнуть пошлость. Я поступил гораздо честней и отважней. Прежде чем открыться ей в том, что она назвала (говоря о другой чете) "серьезными намерениями", — и прежде даже, чем самому разрешить загадку, *почему* я ее полюбил, — я решил рассказать ей о моем неизлечимом недуге.

7

Она была грациозна, томна, небесно-добродетельна в некотором смысле, а во многих иных — прискорбно глупа. Я же был одинок, напуган и изнывал от похоти, — но изнывал не настолько, чтобы не предупредить ее посредством живого примера — наполовину парадигмы, наполовину предметного урока, — на что она себя обречет, согласившись пойти за меня.

Милостивая государыня
Анна Ивановна!

Прежде, чем порадовать Вас изустным обсуждением темы чрезвычайной важности, я прошу Вас присоединиться ко мне в проведении опыта, который лучше всякой ученой статьи обнаружит для Вас одну из типических граней смещенного кристалла моей души. Итак, приступим.

Сейчас, с Вашего позволения, ночь, и я лежу в постели (прилично одетый, конечно, и всякий мой орган вкушает приличный покой), лежу на спине, воображая заурядный миг в заурядном пространстве. Чтобы еще увеличить чистоту нашего опыта, положим, что место, воображаемое мной, вымышлено. Я воображаю себя выходящим из книжной лавки и замирающим на краю тротуара, прежде чем перейти через улицу к маленькому тротуарному кафе прямо насупротив. Машин не видно. Перехожу. Воображаю себя подходящим к кафе. Послеполуденное солнце занимает стул и половину стола, в остальном открытая часть кафе пуста и приманчива: ничего кроме яркости не оставил недавний дождь. Тут я запинаюсь, припомнив, что вышел из дому с зонтом.

Я не хочу утомлять Вас, глубокоуважаемая Анна Ивановна, и еще меньше хочу комкать этот третий или четвертый несчастный листок с корежащим звуком, который умеет издать одна лишь наказанная бумага; но сцена вышла недостаточно отвлеченной и схематичной, так что позвольте мне ее переснять.

Я, Ваш друг и работодатель Вадим Вадимович, навзничь лежу в постели и в совершенной тьме (минуту назад я вставал, чтобы задернуть луну, заглянувшую в щель между складками двух абзацев). Я воображаю дневного Вадима Вадимовича переходящим улицу от книжной лавки к тротуарному кафе. Я закован в себя вертикального: гляжу не вниз, а вперед и потому лишь косвенно сознаю расплывчатый перед моей дородной фигуры, перемежающиеся носки туфель, прямоугольной формы пакет подмышкой. Я воображаю себя проделавшим двадцать шагов, потребных для достижения противной панели, застывающим с непечатным проклятьем и решающим вернуться в лавку за забытым зонтом.

Но существует некий недуг, доселе не названный; существует, Анна (Вы должны разрешить мне называть Вас так, — я старше Вас десятью годами и очень болен), какой-то страшный разлад в моем восприятии направления или, вернее, в моей способности властвовать над постижимым пространством, потому что в этой точке спряжения мне не по силам проделать в уме, во тьме моей постели, простой разворот (каковой не задумываясь выполняю в телесной реальности!), который позволил бы мне мгновенно создать в сознании вид уже пройденного асфальта, как лежащего передо мной, так чтобы витрина лавки оказалась перед глазами, а не где-то там сзади.

Позвольте мне ненадолго задержаться на подразумеваемой процедуре, на моей неспособности сознательно следовать ей в уме — в моем неповоротливом и непослушном уме! Чтобы заставить себя вообразить процесс поворота, я вынужден раскрутить декорацию в обратную сторону: я должен попробовать, глубокоуважаемый друг и помощница, развернуть улицу по всей ее длине с тяжкими фасадами домов впереди и сзади меня, обратить ее направление, медленно подтянув ее на полоборота, — а это все равно что пытаться поворотить огромный отросток ржавого неподатливого руля — и тем самым с осознанной постепенностью преобразовать себя из, скажем, обращенного на восток Вадима Вадимовича в него же, но ослепленного западным солнцем. Одна только мысль об этом погружает откинувшегося на кровати в такое замешательство, в такую дурноту, что он предпочитает

совсем отказаться от разворота, стерев, так сказать, все, что он видит, с аспидной доски и начав в воображении возвратный переход, как если б он был исходным, без какого-либо предварительного пересечения улицы, а значит, и без промежуточного ужаса — ужаса борьбы с рулевым управлением пространства — и без боязни размозжить себе грудь в этой борьбе!

Voilà[1]*. Звучит довольно мирно, не так ли, en fait de démence*[2]*, и то, перестань я постоянно думать об этом, все скукожилось бы в пустяковый изъян — в недостающий мизинчик уродца, рожденного девятипалым. Однако, вдумываясь, я поневоле начинаю подозревать, что это — упредительный симптом, предвестие умственного расстройства, способного, как известно, поразить со временем целый мозг. Но даже и это расстройство может оказаться не таким уж серьезным и грозным, как то внушают грозовые сигналы, и я лишь хочу, чтобы Вы, Аннетт, разобрались в ситуации прежде, чем я сделаю Вам предложение. Не пишите, не звоните, не говорите об этом письме, если и когда Вы придете в пятницу вечѐром; но, пожалуйста, если придете, наденьте в знак благосклонности флорентийскую шляпку, похожую на букет полевых цветов. Я хочу, чтобы Вы восславили Ваше сходство с той белокурой, убранной цветами девушкой, с прямым носом и серьезными серыми глазами — пятой слева в Боттичеллиевой "Primavera"*[3]*, в аллегории Весны, моя любовь, моя аллегория.*

В пятницу вечером, первый раз за два месяца, она появилась "в точку", как выразились бы мои американские друзья. Клин боли заместил мое сердце, и через всю комнату черные монстрики музыкально запорхали по стульям, когда я увидел на ней заурядную, недавно купленную шляпку, неинтересную и незначащую. Она сняла ее перед зеркалом и вдруг с редким чувством помянула Господа Бога.

— Я идиотка, — сказала она. — Пока я искала тот симпатичный венчик, папа начал мне что-то читать про вашего предка, который повздорил с Петром Грозным.

---

[1] Вот так *(фр.)*.

[2] В сущности, слабоумие *(фр.)*.

[3] "Весна" *(ит.)*.

— С Иваном, — сказал я.

— Имени я не уловила. Потом вижу — опаздываю, — ну и нацепила вот эту шапочку вместо той, вашей, которую вы заказали.

Я помогал ей выбраться из жакета. От сказанных ею слов меня обуяла игривость, вольная, словно во сне. Я обнял ее. Мой рот отыскал жаркую впадинку между ключицей и горлом. Объятие было кратким, но совершенным, и я вскипел и всплеснулся, укромно и сладко, всего лишь прижавшись к ней, лелея в чаше одной ладони ее маленький крепкий задок, а другой ощущая лирные струны ребер. Она вся дрожала. Пылкая, но глупо невинная, она не сумела понять, отчего моя хватка вдруг ослабела с внезапностью сна или паруса, потерявшего ветер.

Так, значит, она прочитала только начало письма и конец? Ну, в общем да, поэтическую часть она пропустила. Иными словами, она и понятия не имеет, к чему я клонил? Она обязательно все перечтет, сказала она. Но все же она поняла, что я люблю ее? Конечно, сказала она, но как она может верить, что я люблю ее *по-настоящему*? Ведь я такой странный, такой, такой, — она не смогла это выразить, — да, СТРАННЫЙ во всем, она никогда таких не встречала. Кого же она встречала, полюбопытствовал я: трепанаторов? тромбонистов? астрономов? Ну, все больше военных, если уж мне так хочется знать, врангелевских офицеров, благородных, интересных людей, говоривших об опасностях, о службе, о биваках в степи. Ах, но помилуйте, я тоже могу рассказать о "праздности пустынь, ущельях и горах". Нет, сказала она, они же ничего не *выдумывали*. Они рассказывали про повешенных ими шпионов, рассуждали о международной политике, о новой фильме или о книге, раскрывающей смысл жизни. И ни одной сомнительной шутки, ни одного неприятного, рискованного сравнения... Не то что в моих книгах? Примеры, примеры! Не станет она приводить примеров. Она не хочет, чтобы я пришпилил ее и оставил извиваться на булавке, словно бескрылую муху.

Или бабочку.

Однажды чудесным утром мы гуляли в окрестностях Bellefontaine. Что-то замерцало и вспыхнуло.

— Посмотри-ка на этого арлекина, — шепнул я, осторожно указывая локтем.

На белой стене пригородного сада сидела, греясь на солнце, плоская симметрично раскрытая бабочка, помещенная живописцем чуть под углом к горизонту картины. Он написал ее улыбчивым красным с желтыми прогалами меж черных пятен; вдоль краев иззубренных крыльев рядком тянулись снутри синие полумесяцы. Единственной чертой, вызывавшей брезгливую дрожь, был лоснистый изгиб бронзоватых шелков, спадавших по обе стороны звериного тельца.

— Как бывшая воспитательница детского сада, могу тебе сообщить, что это — самая обычная крапивница, — сказала полезная Аннетт. — Сколько ручонок отрывали им крылья и тащили ко мне в надежде на похвалу!

Бабочка замерцала и сгинула.

8

Поскольку отпечатать нам предстояло немало, а делала она это медленно и дурно, она взяла с меня обещание не докучать ей во время работы тем, что по-русски зовется “телячьими нежностями”. В прочее время мне только и дозволялось, что редкие прохладные поцелуи да уклончивые обхваты: первое наше объятие она именовала “животным” (очень скоро после него разобравшись в определенных мужских секретах). Из последних сил она пыталась скрыть беспомощность и истому, овладевавшие ею по мере естественного развития ласок, когда она начинала вдруг трепетать в моих руках, перед тем как, пуритански нахмурясь, меня оттолкнуть. Раз она случайно проехалась тылом ладони по напряженному передку моих брюк; она выдавила ледяное “pardon” *(фр.)*, а после надулась, когда я выразил надежду, что она не зашиблась.

Я посетовал ей на смехотворно допотопные формы, принятые нашими отношениями. Все обдумав, она обещала, что сразу после “официальной помолвки” мы сможем перенестись в более современную эру. Я заверил ее, что

готов возвестить приход этой эры во всякий день и в любую минуту.

Она повела меня знакомиться с родителями, делившими с ней в Пасси квартирку о двух комнатах. Он до революции был армейским хирургом, голова в поседелом бобрике, подстриженные усы и аккуратная эспаньолка придавали ему разительное сходство (подстрекаемое, несомненно, старательным духом, который латает изодранные участки былого новыми впечатлениями, относящимися к тому же разряду) с отзывчивым, но хладоперстым (и хладоухим) врачом, лечившим меня зимой 1907 года от воспаления легких.

Как и о многих русских эмигрантах, испытавших упадок сил и утрату профессии, о докторе Благово затруднительно было сказать, чем он, собственно, живет. Казалось, он коротал пасмурный вечер жизни, либо читая комплекты толстых журналов (с 1830-го по 1900-й или с 1850-го по 1910-й), которые Аннетт таскала ему из оксмановской прокатной библиотеки, либо сидя за столом и набивая размеренно щелкающей машинкой табак в полупрозрачные кончики папирос, коих он потреблял в день не более тридцати, во избежание ночных перебоев. Разговоров он почти не вел и не мог толком пересказать ни одного из бесчисленных исторических анекдотов, вычитываемых им в потрепанных томах "Русской Старины", — что и объясняет, откуда взялась у Аннетт неспособность запоминать стихи, статьи, рассказы, романы, которые она у меня печатала (я знаю, что мое брюзжание повторяется, да ранка-то ноет, — предпоследнее слово происходит от dracunculus, т. е. "малютка-дракон"). Кроме того, он был одним из последних известных мне господ, еще продолжавших носить манишку и штиблеты с резинками.

Он спросил, — и это осталось единственным памятным мне вопросом, — отчего я не прибегаю в печати к титулу, украшающему наше тысячелетнее имя. Я ответил, что я из разряда снобов, полагающих, что плохие читатели нюхом учуют происхождение автора, но надеющихся при том, что хорошего читателя больше заинтересуют их книги, чем родословная. Доктор Благово был бестолковый старик,

а его отстежным манжетам не мешало бы быть почище, но ныне, в горестной ретроспекции, память о нем мне дорога: он был не только отцом моей бедной Аннетт, но также и дедом моей обожаемой и, быть может, еще более горемычной дочери.

Доктор Благово (1867–1940) сорока лет женился на провинциальной красавице из приволжского города Кинешмы, что стоит в нескольких верстах к югу от одного из самых романтических моих поместий, прославленного дикостью оврагов, теперь обращенных в гравийные карьеры или в места массовых казней, *тогда* же величественно воскрешавших в памяти образы низинных садов. Супруга его отличалась замысловатостию грима и жеманностью говора, — существительные и прилагательные сводились у ней к нарочито ласкательным формам, какие даже русский язык, признанный гигант по части уменьшительных, способен вытерпеть лишь на влажных устах дитяти да ласковой нянюшки ("Вот, — говорила госпожа Благово, — ваш чаишко с молочишком"). Мне она показалась дамой до чрезвычайности разговорчивой, любезной и банальной, впрочем со вкусом одетой (она работала в salon de couture[1]). В атмосфере дома ощущалась некая напряженность. Видать, дочерью Аннетт была трудной. При всей краткости моего визита я невольно заметил, что в голосах родителей появляются при обращении к ней нотки подобострастной паники. По временам Аннетт темным, почти змеиным взором обрывала матушкину болтовню. Когда я прощался, старушка удостоила меня того, что она почитала за комплимент: "Вы говорите по-русски с парижской grasseyement[2], а манеры у вас совсем английские". За спиной у нее низко и остерегающе заворчала Аннетт.

Той же ночью я написал к ее отцу, уведомляя его, что мы решили пожениться, а на следующий вечер, когда она пришла поработать, я встретил ее в сафьяновых туфлях и шелковом халате. Выходной — празднество Флоры, — объявил я, указывая с не вполне нормальной ухмылкой

---

[1] Салон мод *(фр.)*.

[2] Картавость, грассирование *(фр.)*.

на гвоздики, ромашки, ветреницы, асфодели и голубые плевелы вперемежку с белокурой пшеницей, украшавшие мою комнату в нашу честь. Взгляд ее метнулся по цветам, по шампанскому, по canapés[1] с икрой; она всхрапнула и развернулась, чтобы удрать. Я затащил ее в комнату, запер дверь и ключ положил в карман.

Ничего не попишешь, придется признать, что первое наше свидание провалилось. Мне так долго пришлось убеждать ее, что день самый что ни на есть подходящий, а она так препиралась со мной насчет того, какой из последних дюймов ее одежд подлежит удалению и до каких частей ее тела дозволяют коснуться Венера, Святая Дева и maire[2] нашего округа, что ко времени, когда я добился от нее приемлемой для капитуляции позы, сам я успел обратиться в недееспособную развалину. Мы лежали с ней голыми, вяло обнявшись. Наконец ее рот раскрылся под моим в первом добровольном поцелуе. Сила моя воспряла. Я поспешил овладеть ею. Она кричала, что я причиняю ей отвратительную боль, и, буйно извиваясь, выталкивала окровавленную, бьющуюся рыбу. Когда же я попытался, в виде скромной замены, сомкнуть вокруг нее пальцы Аннетт, та отдернула руку и назвала меня "грязным развратником" (débauché). Пришлось демонстрировать слякотный акт самому, а она смотрела в изумлении и печали.

Назавтра мы оказались успешней и прикончили выдохшееся шампанское, впрочем, я так никогда и не смог вполне ее приручить. Помню самые обещающие ночи в гостиницах на итальянских озерах, когда ее неуместная чопорность вдруг портила все. Но с другой стороны, я счастлив теперь, что не был тогда настолько бессмыслен и низок, чтобы не замечать поразительного контраста между ее раздражающим жеманством и теми редкими минутами сладкой страсти, в которые ее черты приобретали выражение детской сосредоточенности, торжественного блаженства, а тонкие стоны как раз достигали порога моего недостойного восприятия.

---

[1] Небольшие бутерброды *(фр.)*.

[2] Мэр *(фр.)*.

9

К концу лета, и новой главы "Подарка", стало ясно, что доктор Благово с супругой предвкушают настоящее православное венчание — залитый светом свечей злато-мглистый обряд с батюшкой, дьяконом и двойным хором. Не знаю, изумил ли я Аннетт, объявив, что не желаю ломать комедию и хочу прозаически зарегистрировать наш союз перед лицом муниципального служащего где-нибудь в Париже, Лондоне, Кале или на одном из Нормандских островов, но она явно была не прочь изумить своих родителей. Доктор Благово в напыщенном письме ("Князь! Анна уведомила меня, что Вы предпочли бы...") запросил свиданья со мной; мы сошлись на телефонных переговорах: две минуты на доктора (включая паузы, во время которых он разбирался в почерке, верно, заставлявшем аптекарей лезть на стены) и пять на его супругу, бессвязно поболтавшую о незначащих пустяках, а затем взмолившуюся, чтобы я изменил свое решение. Решение я изменить отказался, и на меня натравили посредника — старого добряка Степанова, который, позвонив откуда-то из Англии (где теперь жили Борги), несколько неожиданно — в рассуждении его либеральных воззрений — принялся уговаривать меня соблюсти прекрасный христианский обычай. Я переменил тему и попросил его по возвращении в Париж устроить для меня прекрасное литературное суаре.

Тем временем подоспел с дарами кое-кто из более беспечных богов. Три паданца со стуком запрыгали вкруг меня в одновременном праздничном действе: "The Red Topper"[1] был приобретен для издания по-английски с задатком в две сотни гиней; Джеймс Лодж в Нью-Йорке предложил за "Камеру люциду" еще более благообразную сумму (чувство прекрасного удовлетворялось в те дни довольно легко); а в Лос Ангелесе единоутробный брат Ивора Блэка готовил контракт на продажу прав экранизации одного из моих

[1] "Красный цилиндр" *(англ.)*. В отличие от top hat, topper может также обозначать нечто превосходное — человека, одежду и т. д.

рассказов. Теперь надлежало найти подходящую обстановку и закончить "Подарок" с удобствами, превосходящими те, в которых писалась его первая часть; а сразу за тем или взапуски с его последней главой мне предстояло просмотреть и, без сомнения, значительно переделать английский перевод моего "Красного цилиндра", приготовляемый в Лондоне неведомой дамой (которая весьма знаменательно предлагала, — пока ее не окоротил разгневанный рев, — "для удобства здравомыслящего английского читателя смягчить или вовсе выпустить несколько мест, не совсем приличных или же фразированных слишком затейливо либо невразумительно"). Ожидалась еще деловая поездка в Соединенные Штаты.

По какой-то странной психологической причине родители Аннетт, осведомленные обо всех этих обстоятельствах, принялись теперь торопить ее с браком, — каким угодно, "гражданским или басурманским", лишь бы поскорее. По окончании этого трехцветного фарса мы с Аннетт отдали дань русской традиции и два месяца переезжали из отеля в отель, добравшись аж до Венеции и Равенны, где я размышлял о Байроне и переводил Мюссе. Вернувшись в Париж, мы сняли трехкомнатную квартиру на очаровательной рю Гевара (названной в память стародавнего андалузского драматурга), в двух минутах ходьбы от Буа. Обыкновенно мы обедали по соседству в "Хромом Бесенке", скромном, но очень приличном ресторане, а ужинали холодным мясом у себя на кухоньке. Я почему-то ожидал, что Аннетт окажется изобретательной стряпухой, и впоследствии, в суровой Америке, она значительно усовершенствовалась. Однако высшим ее достижением на рю Гевара остались яйца в мешочек: не знаю как, но она ухитрялась предотвращать появление фатальной трещины, порождавшей, когда за готовку брался я, взбухание эктоплазмы в пляшущей воде.

Она любила долгие прогулки по парку среди успокоительных буков и обещающего вида детишек; она любила кафе, показы мод, теннисные матчи, круговые гонки на "Велодроме" и в особенности кино. Я скоро усвоил, что небольшое количество развлечений создает в ней потребный для любовных занятий настрой, — а я в последние

наши четыре парижских года был пугающе обилен и крепок и совершенно не выносил капризных отказов. Я, однако, решительно возражал против чрезмерностей в потреблении атлетических зрелищ — метрономических метаний струнно-звонкого теннисного мяча и гнусно волосатых ног горбунов на колесах.

Вторую половину тридцатых отметило в Париже чудотворное возвышение изгнаннических искусств, и с моей стороны было бы дурацкой претензией не признавать, что, какую бы чушь ни писал на мой счет кое-кто из самых бессовестных критиков, я оставался высшим достижением этого периода. В залах, где проходили чтения, в задних комнатах знаменитых кафе, на частных литературных вечерах я с удовольствием показывал моей спокойной и стильной спутнице различных призраков ада, проходимцев и проныр, величавых ничтожеств, участников всякого рода группок, тронутых гуру, благостных педерастов, пленительно истеричных лесбиянок, седовласых стариков-реалистов, одаренных, неграмотных критиков новой интуитивной школы (чьим незабвенным вождем был Адам Атропович).

Со своего рода ученым удовольствием (какое испытываешь, прослеживая в тексте параллельные места) я примечал внимание к ней, постоянную готовность выказать уважение, проявляемую тремя-четырьмя всегда одетыми в черное великими магистрами русской словесности (людьми, которых я обожал с благодарным ознобом не только за то, что высокие принципы их искусства заворожили меня на заре моих дней, но еще потому, что большевистский запрет на их книги явился величайшим, совершенным и окончательным обвинительным приговором режиму Ленина—Сталина). Не менее услужливо вертелись вокруг нее (возможно, из подсознательной тяги заслужить редкую похвалу из тех, коими я порой снисходительно жаловал какой-нибудь чистый голос в стане нечистых) определенного толка молодые писатели, которых их Бог сотворил двуликими: одно лицо — прискорбно растленное или пустое, а другое сияет мучительным даром. Словом, ее появление в beau monde[1] эмигрантской литературы забавно отзывалось

[1] Высший свет *(фр.)*.

восьмой главой "Евгения Онегина", в которой княгиня N. невозмутимо проходит сквозь льстивую сутолку бальной залы.

Меня могла бы удручить терпимость, проявляемая ею в отношении Базилевского (сочинений его она не знала и лишь смутно догадывалась о его репутации наизнанку), но мне представилось, что ее симпатия к нему, так сказать, тематически повторяет дружескую фазу моих собственных начальных отношений с этим faux bonhomme[1]. Из-за дорической, более-менее, колонны я подслушивал, как он выспрашивает у моей наивной, нежной Аннетт, не известно ли ей, отчего я так яро ненавижу Горького (перед которым он почитал себя обязанным преклоняться)? Не оттого ли, что меня обижает выпавшая пролетарию всемирная слава? И прочел ли я хоть одну из превосходных книг этого автора? Аннетт, казалось, встала в тупик, но вдруг лицо ее озарилось обаятельной детской улыбкой, и, вспомнив, как я разругал "Мать", слащавый советский фильм, она сказала:

— Оттого, что слезы, текущие по лицу, чересчур велики и слишком медленно катятся.

— Ага! Это многое объясняет, — с мрачным удовлетворением возвестил Базилевский.

10

Отпечатанные переводы "The Red Topper" (sic[2]) и "Camera Lucida"[3] я получил почти одновременно, осенью 1937 года. Они оказались даже гаже, чем я ожидал. Мисс Хаворт, англичанка, провела три счастливых года в Москве, где отец ее был послом; мистер Кулич, который подписывал свои письма именем "Бен", был пожилым нью-йоркцем русских кровей. Оба совершали одинаковые ошибки, неверно выбирая слова в одинаковых словарях и с одинаковой беззаботностью никогда не утруждаясь проверкой

---

[1] Скользкий тип *(фр.)*.

[2] Так *(лат.)*.

[3] "Камера люцида" *(англ.)*.

предательского омонима знакомого с виду слова. Оба оставались слепы к контекстуальным тонкостям цвета и глухи к оттенкам шумов. Классификация натуральных объектов редко снисходила у них от класса к семейству и еще реже к роду в строгом значении этого слова. Оба мешали разновидности с видами; скок, подскок и заскок носили в их разумении полинявшую форму однополчан-синонимов, — ни одна страница не обошлась без прорухи. Особенно потрясла и зачаровала меня, на гнетущий, дьявольский манер, их уверенность в том, что порядочный автор способен сочинить тот или иной описательный кусок, низведенный их невежеством и неряшливостью до криков и кряканья кретина. В привычных им способах выражения Бен Кулич и мисс Хаворт сходились настолько, что теперь я подумываю, а не были ль они тайно женаты, не списывались ли всякий раз, что приходилось одолевать особенно каверзный абзац; или, быть может, они встречались на полдороге, устраивая лексические пикники на муравчатом склоне какого-нибудь кратера на Азорах.

Несколько месяцев отняли у меня просмотр этого безобразия и надиктовка поправок Аннетт. Английский свой она вынесла из американского интерната в Константинополе, где провела четыре года (1920–1924) на первой стадии западной миграции семьи Благово. Я с изумлением наблюдал, как быстро растет и совершенствуется ее словарь благодаря выполнению новых для нее обязанностей, и забавлялся ее невинной гордыней, порожденной способностью правильно передать мою хулу и сарказмы в письмах к "Аллану-энд-Овертону", Лондон, и к Джеймсу Лоджу, Нью-Йорк. В сущности, doigté[1] в английском (и во французском) был у нее лучше, чем при печатанье русских текстов. Легкие спотычки, разумеется, неизбежны в любом языке. Как-то раз, справляясь во втором экземпляре пространной правки, уже отосланной мной терпеливому Аллану, я обнаружил сделанную ею пустяковую ошибку ("here" вместо "hero"[2] или, может быть, "that" вместо "hat"[3],

---

[1] Постановка пальцев, сноровка *(фр.)*.

[2] "Здесь"... "герой" *(англ.)*.

[3] "Тот, та"... "шляпа" *(англ.)*.

теперь уж и не упомню, — но, по-моему, там была буква "h"), попросту опечатку, которая, впрочем, придавала всему предложению угнетающе плоский и, увы, не невразумительный смысл (правдоподобие подвело немало старательных считчиков). Можно было тотчас телеграммой исправить ошибку, но задерганного, переутомленного автора такие происшествия выводят из себя, — и я высказал свое неудовольствие с неоправданным пылом. Аннетт начала искать в ящике (не в том) бланк телеграммы и, не поднимая головы, произнесла:

— Она помогла бы тебе гораздо лучше, чем я, но, правда же, я страшно стараюсь.

Мы никогда не упоминали Ирис, — был такой подразумеваемый пункт в кодексе нашего брака, — но я сразу понял, что Аннетт говорит о *ней*, а не о никчемной английской девице, за несколько недель до того присланной мне из агентства и отправленной назад в упаковке и с ленточкой. Я ощутил, как по какой-то оккультной причине (все то же переутомление) слезы навернулись мне на глаза, и, еще не успев подняться и выйти из комнаты, уже бесстыдно рыдал и лупил кулаком по толстой безымянной книге. Она, тоже заплакав, скользнула в мои объятия, и мы в этот вечер пошли смотреть новый фильм Рене Клера, а после поужинали в "Гранд-Велюр".

В те месяцы, пока я правил и частью переписывал "The Red Topper" и другую книгу, я начал испытывать корчи странного преображения. Не то чтобы я одним европейским утром проснулся в образе громадного скарабея с числом ног, превосходящим возможности какого угодно жука, но некие мучительные разрывы потаенных тканей во мне происходили. Русская пишущая машинка захлопнулась, как гроб. Окончание "Подарка" отправилось в "Patria". Мы с Аннетт собирались весной отправиться в Англию (да так и не собрались), а летом 1939 года — в Америку (где ей предстояло погибнуть четырнадцать лет спустя). К середине 1938 года я почувствовал, что могу разогнуть спину и тихо порадоваться как приватным похвалам, о которых мне сообщали в письмах Эндовертон и Лодж, так и публичным попрекам за аристократическую замысловатость, каковые

обрушили бойкие критикунчики из воскресных газет на слог тех мест в английских версиях моих двух романов, автором которых был один только я. И все же совсем иным делом была "работа без сетки" (по выражению русских акробатов), — попытка сочинять роман прямо по-английски, потому что так я лишался русской страховочной сети, натянутой понизу, между мной и освещенным кружком арены.

Как и с последующими моими английскими книгами (включая и эти записки), название первой явилось мне в самый миг зачатия, задолго до действительных родов и роста. Поднеся это имя поближе к свету, я разглядел все содержимое сквозистой облатки. Изменять и отбирать было нечего, книге следовало назваться "See under Real". Предвидение ее возможных мучений в каталогах публичных библиотек меня не остановило.

Сама идея явилась, возможно, косвенным результатом оскорбления, нанесенного моему прилежному художеству парочкой портачей. Положим, что недавно скончался английский романист, блестящий, неподражаемый мастер. Хамлет Годман, недалекий, злобноватый, окончивший в Оксфорде датчанин с пошлым складом ума, пытается наспех состряпать его жизнеописание, находя в этой нелепой задаче ковалевскую "отдушину" для литературных крушений, вполне заслуженных его пристойной посредственностью. На беду опрометчивого биографа, за редактирование его пачкотни берется гневливый брат покойного романиста. По мере того как раскручиваются первые рептильные кольца начальной главы (с инсинуациями насчет "мастурбационного комплекса вины" и кастрирования оловянных солдатиков), нарождается нечто, ставшее для меня волшебством и очарованием книги: братнины сноски, полдюжины строк на страницу, потом поболе, потом гораздо поболе, — они подвергают сомнению, потом оспаривают, потом с осмеянием уничтожают подложные анекдоты и плоские вымыслы самозваного биографа. Умножение этих сносок внизу страницы ведет к зловещему разрастанию (несомненно тревожащему клубных и оправляющихся от болезни

читателей) испещряющих текст астрономических символов. К концу университетской поры героя высота критического аппарата достигает трети каждой страницы. Предупрежденья издателей о национальном бедствии — наводненные поля и тому подобное — сопровождаются дальнейшим подъемом паводка. К двухсотой странице сноски теснятся на трех четвертях текста, меняется и сам их набор — по крайности психологически (я не люблю типографских фокусов в книгах) — от петита до корпуса. В последних главах комментарий не только замещает весь текст, но под конец набухает до жирного шрифта. "Мы становимся свидетелями замечательного явления — постепенной подмены лживой biographie romancée[1] подлинной историей жизни великого человека". В виде довеска я приложил трехстраничный отчет об ученой карьере великого аннотатора: "Ныне он читает о современной литературе, включая и сочинения брата, в Парагонском университете, штат Орегон".

Вот описание романа, созданного почти сорок пять лет назад и широкой публикой, вероятно, забытого. Я никогда не перечитывал его, потому что вообще перечитываю (je relis, I reread, — дразню прелестную возлюбленную!) только гранки тех моих книг, что выходят в бумажных обложках, а, по причинам, которые, я уверен, Дж. Лодж находит вполне основательными, эта книга все еще пребывает в стадии твердого панциря. Но в розовой ретроспекции я ощущаю ее как событие радостное, в моем сознании она совершенно отделилась от терзаний и страхов, сопровождавших написание этой небольшой и отчасти легковесной сатиры.

На деле ее сочинение, при всей радости (быть может, также пагубной), которую доставляли мне после ночи восторгов, злоключений и торжеств радужные пузырьки в моих алембиках (смотрите на арлекинов, смотрите все — Ирис, Аннетт, Бел, Луиза и ты, ты, последняя и бессмертная!), едва не довело меня до паралитического слабоумия, которого я страшился с юных лет.

---

[1] Романизованная биография *(фр.)*.

Полагаю, в мире атлетических игр никогда не бывало чемпиона мира по лыжам *и* лоун-теннису, в двух же литературах, несхожих, как снег и трава, я первый овладел мастерством подобного рода. Не знаю (атлет из меня никудышный, а спортивные страницы газет нагоняют мне почти такую же скуку, как кухонные их разделы), какие потребны усилия для того, чтобы в один день набрать на сервисе тридцать шесть пунктов подряд на уровне моря, а в следующий — взмыть с трамплина и улететь по яркому горному воздуху на сто тридцать шесть метров. Разумеется, колоссальные и, возможно, немыслимые. Но *я* все-таки смог пройти сквозь муки и корчи литературной метаморфозы.

Мы мыслим в образах, не в словах — ладно; когда, однако, мы сочиняем, вспоминаем или в полуночный час перекраиваем в уме то, что собирались сказать в завтрашней проповеди, или сказали Долли в недавнем сне, или что нам следовало сказать лет двадцать назад тому наглецу-надзирателю, образы, в которых мы мыслим, конечно, словесны — и даже озвучены, если мы одиноки и стары. Обыкновенно мы, размышляя, не прибегаем к словам, поскольку жизнь — это большей частию мимодрама, но мы, наверное, воображаем слова, когда в них приходит надобность, как воображаем и все остальное, доступное восприятию в этом или даже в еще более несбыточном мире. Книга впервые возникла в моем сознании, под моей правой щекой (я сплю на бессердечном боку), многокрасочным шествием с головой и хвостом, шествием, забирающим к западу, проходя через внимательный город. Детям меж вами и всем моим прежним "я" на крылечках было обещано потрясающее представление. Затем я увидел его в мельчайших подробностях, — каждая сцена на месте, и все трапеции уже развешаны средь звезд. Но то был все же не маскарад, не цирк, а книга, короткий роман на языке, удаленном примерно как фракийский и пехлеви от фата-морганной прозы, пресуществленной моей волей в пустыне изгнания. Прилив дурноты захлестывал меня при мысли, что придется навоображать сотни тысяч равноценных слов, и я зажигал лампу и вызывал из смежной спальни Аннетт,

чтобы она выдала мне одну из моих строго нормированных таблеток.

Эволюция моего английского, подобно эволюции птиц, имела свои паденья и взлеты. Любимая нянюшка-кокни ходила за мной с 1900-го (мне был тогда год) по 1903-й. За нею последовала вереница из трех английских гувернанток (1903–1906, 1907–1909 и с ноября 1909-го по Рождество того же года), которые видятся мне, через плечо времени, как представляющие, мифологически, Дидактическую Прозу, Драматическую Поэзию и Эротическую Идиллию. Моя двоюродная бабка, замечательная личность с незаурядно свободными взглядами, все же спасовала перед семейными мнениями и выгнала Черри Нипль, мою последнюю пастыршу. После французско-русской педагогической интерлюдии двое английских наставников более или менее наследовали один другому между 1912-м и 1916-м, забавно пересекшись в 1914-м, когда оба оспаривали услуги молодой деревенской красотки, бывшей в первую голову моею милашкой. Около 1910-го "B.O.P."[1] сменила английские сказки, а за ней вплотную пошли все тома Таухница, какие скопились в семейных библиотеках. Всю мою юность я читал — попарно и с неизменным глубоким трепетом — "Онегина" и "Отелло", Тютчева и Теннисона, Браунинга и Блока. В три кембриджских года (1920–1922) и потом, до 23 апреля 1930-го, моим обыденным языком оставался английский, меж тем как начало разрастаться, чтобы вскоре поглотить домашних богов, вещество моих собственных русских творений.

Покамест — куда ни шло. Однако сама эта фраза — лишь ходовое клише, вопрос же, вставший передо мною в Париже в конце тридцатых годов, в том-то и состоял — смогу ли я справиться с формулами, смогу ли содрать с себя готовое платье и уплыть от моего восхитительного самодельного русского не в мертвые, свинцовые английские воды с их манекенами в матросках, но в такой английский язык, за который лишь я буду в ответе, — со всей его новехонькой зыбью и переливчатым светом?

---

[1] "Boy's Own Paper" — "Газета для мальчиков" *(англ.)*.

Осмелюсь предположить, что рядовой читатель проскочит мимо описания моих литературных печалей; и все же хочу — не для него, для себя — безжалостно задержаться на обстоятельствах, сложившихся достаточно скверно еще до того, как я покинул Европу, и едва не прикончивших меня при переправе.

Русский и английский годами пребывали в моем сознании в виде двух отдельных миров. (Это только теперь установился своего рода межпространственный контакт. "A knowledge of Russian, — пишет Джордж Оуквуд в своем проникновенном эссе, посвященном "Ardis'у", 1970, — will help you to relish much of the wordplay in the most English of the author's English novels; consider for instance this: "The champ and the chimp came all the way from Omsk to Neochomsk". What a delightfull link between a real round place and "ni-o-chyom", the About-Nothing land of modern philosophic linguistics!"[1]) Я остро сознавал синтаксическую пропасть, разделяющую структуры их предложений. Я боялся (беспричинно, как выяснилось со временем), что моя привязанность к русской грамматике помешает вероотступническому служению. Возьмите хоть времена: насколько отличен в английском их менуэт, затейливый и строгий, от вольной, текучей взаимной игры настоящего с прошлым в русском его сопернике (игры, которую Ян Буниан столь остроумно уподобляет в последнем воскресном выпуске NYT[2] "танцу с шалью, исполняемому пышной и грациозной женщиной в кругу веселых пьянчуг"). Смущало меня и фантастическое обилие естественных на вид существительных, в специальном смысле прилагаемых англичанами и американцами к разного рода конкретным вещам. Как в точности называется чашечка, в которую помещают алмаз, предназначенный для огранки? (У нас она зовется "dop" —

[1] "Знание русского языка поможет вам насладиться словесной игрой самого английского из английских романов автора; возьмем, например, вот это: "Лязг и лузг стояли от Омска до Неочемска". Как восхитительна связь реального города с "ни-о-чемной" пустошью современной философской лингвистики!" *(англ.)*

[2] "New York Times" — "Нью-Йорк таймс" *(англ.)*.

оболочка куколки, ответил старый бостонский ювелир, продавший мне кольцо для третьей моей нареченной.) А разве не существует особенного словца для обозначения поросенка? ("Думаю попробовать "snork", — сказал профессор Нотебоке, лучший из переводчиков бессмертной гоголевской "Шинели".) Мне требуется точное название слома в мальчишеском голосе при половом созревании, сказал я любезному оперному басу, сидевшему в соседнем палубном кресле во время первого из моих путешествий через Атлантику. "I think, — сказал он, — it's called[1] "ponticello", a small bridge, un petit pont, мостик... А, так вы тоже русский?"

Переход по моему личному мостику завершился через несколько недель после того, как мы сошли на берег — в чарующей нью-йоркской квартире (одолженной нам с Аннетт моей щедрой родственницей и обращенной лицом на закат, пылавший над Центральным парком). Невралгия в правом предплечье казалась сереньким затемнением в сравненье со слитной черной мигренью, не пробиваемой никакими пилюлями. Аннетт позвонила Джеймсу Лоджу, и он по сердечной доброте, неверно направленной, прислал ко мне старого доктора из русских, дабы тот меня осмотрел. Этот несчастный едва не свел меня с ума окончательно, ибо он не только упрямо норовил обсудить мои симптомы на жалкой разновидности языка, который я пытался стряхнуть, но еще и переводил на этот язык разные никчемные термины из обихода Венского Шарлатана и его апостолов (символизирование, мортидник). И все-таки должен признаться: его визит при всяком вспоминанье о нем поражает меня редкой художественностью коды.

---

[1] По-моему, его называют... *(англ.)*.

Часть третья

1

Ни “Slaughter in the Sun”[1] (как оказалась переименованной в английском переводе “Камера люцида”, пока я, беспомощный, валялся в нью-йоркской больнице), ни “The Red Topper” толком не расходились. Моя надежда — прекрасный и странный “See under Real” на один бездыханный миг вспыхнул в самом низу газетного списка бестселлеров Западного побережья и сгинул навсегда. В таких обстоятельствах я не мог отказаться от лекторства, в 1940 году предложенного мне, благодаря моей европейской репутации, Квирнским университетом. Меня ожидала здесь недурная карьера: году к 50-му или 55-му — не могу отыскать точной даты в моих старых записях — я стал “полным профессором”.

Хотя две мои еженедельные лекции, посвященные “Европейским Шедеврам”, и четверговый семинар по Джойсову “Улиссу” вознаграждались вполне достойно (с начальных 5000 долларов в год до 15000 в пятидесятых), да еще “The Beau and the Butterfly”[2], добрейший в мире журнал, принимал и роскошно оплачивал кой-какие мои рассказы, я не чувствовал себя по-настоящему обеспеченным до тех пор, пока “A Kingdom by the Sea” (1962) частью не возместил потери (1917) моего русского состояния, упразднив все денежные тяготы до скончания тягостных времен. Я, как правило, не сохраняю вырезок с враждебными критиками и завистливой бранью, но определение, приводимое ниже, сберег. “Это единственный известный в истории случай, когда европейский бедняк стал своим собственным американским дядюшкой [American uncle, oncle

---

[1] “Резня при свете солнца” *(англ.)*.

[2] Красавец и бабочка *(англ.)*.

d'Amérique]" — так выразился мой верный зоил Демьян Базилевский, один из весьма немногих ящеров эмигрантских болот, последовавших за мной в 1939-м в гостеприимные и вообще замечательные во всех отношениях Соединенные Штаты, где он с икрометным проворством обосновал русскоязычный трехмесячник, которым правит еще и поныне, тридцать пять лет спустя, уже впав в героическое детство.

Меблированная квартира, в конце концов снятая нами в верхнем этаже справного дома (номер 10 по Буффало-стрит), привлекла меня исключительно удобным кабинетом с обширным книжным шкапом, полным трудов по американской премудрости, включая и энциклопедию в двадцать томов. Аннетт предпочла бы одну из дачеобразных построек, также предъявленных нам Администрацией, но сдалась, когда я указал ей, что все, имеющее летом вид затейливый и уютный, неизменно оказывается промозглым и жутковатым во весь остальной год.

Эмоциональное здоровье Аннетт причиняло мне беспокойство: ее грациозная шея, казалось, еще истоньшилась и вытянулась. Выражение кроткой печали ссудило новой, непрошеной красотой ее боттичеллиевое лицо: очерк впадин под скулами все чаще подчеркивался новой привычкой втягивать щеки в минуты раздумий и колебаний. В нечастые теперь мгновения любви все ее хладные лепестки оставались закрыты. Ее рассеянность становилась опасной: ночные бродячие кошки проведали, что то же оплошное божество, которое не затворяет кухонного окна, оставляет раскрытой и дверь холодильника; ванна вечно переливалась, пока она, сведя невинные брови, названивала по телефону, — узнать, как поживают мигрень и менопауза некой особы с первого этажа (и что было ей до *моих* страданий, *моего* вскипающего безумия!); из-за неопределенности ее отношения ко мне она и забыла о мерах предосторожности, которым ей полагалось следовать, так что осенью, последовавшей за нашим переездом в проклятый дом Ленгли, она сообщила мне, что доктор, с которым она только что разговаривала, — вылитый Оксман и что она уж два месяца как брюхата.

Теперь под моими беспокойными плесницами нас дожидается ангел. Роковое отчаяние обуревало мою бедную Аннетт, когда она пыталась совладать со сложностями американского быта. Наша домовладелица, занимавшая первый этаж, управилась с ее затруднениями вмиг. К ней приходили стряпать и прибирать две восхитительно вилявшие попками бермудские студентки в национальных костюмах (фланелевые шорты и расстегнутые до середины рубашки), почти близняшки на вид, бравшие в Квирне знаменитый "гостиничный" курс, и она предложила поделиться их услугами с нами.

— Она сущий ангел, — поведала мне Аннетт на своем трогательно нарочитом английском.

Я узнал в этой женщине доцента русского отделения, — меня познакомили с ней в одном из кирпичных домов кампуса, когда глава этого на удивление безотрадного отделения, смирный и слабоглазый старик Нотебоке, пригласил меня посетить занятия группы повышенной сложности ("Мы говорим по-русски. Вы говорите? Поговоримте тогда..." — и прочая жуть в том же роде). Счастье, что в Квирне мне совсем не приходилось иметь дела с русской грамматикой, — за тем исключением, что жена, спасаясь от иссушающей скуки, от случая к случаю подряжалась помогать, под руководством миссис Ленгли, начинающим.

Нинель Ильинишна Ленгли, лицо перемещенное (и не в одном отношении), не так давно разошлась с мужем, "великим" Ленгли, автором "Марксистской истории Америки", священной книги (ныне не издаваемой) целого поколения болванов. Мне неведомы причины их разрыва (после целого года "американского секса", как она сообщила Аннетт, передавшей мне эти сведения тоном идиотского соболезнования), но я имел случай узнать и невзлюбить профессора Ленгли — на официальном обеде в канун его отбытия в Оксфорд. Он мне не понравился тем, что посмел усомниться в разумности моего способа преподавания "Улисса", — в чисто текстуальном освещении, без органических аллегорий, псевдогреческой мифологии и прочей чуши; с другой стороны, его "марксизм" оказался симпатично-комичным и очень умеренным (может быть,

слишком умеренным на вкус супруги) в сравнении с общим невежественным обожанием Советской России, практикуемым американскими интеллектуалами. Помню внезапную тишь, вороватый обмен скептическими гримасами, когда на приеме, устроенном в мою честь самым видным из членов нашего английского отделения, я охарактеризовал большевистское государство как обывательское в минуты передышки и скотское в действии; соревнующееся в прожорливой хватке — на международной арене — с самкой богомола; выпестовавшее в своей литературе посредственность, сперва сохранив несколько талантов, уцелевших от прежних времен, а после вымарав их собственной их кровью. Один из профессоров, левый моралист и ревностный стенописец (в тот год он экспериментировал с автомобильными красками), вышел вон из дверей. Впрочем, назавтра он прислал мне действительно великолепное письмо с извинениями в ненатуральную величину, в котором говорилось, что он не способен всерьез сердиться на автора "Esmeralda and Her Parandrus" (1941), книги, которая, несмотря на "разномастность слога и барочную образность", остается шедевром, "задевшим такие струны личной горечи, о трепете коих в нем, идейном художнике, он не мог и помыслить". Рецензенты моих книг дули в ту же дуду, для порядка журя меня за недооценку "величия" Ленина и тут же рассыпая хвалы такого рода, что ими в конечном счете удалось пронять и меня, презрительного и строгого автора, чья подготовительная работа в Париже так и осталась неоцененной. Даже президент Квирна, опасливо симпатизировавший модным "советчикам", принял, по сути, мою сторону: посетив нас, он говорил (пока Нинель, навострив уши, вползала на наш этаж), как он горд и т. д., что он нашел мою "последнюю (?) книгу весьма интересной", хоть и не может не сожалеть о моем обыкновении при всякой возможности хулить во время занятий "нашего великого союзника". Я ответил, смеясь, что эта хула покажется детскими ласками в сравненье с публичной лекцией о "Тракторе в советской литературе", которую я намереваюсь прочесть под конец семестра. Он тоже засмеялся и спросил у Аннетт, каково ей живется с гением (она лишь

пожала ладными плечиками). Все это было très américain[1] и растопило целое предсердие в моем заледенелом сердце.

Но вернемся к доброй Нинели.

При рождении (в 1902-м) ее окрестили Нонной, а двадцатью годами позже переименовали в Нинель (или Нинеллу) — по ходатайству отца, Героя труда и низкопоклонства. По-английски она так и писалась — Ninella, но друзья звали ее Нинетт или Нелли, точно так же (любила указывать Нонна), как крестное имя моей жены — Анна — преобразовалось в Аннетт, или Нетти.

Нинелла Ленгли была приземистым, крепко скроенным существом с лицом румяным и рдяным (два эти тона распределялись неровно), с короткими волосами, выкрашенными в тещину рыжину, с карими глазками, бывшими еще безумней моих, с тоненькими губами, толстым русским носом и тремя-четырьмя волосками на подбородке. Прежде чем молодой читатель обратится лицом к Лесбосу, хочу оговориться, что, насколько мне удалось проведать (а разведчик я бесподобный), ничего сексуального не было в ее смешной и беспредельной привязанности к моей жене. Я не обзавелся еще белой "Пустынной Рысью", до лицезренья которой Аннетт не дожила, так что именно Нинелла возила ее за покупками в полуразрушенном рыдване; а той порой изворотливый постоялец, приберегая экземпляры своих романов, подписывал благодарным близняшкам старые детективы в бумажных обложках и неудобочитаемые брошюры из собрания Ленгли, хранившегося на чердаке, чье слуховое окно послушно присматривало за дорогой, ведущей к торговому центру — и назад. Именно Нинелла следила, чтобы у ее обожаемой "Нетти" всегда было вдосталь белой вязальной шерсти. Именно Нинелла дважды на дню приглашала ее к себе на чашечку кофе либо чаю; но нашей квартиры она старательно избегала, по крайности когда мы бывали дома, под тем предлогом, что там еще смердит табаком ее мужа: я возразил однажды, что это запах *моей* трубки, — и в тот же день, попозже, Аннетт завела разговор о том, что мне и вправду не стоит так много курить,

---

[1] Весьма по-американски *(фр.)*.

особенно в доме; она поддержала и другую исходившую снизу нелепую жалобу, именно, что я слишком долго и слишком допоздна расхаживаю взад-вперед прямо над челом Нинеллы. Да, — и еще третья печаль: зачем я не ставлю тома энциклопедии назад в алфавитном порядке, о чем всегда так заботился муж, ибо (говаривал он) "перемещенная книга — книга потерянная", — ни дать ни взять афоризм.

Голубушку миссис Ленгли не особенно радовала ее работа. Ей принадлежало приозерное бунгало ("Сельские Розы") в тридцати милях к северу от Квирна, неподалеку от Хониуэлльского колледжа, в летней школе которого она учительствовала и с которым намеревалась вступить в еще более тесную связь, если в Квирне сохранится "реакционная" атмосфера. На самом деле единственной причиной ее недовольства была дряхлая мадам де Корчаков, прилюдно обвинившая ее в "сдобном" советском выговоре и провинциальном словаре, — спорить и с тем и с другим было бессмысленно, хоть Аннетт и твердила, что я — бессердечный буржуа, коли так говорю.

2

Первые четыре младенческих года жизни Изабель так решительно отделены в моем сознании семилетним прочерком от девичества Бел, что кажется, будто у меня было две разных дочери: одна — веселая, краснощекая малютка; другая — ее бледная и замкнутая старшая сестра.

Я запасся ушными затычками — и зря: никакого рева не прилетало из детской, чтобы помешать моей работе над новой книгой — "Dr Olga Repnin", история выдуманной русской профессорши в Америке, — которой предстояло после докучной поры печатанья выпусками, влекущей бесконечную вычитку опечаток, выйти у Лоджа в 1946-м, в том самом году, что Аннетт ушла от меня, и быть объявленной "смесью юмора и гуманизма" падкими на аллитерации рецензентами, блаженно не ведавшими, что я преподнесу им лет пятнадцать спустя для оторопелой услады.

Я наслаждался, наблюдая за Аннетт, снимавшей в саду меня и малютку на цветную пленку. Мне нравилось катить

коляску с зачарованной Изабель по лиственничным и буковым рощам вдоль порожистой квирнской речушки, где каждая петелька света, каждый глазок тени сопровождались, или так мне казалось, радостным одобреньем дитяти. Я согласился даже провести бóльшую часть лета 1945 года в “Сельских Розах”. Там, в один из дней, когда я возвращался с миссис Ленгли из ближней винной лавки или от газетного лотка, что-то сказанное ею, некая интонация или жест вызвали во мне мимолетную дрожь, ужасное подозрение, что жалкое это создание с самого начала влюбилось не в мою жену, а в меня.

Мучительная нежность, всегда испытываемая мною к Аннетт, переняла новую остроту от моего чувства к нашей малышке (я “трясся” над ней, как выражалась на своем вульгарном русском Нинелла, сетуя, что это может дурно сказаться на ребенке, даже если “вычесть наигрыш”). Такова была человеческая сторона нашего брака. Постельная вовсе сошла на нет.

После возвращения Аннетт из родовспомогательного приюта отголоски ее страданий, отзывавшиеся в темнейших коридорах моего мозга, и страшные витражные окна за каждым их поворотом — остаточный образ израненного устьица — долгое время угнетали меня, напрочь лишая силы. Когда все во мне зажило и вожделение к ее бледным красам возгорелось вновь, мощь и неистовство его положили конец отважным и по существу своему бесплодным усилиям, посредством которых она пыталась снова установить между нами род любовной гармонии, ни на йоту не уклоняясь от пуританской нормы. Теперь ей хватало злобы — жалкой девической злобы — настаивать, чтобы я повидал психиатра (рекомендованного миссис Ленгли), который научит меня думать “успокоительные” мысли в минуты неуемного наплыва крови. Я сказал, что подруга ее — попросту монстриха, а сама она — гусыня, и между нами разразилась жесточайшая за все наши годы супружеская ссора.

Кремовобедрые близняшки давно уже воротились со своими велосипедами на родимые острова. Помогать по хозяйству теперь приходили девицы куда более невзрачные.

К концу 1945-го я практически перестал навещать холодную спальню жены.

Где-то в середине мая 1946 года я поехал в Нью-Йорк — пять часов по железной дороге, — чтобы пообедать с издателем, предлагавшим на лучших, нежели у милого Лоджа, условиях напечатать сборник моих рассказов (“Exile from Mayda”). Приятно перекусив, я шел сквозь солнечное марево того банального дня к Публичной Библиотеке, и, вследствие банального чуда синхронизации, по ступеням библиотеки, пританцовывая, стала спускаться она, двадцатичетырехлетняя Долли фон Борг, а снизу по тем же ступеням тащился к ней я, знаменитый и толстый писатель во всей мощи моих сорока. Если не принимать в расчет отблеска седины в обильной светлой гриве, более десяти лет тому отпущенной мною для чтений в Париже, не думаю, чтобы я изменился достаточно для оправдания слов, которыми она начала разговор, — что-де она нипочем бы не узнала меня, не приглянись ей портрет мыслителя на задней обложке “See under”. Я-то узнал ее сразу, потому что никогда не терял из виду, время от времени подновляя образ: в последний раз я подбил итоги в 1939 году, когда ее бабушка, отвечая на рождественское поздравление моей жены, прислала нам из Лондона почтового размера фотографию голоплечей девчушки с мохнатым веером и накладными ресницами — какая-то школьная пьеса, — сногсшибательный вид. За две минуты, проведенные нами на тех ступенях, — она обеими руками прижимала к груди книгу, а я, чуть ниже, поставив правую ногу на следующую ступень, на ее ступень, похлопывал себя по колену перчаткой (позитура, обычно присущая лишь тенорам), — за две этих минуты мы успели обменяться множеством простеньких сведений.

Ныне она изучает историю театра в Колумбийском университете. Родители и дедушка с бабушкой засели в Лондоне. У меня ребенок, верно? Какие на мне милые туфли. Студенты называют мои лекции баснословными. Я счастлив?

Я покачал головой. Где и когда смогу я увидеть ее?

Она в меня втюрилась с самого начала, да-да, еще когда я магнетизировал ее, примостив у себя на коленях, разыг-

рывал доброго дяденьку Запыхаева, сбиваясь на каждой второй фразе, а теперь все вдруг вернулось, и она определенно не прочь что-нибудь по такому случаю предпринять.

Словарь у нее замечательный. Уложи-ка ее в одну фразу. Миражи мотелей в глазке сувенирной ручки. А машина у нее есть?

Ну, это несколько неожиданно (со смехом). Наверное, она могла бы позаимствовать у него старый седан, хоть ему это может и не понравиться (указав на невзрачного юнца, ожидавшего ее на панели). Он только-только купил *совершенно* божественный "Гуммер", чтобы разъезжать с ней по всяким местам.

Может, она все-таки скажет мне, *когда* мы встретимся, пожалуйста.

Она все мои романы прочла, по крайней мере английские. Русский ее вконец заржавел!

К чертям романы! Когда?

Надо подумать. В конце семестра она, пожалуй, могла бы меня навестить. Терри Тодд (теперь глазами примерявшийся к лестнице, приготовляясь к подъему) учился у меня недолгое время, но, получив два с минусом за первую же работу, расквитался с Квирном.

Я сказал, что предаю всех двоечников бессрочному забвению. Этот ее "конец семестра" может завиться в минусовую вечность. Я потребовал большей точности.

Она даст знать. Звякнет на той неделе. Нет, со своим телефоном она не расстанется. Посмотрите на этого шута, сказала она (он уже лез по ступеням). Парадиз — это ведь персидское слово. Просто персидским удовольствием было снова вот так повстречаться со мной. Может, она и заскочит как-нибудь ко мне прямо на работу, — так, поболтать о былых временах. Она понимает, как занят...

— А, Терри; это писатель, это он написал "Эмиральда и баран".

Не помню, что я намеревался посмотреть в библиотеке. Во всяком случае, не эту неведомую книгу. Бесцельно побродил я туда-сюда по нескольким залам, рассеянно навестил ватер-клозет; я просто не мог — разве что оскопив себя — избавиться от нового образа Долли с его собствен-

ным переносным солнечным светом — от светлых прямых волос, от веснушек, от простенького припухлого ротика, от удлиненных лилитиных глаз, хоть и понимал: она всего-навсего, что называется, “потаскушка”, — а может быть, как раз потому и не мог.

Я прочитал предпоследнюю в весеннем семестре лекцию по “Шедеврам”. Прочитал и последнюю. Мой ассистент роздал синие тетрадки на последнем экзамене этого курса (урезанного мной по причине ухудшенья здоровья) и собрал их, покуда трое-четверо из безнадежно обнадеживившихся еще продолжали бешено скрести бумагу в разных концах класса. Я провел последний в этом году семинар по Джойсу. Маленькая баронесса Борг забыла окончание сна.

Под самый конец весеннего семестра особенно бестолковая приходящая нянька сообщила мне, что звонила какая-то девушка, фамилию которой она недослышала — Толлберд, Дальберг, — сказавшая, что едет в Квирн. Так совпало, что Лили Тальбот, слушавшая мои лекции по “Шедеврам”, пропустила экзамен. На следующий день я отправился в мой кабинет в колледже на тяжкое испытание — предстояло перечитать проклятую кучу, сваленную у меня на столе. Типовая Экзаменационная Тетрадь Квирнского университета. Вся учебная работа проводится в предположении всеобъемлющего омерзения. Пишите как на правых, так и на левых последующих страницах. В каком именно смысле “последующих”, сэр? Вы хотите, чтобы мы описали *всех* птиц, какие есть в этом рассказе, или только одну? Как правило, одна десятая часть из трех сотен умников предпочитает писать “Стэрн” вместо “Стерн” и “Остен” вместо “Остин”.

Телефон зазвонил на моем просторном столе (“двуспальном”, как выражался мой похабник-сосед, профессор Кинг, знаток Данте), и та самая Лили Тальбот принялась многословно и неубедительно объяснять, довольно приятным, хрипловатым и доверительным тоном, почему она не пришла на экзамен. Я не сумел припомнить ни лица ее, ни фигуры, но в приглушенной мелодии, щекотавшей мне ухо, столько было примет молодого обаяния и податливости, что я невольно выбранил себя за ненаблюдательность

во время занятий. Она уже подбиралась к сути дела, когда внимание мое отвлеклось по-детски нетерпеливым постукиванием в дверь. Вошла, улыбаясь, Долли. Улыбаясь, она указала кивком подбородка, что трубку следует положить. Улыбаясь, она смела со стола тетради и взгромоздилась на него, только что не уткнув мне в лицо свои голые голени. И то, что сулило утонченную пылкость страстей, обернулось самой затасканной сценой во всех моих мемуарах. Я поспешил утолить жажду, которая выжигала прореху в смешанной метафоре моей жизни еще с той поры, как я тринадцатью годами раньше ласкал совершенно иную Долли. Окончательная конвульсия сотрясла настольную лампу, и из класса по ту сторону коридора донесся взрыв рукоплесканий, — профессор Кинг завершил последнюю в этом сезоне лекцию.

Когда я пришел домой, жена одиноко сидела на веранде, легко, хоть и не очень уверенно раскачиваясь в любимой качалке и читая "Красную Ниву" ("Red Corn"[1]), большевистский журнал. Поставщица "литературы" отсутствовала, принимала последний экзамен у будущих горе-переводчиков. Изабель нагулялась и теперь спала у себя в комнате над самой верандой.

В дни, когда моим скромным нуждам прислуживали "бермудки" (как неприлично звала их Нинелла), я после проведенной операции не испытывал никакой вины и, встречаясь с женой, сохранял всегдашнюю, добродушно-насмешливую улыбку; но при *настоящей* оказии я ощущал свою плоть, покрытую жалящей слизью, и сердце пропустило удар, когда она, подняв глаза и пальцем придерживая строку, спросила:

— Та девушка застала тебя в кабинете?

Я ответил, как мог бы ответить выдуманный персонаж, "утвердительно".

— Ее родители, — прибавил я, — вроде бы писали тебе из Лондона, что она едет учиться в Нью-Йорк, но ты мне письма не показывала. Tant mieux[2], уж больно она скучная.

---

[1] "Красный злак" *(англ.)*.

[2] Тем лучше *(фр.)*.

Аннетт глядела на меня в полном замешательстве:

— Я говорила, — произнесла она, — или пыталась сказать о студентке по имени Лили Тальбот, которая час назад позвонила, чтобы объяснить, почему она пропустила экзамен. А кто *твоя* девица?

Пришлось распутывать девиц. После некоторых колебаний морального толка ("Ты ведь знаешь, мы оба в долгу перед ее стариками") Аннетт согласилась, что, в сущности говоря, мы вовсе не обязаны развлекать подкидышей. Она, похоже, припомнила и письмо, потому что в нем упоминалась ее вдовая матушка (жившая ныне в уютном доме для престарелых, под который я не так давно приспособил, — невзирая на добросовестные протесты моего поверенного, — виллу в Карнаво). Да-да, она куда-то его засунула — и еще обнаружит в библиотечной книге, так и не возвращенной в недостижимую библиотеку. Странная умиротворенность струилась теперь по моим бедным венам. Романтичность ее рассеянности всегда от души смешила меня. Я от души рассмеялся. Я поцеловал ее в висок, в бесконечно нежную кожу.

— Ну, и как теперь выглядит Долли Борг? — спросила Аннетт. — Она была очень невзрачной и наглой малявкой. Препротивной, по правде сказать.

— Вот такой и осталась, — почти выкрикнул я, и мы услыхали сквозь зевок окна наверху радостный оклик маленькой Изабель: "Я проснулась".

Как легко проносились весенние тучки! Как бойко вытягивал цельных червей красногрудый дрозд на лужайке! А, — вот и Нинелла, наконец-то дома, выбирается из машины с обвязанными веревкой трупами тетрадок, прижатыми крепкой рукой. "Господи, — в низменной эйфории сказал я себе, — что-то все-таки есть и милое, и уютное в старушке Нинели!" И однако лишь несколько часов погодя свет в Аду погас и я забился, заламывая все четыре конечности, — да! — в корчах бессонницы, пытаясь найти хоть какое-нибудь сочетание затылка с подушкой, плеча с простыней, ноги с одеялом, которое помогло бы мне, о, помогло, помогло бы достигнуть Рая дождливой зари.

3

Возрастающая расхлябанность моих нервов была такова, что о заботах, сопряженных с получением водительских прав, нечего было и помышлять; оставалось положиться на Долли, использовавшую грязный, старый Toддов седан для поисков приличных потемок на загородных лужайках, которые и находились с трудом, и, найденные, разочаровывали. У нас состоялось три таких рандеву, в окрестностях Нью-Свайвингтона, в чреватом осложнсниями соседстве Казановии, ни много ни мало, и я даже в моем помрачении приметил, что Долли по сердцу суетные метания, неверные повороты, потоки дождя, внимательно наблюдавшего за нашим убогим романчиком. “Ты только подумай, — сказала она одной особенно топкой июньской ночью, застигнувшей нас неведомо где, — насколько проще все было бы, если бы кто-то объяснил твоей жене ситуацию, только подумай!”

Сообразив, что с этой идеей она переборщила, Долли сменила тактику и, позвонив мне в колледж, с нарочитым ликованием сообщила, что Бриджет Долан, студентка-медичка, кузина Тодда, за небольшую плату предоставляет нам свою квартиру в Нью-Йорке — по понедельникам и четвергам, после полудня, когда она подрабатывает нянькой в Госпитале Святого Имярек. Скорее инерция, нежели Эрос, заставила меня решиться на пробу: под предлогом необходимости завершить литературные штудии, якобы проводимые мною в Публичной Библиотеке, я поехал в переполненном “пульмане” из одного кошмара в другой.

Она встречала меня перед домом, надменно-торжественная, помахивая ключиком, ловившим в оранжерейной измороси проблески солнца. В дороге я так ослаб, что еле выбрался из такси, и она помогла мне доковылять до двери дома, тараторя, как обрадованное дитя. По счастью, таинственная квартира оказалась в первом этаже, — я не снес бы смыкания и содрогания лифта. Угрюмая сторожиха (напомнившая мне в мнемоническом обращении церберищ из гостиниц Советской Сибири, в которых мне предстояло останавливаться два десятилетья спустя) потребовала,

чтобы я занес в регистрационную книгу мои имя и адрес ("Так полагается", — пропела Долли, уже подцепившая несколько местных интонаций.) Мне хватило присутствия духа указать самый дурацкий адрес, какой удалось выдумать за минуту: Думберт Думберт, Думбертон. Мурлыча песенку, Долли неспешно добавила мой дождевик к тем, что висели в общей прихожей. Если б ее хоть разок трепанула нервическая горячка, она не стала бы копошиться с ключом, отлично зная, что двери якобы исключительно укромной квартирки даже не запираются толком. Мы попали в нелепую, явственно ультрамодерную гостиную с жесткой крашеной мебелью и одиноким белым креслицем-качалкой, где вместо дующегося ребенка сидела плюшевая двуногая крыса. Двери меня по-прежнему жаловали, они всегда меня жаловали. Та, что налево, слегка приоткрытая, пропускала голоса из смежных покоев или палаты для буйнопомешанных.

— Там какая-то гулянка! — посетовал я, и Долли ловко и мягко потянула дверь и почти ее притворила.

— Милая дружеская компания, — сказала она, — и потом, в этих комнатах слишком жарко, чтобы затыкать всякую щель. Вторая направо. Ну вот и пришли!

Ну вот и пришли. Нянечка Долан, ради общей атмосферы и из профессионального сострадания, обставила свою спальню на больничный манер: чистая, ровно снег, койка с системой рычагов, которые обратили бы в импотента и Большого Петра ("Красный цилиндр"); белейшие комоды и стеклянные шкапчики; излюбленный юмористами температурный листок в изголовье кровати; и перечень правил, прикнопленный к двери в ванную комнату.

— Ну-ка, снимай пиджак, — весело воскликнула Долли, — а я пока расшнурую твои чудесные туфли (проворно присев и проворно привстав от моих ускользающих ног).

Я сказал:

— Ты с ума сошла, дорогая моя, если думаешь, что я могу помышлять о любви в этом пугающем месте.

— Но чего же ты хочешь? — спросила она, сердито отбросив прядь со вспыхнувшего лица и распрямясь в полный рост. — Где ты еще найдешь другую такую же классную, гигиеническую, совершенно...

Ее прервал посетитель: коричневый старый такс с поседевшими щечками и горизонтальной резиновой костью во рту. Выйдя из приемной, он сложил на линолеум непристойную красную штуку и замер, разглядывая меня, Долли, снова меня с меланхолическим ожиданием на задранной кверху морде. В комнату вскользнула хорошенькая голорукая девушка в черном, сгребла пса, вышибла его игрушку назад в приемную и сказала:

— Хэлло, Долли! Если вам с дружком потом захочется выпить, милости просим. Бриджет позвонила, что вернется пораньше. Нынче у Ю. Б. день рождения.

— Чудно, Кармен, — ответила Долли и, обернувшись ко мне, продолжала по-русски: — По-моему, тебе не мешает выпить прямо сейчас. Да ну, пойдем же! И Бога ради, оставь ты здесь пиджак и жилет. Ты же пропитан потом.

Она вытолкала меня из комнаты, и я пошел, стеная и спотыкаясь; мимоходом она приласкала безупречно гладкую койку и двинулась вслед за снежным человеком, человеком свечным, скособоченным, издыхающим.

Бóльшая часть гостей уже перешла в приемную из комнаты по соседству. Узнав Терри Тодда, я съежился и попытался прикрыть лицо. В знак деликатного поздравления он поднял стакан. Каким способом эта сучка залучила в союзники мешавшего ей ухажера, теперь мне уже не узнать; не надо было вставлять ее в "Красный цилиндр", потому что так вот и выводишь живых чудовищ из маленьких балерин в книжках. Еще одного человека мне уже приходилось видеть — в машине, то и дело сновавшей мимо нас где-то за городом, — молодого актера с приятным ирландским лицом, всучившего мне питье, которое он назвал "Гонолулской Остудой", впрочем, в первую, озаренную пору припадка я становлюсь невосприимчив к спиртному и потому смог распробовать лишь ананасную составляющую смеси. Окруженный сикофантами старикан величиною с быка, в рубашке с короткими рукавами и с монограммой "Ю. Б.", обняв волосатой лапою Долли, позировал жене, щелкнувшей эту сомнительную сцену. Кармен переместила мой липкий стакан к себе на аккуратный подносик, в углу которого прикорнули градусник и коробка пилюль. Не

найдя куда сесть, я привалился к стене, и от толчка моего затылка дешевая абстрактная картина в пластмассовой раме закачалась над моей головой; Тодд, просклизнувший поближе ко мне, придержал ее и негромко сказал:

— Все улажено, проф, все довольны. Вы не сомневайтесь, я держал миссис Ленгли в курсе, они с благоверной уже пишут вам письмо. Хотя сейчас-то они, небось, уже съехали, малышка думает, будто вы в раю, — эй, бросьте, что это с вами?

Какой из меня драчун? Я только руку зашиб о торшер и лишился в возне обеих туфель. Терри Тодд испарился — навеки. В одной комнате названивали по телефону, в другой он названивал сам. Долли, преображенная вспять алхимией бешенства — и ставшая неотличимой от девочки, пославшей меня на три французские буквы, когда я сказал ей, что полагаю разумным не злоупотреблять больше дедушкиным гостеприимством, буквально разодрала мой галстук пополам, вопя, что ей ничего не стоит посадить меня за изнасилование, но она предпочитает полюбоваться, как я поползу назад к супружнице и к гарему из нянек (новый ее словарь оставался, впрочем, глубоко театральным, даже когда она визжала).

Я ощущал себя пойманным — серебряной горошиной, завлеченной в центр игрушечного лабиринта. Угрожающая орава, которую сдерживал Ю. Б., начальник психушки, отсекала меня от выхода; пришлось отступить в личную палату Бриджет и там с облегчением (тоже, увы, "озаренным") я увидал в до того незамеченном приоткрытом балконном окне баснословный простор внутреннего двора или только одну его утешную часть с пациентами в легких одеждах, кружащими по геометрическому чертежу лужаек и садовых троп или мирно сидящими на скамьях. Я кое-как вылез наружу и, когда мои стопы в белых носках коснулись холодной травы, обнаружил, что приблудная шлюшка распустила завязки моих длинных холстяных подштанников. Как-то, где-то я сронил или потерял всю остальную одежду. Стоя здесь и ощущая, как плещется в голове черная боль, до того мне почти неведомая, я стал сознавать, что за краем двора происходит какая-то суматоха. Далеко-далеко

от меня выскочила из крыла больницы и кинулась мне на помощь нянечка Долан или Нолан (при том расстоянии такие различия уже ничего не значили). За ней поспешали двое мужланов с носилками. Кто-то из больных, желая помочь, подобрал оброненное одеяло.

— Ну знаете ли, ну знаете... никогда больше так не делайте, — задыхаясь, вскричала она. — Не двигайтесь, они вам помогут подняться (я завалился на травку). Если бы вы попытались вот так удрать сразу после операции, вы бы умерли прямо на месте. Подумайте, в такой погожий денек!

И двое крепышей-паланкеров, дорогою непрестанно смердя (передний слитно, а задний — размеренными дуновениями), стащили меня не в кровать к Бриджет, но в настоящую больничную койку в трехместной палате, засунув меж двух стариков, умиравших от мозговой горячки.

4

Сельские Розы
3.IV.46

Шаг, предпринятый мной, Вадим, не подлежит обсуждению. Ты должен принять мой уход, как fait accompli[1]*. Если бы я по-настоящему любила тебя, я бы тебя не оставила, но я никогда не любила тебя по-настоящему, и может быть, твоя последняя выходка, — вне всяких сомнений, не первая со времени нашего приезда в эту зловещую "свободную" страну*[II]*, — является для меня только предлогом, чтобы тебя оставить.*

Мы никогда не были особенно счастливы вместе, ты и я, за все двенадцать[III] *лет нашего брака. С самого начала ты относился ко мне как к смышленому, послушному, но определенно обманувшему твои ожидания дуровскому зверьку*[IV]*, которого ты пытался выучить гадким безнравственным фокусам,* — отвергаемым *как таковые, согласно преданной подруге, без которой я не смогла бы выжить в мертвенном "Kvirn'e"*[V]*, новейшими из научных светил нашего отечества.*

[1] Свершившийся факт *(фр.)*.

С другой стороны, и меня приводили в такое болезненное замешательство твой trenne (sic)[VI] de vie[1], твои привычки, твои чернокудрые друзья[VII], твои упадочные романы и — почему не признаться в этом? — твое патологическое отвращение к Искусству и Прогрессу в Стране Советов, включая восстановление чудных старых церквей[VIII], что я развелась бы с тобой, если бы смела расстроить бедных папу и маму[IX], которым, в их наивности и благородстве, так хотелось, чтобы их дочь называли — и Боже Милостивый, кто? — "Ваше Сиятельство".

Теперь о серьезном требовании — об абсолютном запрете. Никогда, никогда, — по крайней мере пока я жива, — повторяю, никогда не пытайся связаться с ребенком. Я не знаю, — Нелли больше сведуща в этом, — что говорит закон, но знаю, что в некоторых отношениях ты джентльмен, и именно джентльмену я говорю и кричу: Пожалуйста, пожалуйста, держись подальше от нас! Если меня поразит какой-то ужасный американский недуг, помни, что я хотела воспитать ее в русской православной вере[X].

Я с сожалением узнала, что ты попал в больницу. Это твой второй и, надеюсь, последний приступ неврастении[XI] с той поры, как мы совершили ошибку, оставив Европу вместо того, чтобы спокойно дожидаться, когда Советская Армия освободит ее от фашистов. Прощай.

P.S. Нелли хочет добавить несколько строк.

Спасибо, Нетти. Я действительно буду кратка. Сведениям, которыми поделились с нами жених Вашей подружки и его матушка[XII], святая женщина, полная бесконечного сострадания и здравого смысла, к несчастью, недоставало элемента страшной внезапности. Еще два года назад девушка, жившая в одной комнате с Береникой Муди (той, что сперла хрустальный графин, подаренный мне Нетти), распускала коекакие странные слухи; я пыталась уберечь Вашу милую женушку, не допуская эти слухи до ее ушей или по крайности обратив на них ее внимание — очень косвенно, наполовину

---

[1] Образ жизни *(искаж. фр.)*.

юмористически — много спустя после того, как эти проститутки уехали. Но теперь будем разговаривать turkey[XIII].

Я уверена, что никаких затруднений с отделением Вашего имущества от ее не возникнет. Она говорит: "Пусть забирает бесконечные экземпляры его романов и все растрепанные словари"; ей же следует позволить сохранить такие ее домашние сокровища, как мои маленькие дары к дням ее рождения — чашу для икры с серебряными накладками, а также шесть бледно-зеленых винных стаканов ручного дутья и проч.

Я особенно сочувствую Нетти в ее семейной трагедии, потому что мой собственный брак во многих, многих отношениях напоминал ее. Он начался так безмятежно! Я застряла на территории, внезапно захваченной эстонскими фашистами, — бедная, потрясенная войной московская девушка[XIV], *— и там впервые встретила профессора Ленгли при очень романтических обстоятельствах: я служила ему переводчицей (изучение иностранных языков поставлено в Стране Советов на замечательный уровень); но когда меня вместе с другими Ди-Пи судном доставили в США и мы снова встретились и поженились, все изменилось к худшему, — днем он не обращал на меня внимания, а наши ночи наполняла incompatibility*[1][XV]. *Одним из приятных последствий нашего брака было то, что я, так сказать, унаследовала адвоката, — это мистер Горацио Пеппермилл, который готов предоставить Вам консультацию и помочь утрясти все деловые детали. С Вашей стороны будет разумным последовать примеру профессора Ленгли и обеспечить Вашей жене ежемесячное пособие, в то же время поместив в банк солидный "залог", который может быть выдан ей в случае крайности и, натурально, получен при Вашей кончине или тяжелой и продолжительной болезни. Нам нет нужды напоминать Вам, что госпожа Благово должна регулярно получать свой обычный чек вплоть до дальнейшего уведомления.*

Дом в Квирне будет немедленно выставлен на продажу, — его переполнили ненавистные воспоминания. Следовательно, как только Вас выпустят, а я надеюсь, что это случится без замедления (without retardement, sans tarder), пожалуйста,

[1] Несовместимость *(англ.)*.

выезжайте из дома[XVI]. *Я не разговариваю с мисс Мирной Солоуэй с нашего факультета, — на самом-то деле попросту Соловейчик, — но, насколько я знаю, у нее прекрасный нюх на квартиры, сдаваемые внаем.*

После всех этих дождей у нас прояснилось. В это время года озеро так прекрасно! Мы собираемся заново обставить нашу милую дачку. Единственный ее недостаток — в одном отношении (и преимущество во всех остальных!) — это некоторая удаленность от цивилизации или по крайней мере от Хониуэлльского колледжа. Впрочем, полиция всегда начеку и не дает потачки любителям купаться в голом виде, пролазам и прочим. Мы всерьез подумываем о приобретении крупной овчарки![XVII]

КОММЕНТАРИИ

I. En français dans le texte[1].

II. Первые четыре-пять строк несомненно аутентичны, но затем появляются разные мелочи, которые убеждают меня, что письмо в целом составлено не Нетти, а Нелли. Только советская женщина может так отнестись об Америке.

III. Напечатано сначала "четырнадцать", но умело стерто и заменено правильным "двенадцать", что явственно видно во втором (под копирку) экземпляре, который я обнаружил приколотым к бювару в моем кабинете — "просто на всякий случай". Нетти была бы совершенно неспособна произвести столь чистый типоскрипт, особенно на машинке с "новой орфографией", которой пользовалась ее подруга.

IV. Выражение "дуровский зверек", обозначающее зверушку, обученную знаменитым русским клоуном Дуровым, представляет собой отсылку, менее привычную для моей жены, чем для особы старшего поколения, к которому принадлежала ее подруга.

V. Презрительная транслитерация названия "Quirn".

VI. Ошибка в слове "train" показательна. Французский язык Аннетт был превосходен. Французский Нинетт (как и ее английский) представлял собою насмешку.

---

[1] В тексте по-французски *(фр.)*.

VII. Моя жена, выросшая в среде российских мракобесов, отнюдь не являла образчика расовой терпимости; но она никогда не прибегла бы к пошлой антисемитской фразеологии, типичной для натуры и воспитания ее подруги.

VIII. Вплетение этих "чудных старых церквей" — расхожая пошлость из ассортимента советского патриотизма.

IX. На самом деле моя жена не упускала ни единого случая, чтобы расстроить своих родителей.

X. Я мог бы что-то предпринять на сей счет, если бы знал, *чье* это было желание. Чтобы досадить родителям, — странная, но постоянная ее потребность, — Аннетт никогда не ходила в церковь, даже на Пасху. Что же до миссис Ленгли, ее девизом было набожное приличие; она крестилась всякий раз, что американский Юпитер раздирал черные тучи.

XI. "Неврастения", подумать только!

XII. Полностью новый персонаж — эта матушка. Миф? Чей-то розыгрыш? Я обратился за разъяснениями к Бриджет; она сказала, что такой особы там не было (настоящая миссис Тодд давным-давно померла), и посоветовала мне "бросить это дело" с раздраженной резкостью человека, отвергающего предмет разговора, порожденный бредом собеседника. Я готов согласиться с тем, что мои воспоминания о сцене, разыгравшейся у нее на квартире, подпорчены состоянием, в котором я тогда находился, но все же эта "святая матушка" остается полной загадкой.

XIII. En Anglais dans le texte[1].

XIV. Московской девушке было в ту пору под сорок.

XV. En Anglais dans le texte.

XVI. Этого я сделать и не подумал, пока не истек срок найма, что произошло 1 августа 1946 года.

XVII. Воздержимся от окончательного комментария.

Прощайте, Нетти и Нелли. Прощайте, Аннстт и Нинетт. Прощай, Нонна Анна.

[1] В тексте по-английски *(фр.)*.

Часть четвертая

1

Курс вождения этого "Каракала" (как я любовно прозвал мою новую белую двухместку) имел и смешные и драматические стороны, но после двух провалов на экзамене и нескольких мелких починок я наконец оказался физически и юридически годным к долгой дороге, охватившей запад страны. Я пережил, правда, мгновение острого горя, когда далекие горы впервые утратили вдруг всякое сходство с сиреневыми облаками, и мне вспомнилось, как мы с Ирис ездили на Ривьеру в нашем старом "Икаре". Если она и позволяла мне временами браться за руль, то единственно смеха ради, она была такая затейница. С какими рыданиями я теперь вспоминал тот раз, что я ухитрился сшибить велосипед почтальона, оставленный прислоненным к розоватой стене при въезде в Карнаво, и как моя Ирис в прекрасном веселье складывалась пополам, пока он катил перед нами!

Остаток лета я провел, исследуя невероятно лирические штаты Скалистых гор, пьянея от дуновений восточной России в полынной зоне и от запахов Русского Севера, столь верно воспроизводимых болотцами, что лежат над границей бора, по краю небес, струящихся от снегов к орхидеям. И что же — и все? Какой таинственный гон заставлял меня, как мальчишку, промачивать ноги, пыхтеть, влезая по склонам, заглядывать в лицо каждому одуванчику, вскидываться от каждой цветастой козявки, скользнувшей по самому краю моего поля зрения? Откуда это сонное чувство, что я пришел с пустыми руками — без чего? Без ружья? Без волшебной палочки? Я не решался углубляться в него, дабы не разбередить рваный рубец под тоненькой плевой моей личности.

Пропустив целый учебный год в своего рода преждевременном "научном отпуске", отчего попечители Квирна лишились слов, я зазимовал в Аризоне, где попытался написать "Невидимость сна" — книгу, во многом подобную той, что читатель держит в руках. Конечно, я к ней не был готов и, возможно также, перемудрил с невыразимыми оттенками чувств; как бы там ни было, я задавил ее слишком многими наслоениями смыслов, как, бывает, русская баба заспит в чадной избе младенца, впав в тяжкое забытье после сметанного ею стога или побоев пьяного мужа.

Я устремился в Лос Ангелес и там с сокрушением выяснил, что фильмовая фирма, на которую я рассчитывал, того и гляди прогорит после смерти Ивора Блэка. Обратной дорогой (то было раннею весной) я вновь открывал для себя мир милых призраков моего детства в нежной зелени осиновых перелесков, разбросанных там и сям по высотам укутанных в хвою кряжей. Почти шесть месяцев я мотался из мотеля в мотель, машину мою несколько раз обдирали и мяли попутные кретины-конкуренты, и в конце концов я променял ее на покойный "Белларгус" — небесной синевы, которую Бел еще предстояло сравнить с синевою морфо.

И вот еще странность: с пророческим тщанием я заносил в дневник все остановки, все мои мотели ("Mes Moteaux"[1], сказал бы Верлен!) — "Озерные Виды", "Долинные Виды", "Горные Виды", "Двор Оперенной Змеи" в Нью-Мехико, "Приют Лолиты" в Техасе, "Одинокие Тополя" (которые, если бы их призвали на службу, смогли бы встать дозором вдоль целой реки), — и столько закатов, что хватило бы осчастливить всех нетопырей мира — и одного умирающего гения. СНА, СНА, Смотри На Арлекинов! Смотри на странный горячечный спех попутной систематизации, в которой я усердствовал, словно бы зная, что эти заезжие дворы предвоплощают прогоны будущих странствий с моей обожаемой дочерью.

В конце августа 1947 года, загорелый и еще более дерганый, чем всегда, я возвратился в Квирн и перевез мои вещи со склада в новое жилище (Ларчделл-роуд, 1), най-

---

[1] "Мои мотели" *(фр.)*.

денное для меня расторопной и умненькой мисс Солоуэй. То был очаровательный двухэтажный серого камня дом с хорошим видом в окне и белым роялем в продолговатой гостиной, с тремя девичьими светелками наверху и библиотекой в подвале. Принадлежал он покойному Олдену Ландоверу, величайшему американскому беллетристу полустолетия. При поддержке сияющих попечителей, — в общем-то наживая на радости, с которой они приветствовали мое возвращение в Квирн, — я решился купить этот дом. Мне полюбился присущий ему душок учености — удовольствие, редко выпадающее моей чрезвычайно чувствительной брюнновой перепонке, — полюбилась и его живописная затерянность в огромном неухоженном парке по-над заросшим лиственницей и канадским златотысячником крутым скатом.

Чтобы поддерживать в Квирне чувство признательности, я также решил полностью видоизменить мой вклад в его славу. Я упразднил семинар по Джойсу, который в 1945-м привлек (если это слово уместно) лишь шестерых — пятерку несгибаемых аспирантов и одного не вполне нормального второкурсника. В возмещение этой утраты я добавил к моей еженедельной квоте лекций, посвященных "Шедеврам" (в число которых теперь вошел и "Улисс"), третью. Впрочем, главная новизна заключалась в той смелости, с которой я подавал материал. За первые годы, проведенные в Квирне, я накопил две тысячи страниц литературных комментариев, отпечатанных моим ассистентом (вижу, что я еще не представил его: Валдемар Экскул, молодой, блестящий балтиец, несравненно превосходящий меня ученостью; dixi[1], Экс!). Я заказал фотокопии с них в числе, достаточном для раздачи по меньшей мере тремстам студентам. В конце каждой недели каждый из них получал после лекции пачку в начитанных мною сорок страниц, плюс некие приложения. "Некие приложения" явились уступкой попечителям, резонно рассудившим, что без такой уловки никто не захочет посещать мои лекции. Читателям надлежало вернуть мне перед последним экзаменом

[1] Я сказал *(лат.)*.

триста подписанных ими копий двух тысяч страниц. Поначалу эта система работала небезупречно (так, в 1948-м ко мне воротилось лишь 153 неполных комплекта, и многие оказались без подписей), но в целом она действовала или должна была действовать.

Другое принятое мною решение состояло в том, чтобы в большей, нежели прежде, степени сблизиться с профессурой. Красная стрелка округлой шкалы, дрожа, замирала теперь на весьма умеренной цифре, когда я, совершенно голый, стоял на фатальной платформе, свесив руки на манер нескладного троглодита, и с помощью моей новой служанки, чарующей черной девушки с египетским профилем, узнавал то, что таилось в тумане на полпути от очков для чтения к очкам для дали: великий триумф, отмеченный мною приобретением нескольких новых "костюмов", по выражению доктора Ольги Репниной в одноименном романе: "I don't know (все "o" как в "don"[1] и "anon"[2]) why your horseband wears such not modern costumes"[3]. Я зачастил в "Паб", университетскую таверну, норовя смешаться с молодыми людьми в белых туфлях, но кончил почему-то тем, что спутался с официантками. И наконец, моя записная книжка пополнилась адресами примерно двадцати коллег-профессоров.

Драгоценнейшим среди моих новых друзей стал хрупкий, печального образа человек с чем-то обезьяньим в лице и с копной черных волос, к пятидесяти пяти пронизавшихся сединой, — обаятельно одаренный поэт Одес, по отцовской линии происходивший от красноречивого, плохо кончившего жирондиста, носившего ту же фамилию ("Bourreau, fais ton devoir envers la Liberté!"[4]), — впрочем, сам он не знал по-французски ни слова, а по-американски говорил с явственным средне-западным акцентом. Еще

---

[1] "Дон", преподаватель в Оксфорде и Кембридже *(англ.)*.

[2] "Тотчас, вскоре" (*устар. англ.*).

[3] "Не понимаю, отчего ваш муж носит такие несовременные костюмы" (*непр. англ.*). Вместо husband (муж) ошибочно использовано horseband (шайка наездников).

[4] "Палач, исполни свой долг пред свободой!" *(фр.)*

один интересный проблеск родовитости являла Луиза Адамсон, молодая жена главы английского отделения: в 1896 году, в Филадельфии, ее бабка, Сибил Ланье, выиграла Национальное Женское Первенство по Гольфу!

Литературная репутация Джеральда Адамсона неизмеримо превосходила таковую же неизмеримо более значительного, горького и сдержанного Одеса. Джерри представлял собой большую дряблую груду плоти, ему было уже под шестьдесят, когда, прожив целую жизнь аскетическим эстетом, он наделал шуму в своем кругу, женившись на этой хорошенькой, будто фарфоровая статуэтка, и очень шустрой девице. Его прославленные эссе — о Донне, Виньоне и Элиоте, — его философическая поэзия, его недавние "Мирские литании" и так далее ровным счетом ничего мне не говорили, но он был обаятельным старым выпивохой, юмор и эрудиция которого могли сломить сопротивление и самого несходчивого чужака. Я с удивлением обнаружил, что мне приятны частые вечера, во время которых добрый старик Нотебоке и его сестра Фонема, милейшие Кинги, Адамсоны, мой любимый поэт и дюжина иных людей делали все, чтобы мне было покойно и весело.

Луиза, у которой жила в Хониуэлле пытливая тетка, через тактичные промежутки времени извещала меня о благополучии Бел. В один из весенних дней 1949 или 1950 года мне случилось остановиться в Роуздейле у винной лавки "Плаза" после делового свидания с Горацио Пеппермиллом; я уже почти выезжал со стоянки, как вдруг заметил Аннетт, склонившуюся над детской каталкой у дверей бакалейной на противоположном краю торговой зоны. Что-то в наклоне ее шеи, в печальной сосредоточенности, в призрачной улыбке, обращенной к ребенку, пронзило мои нервы такой мучительной жалостью, что я не сдержался и окликнул ее. Она обернулась, и прежде, чем я выпалил какие-то бурные слова — сожаления, отчаяния, нежности, — она потрясла головой, запрещая мне приближаться. *"Никогда*, — прошептала она, — *никогда"*, — и я не решился расшифровать выражение ее бледного, осунувшегося лица. Из лавки вышла женщина и поблагодарила ее, присмотревшую за маленькой незнакомкой, бледной и

худенькой малышкой, выглядевшей почти такой же больной, как Аннетт. Я поторопился вернуться на стоянку, костеря себя за то, что не додумался сразу, — ведь Бел теперь уже лет семь или восемь. Влажно-лучистый взгляд ее матери несколько ночей донимал меня; я до того расклеился, что даже не смог посетить пасхальный прием в одном из дружеских квирнских домов.

В этот или в какой-то иной из периодов подавленности я однажды днем услыхал треньканье звонка в прихожей и шаги моей негритянки, маленькой Нефертити (так я ее прозвал), спешащей открыть входную дверь. Выскользнув из постели, я налег голой плотью на холодный подоконник, но не успел разглядеть входящего или входящих, сколько ни подставлялся шумливому весеннему дождичку. Свежесть цветов, их гроздья и груды напомнили мне о каких-то иных временах, иных оконницах. За садовой калиткой я различил кусок черной лоснистой машины Адамсонов. Оба? Одна? Solus rex?[1] Оба, увы, — судя по голосам, доносившимся из прихожей моего прозрачного дома. Старина Джерри, не любивший необязательных лестниц и смертельно боявшийся всякой заразы, остался в гостиной. Ко мне поднимались шаги и голос его жены. Несколько дней назад мы впервые поцеловались на кухне у старика Нотебоке — искали лед, набрели на пламя. У меня имелись изрядные причины надеяться, что антракт перед неизбежной сценой будет коротким.

Она вошла, поставила две бутылки портвейна для инвалида и стянула мокрый свитер со спутанных каштаново-бурых, с фиалково-бурых кудрей и голых ключиц. С художественной, строго художественной точки зрения она, осмелюсь сказать, была красивейшей из трех моих главных любовей. У ней были тонкие, уходящие кверху брови, сапфировые глаза, регистрирующие (это самое верное слово) неизменную изумительность земного рая (единственного, боюсь, какой ей доведется узнать), пышущие румянцем щеки, рот как розовый бутон и прелестный впалый живо-

---

[1] Одинокий король *(лат.)*.

тик. За время меньшее, чем потребовалось ее скорочитающему мужу, чтобы пробежать две печатных колонки, мы “наставили ему рога”. Я натянул голубые штаны, розовую рубаху и проводил ее вниз.

Муж сидел в кресле, читая приобретенный в торговом центре лондонский еженедельник. Он не потрудился сбросить свой жуткий черный дождевик — просторный клеенчатый балахон, вызывавший в памяти образ исхлестанного непогодой кучера дилижанса. Впрочем, теперь он хотя бы снял устрашающие очки. С характерным рокотом он прочистил горло. Его лиловатые щеки колыхались, пока он мучительно пытался породить членораздельную речь.

Джерри. Ты уже видел эту газету, Вадим *(с неправильным ударением на первом слоге “Вадима”)*? Мистер *(называя особенно шаловливого критика)* разгромил твою “Ольгу” *(роман о “профессорше” только что вышел в английском издании).*

Вадим. Вина? Выпьем его здоровье, и гори он живьем.

Джерри. А знаешь, он все-таки прав. Это твоя худшая книга. Chute complète[1], как он выражается. Он и по-французски кумекает.

Луиза. Никакого вина. Нам нужно спешить домой. Ну-ка, выбирайся из кресла. Еще раз попробуй. Возьми очки, газету. Ну вот. Au revoir[2], Вадим. *Я занесу тебе эти таблетки* завтра утром, как только свезу *его* в колледж.

Как отлично все это, думал я, от изящных измен в замках моей ранней юности! Где романтический трепет, с которым ловились взгляды новой любовницы в присутствии мрачного великана — Ревнивого Мужа? Почему воспоминание о недавнем объятии не сливается больше, как прежде бывало, с уверенностью в новом, образуя нежданную розу в пустом хрустальном бокале, внезапную радугу на белых бумажных обоях? Что на глазах у Эммы уронила та светская дама в шелковую шляпу мужчины? Пишите разборчивей.

---

[1] Полный провал *(фр.)*.

[2] До свиданья *(фр.)*.

2

В книге "Esmeralda and Her Parandrus" сумасшедший словесник сплетает Боттичелли с Шекспиром, обрекая Primavera на гибель, постигшую Офелию со всеми ее цветочками. Говорливая дама в романе "Dr Olga Repnin" замечает, что потопы и ураганы по-настоящему сенсационны лишь в Северной Америке. 17 мая 1953 года несколько газет напечатали снимок семьи, в полном составе (с птичьей клеткой, граммофоном и иным ценным имуществом) путешествующей, сидя верхом на крыше своей хибарки, по Роуздейлскому озеру. В других газетах появилось изображение "Фордика", застрявшего в верхних ветвях несгибаемого дерева, причем за рулем еще восседал мужчина, мистер Птух, — Горацио Пеппермилл уверял, что знает его, — оглушенный, ободранный, но живой. Видного служащего Бюро Прогнозов обвинили в преступной задержке предсказания погоды. Группа из пятнадцати школьников, отправившихся осматривать коллекцию чучел, дар Роуздейлскому музею от госпожи Розенталь, вдовы филантропа, оказалась, когда ударил смерч, надежно укрытой внезапной тьмой крепкого здания. Но красивейший из прибрежных коттеджей унесло, а затонувшие тела двух его обитательниц так никогда и не всплыли.

Мистер Пеппермилл, прирожденные умственные способности коего не шли ни в какое сравнение с его юридической прозорливостью, предупредил меня, что, если я пожелаю сбыть ребенка во Францию, к бабушке, мне придется выполнить определенного рода формальности. Я спокойно заметил, что госпожа Благово — полоумная развалина и что моя дочь, которую приютила ее школьная учительница, должна быть доставлена этой особой в мой дом, и НЕМЕДЛЕННО. Он сказал, что сам привезет ее в начале следующей недели.

Взвесив и перевзвесив каждый абзац дома и все скобки его обстановки, я решил поселить ее в прежней опочивальне сожительницы покойного Ландовера, которую он называл то нянькой своей, то невестой — по настроению. Эта очень симпатичная спаленка располагалась восточней моей,

обои ее оживлялись сиреневыми бабочками, а кровать, большую и низкую, украшали воланы. Я населил ее полки Китсом, Йейтсом, Кольриджем, Блейком и четверкой русских поэтов (в новой орфографии). Я хоть и твердил себе, вздыхая, что она, без сомнения, предпочитает "комиксы" милым моим, усыпанным блестками мимам с их волшебными палочками из крашеной дранки, но чувствовал, как меня понукает к этому выбору то, что зовется у орнитологов "орнаментальным инстинктом". Больше того, зная, сколь важен для чтения в постели чистый и сильный свет, я попросил миссис О'Лири, мою новую поденщицу и стряпуху (я перенял ее у Луизы Адамсон, надолго уехавшей с мужем в Англию), ввинтить чету стоваттных колб в торшер у кровати. Два словаря, блокнот для заметок, будильничек и "Маникюрный Набор Отроковицы" (присоветованный миссис Нотебоке, матерью двенадцатилетней дочери) привлекательно разлеглись на просторном и стойком столе. Натурально, все это делалось начерно. Будет срок и беловику.

Нянька или невеста Ландовера могла мчаться к нему на помощь либо коротеньким коридором, либо через ванную комнату, разделяющую две спальни: Ландовер был мужчина крупный, и ванну завел длинную, глубокую — утеху утопленника. Другая ванная, поуже, находилась к востоку от спальни Бел, и тут я действительно пожалел об отсутствии моей разборчивой Луизы, — пока ломал себе голову, пытаясь не ошибиться в выборе между двумя эпитетами: отмытая и благоуханная. Миссис Нотебоке мне помочь не могла: ее дочка, пользовавшаяся грязноватыми родительскими "удобствами", не имела времени для глупостей вроде дезодорантов и ненавидела "пенку". С другой стороны, перед умственным взором старой и мудрой миссис О'Лири так и стояли — в частностях, достойных фламандского живописца, — Адамсоновы притиранья и склянки, заставляя меня вожделеть скорейшего возвращения ее хозяйки, между тем как она воссоздавала эту картину, понемногу упрощая ее (но не опошляя), так что в конечном итоге уцелели лишь такие основные ее элементы, как огромная губка, неуклюжая плюшка лавандного мыла и лакомая зубная паста.

Еще продвигаясь в сторону восхода солнца, мы достигаем отведенной гостям угловой комнаты (над круглой столовой, что на восточной окраине первого этажа); с помощью двоюродного брата миссис О'Лири, мастера на все руки, я преобразовал ее в целесообразно обставленную комнату для занятий. Когда я покончил с ней, она вмещала тахту с квадратноватыми подушками, дубовый стол с крутящимся креслом, стальной кабинет, книжный шкап, двадцать томов "Иллюстрированной Энциклопедии Клингзора", цветные мелки, грифельные дощечки, карты различных штатов и (цитирую "Руководство по закупке учебных пособий" за 1952–1953) "глобус, который вынимается из его люльки, так что любой ребенок может держать весь мир у себя на коленях".

Все? Отнюдь. Для спальни нашлось у меня обрамленное фото ее матери, Париж, 1934, а для классной — репродукция левитановских "Туч над синей рекой" (на Волге близ моего Марева), написанных около 1890 года.

Пеппермилл намеревался привезти ее 21 мая около четырех пополудни. Надлежало чем-то заполнить бездну дня. Ангелический Экс уже перечел всю стопку экзаменационных тетрадей и расставил оценки, но счел, что мне, быть может, захочется просмотреть те из работ, которые он скрепя сердце признал непригодными. Он их занес накануне и оставил внизу, на круглом столе в круглой комнате рядом с прихожей (западный край дома). Несчастные мои руки болели и так ужасно тряслись, что я с трудом перелистывал эти бедные cahiers[1]. Круглое окно выходило на подъездную дорожку. День стоял теплый и серый. Сэр! Я отчаянно нуждаюсь в переходном балле. "Улисс" писался в Цюрихе и в Греции, оттого в нем так много иностранных слов. Одним из действующих лиц в "Смерти Ивана" Толстого является печально известная актриса Сара Бернар. Стиль Стэрна очень сентиментальный и необразованный. Хлопнула дверца машины. Пеппермилл с вещевым мешком шел следом за высокой светловолосой девочкой в синих ковбойских штанах, несущей и замедляющей шаг, чтобы переложить его из руки в руку, громоздкий чемодан.

---

[1] Тетради *(фр.)*.

Угрюмый рот и глаза Аннетт. Грациозная, но невзрачная.

Подкрепившись таблеткой сиринацина, я принял дочку и стряпчего с безразличным достоинством, за которое склонные к душевным излияниям парижские русские столь сердечно меня не любили. Пеппермилл снизошел до капельки коньяку. Бел согласилась на стакан ананасного сока с коврижкой. Я показал ей, выставившей ладоши в воспитанном русском жесте, на дверь уборной, выходившую прямо в столовую, — старомодная причуда архитектора. Горацио Пеппермилл вручил мне письмо от учительницы Бел, мисс Эмилии Страж. Баснословный коэффициент интеллекта, 180. Менструации уже установились. Странный, непостижимый ребенок. Не вполне понимаешь, следует ли обуздывать или, наоборот, ободрять столь скороспелую незаурядность. Я проводил Горацио обратно к машине, борясь, и успешно, с позорным позывом сказать ему, как меня ошарашил счет, на днях присланный из его конторы.

— Ну, теперь давай я тебе покажу твои апартаменты. Ты как, по-русски говоришь?

— Конечно, я только писать не умею. Я и французский немного знаю.

Она вместе с матерью (упомянутой ею так небрежно, словно Аннетт сидела в соседней комнате, что-то перестукивая для меня на бесшумной машинке) провела большую часть прошлого лета у бабушки в Карнаво. Мне захотелось узнать, какую именно комнату Бел занимала на вилле, но странно назойливое, хоть и незначащее на вид воспоминание чем-то удерживало меня от расспросов: незадолго до смерти Ирис приснилось, будто она родила толстого мальчика с миндалевидными глазами и синеватой тенью бачков на смугло-красных щеках: "Кошмарный Омарус К."

О да, сказала Бел, ей там понравилось. Особенно тропинка, ведущая вниз, вниз к морю, и еще "чудный запах розмарина". Ее безупречный, "лишенный теней" эмигрантский русский, не испакощенный, Бог да благословит Аннетт, смачными советизмами мадам Ленгли, зачаровывал и мучил меня.

А меня Бел узнает? Она оглядела меня серьезными серыми глазами.

— Я узнаю ваши руки и волосы.

— В дальнейшем on se tutoie[1], по-русски. Хорошо. Пойдем наверх.

Она одобрила свой кабинет: “Классная комната из книжки с картинками”. Открыла в ванне аптечный шкапчик. “Пусто, — но я знаю, что я сюда положу”. Спальня “очаровала” ее. “Очаровательно!” (Излюбленная похвала Аннетт.) Впрочем, книжную полочку у кровати она раскритиковала: “Что, Байрона нет? И Браунинга? А, Кольридж! Златые змеи вод морских. Мисс Страж подарила мне антологию на русскую Пасху: я могу прочесть наизусть вашу последнюю герцогиню, — то бишь “Мою последнюю герцогиню”.

Я задохнулся и застонал. Я поцеловал ее. Я заплакал. Я сел, сотрясаясь, на хрупкий стул, кряхтеньем отозвавшийся на мои согбенные судороги. Бел постояла, глядя в сторону, глядя на потолок в радужных бликах, на чемодан, который миссис О'Лири, женщина низкорослая, но бесстрашная, уже затащила наверх.

Я извинился за слезы. Самым светским тоном (не сменить ли нам тему?) Бел поинтересовалась, есть ли в доме телевизор. Я ответил, что назавтра мы его раздобудем. А теперь я, пожалуй, предоставлю ее самой себе. Ужин через полчаса. Она сказала, что в городе, как она заметила, идет картина, которую ей хотелось бы посмотреть. После ужина мы поехали в кинотеатр “Стренд”. Запись в моем дневнике сообщает: Пареный цыпленок ей не по вкусу. “Черная вдова” с Джином, Джинджер и Джорджем. Перевел на следующий курс “необразованного” сентименталиста и всех остальных.

3

Если Бел все еще жива, ей сейчас тридцать два года — ровно столько же, сколько тебе в миг, когда я это пишу (15 февраля 1974). В последний раз я виделся с нею в 59-м, ей еще и семнадцати не было, а между одиннадцатью с

[1] На ты *(фр.)*.

половиной и семнадцатью с половиной она изменилась очень незначительно в пространстве памяти, где кровь бежит сквозь неподвижное время совсем не так шибко, как в воспринимаемом настоящем. Особенно неподвластно линейному росту мое представление о ней, относящееся к 1953—1955 годам, к тем трем годам, когда она оставалась вполне и только моей: теперь они видятся мне как бы упоительным составным пейзажем, на котором гора в Колорадо, мой перевод "Тамары" на английский язык, школьные успехи Бел и лес в Орегоне переходят друг в дружку, образуя узор перемещенного времени и свернутого пространства, отрицающий хронографию с картографией.

Впрочем, одну перемену, одно постепенное уклонение я обязан отметить. Во мне зрело осознание ее красоты. Едва ли не через месяц после ее появления я уже ума не мог приложить, отчего она мне показалась "невзрачной". Еще минул месяц, и эльфина линия ее надгубья и носа (в профиль) открылась мне как "ожиданное откровение", — если прибегнуть к формуле, приложенной мной к некоторым просодическим чудесам Блейка и Блока. Из-за контраста между светло-серым райком и чернейшими ресницами казалось, что ее глаза обведены азиатской краской для век. Впалые щеки и длинная шея были чисто Аннеттины, но светлые волосы, остриженные довольно коротко, светились ярче, казалось, что рыжеватые и оливково-золотые пряди сплелись в прямые и плотные ленты чередующихся тонов. Все это, простое для описания и относящееся также к яркому перепелесому пуху, покрывавшему внешность голеней и предплечий, в сущности, отзывается плагиатом — у себя самого, — ибо я наделил таким же пушком и Тамару, и Эсмеральду, не говоря уж о нескольких случайных девчушках в моих рассказах (см., к примеру, с. 537 в сборнике "Exile from Mayda", Goodminton, New York, 1947). Все же общий облик и костный остов ее светозарного созревания не передать с одной лишь, пусть мастерской и живой, подачи, сколько б очков она ни принесла. Приходится — печальное признание — использовать нечто, уже примененное мною прежде и даже в этой же самой книге, — известный прием уничижения одного вида искусства ссыл-

ками на другой. Я имею в виду “Сирень пятипалую” Серова, масло, где изображена рыжеватая девочка лет двенадцати, сидящая за пегим от солнца столом и перебирающая кисть сирени в поисках за этим счастливым знамением. Эта девочка — не кто иная, как Ада Бредова, двоюродная сестра моя, с которой я постыдным образом заигрывал в то самое лето, чье солнце дрожит на садовом столике и на ее голых руках. То, что в дешевых литературных рецензиях называют “человеческим содержанием”, будет теперь ошеломлять моего читателя, тихого туриста, при посещении ленинградского Эрмитажа, где и я, навестив несколько лет назад Советленд, собственными слезящимися глазами видел этот портрет, до поры пребывавший у бабушки Ады, — покамест расщедрившийся мазурик не преподнес его в дар Народу. Полагаю, именно эта чарующая девчушка и явилась моделью моей подружки в возвратном сне с полоской паркета, разделяющей две кровати демонической временной комнатки для гостей. Ее сходство с Бел — те же скулы, тот же подбородок, та же узловатость запястий, тот же нежный цветок, — годятся лишь для отсылок, не для подлинной описи. Но будет об этом. Я попытался исполнить здесь нечто до крайности трудное, и я разорву все мной написанное, если ты скажешь, что я преуспел чересчур, ибо я не хочу — и никогда не хотел — преуспевать в этой прискорбной истории с Изабель Ли, — хоть в то же самое время и был нестерпимо счастлив.

Спрошенная — наконец! — любила ль она свою мать (ибо я не мог примириться с явственным безразличием Бел к ужасной кончине Аннетт), она так надолго задумалась, что мне показалось, будто она забыла про мой вопрос, но в конце концов (как шахматист, сдающийся после бездонных размышлений) покачала головой. А Нелли Ленгли? Тут она ответила сразу: Ленгли была зла и жестока, ненавидела ее и еще в прошлом году секла; она вся покрылась рубцами (приоткрыв напоказ правое бедро, теперь, по крайней мере, безупречно белое и гладкое).

Образование, которое она получала в лучшей из квирнских частных школ для Юных Дам (ты, ровесница ей, провела там несколько недель, и в том же классе, но отчего-

то вы не сошлись), дополнили два лета, которые мы пробродяжили по западным штатам. Какие воспоминания, какие чудные запахи, какие миражи, полумиражи, воплощенные миражи толпились вдоль 138 шоссе — Стерлинг, Форт-Морган (в. 4325), Грили, прекрасно названный Лавленд, — пока мы подбирались к райским уголкам Колорадо!

Из "Волчьего Логова", Эстес-Парк, где мы провели целый месяц, тропа, обоченная голубыми цветочками, выводила осинником к тому, что Бел шутя называла "Ногой Лица". Еще имелся "Большой Палец Лица", в южном его углу. У меня сохранилась большая глянцованная фотография, сделанная Вильямом Гарреллом, он, если не ошибаюсь, первым достиг "Большого Пальца" году в 40-м или около, на ней виден восточный лик Долгого Пика с переплетенными линиями восхождения, нанесенными на него петлистым узором. Оборот картинки содержит опрятно записанное лиловыми чернилами, бессмертное — на свой малый манер, как и предмет изображения, — стихотворение Бел, посвященное Адди Александер, "Первой женщине, покорившей Пик восемьдесят лет назад". Это память о наших с нею целомудренных пеших прогулках:

Озеро Долгого Пикника:
Хижина со Старым Сурком;
Черная Бабочка, Скальный Склон
И умница тропка.

Она сочинила эти стихи, пока мы перекусывали где-то между огромными валунами и подножьем подъемника, и после многократных мысленных, хмуро-безмолвных проверок окончательного варианта записала их на бумажной салфетке, которую передала мне вместе с моим карандашом.

Я сказал ей, как это чудно, как художественно — в особенности последняя строчка. Она спросила: что художественно? Я ответил: "Твои стихи, ты, твое обхождение со словами".

В ту прогулку или в другую, попозже, но определенно в тех же местах, внезапная буря смела сияние июльского дня. Наши рубашки, шорты и мокасины, казалось, истаяли в льдистом тумане. Первая градина стукнула в консервную

банку, вторая — меня по лысинке. Мы отыскали укрытие в выемке под нависшей скалой. Для меня грозы мучительны. Их злой напор разметает меня, молнии, ветвясь, пронзают мне мозг и грудь. Бел знала об этом; прижавшись ко мне (скорее для моего, чем для своего облегчения!), она при каждом ударе грома легко целовала меня в висок, как будто приговаривала: вот и это минуло, а ты еще цел. Я начал уже испытывать жгучее желание, чтобы эти раскаты не кончились никогда, но понемногу они обратились в робкий ропот, и скоро солнце нашло изумруды в полоске мокрой травы. Однако дрожь ее не унималась, пришлось мне просунуть руки ей под юбку и растирать тонкое тело, пока оно не накалилось, чтоб отогнать "пневмонию", которая, похохатывая говорила она, была и "напевом", и "гневом", "пониманием", "манией", "пением мании", спасибо.

Затем в череде событий — смутный провал, но, видимо, вскоре после того, в том же мотельчике или в следующем по дороге домой, она на заре проскользнула ко мне и присела на постель — подвинь ноги — в одной лишь пижамной куртке, чтобы прочесть иные стихи:

В темном подполе я гладила
шелковистую голову волка.
Когда возвратился свет
и все воскликнули "Ах!",
он оказался всего только
Медором, мертвым псом.

Я снова хвалил ее дарование и целовал, быть может с большей пылкостью, чем того заслужили стихи; потому что в действительности нашел их темноватыми, но не сказал об этом; под конец она раззевалась и заснула в моей постели — привычка, которой я обыкновенно не потакал. Однако теперь, перечитывая эти странные строки, я вижу в их звездном кристалле пространнейший комментарий, который мог бы к ним написать, с галактиками ссылок и сносок, похожими на отражения залитых светом мостов, повисших над черными водами. Но душа моей дочери принадлежит только ей, а моя — только мне одному, и пусть Хамлет Годман мирно рассыпается в прах.

4

До самого начала 1954—1955 учебного года (близилось тринадцатилетие Бел) я еще оставался исступленно счастливым, еще не усматривал ничего превратного или опасного, нелепого или унизительно-идиотического в отношениях между мной и моей дочерью. Если не брать в расчет немногих мелких оплошностей — нескольких жгучих капель нежности, перелившейся через край, перехвата дыхания, прикрытого кашлем, и прочего в этом роде, — мои отношения с ней, в сущности, оставались невинными. Но какими бы качествами ни обладал я как Профессор Литературы, — ничего, кроме несостоятельности и бездумной расхлябанности не могу я увидеть сегодня, размышляя задним числом над этим упоительным и бурным прошлым.

Другие превосходили меня проницательностью. Первым моим критиком стала миссис Нотебоке, дородная смуглая дама, затянутая в суфражистский твид, которая вместо того, чтобы одернуть свою Марион, вульгарную и порочную нимфетку, совавшую нос в семейную жизнь школьной подруги, читала мне лекции о воспитании Бел и настоятельно советовала взять опытную гувернантку, предпочтительно немку, чтобы та приглядывала за нею ночью и днем. Вторым критиком — куда более тактичным и понимающим — оказалась моя секретарша, Мирна Солоуэй; эта пожаловалась, что никак не уследит за литературными журналами и вырезками в моей почте, — поскольку их перехватывает неразборчивая и прожорливая маленькая читательница, — и мягко добавила, что в Квирнской средней школе, последнем прибежище здравого смысла в моих невероятных обстоятельствах, поражены дурными манерами Бел почти в той же мере, что и ее умом и знакомством с “Прустом и Прево”. Я переговорил с мисс Лоув, довольно милой маленькой классной наставницей, и она упомянула “школу-интернат”, отозвавшуюся каким-то узилищем, и еще более зловещие “летние лагеря” (“со всеми их птичьими зовами и заливистой трелью лесов, мисс Лоув, — лесов!”) взамен “эксцентричностей домашнего уклада художника (“Великого художника, профессор!”)”. Она указала

хихикавшему и перепуганному художнику на то, что с юной дочерью следует обходиться как с потенциальным членом нашего общества, а не как с прихотливой ручной зверушкой. Во весь разговор я не мог отогнать ощущения, что он целиком изъят из кошмара, который привиделся мне или еще привидится в каком-то ином бытии, в иной связной последовательности пронумерованных снов.

Тучи смутной тревоги сгущались (прибегнем к словесному штампу в штампованной ситуации) над моей метафорической головой, как вдруг меня осенила мысль о простом и блестящем разрешении всех моих забот и тревог.

Высокое зеркало, перед которым в непрочной коричневой красе изгибались многие из гурий Ландовера, служило теперь мне, вмещая изображение львогривого пятидесятипятилетнего претендента на звание атлета, выполняющего посредством "Эльмаго" ("Сочетает секреты механики Запада с Магией Митры") экзерсисы для истоньшения талии и расширения груди. Изображение получалось приятное. Давняя телеграмма (найденная нераспечатанной в номере "Artisan"[1], литературного журнала, уворованного Бел со стола в прихожей), адресованная мне лондонской воскресной газетой, просила прокомментировать слухи, — мной уже слышанные, — согласно которым у меня имелись якобы наилучшие шансы на победу в абстрактной борьбе за то, что наши меньшие американские братья называют "самой престижной премией мира". Это также могло произвести впечатление на лакомую до успеха особу, о которой я помышлял. И наконец, я знал, что в отпускные месяцы 1955 года череда ударов прикончила в Лондоне бедного старого Джерри Адамсона, замечательного человека, и что Луиза свободна. Слишком свободна, по правде сказать. Настоятельное письмо, которое я ей теперь написал, призывая ее срочно вернуться в Квирн для Обсуждения Серьезного Вопроса, касающегося нас обоих, добралось до нее, лишь описав комический круг по четырем модным курортам Континента. Я так и не видел телеграммы, которую она, по ее словам, отправила мне из Нью-Йорка 1 октября.

---

[1] "Мастеровой" *(англ.)*.

2 октября, во второй половине ненормально теплого дня, первого в недельной последовательности, мне позвонила миссис Кинг и с довольно загадочными смешками пригласила на "импровизированное soirée[1], — часа через два, ну, скажем, в девять, после того, как вы уложите вашу обворожительную дочурку". Я согласился прийти, поскольку миссис Кинг была замечательно милой особой, добрейшей душой во всем кампусе.

Мучимый черной мигренью, я решил, что двухмильная прогулка прохладным и ясным вечером пойдет мне во благо. Мои отношения с пространством и с перемещеньями в нем были столь дьявольски запутаны, что я уже и не помню, действительно ли шел я пешком или ехал, или ограничился валанданьем взад-вперед по открытой галерее, тянувшейся на втором этаже вдоль фасада нашего дома, или что-то еще.

Первой, кому представила меня хозяйка — приглушая фанфары светского ликования, — была "английская" кузина, у которой Луиза останавливалась в Девоншире, леди Моргайн, "дочь прежнего нашего посла и вдова оксфордского медиевиста", — теневые фигуры на кратко освещенном экране. Слегка глуховатая, явно рехнувшаяся ведьма лет пятидесяти с лишком, уморительно причесанная и безвкусно одетая, она со своим животом повалила ко мне с таким энергическим пылом, что я едва успел увернуться от добронамеренного наскока, грозившего заклинить меня "между фиалами и фолиантами", как выражался бедняга Джерри, говоря об ученых коктейлях. В иной, гораздо более изысканный мир я перешел, когда склонился для поцелуя над умело изогнутой лебедем прохладной маленькой кистью Луизы. Мой милый старый Одес приветил меня родом латинской акколады, специально изобретенной им для ознаменования высшей степени духовного родства и взаимной оценки. Джон Кинг, накануне виданный мной в коридоре колледжа, всплеснул мне навстречу руками, как если б полсотни часов, прошедших со времени нашей последней беседы, волшебным образом растянулись до половины столетия. Нас было лишь шестеро в просторной

---

[1] Вечеринка *(фр.)*.

гостиной, не считая двух красочных девчурок в тирольских костюмчиках, коих присутствие, подлинность и самое бытие и по нынешний день остается привычной загадкой — привычной, поскольку такие зигзагообразные трещины в штукатурке обычны для темниц и чертогов, в которые играючи заводит меня новый всплеск помешательства всякий раз, что я изготавливаюсь сделать, а именно это мне предстояло теперь, трудное, наиважнейшее заявление, требующее полной ясности сосредоточения. Итак, согласно только что сказанному, нас было в той комнате лишь шестеро плотских людей (и два фантомчика), но сквозь просвечивающие, неприятные стены я способен был различить — не глядя! — ряды и ярусы смутных зрителей и мысленно видел афишку, извещавшую на языке сумасшествия "Билеты только на входные места".

Мы уже сидели за круглым циферблатом стола (практически неотличимого от такого же в Опаловой зале моего дома, к западу от альбиносого "Стейна"), Луиза на двенадцати, профессор Кинг на двух, миссис Моргайн на четырех, миссис Кинг в зеленых шелках на восьми, Одес на десяти, а я, видимо, на шести или минутой позже, потому что Луиза помещалась не прямо насупротив, она, может быть, подвинула кресло на шестидесятисекундный зазор ближе к Одесу, хоть и поклялась мне на "Светском Календаре", а также на "Кто есть Кто", что он никогда за ней не ухаживал, — вопреки намекам, содержащимся в его великолепном стихотворении, напечатанном в "Artisan":

Что же до, как их, бывалых ночей,
то я обладал тобой, дорогая,
на расстоянии вытянутого уха
от вечеринки внизу,
на широкой кровати хозяина дома,
заваленной платьем ваших гостей, —
старый плащ, понарошная норка,
шарфик в полоску *(мой)*,
шкурка прежней любви
(кролик, скорее чем выдра),
да, свалка зим вроде той,
на которой лежат лакеи
у подъезда театра
в первой песни "Онегина",

где под люстрами переполненной залы
ты, дорогая, могла быть плясуньей,
летящей, как пух, среди нарисованных
тополей и фонтанов.

Я заговорил высоким, ясным, надменным голосом (меня научил этому Ивор на пляже Канниццы), которым в первые годы преподавания в Квирне нагонял Фебову фобию на строптивых участников моего семинара:

— То, что я собираюсь здесь обсудить, представляет собой удивительный и непонятный недуг одного моего близкого друга, коего я назову...

Миссис Моргайн опустила стакан с виски на стол и доверительно склонилась ко мне:

— А знаете, я встречала малышку Ирис Блэк в Лондоне, году, кажется, в 1919-м. Ее отец и мой, посол, были деловыми партнерами. Я тогда была юной американочкой, глаза как звезды. Она была фантастически красива и такая утонченная. Помню, как меня потом поразило известие, что она вышла за русского князя!

— Фэй, — с двенадцати на четыре прокричала Луиза, — Фэй! Его Высочество произносит тронную речь.

Все рассмеялись, а две тирольские малышки с голыми ляжками, гонявшие друг дружку вокруг стола, перескочили через мои колени и снова куда-то сгинули.

— Я назову этого моего близкого друга, недуг которого мы вот-вот начнем обсуждать, мистер Двувдовый, — имя, не лишенное побочных оттенков значения, заметных для тех из вас, кто помнит заглавный рассказ в моем сборнике "Изгнание с Мэйды".

(Трое, Кинги и Одес, подняли три руки, глядя один на другого в совокупном самодовольстве.)

— Этот человек, ныне достигший мощной средины жизни, помышляет о третьем супружестве. Он серьезно влюблен в молодую особу. Честность требует, однако, чтобы он, прежде чем сделать ей предложение, признался, что страдает некоторой немощью. Мне бы хотелось, чтобы они перестали колотить по креслу всякий раз, что проносятся мимо. "Немощь", возможно, слишком сильное слово. Представим это так: в механизме его разума имеются, по

его словам, некие неполадки. Та, о которой он мне рассказал, безобидна сама по себе, но крайне докучна и необычна и может служить симптомом какого-то более грозного и серьезного разлада. Вот как это бывает. Когда человек этот, лежа в постели, воображает знакомый участок улицы, скажем, на правой панели, если идти от Библиотеки, скажем...

— Винную лавку, — вставил Кинг, неумолимый остряк.

— Хорошо, винную лавку Рехта. Это примерно триста ярдов от...

Меня снова прервали, на сей раз Луиза (к которой к единственной я, собственно, и обращался). Она повернулась к Одесу и сообщила ему, что сроду не могла зримо представить себе в ярдах какое-нибудь расстояние, разве что ей удавалось поделить его на длину кровати или балкона.

— Романтично, — сказала миссис Кинг. — Продолжайте, Вадим.

— Триста шагов по той стороне улицы, на которой стоит и Библиотека колледжа. Теперь мы подходим к проблеме моего друга. Он может мысленно пройтись туда и обратно, но не может мысленно произвести действительный поворот кругом, преобразующий "там" в "позади".

— Мне нужно в Рим позвонить, — прошептала Луиза на ухо миссис Кинг и было встала из кресла, но я взмолился, чтобы она выслушала меня. Она отказалась от своего намерения, предупредив, впрочем, что не сумела понять в моей речи ни слова.

— Повторите-ка вот это, насчет мысленного разворота, — сказал Кинг. — Никто ничего не понял.

— Я понял, — сказал Одес. — Допустим, винная лавка оказалась закрытой, и мистер Двувдовый, кстати, и мой близкий друг, поворачивается, чтобы вернуться в Библиотеку. В жизненной реальности он производит это действие без помех и прорех, так же просто и бессознательно, как всякий из нас, даже если критическое око художника видит... Àtoi[1], Вадим.

---

[1] (Теперь) ты *(фр.)*.

— Видит, — сказал я, принимая эстафетную палочку, — что в зависимости от быстроты оборота частоколы и тенты раскручиваются против хода часов либо с тяжкой шаткостью карусели, либо (приветствуя Одеса взмахом руки) в один оживленный рывок, словно хвост полосатого шарфика (Одес с улыбкой признал одесизм), заброшенный через плечо. Но когда лежишь, неподвижный, в постели и репетируешь или, скорее, проигрываешь в уме процесс поворота — описанным мною образом, — дело оказывается не в сложности умственного восприятия коренного броска, — результат, обращение вида, трансформация направления, *вот что* тщетно силишься вообразить. Вместо плавного перехода направления на винную лавку в его противоположность, с каким имеешь дело в безыскусности бодрствования, беднягу Двувдового ставит в тупик...

Я чувствовал, как оно близится, но надеялся, что успею закончить фразу. Не тут-то было. Двигаясь с бесконечной медлительностью и беззвучием, будто серый котяра, на которого он походил встопорщенными усами и гнутой спиной, Кинг вылез из кресла. На цыпочках, со стаканом в каждой руке, он двинулся к золотистому тлению густо заселенного буфета. Драматически рюхнув ладонями по краю стола, я заставил подпрыгнуть миссис Моргайн (которая то ли заснула, то ли ужасно состарилась в несколько последних минут) и остановил старого Кинга на полпути; он молча развернулся, как автомат (иллюстрируя мой рассказ), и молча вернулся на место с пустыми узорчатыми стаканами.

— Разум — разум моего друга — ставит в тупик, как я уже говорил, нечто гнусно тугое и скучное в самом механизме замены одного положения на другое, востока на запад, запада на восток, одной клятой нимфетки на другую, — то есть я теряю нить моего рассказа, молния мысли заела, это нелепо...

Нелепо и очень неловко. Двое девчушек с холодными ляжками и творожными щечками теперь играли в сварливую ссору за право взобраться ко мне на левое колено с той стороны, где мед, норовя оседлать Левое Колено, издавая тирольские трели и отпихивая друг дружку, а кузина Фэй

все клонилась ко мне, выговаривая с макабрическим акцентом: "Elles vous aiment tant!"[1] Наконец я с вывертом ущипнул ближайшую ягодицу, и, взвизгнув, они возобновили свой бег по кругу, подобно тому вечному крошке-поезду, колеблющему ожину в увеселительном парке.

Я все не мог собраться с мыслями, но Одес пришел мне на помощь.

— Подытожим, — сказал он (и звучное уф! слетело с уст жестокой Луизы). — Тревоги нашего пациента касаются не определенного физического действия, но попыток вообразить его выполнение. Все, что он может проделать в уме, — это полностью опустить детали вращения и сдвинуться от одного визуального поля к другому с безразличным просверком картинки, сменяемой в волшебном фонаре, после чего он уже глядит в направлении, утратившем, а верней, никогда и не содержавшем идеи "противуположности". У кого-нибудь есть что добавить?

После паузы, обыкновенно следующей за таким вопросом, Джон Кинг сказал:

— Я бы посоветовал вашему мистеру Вертуну раз и навсегда бросить эти бредни. Бредни обаятельные, красочные, но все равно опасные. Да, Джейн?

— У моего отца, — сказала миссис Кинг, — профессора ботаники, была одна забавная странность: из исторических дат и телефонных номеров, — например, из нашего номера, 9743, — он запоминал только простые числа. В нашем номере он помнил две цифры, вторую и последнюю, — совершенно бесполезное сочетание; две другие оставались черными прогалами, выпавшими зубами.

— Какая прелесть, — с неподдельным наслаждением воскликнул Одес.

Я заметил, что это не то же самое. Болезнь моего друга разрешалась дурнотой, головокружением, кегельбаном мигрени.

— Да-да, я понимаю, но и у отцовской странности тоже имелись побочные эффекты. Его мучила не сама неспособ-

---

[1] Они вас так любят! *(фр.)*

ность запомнить, скажем, номер собственного дома в Бостоне — 68, — который он видел ежедневно, а то, что он ничего не мог с этим поделать, что никто, ну совершенно никто не мог ему объяснить, *почему* всё, что он в состоянии различить на дальнем конце своего рассудка, — это не 68, а бездонная дырка.

Хозяин дома еще раз и с большей решимостью, нежели прежде, проделал фокус с исчезновением. Одес ладонью накрыл свой пустой стакан. Я, хоть и пьяный в стельку, жаждал, чтобы мой снова наполнили, но меня обошли. Стены округлой комнаты вновь обрели относительную непрозрачность, да благословит их Господь, и Доломитовых Долли больше поблизости не было.

— В те времена, когда я мечтала стать балериной, — сказала Луиза, — и ходила в любимицах у Бланка, лежа в постели я всегда повторяла в уме упражнения и не испытывала никаких затруднений с кружением и поворотами. Все дело в практике, Вадим. Почему тебе просто не повернуться на другой бок, когда ты хочешь увидеть себя возвращающимся в Библиотеку? Слушай, Фэй, надо идти, а то уже и полночь прошла.

Одес взглянул на часы, испустил восклицание, которое Времени было бы неприятно услышать, и поблагодарил меня за чудесный вечер. Губы леди Моргайн, изобразив розоватую дырку слоновьего хобота, немо соорудили слово “loo”[1], куда миссис Кинг, с взволнованным зеленым шелестом, тут же ее отвела. Оставшись один за круглым столом, я с трудом поднялся на ноги, выдул остаток Луизиного дайкири и соединился с нею в прихожей.

Никогда она так сладко не таяла и не содрагалась в моих объятиях, как в тот раз.

— Интересно, сколько четвероногих критиков, — спросила она после нежной паузы в темном саду, — обвинили бы тебя в надувательстве, если бы ты напечатал описание этих смешных ощущений? Трое, десятеро, все стадо?

— Это не совсем “ощущения” и совсем не “смешные”. Я просто хотел, чтобы ты осознала, что если я свихнусь,

---

[1] Сортир *(англ.)*.

то это случится вследствие моих игр с идеей пространства. "Поворачиваться" было бы жульничеством, да оно бы и не помогло.

— Я тебя сведу с совершенно божественным аналитиком.

— Это все, что ты можешь мне предложить?

— Да, а что?

— Подумай, Луиза.

— А. Еще я намерена выйти за тебя. Конечно же да, дурень.

Она исчезла, прежде чем я успел снова облапить ее тонкое тело. Запорошенное звездами небо, обычно пугающее, теперь неясно забавляло меня: оно и осенняя fadeur[1] еле видных цветов принадлежало к тому же выпуску "Woman's Own World"[2], что и Луиза. Я оросил электрически зашипевшие астры и посмотрел на окошко Бел, клетка с2. Светится так же ярко, как е1, Опаловая зала. Войдя в нее, я с облегченьем увидел, что добрые руки очистили и прибрали стол, круглый стол с переливчатым ободком, за этим столом я прочел имевшую наибольший успех вступительную лекцию. Голос Бел позвал меня с верхней площадки, и, прихватив горсть соленых миндальных орешков, я поднялся по лестнице.

5

Ранним утром следующего дня, воскресенья, пока я стоял, накинув махровую простыню, на кухне и следил, как кружатся и бьются в своем аду четыре яйца, кто-то вошел в гостиную сквозь боковую дверь, которую я запирать не трудился.

Луиза! Луиза, облачившаяся для церкви в лиловый, точно у колибри, наряд. Луиза в наклонном луче спелого октябрьского солнца. Луиза, опиравшаяся о рояль, словно

---

[1] Пресность *(фр.)*.

[2] "Мир Женщины" *(англ.)*.

готовясь запеть, и осматривавшаяся вокруг с лирической улыбкой.

Я первым нарушил наше объятие.

Вадим. Нет, дорогая, нет. Дочь может спуститься в любую минуту. Присядь.

Луиза *(оглядев кресло и усевшись в него).* Жаль. Знаешь, я раньше здесь часто бывала! В восемнадцать мне даже довелось полежать на этом рояле. Олди Ландовер был скотом — уродливым, немытым, но совершенно неотразимым.

Вадим. Послушай, Луиза, я всегда находил твой привольный, фривольный стиль очень пикантным. Но теперь уже скоро ты переберешься в этот дом, и нам не повредит немного респектабельности, не так ли?

Луиза. Придется сменить этот синий ковер. "Стейн" глядится на нем, как айсберг. И потом, здесь должно быть буйство цветов. Столько больших ваз и ни единой стрелиции. В мое время тут целыми кустами стояла сирень.

Вадим. Сейчас, видишь ли, октябрь. Слушай, мне неприятно задавать тебе этот вопрос, но там не твоя кузина ожидает в машине? Это было бы неприлично.

Луиза. Неприлично, мать честная. Да она раньше завтрака не встает. О, сцена вторая.

Бел в одних только шлепанцах и дешевых бусах радужного стекла — сувенир из Ривьеры — сходит на другом конце гостиной, за фортепьяно. Уже почти завернув на кухню, уже показав нам затылок красавца-пажа и нежные лопатки, она вдруг осознает наше присутствие и возвращается.

Бел *(обращаясь ко мне по-русски и равнодушно косясь на изумленную гостью).* Я безумно голодная.

Вадим. Луиза, дорогая, вот моя дочь, Бел. Она вообще-то разгуливает во сне, отсюда эта, э-э, неприбранность.

Луиза. Алло, Аннабель. Неприбранность вам очень к лицу.

Бел *(поправляя Луизу).* Иза.

Вадим. Изабель, это Луиза Адамсон, мой давний друг, она только что вернулась из Рима. Надеюсь, мы будем с ней часто видаться.

Бел. Как поживаете *(без знака вопроса).*

Вадим. Ну ладно, Бел, беги, накинь что-нибудь. Завтрак готов. *(Луизе)* Не хочешь с нами позавтракать? Яйца вкрутую? Кока с соломой?

Бледная скрипка восходит по лестнице.

Луиза. Нет, мерси. Я ошеломлена.

Вадим. Да, кое-что отчасти вышло из-под контроля, но ты увидишь, она — особенный ребенок, других таких нет. Все, что нам нужно, это твое присутствие, твое влияние. Привычку разгуливать в чем мать родила она унаследовала от меня. Райские гены. Забавно.

Луиза. У вас здесь нудистская колония на двоих или миссис О'Лири тоже принимает участие?

Вадим *(со смехом).* Нет-нет, по воскресеньям ее здесь не бывает. Все в порядке, уверяю тебя. Бел — понятливый ангел. Она...

Луиза *(вставая, чтобы уйти).* Вон она бредет на кормежку.

Бел сходит по лестнице, одетая в коротенький розовый халат.

Ладно, я еще забегу перед чаем. Джейн Кинг повезет Фэй в Роуздейл на игру в лакросс. *(Уходит.)*

Бел. Она кто? Из твоих бывших студенток? Драма? Красноречие?

Вадим *(в быстром движении).* Боже мой! Яйца! Наверное уже в нефрит обратились. Идем. Я ознакомлю тебя с ситуацией, как говорит твоя классная дама.

6

Первым сгинул рояль — спотыкливые носильщики айсбергов выволокли его и свезли в подарок школе, в которой училась Бел и которую я имел причины задабривать: я человек не очень пугливый, но уж если пугаюсь, то до

смерти, а при второй нашей беседе со школьной наставницей мои попытки изобразить разгневанного Чарльза Доджсона не провалились полностью лишь благодаря сенсационному известию о моей скорой женитьбе на безупречной светской даме, вдове самого благочестивого из наших философов. Напротив, Луиза избавление от этого символа роскоши восприняла как преступление и личную обиду: такой концертный рояль, говорила она, стоит по крайности столько же, сколько ее старенькая "Геката" с откидным верхом, и она вовсе не такая богатая, как мне, по-видимому, кажется, — утверждение, представляющее логическую загвоздку: ложь на ложь не дает правды. Я умиротворил ее, постепенно заполнив музыкальную гостиную (если позволено вдруг превратить временной ряд в пространственный) обожаемыми ею модными штучками — поющей мебелью, крошечными телевизорами, стереорфеями, портативными оркестрами, все лучшими и лучшими видео, приспособлениями для дистанционного включения и выключения всех этих штуковин и приспособлением для автоматического набора телефонных номеров. Бел она подарила на день рождения машину для засыпания, "издающую Шум Дождя", а в ознаменование *моего* дня рождения исковеркала бедному неврастенику ночь, раздобыв за тысячу долларов ночные часы "Пантомима" с двенадцатью желтыми спицами вместо цифр на черном лице, отчего они мне представлялись слепыми или изображающими слепоту — на манер какого-нибудь отвратительного попрошайки в гнусном тропическом городе; в виде компенсации жуткое изделие оснастили секретным лучом, который отбрасывал на потолок моей новой спальни арабские цифры (2:00, 2:05, 2:10, 2:15 и так далее), уничтожая священную, совершенную, ценой мучений достигнутую непроницаемость ее овального окна. Я пригрозил купить револьвер и выпалить этим часам прямо в рыло, если она не отправит их назад тому извергу, который их продает. Взамен появилась "вещь, специально созданная для людей с оригинальными наклонностями", а именно стойка для зонтов в виде громадного сапога с серебряными нашлепками, — "что-то странно привлекало

ее в дожде", как сообщил мне ее "аналитик" в одном из самых глупых писем, какие человек когда-либо писал к человеку. Привлекали ее и мелкие, дорогие зверушки, но тут уже я уперся, и ей так и не удалось получить длинношерстного чихуахуа, бывшего предметом ее хладного вожделения.

От Луизы-интеллектуалки я многого не ожидал. Единственный раз, что я видел ее проливающей крупные слезы, сопровождаемые интересными подвываниями неподдельного горя, это было в первое воскресенье нашего брака, когда во всех газетах появились фотографии двух албанских писателей (плешивого старого эпика и длинноволосой женщины, составляющей детские книжки), поделивших между собой ту самую Престижную Премию, о которой она всем говорила, что в этом году ее наверняка получу я. С другой стороны, мои романы она всего лишь наспех пролистывала (ей, правда, пришлось с чуть бóльшим тщанием прочесть "Королевство у моря", которое я в 1957-м начал медленно вытягивать из себя наподобие длинного мозгового червя, надеясь только, что он не порвется), в то же время пожирая все "серьезные" бестселлеры, о коих толковали ее прожорливые товарки, составляющие Литературную Группу, в которой ей нравилось изображать жену писателя.

Я обнаружил также, что она считает себя знатоком Современного Искусства. Она гневно заполыхала, когда я вслух усомнился в том, что восторги по поводу зеленой полоски на синем фоне *хоть как-то* соотносятся с данным оной в глянцевитом каталоге определением, согласно которому эта полоска "создает истинно Восточную атмосферу внепространственного времени и вневременного пространства". Она обвинила меня в том, что я пытаюсь разрушить ее мировоззрение, утверждая — из склонности к шутке, как ей мечталось, — будто лишь обыватель, замороченный напыщенными кретинами, живущими писаниной о выставках, способен стерпеть тряпье, кожуру и замызганные бумажки, извлеченные из помойки и обсуждаемые с применением таких оборотов, как "теплые всполохи цвета" и

"добродушная ирония". Но, может быть, самой трогательной и трагичной была ее честная вера в то, что живописцы пишут "то, что чувствуют"; что студенты-искусствоведы способны благодарно и гордо интерпретировать писанный в Провансе взъерошенный, неровный ландшафт, после того как психиатр объяснит им, что приближающаяся грозовая туча обозначает стычку художника с его отцом, а волнами полегшая пшеница — раннюю смерть матери при крушении корабля.

Я не мог помешать ей приобретать образцы модной живописи, но благоразумно вытеснил несколько наиболее уродливых предметов (например, собрание мазни, сотворенной "наивными" каторжанами) в круглую столовую, и там они мутно мрели в свете свечей, когда нам случалось ужинать с гостями. Обыкновенно мы кормились в буфетной нише между кухней и комнатами прислуги. Луиза втиснула в этот альков свою новую кофеварку, производящую капуччино-эспрессо, а на другом конце дома, в Опаловой зале, установила для меня тяжко скроенную, гедонистически изукрашенную кровать с обитой мягким доской в изголовье. Ванна в смежной ванной комнате оказалась не так удобна, как моя прежняя, кроме того, некоторые неудобства сопровождали мои ночные походы, два-три раза в неделю, в супружескую опочивальню — гостиная, скрипучая лестница, верхняя площадка, коридор на втором этаже, мимо непроницаемой, мерцающей щелки под дверью Бел, — но уединенность мою я ценил пуще, чем огорчался ее изъянами. Я имел "турецкий toupet[1]", как назвала это Луиза, запретить ей сообщаться со мной, топая в пол у себя наверху. Со временем я установил в своей комнате внутренний телефон для использования лишь в определенных неотложных обстоятельствах: подразумевались такие нервические состояния, как ощущение неотвратимого обморока, иногда испытываемое мной в ночных борениях с эсхатологическими наваждениями; ну и кроме того, под рукой всегда находилась наполовину заполненная коробоч-

---

[1] Здесь: наглость *(фр.)*.

ка сонных пилюль, тишком тибрить которые позволялось только ей.

Решение оставить Бел в ее прежней комнате с Луизой в качестве единственной соседки, вместо того чтобы переставлять мебель по целой пространственной спирали, отведя Луизе обе эти восточные комнаты, — "а может, мне тоже нужен кабинет?", — и переместив Бел с ее кроватью и книгами в Опаловую залу, а меня оставив наверху в моей прежней спальне, — это решение было мной принято твердо, вопреки довольно злокозненным контрпредложениям Луизы, например, убрать из библиотеки в подвале орудия моего труда и засунуть Бел со всеми ее принадлежностями в это теплое, сухое, приятное и тихое логово. Я хоть и знал, что не уступлю, но уже сам процесс мысленной перетасовки комнат и вещей буквально сделал меня больным. Сверх того, я чувствовал, быть может ошибочно, что Луиза наслаждается уродливой пошлостью положения "мачеха—падчерица". Не то чтобы я сожалел о женитьбе на ней, я сознавал ее обаяние и практическую хватку, но обожание Бел было единственным проблеском, единственной спирающей дыхание горной вершиной на тусклой равнине моей эмоциональной жизни. Будучи во многих отношениях человеком чрезвычайно тупым, я попросту и не пытался вникать в сумбур и разладицу образцового с виду дома. Едва лишь я просыпался — или, вернее, едва лишь я понимал, что единственный способ надуть утреннюю бессонницу заключается в том, чтобы встать, — как принимался гадать, что еще выдумает нынче Луиза, чтобы помучить мою дочь. И когда два года спустя тот седой старый олух и его попрыгунья-жена, попотчевав Бел нудной поездкой по Швейцарии, оставили ее в Лариве, между Хексом и Трексом, в "закрытой" школе для девочек (где закрывается детство, где гибнет невинность юного воображения), именно 1955—1957 годы, период нашей жизни à trois[1] в квирнском доме, а не более ранние мои ошибки вспоминал я с проклятиями и плачем.

---

[1] Втроем *(фр.)*.

Она и мачеха совсем перестали разговаривать друг с дружкой; при нужде обменивались знаками: Луиза, к примеру, театрально указывала на безжалостные часы, а Бел в виде отрицания постукивала по хрусталику своих верных наручных часиков. Она утратила всякую привязанность ко мне и тихо уклонялась всякий раз, что я решался на поверхностную ласку. К ней вновь вернулось умученное, отсутствующее выражение, мутившее ее черты при появлении из Роуздейла. Китса сменил Камю. Отметки поехали вниз. Она больше не писала стихов. Однажды мы с Луизой укладывались для очередной поездки по Европе (Лондон, Париж, Пиза, Стреза и — мелким шрифтом — Лариве), я вынимал кое-какие старые карты — Орегон, Колорадо — из внутренней шелковой "щеки" чемодана, и в самую ту минуту, как мой тайный суфлер вымолвил слово "щека", мне подвернулись стихи, написанные Бел задолго до того, как Луиза вторглась в ее доверчивую юную жизнь. Я подумал, что Луизе будет полезно их прочесть, и передал ей тетрадный листок (весь измахренный вдоль драных корней, но по-прежнему мой), на котором были карандашом написаны следующие строки:

Лет в шестьдесят, если я оглянусь,
холмы и дебри укроют
зарубку, источник, песок
и птичьи следы на песке.
Я ничего не увижу
старческими глазами,
но буду знать, что источник там.

Почему же, когда я гляжу назад
в двенадцать — пятая часть пути! —
и видимость вроде получше,
и сор не застит глаза,
я даже вообразить не могу
ту полоску сырого песка,
и вышагивающую птицу,
и слабый свет моего источника?

— Почти Паунд по чистоте, — сообщила Луиза — и я озлился, поскольку считал Паунда шарлатаном.

7

Шато Винедор, очаровательная закрытая школа в Швейцарии, где обучалась Бел, стояло на очаровательном холме, метрах в трехстах выше очаровательного Ларива на Роне; школу эту Луизе порекомендовала осенью 1957-го одна швейцарская дама с французского отделения Квирна. Существовали еще две "закрытые" школы того же общего типа, и они могли подойти в той же мере, но Луиза прикипела душой к Винедору из-за случайного замечания, оброненного даже не ее швейцарской товаркой, а случайной девицей в случайном бюро путешествий, сведшей все достоинства школы в одно предложение: "Полно тунисских принцесс".

Здесь предлагалось пять основных дисциплин (французский, психология, светские манеры, швейное дело, кухня), разного рода спортивные (под присмотром Кристин Дюпраз, известной некогда лыжницы) и дюжина дополнительных классов по выбору (таковых хватало, чтобы занять до замужества и самую невзрачную девушку), включая "балет" и "бридж". Еще одним supplément[1] — особенно удобным для сирот и ненужных детей — был летний триместр, заполнявший остаток года экскурсиями и изучением природы и коротаемый несколькими везучими девушками в доме начальницы школы мадам де Тюрм, — в альпийском шале, стоявшем еще на двенадцать сот метров выше. "Его одинокий свет, мерцающий в черных складках гор, — на четырех языках извещает проспект, — можно видеть из шато в ясные ночи". Имелась также разновидность лагеря для в разной мере неполноценных местных детей, руководимого в разные годы нашей спортивной наставницей, неравнодушной и к медицине.

1957, 1958, 1959. Иногда, редко, тайком от Луизы, недовольной тем, что двадцать, примерно, односложных высказываний Бел, разделенных изрядными промежутками, обходились нам в пятьдесят долларов, я звонил ей из Квирна, но после нескольких таких звонков получил от мадам

[1] Дополнение *(фр.)*.

де Тюрм отрывистую открытку, просившую меня не расстраивать дочь телефонными разговорами, и вследствие этого ретировался в мою темную раковину. Темная раковина, темные годы моего сердца! Они странно совпали с созданием самого сильного, самого праздничного и коммерчески самого успешного моего романа, "Королевство у моря". Его притязания, его игра и фантазия, его сложная образность по-своему восполняли отсутствие моей возлюбленной Бел. Помимо того, роман заставил меня сократить, почти бессознательно, мою переписку с ней (старательные, многословные, скверно искусственные письма, на которые она едва трудилась отвечать). И конечно, куда поразительнее, куда непостижимее оказалось для меня, в тяжко стенающей ретроспекции, влияние этого моего самоутешения на число и продолжительность наших визитов к ней между 1957-м и 1960-м (годом, в который она сбежала с прогрессивным светлобородым молодым американцем). Ты испуганно ахнула, услышав на днях, при обсуждении нами этих записок, что за три лета я виделся с "возлюбленной Бел" всего лишь четыре раза и что только два наших визита дотянули в длину до двух недель. Должен, впрочем, добавить, что она решительно не желала проводить каникулы дома. Разумеется, мне не следовало сплавлять ее в Европу. Я обязан был перемучиться в моем домашнем аду, между ребячливой женщиной и хмурым ребенком.

Работа над романом сказалась и на исполнении мною брачных обязанностей, обратив меня в менее страстного и более снисходительного мужа: я спускал Луизе подозрительно частые отлучки к загородным глазным специалистам, не обозначенным в справочнике, тем временем изменяя ей с Розой Браун, нашей хорошенькой горничной, трижды в день мывшейся с мылом и полагавшей, что кружевные черные трусики "что-то такое делают с мужиками".

Но в наихудший беспорядок привела моя работа над романом чтение лекций. Я пожертвовал ей, словно Каин, цветы моего лета и, словно Авель, — овечек кампуса. Вследствие этого процесс моего академического развоплощения достиг завершающей стадии. Последние остатки человеческих связей были оборваны, ибо я не только теле-

сно исчез из лекционного зала, но записал весь мой курс на магнитофонную ленту, дабы вливать его через университетскую радиосеть в комнаты снабженных наушниками студентов. Ходили слухи, что я намерен уйти на покой; больше того, неизвестный остряк писал весной 1959 года в "Quirn Quarterly"[1]: "Говорят, что Его Опромстчивость перед самой отставкой просили прибавки".

Летом этого года я и моя третья жена в последний раз повидались с Бел. Аллан Гардэн (именем коего следовало бы назвать сорт с Жасминного мыса, так велик и победен казался цветок в его бутоньерке) только что сочетался узами брака со своей юной Вирджинией после нескольких лет безоблачного сожительства. Им предстояло в совершенном блаженстве дожить до совместного возраста в сто семьдесят лет, оставалось, однако, выстроить еще одну главу, мрачную и роковую. Я маялся над первыми ее страницами за неподходящим столом, в неподходящем отеле, над неподходящим озером, с видом на неподходящий isoletta[2] у моего левого локтя. Единственной подходящей вещью была стоявшая передо мной брюхатая бутылка "Гаттинары". В середине искромсанного предложения явилась из Пизы Луиза, — я догадывался (с веселым безразличием), что она там воссоединялась с прежним любовником. Играя на струнах ее кроткого смущения, я потащил ее в Швейцарию, которую она ненавидела. Мы договорились с Бел о раннем обеде в "Гранд-отеле" Лариве. Она пришла с христоволосым молодым человеком, оба были в лиловых штанах. Метрдотель что-то пошептал моей жене поверх меню, и она поднялась наверх и принесла молодому невеже самый старый мой галстук — повязать адамово яблоко и тощую шею. Его бабушка в замужестве породнилась, как выяснилось, с четвероюродным братом Луизиного деда, небезупречного бостонского банкира. Нашлось о чем поговорить за первой переменой блюд. Кофе с киршвассером мы пили на веранде, Чарли Эверетт показывал нам фотографии летнего лагеря для незрячих детей (лишенных

[1] "Квирнский Ежеквартальник" *(англ.)*.
[2] Островок *(ит.)*.

необходимости созерцать тусклые псевдоакации и кольца испепеленного мусора средь береговых лопухов), за которыми он и Белла (Белла!) присматривали. Ему было двадцать пять лет. Пять он потратил на изучение русского языка и говорил на нем так же бегло, сказал он, как ученый тюлень. Предъявленный им образец подтвердил справедливость сравнения. Он был завзятым "революционером" и безнадежным простофилей, ничего не знающим, свихнувшимся на джазе, экзистенциализме, ленинизме, пацифизме и африканском искусстве. Он полагал, будто бойкие брошюрки и каталоги намного, о, намного "осмысленнее", чем толстые старые книги. Сладковатый, застойный, нездоровый запашок исходил от бедного малого. За весь мучительный обед и кофепитие я ни разу — ни разу, читатель! — не поднял глаз на мою Бел, но, уже перед тем как расстаться (навеки), взглянул на нее, и у нее оказались новые парные складочки, идущие от ноздрей к уголкам рта, она носила теперь бабушкины очки, расчесывалась на пробор и утратила всю свою подростковую прелесть, остатки которой я еще уловил, навестив Лариве весну и зиму назад. Им полагалось вернуться к половине девятого, увы, — хотя какое уж там "увы".

— Поскорей, поскорей приезжай проведать нас в Квирне, Долли, — сказал я, когда мы стояли на тротуаре, и горы сплошной чернотой рисовались на аквамариновом небе, и клушицы резко вспархивали, улетая стайками на ночлег, прочь, прочь.

Я не в состоянии объяснить мою оговорку, но она разозлила Бел пуще, чем что-нибудь и когда-нибудь.

— Что он такое сказал? — закричала она, переводя взгляд с Луизы на своего ухажера и опять на Луизу. — О чем он? Почему он назвал меня "Долли"? Кто она, Боже ты мой? Почему, почему (обращаясь ко мне), почему ты это сказал?

— Обмолвка, прости, — ответил я, умирая, стараясь все обратить в сон, в сон об этой ужасной, последней минуте.

Они торопливо пошли к своему крошечному "Klop'у", Чарли все забегал вперед и вот уже тыкал в воздух ключом

от машины, то слева от Бел, то справа. Аквамариновое небо молчало теперь, темноватое и пустое, не считая одной звездообразной звезды, описанной мною в русской элегии много веков тому назад, в мире ином.

— Какой обаятельный, благожелательный, культурный и сексуальный молодой человек, — сказала Луиза, когда мы ввалились в лифт. — Ты как, в настроении нынче? Прямо сейчас, Вад?

Часть пятая

1

Эта, предпоследняя часть СНА, этот одухотворенный эпизод моего в остальном довольно вялого существования страшно сложен для изложения, он напоминает мне те добавочные задания, которыми обременяла меня лютейшая из моих французских гувернанток — скопировать "cent fois"[1] (плевки и шипение) какую-нибудь старинную поговорку — в наказание за то, что я к уже имевшимся в ее "Petit Larousse"[2] иллюстрациям добавил на полях мои собственные или исследовал под партой ножки Лалаги Л., маленькой кузины, делившей со мной занятия в то незабвенное лето. Верно, что в мыслях я бессчетно повторял рассказ о моем конца шестидесятых годов набеге на Ленинград перед несметной аудиторией моих торопливо строчивших или клевавших носами двойников, — и все-таки я сомневаюсь и в необходимости, и в возможности успешного одоления этой гнетущей задачи. Но ты рассмотрела все доводы, ты, о нежный адамант, да, и вынесла приговор: я должен поведать о моих похождениях, дабы подобие значительности осенило скудную судьбу моей дочери.

Летом 1960-го Кристин Дюпраз, которая ведала летним лагерем для убогих детей, притулившимся между обрывом и трактом строго к востоку от Ларивe, известила меня, что Чарли Эверетт, один из ее помощников, сбежал с моей Бел, предварительно спалив — в гротескном обряде, который она представляла себе яснее, чем я, — свой паспорт и американский флажок (специально для этого купленный в сувенирном ларьке) "прямо на задворках советского кон-

---

[1] "Сто раз" *(фр.)*.

[2] "Малый Лярусс" *(фр.)*.

сульства"; вслед за чем новоявленный "Карл Иванович Ветров" и восемнадцатилетняя Изабелла, дочь ci-devant[1], подверглись в Берне некоторой разновидности шутовского венчания и тотчас укатили в Россию.

Тою же почтой я получил приглашение обсудить в Нью-Йорке с известным compère[2] мое неожиданное положение первого нумера в списке наиболее ходких авторов, запросы от японского, греческого и турецкого издателей и открытку из Пармы, криво надписанную: "Браво за "Королевство" от Луизы и Виктора". Кстати сказать, кто этот Виктор, я и поныне не знаю.

Отрешившись от всех обязательств, я вновь предался — после стольких лет воздержания! — трепетным радостям тайных расследований. Шпионаж был моим clystère de Tchékhov[3] даже еще до того, как я женился на Ирис Блэк, чья поздняя страсть к сочинению нескончаемой детективной истории, видимо, возгорелась от искры, высеченной каким-то намеком, оброненным мною, как роняет глянцевое перо мимолетная птица, и касающимся моего опыта на бескрайних и мглистых полях Разведки. На свой скромный манер я был небесполезен для тех, кто меня превосходит. Еще стоит, отчасти ободранное, на вершине холма над Сан-Бернардино то дерево, бело-голубой ясень, рану в коре которого использовала для переписки чета пойманных мной "дипломатов", Торниковский и Каликаков. Лишь руководствуясь соображениями структурной экономии, я выпустил этот развлекательный элемент из настоящего повествования о любви и о прозе. Впрочем, его присутствие теперь помогало мне — хоть ненадолго — отгонять безумье и муку безысходного сожаления.

Поиски родственников Карла в США, а именно — двух жилистых теток, ненавидевших молодого человека еще сильней, чем друг дружку, оказались детской игрой. Тетя номер один заверила меня, что он никогда не покидал Швейцарии, — к ней в Бостон еще доставляли оттуда поч-

---

[1] "Бывший" гражданин *(фр.)*.

[2] Пройдоха, ловкач *(фр.)*.

[3] Чеховский клистир *(фр.)*.

той “третьего класса” его открытки. Тетушка номер два, филадельфийская фурия, сообщила, что он очень любит музыку и сейчас прозябает в Вене.

Я переоценил свои силы. Серьезный рецидив болезни почти на год приковал меня к больничной койке. Полный покой, на котором настаивали все мои доктора, оказался нарушен необходимостью поддерживать издателя в долгой юридической сваре, разыгравшейся вокруг обвинений в непристойности, предъявленных моему роману чопорными цензорами. Я вновь занемог, и серьезно. Я и сейчас еще чувствую гнет галлюцинаций, осадивших меня, когда поиски Бел стали мешаться с препирательствами вокруг романа, и я увидел, отчетливо, как видишь корабли или горы, исполинский дом с освещенными до единого окнами, норовивший накатить на меня сквозь ту или эту стену палаты, как бы искавший слабого места, чтобы протиснуться и смять мою койку.

К концу шестидесятых я выяснил, что Бел уже определенно замужем за Ветровым, но что сам он отослан в какое-то отдаленное место на работу неизвестного свойства. Затем пришло письмо.

Его переслал мне пожилой почтенный делец (я назову его А. Б.) — вместе с запиской, в которой говорилось, что он подвизается “в текстиле”, хоть по образованию и “инженер”; что он представляет “в США советскую фирму и наоборот”; и что письмо, им вложенное в конверт, написано женщиной, работающей в его ленинградской конторе (я назову ее Дорой), и касается моей дочери, “которой он не имеет чести знать, но которая, как он верит, нуждается в моей помощи”. Он добавлял, что через месяц опять полетит в Ленинград и был бы рад, если бы я “с ним связался”. Письмо от Доры было русским.

Многоуважаемый Вадим Вадимович!

Вероятно, Вы получаете множество писем от людей из нашей страны, сумевших раздобыть Ваши книги — дело очень нелегкое! Однако это письмо не от поклонницы, а просто от подруги Изабеллы Вадимовны Ветровой, с которой она делит комнату вот уже больше года.

Она больна, у нее нет вестей от мужа, и к тому же она сидит без копейки.

Пожалуйста, встретьтесь с подателем этой записки. Он мой начальник и, кроме того, дальний родственник, и он согласился привезти от Вас, Вадим Вадимович, несколько строк и немного денег, если возможно, но главное, главное, чтобы Вы приехали лично. Сообщите ему, сможете ли Вы приехать, и если да, то когда и где мы могли бы встретиться, чтобы обсудить положение. В жизни все спешно, "безотлагательно", "не терпит промедления", но бывают вещи ужасно спешные, и это — одна из них.

Чтобы убедить Вас в том, что она здесь, рядом со мной, просит меня написать Вам и не в состоянии написать сама, я добавляю маленький ключ или опознавательный знак, расшифровать который можете только Вы и она: "... и умница тропка".

С минуту я просидел над завтраком — под сострадающим взором Бурой Розы — в состоянии пещерного жителя, обнимающего руками голову, когда над ним начинают с треском рушиться камни (женщины делают этот жест, если что-то падает в смежной комнате). Решение я, разумеется, принял мгновенно. Рассеянно похлопав Розу сквозь легкий подол по молодым ягодицам, я устремился к телефону.

Через несколько часов я обедал с А. Б. в Нью-Йорке (и в последующие месяцы обменялся с ним из Лондона несколькими телефонными звонками). Премилый оказался человечек — совершенно овальной формы, с лысой головой и крохотными ножками в дорогих туфлях (остальное его облачение выглядело победнее). Он говорил на ломком английском с мягким русским акцентом и на родном русском — с еврейскими вопрошаниями. Он считал, что первым делом мне надо свидеться с Дорой. Он предупредил меня, что начальный шаг путешественника, собравшегося посетить жуткую Страну Чудес, Советский Союз, должен быть вполне обывательским, — следует забронировать "номер" (место в гостинице) и, лишь обзаведшись им, приступать к добыванию "визы". Над рыжеватой горкой буро-веснущатых, пропитанных маслом, сопровождаемых черной

икрой блинов у "Богдана" (за которые А. Б. запретил мне платить, хотя меня распирали "Королевские" деньги), он поэтично и несколько длинно рассказывал мне о своей недавней побывке в Тель-Авиве.

Следующий мой ход — поездка в Лондон — доставил бы мне наслаждение, не обуревай меня непрестанно тревога, нетерпение, томительные предчувствия. Знакомство с несколькими авантюрной складки джентльменами — прежним любовником Аллана Эндовертона и двумя невнятными наперсниками моего покойного благодетеля — позволило мне сохранить кое-какие невинные связи с БИНТ'ом — акроним, посредством которого советские агенты обозначают хорошо, чересчур хорошо известную британскую службу разведки. Вследствие этого мне удалось получить фальшивый или в определенной мере фальшивый паспорт. Поскольку у меня может возникнуть потребность вновь прибегнуть к этой удобной выдумке, я не стану обнародовать здесь точного моего псевдонима. Довольно сказать, что некоторое дразнящее сходство с моей настоящей фамилией позволило бы в случае поимки объяснить приемную канцелярской оплошностью рассеянного консула и безразличием ее душевнобольного носителя к официальным бумагам. Допустим, что подлинная моя фамилия — "Облонский" (толстовская выдумка), тогда поддельным именем стало бы мимикрическое "О. Б. Лонг", — так сказать, облоногий. Его я мог расширить, скажем, до Оберона Бернарда Лонга, из Дублина или из Думбертона, и долгие годы жить под ним на пяти-шести континентах.

Я бежал из России, не достигнув и девятнадцати лет и оставив поперек тропы в опасном лесу труп убитого красноармейца. Затем я в течение полустолетия поносил Советскую власть, вышучивал ее, выворачивал наизнанку, чтобы сделать ее посмешнее, выжимал, как мокрое от крови полотенце, пинал дьявола в самое его зловонное место и поиному изводил советский режим при всяком удобном случае, какой подворачивался в моих сочинениях. В сущности говоря, на литературном уровне, к которому принадлежала моя продукция, во все это время не было более дотошного критика большевистской брутальности и основополагаю-

щей тупости. Поэтому я хорошо сознавал два обстоятельства: что под собственным именем мне не удастся получить номера ни в "Европейской", ни в "Астории" и ни в какой иной из ленинградских гостиниц, разве что я решусь на какое-то чрезвычайное искупление, на презренно-пространное отречение; и что если язык доведет-таки меня под видом мистера Лонга или Блонга до этой гостиничной комнаты и меня все же сцапают, неприятностей мне не обобраться. И потому я решил, что сцапать себя не позволю.

— Бороду, что ль, отрастить да махнуть через границу? — размышляет, истомившись по дому, генерал Гурко в шестой части "Эсмеральды и ее парандра".

— Лучше, чем ничего, — отвечал Харлей Кин, один из самых моих беспечных советников. — Но только, — добавил он, — сделайте это до того, как мы вклеим и проштампуем фото О. Б., и после уж не худейте.

И я ее отрастил, — во время тяжкого, томительного ожидания "номера", над которым я не мог посмеяться, и визы, которой не мог подделать. Получилась образцовая викторианская штука, добротного, грубого, русого тона, прошитая серебряной нитью. Она достигала моих яблочно-красных скул и ниспадала на жилет, попутно спутываясь с латеральными, изжелта-серыми локонами. Особые контактные линзы не только придали моим глазам новое, оглушенное выражение, но каким-то образом изменили саму их форму — львиная квадратноватость сменилась зевесовым пучеглазием. И только вернувшись домой, я обнаружил, что старые мои, сшитые на заказ штаны, — и те, что на мне, и те, что в чемодане, выдавали мое настоящее имя, вышитое снутри пояска.

Мой старый добротный британский паспорт, с которым так поверхностно обходилось множество вежливых служащих, ни разу не заглянувших в мои книги (единственно подлинное удостоверение личности его случайного обладателя), физически остался по окончании процедуры, описать которую мне не позволят и порядочность, и некомпетентность, во многих отношениях тем же; но некоторые иные его особенности — тонкости строения, отдельные сведения — были, ну, скажем, "видоизменены" посред-

ством нового способа, алхимистерии обработки, гениального метода, "еще не повсюду понятого", как тактично обозначили лабораторные молодцы совершенную сокровенность открытия, способного спасти жизни бессчетным беженцам и тайным агентам. Иными словами, никто, — а наипаче несведущий судебный химик, — не смог бы и заподозрить, не говорю уже — доказать, что паспорт мой подделен. Не знаю, почему я задерживаюсь на этом предмете с такой утомительной обстоятельностью. Вероятно, потому, что отлыниваю от задачи — описать мой визит в Ленинград; и все-таки дальше откладывать некуда.

2

И вот после почти трехмесячных треволнений я был готов к отъезду. Я ощущал себя отлакированным с головы до ног, подобно тому нагому эфебу, яркому clou[1] языческого шествия, что умирал от кожной асфиксии в своем облачении из золотого лака. За несколько дней до отъезда случилось нечто, показавшееся безвредным смещением времени. Мне предстояло вылететь из Парижа в четверг. В понедельник мелодичный женский голос настиг меня в ностальгически милом отеле на рю Риволи и сообщил, что некий казус — быть может, крушение, скрытое пеленой советских туманов, — смешал общее расписание и что я могу получить место в следующем до Москвы турбовинтовом лайнере "Аэрофлота" либо в эту среду, либо в следующую. Я выбрал первую, разумеется, ибо она не меняла даты моего рандеву.

Моими попутчиками оказались несколько французских и английских туристов да плотная стайка угрюмых чиновников из советских торговых миссий. Едва я попал вовнутрь самолета, как некая иллюзия дешевой нереальности обуяла меня, — чтобы остаться со мной до конца путешествия. Стоял жаркий июньский день, и фарсовой системе воздушного кондиционирования не удавалось одолеть вея-

[1] Гвоздь *(фр.)*.

нья пота и взвесь “Красной Москвы”, вероломных духов, пропитавших собою все, даже карамельки (названные на обертке “Леденец взлетный”), которыми нас щедро оделили перед началом полета. Чем-то сказочным отзывался и яркий крап — желтые завитушки и фиолетовые незабудки, — украшавший оконные шторки. Схоже расцвеченный непромокаемый пакет в кармане сиденья передо мной имел зловещую бирку “для отбросов” — таких, например, как мое подлинное лицо в этой сказочной стране.

Настроение мое и состояние духа требовали скорее крепких напитков, чем новой порции “взлетных” или развлекательного чтения, тем не менее я принял рекламный журнал от дородной, неулыбчивой, голорукой стюардессы в небесно-голубом облачении и с интересом узнал, что (в противность теперешним триумфам) Россия имела бледный вид на Футбольной Олимпиаде 1912 года, где “царская команда” (состоявшая, надо полагать, из десяти бояр и одного медведя) проиграла немцам со счетом 12:0.

Я принял успокоительное и надеялся проспать хотя бы часть пути, но первую и единственную попытку вздремнуть решительно пресекла еще более тучная стюардесса, окруженная еще более плотным облаком лукового аромата, сварливо потребовав, чтобы я втянул ногу, слишком высунутую мною в проход, по которому она обращалась со все большими и большими количествами печатной продукции. Я темно позавидовал моему соседу у окна, пожилому французу, — во всяком случае, едва ли моему соплеменнику — в растрепанной черно-седой бороде и кошмарном галстуке; сосед проспал весь пятичасовой полет, презрев шпроты и даже водку, перед которой я не смог устоять, хоть и имел в заднем кармане штанов фляжку кое-чего получше. Возможно, историки фотографии как-нибудь и смогли бы помочь мне определить, по каким именно признакам сумел я дознаться, что воспоминание о безымянном, ни с чем не соотносимом лице восходит к 1930—1935 годам, а, скажем, не к 1945—1950. Сосед мой был едва ли не двойником человека, которого я знавал в Париже, но чьим? Собрата-писателя? Консьержа? Сапожника? Пуще, чем затруднительность поисков, донимала меня зыбкость их границ,

определяемых степенью различения “нюансов” и “ощущением” образа.

Я получил шанс — лишь сильнее меня раздразнивший — рассмотреть его повнимательнее, когда в конце полета мой дождевик, сорвавшись с крючка, упал на него, и он довольно любезно улыбнулся мне, выбираясь из-под неожиданного пробудителя. И еще раз я заметил мясистый профиль и кустистые брови, предъявляя для досмотра содержимое моего единственного чемодана и борясь с безумным желанием оспорить приемлемость формулировки в англоязычной части таможенной декларации: “...miniature graphics, slaughtered fowl, live animals and birds”[1].

Затем я видел его, но не так отчетливо, во время нашего переезда автобусом из одного аэропорта в другой по каким-то убогим пригородам Москвы — города, в котором я в жизни своей не бывал и которым интересовался примерно так же, как, скажем, Бирмингамом. Однако в самолете на Ленинград он опять оказался рядом со мной, на сей раз с внутренней стороны. Смешанные миазмы суровых стюардесс и “Красной Москвы” с постепенным возобладанием первого ингредиента по мере того, как наши голорукие ангелы умножали свои последние требы, сопровождали нас от 21.18 до 22.33. Дабы прояснить моего соседа прежде, чем он и его загадка исчезнут, я спросил у него по-французски, известно ли ему что-нибудь о живописной компании, погрузившейся в самолет в Москве. Он ответил с парижским grasseyement[2], что это, кажется, иранские циркачи, гастролирующие в Европе. Мужчины казались арлекинами в штатском, женщины — райскими птицами, дети — золотыми медальонами, и была среди них темноволосая, бледная красавица в черном болеро и желтых шальварах, которая напомнила мне Ирис или ее прототип.

— Надеюсь, — сказал я, — мы увидим их представление в Ленинграде.

---

[1] “...графические миниатюры, битая дичь, живые животные и птицы” *(англ.)*.

[2] Грассирование *(фр.)*.

— Пф! — отвечал он. — Куда им тягаться с нашим советским цирком.

Я отметил машинальное “нашим”.

Нас обоих поселили в “Астории”, уродливой громаде, выстроенной, по-моему, перед самой Первой мировой. “Люкс”, нашпигованный микрофонами (Гай Гейли обучил меня определять это с одного веселого взгляда) и оттого имевший сконфуженный вид с его оранжевыми шторами и оранжевым покрывалом на кровати, стоявшей в старосветском алькове, вмещал, как и было оговорено, ванную комнату, но мне потребовалось некое время, чтобы справиться с конвульсивным потоком глинистой с виду воды. Последним оплотом “Красной Москвы” оказался кусок багряного мыла. “Пища, — гласило извещение, — может быть подана в номер”. Черт меня дернул поверить и попытаться заказать ужин; ничего не вышло, и еще один голодный час я провел в несговорчивом ресторане. Железный Занавес — это, в сущности, абажур, и здешнюю его разновидность украшали стеклянные инкрустации в складной головоломке из лепестков. Сорок четыре минуты потребовались заказанной мной “котлете по-киевски”, чтобы добраться сюда из Киева, и две секунды — мне, чтобы отправить ее, как некотлету, назад с приглушенным проклятием (русским), от которого официантка дернулась и уставилась на меня и мою “Daily Worker”. Грузинское вино оказалось для питья непригодным.

Пока я поспешал к лифту, пытаясь припомнить, куда я засунул мои благословенные “Burpies” [“Рыгалки”], перед ним разыгралась прелестная сценка. Мускулистую румяную “лифтершу” с несколькими рядами бисерных бус на груди сменяла куда более старая женщина пенсионного вида, которой первая, покидая лифт, проорала: “Я тебе это попомню, стерва!” Следом она впоролась в меня, почти повалив на пол (я старичок крупный, но легкий, как пух). “Штой ты суешься под ноги?” — рявкнула она тем же наглым тоном, припоминая который ночная служительница тихо качала седой головой, пока мы поднимались к моему этажу.

В промежутке между двумя ночами, между двумя частями многосерийного сна, в котором я тщетно отыскивал

улицу Бел (чье название из суеверия, веками бытующего в конспиративных кругах, я попросил мне не открывать), отлично сознавая при этом, что Бел лежит, истекая кровью и хохоча, в алькове наискось через комнату, в нескольких босоногих шагах от моей кровати, — в промежутке я слонялся по городу, лениво пытаясь нажить какой-либо сентиментальный барыш на том обстоятельстве, что родился здесь почти три четверти века назад. То ли по неспособности города одолеть болото, на котором его выстроил всеми любимый громила, то ли по какой-то иной причине (никто, согласно Гоголю, не ведает по какой) Петербург был неподходящим для детей местом. Должно быть, я провел здесь незначащие доли нескольких декабрей и, несомненно, апрель-другой; но по крайности дюжина из девятнадцати моих докембриджских зим прошла на берегах Средиземного и Черного морей. Что же до летней поры, то все мои юные лета процвели в огромных поместьях, принадлежавших нашей семье. В итоге я с дурацким изумлением понял, что ни разу не видел родного города в июне или в июле — разве что на почтовых открытках (с видами приличных публичных садов, где липы глядят дубами, где фисташков розовый в памяти дворец и безжалостно раззолочены церковные купола — все это под итальянистым небом). Так что облик города не пробудил во мне трепета узнавания; то был незнакомый, если не вовсе чужой мне город, еще пребывавший в какой-то иной эпохе: неопределимой, не так чтобы совсем удаленной, но явно предшествующей изобретению дезодорантов.

Настала жара и осталась, и всюду, в туристических агентствах, в фойе, в ожидательных залах, в больших магазинах, в троллейбусах, в лифтах, на эскалаторах, в каждом проклятом коридоре, всюду, и особенно там, где работают или работали женщины, варился на невидимых плитах невидимый луковый суп. Пробыть в Ленинграде мне довелось только два дня, и привыкнуть к этим бесконечно печальным эманациям я не успел.

От путешественников я знал, что нашего старинного дома больше не существует, что самый проулок вблизи Фонтанки, в котором он стоял между двух улиц, утрачен

подобно некой связующей ткани в процессе органического вырождения. Что же наследовало ему, что могло пронзить мою память? Этот закат с триумфом бронзовых облаков и фламингово-красным таяньем в дальнем проеме арки на Зимней канавке я, верно, впервые увидел в Венеции. Что еще? Тень оград на граните? Если быть совершенно честным, мне показались знакомыми лишь собаки, голуби, лошади и очень дряхлые, очень кроткие гардеробщики. Они да еще, может быть, фасад дома на улице Герцена. Наверное, лет сто назад я ходил сюда на какие-то детские праздники. Узор из цветов, вьющийся над верхним рядом его окон, отозвался призрачной дрожью в корнях у крыльев, которые мы все отпускаем в такие минуты сновидных воспоминаний.

С Дорой мне предстояло встретиться в пятницу утром на площади Искусств перед Русским музеем, около статуи Пушкина, воздвигнутой лет десять назад комитетом метеорологов. В интуристовском проспекте имелась тонированная фотография этого места. Метеорологические ассоциации, вызываемые монументом, преобладали над культурными. Пушкин, в сюртуке, с правой полой, постоянно привздутой скорее ветром с Невы, чем вихрем лирического вдохновения, стоит, глядя вверх и влево, а правая его рука простерта в другую сторону, вбок, проверяя, как там дождь (вполне натуральная поза в пору, когда в ленинградских садах расцветает сирень). К моему приходу дождь сократился до теплой мороси, простого шепота в липах, над длинными парковыми скамьями. Доре полагалось сидеть налево от Пушкина, id est[1] от меня направо. Скамейки были пусты и выглядели мокроватыми. Трое-четверо ребятишек, сосредоточенных, тусклых, странно старообразных, что не редкость у советских детей, маячили по другую сторону пьедестала; не считая их, я прохлаждался здесь один, держа в правой руке "Humanité" вместо "Worker", коим мне полагалось неприметно сигналить, но коего я в этот день раздобыть не сумел. Я как раз расстилал газету на

---

[1] То есть *(лат.)*.

садовой скамье, когда по дорожке ко мне направилась дама с предсказанной хромотой. В пастельно-розовом, также ожидаемом, плаще, страдающая косолапостью, она шла, опираясь на крепкую трость. При ней еще был прозрачный маленький зонт, не фигурировавший в списке обязательных принадлежностей. Я сразу залился слезами (даром что был уже начинен пилюлями). Ее глаза, нежные и прекрасные, также были мокры.

Так я не получил телеграммы А. Б.? Отправленной два дня назад на мой адрес в Париже? Отель "Мориц"?

— Переврали название, — сказал я, — да и уехал я раньше. Пустое. Ей много хуже?

— Нет-нет, напротив. Я знала, вы все равно приедете, но тут у нас кое-что случилось. Во вторник, пока я была на работе, вернулся Карл и увез ее. И чемодан мой новый тоже увез. У него совершенно нет чувства собственности. Когда-нибудь его пристрелят, как простого воришку. Первые неприятности начались у него, когда он стал уверять всех, что Линкольн и Ленин — братья. А в последний раз...

Милая, говорливая женщина эта Дора. Что же у Бел за болезнь, в точности.

— Сибирское малокровие. А в последний раз он сказал лучшему своему ученику в языковой школе, что единственное, чем людям следует заниматься, — это любить друг друга и прощать врагам своим.

— Свежая мысль. А как по-вашему, где...

— Да, но ученик оказался доносчиком, и Карлуша провел целый год в тундровом доме отдыха. Не знаю, куда он ее теперь потащил. Даже у кого спросить, и того не знаю.

— Но должен же быть хоть *какой-то* способ выяснить это. Ее необходимо вернуть назад, вытянуть из этой ямы, из этого ада.

— Безнадежно. Она обожает Карлушу, преклоняется перед ним. C'est la vie[1], как выражаются немцы. Жаль вот, А. Б. просидит до конца месяца в Риге. Вы ведь с ним почти не знакомы. Да, очень, очень жаль, он чудак и душка

---

[1] Такова жизнь *(фр.)*.

и у него четыре племянника в Израиле, он говорит, что это похоже на "действующих лиц псевдоклассической драмы". Один из них был моим мужем. Жизнь иногда так усложняется, и вроде бы чем она сложней, тем должна быть счастливей, а на самом деле "осложнения" почему-то всегда означают грусть и тоску.

— Но послушайте, может быть, *мне* удастся что-нибудь сделать? Я мог бы потыкаться здесь, навести справки, может, даже обратиться в посольство за помощью...

— Она ведь больше не англичанка, а американкой и вовсе никогда не была. Я же вам говорю, безнадежно. Мы с ней были очень близки, в моей страшно усложнившейся жизни, но, представьте, Карл не позволил ей оставить для меня даже словечка, — ну и для вас, разумеется, тоже. К несчастью, она сообщила ему о вашем приезде, и он не смог этого вынести, при всех симпатиях, которые он в себе развивает к самым несимпатичным людям. А знаете, я в прошлом году видела ваше лицо в датском или в голландском журнале, и я бы вас сразу узнала, где угодно.

— И с бородой?

— Ой, да она вас ни капельки не изменила. Это как парики или зеленые очки в старых комедиях. Девочкой я мечтала стать клоунессой — "Мадам Байрон" или "Трек-Трек". Но скажите, Вадим Вадимович, — то есть господин Лонг, конечно, — они вас еще не раскрыли? Уж они бы носили вас на руках. Ведь вы, как-никак, — тайная гордость России. Вам разве уже пора?

Я отлепился от скамьи — с кусочками "'L'Humanité", увязавшимися за мной, — и сказал, что да, я лучше пойду, пока гордыня не превозмогла благоразумия. Я поцеловал ей руку, и она сказала, что видела это только в кино, в фильме "Война и мир". Я попросил ее также, под роняющей капли сиренью, принять пачку банкнот и потратить их как она пожелает, включая покупку нового чемодана для поездки в Сочи.

— И все мои английские булавки он тоже увез, — пробормотала она, улыбаясь этой ее улыбкой, от которой все становилось прекрасным.

3

Не могу с уверенностью сказать, что это не был опять мой попутчик, — тот черношляпый мужчина, припустивший прочь, едва я простился с Дорой и с нашим национальным поэтом, оставив последнего вечно печалиться о пустом переводе воды (сравни Царскосельскую Статую: утес и дева, что скорбит над разбитой, но не иссякающей урной в одном из его стихотворений); но совершенно уверен, что мсье Пф по крайности дважды попадался мне на глаза в ресторане "Астории", как равно и в коридоре спального вагона ночного экспресса, которым я выехал, чтобы попасть на самый ранний из рейсов Москва—Париж. В самолете ему помешало усесться рядом со мной присутствие американской старухи, рыжей, в фиолетово-красных морщинах: мы то забалтывались с ней, то задремывали, то попивали "Кровавого Мерина" — *ее* шутка, не принятая нашей небесно-голубой стюардессой. Приятно было видеть изумление мисс Хавмейер (фамилия почти невероятная) при моем рассказе о том, что я отверг предложение "Интуриста" совершить экскурсию по Ленинграду; что даже не заглянул в комнату Ленина в Смольном; не посетил ни одного собора; не отведал нечто, именуемое "цыпленком табака", и покинул этот прекрасный, *прекрасный* город, так и не побывав ни в балете, ни в оперетте.

— Дело в том, — объяснил я ей, — что я — агент трех разведок, а тут уж сами понимаете...

— О! — вскричáла она, откинувшись всем телом как бы затем, чтобы рассмотреть меня под более возвышенным углом. — О! Какая прэлесть!

Некоторое время мне пришлось дожидаться нью-йоркского самолета; я был немного на взводе и в общем доволен моей залихватской поездкой (в конце концов, Бел оказалась не так уж серьезно больна и не так уж несчастлива в браке; Розабель, конечно, сидела в гостиной и читала журнал, примеряя к своей ноге голливудские мерки: лодыжка — $8^1/_2$ дюйма, икра — $12^1/_2$ и $19^1/_2$ — кремовое бедро; а Луиза пребывала во Флоренции то ли Флориде). С замешкавшейся ухмылкой я приметил и подобрал книжку

в бумажной обложке, брошенную кем-то на соседнем сиденье в транзитной зале Орли. Судьба играла со мной, как кошка с мышкой, в тот приятный июньский день, между лавками — винной и парфюмерной.

В руках у меня оказался экземпляр формозовского (!) издания “Королевства у моря” в бумажной обложке, перепечатка с американского. Я еще не видел его — да предпочел бы и не вглядываться в оспу описок, несомненно обезобразившую краденый текст. Обложечное рекламное фото девочки-актрисы, в недавнем фильме сыгравшей мою Вирджинию, скорей отдавало должное Лоле Слоан с ее карамельной сладостью, чем замыслу моего романа. Впрочем, текст на задней обложке мягкого томика, хоть и неряшливо сляпанный поденщиком, не заподозрившим в книге какого-либо художества, довольно верно следовал фактической фабуле моего “Королевства”.

Бертрам, неуравновешенный юноша, обреченный на скорую смерть в заведении для криминальных безумцев, за десять долларов продает свою десятилетнюю сестричку Джинни холостяку средних лет Элу Гардэну, богатому поэту, который разъезжает с прелестной малышкой от одного курорта к другому — по всей Америке и прочим странам. Положение, которое на первый, стыдливый взгляд — именно на стыдливый! — представляется явным проявлением безответственного извращения (описанного в блестящих подробностях, на которые до сих пор никто не отваживался), поступенно (опечатка) *преобразуется в подлинный диалог нежной любви. Чувства Гардэна разделяются Джинни, прежней его “жертвой”, и, достигнув восемнадцати, она, нормальная нимфа, сочетается с ним в сочувственно описанном религиозном обряде. Вроде бы все завершилось на ять* (sic!), *своего рода вечным блаженством, способным удовлетворить сексуальные требования самого ригидного, или фригидного гуманиста, если бы ни трагическая дуля* (доля?) *безутешных родителей Вирджинии Гардэн, — затертых в толпе* (толпе?) *параллельных жизней, хаотично текущих вдали от гнездышка нашей счастливой четы, — Оливера и* (?), *которым умный автор всеми подвластными ему средствами мешает выследить и заловить* (sic!!) *их дочурку. Кандидат на звание “Книга Декады”.*

Я сунул ее в карман, приметив, что мой потерявшийся было попутчик, уже привычно козлобородый и черношляпый, вышел из бара или уборной: он что же, потащится за мною в Нью-Йорк или это наша последняя встреча? Последняя, последняя. Он выдал себя: в тот миг, как он подошел, в миг, как он, напряженно выпячивая нижнюю губу, открыл рот и, грустно покачав головой, воскликнул "Эх!", я понял не только что он такой же русский, как я, но что давним знакомцем, которого он мне так сильно напоминал, был отец молодого поэта Олега Орлова, с которым я в двадцатых встречался в Париже. Олег писал "стихотворения в прозе" (много спустя после Тургенева), совсем никудышные, которые отец его, полоумный вдовец, все пытался "пристроить", изводя дрянными изделиями сына дюжину примерно периодических эмигрантских изданий. Его можно было видеть в приемной жалостно пресмыкающимся перед замотанным и резким секретарем, или пытающимся перехватить помощника редактора на пути от уборной до кабинета, или в стоической горести пишущим на краешке захламленного стола особливое послание, отстаивая достоинства какого-нибудь страховидного, уже отвергнутого стишка. Он умер в том же доме для престарелых, где провела свои последние двадцать лет мамаша Аннетт. Той порою Олег пристроился к небольшому числу "литераторов", решившихся выторговать за суровую свободу экспатриации красную муть советской похлебки. Сбылись все обещания его юной поры. Наивысшим его достижением за последние лет сорок или пятьдесят стало месиво пропагандистских поделок, коммерческих переводов, злобных обличений и — в сфере искусств — чудовищное уподобление папаше физическим обликом, голосом, повадкой и раболепным бесстыдством.

— Эх! — воскликнул он. — Эх, Вадим Вадимович, дорогой, и не стыдно тебе обманывать нашу великую, добродушную страну, снисходительное, доверчивое правительство, изнуренных тружеников "Интуриста", и все так гаденько, по-детски! Русский писатель! Вынюхивает! Инкогнито! Кстати, я — Олег Игоревич Орлов, мы встречались в Париже, когда были молоды.

— Чего же ты хочешь, мерзавец? — холодно осведомился я, меж тем как он плюхнулся в кресло рядом со мной.

Жестом "я безоружен" он поднял обе руки:

— Да, ничего, ничего. Разве вот — потормошить твою совесть. Мы ведь оказались на распутье. Пришлось выбирать. Самому Федор Михайловичу [?] пришлось выбирать. То ли принять тебя по-американски — репортеры, интервью, фотографы, девушки, цветы и, натурально, сам Федор Михайлович [Президент Союза писателей? Глава "Большого Дома"?]; то ли вообще тебя не заметить, — как мы и сделали. Кстати сказать: поддельные паспорта, может, и хороши в детективах, а наших людей паспорта просто не интересуют. Ну, не стыдно тебе теперь?

Я привстал, как бы намереваясь пересесть, но привстал и он, как бы сопровождая меня. В итоге я остался на месте и лихорадочно ухватился за первое чтиво, какое попалось под руку, — за эту самую книжку из кармана моего пиджака.

— Et ce n'est pas tout![1] — продолжал он. — Вместо того чтобы писать для нас, твоих соотечественников, ты, талантливый русский писатель, предаешь нас, стряпая для своих толстосумов вот *это* (и он указал театрально трясущимся пальцем на "Королевство у моря" в моих руках), вот этот похабный романчик о маленькой Лоле не то Лотте, которую изнасиловал, убив ее мать, — ах, простите, *женившись* на маме, прежде чем ее укокошить, — какой-то австрийский еврей или раскаявшийся педераст, — мы ведь на Западе все норовим узаконить, верно, Вадим Вадимович?

Все еще сдерживаясь, но ощущая, как сгущается в мозгу неподвластная мне туча черного гнева, я сказал:

— Ты ошибаешься. Ты попросту темный дурак. Роман, который я написал и который сейчас держу в руках, — это "Королевство у моря". А ты говоришь о какой-то совершенно другой книге.

— Vraiment?[2] А может, ты посетил Ленинград просто ради того, чтоб покалякать под сиренью с дамочкой в розовом? Потому что, — знаешь? — и ты, и твои друзья — вы

---

[1] И это еще не все! *(фр.)*

[2] Да неужели? *(фр.)*

все феноменально наивны. Причина, по которой мистер (что срифмовалось с "Easter"[1] в его нечистых змеиных устах) Ветров получил разрешение оставить некий трудовой лагерь в Вадиме — странное совпадение, — и забрать к себе жену, в том-то и состоит, что он наконец излечился от своей мистической мании, а уж пользовали его такие умельцы, такие лекари, какие и не снились шарлатанской философии вашего Запада. Да уж, драгоценный Вадим Вадимович...

Удар, нанесенный мной старику Олегу тыльной стороной левого кулака, оказался довольно внушительным, особенно если вспомнить, — а я, пока замахивался, вспомнил, — что совокупный наш возраст составляет сто сорок лет.

За ударом последовала пауза, во время которой я с трудом поднимался на ноги (непривычный импульс каким-то образом вывалил меня на пол из кресла).

— Ну, дали в морду. Ну, так что ж? — промямлил он. Кровь испятнала платок, приложенный им к толстому мужицкому носу.

— Ну, дали, — повторил он и потащился прочь.

Я посмотрел на свои костяшки. Красны, но невредимы. Прислушался к запястным часам. Часы колотились, точно безумные.

---

[1] "Пасха" *(англ.)*.

Часть шестая

1

Кстати о философии, — начав прилаживаться, совсем ненадолго, к углам и закоулкам Квирна, я вспомнил, что где-то у меня в кабинете валяется кипа заметок ("О сути пространства"), приготовлявшихся поначалу для описания моих юных дней и бредней (книга, известная ныне под именем "Ардис"). Да и вообще следовало разобрать и удалить из кабинета или безжалостно уничтожить кучу всякой всячины, накопившейся с тех еще пор, как я начал преподавать.

Во второй половине того сентябрьского дня, солнечного и ветреного, я решил, с безотчетной внезапностью истинного вдохновения, что 1969—1970 учебный год должен стать для меня последним в Квирнском университете. Я даже прервал мой послеполуденный отдых, чтобы потребовать немедленной встречи с деканом. По-моему, голос его секретарши звучал в телефоне немного сварливо; я, правда, отказался от каких-либо заблаговременных пояснений и только поведал ей тоном непринужденной шутливости, что цифра "7" всегда напоминала мне флаг, вонзенный исследователем в черепную коробку Северного Полюса.

Отправясь в путь пешком и достигнув седьмого тополя, я сообразил, что, наверное, придется забрать из кабинета порядочную груду бумаг, и вернулся домой за машиной, а потом еле-еле приткнул ее у библиотеки, куда намеревался вернуть многое множество книг, задержанных мною на месяцы, если не на годы. В итоге я несколько запоздал к декану, человеку у нас новому и не из лучших моих читателей. Он с некоторой нарочитостью посмотрел на часы и пробормотал, что через несколько минут у него "заседание" в каком-то ином месте, всего вернее выдуманное.

Меня скорей позабавила, чем подивила вульгарная радость, которую он не потрудился скрыть, услышав о моей отставке. Едва ли он прислушался к перечислению причин, приведенных мной в угоду общепринятой вежливости (частые мигрени, скука, развитие техники звукозаписи, уютный доход, доставленный моим последним романом, и прочее). Вся повадка его переменилась, — если прибегнуть к штампу, вполне им заслуженному. Он расхаживал по кабинету взад и вперед, положительно сияя от счастья. В грубом порыве душеизъявления он ухватил меня за руку. Кое-кто из разборчивых, голубокровных животных предпочитают пожертвовать хищнику конечностью, чем выносить его низменные прикосновения. Я покинул декана, обремененного мраморной дланью, которую он, надрываясь, мыкал туда и сюда, будто поднос со спортивными призами, не зная, где бы ее пристроить.

Итак, я прошагал к себе в кабинет — радостный ампутант, пуще прежнего жаждущий очистить полки и ящики. Впрочем, начал я с того, что набросал письмо к ректору, еще одному новичку, известив его с оттенком скорее французской malice[1], чем английской, что весь мой курс из сотни лекций по “Европейским Шедеврам” будет вот-вот запродан щедрому издателю, предложившему вперед полмиллиона зелененьких (здоровое преувеличение), что, в свой черед, делает невозможным дальнейшее распространение этого курса среди студентов, с наилучшими пожеланиями, сожалею, что не привелось познакомиться.

Из соображений моральной опрятности я давным-давно избавился от моего бехштейнообразного письменного стола. Его значительно более скромный заместитель содержал бумагу для писем, бумагу для письма, официальные конверты, фотокопии моих лекций, экземпляр романа “Dr Olga Repnin” (в твердой обложке), назначавшийся мной для коллеги, но испорченный ошибкой в написании имени, да чету теплых перчаток, принадлежащих моему ассистенту (и преемнику) Экскулу. Еще там имелись три полных коробки скрепок и початая фляжка виски. С полок

---

[1] Злая насмешка *(фр.)*, злоба, злой умысел *(англ.)*.

я смел в корзину для бумаг и на пол вблизи нее кипы циркуляров, разрозненные оттиски, статью перемещенного эколога касательно опустошений, учиненных какой-то птичкой по имени “озимая совка” (“Lesser Winter-Crop Owl”?), и опрятно переплетенные гранки (мои всегда приходили в обличии длинных, жутко скользких и неподатливых змей) полной натужных каламбуров авантюрной дребедени, присылаемой мне гордыми издателями в надежде на восторженный отзыв везучего сукина сына. Пребывавшую в беспорядке деловую переписку и мой трактатик насчет пространства я упихал в толстую драную папку. Прощай, ученое логово!

В беллетристике заурядной совпадение есть шулер и сводник, но оно — дивный художник, когда дело идет о рисунке событий, вспоминаемых незаурядным мемуаристом. Одни лишь ослы и гусыни думают, будто автор воспоминаний опускает какие-то куски своего прошлого потому, что они тусклы или никчемны (возьмите хоть эпизод с деканом — он именно этого рода, а как тщательно выписан!). Я направлялся к стоянке машин, когда пухлая папка у меня подмышкой — как бы заменившая руку — прорвала бечеву и раскидала свое содержимое по гравию и мураве обочины. По той же тропинке кампуса из библиотеки шла ты, и мы присели бок о бок, собирая бумажки. Тебя опечалил, сказала ты после (“жалостно было”), винный запах, выдыхаемый мной. Таким великим писателем.

Я говорю “ты” ретросознательно, ведь по логике жизни ты не была еще “ты”, мы и знакомы-то толком не были, и по-настоящему ты стала “ты” лишь когда, поймав желтоватый листок, норовивший воспользоваться порывом ветра и с напускным безразличием улизнуть, сказала:

“Как бы не так”.

Сидя на корточках и улыбаясь, ты помогла мне затиснуть все обратно в папку и после спросила — как моя дочь? — лет пятнадцать назад вы были с ней одноклассницами, а жена моя несколько раз подвозила тебя до дому. И тут я вспомнил, как тебя звали, и в небесном проблеске фотовспышки увидел Бел и тебя, похожих, в синих пальто и

белых шляпках, на близнецов и в безмолвной взаимной ненависти ожидающих, когда Луиза куда-то вас отвезет. 1 января 1970 года Бел и тебе исполнялось двадцать восемь лет.

Желтая бабочка ненадолго приникла к головке клевера и унеслась вместе с ветром.

— Метаморфоза, — сказала ты на твоем прелестном, изысканном русском.

Не хотел бы я получить несколько снимков (дополнительных снимков) Бел? Бел, кормящей бурундучка? Бел на школьном балу? (О, этот танец я помню, она избрала партнером печального, толстого мальчика-венгра, чей отец был помощником управляющего в "Куильтон-отеле", — я и сейчас еще слышу, как всхрапнула Луиза!)

На другое утро мы встретились в моей кабинке в книгохранилище университетской библиотеки, а уж после я виделся с тобой каждый день. Я не хочу уверять (уверенья не годны для СНА), что лепестки и оперения моих прежних любовей тускнели или грубели в прямом сравнении с чистотой твоего существа, с твоим волшебством, гордостью, с реальностью света, который исходил от тебя. Здесь главное слово — "реальность" — и постепенное постижение этой реальности для меня оказалось почти роковым.

Я лишь исковеркал бы реальность, возьмись я рассказывать здесь, *что* знаешь ты, *что* знаю я, чего никто больше не знает, о чем никогда, никогда не пронюхает фактолюбивый, грязнопытливый, грязнопотливый биографоман. Нуте-с, как протекает ваша интрижка, мистер Блонг? Заткнись, Хам Годман! А когда вы порешили вместе смыться в Европу? Будь проклят, Хам!

"См. также 'Реальность'", мой первый английский роман, тридцать пять лет назад!

Впрочем, один предметик недочеловеческого интереса я могу осветить в этой беседе с потомками. Глупый, неловкий пустяк, я никогда тебе о нем не рассказывал, ну так вот он. Дело было перед самым нашим отъездом, марта примерно 15-го 1970 года, в нью-йоркском отеле. Ты ушла за покупками. ("Помнится, — ответила ты сейчас, когда я попробовал уточнить эту подробность, не говоря тебе, зачем

она мне. — Помнится, я купила замечательный голубой чемодан с молнией, — изображая ее легким движением милой, нежной руки, — но он нам не пригодился".) Встав перед зеркалом шкапа в спальне на северной оконечности нашего симпатичного "люкса", я попытался принять окончательное решение. Ладно, я не могу жить без тебя, но достоин ли я тебя, — то есть телом и духом? Я старше на сорок три года. "Гримаса старости" — две глубоких канавки, образующих заглавную лямбду, спадают между бровей. Лоб, с тремя продольными складками, ни в каких чрезмерных поползновениях за последние тридцать лет не замеченными, оставался округлым, просторным и гладким, ожидающим, когда летний загар залессирует, я был в этом уверен, старческую корицу на висках. В общем, такое чело приятно сбирать в складки и, лаская, разглаживать. Основательная стрижка покончила с львиными локонами; то, что осталось, имело неопределенный, седовато-бурый оттенок. Большие, красивые очки увеличивали старческую россыпь похожих на бородавки наростиков под нижними веками. Глаза, когда-то неотразимые, иззелена-карие, стали теперь буро-зелеными. Нос, унаследовавший от череды русских бояр, немецких баронов и, быть может (если граф Старов, щеголявший толикой английской крови, действительно был мне отцом), по меньшей мере от одного пэра Англии, сохранил костистую горбинку и заиндевелый кончик, но мясистый выступ его обзавелся, на памяти обладателя, досадными седыми волосинками, отраставшими все быстрее после каждой прополки. Зубные протезы, нечестные по отношению к моим прежним, привлекательно неровным зубам, "казалось, не замечали моей улыбки" (так я сказал дорогому, но недалекому дантисту, не понявшему, о чем я толкую). От крыльев носа шло уклоном по борозде, а подчелюстные мешочки, отвисавшие по сторонам подбородка, образовывали при повороте в три четверти банальный выгиб, общий у стариков всех рас, классов, профессий. Я сомневался, не зря ли я сбрил роскошную бороду и нарядные усы, которые на пробу сохранял с неделю примерно после возвращения из Ленинграда. При всем том я счел лицо выдержавшим экзамен — на три с минусом.

Так как чрезмерной атлетичностью я отроду не отличался, износ моего тела не был ни особенно заметен, ни особенно интересен. Телу я поставил три с плюсом, в основном за успешное отражение приступов брюшного жирка в войне с тучностью, ведомой с середины пятидесятых с перерывами для отхода и отдыха. Если забыть о начальной стадии слабоумия (проблеме, с которой я предпочитал разбираться отдельно), здоровье мое с ранней юности оставалось отменным.

Ну, а что же мое искусство? Здесь что я могу тебе предложить? Ты изучала, и я надеялся, еще помнила об этом, Тургенева в Оксфорде и Бергсона в Женеве, но, благодаря семейной привязанности к старому доброму Квирну и к русскому Нью-Йорку (где последний из эмигрантских журналов еще продолжал с идиотскими выпадами печалиться о моем "отступничестве"), ты, как я обнаружил, шла почти по пятам процессии моих русских и английских арлекинов, преследуемых парой тигров с алыми языками и девочкой-стрекозой верхом на слоне. Ты изучила и те устарелые фотокопии, — доказав, что, в конце-то концов, мой метод avait du bon[1], при всех чудовищных обвинениях, предъявляемых ему сворой профессоров из завидущих университетов.

Вглядываясь, совершенно голый, исполосованный опаловыми лучами, в другое, куда более глубокое зеркало, я видел череду моих русских книг и испытывал от увиденного удовлетворение, даже трепет: "Тамара", мой первый роман (1925), — девушка на заре посреди мглистого сада. Преданный гроссмейстер в "Пешка берет королеву". "Полнолуние" — лунный разлив стихов. "Камера люцида" — насмешливый глаз соглядатая за смиренной шторой. "Красный цилиндр" отрубленной головы в стране тотального неправосудия. И лучший в череде: молодой поэт, пишущий прозу в "Подарке Отчизне".

Эта стопа моих русских книг была завершена и подписана и задвинута назад, в разум, их породивший. Все они постепенно перевелись на английский язык либо мною,

---

[1] Имел свои достоинства *(фр.)*.

либо под моим присмотром, либо с моими поправками. Окончательные английские версии, равно как и переиздания подлинников, будут отныне посвящаться тебе. Хорошо. Это улажено. Следующая картинка:

Английские подлинники с неистовым "See under Real" (1940) во главе, ведомые сквозь изменчивый свет "Esmeralda and Her Parandrus" к веселью "Dr Olga Repnin" и грезе "A Kingdom by the Sea". Тут же и сборник рассказов "Exile from Mayda", изгнанье с далекого острова, и "Ardis", над которым я снова начал работать в пору нашего знакомства и лавины почтовых открыток (открыток!) от Луизы, наконец-то намекавших на шаг, который я хотел, чтобы она сделала первой.

Если я и ценю эту стопку ниже, чем первую, то не из одной только скромности, которую иные назвали бы робкой, иные похвальной, а сам я — трагической, но также и потому, что контуры моей американской продукции представляются мне размытыми, ибо меня не покидает надежда на *новую* книгу — не ту, которую пишу в настоящем, как, скажем, "Ардис", — но книгу, мною еще не испытанную, волшебную, небывалую, которая утолит наконец вожделение и томящую жажду, все, чего не смогли утолить разрозненные абзацы "Эсмеральды" и "Королевства". Я знал, что могу положиться на твое терпение.

2

У меня не было ни малейшего желания поквитаться с Луизой за то, что она меня волей-неволей бросила, и я колебался, стоит ли ставить ее в неловкое положение, передавая моему адвокату список ее измен. Измены эти отличались глупостью и убожеством и восходили к тем дням, когда еще я оставался ей верен — в разумных пределах. "Диалог о разводе", как ужасно именовал его Горацио Пеппермилл-младший, затянулся на всю весну: часть ее мы с тобой провели в Лондоне, а остаток — в Таормине, и я все откладывал разговор о *нашей* женитьбе (проволочки, к которым ты относилась с царственным безразличием).

По-настоящему меня беспокоила лишь отсрочка тягостного признания (предстояло повторить его в четвертый раз за всю мою жизнь), которым следовало предварить любой разговор на эту тему. Я просто кипел от гнева. Стыд и позор — оставлять тебя в неведении относительно моего помешательства.

Совпадение, уже упомянутый прежде ангел с глазчатыми крылами, избавило меня от унизительного пустозвонства, предаваться которому я почитал обязательным перед тем, как сделать предложение каждой из моих прежних жен. 15 июня в Гандоре, Тессин, я получил письмо от молодого Горацио, а в нем — превосходную новость: Луиза узнала (*как*, не важно), что в различные периоды нашего супружества за нею, слонявшейся по всякого рода чарующим старинным городам, приглядывал приставленный мною частный сыщик (Дик Кокбурн, испытанный старый друг); что в руках моего поверенного находятся магнитофонные записи ее телефонных разговоров с любовниками и иные документы и что она готова пойти на любые уступки, лишь бы ускорить дело, так как торопится вновь выскочить замуж — на сей раз за графского сына. И в этот же судьбоносный день, в четверть шестого пополудни, я завершил перенос на семьсот тридцать третью среднего размера карточку бристольского картона (примерно по сто слов каждая) — тонким пером и мельчайшим из моих чистовых почерков, — "Ардиса", стилизованных воспоминаний об отрочестве, проведенном под древесными сводами, и о пылкой юности великого мыслителя, который к концу книги берется за разрешение самой свербящей из ноуменальных загадок. Одна из первых глав содержит отчет (передаваемый с явственно личной, нестерпимо мучительной интонацией) о собственных моих бореньях с Призраком Пространства и с мифом о "странах света".

К 5.30 я поглотил, на своего рода приватном праздновании, большую часть икры и все шампанское, какое было в дружелюбном рефриджераторе нашего бунгало, стоявшего на зеленом газоне "Палас-отеля" Гандоры. Я отыскал тебя на веранде и сказал, что было б неплохо, если бы ты посвятила ближайший час тому, чтобы внимательно прочесть...

— Я все читаю внимательно.

— ...вот эти тридцать карточек из "Ардиса". — После чего, полагал я, ты могла бы встретить меня где-нибудь при возвращении с моей предвечерней прогулки: всегда все той же — к фонтану spartitraffico[1] (десять минут), а оттуда — к ограде соснового питомника (еще десять минут). Я оставил тебя откинувшейся в шезлонге, с солнцем, рисующим на полу аметистовые ромбы верандовых окон, полосующим голые голени и предплюсны твоих перекрещенных ног (правый носок теперь время от времени вздрагивал в замысловатой связи с темпом усвоения или поворотами текста). Через несколько минут тебе откроется (как до тебя открылось лишь Ирис — прочие орлицами не были) то, что ты должна, по-моему, сознавать, соглашаясь стать мне женой.

— Поосторожней на перекрестках, пожалуйста, — сказала ты, не поднимая глаз, но сразу же подняла и нежно надула губы перед тем, как вернуться к "Ардису".

Ха! Малость качает! Ужели это и вправду я, князь Вадим Блонский, перепил в 1815-м пушкинского ментора, Каверина? В золотистом свете выпитой мною кварты — всего лишь — все деревья гостиничного парка глядели араукариями. Я поздравил себя с чистотой стратагемы, впрочем не вполне сознавая, думаю ль я о записях любовных резвлений моей третьей жены или об изъяснении собственной моей немощи через посредство этого фрукта из книги. Мало-помалу пряный и тихий воздух приводил меня в чувство: подошвы тверже ложились на гравий и песок, на глину и камень. Я вдруг обнаружил, что отправился на прогулку в сафьяновых шлепанцах и выцветшей бумажной пижаме, имея, как это ни парадоксально, паспорт в одном нагрудном кармане и ком швейцарских банкнот в другом. Жители Гандино или Гандоры, или как он там назывался, знали автора "Un regno sul mare", или "Ein Königreich an der See", или "Un Royaume au Bord de la Mer"[2] в лицо, и потому приготавливать для читателя и улику и лакомство

---

[1] Островок пешехода *(ит.)*.

[2] "Королевство у моря" *(итал., нем., фр.)*.

на случай, если меня все же задавит машиной, было полной бессмыслицей.

Скоро меня обуяли такие веселие и беспечность, что, проходя мимо уличного кафе, что перед самой площадью, я подумал, как было бы славно подкрепить шипучую радость, еще вскипающую во мне, стопочкой чего-нибудь этакого, — но отогнал эту мысль и с безучастным видом проследовал мимо, зная, как мягко, но непреклонно ты осуждаешь и невиннейшее винопийство.

Одна из улиц, ведущих от пешеходного островка на запад, пересекала Корсо Орсини и сразу, как бы свершив изнурительный подвиг, вырождалась в мягкую, пыльную, старую дорогу с остатками травяной прорости по обеим сторонам, но без всякого тротуара.

Я мог бы сейчас сказать то, чего и побуждения высказать не упомню за многие годы: я был совершенно счастлив. На ходу я читал карточки вместе с тобой, в твоем темпе, с твоим прозрачным указательным пальцем у моего шершавого, шелушащегося виска, с моим морщинистым пальцем у твоей бирюзовой височной вены. Я ласкал фацеты карандаша, который ты нежно вращала перстами, я ощущал прижатую к моим приподнятым коленям сложенную шахматную доску, пятидесятилетнюю, подаренную Никифором Старовым (большинство благородных фигур в устланном байкой ящичке красного дерева вконец исщербились!), лежащую сейчас у тебя на расшитом ирисами подоле. Глаза мои перемещались вместе с твоими, мой карандаш вместе с твоим выражал бледным крестиком на полях недоверие солецизму, не различенному мной сквозь слезы пространства. Счастливые, светозарные, бесстыдно счастливые слезы!

Обормот-мотоциклист в совиных очках, который, как я полагал, видит меня и должен притормозить, позволив мне мирно перейти Корсо Орсини, заворотил, дабы не прикончить меня, так неуклюже, что его понесло и после позорных вихляний установило в некотором отдалении, развернув ко мне лицом. Не внимая его разъяренному реву, я продолжал степенно ступать на запад в изменившемся окружении, мною уже упомянутом. Почти проселочная

старая дорога кралась между скромными виллами — каждая в собственном гнездышке из высоких цветов и широколистых деревьев. Картонный прямоугольник на одной из западных калиток сообщал по-немецки: “Комнаты”, на другой стороне старая сосна несла итальянское извещение: “Продается”. И тоже слева образованный домовладелец предлагал по-английски “Завтраканья”. Зеленая аллея pineta[1] оставалась пока в отдалении.

Я вновь обратился мыслями к “Ардису”. Я знал, что странный изъян ума, о котором ты читаешь сейчас, причинит тебе боль; я знал также, что выставленье его напоказ — это простая формальность с моей стороны, неспособная помешать естественному течению нашей общей судьбы. Жест джентльмена. В сущности, я искуплял им то, о чем ты тоже еще не знаешь, о чем придется тебе рассказать и что ты, боюсь, назовешь “гнусноватеньким способом” воздаянья Луизе. Ну хорошо, — а сам-то “Ардис”? Побоку мой покоробленный разум, — “Ардис” тебе понравился или же показался гадок?

Сочиняя, как я это делаю, целые книги в уме, прежде чем отпустить на волю скрытое во мне слово и перенести его, карандашом или пером, на бумагу, я обнаружил, что окончательный текст застревает на какое-то время в памяти, явственный и совершенный, словно пловучий отпечаток, оставляемый на сетчатке электрической лампочкой. Потому-то и удавалось мне вновь вызывать осязаемые образы тех карточек, которые ты читала: они проецировались на экран моего воображения вместе с блеском топаза в твоем кольце и биеньем твоих ресниц, и я мог высчитать, как далеко ты вчиталась, не просто взглянув на часы, но действительно прослеживая строку за строкой до правого края каждой из карточек. Ясность образа соотносилась с качеством письма. Ты слишком хорошо знала мое творчество, чтобы сердиться на слишком забористую эротическую деталь или раздражаться, встретив слишком туманный литературный намек. Я блаженствовал, *так* читая “Ардис” вместе с тобой, я торжествовал над клочком красочного

---

[1] Сосны *(ит.)*.

пространства, отделяющим мой проулок от твоего кресла. Ну, разве я не превосходный писатель? Превосходный. Ту аллею сирени и статуй, где мы с Адой начертили на пестром песке первые наши круги, воссоздал и запечатлел художник неизбывных достоинств. Ужасная мысль, что даже "Ардис" — интимнейшая из моих книг, пропитанная реальностью, полная солнечных бликов, — может оказаться неосознанным подражанием неземному искусству другого писателя, *эта* мысль пусть явится после; сейчас — в 6 часов 18 минут пополудни, 15 июня 1970 года, в Тессине — ничему не дано было возмутить глубокого, влажного блеска моего ликования.

Я достиг уже конечной точки моей обычной предтрапезной прогулки. Сквозь неподвижную листву неслось из окна "тра-та-та, та-та, так" машинистки, добивавшей последнюю страницу, приятно напоминая мне, что я давно уже сторонюсь тяжких трудов перепечатывания моих безукоризненных манускриптов, которые можно превращать в фотокопии за несколько жужжащих минут. Главная маета с преобразованием моего почерка прямо в печатные знаки доставалась теперь издателю; я знаю, он не любил этой процедуры, — вот как благовоспитанный энтомолог испытывает отвращение, обнаружив, что некое беззаконное насекомое проскакивает ряд положенных стадий метаморфозы.

Несколько шагов — двенадцать, одиннадцать, — и я поверну назад; я ощущал в обратной перспективе восприятия, что и ты думаешь об этом, и испытал как бы спад духовного напряжения, указавший мне, что ты дочитала те тридцать карточек, и сложила их по порядку, и сравняла стопку, пристукнув ею об столик, и, взяв лежавшую тут же в форме сердца резинку, обтянула ею карточки, и снесла их ко мне на письменный стол, а теперь готовишься встретить меня на обратном пути к "Гандора-Палас".

Низкая, серого камня стена, высотою по пояс, толщиною в живот, выстроенная в виде поперечного парапета, приканчивала всякую прыть, еще сохранившуюся у дороги от прежней жизни, жизни городской улицы. Узкая прореха для пешеходов и велосипедистов разделяла парапет посередке, и ширина этой щели сохранялась за нею тропинкой,

которая, раз-другой вильнув, ускользала в густенький молодой сосняк. Множество раз мы с тобой бродили там серыми утрами, когда берега — озера ли, пруда — теряют всю привлекательность, но этим вечером я, как обычно, остановился у парапета и стоял в совершенном покое, лицом к низкому солнцу, ладонями раскинутых рук нежа гладкость гранита по сторонам от прохода. Это ли осязательное ощущение или недавнее “тра-та-та” вернуло и завершило образ моих семисот тридцати трех, двенадцати на десять с половиною сантиметровых бристольских карточек, которые ты еще прочитаешь главу за главой, и твое упоение, парапет упоения, позволит мне завершить выполненье моей задачи: в уме у меня возник наделенный четкой компактностью всякой массивной вещи — алтарь! столовая гора! — образ сияющего фотокопировального снаряда в одной из служебных комнат нашей гостиницы. Мои доверчивые руки оставались еще раскинутыми, но подошвы уже не чуяли мягкой земли. Я хотел вернуться к тебе, к жизни, к аметистовым ромбам, к карандашу на верандном столе — и не мог. То, что так часто случалось в воображении, теперь случилось всерьез: я не мог повернуться. Выполнить это движение — значило поворотить мир на его оси, а это было так же невозможно, как совершить во плоти переход из настоящей минуты в прошедшую. Может быть, мне не стоило так пугаться, может быть, стоило спокойно ждать мига, когда камни моих конечностей снова примется покалывать жизнь. Но я — или мне это почудилось — неистовым рывком крутнулся назад, — и глобус не дрогнул. Наверное, я еще ненадолго завис с раскинутыми руками, прежде чем навзничь грянуть о неосязаемую землю.

Часть седьмая

1

Существует старое правило — такое старое и банальное, что мне совестно и напоминать-то о нем. Позвольте мне сделать из него стишок, — чтобы стилизовать его затхлость:

Веди рассказ от первого лица
И доживешь до самого конца.

Я, разумеется, говорю о серьезных романах. В так называемых Planchette-Fiction[1] невозмутимый рассказчик, описав собственную кончину, вполне способен продолжить: "Я обнаружил, что стою на ониксовой лестнице перед огромными золотыми вратами в толпе других лысоватых ангелов..."

Карикатура, фольклорный сор, смешное атавистическое почтение к драгоценным минералам!

И все-таки...

И все-таки я понимаю, что за три недели общего полупаралича (если то был полупаралич) я приобрел некоторый опыт; что когда моя ночь настанет всерьез, я не буду уже совершенно неподготовленным. Проблему личности удалось если не решить, то хотя бы поставить. Мне было даровано художническое озарение. Мне было дозволено взять мою палитру с собой в весьма удаленные области смутного и сомнительного бытия.

Скорость! Если б я мог дать свое определение смерти остолбенелому рыболову, косарю, замершему, вытирая косу пучком травы; мотоциклисту, в ужасе хватающемуся за ивовое деревце на луговом бережку и все равно улетающему вместе с подружкой и мотоциклом на верхушку сто-

---

[1] Планшеточная литература *(фр., англ.)*.

ящего за рекой куда более высокого дерева; вороным лошадям, которые, совсем как люди с наставными зубами, пялились на меня, пока я стремительно мчал над ними, — я бы выкрикнул одно только слово: Скорость! Не то чтобы эти сельские зрители и вправду существовали. Ощущение огромной, невыразимой и, по правде сказать, довольно глупой и унизительной скорости (смерть глупа, смерть унизительна) пришлось бы передавать в совершенную пустоту — без единого удаляющегося удильщика, без единой травинки, окровавленной его уловом, вообще без единой зацепки. Представьте себе, как я, старый господин, знаменитый писатель, стремглав качу на спине вслед за моими же растопыренными, мертвыми ногами, — сквозь брешь в граните, через сосновую рощу, через туманные заливные луга, а после просто между пластами тумана, все дальше, дальше, — вообразите себе эту картину!

С самого детства безумие, затаясь, поджидало меня за тем или иным валуном или кленом. Со временем я привык к сепиевому взору этих внимательных глаз, ровно следующих вдоль моего пути. И все же я знал безумие не только в обличье зловещей тени. Оно являлось мне и как всплеск упоения, такого полного и пронзительного, что само отсутствие непосредственного объекта, на который я мог бы его излить, оказывалось для меня своего рода спасением.

Для практических целей — вроде поддержания тела и духа в состоянии заурядного равновесия, позволяющего не подвергать свою жизнь опасности и не обращаться в обузу для друзей и правительств, — я предпочитал латентную разновидность моего соглядатая, в которой страх перед ним проявлялся в лучшем случае как укол невралгии, бедствие бессонницы, битва с неживыми вещами, никогда не скрывавшими, до чего они меня ненавидят (беглая пуговица, *снисходящая* до того, чтобы ее отыскали, бумажный зажим, вороватый раб, которому мало удерживать вместе два унылых письма, он еще норовит подцепить драгоценный листок из иной стопки бумаг), а в худшем — внезапным спазмом пространства, обращающим, скажем, посещение зубного врача в водевильную вечеринку. Кашу и муть этих приступов я предпочел разноцветью безумия, которое,

притворно украсив мое бытие особыми формами вдохновения (духовных восторгов и прочего в этом роде), вполне могло перестать порхать и приплясывать и, обрушившись на меня, искалечило бы или — как знать — уничтожило совершенно.

2

При начале страшного приступа я, видимо, полностью вышел из строя, от макушки до пят, в то время как разум мой, образы, мчавшие сквозь меня, мельтешение мыслей, гений бессонницы оставались сильны и деятельны, как и всегда (не считая промежуточных расплывов). Ко времени, когда я долетел до госпиталя Лекошан на побережье Франции, настоятельно рекомендованного доктором Генфером, швейцарским родственником его управителя, я уже осознал кое-какие удивительные детали: сверху и донизу меня парализовало симметричными пятнами, разделенными географией слабой тактильной чувствительности. Когда же к исходу первой недели у меня "пробудились" пальцы (обстоятельство, ошеломившее и даже прогневавшее мудрецов Лекошана, знатоков паралитического слабоумия, до такой степени, что они посоветовали тебе побыстрее сплавить меня в какое-нибудь более экзотическое и придерживающееся более широких взглядов заведение, — что ты и сделала), я немало позабавился, составляя карту чувствительных пятен, неизменно располагавшихся точно напротив одно другого, например по обе стороны лба, челюстей, глазниц, груди, мошонки, колен и боков. На средней стадии наблюдений средняя величина каждого живого пятна никогда не превышала размеров Австралии (временами я казался себе великаном) и не сокращалась (когда я себя сокращал) до размера, меньшего чем поперечник медали за умеренные заслуги, — и на этом уровне восприятия вся моя шкура казалась мне леопардовой, расписанной дотошным помешанным из неблагополучной семьи.

В некоторой связи с этими "тактильными симметриями" (по поводу которых я все еще пытаюсь списаться с не

слишком отзывчивым, кишащим фрейдистами медицинским журналом) я хотел бы прежде всего описать картинные композиции, плоские, примитивные образы, возникавшие по два справа и слева от моего странствующего тела, на противоположных створках моих галлюцинаций. Если, к примеру, слева от моего существа Аннетт с пустой кошелкой садилась в автобус, то справа она сходила с него, нагруженная овощами, с царственной цветной капустой, торчавшей из огурцов. Шли дни, симметрию сменяли более сложные взаимные переклички, порой она вновь возникала в миниатюре, не выходя из пределов определенного образа. Теперь мое таинственное странствие сопровождалось живописными эпизодами. Однажды я видел Бел, под конец рабочего дня она входила в общинные ясли и рылась в груде голых младенцев, лихорадочно отыскивая своего первенца, уже десятимесячного, узнаваемого по симметричным пятнам красной экземы на боках и маленьких ножках. Пловчиха с лоснистыми лягвиями одной рукой отбрасывала со лба мокрые пряди, а другой (по *другую* сторону моего разума) отпихивала плот, на котором лежал я, голый старик с тряпкой вокруг фок-мачты, навзничь соскальзывающий в полную луну, чьи змеистые отражения трепетали среди купав. Меня заглатывал длинный тоннель, полуобещавший пятнышко света на далеком конце, полусдержавший обещание, раскрывшись в рекламный закат, но я его не достиг, тоннель расплылся, и все опять погрузилось в привычный туман. Как было "принято" в этом сезоне, компании нарядных бездельников навещали больного, ложе медленно вкатывали в демонстрационную, и Ивор Блэк в роли молодого модного доктора предъявлял меня трем актрисам, изображавшим светских красавиц: вздувая юбки, они оседали на белые стулья, и одна из дам указывала на мои чресла и, глядишь, коснулась бы их прохладным веером, если бы ученый мавр не отбил его указкой слоновой кости, после чего мой плот продолжил свое затяжное скольжение.

Не знаю, кто прокладывал курс моей судьбы, но он порою впадал в банальность. Временами мой быстрый полет заносил меня в небо, на аллегорическую высоту, отзы-

вавшую неприятно религиозным привкусом, — если не попросту перевозкой трупов грузовым самолетом. Постепенно, по мере того как мое гротескное приключение близилось к концу, в моем сознании установилось определенное представление о более или менее регулярном чередовании дня и ночи. Поначалу дневные и ночные эффекты косвенно передавались медицинскими сестрами и иными рабочими сцены, с необычайным усердием заменявшими разного рода движимые декорации, — они то изгоняли поддельный звездный свет с отражающих его поверхностей, то через положенные промежутки времени подмалевывали зарю. До этого мне ни разу не приходило в голову, что, говоря исторически, искусство или по крайней мере предметы искусства предваряли природу, а вовсе не следовали за ней; однако со мной происходило именно это. Так, в онемелой глуши, окружавшей меня, знакомые звуки сначала воспроизводились оптически на бледных полях звуковой дорожки во время съемок доподлинной сцены (например, церемонии научного кормления); но со временем нечто в бегущей ленте соблазнило ухо сменить глаз, и в конце концов слух возвратился — исполненный мстительной силы. Первый хрусткий шелест нянечкина халата раскатился ударом грома; первое урчание в моем животе — бряцаньем кимвал.

Пожалуй, следует дать незадачливым некрологистам (и всем любителям медицинской премудрости) кое-какие клинические разъяснения. Сердце и легкие у меня работали — или их вынуждали работать — нормально; так же вел себя и кишечник, этот шут в перечне персонажей наших личных мираклей. Тело лежало распластанным, как на “Уроке анатомии” кисти старого мастера. Страх пролежней граничил, особенно в госпитале Лекошан, с манией, объяснимой, возможно, безнадежным стремлением заменить посредством подушек и разнообразных механических приспособлений осмысленное лечение неизлечимой болезни. Тело мое “немело”, как “немеет” нога какого-нибудь великана; говоря же точнее, мое состояние представляло собой ужасную форму затянувшейся (на двадцать ночей!) бессонницы, при том что сознание бодрствовало подобно созна-

нию "Бессонного Славянина" в некоем цирке, о котором я когда-то читал в "The Graphic"[1]. Я был даже не мумией; я был — по крайней мере сначала — продольным сечением мумии или, скорее, абстракцией тончайшего из возможных ее срезов. А голова? — быть может, возмущенно воскликнут читатели, которым, кроме головы, похвастаться нечем. Ну что ж, лоб мой походил на запотевшее стекло (потом в нем каким-то образом протерлись два боковых глазка); рот оставался немым и онемелым, пока я не обнаружил, что ощущаю язык — в фантомной форме плавательного пузыря, возможно сгодившегося бы рыбе с затрудненным дыханием, но для меня бесполезного. Я обладал отдаленным чувством длительности и дальности — двух сущностей, которые, как подтвердило в позднейшем мире любящее создание, пытавшееся помочь бедному безумцу невиннейшей ложью, оказались совершенно раздельными фазами одного и того же явления. Мои мозговые каналы (получается что-то слишком учено), казалось, по большей части клинообразно сходились, после некоего крушения или потопа, вовнутрь структуры, приютившей ближайшего их союзника, — он же (вернее, оно), как это ни странно, и наискромнейшее наше чувство, без которого нам обходиться и легче всего и порою всего приятней, — о, как я его проклинал, когда не мог защитить его от эфира и экскрементов, о (ура почтенному "о"!), как я благодарил его за выкрики "Кофе!" или "Пляж!" (потому что безымянное снадобье пахло кремом, который Ирис втирала мне в спину в Канницце полвека назад!).

Теперь довольно темное место: не знаю, оставались ли мои глаза постоянно распахнутыми "в остекленелом взгляде надменного помрачения", как напридумывал репортер, которого не пустили дальше стола в коридоре. Но очень и очень сомневаюсь, что мне удавалось мигать, — а без смазки мигания двигатель зрения работать едва ли способен. Все же каким-то образом, пока я скользил по тем иллюзорным каналам и облачным путям, прямо над другим конти-

---

[1] "Графика" *(англ.)*; иллюстрированный журнал.

нентом, я порой примечал сквозь плывущие под веждами миражи тень руки или блеск инструмента. Что же до моего мира звуков, он оставался вполне фантастическим. Я слышал незнакомцев, обсуждающих гулкими голосами книги, которые я написал или думал, что написал, ибо все, что они поминали, — заглавия, имена персонажей, — фразы, выкрикиваемые ими, выворачивалось наизнанку в исступлении бесовской учености. Луиза развлекала общество одной из своих забавных историй, — я называл их "вешалками имен", потому что они лишь *казались* связанными с каким-то событием, скажем, с квипрокво, приключившимся на вечеринке, — истинное же их назначение состояло в том, чтобы помянуть какого-нибудь ее родовитого "старого друга", или обаятельного политика, или его двоюродного брата. На фантастических симпозиумах читались ученые сообщения. В лето Господне 1798-е слыхивали, как Гаврила Петрович Каменев, молодой даровитый поэт, хихикает, сочиняя свою оссианическую пастишь "Слово о полку Игореве". Где-то в Абиссинии пьяный Рембо читал удивленному русскому путешественнику стихотворение "Le Tramway ivre" ("...En blouse rouge, à face en pis de vache, le bourreau me trancha la tête aussi...")[1]. Или я слышал, как шипит в пазухе моего мозга придавленный репетир, отбивая время, ритмы, рифмы, которых я и помыслить не мог услышать когда-либо вновь.

Надо еще сказать, что плоть моя пребывала в довольно приличной форме: ни разорванных связок, ни зажатости мышц; я мог слегка ободрать хребет, упавши в нелепый обморок, предваривший мое путешествие, но он по-прежнему оставался на месте, вытягивая меня, защищая мое естество, не уступая ничем примитивной структуре какой-нибудь сквозистой подводной твари. И однако ж лечение, которому меня подвергали (особенно в Лекошане), подразумевало, — насколько его теперь удается прояснить, — что все мои повреждения телесны, только телесны и требуют

[1] "Пьяный трамвай" ("...В красной рубашке, с лицом как вымя, голову срезал палач и мне...") *(фр.)*.

только телесных мер. Я не говорю о современной алхимии, о волшебных зельях, которые вспрыскивали в меня, — эти, возможно, и действовали, так ли, этак ли, не только на тело, но и на божество, поселившееся во мне, как действуют на безумного императора наговоры честолюбивых знахарей и шарлатанов-советников; но я не мог снести таких въедливых образов, как проклятые скрепы и перевязи, державшие меня растянутым на спине (и мешавшие мне уйти восвояси с резиновым плотиком подмышкой, к чему я чувствовал себя способным), или еще даже худшие рукотворные электрические пиявки, которые приставлялись к моей голове и конечностям замаскированными палачами, — пока их не разогнал святой из Катапульты, штат Калифорния, профессор Г. П. Слоун, почти уже заподозривший, как раз когда я стал поправляться, что меня мог бы вмиг излечить — меня мог бы вмиг излечить! — гипноз плюс скромное проявление чувства юмора со стороны гипнотизера.

3

Я помнил только, что при крещении был назван Вадимом — по имени моего отца. В недавно выданном мне паспорте США — изящной книжечке, украшенной золотым рисунком по зеленой обложке с пробитым на ней номером 00678638, — мой древний титул не упомянут; но он значился в моем британском паспорте, выдержавшем несколько изданий — “Юность”, “Зрелость”, “Старость”, — пока последнее не искалечили до неузнаваемости дружелюбные фальсификаторы, втайне склонные к розыгрышам. Все это я собрал по крупице в одну из ночей, когда вдруг опять раскрылись некие клеточки мозга, до того замороженные. Другие клетки, однако, оставались покрыты морщинами, как припозднившиеся бутоны, и хоть я мог свободно вертеть под одеялом ступнями (впервые со времени обморока), мне никак не удавалось различить в этом темном углу сознания следовавшую за отчеством фамилию. Я чуял, что она начинается с “Н”, как и термин, который

описывает рождающийся в минуты вдохновения, прекрасный своей внезапностью порядок слов, похожий на столбик красных кровяных телец в свежеотобранной крови под микроскопом, — это слово я однажды использовал в "See under Red"[1], но теперь и его припомнить не мог, что-то связанное с монетной колбаской, капиталистическая метафора, а, Марксик? Да, я определенно чувствовал, что фамилия моя начинается с "Н" и имеет ненавистное сходство с прозвищем или псевдонимом предположительно-неподражаемого (Непоров? нет) болгарского, или бактрийского или, возможно, бетельгейзеанского автора, с которым меня вечно путали рассеянные эмигранты из какой-то другой галактики; но состояли ли с ней в родстве Небесный, или Набедрин, или Наблидзе (Наблидзе? Смешно), я просто не мог сказать. Я предпочел не перенапрягать мою волю (уходи, Наборкрофт!) и отступился, — а может быть, фамилия начинается с "Б", "н" же просто пристало к ней на манер окаянного паразита? (Бонидзе? Блонский? — Нет, это из истории с БИНТ'ом). Быть может, во мне присутствует примесь кавказской княжеской крови? Откуда взялись в газетных вырезках, полученных мною из Англии в связи с лондонским изданием "A Kingdom by the Sea" (чудное певучее название), кивки в сторону мистера Набарро, английского политического деятеля? И почему Ивор прозвал меня "Мак-Набом"?

Без фамилии я с моим вновь приобретенным сознанием оставался все-таки нереальным. Бедный Вивиан, бедный Вадим Вадимович, он был всего лишь плодом чьего-то — даже не моего собственного — воображения. Кошмарная подробность: в русской скороговорке длинноватое имя-отчество привычно глотается — "Павел Павлович", при обращении к нему с торопливым вопросом, начинает звучать как "Палпалыч", а неудобопроизносимое, длинное, словно ленточный червь, "Владимир Владимирович" приобретает в речевой передаче сходство с "Вадим Вадимычем".

Я сдался. И когда я сдался окончательно, моя звучная фамилия подкралась сзади, будто проказливое дитя, вне-

---

[1] "См. также 'Красный'" *(англ.)*.

запным воплем заставляющее подскочить клюющую носом няньку.

Оставались еще другие проблемы. Где я? Как раздобыть немного света? Как на ощупь отличить в темноте выключатель лампы от кнопки звонка? Кем, помимо меня самого, был тот, другой человек, обещанный мне, мне принадлежащий? Я различил синеватые завеси на сдвоенных окнах. Почему бы их не раздернуть?

Так, вдоль наклонного луча,
Я вышел из паралича.

Along a slanting ray, like this,
I slipped out of paralysis —

если слово "паралич" не слишком сильно для обозначения состояния, которое его имитирует (при не вполне понятной поддержке со стороны пациента): тут скорее довольно причудливое, но не слишком серьезное психологическое расстройство — по меньшей мере, таким оно кажется в легкомысленной ретроспекции.

Кое-какие приметы подготовили меня к напастям головокружения и тошноты, но все же я не ожидал, что ноги мои поведут себя столь неподобающим образом, когда, ослабелый и одинокий, блаженно выбрался из кровати в ту первую ночь открытий. Подлая сила тяжести тут же меня и унизила: ноги попросту сложились подо мной. Падение всполошило ночную няньку, она помогла мне вернуться в постель. Затем я заснул. Ни до того, ни после не приходилось мне спать с таким наслаждением.

Когда я проснулся, одно из окон было распахнуто настежь. И разум мой, и зрение уже достаточно обострились, чтобы я смог различить лекарства на столике у кровати. Среди этих жалких насельников я приметил нескольких замешкавшихся путешественников, прибывших сюда из иного мира: прозрачный пакет с немужским носовым платком, найденным и отстиранным кем-то из служителей больницы; крохотный золотой карандашик, притороченный к ежедневничку, вечно выглядывающему из всякой всячины, заполняющей дамскую сумочку; арлекинские солнечные очки, по какой-то причине внушавшие мысль не

о защите от резкого света, а о сокрытии век, распухших от слез. Сочетание этих ингредиентов создавало в итоге ослепительный фейерверк смыслов, и в следующий миг (совпадение оставалось еще на моей стороне) дверь моей комнаты дрогнула: мелкое беззвучное движение на миг беззвучно замерло и снова продолжилось медленной, бесконечно медленной чередой многоточий, набранных диамантом. Я издал восторженный рев, и в палату вступила Реальность.

4

Нижеследующей нежной сценой я полагаю эту автобиографию завершить. Меня вкатили в увитую розами галерею для "особых выздоравливающих" второй и последней моей больницы. Ты откинулась рядом со мной в шезлонге, почти в той же позе, в какой я оставил тебя 15-го июня в Гандоре. Весело ты пожаловалась, что женщина в комнате рядом с твоей на первом этаже больничной пристройки то и дело проигрывает граммофонные записи птичьего пения, надеясь заставить пересмешников больничного парка подражать соловьям и дроздам, привычным ей по Дорсету или Девону. Ты отлично понимала, что мне необходимо коечто выяснить. Нас обоих томила неловкость. Я привлек твое внимание к красоте всползающих кверху роз. Ты сказала: "Все красиво на фоне неба" — и извинилась за "афоризм". В конце концов я самым небрежным тоном спросил, как тебе показался отрывок из "Ардиса" — тот, что я дал тебе прочитать перед тем, как отправиться на прогулку, из которой вернулся только теперь, три недели спустя, в Катапульту, штат Калифорния.

Ты отвела взгляд. Ты окинула им лиловые горы. Ты прочистила горло и отважно ответила, что он тебе совершенно не показался.

То есть она не выйдет замуж за сумасшедшего?

То есть она выйдет замуж за нормального человека, умеющего отличить пространство от времени.

Объяснись.

Ей не терпится прочитать остальную часть рукописи, но *это* место лучше вымарать. Написано оно превосходно, как

все, мною написанное, но его подпортил фатальный философский изъян.

Юная, грациозная, ужасно милая, безнадежно невзрачная Мэри Миддл явилась предупредить, что, когда позвонят к чаю, мне придется вернуться. Минут через пять. Другая сестричка помахала ей с исполосованного солнцем конца галереи, и она упорхнула.

В этой больнице (сказала ты) полным-полно умирающих американских банкиров и совершенно здоровых англичан. Я описал человека, воссоздающего в воображении недавнюю вечернюю прогулку. Прогулку из пункта В (веранда) к пункту П (парапет, питомник). Бегло воссоздающего череду попутных явлений — ребенка на качелях в саду виллы, кружение брызгалки на лужайке, пса, погнавшегося за мокрым мячом. Рассказчик достигает мысленно пункта П и застывает, — он смущен и расстроен (совершенно безосновательно, как мы увидим) своей неспособностью произвести воображаемый разворот, который обратит направление ВП в направление ПВ.

— Его ошибка, — продолжала она, — его болезненная ошибка на самом деле сводится к сущему пустяку. Он спутал дальность и длительность. Говоря о пространстве, он разумеет время. Все впечатления, накопленные им на пути ВП (пес догоняет мяч, к соседней вилле подъезжает машина), относятся к веренице событий во времени, а не к красочным кубикам пространства, которые всякий ребенок волен переставить по-старому. У него ушло время на то, чтобы мысленно покрыть расстоянье ВП, — хотя бы несколько мгновений. И когда он приходит в П, им уже накоплена длительность, которая обременяет его! Что же, спрашивается, странного в его неспособности вообразить поворот вспять? Никому не дано представить в телесных образах обращение времени. Время необратимо. Обращенье движения используют только в кино, да и то лишь для создания комического эффекта — воскрешенье разбитой бутылки пива...

— Или рома, — вставил я, и тут прозвенел звонок.

— Все это прекрасно, — говорил я, нащупывая рычаги кресла (ты помогла мне откатиться назад, в мою комнату). —

Я благодарен, я тронут, я исцелен! Хотя твое объяснение — лишь восхитительная уловка, и ты это знаешь; но я не против, мысль насчет попытки раскрутить время — это trouvaille[1]; она напоминает мне (целуя руку, лежащую на моем рукаве) найденную физиком изящную формулу, — все довольны, пока (зевая, заползая обратно в постель) кто-то другой не хватается за мел. Мне обещали к чаю немного рому — Цейлон и Ямайка, единоутробные острова (уютно воркуя, впадая в беспамятство, воркотня замирает)...

[1] Находка *(фр.)*.

Speak, Memory

AN AUTOBIOGRAPHY REVISITED

BY

Vladimir Nabokov

G.P. PUTNAM'S SONS

w York

SPEAK, MEMORY

An Autobiography Revisited

VLADIMIR NABOKOV

ween two
ntical
h more
ty-five
a young
e panic
ovies tha
saw a w
use the
ist there
caught
stairs wi
n as if i
rticularly
by car
ic
e.
si
ve
no
re
xpe
ore
isio
le i
rde
ebel
ny re
gain,
he fa
larkne
caused
my bruised fists from the

ne
ats
w
r t
a

ancies
herwise
scent no
nerable
man to
ly as
ragina
imm
sho
of a
nd p
de
al
es of
by the walls
with

Память, говори

Реконструкция Сергея Ильина

АВТОБИОГРАФИЯ

1967

Предисловие

Эта книга представляет собой собрание систематически связанных личных воспоминаний, простирающихся, географически, от Санкт-Петербурга до Сен-Назера и охватывающих тридцать семь лет, с августа 1903-го по май 1940-го, с лишь немногими вылазками в более позднее пространство-время. Очерк, с которого началась вся серия, соответствует тому, что стало теперь пятой главой. Я написал его по-французски, озаглавив "Mademoiselle O", тридцать лет назад, в Париже, где Жан Полан опубликовал его во втором номере журнала "Мезюр", 1936 год. Фотография (напечатанная недавно в книге Жизель Френд "Джеймс Джойс в Париже") напоминает об этом событии, впрочем, я (один из членов группы "Мезюр", расположившихся вокруг каменного садового столика) ошибочно обозначен в этой книге как Одиберти.

В Америке, куда я перебрался 28 мая 1940 года, "Mademoiselle O" была переведена покойной Хильдой Уорд на английский, пересмотрена мною и опубликована Эдвардом Уиксом в январском, 1943 года, номере журнала "Атлантик Мансли" (ставшего также первым журналом, печатавшим мои, написанные в Америке, рассказы). Моя связь с "Нью-Йоркером" началась (при посредстве Эдмунда Уилсона) с напечатанного в апреле 1942 года стихотворения, за которым последовали другие перемещенные стихи; однако первое прозаическое сочинение появилось здесь только 3 января 1948 года, им был "Портрет моего дяди" (глава третья в окончательной редакции книги), написанный в июне 1947 года в Коламбайн Лодж, Эстес-Парк, Колорадо, где мы с женой и сыном вряд ли смогли бы задержаться надолго, если бы призрак моего прошлого не

произвел на Гарольда Росса столь сильного впечатления. Тот же самый журнал напечатал главу четвертую ("Мое английское образование", 27 марта 1948), главу шестую ("Бабочки", 12 июня 1948), главу седьмую ("Колетт", 31 июля 1948) и главу девятую ("Мое русское образование", 18 сентября 1948), — все они были написаны в Кембридже, Массачусетс, в пору огромного душевного и физического напряжения, в то время как главы десятая ("Прелюдия", 1 января 1949), вторая ("Портрет моей матери", 9 апреля 1949), двенадцатая ("Тамара", 10 декабря 1949), восьмая ("Картинки из волшебного фонаря", 11 февраля 1950; вопрос Г. Р.: "А что, в семье Набоковых были только *одни* щипцы для орехов?"), первая ("Совершенное прошлое", 15 апреля 1950) и пятнадцатая ("Сады и парки", 17 июня 1950) — все были написаны в Итаке, Нью-Йорк.

Из трех остальных глав, одиннадцатая и четырнадцатая появились в "Патизэн Ревю" ("Первое стихотворение", сентябрь 1949, и "Изгнание", январь-февраль 1951), между тем как тринадцатая отправилась в "Харперс Мэгэзин" ("Квартирка в Тринити Лэйн", январь 1951).

Английская версия "Mademoiselle O" была перепечатана в сборниках "Девять рассказов" (издательство "Нью Дирекшнс", 1947) и "Дюжина Набокова" (издательства "Даблдей", 1958; "Хайнман", 1959; "Попьюлар Лайбрэри", 1959; и "Пенгвин Букс", 1960); в последний сборник я также включил рассказ "Первая любовь", ставший любимцем составителей антологий.

Хотя я сочинял эти главы в случайной последовательности, отражаемой приведенными выше датами их публикации, они аккуратно заполняли пронумерованные пустоты в моем сознании, соответствующие нынешнему порядку глав. Этот порядок установился у меня в 1936 году, когда я заложил краеугольный камень, в тайной впадинке которого уже были спрятаны разнообразные карты, расписания, коллекция спичечных коробков, осколок рубинового стекла и даже — как я теперь понимаю — вид с моего балкона на Женевское озеро, на эти зыби и прогалины света, сегодня, в час чаепития, испещренные черными точками лысух и хохлатых чернетей. Поэтому мне не трудно было собрать

том, который нью-йоркское издательство “Харпер и Братья” выпустило в 1951 году под названием “Убедительное доказательство” — убедительное доказательство моего существования. К сожалению, эта фраза наводила на мысль о детективе, так что я задумал назвать английское издание “Мнемозина, говори”, однако мне сказали, что “старушки не станут спрашивать книгу, названия которой они не смогут выговорить”. Я подумывал также о другом названии — “Антемион”, так называется орнамент, состоящий из затейливо переплетенных распускающихся соцветий жимолости, но и это никому не понравилось, так что мы в конце концов остановились на “Память, говори” (издательства “Голланц”, 1951, и “Юниверсал Лайбрэри”, Нью-Йорк, 1954). Эта книга была переведена: на русский, автором (“Другие Берега”, издательство имени Чехова, Нью-Йорк, 1954); на французский, Ивонн Даве (“Autres Rivages”, издательство “Галлимар”, 1961); на итальянский, Бруно Оддера (“Parla, Ricordo”, издательство “Мондадори”, 1962); на испанский, Жаме Пиньера Гонзалесом (¡Habla, Memoria!, 1963) и на немецкий Дитером Е. Циммером (издательство “Ровольт”, 1964). Чем и исчерпывается необходимая библиографическая информация, способная, надеюсь, загипнотизировать пугливых критиков, рассердившихся на помещенные в конце “Дюжины Набокова” примечания, — загипнотизировать настолько, что они согласятся принять ее в начале этой книги.

При написании в Америке первого ее варианта мне очень мешало почти полное отсутствие сведений об истории семьи и, как следствие, невозможность проверить мою память, когда я чувствовал, что, может быть, ошибаюсь. В этом издании расширена и переработана биография моего отца. Появилось и множество иных исправлений и добавлений, особенно в начальных главах. Я открыл кое-какие тесные скобки, позволив им выплеснуть наружу их еще живое содержимое. Или вот еще: предмет, бывший просто подменой, выбранной наугад и не имевшей фактического значения в рассказе о важном событии, досаждал мне всякий раз, что я перечитывал это место, правя гранки различных изданий, пока я в конце концов не поднатужился и

пока наугад подобранные очки (в которых Мнемозина нуждается больше кого бы то ни было) не преобразовались в отчетливо вспомнившийся, устричной формы портсигар, мерцающий в мокрой траве у подножья осины на Chemin du Pendu, где я в тот июньский день 1907 года нашел бражника, редко встречаемого на столь далеком западе, и где четвертью века раньше мой отец поймал дневную павлиноглазку, чрезвычайно редкую в нашем северном краю.

Летом 1953 года на ранче близ Портала, Аризона, в доме, нанятом нами в Ашленде, Орегон, и в различных мотелях Запада и Среднего Запада, я ухитрился, отрываясь от ловли бабочек и писания "Лолиты" и "Пнина", перевести "Память, говори" — с помощью моей жены — на русский язык. Из-за психологической трудности переигрывания темы, уже разработанной мною в "Даре", я опустил целую главу (одиннадцатую). С другой стороны, я переделал множество мест и попытался как-то исправить запамятливые недостатки оригинала — белые пятна, смазанные участки, темные области. Я обнаружил, что по временам напряжение воли позволяет придать бесцветной кляксе прекрасную резкость очертаний, так что вдруг удается признать нежданно возникший вид или наделить именем безымянного слугу. В нынешнем, окончательном издании "Память, говори" я не только добавил к исходному английскому тексту существенные изменения и обильные вставки, но и воспользовался множеством исправлений, сделанных в русском его переводе. Это повторное англизирование русской переделки того, что было прежде всего английским пересказом русских воспоминаний, оказалось дьявольски трудной задачей, впрочем, я находил некоторое утешение в мысли, что такая, знакомая бабочкам, многократная метаморфоза ни единым человеческим существом прежде испробована не была.

Среди аномалий памяти, обладателю и жертве которой никогда бы не следовало браться за автобиографию, худшая состоит в склонности приравнивать задним числом свой возраст к возрасту столетия. В первом варианте книги это привело к череде замечательно согласованных хронологических промахов. Я родился в апреле 1899 года и, есте-

ственно, в первой трети, скажем, года 1903-го был, грубо говоря, трехлетним; однако в августе того же года острое "3", открывшееся мне (как описано в "Совершенном Прошлом"), следовало отнести к возрасту века, не к моему, за мною же значилось "4", прямоугольное, упругое, точно резиновая подушка. Точно так же в начале лета 1906 года — лета, в которое я принялся коллекционировать бабочек, — мне было семь, а не шесть, как поначалу утверждалось в катастрофическом втором абзаце шестой главы. Мнемозина, следует признать, показала себя чрезвычайно беспечной девицей.

Все даты даются по новому стилю: в девятнадцатом веке мы плелись за остальным цивилизованным миром, отставая на двенадцать дней, с началом двадцатого их стало тринадцать. По старому стилю я родился 10 апреля, на утренней заре, в последнем году прошлого века, и, скажем, в Германии (если бы меня удалось мигом переправить за границу) это было бы 22 апреля; но поскольку все дни моего рождения праздновались, со все убывающей помпой, в двадцатом веке, все, и я в том числе, пока революция и изгнание не передвинули меня из Георгианского календаря в Юлианский, привычно добавляли к 10 апреля тринадцать дней вместо двенадцати. Ошибка серьезная. Как тут быть? В самом последнем из моих паспортов в качестве "даты рождения" указано "23 апреля", что является также датой рожденья Шекспира, моего племянника Владимира Сикорского, Ширли Темпл и "Гэзель Браун" (которой, к тому же, приходится разделять со мною мой паспорт). Такова, стало быть, проблема. Неумение производить вычисления не позволяет мне ее разрешить.

Когда я, после двадцатилетнего отсутствия, снова приплыл в Европу, я обновил связи, распавшиеся еще до того, как я ее покинул. Во время этих семейственных воссоединений "Память, говори" подвергалась строгому суду. Проверялись частности дат и обстоятельств, при чем выяснилось, что во множестве случаев я ошибся, либо недостаточно углубился в темное, но не бездонное воспоминание. Некоторые факты мои советники отвергли, сочтя их легендами либо слухами, или же доказав, что если они и истинны, то связаны все же с событиями иного времени, нежели

то, к которому отнесла их моя податливая память. Мой двоюродный брат, Сергей Сергеевич Набоков, снабдил меня бесценными сведениями об истории нашей семьи. Обе мои сестры гневно опротестовали описание путешествия в Биарриц (начало седьмой главы) и, забросав меня подробностями, убедили, что я был неправ, оставив их дома ("с няньками да тетками"!). То, чего я не смог переработать из-за отсутствия определенных документов, я предпочел ныне убрать полноты правды ради. С другой стороны, всплыло и было включено в окончательный вариант "Память, говори" множество фактов, относящихся к нашим предкам и к другим лицам. Я надеюсь написать когда-нибудь "Говори дальше, память", объяв годы 1940–1960, проведенные в Америке: в моих змеевиках и тиглях еще продолжается возгонка некоторых летучих веществ и плавка кое-каких металлов.

Читатель найдет в этой книге разбросанные там и сям упоминания о моих романах, но в целом я чувствовал, что довольно намаялся с ними, пока их писал, так что лучше оставить их неразжеванными. Мои недавние предисловия к английским переводам "Защиты Лужина", 1930 ("The Defense", издательство "Путнам", 1964); "Отчаяния", 1936 ("Despair", издательство "Путнам", 1966); "Приглашения на казнь", 1938 ("Invitation to a Beheading", издательство "Путнам", 1959); "Дара", 1952, печатался с продолжением в 1937–38 ("The Gift", издательство "Путнам", 1963), и "Соглядатая", 1938 ("The Eye", издательство "Федра", 1965), дают достаточно подробный и красочный отчет о творческой составляющей моего европейского прошлого. Для тех, кому понадобится более полный список моих публикаций, существует библиография, составленная Дитером Е. Циммером ("Vladimir Nabokov Bibliographie des Gesamtwerks", издательство "Ровольт", 1-е изд. декабрь 1963; 2-е, переработанное, май 1964).

Двухходовка, описанная в последней главе, была перепечатана в "Chess Problems"[1] (Липтон, Мэтьюс и Райс, издательство "Фабер", Лондон, 1963, с. 252). Однако самым

[1] Шахматные задачи *(англ.)*

забавным моим достижением является задача "Белые берут ход назад", посвященная мною Е. А. Зноско-Боровскому, который и напечатал ее в тридцатых годах (1934?) в эмигрантской газете "Последние Новости", Париж. Я недостаточно ясно помню позицию, чтобы привести ее здесь, но, возможно, кто-нибудь из любителей "сказочных шахмат" (к каковому типу относится эта задача) когда-нибудь отыщет ее в одной из тех благословенных библиотек, которые микрофильмируют старые газеты, что следовало бы делать со всеми нашими воспоминаниями. Рецензенты обычно читают первый вариант внимательнее, чем прочтут это, новое издание: только один из них приметил "язвительный выпад" по адресу Фрейда в первом абзаце второй части восьмой главы, и ни единый не обнаружил имени великого карикатуриста и дани уважения, принесенной ему в последнем предложении второй части одиннадцатой главы. Необходимость самому объяснять такие вещи чрезвычайно удручает автора.

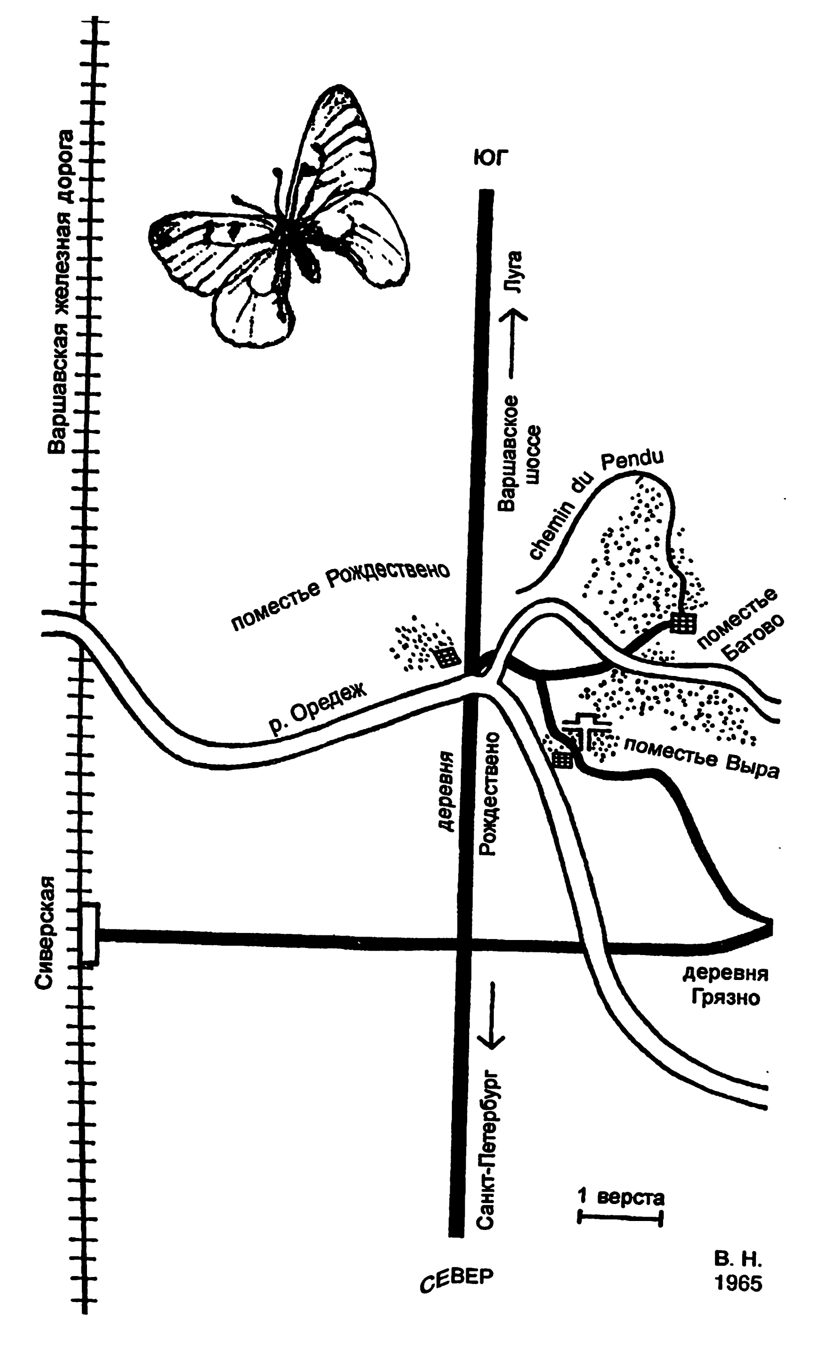
Чтобы не обижать живых и не тревожить мертвых, я изменил некоторые имена. В "Указателе" они взяты в кавычки. Главное назначение указателя — перечислить для собственного удобства некоторые имена и темы, связанные с моим прошлым. Его присутствие рассердит простака, но, возможно, порадует человека приметливого хотя бы уж тем, что

Through the window of that index
Climbs a rose
And sometimes a gentle wind *ex*
Ponto blows [1].

Владимир Набоков
5 января 1966
Монтре

---

[1] В окно этого указателя заглядывает вьющаяся роза, и порою задувает, *ex ponto*, ласковый ветер *(англ.)*.



Варшавская железная дорога
ЮГ
Луга
Варшавское шоссе
chemin du Pendu
поместье Рождествено
поместье Батово
р. Оредеж
поместье Выра
деревня Рождествено
Сиверская
деревня Грязно
Санкт-Петербург
1 верста
СЕВЕР
В. Н.
1965

Глава первая

1

Колыбель качается над бездной, и здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя вечностями тьмы. Хотя обе они — совершенные близнецы, человек, как правило, с пущим спокойствием вглядывается в бездну преджизненную, чем в ту, к которой летит (со скоростью четырех тысяч пятисот ударов в час). Я знавал, впрочем, юношу-хронофоба, испытавшего едва ли не панику, просматривая домашнего производства фильм, снятый за несколько недель до его рождения. Он увидел почти не изменившийся мир — тот же дом, тех же людей — и вдруг понял, что его-то в этом мире нет вовсе и никто по нем не горюет. Он увидел собственную мать, машущую рукой из окна наверху, и этот незнакомый жест поразил его, словно некое мистическое прощание. Особенно страшен был вид новехонькой детской коляски, стоявшей на крыльце с самодовольной наглостью гроба; коляска была пуста, как будто при обращении событий вспять самые кости его исчезли.

Юность подвержена таким наваждениям. И то сказать, первое и последнее, что мы видим, представляется нам чем-то ребячливым, — если только взгляды наши не направляются какой-либо маститой и добротной догмой. Природа ждет от зрелого человека невозмутимого равнодушия к обеим черным пустотам, обратной или передней, такого же, с каким он приемлет удивительный ландшафт, улыбающийся между ними. Воображение, дивное наслаждение бессмертных и несозревших, надлежит ограничить. Дабы восторг жизни был выносим, давайте навяжем ему меру.

Против всего этого я решительно восстаю. Меня тянет выплеснуть это восстание на улицу, чтобы торчать там

пикетом перед своей же земной природой. Снова и снова разум мой напрягается в колоссальных усилиях высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни. Я готов стать единоверцем размалеванного до последней крайности дикаря, радостно разделив с ним убеждение, что тьма эта создана лишь стенами времени, отделяющего от вневременья меня и мои ободранные кулаки. Я забирался мыслью назад в отдаленные области — и чем дальше я заходил, тем безнадежней сужалась мысль, — чтобы нащупать там некий тайный проход, но обнаруживал лишь, что тюрьма времени шарообразна и выходных дверей не имеет. Кроме самоубийства, я перепробовал все. Я отказывался от своего лица, чтобы сойти за заурядное привидение и протиснуться в мир, существовавший прежде, чем я был задуман. Я мирился с унизительным соседством викторианских романисток и отставных английских полковников, вспоминающих, как они в прежних своих воплощениях бегали рабами-посыльными по римским дорогам или сидели мудрыми старцами под ивами Лхасы. В поисках ключей и разгадок я рылся в своих самых ранних снах — и позвольте мне сразу заметить, что я безоговорочно отметаю убогую, пошлую фрейдовщину и всю ее средневековую подоплеку, с ее маниакальной погоней за половой символикой (чем-то напоминающей поиски Бэконовских акростихов в твореньях Шекспира), с ее озлобленными эмбриончиками, подглядывающими из природных засад родительское соитие.

Поначалу я не совсем понимал, что безграничное, на первый взгляд, время, есть на самом деле тюрьма. Я изучаю мое младенчество (что представляет собой наилучшее приближение к изучению собственной вечности) и вижу пробуждение самосознания, как череду разделенных промежутками вспышек — промежутками, мало-помалу уменьшающимися, пока не возникают яркие кубики восприятия, по которым память уже может карабкаться, почти не соскальзывая. Я научился счету и слову почти одновременно, в возрасте очень раннем, но внутреннее знание, что я — я, а мои родители — они, установилось лишь позже и было непосредственно связано с моим открытием их возраста в отношении к моему. Судя по густоте солнечного света,

тотчас заливающего мою память, стоит мне подумать об этом откровении, по дольчатому его очерку в слоистом рисунке листвы, полагаю, что дело было в день рождения моей матери, в деревне, под конец лета, когда, задав кое-какие вопросы, я сопоставил ответы, которые на них получил. Так оно и следует из теории рекапитуляции; появление рефлексивного сознания у нашего отдаленнейшего предка не могло не совпасть с зарождением чувства времени.

Итак, едва только что добытая формула моего возраста, свежая, четкая четверка, встретилась с родительскими формулами, тридцать три и двадцать семь, как нечто случилось со мной. Я испытал живительную встряску. Словно подвергнутый второму крещению, более чудодейственному, чем происшедшее за пятьдесят месяцев до того православное окунание вопящего, полуутопленного полувиктора (мать успела через полузакрытую дверь, за которую удалял родителей древний обычай, поправить нерасторопного протоирея, отца Константина Ветвеницкого), я вдруг ощутил себя погруженным в сияющую и подвижную среду, а именно в чистую стихию времени. Стихию эту делишь — как делят яркую морскую воду радостные купальщики — с существами, отличными от тебя, но соединенными с тобою общим током времени, среды, ничуть не похожей на мир пространственный, воспринять который способен не один человек, но также бабочки и обезьяны. В тот миг я пронзительно осознал, что двадцатисемилетнее, в чем-то белорозовом и мягком, создание, владеющее моей левой рукой, — моя мать, а создание тридцатитрехлетнее, в белозолотом и твердом, держащее меня за правую руку, — отец. Они шли ровной поступью, и между ними шел я, то чинно вышагивая, то семеня, переступая с подковки на подковку солнца, посреди дорожки, в которой сегодня легко узнаю обсаженную дубами аллею парка в нашем деревенском поместье в Выре, в прежней Петербургской губернии, в России. И вправду, глядя туда с моей теперешней далекой, уединенной, почти необитаемой гряды времени, я вижу свое крохотное “я” празднующим в этот августовский день 1903 года зарождение чувственной жизни. До этого оба моих водителя, и левый и правый, если и существовали

в туманном мире моего младенчества, то являлись в него лишь под масками, нежными инкогнито; теперь же облаченье отца, сверкающий кавалергардский мундир с гладкой, облой, золотистой кирасой, облекавшей его спину и грудь, взошло как солнце; и потом в течение многих лет я продолжал живо интересоваться возрастом моих родителей, справляясь о нем, как беспокойный пассажир, проверяя новые часы, справляется у спутников о времени.

Замечу мимоходом, что, отбыв воинскую повинность задолго до моего рождения, отец в тот день, вероятно, надел свои полковые регалии ради праздничной шутки. Шутке, значит, я обязан первым проблеском полноценного сознания — что тоже имеет рекапитулярный смысл, ибо первые существа, почуявшие течение времени, были также и первыми, умевшими улыбаться.

2

Первобытная пещера (а вовсе не то, что могли бы предположить фрейдовы мистики) — вот прообраз моих игр, когда мне было четыре года. Большой обтянутый белым кретоном с черным клеверным крапом диван одной из гостиных в Выре вздымается в моей памяти подобно некоторому массивному результату геологических сдвигов до начала истории. История начинается (обещая прекрасную Грецию) неподалеку от него, там, где крупная гортензия в вазоне наполовину скрывает за своими бледно-голубыми и бледно-зелеными соцветьями пьедестал с мраморным бюстом Дианы в углу комнаты. На стене, у которой стоит диван, еще один исторический этап помечен серой гравюрой в рамке черного дерева — одна из тех наполеоновских батальных картинок, где истинными неприятелями являются эпизодическое и аллегорическое, и где видишь сгрудившимися в одной плоскости зрения раненого барабанщика, убитую лошадь, трофеи, солдата, готового насадить на штык другого солдата, и неуязвимого императора, позирующего с генералами среди этой застывшей возни.

С помощью кого-либо взрослого, кому приходилось действовать сначала обеими руками, а потом мощным

коленом, диван на несколько вершков отодвигался от стены, образуя узкий проход, и тот же взрослый помогал мне построить из диванных валиков крышу, а из тяжелых подушек — заслоны с обоих концов. Ползти по этому беспросветно-черному туннелю было сказочным наслаждением, я медлил в нем, прислушиваясь к пенью в ушах — одиноким переливам, столь знакомым малышам, вовлеченным игрою в прятки в пыльно-укромные места, — а затем, в трепете сладкого ужаса, стуча коленками и ладошками, я торопился к дальнему выходу, сбивал подушку и вылезал, встречаемый сеточкой солнца под плетеным венским стулом и четою играющих мух, поочередно садящихся на пол. Мечтательнее и тоньше была другая пещерная игра, — когда, проснувшись ранним утром, я сооружал шатер из простыней и одеяла и отправлял мое воображение блуждать по тысяче смутных дорог с чуть видными полотняными лавинами и призрачным светом, казалось, проникавшим в полумрак моего укрытия из невообразимой дали, в которой мне мерещились странные, бледные звери, бродящие средь озер. Воспоминание о моей детской кровати с сетками из пушистого шнура по бокам в свой черед направляет память к упоению прекрасным, восхитительно крепким, гранатово-красным, хрустальным яйцом, уцелевшим от какой-то незапамятной Пасхи. Пожевав уголок простыни так, чтобы он хорошенько намок, я туго заворачивал в него яйцо и глядел, все еще подлизывая уютно спеленутые его плоскости, как проступает их теплое, румяное рдение, чудотворно насыщаясь свечением и цветом. Но мне доводилось питаться красотой и непосредственнее этого.

Как все-таки мал космос (кенгуровой сумки хватит, чтобы вместить его), как ничтожен и тщедушен он в сравнении с сознанием человека, с единственным личным воспоминанием, с его выражением в словах! Допускаю, что я не в меру привязан к самым ранним своим впечатлениям, но как же не быть мне благодарным им? Они проложили путь в сущий рай осязательных и зрительных откровений. Помню, как-то ночью, во время заграничной поездки, осенью 1903 года, я стоял коленками на толстой подушке у окна спального отделения (это было, должно быть, в давно

несуществующем средиземноморском train de luxe[1], том, шесть вагонов которого были окрашены по низу в кофейный цвет, а по верху — в сливочный) и с неизъяснимым замиранием смотрел на горсть баснословных огней, поманивших меня с отдаленных холмов, а затем соскользнувших в черный бархатный карман: алмазы, которые я впоследствии раздавал моим героям, чтобы как-нибудь отделаться от бремени моего богатства. Должно быть, мне удалось отстегнуть и подтолкнуть вверх тугую тисненую шторку в головах моей койки; ступни у меня зябли, но я все равно стоял, продолжая вглядываться. Ничего нет загадочнее и блаженнее вникания в эти первые восторги. Они принадлежат гармонии совершеннейшего детства и в силу этой гармонии обладают прирожденной пластичностью формы, откладываясь в памяти без малейших усилий; привередничать и корячиться Мнемозина начинает только тогда, когда доходишь до юности. И больше того, сдается мне, что в рассуждении мощи этого раннего набирания впечатлений русские дети моего поколения одарены были восприимчивостью поистине гениальной, точно судьба в предвидении катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда привычный им мир, честно пыталась дать им больше того, что им причиталось. Когда же запас был сделан, гениальность исчезла, как бывает с вундеркиндами в более узком значении слова — с какими-нибудь кудрявыми, смазливыми мальчиками, махавшими дирижерской палочкой или укрощавшими громадные рояли, но впоследствии становящимися второстепенными музыкантами с грустными глазами и какой-нибудь невнятной болезнью и с чем-то смутно-уродливым в очерке евнушьих бедер. Пусть так, но индивидуальная тайна пребывает и не перестает дразнить мемуариста. Ни в среде, ни в наследственности не могу нащупать тайный прибор, сформировавший меня, безымянный каландр, оттиснувший на моей жизни некий замысловатый водяной знак, неповторимый рисунок которого различается, лишь когда фонарь искусства просвечивает сквозь страницу жизни.

---

[1] Экспресс *(фр.)*.

3

Чтобы правильно расставить во времени некоторые мои ранние воспоминания, мне приходится равняться по кометам и затмениям, как делает историк, датирующий обрывки саг. Но в иных случаях нехватки сведений я не испытываю. Вижу, например, такую картину: карабкаюсь по мокрым, черным приморским скалам; мисс Норкот, томная и печальная гувернантка, думая, что я следую за ней, удаляется вдоль лукоморья с Сергеем, моим младшим братом. На руке у меня игрушечный браслет. Карабкаясь, я твержу, как некое истое, пышное, утоляющее душу заклинание, английское слово "чайльдхуд" (детство), звук которого постепенно становится новым, таинственным, странным, и в конец завораживается, когда в моем маленьком, переполненном и кипящем мозгу к нему присоединяются "Робин Худ", "Литль Ред Райдинг Худ" (Красная Шапочка) и бурый куколь ("худ") старой горбуньи-феи. В скале есть впадинки, в них стоит теплая морская водица, и мое магическое бормотание сопровождает некие заклинания, которые я сплетаю над крохотными васильковыми купелями.

Место, это, конечно, Аббация, на Адриатике. Вещица на моем запястьи, похожая на затейливое салфеточное кольцо, сделанное из полусквозистого, бледно-зеленого с краснотцой целлулоида, снята с рождественской елки, — Оня, моя миловидная двоюродная сестра и однолетка, подарила мне ее в Петербурге несколькими месяцами раньше. Я сентиментально хранил колечко до поры, пока оно не обзавелось снутри темными трещинками, которые я мечтательно принял за состриженные с моей головы волосы, каким-то образом проникшие, заодно с моими слезами, в блестящее вещество во время ужасного посещения ненавистного парикмахера в соседней Фиуме. В тот же день, в кафе у воды, когда нам уже подавали заказанное, мой отец заметил за ближним столиком двух японских офицеров — и мы тотчас ушли; однако я успел схватить целую бомбочку лимонного мороженого, которую так и унес в набухающем болью рту. Время — 1904 год. Мне пять лет.

Россия воюет с Японией. Английский иллюстрированный еженедельник, который выписывает мисс Норкот, со смаком воспроизводит рисунки японских художников, изображающих, как будут тонуть совсем на вид детские — из-за стиля японской живописи — паровозы русских, если наша армия вздумает провести рельсы по коварному байкальскому льду.

Однако дайте подумать. У меня есть и более ранняя связь с этой войной. Как-то под вечер, в начале того же года, в нашем петербургском особняке, меня повели из детской вниз, в отцовский кабинет, поздороваться с другом нашей семьи генералом Куропаткиным. Коренастое, затянутое в мундир тело его слегка поскрипывало; желая позабавить меня, он высыпал рядом с собой на оттоманку десяток спичек и сложил их в горизонтальную черту, приговаривая: "Вот это — море — в тихую — погоду". Затем он быстро сдвинул углом каждую чету спичек, так чтобы прямая линия превратилась в ломаную, — это было "море в бурю". Тут он смешал спички и собрался было показать другой — может быть лучший — фокус, но нам помешали. Вошел его адъютант, который что-то ему доложил. Суетливо крякнув, Куропаткин тяжело поднялся с оттоманки, причем разбросанные по ней спички подскочили ему вслед. В этот день он был назначен Верховным Главнокомандующим Дальневосточной Армии.

Через пятнадцать лет этот случай имел свой особый эпилог, когда во время бегства отца из захваченного большевиками Петербурга на юг России, его остановил при переходе какого-то моста старик, седобородый мужик в овчинном тулупе. Мужик попросил у отца огонька. Вдруг они узнали друг друга. Надеюсь, старик Куропаткин в своем мужицком обличье сумел избежать советской тюрьмы, но дело не в том. Что радует тут меня, это развитие темы спичек: те волшебные, которыми он меня развлекал, давно затерялись; пропала и его армия; провалилось все, как проваливались мои заводные поезда, когда я пробовал пускать их через замерзшие лужи в саду висбаденского отеля "Ораниен", зимой 1904—1905 года. Проследить на протяжении своей жизни такие тематические узоры и есть, думается мне, главное назначение автобиографии.

4

Завершение катастрофической для России Дальневосточной кампании сопровождалось неистовыми внутренними беспорядками. Ничуть ими не устрашенная, моя мать вернулась с тремя детьми в Петербург, после почти года, проведенного на заграничных водах. Было начало 1905 года. Политические дела задерживали отца в столице; Партии конституционных демократов, одним из основателей которой он был, предстояло в следующем году получить большинство в Первой Думе. Тем летом, в один из коротких наездов к нам, в деревню, он с патриотическим огорчением обнаружил, что мы с братом читаем и пишем по-английски, но не по-русски (кроме разве таких слов, как “какао” и “мама”). Было решено, что сельский учитель будет приходить нам давать ежедневные уроки и водить нас гулять.

Веселой и резкой трелью свистка, украшавшего мою первую матроску, зовет меня мое детство в далекое прошлое, на возобновленную встречу с моим чудесным учителем. У Василия Мартыновича Жерносекова была курчавая русая борода, плешь и фарфорово-голубые глаза, с небольшим интересным наростом на одном (верхнем) веке. В первый день он принес мне коробку удивительно аппетитных кубиков с разными буквами на каждой из граней; обращался он с этими кубиками словно с редкостными драгоценностями, чем, впрочем, они и были (не говоря уж о том, какие великолепные туннели выстраивались из них для моих игрушечных поездов). Отца моего, незадолго до того отстроившего и усовершенствовавшего сельскую школу, он почитал. В знак старомодной приверженности к вольномыслию, он носил мягкий черный галстук, повязанный небрежным бантом. Ко мне, ребенку, он обращался на вы, — не с натянутой интонацией наших слуг и не с особой пронзительной нежностью, звеневшей в голосе матери, когда оказывался у меня жар, или когда я терял самого крохотного пассажира моего поезда (словно хрупкое “ты” не могло бы выдержать груз ее обожания), — но с учтивой простотой взрослого, говорящего с другим взрослым, которого он знает недостаточно коротко, чтобы ему “тыкать”.

Ярый революционер, горячо жестикулируя, он говорил во время наших полевых прогулок о человеколюбии, о свободе, об ужасах войны и о печальной (но интересной, как мне представлялось) необходимости взрывать тиранов, порой вытаскивая популярную в ту пору пацифистскую книгу "Долой Оружье!" (перевод "Die Waffen Nieder!" Берты фон Зуттнер) и потчуя меня, шестилетнего, скучными цитатами; я же пытался их опровергнуть — в этом нежном и воинственном возрасте я горячо восставал в защиту кровопролития, сердито спасая свой мир игрушечных пистолетов и артуровых рыцарей. При ленинском режиме, когда на всех радикалов-некоммунистов обрушились безжалостные гонения, Жерносекова сослали в трудовой лагерь, однако он смог бежать за границу и умер в Нарве в 1939 году.

Отчасти ему я обязан способностью следовать и дальше по личной тропе, бегущей пообок дороги этого беспокойного десятилетия. Когда в июле 1906 года царь, нарушив Конституцию, распустил Думу, некоторое число ее депутатов, и мой отец среди них, собралось на беззаконную встречу в Выборге и опубликовало воззвание, призывавшее народ к неповиновению правительству. Спустя года полтора их посадили за это в тюрьму. Отец провел три безмятежных, хоть несколько и тоскливых месяца в одиночной камере, со своими книгами, складной резиновой ванной и копией руководства Д. Р. Мюллера по домашней гимнастике. До конца своих дней мать хранила письма, которые он ухитрялся ей передавать, — веселые послания, написанные карандашом на туалетной бумаге (я опубликовал их в 1965 году, в четвертом номере русского альманаха "Воздушные пути", издаваемого в Нью-Йорке Романом Гринбергом). Мы были за городом, когда его выпустили; именно сельский учитель и руководил праздничной встречей, украсив дорогу от железнодорожной станции приветственными флагами (среди которых попадались и откровенно красные) под арками из еловых веток, коронованных васильками, любимыми цветами отца. Мы, дети, выехали навстречу, в село, и вспоминая тот день, я с предельной ясностью вижу искрящуюся на солнце реку, мост, ослепительный блеск жестянки, оставленной удильщиком на его деревянных перилах; холм с липами, розовой церковью и

мраморным склепом, в котором покоились предки матери; пыльную дорогу через село, с бобриком светлой травы в песчаных проплешинах между нею и кустами сирени, за которыми шатким рядком стояли замшелые избы; новое, каменное здание школы рядом со старым, деревянным; и, при стремительном нашем проезде, черную, белозубую собачонку, выскочившую откуда-то из-за изб с невероятной скоростью, но в совершенном молчании, сберегавшую лай для короткой заливистой вспышки, которой она потешит себя, когда, после безмолвной пробежки, очутится вровень с коляской.

5

В это необыкновенное десятилетие века фантастически перемешивалось новое со старым, либеральное с патриархальным, фатальная нищета с фантастическим богатством. Не раз случалось, что летом, во время завтрака в многооконной, орехом обшитой столовой на первом этаже вырского дома, буфетчик Алексей наклонялся с удрученным видом к отцу, шепотом (особенно тихим при гостях) сообщая, что пришли мужики и просят “барина” выйти к ним. Быстро переведя салфетку с колен на скатерть и извинившись перед моей матерью, отец покидал стол. Одно из западных окон столовой выходило на край подъездной дорожки у парадного входа. Видны были верхушки жимолости, росшей насупротив крыльца. Оттуда доносилось учтивое жужжание мужиков, невидимая гурьба приветствовала моего невидимого отца. Из-за жары окна, под которыми происходили переговоры, были затворены, и нельзя было разобрать смысл их. Крестьяне, верно, просили отца умерить какую-нибудь местную распрю, или ссудить им на что-либо денег, или разрешить покосить немного на нашей земле, или срубить какую-то, позарез им нужную купу наших деревьев. Если, как часто бывало, отец немедленно соглашался, гул голосов поднимался снова, и доброго “барина”, по старинному русскому обычаю, дюжина дюжих рук раскачивала и подкидывала несколько раз и безопасно ловила.

В столовой, между тем, братцу и мне велено было продолжать есть. Мама, зажав двумя пальцами лакомый кусочек, заглядывала под стол, там ли ее сердитая и капризная такса. "Un jour ils vont le laisser tomber"[1], — замечала Mlle Golay, чопорная старая пессимистка, бывшая гувернантка матери, продолжавшая жить у нас в доме (всегда в ужасных отношениях с нашими гувернантками). Внезапно, глядя с моего места за столом в одно из западных окон, я становился очевидцем замечательного случая левитации. Там на секунду являлась, торжественно и удобно раскинувшись на воздухе, фигура моего отца; его белый летний костюм слегка зыблился, руки и ноги привольно раскинулись, прекрасное невозмутимое лицо было обращено к небу. Трижды он возносился под уханье и ура незримых качальщиков, второй раз выше первого, и вот вижу его в последнем и наивысшем взлете, покоящимся навзничь, и как бы навек, на кубовом фоне летнего полдня, как те небожители, в ризах, поражающих обилием складок, которые непринужденно парят на церковных сводах, между тем как внизу одна от другой загораются в смертных руках восковые свечи, образуя рой меленьких огней в мрении ладана, и иерей читает о вечном покое, и траурные лилии застят лицо того, кто лежит там, среди плывучих огней, в еще незакрытом гробу.

---

[1] Когда-нибудь они его уронят *(фр.)*.

Глава вторая

1

Как далеко ни забираюсь в свою память (с любопытством, с удовольствием, порой с отвращением), вижу, что всегда был подвержен чему-то вроде легких галлюцинаций. Одни из них слуховые, другие зрительные, а проку от них нет никакого. Вещие голоса, останавливавшие Сократа и понукавшие Жанну д'Арк, сводятся в моем случае к тем обрывочным пустякам, которые — подняв телефонную трубку — тотчас прихлопываешь, не желая подслушивать чужой вздор. Перед самым отходом ко сну я часто слышу, как в смежном отделении мозга идет какая-то односторонняя беседа, никак не относящаяся к действительному течению моей мысли. Равнодушный, посторонний, безличный голос произносит слова, совершенно мне не интересные, — английские или русские фразы, даже не ко мне обращенные и содержания столь плоского, что не решаюсь привести пример, дабы не заострить в передаче смыслом их тупость. Дурацкое это явление представляется звуковым эквивалентом некоторых предсонных видений, также хорошо мне знакомых. Я имею в виду не яркий мысленный образ (любимое лицо умершего родителя, например), вызываемый в воображении мощно ударившей крылами волей — одним из самых героических усилий, на какие способен человеческий дух. Не говорю я и о так называемых muscae volitantes[1] — тенях, отбрасываемых на палочки сетчатки микроскопическими пылинками в стеклянистой жидкости глаза, проплывающими по зрительному полю прозрачными паутинками. Ближе к ним, к этим гипнотическим миражам, о которых идет речь, красочная рана

---

[1] Букв.: "перелетающие мушки" *(лат.)*.

продленного впечатления, которую наносит, прежде чем пасть, свет только что отсеченной лампы. Особого толчка, однако, не нужно для появления этих призраков, медленно и ровно развивающихся перед моими закрытыми глазами. Их движение и смена происходят без всякого участия наблюдателя, и в сущности отличаются от сновидений только тем, что он все еще вполне владеет своими чувствами. Они подчас уродливы: привяжется, бывало, жуликоватый профиль, какой-нибудь красномордый карл с раздутым ухом или ноздрей. Иногда, впрочем, фотизмы мои принимают скорее успокоительный, flou[1] тон, — серые фигуры ходят между ульев, понемногу исчезают среди горных снегов маленькие черные попугаи, тает за плывущими мачтами лиловая даль.

Сверх всего этого я наделен в редкой мере цветным слухом. Не знаю, впрочем, правильно ли говорить о "слухе", цветное ощущение создается, по-моему, самим актом голосового воспроизведения буквы, пока воображаю ее зрительный узор. Долгое *a* английского алфавита (речь пойдет только о нем, если не оговорю иного) имеет у меня оттенок выдержанной древесины, меж тем как французское *a* отдает лаковым черным деревом. В эту черную группу входят крепкое *g* (вулканизированная резина) и *r* (запачканный складчатый лоскут). Овсяное *n*, вермишельное *l* и оправленное в слоновую кость ручное зеркальце *o* отвечают за белесоватость. Французское *on*, которое вижу как напряженную поверхность спиртного в наполненной до краев маленькой стопочке, кажется мне загадочным. Переходя к синей группе, находим стальную *x*, грозовую тучу *z* и черничную *k*. Поскольку между звуком и формой существует тонкая связь, я вижу *q* более бурой, чем *k*, между тем как *s* представляется не поголубевшим *c*, но удивительной смесью лазури и жемчуга. Соседствующие оттенки не смешиваются, а дифтонги своих, особых цветов не имеют, если только в каком-то другом языке их не представляет отдельная буква (так, пушисто серая, трехстебельковая русская буква, заменяющая английское *sh*, столь же древняя, как

---

[1] Расплывчатый *(фр.)*.

шелест нильского тростника, воздействует на ее английское представление).

Спешу закончить список, пока меня не перебили. В зеленой группе имеются ольховое *f*, незрелое яблоко *p* и фисташковое *t*. Зелень более тусклая в сочетании с фиалковым — вот лучшее, что могу придумать для *w*. Желтая включает разнообразные *e* да *i*, сливочное *d*, ярко-золотистое *y* и *u*, чье алфавитное значение я могу выразить лишь словами "медь с оливковым отливом". В группе бурой содержится густой каучуковый тон мягкого *g*, чуть более бледное *j* и *h* — коричнево-желтый шнурок от ботинка. Наконец, среди красных *b* имеет оттенок, который живописцы зовут жженой охрой, *m* — как складка розоватой фланели, и я все-таки нашел ныне совершенное соответствие *v* — "розовый кварц" в "Словаре красок" Мерца и Поля. Слово, обозначающее в *моем* словаре радугу — исконную, но явно мутноватую радугу, едва ли произносимо: kzspygv. Насколько я знаю, первым автором, обсуждавшим audition colorée[1] (в 1812 году) был врач-альбинос из Эрлангена.

Исповедь синэстета назовут претенциозной и скучной те, кто защищен от таких просачиваний и отцеживаний более плотными перегородками, чем защищен я. Но моей матери все это казалось вполне естественным. Мы разговорились об этом, когда мне шел седьмой год, я строил замок из разноцветных азбучных кубиков и вскользь заметил ей, что покрашены они неправильно. Мы тут же выяснили, что некоторые мои буквы того же цвета, что ее, кроме того, на нее оптически воздействовали и музыкальные ноты. Во мне они не возбуждали никаких хроматизмов. Музыка, с сожалением должен сказать, представляется мне лишь произвольным чередованием более или менее неприятных звуков. В определенном эмоциональном состоянии я способен вынести сочные спазмы скрипки, но концертное фортепиано и решительно все духовые в небольших дозах вызывают во мне скуку, а в больших — оголение всех нервов. Несмотря на множество опер, которым меня подвергали каждую зиму (я, должно быть, отсидел "Руслана" и "Пиковую

[1] Цветной слух *(фр.)*.

даму" по меньшей мере дюжину раз за вдвое меньшее число лет), вялость моего отклика на музыку полностью перекрывалась зрительной мукой, вызванной невозможностью прочесть, склонясь над плечом Пимена, что он такое пишет, или тщетными попытками вообразить бражников в тускло светящейся комнате Джульетты.

Мать во всем потакала моей чувствительности к зрительным возбуждениям. Сколько акварелей она писала для меня! Какое это было откровение, когда из легкой смеси красного и синего вырастал у нее куст сирени! Бывало, в петербургском доме она вынимала из тайника в стене ее гардеробной (комнаты, где я появился на свет) целую груду драгоценностей, чтобы позанять меня перед сном. Я был тогда очень мал, и эти пылающие диадемы, ожерелья и кольца не уступали для меня в загадочном очаровании иллюминациям в городе по случаю царских годовщин, когда в ватной тишине зимней ночи гигантские монограммы, венцы и иные геральдические узоры из цветных электрических лампочек — сапфирных, изумрудных, рубиновых — с зачарованной стесненностью горели над отороченными снегом карнизами домов.

2

Многочисленные детские болезни особенно сближали меня с матерью. В детстве я проявлял исключительные способности к математике, которые полностью утратил в пору моей на редкость бездарной юности. Этот дар играл грозную роль в моих борениях с ангиной или скарлатиной, когда беспощадно пухли огромные шары и многозначные цифры у меня в горячечном мозгу. Глуповатый гувернер поторопился объяснить мне логарифмы, а в одном из журналов (в английском "Boy's Own Paper"[1]) я прочел о некоем вычислителе-индусе, который ровно в две секунды мог извлечь корень семнадцатой степени из такого, скажем, числа, как 3529471145760275132301897342055866171392 (не уверен, что правильно его запомнил; во всяком случае,

[1] "Газета для мальчиков" *(англ.)*.

корень равнялся 212). Вот эти-то монстры и кормились на моем бреду, и единственное, чем можно было помешать им вытеснить меня из меня самого, это вырвать их сердца. Однако они оказывались слишком сильны, и я садился и с усилием составлял путаную фразу, силясь объяснить матери мое состояние. Сквозь бред она узнавала ощущения, известные ей по собственному опыту, и это ее понимание помогало моей разрывающейся вселенной вернуться к Ньютонову образцу.

Будущему специалисту в такой унылой литературной области, как самоплагиат, небезынтересно будет сопоставить опыт героя моего романа "Дар" с исходным происшествием. Однажды, после долгой болезни я лежал в постели, еще очень слабый, как вдруг нашло на меня блаженное чувство легкости и покоя. Мать, я знал, поехала купить мне очередной подарок, ежедневность которых придавала такую прелесть выздоровлениям. Что предстояло мне получить на этот раз, я не мог угадать, но сквозь кристалл моего странно сквозистого состояния я живо видел, как она едет по Морской к Невскому. Я различал легкие санки, везомые гнедым рысаком. Я слышал его храп, ритмический щелк его мошны и твердый стук комьев мерзлой земли и снега об передок. Перед моими глазами, как и перед материнскими, маячил огромный, в синем ватнике, кучерской зад с путевыми часами в кожаной оправе на кушаке (двадцать минут третьего), из-под которого кругло выпирали тыквообразные складки его ватного крупа. Я видел котиковую шубу матери и, с увеличением льдистой стремительности, муфту, поднимаемую ею к лицу, — грациозным движением петербургской дамы, летящей в открытых санях. Углы просторной медвежьей полости, укрывавшей ее до пояса, крепились петлями к двум боковым шишакам на низкой спинке. А сзади нее, держась за эти шишаки, выездной с кокардой стоял на узких запятках, шедших поверх окончанья полозьев.

Продолжая следить за санями, я видел, как они остановились перед магазином Треймана (письменные принадлежности, бронзовые безделушки, игральные карты). Погодя мать вышла оттуда в сопровождении слуги. Он нес за ней покупку, которая показалась мне карандашом. Я уди-

вился, что она не несет сама такую мелочь, и эта неприятная непонятность размера породила обморочное возвращение, по счастью совсем недолгое, “эффекта набухания мозга”, миновавшего, как я надеялся, вместе с жаром. Пока выездной запахивал опять полость, я смотрел на пар, выдыхаемый всеми, включая коня. Видел и знакомую ужимку матери: у нее была привычка вдруг надуть губы, чтобы отлепилась слишком тесная вуалетка, и вот сейчас, написав это, нежное сетчатое ощущение ее холодной щеки под моими губами возвращается ко мне — *летит* с радостным криком из снежно-синего, синеоконного (еще не спустили штор) прошлого.

Прошло несколько минут, и вот она вошла в мою комнату. В объятиях у нее большой, удлиненный пакет. Его размер был так сильно сокращен в моем видении оттого, может быть, что я делал подсознательную поправку, следуя логике, предупреждавшей меня о возможном сохранении отвратительных останков пухнущего в бреду мира. Теперь же этот предмет действительно оказался гигантским, многоугольным фаберовским карандашом, в четыре фута длиной и соответственно толстым. Он висел рекламою в окне магазина, и мать знала, что я давно мечтаю о нем, как мечтал обо всем, что не совсем можно было за деньги купить. Приказчику пришлось протелефонировать агенту Фабера, “доктору” Либнеру (точно продажа и впрямь содержала в себе нечто болезненное). Помню секунду ужасного сомнения: из графита ли острие, или это подделка? Несколько лет спустя я убедился, просверлив в боку гиганта дырку, что становой графит идет через всю длину — со стороны Фабера и Либнера это было сущее “искусство для искусства”, поскольку карандаш был слишком велик, чтобы им пользоваться, да и предназначался вовсе не для того.

“О, еще бы, — говаривала мать, когда бывало я упоминал то или другое необычайное ощущение, — еще бы, это я хорошо знаю”. И с жутковатой простотой она обсуждала телепатию, и потрескивающие трехногие столики, и предчувствия, и ощущение “раз уже виденного” (le déjà vu). Прямым ее предкам присуще было что-то твердо-сектантское. В церковь она ходила лишь о Великом Посту и на Пасху. Староверские настроения проявлялись у нее здоро-

вой неприязнью к обрядам Православной Церкви и к ее служителям. Евангелия сильно влекли ее моральной и поэтической своей стороной, но в опоре догмы она никак не нуждалась. Страшная беззащитность души в потусторонности и отсутствие там своего угла просто не интересовали ее. Ее проникновенная и невинная вера одинаково принимала и существование иного мира, и невозможность осмыслить его в понятиях земной жизни. Все, что мог сделать человек, это ловить далеко впереди, сквозь туман и химеры, блеск чего-то *настоящего*, — так люди, дневное мышление которых особенно неуимчиво, способны чуять и в самом глубоком сне, где-то за путаницей и нелепицей пустых видений, стройную действительность яви.

3

Любить всей душой, а в остальном доверяться судьбе — таково было ее простое правило. "Вот запомни", — говорила она заговорщицким голосом, предлагая моему вниманию заветную подробность Выры — жаворонка, поднимающегося в простоквашное небо бессолнечного весеннего дня, вспышки ночных зарниц, снимающих в разных положеньях далекую рощу, краски кленовых листьев на палитре бурого песка, клинопись птичьей прогулки на свежем снегу. Как будто предчувствуя, что вещественная часть ее мира должна скоро погибнуть, она необыкновенно бережно относилась ко всем вешкам времени, рассыпанным по нашему сельскому поместью. Прошлое свое она лелеяла с таким же ретроспективным пылом, с каким я теперь лелею мое. Так что я по-своему унаследовал восхитительные подобия, все красоты неотторжимых богатств, призрачное имущество — и это оказалось прекрасным закалом от предназначенных потерь. Материнские отметины и зарубки стали мне столь же дороги и священны, как и ей, так что теперь в моей памяти представлена и комната, которая в прошлом отведена была ее матери под химическую лабораторию; и отмеченный липою подъем в деревню Грязно (ударение на последнем слоге), — столь крутой, что приходилось ве-

лосипедистам брать “bike by horns” (“быка за рога”), как говаривал мой отец, сам завзятый велосипедист, — подъем, где он сделал ей предложение; и старая теннисная площадка в так называемом “старом” парке, ныне заросшая плевелами, поганками и кротовыми кочками, свидетельница, в восьмидесятых и девяностых, веселых перекидок (даже ее угрюмый отец сбрасывал, бывало, сюртук и потрясал, примериваясь, тяжеленной ракетой), которую к моим десяти годам природа истребила с доскональностью войлочного лоскута, стирающего геометрическую задачку.

К тому времени новая теннисная площадка — на краю “нового” парка — была устроена рабочими, выписанными ради этого из Польши. Проволочная сетка просторной ограды отделяла площадку от цветущих лугов, окружавших ее глину. После дождливой ночи поверхность ее обретала бурый лоск, а белые линии приходилось заново прокрашивать разведенным мелом, приносимым в зеленом ведерке Дмитрием, самым маленьким и стареньким из наших садовников, кротким карликом в черных сапогах и красной рубахе, согбенно и медленно пятившимся, пока ползла по линии его кисть. Изгородь из желтых акаций с проемом посередке, образующим зеленую дверь корта, шла параллельно ограде и дорожке, прозванной “тропинкой сфинксов” из-за того, что вечерами сумеречники навещали росшие вдоль нее сирени, также расступавшиеся посередине. Тропка эта была перекладиной огромного Т, чью ножку образовывала просадь одногодков моей матери, черешчатых дубов (о которых я уже говорил), прорезавшая парк по всей его длине. Глядя вдоль этой аллеи от изножия Т, с полной ясностью различаешь маленький яркий прогал в пяти сотнях ярдов отсюда — или в пятидесяти годах от того места, где я сейчас нахожусь. Неизменным партнером моего брата в наших темпераментных семейных парах неизменно был наш с ним тогдашний учитель или отец, — когда он оставался с нами в деревне. “Игра!” — на старинный манер вскрикивала мать, выставляя маленькую ножку и клоня голову в белой шляпе при начале старательного, но слабого сервиса. Я сердился на нее, а она — на мальчиков, подносивших мячи, двух босоногих деревенских пареньков

(курносого внука Дмитрия и брата-близнеца хорошенькой Поленьки, дочери старшего кучера). Ко времени жатвы северное лето становилось тропическим. Багровый Сергей зажимал ракету коленями и медлительно протирал очки. Вижу мою рампетку, стоящую прислоненной к ограде — просто на всякий случай. Руководство Уоллиса Майерса по игре в лоун-теннис лежит, раскрытое, на скамье, и после каждого обмена отец (игрок первоклассный, с пушечной подачей в стиле Фрэнка Райзли и прекрасным "подъемным драйвом") педантично справляется у меня и у брата, сошла ли на нас благодать — отзывается ли драйв у нас от кисти до самого плеча. И порой чудовищный ливень заставляет нас забиваться под навес в углу площадки, посылая тем временем старика Дмитрия в дом, за зонтами и дождевиками. Через четверть часа он появляется, нагруженный горой одежд, в перспективе длиной аллеи, которая по мере его приближения опять обзаводится леопардовыми пятнами, и солнце сияет заново, и его огромное бремя становится ненужным.

Она любила всякие игры, особенно же головоломки и карты. Под ее умело витающими руками, из тысячи вырезанных кусочков постепенно складывалась картина из английской охотничьей жизни, и то, что казалось сначала лошадиной ногой, оказывалось частью ильма, а никуда не входившая штучка вдруг приходилась к крапчатому крапу, порождая во мне нежную дрожь и отвлеченного и осязательного удовольствия. Одно время у нее появилась страсть к покеру, занесенному в Петербург радением дипломатического корпуса, отчего некоторые комбинации оснастились милыми французскими названиями — "brelan" вместо трех карт одного вида, "couleur" вместо "флэша" и так далее. Это был так называемый draw poker с довольно частыми jack-pot'ами и с джокером, заменяющим любую карту. В городе она иногда играла по домам у друзей до трех часов утра — то было обычное светское развлечение в годы, предшествовавшие Первой мировой, — и впоследствии, в изгнании, часто воображала (с таким же наивным ужасом, с каким вспоминала старика Дмитрия) нашего шофера Пирогова, которому приходилось дожидаться ее во всю

бесконченую, безжалостно морозную ночь; на самом деле чай с ромом в сочувственной кухне значительно скрашивал эти вигилии.

В летнюю пору любимейшим ее занятием было хождение по грибы. Поджаренные в масле и приправленные сметаной, ее вкуснейшие находки постоянно появлялись на нашем обеденном столе. Но гастрономическая часть мало что значила. Главным для нее наслаждением были поиски, и у этих поисков имелись свои правила. Скажем, разного рода агарики игнорировались, брались только съедобные представители рода Boletus (рыжеватые edulis — боровики, бурые scaber — подберезовики, красные aurantiacus — подосиновики и кое-кто из близких их родственников), называемые некоторыми "трубчатыми грибами" и холодно определяемые микологами как "наземные, мясистые, гниющие грибы с центральной ножкой". Их компактные шляпки — плотно пригнанные у молодых, дюжие и вкусно скругленные у зрелых — обладают гладким (не пластинчатым) исподом и ладной, крепенькой ножкой. Классической простотой формы "болетусы" разительно отличаются от "грибов настоящих" с их нелепыми гимениальными пластинками и упадочным колечком на ножке. Однако именно ими, низменными и некрасивыми агариками, ограничиваются познания и аппетиты у народов с боязливыми вкусовыми луковицами, так что англо-американскому сознанию аристократические "болетусы" представляются, и то еще в лучшем случае, перевоспитанными поганками.

В дождливую погоду множество этих чудесных растеньиц вылезало под елями, березами и осинами нашего парка, особливо старого, к востоку от делившей парк надвое гужевой дороги. Укромные тенистые уголки напитывались особым грибным запахом, от которого вздрагивают и раздуваются русские ноздри — упоительной, сырой и сытной смесью мокрой моховины, жирной земли, прелых листьев. Но приходилось подолгу всматриваться и шарить в сыром подлеске, покуда не сыщешь и осторожно не вытянешь из почвы что-нибудь действительно стоящее — семейку боровичков в детских чепчиках или мрамористую разновидность подберезовика.

Пасмурными днями, под моросящим дождиком, мать пускалась одна в долгий поход, запасаясь корзинкой — вечно запачканной лиловым снутри от чьих-то черничных сборов. Ближе к ужину, можно было увидеть ее небольшую фигуру в плаще с капюшоном, приближавшуюся из туманов аллеи; бисерная бессчетная морось на зеленовато-бурой шерсти плаща образовывала вокруг нее подобие дымчатого ореола. Вот, выйдя из-под капающих деревьев, она замечает меня, и лицо ее приобретает странное, огорченное выражение, которое казалось бы должно означать неудачу, но на самом деле лишь скрывает, я знаю, ревниво сдержанное упоение удачливого грибника. Дойдя до меня, она испускает "уфф!" преувеличенной усталости, и рука и плечо вдруг обвисают, чуть ли не до земли опуская корзинку, дабы подчеркнуть ее тяжесть, ее сказочную полноту.

Около белой садовой скамейки она выкладывает свои грибы концентрическими кругами на круглый железный стол. Она считает и сортирует их. Старые, с рыхлым, тусклым исподом выбрасываются, остаются молодые и крепкие. Через минуту их унесет слуга в неведомое ей место, к неинтересной ей судьбе, но сейчас можно стоять и с тихим удовлетворением любоваться ими. Как часто бывало под конец дождливого дня, солнце перед самым заходом бросало пылающий луч в сад, и лежали на мокром столе ее грибы, очень красочные, сохранившие, кое-кто, следы посторонней растительности — к иной клейкой, янтарно-коричневой шляпке пристала травинка, к иной подштрихованной, луковичной ножке прилип родимый мох. И крохотная гусеница пяденицы, идя по краю стола, как бы двумя пальцами детской руки все мерила что-то и изредка вытягивалась вверх, напрасно ища куст, с которого ее сбили.

4

Не только никогда не навещала моя мать кухни и помещений прислуги, но они и занимали ее столь же мало, как если бы она жила в гостинице. Не было хозяйственной жилки и у отца. Правда, он заказывал обед. С легким вздохом он раскрывал альбомчик, приносимый буфетчиком

после сладкого, и своим элегантным, плавным почерком вписывал меню на завтра. У него была странная привычка давать карандашу или перу-самотеку, быстро-быстро трепетать над самой бумагой, покуда он обдумывал следующую зыбельку слов. На его вопросительные предложения мать отвечала неопределенными кивками или морщилась. Официально в экономках числилась бывшая няня матери, невероятно морщинистая старушка (родившаяся еще крепостной, году в 1830-м) с потухшим взглядом, маленьким личиком унылой черепахи и большими шаркающими ступнями. Она носила коричневые, как следовало по званию няньки, платья и источала легкий, но незабываемый запах кофе и тлена. Ее наводившие страх поздравления с нашими днями рождения и именинами сводились к рабскому поцелую в плечико. С возрастом в ней появилась патологическая скупость, особенно по части сахару и припасов, по мере развития которой был, с благословения моих родителей, потихоньку от нее утвержден другой домашний порядок. Сама не зная (ее сердце не выдержало бы, узнай она об этом), она как бы болталась в пространстве, с ее же ключничьего кольца, и мать старалась лаской отогнать подозрение, по временам заплывавшее в слабеющий ум старушки. Та правила безраздельно каким-то своим, далеким, затхлым, маленьким царством, которое она почитала существующим (будь это так, мы бы умерли с голоду); вижу, как она терпеливо топает туда по длинным коридорам под насмешливым взглядом слуг, унося половинку яблока или чету сломанных пети-бер'ов, найденных ею где-то на тарелке.

Между тем, при отсутствии всякого надзора за штатом в полсотни человек, и в усадьбе, и в петербургском доме шла веселая воровская свистопляска. По словам пронырливых старых родственниц, — доносам которых никто не верил, но, увы, они говорили правду, — заправилами были повар, Николай Андреевич, да главный садовник, Егор, — оба положительные на вид люди, в очках, с седеющими висками преданных слуг. При наплыве чудовищных и необъяснимых счетов или внезапном исчезновении садовой клубники либо парниковых персиков, мой отец испытывал, в качестве юриста и государственного человека, профес-

сиональную досаду от неумения справиться с экономикой собственного дома; но всякий раз, как обнаруживалось явное злоупотребление, какое-нибудь юридическое сомнение мешало расправе. Когда здравый смысл велел прогнать жулика-слугу, тут-то и оказывалось, что его маленький сын лежит при смерти (или просто лежит) — и все заслонялось необходимостью консилиума из лучших докторов столицы. Отвлекаемый то тем, то другим, мой отец оставил в конце концов хозяйство в состоянии неустойчивого равновесия (и даже научился смотреть на это с юмористической точки зрения), между тем как мать радовалась надежде спасти от гибели сумасшедший мир старой ее няньки.

Мать хорошо знала боль разбитой иллюзии. Малейшее разочарование принимало у нее размеры роковой беды. Как-то в Сочельник, в Выре, незадолго до рождения ее четвертого ребенка, она оставалась в постели из-за легкого недомогания и взяла с меня и с брата (шести- и пятилетнего соответственно) слово, что мы не заглянем в набитые подарками чулки, подвешенные на изножья наших кроваток в рождественскую ночь, а принесем их к ней в спальню и распотрошим там, чтобы она смогла насладиться нашими восторгами. Проснувшись, я быстро посовещался с братом, после чего каждый нетерпеливыми руками ощупал свой приятно шуршащий чулок, набитый маленькими дарами; дары эти мы осторожно вытащили один за одним, развязали, развернули, осмотрели при слабом свете, проникавшем сквозь складки штор, — и снова запаковав, сунули обратно в чулки. Помню затем, как мы сидели у нее на постели с комковатыми чулками в руках, пытаясь дать представление, которое ей хотелось увидеть; но мы так перемяли обертку и так по-любительски изображали удивление и восторг (как сейчас вижу брата, закатывающего глаза и восклицающего с интонацией нашей француженки: “Ah, que c’est beau!”[1]), что, понаблюдавши нас с минуту, наш зритель разразился рыданиями. Прошло десятилетие. Началась Первая мировая война. Толпа патриотов, и мой дядя Рука с ними, забросала камнями Германское посольство. Петербург понизили в звании до Петрограда, вопреки всем

---

[1] Ах, как это красиво! *(фр.)*.

нормам номенклатурного приоритета. Бетховен обратился в голландца. Хроникальные фильмы показывали фотогеничные взрывы, спазмы пушек, Пуанкаре в крагах, холодные лужи, бежняжку-наследника в черкеске с кинжалом и газырями, крупных, ужасно одетых его сестер, бесконечные, забитые войсками рельсовые пути. Мать соорудила собственный лазарет для раненых солдат. Помню ее в ненавистной ей серо-белой форме сестры, рыдающей теми же детскими слезами над непроницаемой кротостью искалеченных мужиков, над фальшью дежурного милосердия. И еще позже, перебирая в изгнании прошлое, она часто винила себя (по-моему — несправедливо), что менее была чутка к человеческому горю, чем к бремени чувств, спихиваемому человеком на безвинную природу, как например, старые деревья, старые лошади, старые псы.

Мои тетки недоуменно критиковали ее пристрастие к коричневым таксам. В фотографических альбомах, подробно иллюстрирующих ее молодые годы, редкая группа обходилась без этого существа, с расплывшейся от темперамента какой-нибудь частью гибкого тела и с тем странным, параноидальным взглядом, который у этой породы всегда бывает на семейных снимках. В раннем детстве я еще застал на садовом угреве двух тучных старичков, Лулу и Бокса Первого. Около 1904 года отец привез с Мюнхенской выставки щенка, из которого вырос сварливый, но удивительно красивый Трэйни (я назвал его так, потому что длиной и коричневостью он походил на спальный вагон). Одна из музыкальных нот моего детства — это истеричное тявканье Трейни, преследующего зайца, которого ему никогда не удавалось загнать, по дебрям нашего вырского парка, откуда он возвращался в сумерках (моя встревоженная мать долго стояла, высвистывая его, в дубовой аллее) с давно уже дохлым кротом в зубах и с репьями в ушах. Году в 1915-м у него отнялись задние ноги, и пока мать не решилась его усыпить, бедный пес уныло ездил по долгим, лоснистым паркетам, как cul de jatte[1]. Затем кто-то подарил нам другого щенка, Бокса Второго, внука Хины и Брома, принадлежавших доктору Антону Чехову. Этот оконча-

[1] Безногий *(фр.)*.

тельный таксик последовал за нами в изгнание, и еще в 1930 году в пригороде Праги (где моя овдовевшая мать жила на крохотную пенсию чешского правительства) можно было видеть неохотно ковыляющего далеко позади своей хозяйки этого пса, раздражительного, страшно старого, гневающегося на чешский длинный проволочный намордник, — эмигрантскую собаку в заплатанном, плохо сидящем пальтеце.

В последние наши два кембриджских года мы с братом проводили каникулы в Берлине, где наши родители с двумя дочерьми и десятилетним Кириллом занимали одну из тех больших, угрюмых, откровенно буржуазных квартир, в какие я, в моих романах и рассказах, селил столь многие эмигрантские семьи. В ночь 28 марта 1922 года, часов около десяти, я читал матери, откинувшейся на красный плюш углового диванчика гостиной, блоковские стихи об Италии, — я как раз добрался до конца стихотворения о Флоренции, в котором Блок сравнивает этот город с нежным, дымным ирисом, и она сказала, не отрываясь от вязания: "Да-да, Флоренция похожа на "дымный ирис", как верно! Помню..." — и тут зазвонил телефон.

После 1923-го, когда она переехала в Прагу, я жил в Германии и Франции, и не мог часто ее навещать. Не было меня с ней и когда она умерла — в самый канун Второй мировой войны. Всякий раз, что удавалось посетить Прагу, я испытывал в первую секунду ту боль, которую чувствуешь перед тем, как время, застигнутое врасплох, снова натягивает его привычную маску. В донельзя убогой квартире, которую она делила с самым близким ее другом, Евгенией Константиновной Гофельд (1884–1957), сменившей в 1914 году мисс Гринвуд (которая, в свой черед, сменила мисс Лавингтон) в качестве гувернантки двух моих сестер (Ольги, родившейся 5 января 1903-го, и Елены, родившейся 31 марта 1906-го), лежали вокруг нее на разрозненной, ветхой, купленной на распродаже мебели, альбомы, в которые она списывала в течение многих лет нравившиеся ей стихи, от Майкова до Маяковского. Слепок отцовской руки и акварель с изображеньем его могилы на православном кладбище в Тегеле (ныне в Восточном Берлине) соседствовали на полке с ужасно скоро треплющимися томика-

ми эмигрантских изданий в дешевых бумажных обложках. Около ее кушетки ящик из-под мыла, покрытый зеленой материей, заменял столик, и на нем стояли маленькие мутные фотографии в разваливающихся рамках. Впрочем, она едва ли нуждалась в них, ибо ничто не было утеряно. Как бродячая труппа всюду возит с собой, поскольку не забыты реплики, и продуваемую ветрами вересковую пустошь, и замок в тумане, и очарованный остров, — так она носила в себе все, что отложила душа. Совершенно ясно вижу ее, сидящую за столом и тихо созерцающую карты, разложенные в пасьянсе: левой рукой она облокотилась об стол, и в ней же, прижав к щеке сгиб свободного большого пальца, она держит близко ко рту папироску собственной набивки, а правая между тем тянется к следующей карте. На четвертом пальце правой руки горит блеск двух обручальных колец: отцовское, слишком для нее широкое, привязано черной ниточкой к ее собственному кольцу.

Когда мне снятся умершие, они всегда молчаливы, озабочены, смутно подавлены чем-то, совсем не похожи на себя, дорогих, ярких. Я встречаюсь с ними без удивления, в обстановке, в которой они никогда не бывали при жизни, — например, в доме у кого-то, с кем я подружился потом. Они сидят в сторонке, хмуро опустив глаза, как если бы смерть была темным пятном, постыдной семейной тайной. И конечно не там и не тогда, не в этих снах, дается смертному случай заглянуть за свои пределы — с мачты, из минувшего, с его замковой башни, — а дается этот случай нам наяву, когда мы в полном блеске сознания, в минуты радости, силы и удачи. И хоть мало различаешь во мгле, все же блаженно верится, что смотришь туда, куда нужно.

Глава третья

1

Неопытный геральдик смахивает на средневекового путешественника, который приносит домой с Востока фаунистические фантазии, явственно отзывающие скорее домашним бестиарием, который он знает с измальства, чем прямыми зоологическими изысканиями. Так, в первом варианте этой главы, описывая набоковский герб (мельком виденный многие годы назад среди иных семейных мелочей), я каким-то образом умудрился обратить его в домашнее диво — двух медведей, подпирающих огромную шашечницу. К нынешнему времени я отыскал его, этот герб, и с разочарованием обнаружил, что сводится он всего-навсего к двум львам — буроватым и, возможно, чересчур лохматым, но с медведями все же нимало не схожим зверюгам, — удовлетворенно облизывающимся, вздыбленным, смотрящим назад, надменно предъявляющим щит невезучего рыцаря, всего лишь одной шестнадцатой частью схожий с шахматной доской из чередующихся лазурных и красных квадратов, с крестом серебряным, трилистниковым, в каждом. Поверх щита можно видеть то, что осталось от рыцаря: грубый шлем и несъедобный латный воротник, а с ними одну бравую руку, торчащую, еще сжимая короткий меч, из орнамента лиственного, лазурного с красным. "За храбрость", — гласит девиз.

По словам двоюродного брата отца моего, Владимира Викторовича Голубцова, любителя русских древностей, у которого я наводил в 1930-м году справки, основателем нашего рода был Набок Мурза (floreat[1] 1380), обрусевший в Московии татарский князек. Собственный мой двоюрод-

[1] Да здравствует *(лат.)*.

ный брат, Сергей Сергеевич Набоков, ученый генеалог, сообщает мне, что в пятнадцатом столетии наши предки владели землей в Московском княжестве. Он ссылается на документ (опубликованный Юшковым в "Актах XIII—XIV столетий", Москва, 1899), касающийся деревенской свары, разразившейся в 1494 году, при Иване III, между помещиком Кулякиным и его соседями, Филатом, Евдокимом и Власом, сыновьями Луки Набокова. В последующие столетия Набоковы служили по чиновной части и в армии. Мой прапрадед, генерал Александр Иванович Набоков (1749—1807) командовал в царствование Павла I полком Новгородского гарнизона, называвшимся в официальных бумагах "Набоковским полком". Младший из его сыновей, мой прадед, Николай Александрович Набоков, молодым флотским офицером участвовал в 1817 году, вместе с будущими адмиралами бароном фон Врангелем и графом Литке в руководимой капитаном (впоследствии вице-адмиралом) Василием Михайловичем Головниным картографической экспедиции на Новую Землю (ни много ни мало), где именем этого моего предка была названа "река Набокова". Память о главе экспедиции сохранилась в изрядном числе географических названий, одно из них — залив Головнина на полуострове Сьюард в западной Аляске, бабочка с которого, *Parnassius phoebus* golovinis (отмеченная жирным sic[1]), была описана доктором Голландом; моему прадеду, впрочем, нечего предъявить кроме этой очень синей, почти индигово синей, неистово даже синей речушки, вьющейся между мокрых камней, поскольку он вскоре оставил флот, "n'ayant pas le pied marin"[2] (как выразился мой кузен Сергей Сергеевич, сообщивший мне о нем) и поступил в Московский гвардейский полк. Он был женат на Анне Александровне Назимовой (сестре декабриста). О военной карьере его мне ничего не известно, но какова бы она ни была, она навряд ли сравнялась с карьерой его брата, Ивана Александровича Набокова (1787—1852), героя войн с Наполеоном, ставшего под старость комендантом Петропавловской

---

[1] Так! *(лат.)*

[2] Не будучи в душе моряком *(фр.)*.

крепости в Петербурге, где одним из его узников был (в 1849 году) писатель Достоевский, автор "Двойника" и проч., которого добрый генерал ссужал книгами. Куда интереснее, однако же, то, что он был женат на Екатерине Пущиной, сестре Ивана Пущина, однокашника и близкого друга Пушкина. Наборщики, внимание: два раза "щин" и один раз "шкин".

Племянником Ивана и сыном Николая был мой дед с отцовской стороны, Дмитрий Набоков (1827–1904), министр юстиции в течение восьми лет, при двух царях. Он женился (24 сентября 1859 года) на Марии, семнадцатилетней дочери барона Фердинанда-Николая-Виктора фон Корфа (1805–1869), немецкого генерала русской службы.

В живучих старых родах определенные физиономические характеристики повторяются раз за разом, словно некие указатели либо клейма творца. Набоковский нос (нос моего деда, к примеру) отличается мягким, округлым, чуть вздернутым кончиком и легкой вогнутостью, ежели смотреть в профиль; нос Корфов (к примеру, мой) — это добротный немецкий орган с крепким костистым хребтиком и чуть покатым, явственно желобчатым кончиком. Выражая презрение либо изумление, Набоковы приподнимали брови, относительно густые лишь у переносицы и почти пропадающие ближе к вискам; у Корфов брови изящно изогнуты, но также довольно редки. В остальном же Набоковы, теряясь в тенях картинной галереи времени, скоро сливаются со смутными Рукавишниковыми, из которых я знал только мою мать и ее брата Василия — слишком малая выборка для моих нынешних целей. С другой стороны, женщин из рода Корфов я вижу вполне отчетливо — прекрасные лилейно-розовые девы с высокими, румяными pommettes[1], бледно-голубыми глазами и той маленькой, похожей на мушку родинкой на щеке, которую моя бабушка, мой отец, трое или четверо его сестер и братьев, некоторые из моих двадцати пяти кузенов и кузин, моя младшая сестра и мой сын Дмитрий наследовали в различных степенях проявленности, будто более или менее четкие копии одной и той же гравюры.

---

[1] Скулы *(фр.)*.

Немецкий мой прадед, барон Фердинанд фон Корф, женившийся на Нине Александровне Шишковой (1819–1895), родился в 1805 году в Кенигсберге и после успешной военной карьеры скончался в поместье жены на Волге под Саратовом. Он был внуком Вильгельма-Карла, барона фон Корфа (1739–1799), и Элеоноры-Маргериты, баронессы фон дер Остен-Сакен (1731–1786), и сыном Никласа фон Корфа (ум. 1812), майора прусской армии, и Антуанетты-Теодоры Граун (ум. 1859), приходившейся внучкой Карлу-Генриху Грауну, композитору.

Мать Антуанетты, Элизабет, рожденная Фишер (р. 1760), была дочерью Регины, рожденной Гартунг (1732–1805), дочери Иоганна-Генриха Гартунга (1699–1765), возглавлявшего в Кенигсберге известный издательский дом. Элизабет славилась своей красотой. Разведясь в 1795-м с первым мужем, Justizrat[1] Грауном, сыном композитора, она вышла за второстепенного поэта Христиана-Августа фон Стагемана и была "по-матерински дружна", как называет это мой немецкий источник, с Генрихом фон Клейстом (1777–1811), автором куда более известным, который в тридцать три года страстно влюбился в ее двенадцатилетнюю дочь Гедвиг-Марию (впоследствии фон Олферс). Говорят, что он заглядывал в дом их, чтобы попрощаться перед отъездом на Ванзее — ради задуманного восторженного самоубийства на пару с одной больной дамой, — однако принят не был, поскольку в хозяйстве Стагеманов шла в тот день большая стирка. Воистину замечательны обилие и разнообразие соприкасаний пращуров моих с миром литературы.

Карл-Генрих Граун, прадед Фердинанда фон Корфа, *моего* прадеда, родился в 1701 году в Варенбрюке, Саксония. Его отец, Август Граун (р. 1670) ("Königlicher Polnischer and Kurfürstlicher Sächsischer Akziseneinnehmer"[2] — упомянутым курфюстом был его тезка, Август II, король Польши), произошел от длинной череды пасторов, а прапрадед,

---

[1] Советник юстиции (*нем.*).

[2] Податный чиновник короля Польского и курфюрста Саксонского (*нем.*).

Вольфганг Граун служил в 1575-м органистом в Плауэне (близ Варенбрюка), общественный парк которого украшает теперь статуя его потомка, композитора. Карл-Генрих Граун умер в возрасте пятидесяти восьми лет в 1759 году, в Берлине, где семнадцатью годами ранее его "Цезарем и Клеопатрой" открылся новый оперный театр. Он был одним из выдающихся композиторов своего времени, даже величайшим, если верить авторам местных некрологов, растроганных горем его августейшего покровителя. Граун показан (уже посмертно) стоящим несколько в стороне, со скрещенными руками, на картине Менцеля, изображающей Фридриха Великого, который играет на флейте сочинение Грауна; репродукция этой картины преследовала меня по всем немецким пансионам, в которые я селился за годы моего изгнания. Мне говорили, что во дворце Сан-Суси в Потсдаме имеется прижизненное полотно, изображающее Грауна и его жену Доротею Рехкопп сидящими за одними клавикордами. Музыкальные энциклопедии часто воспроизводят находящийся в Берлинской опере портрет, на котором он очень походит на композитора Николая Дмитриевича Набокова, моего двоюродного брата. Забавное, маленькое, размером в 250 долларов, эхо всех тех концертов под расписными потолками позолоченного прошлого ласково настигло меня в хайль-гитлеровском Берлине 1936 года, когда родовое имущество Граунов, сводившееся к коллекции симпатичных табакерок и прочих безделушек, стоимость которых, после того как они претерпели многообразные аватары в Прусском государственном банке, усохла до 43 000 рейхсмарок (около 10 000 долларов), было распределено среди множества наследников запасливого композитора, принадлежащих к кланам фон Корфов, фон Виссманов и Набоковых (четвертая линия, графы Асинари ди Сан-Марцано, прекратила свое существование).

Две баронессы фон Корф оставили след в судебных летописях Парижа. Одна, урожденная Анна-Кристина Стегельман, дочь шведского банкира, была вдовой барона Фромгольда Кристиана фон Корфа, полковника русской армии, двоюродного прадеда моей бабушки. Анна-Кристина была также кузиной или возлюбленной, или и тем и другим сразу, другого воина, знаменитого графа Акселя

фон Ферзена; именно она, находясь в Париже в 1791 году, одолжила и паспорт свой, и дорожную карету (только что сделанный на заказ роскошный экипаж на высоких красных колесах, обитый снутри белым утрехтским бархатом, с зелеными шторами и всякими модными в ту пору удобствами вроде vase de voyage[1]) королевскому семейству для бегства в Варенн (королева изображала мадам де Корф, а король — гувернера ее двух детей). Другая полицейская история связана с менее трагическим маскарадом.

В канун парижской недели карнавалов граф де Морни пригласил на свой домашний бал-маскарад "une noble dame que la Russie a prêtée cet hiver à la France"[2] (как сообщает Генри в разделе "Gazette du Palais"[3] журнала "Illustration"[4], 1859, с. 251). То была Нина, баронесса фон Корф, уже мною упомянутая; старшей из пяти ее дочерей, Марии (1842–1926), предстояло в сентябре того же 1859 года, выйти за Дмитрия Николаевича Набокова (1827–1904), близкого друга семьи, также находившегося в то время в Париже. Для девиц, Марии и Ольги, были заказаны к балу костюмы цветочниц, по двести пятьдесят франков за каждый. Согласно бойкому репортеру "Illustration" цена их составляла шестьсот сорок три дня "de nourriture, de loyer et d'entretien du père Crépin" (стоимости жилья, питания и обуви), что звучит несколько странно. Когда костюмы были готовы, мадам де Корф сочла их "trop décolletés"[5] и принять отказалась. Портниха прислала "huissier" (судебного пристава), произошел скандал, и моя достойная прабабушка (женщина красивая, страстного нрава и, как ни грустно об этом говорить, не столь строгая по части собственной добродетели, как можно было бы заключить из ее возмущения низким вырезом) подала на портниху в суд.

Она указала, что "demoiselles de magazin"[6], принесшие наряды, вели себя как "des péronnelles" (наглые девки) и

---

[1] Ночной горшок *(фр.)*.

[2] Благородную даму, которую Россия одолжила на эту зиму Франции *(фр.)*.

[3] Дворцовые новости *(фр.)*.

[4] Картины *(фр.)*.

[5] Слишком открытыми *(фр.)*.

[6] Магазинные мамзели *(фр.)*.

в ответ на ее слова, что такие декольте не подходят благородным девицам, “se sont permis d’exposer des théories égalitaires du plus mauvais goût” (позволили себе высказать превульгарные демократические теории); она заявила, что поздно было заказывать другие костюмы, — и рыдающие дочки не пошли на бал; она обвинила пристава и его подручных в том, что те развалились в креслах, предоставив дамам стулья; она также пожаловалась, гневно и горько, что пристав смел грозить арестом господину Дмитрию Набокову, “Conseiller d’État, homme sage et plein de mesure” (статскому советнику, человеку рассудительному и уравновешенному), только потому, что названный господин попробовал пристава выбросить из окна. Иск был не весьма основателен, но портниха дело проиграла. Ей пришлось не только забрать наряды и вернуть деньги за них, но еще отвалить истице тысячу франков за моральный ущерб; с другой стороны, счет, поданный Кристине каретником в 1791 г. (пять тысяч девятьсот сорок четыре ливра), так и остался неоплаченным.

Дмитрий Набоков, министр юстиции с 1878-го по 1885-й, многое сделал, чтобы защитить, если не укрепить, либеральные реформы шестидесятых (введение суда присяжных, к примеру) от яростных нападок со стороны реакционеров. “Он действовал, — говорит биограф (“Энциклопедический словарь” Брокгауза и Ефрона, второе издание), — как капитан корабля во время сильной бури — выбросил за борт часть груза, чтобы спасти остальное”. Замечаю, что это эпитафическое уподобление невольно перекликается с эпиграфической темой — ранней попыткой дедушки выбросить представителя закона за окно.

При его отставке Александр Третий предложил ему на выбор либо графский титул, либо денежное вознаграждение, предположительно немалое; не знаю в точности, чего стоило русское графство, однако вопреки ожиданиям бережливого царя мой дед (как и его дядя Иван, которому Николай Первый предоставил подобный же выбор) предпочел более основательную из наград. (“Encore un comte raté”[1], — сухо замечает Сергей Сергеевич.) После этого он

---

[1] Еще один несостоявшийся граф *(фр.)*.

жил преимущественно за границей. В первые годы нашего столетия рассудок его помутился, однако он верил, что все образуется, коль скоро он останется жить у Средиземного моря. Врачи же, напротив, полагали, что ему нужен горный климат или северная Россия. Существует удивительная история, которую мне удалось воссоздать по кусочкам, о том, как он, где-то в Италии, сумел бежать из-под надзора. Он довольно долго блуждал, как некий Лир, понося детей своих на радость прохожим, пока какой-то прозаический карабинер не поймал его средь диких скал. В 1903 году моя мать, единственный человек, с чьим присмотром он мирился в минуты безумия, ходила за ним в Ницце. Брат и я — ему шел четвертый, а мне пятый год — жили там же с нашей английской гувернанткой; помню, как при блеске утра оконницы дребезжали на ветру, и какая это была удивительная боль, когда капля растопленного сургуча упала мне на палец. Только что я занимался превращением его плавких брусков в клейкие, дивно пахнущие, карминовые, синие, бронзовые кляксы. Миг — и я с истошным ревом свалился на пол, и мама прибежала мне на помощь, и где-то поодаль мой дед в двухколесном кресле бил концом трости по звонким плитам. Ей приходилось с ним нелегко. Он бранился похабными словами. Служителя, катавшего его по Promenade des Anglais[1] он принимал за давно покойного графа Лорис-Меликова, своего коллегу по кабинету министров восьмидесятых годов. “Qui est cette femme? Chassez-la!”[2] — кричал он моей матери, указывая трясущимся перстом на бельгийскую или голландскую королеву, остановившуюся, чтобы справиться о его здоровье. Смутно припоминаю себя подбегающим к его креслу, чтобы показать ему красивый камушек, который он медленно осматривает и медленно кладет себе в рот. Жалею, что мало проявлял любопытства, когда в поздние годы мать вспоминала об этой поре.

Все дольше и дольше становились припадки забытья; во время одного такого затмения всех чувств он был перевезен

---

[1] Английской набережной *(фр.)*.

[2] Кто эта женщина? Прогоните ее! *(фр.)*.

в его квартиру на Дворцовой набережной Петербурга. Пока он медленно приходил в себя, мать закамуфлировала одну из комнат под его спальню в Ницце. Подыскали похожую мебель, недостающую в спешке привез из Ниццы особый посыльный, наполнили вазы привычными для его затуманенных чувств цветами, должным образом разнообразными и изобильными, и тот уголок стены, который можно было разглядеть из окна, покрасили в блестяще-белый цвет, так что при каждом относительном прояснении рассудка больной видел себя на иллюзорной Ривьере, художественно представленной моей матерью, и здесь, 28 марта 1904 года, точно за восемнадцать лет, день в день, до моего отца, он мирно умер.

Он оставил четырех сыновей и пятерых дочерей. Старшим был Дмитрий, унаследовавший набоковские владения в тогдашнем Царстве Польском; его первой женой была Лидия Эдуардовна Фальц-Фейн, второй — Мари Редлих; следующим шел мой отец; затем Сергей, губернатор Митавы, женатый на Дарье Николаевне Тучковой, праправнучке фельдмаршала Кутузова, князя Смоленского. Самым младшим был Константин, к женщинам равнодушный. Из пяти их сестер Наталья была за Иваном де Петерсоном, русским консулом в Гааге; Вера — за Иваном Пыхачевым, охотником и землевладельцем; Нина — за бароном Раушем фон Траубенбергом, военным губернатором Варшавы, а затем за адмиралом Николаем Коломейцевым, героем японской войны; Елизавета — за Генрихом, князем Сайн-Виттгенштейн-Берлебургским, а после его смерти за Романом Лейкманом, гувернером ее сыновей; Надежда — за Дмитрием Вонлярлярским, с которым она впоследствии развелась.

Дядя Константин служил по дипломатической линии и под конец своей карьеры в Лондоне жестоко и неуспешно воевал с соперником по посольскому первенству Саблиным. Жизнь его была небогата событиями, однако он смог дважды увернуться от судьбы, далеко не столь банальной, как сквозняк в лондонском госпитале, убивший его в 1929-м, — первый раз в Москве, 17 февраля 1905 года, когда его старший друг, вел. кн. Сергей, за полминуты до взрыва предложил подвезти его в коляске, и дядя ответил: “Нет, спасибо, мне тут рядом”, — и коляска покатила на

роковое свидание с бомбистом; второй раз семь лет спустя, когда он не поспел на другое свидание, на этот раз с айсбергом, вернув свой билет на "Титаник". После нашего бегства из ленинской России мы с ним часто видались в Лондоне. Наша встреча на вокзале Виктория в 1919 году осталась в моей памяти яркой виньеткой: отец, раскрыв по-медвежьи объятия, приближается к своему чопорному брату, а тот отступает, повторяя: "Мы в Англии, мы в Англии". Его очаровательную квартирку заполняли сувениры из Индии, к примеру, фотографии молодых английских офицеров. Он опубликовал "Злоключения Дипломата" (1921), которые легко найти в больших публичных библиотеках, и перевел на английский язык "Бориса Годунова"; он присутствует — эспаньолка и все прочее (вместе с графом Витте, двумя японскими делегатами и благодушным Теодором Рузвельтом) — на фреске, изображающей подписание Портсмутского мира и находящейся слева в вестибюльном зале Американского Музея Естествоведения, — на редкость подходящее место для моей, выведенной золотыми русскими литерами, фамилии, увиденной мною, когда я впервые проходил здесь вместе с коллегой лепидоптеристом, сказавшим "Как же, как же" в ответ на мое приветственное восклицание.

2

Схематически три имения нашей семьи на Оредежи, в пятидесяти милях к югу от Петербурга, можно представить тремя сцепленными звеньями десятимильной цепочки, протянувшейся с запада на восток вдоль Лужского шоссе; принадлежавшая моей матери Выра находится посередке, Рождествено, имение ее брата, — справа, а бабушкино Батово — слева, соединяют же их мосты через Оредежь, которая, виясь, ветвясь и петляя, омывает Выру со всех сторон.

И еще две, более удаленные усадьбы, расположенные в этих местах, были связаны с Батово: Дружноселье моего дяди князя Виттгенштейна, что стояло в нескольких милях по другую сторону от железнодорожной станции Сивер-

ской, находившейся в шести милях к северо-востоку от нас, и Митюшино моего дяди Пыхачева — милях в пятидесяти на юг, по дороге на Лугу: там я никогда не бывал, но десять примерно миль, отделявших нас от Виттгенштейнов, мы одолевали довольно часто, а однажды (в августе 1911 года) навестили их в принадлежавшей им великолепной Каменке, находившейся в Подольской губернии на юго-западе России.

В истории усадьба Батово известна с 1805 года, когда она стала собственностью Анастасии Матвеевны Рылеевой, рожденной Эссен. Сын ее, Кондратий Федорович Рылеев (1795–1826), второстепенный поэт, журналист и прославленный декабрист, проводил в этих местах большую часть летних месяцев, посвящая элегии Оредежи и воспевая замок царевича Алексея, жемчужину ее берегов. Легенда и логика, содружество редкое, но крепкое, по-видимому указывают, как я со всей полнотой объясняю в моих комментариях к “Онегину”, что пистолетная дуэль Рылеева с Пушкиным, о которой так мало известно, произошла в парке Батова между 6-м и 9-м мая (по старому стилю) 1820 года. Пушкин и двое его друзей, барон Антон Дельвиг и Павел Яковлев, провожавших его до конца первого перегона на длинном пути из Петербурга в Екатеринослав, мирно своротили с Лужского тракта в Рождествено, переехали мост (уханье копыт сменилось недолгим клацаньем) и старой колейной дорогой покатили на запад, в Батово. Здесь, перед самой мызой, их с нетерпением ждал Рылеев. Он только что отослал жену, бывшую на сносях, в их поместье под Воронежем и спешил покончить с дуэлью, чтобы — коли будет на то воля Господня — соединиться с нею. Кожей и ноздрями чую упоительную сельскую свежесть весеннего дня, встретившую Пушкина и его секундантов, когда они выбрались из кареты и вошли в липовую аллею, начинавшуюся за еще девственно черными цветниками Батова. Ясно вижу эту троицу молодых людей (сумма их лет равняется моему теперешнему возрасту), идущих по парку за его владельцем и двумя неизвестными. Об эту пору маленькие мятые фиалки пробиваются сквозь ковер прошлогодней листвы, и только что вылупившиеся оранжевые белянки опускаются на подрагивающие одуванчики.

Судьба поколебалась с миг, не зная, что ей предпочесть — преградить ли героическому мятежнику путь на виселицу, лишить ли Россию "Евгения Онегина", — но затем решила не ввязываться.

Лет через двадцать после казни Рылеева (на бастионе Петропавловской крепости в 1826 году) Батово выкупила у казны мать моей бабушки со стороны отца, Нина Александровна Шишкова, впоследствии баронесса фон Корф, у которой затем, году в 1855-м его перекупила бабушка. Двум выращенным дядьками и гувернантками поколениям Набоковых знакома одна тропка в лесах за Батовом, "Le Chemin du Pendu", знаменитая "тропа висельника" — так называли Рылеева в свете (лиц благородного звания в те дни вешали не часто), предпочитая это прозвание "декабристу" или "бунтовщику". Легко представляю себе Рылеева среди зеленого плетения наших лесов, гуляющего, читающего — то были романтические блуждания в духе его века, — и так же легко воображаю бесстрашного лейтенанта, обличающего деспотизм на холодной Сенатской площади перед своими товарищами и озадаченными полками; однако название предвкушаемой послушными детишками длинной заросшей promenade во все детство оставалось никак не связанным в нашем сознании с несчастным владельцем Батова: мой двоюродный брат Сергей Набоков, родившийся в Батове в "la Chambre du Revenant"[1], воображал себе некое заурядное привидение, я же вместе с моими учителями и гувернантками туманно предполагал, что какого-то незнакомца нашли повесившимся на одной из тех осин, на которых кормится редкостный бражник. То, что для местных крестьян Рылеев мог быть попросту "висельником", не более чем естественно; однако и в усадебных семействах некое причудливое табу, видимо, запрещало родителям называть имя призрака, как будто точная ссылка могла осквернить славную неопределенность названия, обозначившего живописную тропку в любимом сельском имении. И все-таки я удивляюсь, сознавая, что даже отец мой, так много знавший о декабристах и питавший к ним

[1] Комнате призрака *(фр.)*.

куда более теплые чувства, чем его родственники, ни разу, сколько я помню, не упомянул о Кондратии Рылееве во время наших походов или велосипедных прогулок по окрестностям. Кузен привлек мое внимание к тому обстоятельству, что генерал Рылеев, сын поэта, был близким другом царя Александра II и моего деда, Д. Н. Набокова, и что "on ne parle pas de corde dans la maison du pendu"[1].

Старая колейная дорога (по которой мы уже проехали с Пушкиным, теперь возвращаемся) ведет из Батова на восток и через три версты достигает Рождествена. Перед самым большим мостом с нее можно свернуть на север, в поля, и добраться до нашей Выры с двумя парками по обе стороны от дороги, либо же ехать дальше на восток и спуститься по крутому холму мимо заросшего черемухой и малиной кладбища и, переехав мост, приблизиться к белоколонному дому моего дяди, отъединенно стоящему на своем холме.

Поместье Рождествено вместе с носящим это же имя большим селом, обширные угодья и мыза высоко над рекой Оредежью на Лужском (или Варшавском) шоссе, в окрестностях Царского Села (теперь Пушкин), милях в пятидесяти от Петербурга (теперь Ленинград), до восемнадцатого столетья было известно как Куровицкие угодья в старом Копорском уезде. Около 1715-го года оно принадлежало царевичу Алексею, несчастному сыну прославленного архиубийцы Петра Великого. Часть escalier dérobé[2] и еще что-то, чего мне сейчас не припомнить, сохранились в новой анатомии здания. Я трогал эти перила и видел (или попирал?) другую, забытую, деталь. Из этого дворца, по этому тракту, ведущему в Польшу и Австрию, царевич и бежал лишь для того, чтобы агент царя, граф Петр Андреевич Толстой, бывший одно время послом в Константинополе (где он приобрел для своего властителя арапчонка, внуку которого предстояло стать Пушкиным), выманил его из самого Неаполя в отцовский пыточный застенок. Позже Рождествено принадлежало, кажется, фавориту Александра I, сам же дом частью перестроили году в 1880-м, когда мой

---

[1] В доме повешенного не говорят о веревке *(фр.)*.

[2] Потайной лестницы *(фр.)*.

дед по матери купил здешние земли для своего старшего сына Владимира, скончавшегося через несколько лет в шестнадцатилетнем возрасте. Его брат, Василий унаследовал дом в 1901 году и провел в нем десять летних сезонов из тех пятнадцати, что ему оставались. Особенно ясно помню прохладу и звучность дома, шашечницу каменного пола в вестибюле, десять фарфоровых кошек на полке, саркофаг и орган, небесный сверху свет и верхние галерейки, красочный сумрак таинственных комнат и глядящие отовсюду распятия и гвоздики.

3

В молодости Карл-Генрих Граун обладал замечательным тенором; однажды, выступая в опере, написанной брауншвейгским капельмейстером Шурманом, он до того прогневался на некоторые из арий, что заменил их другими, собственного сочинения. Тут чувствую вспышку какого-то родства между нами, и все же гораздо ближе мне два других моих предка — уже упомянутый молодой исследователь и великий патолог, мой дед по матери Николай Илларионович Козлов (1814–1889), первый президент Императорской медицинской академии, автор таких работ как "О развитии идеи болезни" или "Сужение яремной дыры у людей умопомешанных и самоубийц". Здесь уместно упомянуть о моих собственных научных работах, в особенности о трех любимейших: "Notes on Neotropical Plebejinae"[1] (Psyche, Vol.52, №№ 1–2 и 3–4, 1945), "A New Species of *Cyclargus* Nabokov"[2] (The Entomologist, декабрь 1948) и "The Nearctic Members of the Genus *Lycaeides* Hübner"[3] (Bulletin Mus., Comp., Zool., Harvard Coll., 1949) — по прошествии этого года я счел физически невозможным сочетать научные исследования с чтением лекций, беллетристикой и "Лолитой" (ибо этот трудный ребенок был уже на пути к болезненным родам).

---

[1] Замечание о неотропической *Plebejinae (англ.)*.

[2] Новый вид *Cyclargus Nabokov (англ.)*.

[3] Неарктические члены рода *Genus Lycaeides* Hübner *(англ.)*.

Рукавишниковский герб скромнее набоковского, но и не столь трафаретен. Щит его представляет собой стилизованную домну, несомненный намек на плавленис уральских руд, открытых моими падкими до приключений предками. Хочу отметить, что эти Рукавишниковы — сибирские первопроходцы, золотоискатели и горные инженеры — вопреки предположениям беспечных биографов не состоят *ни в каком* родстве с не менее богатыми московскими купцами, носившими ту же фамилию. *Мои* Рукавишниковы принадлежали (с восемнадцатого столетия) к помещичьему дворянству Казанской губернии. Прииски их находились в Алапаевске близ Нижнего Тагила, что в Пермской губернии — по сибирскую сторону от Урала. Отец дважды наезжал туда прежним сибирским экспрессом, прекрасным поездом из семейства северных экспрессов, которым и я собирался воспользоваться для путешествия скорее энтомологического, нежели минералогического, однако революция помешала осуществлению этой затеи.

Моя мать Елена Ивановна (29 августа 1876 — 2 мая 1939) была дочерью Ивана Васильевича Рукавишникова (1841–1901), землевладельца, мирового судьи, благотворителя, и Ольги Николаевны (1845–1901), дочери доктора Козлова. Родители матери умерли от рака в один год, он в марте, она в июне. Пятеро из семи ее братьев и сестер скончались в младенчестве, а из двух старших братьев Владимир умер шестнадцатилетним в Давосе, в восьмидесятых годах, а Василий — в 1916-м в Париже. Иван Рукавишников отличался ужасным нравом, мама его боялась. В детстве мне были знакомы лишь портреты его (борода, судейская цепь на шее) да некоторые принадлежности его основного увлечения, вроде манков и лосиных голов. Чета особо крупных застреленных им медведей с устрашающе задранными передними лапами стояла стойком за железной решеткой в прихожей нашего сельского дома. Каждое лето я определял мой рост по способности дотянуться до их интересных когтей — вначале нижних, потом верхних. Животы у них оказывались — когда пальцы, привыкшие ощупывать собак или игрушечных зверюшек, проникали сквозь грубый мех, — на удивление жесткими. Время от времени их оттаскивали в глухой угол сада, чтобы осно-

вательно выбить и проветрить, и бедная Mademoiselle, выходя из парка, испуганно вскрикивала, завидев двух свирепых зверей, поджидающих ее в оживленной тени деревьев. Отца ружейная забава нимало не интересовала, в этом отношении он разительно отличался от своего брата Сергея, страстного охотника, бывшего с 1908 года начальником псовой охотой Его Императорского Величества.

К счастливейшим девичьим воспоминаниям матери моей относилась совместная с тетей Прасковьей летняя поездка в Крым, где дед матери (с отцовской стороны) владел поместьем, расположенным вблизи Феодосии. Мама, тетя, дед и еще один пожилой господин, знаменитый маринист Айвазовский часто гуляли вместе. Мама вспоминала, как художник рассказывал (определенно не в первый раз), что в 1836 году он видел на художественной выставке в Петербурге Пушкина, "некрасивого человечка и его высокую красавицу-жену". Это случилось полустолетием раньше (Айвазовский был тогда студентом-живописцем) и меньше чем за год до смерти Пушкина. Она вспоминала и о живописном штрихе, добавленном природой с собственной палитры, — пятнышке белил на сером цилиндре художника, оставленном пролетавшей птицей. Шагавшая с нею рядом тетушка Прасковья приходилась сестрой ее матери и женой знаменитому сифилидологу В. М. Тарновскому (1839–1906); тетушка и сама была врачом и много писала по вопросам психиатрии, антропологии и социального обеспечения. Однажды вечером на вилле Айвазовского под Феодосией тетя Прасковья познакомилась за обедом с двадцативосьмилетним доктором Антоном Чеховым и в ходе разговора на медицинские темы чем-то его задела. Она была очень ученой, очень доброй и очень элегантной дамой, трудно представить, чем она заслужила невероятно грубый выпад, который Чехов позволил себе в опубликованном ныне письме к сестре, написанном им 3 августа 1888 года. Тетя Прасковья, или тетя Паша, как мы ее звали, часто навещала нас в Выре. Стремительно входя в детскую, она приветствовала нас очаровательным "Bonjour, les enfants!"[1]. Она умерла в 1910-м. Мама присутствовала при

---

[1] Здравствуйте, дети! *(фр.)*.

ее кончине и слышала последние сказанные тетей Пашей слова: "Это интересно. Теперь понимаю: все — вода".

Брат моей матери Василий состоял на дипломатической службе, к которой он относился куда легкомысленнее, чем мой дядя Константин. Василий Иванович искал в ней не карьеры, а более или менее благовидного обрамления. Французские и итальянские друзья, неспособные произнести его длинную русскую фамилию, сократили ее до "Рука" (с ударением на последнем слоге), что подходило ему куда больше, нежели полученное при крещении имя. В детстве дядя Рука казался мне причастным к миру игрушек, книжек с картинками и вишен, отягощенных лоснистыми черными ягодами; в углу его сельского поместья, которое отделяла от нашего излучистая река, имелась оранжерея, вмещавшая целый фруктовый сад. Летом, в пору полдневного завтрака, мы почти каждый день видели, как его коляска прокатывает через мост и летит вдоль молодого ельника к нашему дому. В мои восемь-девять лет он неизменно брал меня после завтрака на колени и (пока двое молодых слуг убирали со стола в пустой столовой) ласкал с воркующими звуками и всякими смешными словечками; мне было стыдно за дядю перед слугами, и я испытывал облегчение, когда отец звал его с веранды: "Basile, on vous attend"[1]. Как-то я поехал встречать его на станцию (мне должно быть шел одиннадцатый год), — он вышел из длинного спального вагона международного экспресса и, мельком взглянув на меня, проговорил: "Как ты пожелтел, как подурнел [jaune et laid], бедняга". В день же пятнадцатых моих именин он отвел меня в сторону и на своем порывистом, точном, отчасти старомодном французском языке объявил меня своим наследником. "А теперь можешь идти, — сказал он, — l'audience est finie. Je n'ai plus rien à vous dire"[2].

Я помню его небольшим, тонким, аккуратным человеком со смугловатой кожей, серо-зелеными со ржавой искрой глазами, темными, пышными усами и подвижным

---

[1] Вася, вас ждут *(фр.)*.

[2] Аудиенция кончена. Мне больше нечего вам сказать *(фр.)*.

адамовым яблоком, приметно выступавшим над змееобразным, с опалом, кольцом вокруг галстучного узла. Опалы носил он и на пальцах, и в запонках, а вокруг черно-волосатой кисти — золотую цепочку. В петлице сизовато-серого, по-мышиному серого или серебристо-серого летнего пиджака почти всегда была гвоздика. Я только летом его и видел. Недолго погостив в Рождествене, он возвращался во Францию или Италию, в свой замок (называвшийся Perpigna) около Раи, на виллу (называвшуюся Tamarindo) близ Рима или в свой любимый Египет, из которого он посылал мне исчерканные тесным почерком видовые открытки (пальмы и их отражения, закаты, фараоны, сидящие положив на колени руки). И опять в июне, когда, пенясь, цвела душистая черемуха (racemose, как я окрестил ее в "Онегине"), над прекрасным домом в Рождествене поднимался его личный флаг. Он приезжал с полудюжиной сундуков, подкупал Норд-Экспресс, чтобы тот остановился на нашей маленькой дачной станции, и с обещанием дивного подарка, жеманно переступая маленькими своими ножками в белых башмаках на высоких каблуках, таинственно подводил меня к ближайшему дереву и, изящно сорвав листок, протягивал его со словами: "Pour mon neveu, la chose la plus belle au monde — une feuille verte"[1].

Или же из Америки он торжественно привозил мне серии про Foxy Grandpa и Buster Brown — теперь забытого мальчика в красноватом костюме: если очень близко посмотреть, можно было различить совершенно отдельные красные точки, из которых составлялся этот цвет. Каждый эпизод кончался для Бастера феноменальной поркой, причем его мать, дама с осиной талией и тяжелой рукой, брала туфлю, щетку для волос, разламывающийся зонтик, что попало — даже дубинку услужливого полисмена — и выколачивала тучи пыли из седалища Бастеровых штанов. Так как меня в жизни никто никогда не шлепал, эти картинки производили на меня впечатление диковинной экзотической пытки, мало чем отличающейся, скажем, от закапыва-

[1] Моему племяннику — самая прекрасная вещь в мире — зеленый листок *(фр.)*.

ния несчастного с выразительными глазами по самую шею в жгучий песок пустыни, как было показано на фронтисписе книги Майн-Рида.

4

Дядя Рука вел, похоже, праздную и странно беспорядочную жизнь. Дипломатические занятия его были довольно туманного свойства. Он, впрочем, с гордостью говорил о себе, что мастер разгадывать шифры на любом из известных ему пяти языков. Однажды мы его подвергли испытанию, и он, с мерцанием в глазах, очень быстро обратил "5.13 24.11 13.16 9.13.5 5.13 24.11" в начальные слова известного шекспировского монолога.

В розовом фраке, он участвовал в лисьих охотах в Италии, в Англии; закутанный в меха, он однажды попытался проехать на автомобиле из Петербурга в По; в оперном плаще, он едва не погиб, когда аэроплан рухнул на берег вблизи Байонны. (Я все интересовался, как принял это разбивший "Voisin" летчик, и дядя Рука, на миг задумавшись, уверенно ответил: "Il sanglotait assis sur un rocher"[1].) Он пел баркаролы и модные романсы ("Ils se regardent tous deux, en se mangeant des yeux...", "Elle est morte en février, pauvre Colinette!..", "Le soleil rayonnait encore, j'ai voulu revoir les grands bois..."[2] и дюжины других). Он и сам писал музыку, сладкую, меланхолически-журчащую, и французские стихи, удивительно легко скандируемые, подобно английским и русским ямбам, и отмеченные величавым безразличием к удобствам, предоставляемым немым "е". Он исключительно хорошо играл в покер.

Страдая заиканием на губных звуках, он переименовал своего кучера Петра в Льва, и мой отец (всегда с ним немного резкий) обозвал его крепостником. По-русски Василий Иванович выражался с нарочитым трудом, пред-

---

[1] Он сидел на скале и рыдал *(фр.)*.

[2] Они смотрят друг на дружку жадным взором... Бедная Колинет, она умерла еще в феврале... Солнце еще светило, я вновь хотел увидеть лес... *(фр.)*.

почитая для разговора замысловатую смесь французского, английского и итальянского. При всяком переходе на русский он неизменно коверкал или некстати употреблял какую-нибудь прибаутку, красное словцо или даже простонародный оборот — скажем, сидя с нами за столом, он вдруг вздыхал (ибо всегда находилась какая-то горесть — замучила сенная лихорадка, умер один из павлинов, пропала любимая борзая) и говорил: "Je suis triste et seul comme une[1] былинка в поле".

Он уверял, что у него неизлечимая болезнь сердца, и что для облегчения припадка ему непременно нужно лечь навзничь на пол. Никто не принимал этого всерьез, и когда зимой 1916 года в Париже, всего сорока пяти лет от роду, он действительно помер от грудной жабы — совсем один, — с каким щемящим чувством вспоминались те послеобеденные сцены в гостиной, — входит с турецким кофе непредупрежденный лакей, мой отец косится (с комичным смирением) на мою мать, затем (с досадой) на распростертое поперек пути лакея тело шурина, а затем (с любопытством) на забавную пляску кофейных чашек на подносе в обтянутых нитяными перчатками руках все еще спокойного на вид слуги.

От других, более странных терзаний, донимавших дядю во всю его короткую жизнь, он искал облегчения — если я правильно понимаю эти вещи — в религии: сначала в какой-то отрасли русского сектантства, а потом в католичестве. Его красочной неврастении полагалось бы совмещаться с гением, но этого не случилось, отсюда и попытки ухватиться за какую-нибудь преходящую тень. В юные годы он много натерпелся от отца, сельского барина старого закала (медвежья охота, частный театр, несколько превосходных Старых Мастеров среди всякого темного вздора), бешеный нрав которого угрожал чуть ли не жизни сына. По позднейшим рассказам матери, жизнь в вырском доме ее девичьей поры была тяжкой, ужасные сцены разыгрывались в кабинете Ивана Васильевича, мрачной угловой комнате, глядящей на старый колодец с ржавым насосным

---

[1] Я одинок, как *(фр.)*.

колесом под итальянскими пирамидальными тополями. Кроме меня, никто в эту комнату не заглядывал. Я держал на ее черных полках мои книги и расправилки, со временем уговорив мать перенести кое-какую мебель оттуда в мой собственный солнечный кабинет на парковой стороне дома, и однажды утром туда, запинаясь, приковылял колоссальный письменный стол, на обитой черной кожей пустынной глади которого одиноко лежал огромный кривой нож для разрезания бумаги, подлинный ятаган желтоватой кости, выточенный из бивня мамонта.

Когда в конце 1916 года дядя Рука умер, он оставил мне состояние, равное по нынешним меркам двум миллионам долларов, а с ним белоколонную усадьбу на зеленом, крутом холму и несколько сот десятин дремучих лесов и торфяных болот. Дом, национализированный, но отчужденный, еще стоял, как мне говорили, в 1940 году на музейный показ туристу, проезжающему по шоссе Петербург—Луга, что пересекает ниже него село Рождествено и несколько рукавов реки. Прекрасная Оредежь, подернутая в этих местах парчой нитчатки, вся в плавающих островках водяных лилий, приобретает здесь какой-то праздничный вид. Дальше по ее излучинам, где стрижи вылетают из нор в крутых красных берегах, как бы врастают в ее воду отражения громадных, романтических елей (окаймляющих нашу Выру); и еще дальше вниз бесконечная, бурно текущая под водяной мельницей пена вызывает у зрителя (локти положившего на перила) такое чувство, точно он плывет все назад да назад, стоя на самой корме времени.

5

Нижеследующий пассаж предназначается не для широкого читателя, но для узкого остолопа, потерявшего деньги в каком-нибудь "крахе" и потому полагающего, что понимает меня.

Мое давнишнее (с 1917 года) расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Со всей полнотой презираю эмигранта, "ненавидящего

красных", потому что они "украли" у него деньжата и десятины. Тоска по родине, которую я питал все эти годы, есть лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству, а не печаль по утраченным банкнотам.

И еще:

Выговариваю себе право горевать по экологической нише:

...в горах Америки моей
вздыхать по северной России.

Теперь может вернуться широкий читатель.

6

Мне было без малого восемнадцать, потом восемнадцать исполнилось; любовные увлечения и писание стихов занимали большую часть моего досуга; о материальном строе жизни я не помышлял — да и на фоне общего благополучия семьи никакое наследство не могло особенно выделиться; но теперь, когда я оглядываюсь назад поверх прозрачной бездны, мне вчуже странно, и даже немного противно, думать, что в течение короткого года, пока я обладал этим своим состоянием, я слишком был поглощен общими наслаждениями юности — быстро терявшей свою первородную самоцветность, — чтобы испытать какое-то особое удовольствие от владения наследственной собственностью или какую-либо досаду, когда большевицкий переворот это вещественное владение уничтожил в одну ночь. Это воспоминание оставляет во мне такое чувство, точно я поступил неблагодарно по отношению к дяде Руке, взглянул на него с общей улыбкой снисхождения, с которой на него смотрели даже те, кто его любил. И уже с совершенной обидой вспоминаю, как мой швейцарский гувернер, обычно добродушный Нуайе, брызгал ядовитым сарказмом, разбирая стихи и музыку дяди, лучший его "романс". Как-то осенним днем, на террасе своего замка в По, глядя на янтарные виноградники внизу, на горы, лиловеющие вдали, терзаемый астмой, сердечными перебоями, ознобом, каким-то прустовским обнажением всех

чувств, se débattant[1], так сказать, он отдал дань осенним краскам (которые описал как "chapelle ardente de feuilles aux tons violents"[2]), далеким голосам, долетающим из долины, голубям, штрихующим нежное небо, и сочинил этот незатейливый романс (и единственный, кто запомнил целиком и слова, и музыку, был мой брат Сергей, которого дядя едва замечал, который тоже заикался и тоже уже умер).

"L'air transparent fait monter de la plaine..."[3], — высоким тенором пел он, присев у белого рояля в нашем сельском доме, и ежели я спешил в эту минуту домой, к завтраку, через близкие рощи (уже увидев его щегольское канотье и затянутый в черный бархат бюст, и ассирийский профиль его красавца-кучера, растопырившего руки в малиновых рукавах, проносясь над краем зеленой изгороди, отделявшей парк от дороги), жалобные звуки:

Un vol de tourterelles strie le ciel tendre,
Les chrysanthèmes se parent pour la Toussaint[4]

доплывали до меня и моей рампетки из зеленой кисеи в тенях дышащей в такт аллеи, и в ее конце открывался мне красный песок и угол усадьбы, недавно окрашенной в цвет юных елей, из открытого окна которой, как из раны, лилась эта музыка.

7

Всю мою жизнь я со страстной энергией оживлял ту или иную часть былого и полагаю, что эта почти патологическая острота памяти — черта наследственная. Было одно место в лесу, мосток через бурый ручей, на котором отец набожно медлил, вспоминая редкую бабочку, пойманную для него немцем-гувернером семнадцатого августа 1883 года. Вся тридцатилетней давности сцена разыгрывалась снача-

---

[1] Из самозащиты *(фр.)*.
[2] Часовня из огнецветных листьев *(фр.)*.
[3] Прозрачный воздух доносит с равнины *(фр.)*.
[4] Голубиная стая штрихует нежное небо, / Хризантемы наряжаются к празднику Всех Святых *(фр.)*.

ла. Он и его братья замерли в беспомощном волнении, увидев, как желанное насекомое колеблется на бревне, двигая вверх-вниз, точно в настороженном дыхании, четверкой багряных, с павлиньими глазками крыльев. В напряженном молчании, не решаясь сам ударить рампеткой, он вручил сачок герру Рогге, который уже нащупывал его, не сводя глаз с благородного насекомого. Четверть века спустя мой застекленный шкафчик получил этот образчик в наследство. Одна трогательная деталь: крылья его оказались "надтреснуты", потому что его слишком рано, слишком рьяно сняли с расправилки.

На адриатической вилле, которую летом 1904 года мы делили с семьей моего дяди Ивана де Петерсона (она называлась то ли "Нептун", то ли "Аполлон" — я узнаю ее до сих пор по белой башне с бойницами на старых видовых открытках Аббации), я, пятилетний, предаваясь мечтам во время сиесты в детской моей постели, бывало переворачивался на живот и старательно, любовно, безнадежно, с художественным совершенством в подробностях, трудно совместимым с нелепо малым числом прожитых лет, воссоздавал необъяснимо ностальгический образ "дома" (которого не видел с сентября 1903-го), чертя пальцем на подушке проселочную дорогу, стремящуюся к нашему дому в Выре, каменные ступени направо, резную спинку скамьи налево, аллею дубков, начинающуюся за кустами жимолости, и недавно оброненную конскую подкову, коллекционный экземпляр (куда крупнее и ярче тех, ржавых, которые я находил на морском берегу), блестящую в красноватой пыли дороги. Воспоминание об этом воспоминании на шестьдесят лет старше последнего, но много превосходит его необычностью.

Однажды, году в 1908-м или 1909-м, дядю Руку захватили какие-то французские детские книжки, на которые он наткнулся в нашем доме; вдруг, блаженно застонав, он нашел любимое с детства место: "Sophie n'était pas jolie..."[1]; и через много лет я откликнулся на его стон собственным эхом, когда в чужой детской набрел на те же тома "Bibliothèque Rose", с историями про мальчиков и девочек,

---

[1] Соня не была хороша собой... *(фр.)*

которые сто лет тому назад жили во Франции тою стилизованной vie de château[1], какой жила в России моя семья. Сами истории (все эти "Malheurs de Sophie", "Les Petites Filles Modèles", "Les Vacances"[2]) представляют собой, как я теперь понимаю, ужасную смесь манерности и пошлости, но при написании их сентиментальная и самодовольная Mme de Ségur, née Rostopchine[3] офранцуживала истинную обстановку своего русского детства, которое опередило мое ровно на одно столетие. В моем положении — когда читаю опять, как Софи остригла себе брови или как она любила густые сливки, — я не только переживаю щемящее упоение, которое переживал дядя, но еще ложится на душу мою дополнительное бремя — воспоминание о нем, оживляющим собственное детство с помощью этих же книжек. Снова вижу мою классную в Выре, бирюзовые розы обоев, отворенное окно. Его отражение заполняет овальное зеркало над кожаной канапе, где сидит дядя, упиваясь растрепанной книжкой. Ощущение беззаботности, благоденствия, летнего тепла затопляет память. Эта ясная явь претворяет настоящее в призрак. Зеркало насыщено яркостью, шмель, влетевший в комнату, бьется о потолок. Все так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет.

---

[1] Усадебной жизни *(фр.)*.
[2] "Сонины проказы", "Примерные девочки", "Каникулы" *(фр.)*.
[3] Мадам де Сегюр, рожденная Ростопчина *(фр.)*.

Глава четвертая

1

В обиходе таких русских семей как наша — семей, ныне исчезнувших, — была, среди прочих достоинств, давняя склонность к удобным порождениям англо-саксонской цивилизации. Дегтярное лондонское мыло, черное как смоль в сухом виде, топазовое, когда мокрыми пальцами держишь его против света, было непременным участником утренних обливаний. Как приятно легчала раскладная английская ванна, когда ее заставляли выпятить резиновую нижнюю губу и изрыгнуть пенное содержимое в наклоненную бадью. "Мы не смогли улучшить пену, поэтому улучшили тубочку", — гласила надпись на английской зубной пасте. За брекфастом привозимый из Лондона яркий паточный сироп, golden syrup, наматывался блестящими кольцами на вращаемую ложку, а оттуда сползал на деревенским маслом намазанный хлеб. Бесконечная череда удобных, добротных изделий текла к нам из Английского Магазина на Невском: кексы, и нюхательные соли, и покерные карты, и вырезные картинки, и в полоску спортивные фланелевые пиджаки, и белые как тальк теннисные мячи.

Я научился читать по-английски раньше, чем по-русски. Первыми моими английскими друзьями были незамысловатые герои грамматики: Ben, Dan, Sam и Ned. Много было какой-то смутной возни с установлением их личности и местопребывания — "Who is Ben?", "He is Dan", "Sam is in bed"[1] и тому подобное. И хоть все это было сбивчиво и сухо (составителю мешала необходимость

---

[1] Кто такой Бен? Это — Дэн, Сэм в постели *(англ.)*.

держаться — по крайности на первых порах — слов, состоявших не более чем из трех букв), мое воображение как-то управилось раздобыть необходимые данные. Туполицые, плоскоступые, замкнутые оболтусы, болезненно гордящиеся своими немногими орудиями ("Ben has an axe" [1]), они вялой подводной походкой шагают вдоль самого заднего задника моей памяти; и вот, перед дальнозоркими моими глазами вырастают буквы грамматики, как безумная азбука на таблице у оптика.

Классная пропитана солнцем. В запотевшей стеклянной банке несколько шипастых гусениц пасутся на крапивных листьях (изредка выделяя интересные зеленые цилиндрики помета). Клеенка на круглом столе пахнет клеем. Мисс Клэйтон пахнет мисс Клэйтон. Кроваво-красный спирт в столбике наружного градусника восхищенно показывает фантастические 24° Реомюра (86° Фаренгейта) в тени. В окно видать поденщиц в платках, выпалывающих ползком, то на корточках, то на четвереньках, садовые дорожки или ласково заравнивающих граблями испятнанный солнцем песок. (До счастливых дней метения улиц или рытья государственных каналов еще далеко.) Иволги в зелени издают свой четырехзвучный крик, четыре блистательные ноты: ди-диль-ди-О!

Вот прошел мимо окна Нед, посредственно играя младшего садовника, Ивана (которому предстоит в 1918 году стать членом местного Совета). На дальнейших страницах слова удлинялись, а к концу бурой, заляпанной чернилами книги настоящий связный рассказец развивался взрослыми фразами ("One day Ted said to Ann: Let us—" [2]) в награду маленькому читателю и к вящему его торжеству. Меня сладко волновала мысль, что и я могу когда-нибудь дойти до такого совершенства. Эти чары не выдохлись, — и когда ныне мне попадается грамматика, я первым делом заглядываю в конец — насладиться запретным отблеском будущности прилежного ученика, этой землею обетованной, где словам наконец назначено значить то, что они означают.

---

[1] У Бена есть топор *(англ.)*.

[2] Как-то раз Тэд сказал Энн: "Давай мы с тобой..." *(англ.)*

2

Летние сумерки (“сумерки” — какое это чудесное русское слово!). Время действия: тающая точка посреди первого десятилетия нашего века. Место: пятьдесят девятый градус северной широты, считая от вашего экватора, и сотый восточной долготы, считая от кончика моего пера. Дню потребовалась бы вечность для угасания: небо, высокие цветы, неподвижные воды — все это как-то повисало в бесконечном замирании вечера, которое не разрешалось, а продолжалось еще и еще грустным мычанием коровы на далеком лугу или грустнейшим криком птицы за речным низовьем, с широкого туманного мохового болота, столь недосягаемого и загадочного, что еще дети Рукавишниковы прозвали его: Америка.

Мать, в гостиной нашего сельского дома, часто читала мне перед сном по-английски. Подбираясь к страшному месту, где героя уже поджидает неслыханная, может быть роковая, опасность, она замедляет чтение, многозначительно разделяя слова, и прежде чем перевернуть страницу, кладет на нее руку с перстнем, украшенным алмазом и розовым, голубиной крови, рубином (в прозрачных гранях которых, кабы зорче тогда гляделось мне в них, я мог бы различить комнату, людей, огни, деревья под дождем — целую эру эмигрантской жизни, которую предстояло прожить на деньги, вырученные за это кольцо).

Были сказки о рыцарях, чьи ужасные, но удивительно свободные от инфекции раны омывались молодыми дамами в гротах. С прометенной ветром скалы средневековая, волнисто-волосатая дева и юноша в трико смотрели вдаль на круглые Острова Блаженства. Судьба Humphrey из “Misunderstood”[1] порождала в горле слушателя комок, какого ничто из прочитанного у Диккенса и Доде (великих изготовителей таких комков) породить не могло. Бессовестно аллегорическая история “За Синими Горами”, повествующая о четверых, разбившихся на пары маленьких путешественниках — двух хороших, Clover и Cowslip[2],

---

[1] Непонятый *(англ.)*.

[2] Клевер и Калужница *(англ.)*.

и двух дурных, Buttercup и Daisy[1] — содержала волнующие подробности в количествах, достаточных, чтобы забыть о ее "морали".

Были также большие, плоские, глянцевитые книжки с картинками. Особенно мне нравился чернолицый Голивог в малиновых панталонах, голубом фраке, с двумя бельевыми пуговицами вместо глаз и скромным гаремом из пяти деревянных кукол. Две из них, беззаконно смастерив себе платья из американского флага (Пегги взяла матронистые полоски, а Сара Джейн — грациозные звезды), облекли ими свои безотносительные сочленения и тем обрели подобие нежной женственности. Куклы-близнецы (Мэгги и Вэгги) и крохотная Миджет остались совершенно нагими и, следовательно, бесполыми.

Мы видим, как в глухую ночь они украдкой выбираются из дому и перебрасываются снежками, покамест перезвон далеких часов не отсылает их назад в детскую, в ящик с игрушками. Какой-то наглец, взвившийся на пружинах из своей коробки, испугал мою любимую Сару Джейн — эту картинку я от души не любил, поскольку она напоминала мне детские праздники, где нравившаяся мне какая-нибудь милая девочка, прищемив палец или ударясь коленкой, вдруг превращалась в страшного багрового урода — ревущий рот, морщины. В других сериях они совершали велосипедную поездку и попались в лапы каннибалов; наши беззаботные путешественники утоляли жажду водой из опушенного пальмами пруда, когда зазвучали там-тамы. Заглядывая через плечо моего прошлого, я снова любуюсь самой главной картинкой: Голивог, все еще коленопреклоненный у пруда, но уже не пьющий; волосы у него стоят дыбом, а обычная чернота лица сменилась зловещей пепельной бледностью. Была еще серия автомобильная (Сара Джейн, всегдашняя моя любимица, нарядилась в изумрудную вуаль), с обычной чередою событий — крушения, перебинтованные головы.

Ах, да — еще дирижабль. Ярды и ярды желтого шелка пошли на его изготовление, между тем как счастливице Миджет достался собственный миниатюрный воздушный

---

[1] Лютик и Ромашка *(англ.)*.

шар. На немыслимой высоте, которой достиг дирижабль, аэронавты жались друг к дружке, чтобы согреться, между тем как затерявшийся маленький одиночка, остававшийся, при всех его горестях, предметом моей страстной зависти, уплывал в бездну снежинок и звезд — совершенно один.

3

Затем вижу: мать ведет меня за руку в спальню по огромному залу, из которого срединный пролет лестницы уходит все выше, выше, к верхней площадке, отделенной от светло-зеленого вечернего неба лишь парниковым стеклянным сводом. Пытаешься, отставая, ехать за нею, шаркая и скользя по гладким каменным плитам зала, но ласковый напор лежащей на твоей пояснице мягкой ладони подвигает артачливое тело. Оказавшись у лестницы, я обычно пролезал на ее ступени между первым и вторым столбиками балюстрады. С каждым новым летом протискиваться становилось труднее; ныне и призрак мой пожалуй бы застрял.

Следующая часть обряда заключалась в том, чтоб подниматься по лестнице с закрытыми глазами. “Step (ступенька), step, step”, — приговаривала мать, ведя меня вверх — и конечно, следующая ступень принимала доверчивую ступню незрячего ребенка, нужно было лишь поднимать ее повыше обычного, чтобы не ушибить об угол ступеньки пальцы. Это медленное, отчасти лунатическое восхождение в самодельной темноте таило очевидные очарования. Самое щекотное из них состояло в том, что я не знал, где кончается лестница. По достижении верхней площадки нога автоматически поднималась, обманутая призывным “Step”, и тут на мгновение неистово сокращались все мышцы и захватывало дух, когда она погружалась в призрак ступеньки, как бы подбитый бесконечно растяжимым веществом собственного небытия.

С удивительной систематичностью я умел оттягивать укладывание. Верно и то, что в этом обряде подъема по лестнице ныне открывается некий трансцендентальный смысл. Впрочем, на деле я просто отыгрывал время, бес-

конечно растягивая каждую секунду до последнего ее предела. Продолжалось это до тех пор, пока мать не сдавала меня — для раздевания — мисс Клэйтон или Mademoiselle.

В нашем сельском доме было пять ванных комнат, а кроме того много старомодных комодообразных умывальников (бывало после рыданий я отыскивал такого старца в его темном углу, и при нажатии на ржавую ножную педаль целительный фонтанчик из крана нежно нащупывал мое распухшее лицо, которое я стыдился показать). Купания в ваннах происходили по вечерам. Для утренних обливаний использовались резиновые, круглые английские tub'ы[1]. Моя была футов четырех в поперечнике и доставала мне до колена. Слуга в переднике поливал покрытую мыльной пеной спину ежившегося ребенка водой из большого кувшина. Температура воды менялась вместе с гидротерапевтическими идеями череды моих менторов. Была на самой заре созревания одна унылая пора — наш тогдашний наставник, оказавшийся студентом-медиком, ввел в обиход ледяные ливни. С другой стороны, температура вечерней ванны оставалась утешительно постоянной — 28° по Реомюру (95° по Фаренгейту), как показывал большой, приятный градусник, деревянная оправа которого (с отсыревшей веревкой, продетой в глазок ручки) наделяла его плавучестью целлулоидных рыбок и лебедей.

Клозеты были отдельно от ванн, самый старый из них был довольно роскошен, но и угрюм, со своей благородной деревянной отделкой и кистью на пурпурово-бархатном шнуре: потянешь книзу, и сдержанно-музыкально урчало и переглатывало в глубинах. Из этого угла дома можно было видеть вечернюю звезду и слышать соловьев; и там, в более поздние годы, я обычно сочинял посвященные необъятым мною красавицам юношеские стихи, пасмурно наблюдая за мгновенным воздвижением странного замка посреди неведомой мне Испании. Впрочем, в раннюю пору мне отведено было значительно более скромное место, довольно случайно расположенное в нише коридорчика, между большой плетеной корзиной и дверью в ванную при детской. Эту дверь я держал приотворенной, глядя сонными глазами

---

[1] Ванны *(англ.)*.

на пар, поднимающийся из красного дерева ванны, на фантастический флот лебедей и лодочек, на себя с арфой в одной из них, на мохнатую бабочку, ударявшуюся о рефлектор керосиновой лампы, на расписное окно за ней с двумя алебардщиками, состоящими из цветных прямоугольников. Наклонясь с насиженной доски, я прилаживал лоб, надносье, ежели быть точным, к удобной и гладкой краевой грани двери, слегка двигая ее туда-сюда своей головой, между тем как грань приятно холодила мне лоб. Сонный ритм проникал меня всего. Недавнее "Step, step, step" подхватывалось капающим краном. И впрок сопрягая звуковые узоры со зрительными, я распутывал лабиринтообразный рисунок линолеума и находил в нем лица, на которых тень или трещинка предлагали глазу point de repère[1]. Обращаюсь к родителям: никогда, никогда не говорите ребенку "Поторопись!".

Последний этап моего смутного плавания наступал, когда я достигал наконец островка постели. С веранды или из гостиной, где шла без меня жизнь, мать поднималась, чтобы, ласково мурлыча, поцеловать меня на ночь. Шторы задернуты, горит свеча, Gentle Jesus, meek and mild, something-something little child[2], child, стоящее коленями на подушке, в которой скоро предстояло потонуть моей звенящей от сонливости голове. Английские молитвы в соединении с православной иконкой, изображавшей загорелого святого, все это составляло невинную смесь, на которую оглядываюсь с удовольствием; а над иконкой, высоко на стене, где в теплом свете свечи колыхалась какая-то тень (бамбуковой ширмы между кроватью и дверью?), виднелась за рамкою акварели таинственная тропинка, вьющаяся по одному из тех жутковато дремучих европейских буковых лесов, где только и подседа, что вьюнки, только и звука, что буханье твоего сердца. В прочитанной мне некогда матерью английской сказке мальчик ступил в такую картинку прямо с кровати и поскакал на деревянном коньке

[1] Точку опоры *(фр.)*.

[2] Добрый Исусе, кроткий и мягкий, что-то такое маленькому дитяти (две испорченные строки из стихотворения английского священника Чарльза Уэсли (1707–1788)).

по тропинке, между безмолвных древес. И дробя молитву, присаживаясь на собственные икры, погружаясь в припудренную, преддремную, блаженную свою мглу, я соображал, как перелезу с подушки в картину, в зачарованный лес — куда, кстати, в свое время я и попал.

4

Ошеломительная череда английских бонн и гувернанток — одни бессильно ломая руки, другие загадочно улыбаясь — встречает меня при моем возвращении в прошлое.

Была среди них тусклая мисс Рэчель, памятная только по бисквитам "Hantley and Palmer" (в голубой бумагой оклеенной жестяной коробке, со вкусными, миндальными наверху, а пресно-сухаристыми внизу), которыми она незаконно делилась со мной, уже почистившим зубы. Была мисс Клэйтон, которая, когда, бывало, развалюсь в кресле, тут же меня тык костяшками руки в поясницу да еще улыбнется и расправит плечи, показывая, значит, чего ей от меня надобно: она мне рассказывала про своего племянника, моих лет (четырех) мальчика, который вскармливал гусениц; впрочем, те, которых она набрала для меня в незакрытую склянку с крапивой, однажды утром все до единой ушли, и садовник сказал, что они повесились. Была томная, черноволосая красавица с синими морскими глазами, мисс Норкот, потерявшая на пляже в Ницце или Бельвю белую лайковую перчатку, которую я тщетно искал среди гальки, красочных камушков и серовато-зеленых, оглаженных морем бутылочных осколков. Как-то ночью в Аббации томную мисс Норкот пришлось попросить немедленно нас покинуть. Она обняла меня в утреннем сумраке детской, одетая в светлый плащ и плачущая, словно вавилонская ива, и весь тот день я оставался безутешным, не помог даже горячий шоколад, специально для меня сваренный старенькой няней Петерсонов, не помог и особый хлеб с маслом, на гладкой поверхности которого тетя Ната, ловко завладев моим вниманием, нарисовала ромашку, потом кошку, а следом русалочку, о которой мы совсем недавно читали с мисс Норкот и оба плакали, так что я

разревелся заново. Была небольшая, близорукая мисс Хант, чье недолгое у нас пребывание в Висбадене закончилось в день, когда мы с братом, пятилетний и четырехлетний, бежали из-под ее нервного надзора на пароход, который унес нас довольно далеко по Рейну, покуда нас не перехватили. Была красноносая мисс Робинсон. Потом была опять мисс Клэйтон. Была еще ужасная особа, которая читала мне вслух повесть Марии Корелли "Могучий Атом". Были и другие. В какой-то точке времени они удалились из моей жизни, и воспитание мое перешло во французские и русские руки, а немногие часы, оставшиеся на английские разговоры, посвящались нечастым урокам с двумя господами, мистером Бэрнесом и мистером Куммингсом, которые у нас не жили. В памяти моей они связаны с зимами в Петербурге, где у нас был особняк на Морской.

Мистер Бэрнес был крупного сложения, светлоглазый шотландец с прямыми соломенными волосами и красным лицом. По утрам он преподавал в языковой школе, а на остальное время набирал больше частных уроков, чем день мог вместить. При переезде с одного конца города на другой он всецело зависел от шлепающих шаткой рысцой извозчичьих кляч, доставлявших его к ученикам, и хорошо если попадал на двухчасовой урок (куда бы ради него ни приходилось тащиться) с опозданием в четверть часа, а к четырехчасовому добирался уже в шестом часу. Тягостное ожидание, вечная надежда, что хоть на этот раз сверхчеловеческое упорство не одолеет серой стены особо сильного бурана, — все это были чувства, возобновление которых едва ли предвидишь в зрелые лета (однако мне пришлось испытать нечто очень похожее, когда в Берлине, будучи вынужден сам преподавать язык, я бывало сидел у себя в меблированных комнатах и ждал одного каменноликого ученика, появлявшегося *всегда*, несмотря на все баррикады, которые я мысленно строил поперек его пути).

Самая темнота, заволакивающая улицу, казалась мне побочным продуктом тех усилий, которые делал мистер Бэрнес, чтобы добраться до нас. Приходил камердинер, опускал пышно-синие шторы, затягивал цветные гардины. Короткие штаны жали в паху, а черные рубчатые чулки шерстили под коленками, и к этому примешивался скром-

ный позыв, который я ленился удовлетворить. Проходил едва ли не час — Бэрнеса все не было. Брат уходил в свою комнату, играл на пианино какие-то упражнения, потом брался, сбиваясь и повторяясь, за мелодии, которые я ненавидел — наставления, даваемые в "Фаусте" искусственным цветам ("...dites-lui qu'elle est belle..." [1]) или стенания Владимира Ленского ("Куда, куда, куда вы удалились..."). Покинув верхний, "детский" этаж, я медленно соскальзывал по перилам лестницы на второй этаж, где находились апартаменты родителей. Обычно они в это время отсутствовали, и в сумеречном оцепенении их комнат молодые мои чувства подвергались — телеологическому, что ли, "целеобусловленному" воздействию — как будто собравшиеся в полутьме знакомые предметы стремились создать этот определенный, окончательный образ, повторявшиеся предъявления которого наконец запечатлели его у меня в мозгу.

Сепиевый сумрак студеного вечера середины зимы вторгался в комнаты, сгущаясь до гнетущего мрака. Там и сям, бликом на бронзовом ангеле, блеском на стекле, бельмом на красном полированном дереве, отражался в потемках случайный луч, проникавший с улицы, вдоль срединной линии которой уже горели лунные глобусы высоких фонарей. Вырезные тени ходили по потолку. Нервы заставлял "полыхнуть" сухой стук о мрамор столика — от падения лепестка хризантемы.

У будуара матери был удобный навесный выступ, так называемый фонарь, откуда была видна Морская до самой Мариинской площади. Прижимая губы к тонкой узорчатой занавеске, я постепенно лакомился сквозь тюль холодом стекла. Всего через несколько лет, в начальные дни революции, я наблюдал из этого фонаря разные уличные стычки и впервые видел убитого человека: его несли, и свешивалась с носилок нога, и с этой ноги норовил кто-то из плохо обутых товарищей стащить сапог, а несущие отгоняли его пинками и плюхами — и все на ходу, резвой рысцой. Но в пору уроков мистера Бэрнеса нечего было наблюдать, кроме приглушенной темной улицы и линии высоковато

---

[1] Скажите ей, что она прекрасна *(фр.)*.

подвешенных ламп, вокруг которых снежинки проплывали, едва вращаясь каким-то изящным, почти нарочито замедленным движением, словно показывая, как это делается и как это все просто. Из другого фонарного угла я заглядывался на более обильное падение снега, на более яркие, окруженные лиловатыми нимбами газовые фонари, и тогда мой стеклянный выступ начинал медленно подниматься, как воздушный шар. Наконец одни из скользивших вдоль улицы призрачных саней останавливались, и мистер Бэрнес в его лисьей шапке с глупой поспешностью устремлялся к нашим дверям.

Я возвращался, предупреждая его, в классную и уже оттуда слышал, как приближаются его сильные шаги. Какой бы мороз ни был на дворе, его славное, красное лицо блестело перловым потом. Помню страшную энергию, с которой он нажимал на плюющееся перо, записывая круглейшим из круглых почерков очередное задание. Перед самым его уходом я выпрашивал у него один определенный лимерик и получал таковой. Прелесть представления была в том, что слово “screamed”, кричала, я невольно разыгрывал сам всякий раз, что мистер Бэрнес ужасно сдавливал (“crushed”) мне ладонь, держа ее в своей мясистой лапе и между тем произнося строки:

There was a young lady from Russia
Who (сдавливает) whenever you'd crush her.
She (сдавливает) and she (сдавливает)...[1]

тут боль становилась настолько нестерпимой, что дальше мы с ним так никогда и не зашли.

5

Тихий, сутулый, бородатый, со старомодными манерами, мистер Куммингс, который учил меня в 1907-м или 1908-м рисовать, был когда-то учителем рисования и моей

---

[1] Вот перефразировка по-русски: “Есть странная дама из Кракова: / орет от пожатия всякого, / орет наперед / и все время орет...” (“Другие берега”, IV, 5).

матери тоже. В Россию он попал в начале девяностых годов в качестве иностранного корреспондента-иллюстратора лондонского "Graphic". Говорили, что его личная жизнь омрачена несчастьями. Грусть и кротость скрадывали скудость его таланта. Он носил демисезонное пальто, если только погода не была очень теплой — тогда он надевал зеленовато-бурый плащ-лоден.

Меня пленяло то, как он пользуется особым ластиком, лежавшим у него в жилетном кармане, его манера туго натягивать лист бумаги и после отбрасывающим движением кончиков пальцев стряхивать с него "gutticles of the percha"[1] (как он выражался). Безмолвно, грустно он демонстрировал мне мраморные законы перспективы: длинными, прямыми штрихами грациозно лежащего в пальцах, невероятно острого карандаша создавая из ничего очертания комнаты (условные стены, сужающиеся вдали пол и потолок), с дразнящей и безжизненной точностью сходящиеся в одной далекой, гипотетической точке. Дразнящей, поскольку напоминала мне рельсы, симметрично и обманно смыкающиеся под взглядом налитых кровью глаз, принадлежащих моей излюбленной маске, закопченному машинисту; безжизненной, поскольку комната оставалась необставленной, совершенно пустой, лишенной даже безликих изваяний, какие встречаешь в первом, неинтересном зале музея.

Остаток картинной галереи искупал пустынность ее вестибюля. Мистер Куммингс был мастером закатов. Маленькие его акварели, в разное время приобретаемые рублей за пять—десять членами нашей семьи и домочадцами, прозябали, оттесняемые все дальше и дальше, по темным углам, пока их совсем не скрывал какой-нибудь лоснистый фарфоровый зверек или новообрамленный снимок. После того что я научился не только рисовать кубы и конусы, но и правильно тушевать ровными, сливающимися линиями те их бока, какие следовало бы навсегда отвернуть к стене, симпатичный старец довольствовался тем, что просто писал на моих зачарованных глазах свои влажные, райские

[1] Дословно "капельки гуттаперчи" *(англ.)*. Каламбур, построенный на *англ.* gutta-percha — "гуттаперча".

виды, вариации одного и того же ландшафта: оранжевое небо летнего вечера, пастбище, тянущееся к окаймляющей его черной бахроме дальнего бора, лучезарная река, повторяющая небо и излуками уходящая все вдаль, вдаль.

В дальнейшем, примерно с 1910 года по 1912-й, бразды правления перешли к известному "импрессионисту" (так их тогда называли) Яремичу; человек безъюморный и бесформенный, он был сторонником "сильного" стиля, тусклых цветовых пятен, сепиевых и оливково-бурых мазков, посредством которых мне полагалось воспроизводить на огромных листах серой бумаги человечков, которых он лепил из пластилина и расставлял в "театральных" позах перед задником черного бархата со всякого рода складками и теневыми эффектами. То было гнетущее сочетание по крайности трех различных искусств, все три весьма приблизительные, и я в конце концов взбунтовался.

Его сменил знаменитый Добужинский, любивший давать мне уроки на крышке piano nobile[1] нашего дома, в одной из приятных гостиных первого этажа, куда он входил с особой бесшумностью, словно бы опасаясь спугнуть оцепенение, в которое я впадал, сочиняя стихи. Он заставлял меня по памяти сколь возможно подробнее изображать предметы, которые я определенно видел тысячи раз, но в которые толком не вглядывался: уличный фонарь, почтовый ящик, узор из тюльпанов на нашей парадной двери. Он учил меня находить геометрические соотношения между тонкими ветвями голого дерева на бульваре, систему взаимных визуальных уступок, требующую точности линейного воображения, которая в юности оказалась для меня непосильной, однако в зрелую пору благодарно применялась мной не только при детальной прорисовке гениталий бабочек в те семь лет, что я провел в Гарвардском музее сравнительной зоологии, окунаясь в просвет микроскопа, чтобы вывести тушью какую-нибудь еще никем не виданную структуру, но быть может и при удовлетворении некоторых, требующих камеры-люциды, нужд литературного сочинительства. И все-таки эмоционально я так и

[1] Рояль *(фр.)*.

остался в большем долгу перед сравнительно ранними пиршествами красок, которые задавали мне моя мать и ее учитель. С какой готовностью он опускался на стул, обеими руками разделяя сзади себя — что? разве он носил фрак? вижу только жест, — и сразу раскрывал черную жестянку с красками. Я любил проворство, с каким он обмакивал кисточку в несколько красок сряду, под аккомпанемент быстрого дребезжания белых эмалевых чашечек, в которых на жирных красных и желтых подушечках уже появились аппетитные выемки; набрав таким образом меду, кисточка переставала витать и тыкаться и двумя-тремя обмазами сочного острия пропитывала "ватманскую" бумагу ровным слоем оранжевого неба, через которое, пока оно еще было чуть влажно, прокладывалось длинное облако фиолетовой черноты. "And that's all, dearie. That's all there is to it, — приговаривал он. — И это все, голубок мой, никакой мудрости тут нет".

Как-то раз я попросил его нарисовать мне международный экспресс. Я наблюдал, как его умелый карандаш выводит веерообразную скотоловку и передние слишком нарядные фонари такого паровоза, который, пожалуй, мог быть куплен для Сибирской железной дороги, после того как он дослужился в шестидесятых годах до Промонтори-Пойнт, Ютаха. За этим паровозиком последовало пять вагонов, которые меня разочаровали своей простотой и бедностью. Покончив с ними, он тщательно оттенил обильный дым, валивший из преувеличенной трубы, склонил набок голову и, полюбовавшись на свое произведение, протянул мне его. Я тоже старался казаться очень довольным. Он забыл тендер.

Через четверть века мне довелось узнать две вещи: что Бэрнес, к тому времени покойный, был весьма ценимым в Эдинбурге знатоком и переводчиком стихов русских романтиков, тех стихов, которые уже в отрочестве стали моим алтарем и безумием; и что мой кроткий учитель рисования, которому я щедро давал в современники самых дремучих моих дедушек и дряхлых слуг, женился на молодой эстонке около того времени, когда я женился сам. Эти вести меня странно потрясли, как будто жизнь покусилась на мои

творческие права, продлив свой извилистый ход за личную границу, столь изящно, с такой экономией средств проведенную моей детской памятью, которую я, как я сам полагал, уже подписал и скрепил печатью.

— А что Яремич? — одним летним вечером сороковых годов спросил я у М. В. Добужинского, с которым мы прогуливались по буковой роще в Вермонте. — Его еще помнят?

— А как же, — ответил Мстислав Валерианович. — Он был одарен исключительно. Не знаю, каким он был учителем, зато знаю, что *вы* были самым безнадежным учеником из всех, каких я когда-либо имел.

Глава пятая

1

Я не раз замечал, что стоит мне подарить вымышленному герою романа драгоценную мелочь из моего прошлого, как она уже начинает чахнуть в искусственной среде, куда я столь резко ее перенес. Хотя мое сознание еще сохраняет ее, личное ее тепло, обратное обаяние пропадают, и вот уже она становится частью скорей моего романа, чем моего прежнего "я", которое, казалось бы, так хорошо защищало ее от посягательств художника. Целые дома рассыпаются в моей памяти совершенно беззвучно, как в немом кинематографе прошлого, и образ моей французской гувернантки, которую я одолжил когда-то мальчику из одной моей книги, быстро тускнеет, поглощенный описанием детства, с моим никак не связанного. Человек во мне восстает против писателя, и вот попытка спасти что еще осталось от бедной Mademoiselle.

Женщина крупная, очень дородная, она вразвалку вошла в нашу жизнь в декабре 1905 года, когда мне было шесть лет, а брату пять. Вот и она. Так ясно вижу ее пышные, зачесанные кверху волосы с непризнанной сединой, три морщины на суровом лбу, густые брови, стального цвета глаза за стеклами пенсне в черной оправе, эти зачаточные усы, эту неровную красноту большого лица, сгущающуюся, при наплыве гнева, до добавочной багровости в окрестностях третьего и обширнейшего ее подбородка, который так величественно располагается на высоком скате ее многосборчатой блузы. Вот она садится, вернее, приступает к акту усадки: ходит студень под нижнею челюстью, осмотрительно опускается чудовищный круп с тремя костяными пуговицами на боку, и напоследок она разом сдает всю свою колышущуюся массу камышовому сиденью, которое со страху разражается скрипом и треском.

Почти целый год мы пробыли за границей. Проведя лето 1904 года в Бельвю и Аббации и еще несколько месяцев в Висбадене, мы в начале 1905-го вернулись в Россию. Месяца точно не помню. Одна наводящая мелочь подсказывает, что в Висбадене меня водили в русскую церковь — первую, в какой я вообще побывал, — и что произошло это, вероятно, о Великом Посту (во время службы я спросил у матери, о чем толкуют священник и дьякон, она по-английски прошептала в ответ, что они говорят нам, как все мы должны любить друг друга, однако я вывел из ее слов, что эти дивные персонажи в сверкающих конусовидных одеждах заверяют друг друга в вечной дружбе). Из Франкфурта мы приехали в буранный Берлин, а на следующее утро сели в Норд-Экспресс, с громом примчавший из Парижа. Через двенадцать часов мы достигли русской границы. Ритуальная смена вагонов и паровозов приобретала на фоне зимы новый, странный смысл. Волнующее понятие "родины" впервые органически слилось с уютно хрустящим снегом, глубокими следами на нем, красным лоском паровозной трубы, с высокой поленицей березовых дров под собственным их, перевозным снегом на красном тендере. Мне еще не было и шести, но этот год за границей, год трудных решений и либеральных надежд, приучил маленького русского мальчика к взрослым разговорам. Ностальгия матери и отцовский патриотизм поневоле отражались на нем. В итоге именно это возвращение в Россию, мое первое *сознательное* возвращение, представляется мне теперь, шестьдесят лет спустя, репетицией — не великого возврата домой, которого никогда не случится, но постоянных снов о нем в долгие годы моего изгнанничества.

Лето 1905 года в Выре еще не вылилось в охоту на бабочек. Сельский учитель водил нас на познавательные прогулки ("Звук, который вы слышите, издает коса, когда ее точат", "Вот это поле будет на следующий год отдыхать", "Ну, просто птичка — никак не называется", "Если мужик пьет, то это от бедности"). Осень выстлала парк разноцветными листьями, и мисс Робинсон познакомила нас с прелестной выдумкой, которая прошлой осенью доставила столько радости "сыну посла" — привычному

персонажу ее мирка — набрать и разложить на большом листе бумаги кленовые листья, образующие почти полный спектр (минус синий — большая потеря!), зелень переходила в лимонный цвет, лимонный в апельсиновый и так далее, через красные к багрово-бурым, вновь к красноватым, и назад, через лимонный к зеленому (этот отыскать было трудненько, разве что на краешке листа — последнем рубеже отваги). Первые заморозки уже прихватили астры, а мы все не переезжали в город.

Зима 1905–1906 годов, среди которой Mademoiselle приехала из Швейцарии, была единственной во все мое детство, проведенной нами в деревне. То был год забастовок, бунтов и вдохновленных полицией погромов, и отец, видимо, хотел продержать семью подальше от города, в нашем тихом деревенском поместье, где его популярность среди крестьян могла, как он правильно рассчитал, умерить риск, неизбежный при любых беспорядках. К тому же зима эта выдалась на редкость суровой, снегу навалило много, как раз столько, сколько Mademoiselle и думала, верно, найти в гиперборейском мраке далекой Московии. Я не встречал ее, когда она выгрузилась на маленькой станции Сиверская, откуда ей еще предстояло проехать в санях с десяток верст до Выры, но делаю это сейчас, стараясь вообразить, что она увидела и почувствовала на этом последнем перегоне своего сказочного путешествия, пришедшегося на столь неудачное время. Ее русский словарь, помнится, состоял из одного короткого слова — того же одинокого слова, которое она годы спустя увезла обратно в Швейцарию. Это словечко "где" превращалось у нее в "гиди-э". Его хватало за глаза. Звуча граем потерявшейся птицы, оно набирало столько вопросительной силы, что удовлетворяло всем ее нуждам. "Гиди-э, гиди-э?" — заливалась она, не только добиваясь определения места, но выражая бездну печали — одиночества, крушения надежд, бедности, болезни, поисков обетованного края, где ее наконец поймут и оценят.

Глазами моего доверенного вижу, как она стоит в середине перрона, на который только что сошла, и тщетно мой призрачный представитель предлагает ей руку, которой она все равно не видит. ("И вот я стояла, всеми брошенная,

comme la Comtesse Karenine"[1], — красноречиво, если и не совсем точно, жаловалась она впоследствии). Дверь ожидальни отворяется с дрожью и воем в тон ночной стуже; оттуда вырывается светлый пар, почти столь же густой, как тот, который валит из трубы шумно ухающего паровоза, и вот появляется наш кучер Захар, рослый человек, одетый в нагольный овечий тулуп с огромными рукавицами, засунутыми за красный кушак. Слышу, скрипит под его валенками снег, пока он возится с багажом, с позвякивающей упряжью и с собственным носом, который, обходя сани, он мощно облегчает приемом зажима и стряха. Медленно, томимая мрачными предчувствиями, "мадмазель", как называет ее помощник, забирается в сани, цепляясь за него в смертном страхе, что сани тронутся прежде, чем надежно усядется ее грузное тело. Наконец она, кряхтя, оседает и всовывает кулаки в плюшевую муфту. Вот сочно чмокнул Захар, вот переступили, напрягаясь, вороные Зойка и Зинка, еще переступили, и вот Mademoiselle подалась всем корпусом назад — это дернулись тяжелые сани, вырываясь из мира стали, елей, плоти, чтобы вплыть в отрешенный от трения мир, в котором они скользят вдоль призрачной стези, словно бы и не касаясь ее.

Мимолетом, благодаря внезапному свету одинокого фонаря на краю пристанционной площади, чудовищно преувеличенная тень, тоже с муфтой, несется обок саней по сугробу, и все исчезает: Mademoiselle поглощает то, что потом она называла с содроганьем и с чувством "le steppe"[2]. В бескрайнем сумраке желтыми волчьими глазами кажутся ей переменчивые огни далекой деревни. Ей холодно, она замерзает "до центра мозга" — ибо она взмывает на крыльях глупейших гипербол, когда не придерживается благоразумнейших общих мест. Порою она оглядывается, дабы удостовериться, что другие сани, с ее сундуком и шляпной картонкой, следуют сзади, не приближаясь и не отставая, как те компанейские призраки кораблей, которые нам описали полярные мореходы. И не позволяйте мне позабыть

[1] Совсем как графиня Каренина *(фр.)*.
[2] Степь *(фр.)*.

луну — ведь должна же быть и луна, полная, невероятно яркая и круглая, она так к лицу дюжей русской стуже. Вот она — легко и скоро скользит из-под каракулевых тучек, украшая их радужной рябью, и, всплывая все выше, наводит глазурь на колеи дороги, где каждый сверкающий ком снегу подчеркнут вспухнувшей тенью.

Совершенно прелестно, совершенно безлюдно. Но что же я-то тут делаю, посреди стереоскопической феерии? Как попал я сюда? Сани неведомо как удалились, оставив беспаспортного шпиона в ботах и теплом плаще стоять на иссиня-белой новоанглийской дороге. Перезвон у меня в ушах — уже не стихающие бубенчики их, но только пенье моей крови. Все тихо, заворожено, околдовано луной — вымышленный пейзаж в зеркальце заднего вида. Впрочем, снег настоящий; и, когда наклоняюсь, чтобы набрать его в горсть, шестьдесят лет жизни рассыпаются морозной пылью у меня промеж пальцев.

2

Большая керосиновая лампа на белом лепном пьедестале плывет по сумеркам. Она приближается — и вот, опустилась. Рука памяти, теперь в нитяной перчатке лакея, ставит ее посредине круглого стола. Пламя отрегулировано в совершенстве, и розовый абажур, кругосветно украшенный по шелку полупрозрачными изображеньицами маркизовых зимних игр, венчает еще раз подправленный (у Казимира ватка в ухе) свет. Возникает: теплая, яркая, стильная ("Русский ампир") гостиная в оглушенном снегом доме — скоро его назовут le château[1], — построенном маминым дедушкой, который, боясь пожаров, велел выковать железную лестницу, так что когда дом, где-то после Советской революции, сгорел дотла, тонко кованные ступени с небом, просвечивающим в ажурных подступнях, остались стоять, осиротевшие, но по-прежнему ведущие вверх.

---

[1] Замком *(фр.)*.

Что-нибудь еще об этой гостиной, пожалуйста. Мерцание белых округлостей мебели, ее расшитая розами обивка. Белый рояль. Овальное зеркало. Висящее, со склоненным чистым челом, на туго натянутых шнурах, оно норовит удержать валящуюся мебель и склон яркого пола, все выскользающего из его объятий. Подвески люстры. Они нежно позвякивают (наверху передвигают что-то в будущей комнате Mademoiselle). Цветные карандаши. Точность их спектра, заявленная на коробке, но никогда не достигаемая внутри. Мы сидим за круглым столом, брат, я, мисс Робинсон, которая раз за разом поглядывает на часы: при таком обилии снега дорога может оказаться опасной; вообще эту неведомую француженку, приехавшую ей на замену, ожидает множество профессиональных огорчений.

Теперь про цветные карандаши в действии. Зеленый при легком вращеньи запястья производит зыблющееся дерево или водоворотик, оставленный потонувшим крокодилом. Синий проводит по странице простую линию — и готов горизонт всех морей. Какой-то совсем тупой, неопределенного цвета, то и дело лезет под руку. Коричневый вечно сломан, красный тоже, но порой, сразу после надлома, его еще удается заставить послужить, подпирая — не слишком надежно — обломившийся кончик выступом выщелки. Лиловый малыш, мой любимец, стал так короток, что его трудно держать. Из всех карандашей только белый сохранял свою девственную длину — пока я не догадался, что этот долговязый альбинос не только не шарлатан, будто бы не оставляющий следа на бумаге, но напротив — орудие идеальное, ибо, водя им, можно было вообразить все, что угодно.

Увы, эти карандаши я тоже раздарил героям моих книг, чтобы чем-то занять выдуманных детей; теперь они уже не совсем и мои. Куда-то, в многоквартирный дом главы, в наемную комнатку абзаца, я пристроил и это наклонное зеркало, и лампу, и висюльки люстры. Уцелело всего ничего, остальное промотано. Не помню, одалживал ли я кому Бокса Первого (сына и мужа Лулу, любимца ключницы), старого коричневого такса, который спит на козетке? Седоватая морда с бородавкой у рта заткнута под изгиб коленки, и время от времени его ребра раздувает глубокий вздох. Он

так стар, так устлан изнутри сновидениями (о жевательных туфлях и нескольких последних запахах), что не шевелится, когда снаружи долетает негромкий звон бубенцов. Затем в вестибюле отпахивается и лязгает пневматическая дверь. Все же приехала. А как я надеялся, что она не доедет!

3

Совсем другой, некомнатный пес — дог, благодушный родоначальник свирепой семьи, сыграл приятную для него роль в происшествии, имевшем место чуть ли не на следующий день. Случилось так, что мы с братом оказались на полном попечении новоприбывшей. Насколько я теперь понимаю, мать, вероятно, уехала, вместе с горничной и молоденьким Трейни, в Петербург (миль пятьдесят от нашего дома), где мой отец играл видную роль в серьезных политических событиях той зимы. Она ожидала ребенка и была очень нервна. Мисс Робинсон, вместо того, чтобы помочь Mademoiselle утрястись, уехала тоже — назад, в семью посла, о которой мы слышали от нее столько, сколько этой семье предстояло услышать о нас. Чтобы показать наше недовольство подобным обращением, я немедля замыслил повторить увлекательную прошлогоднюю эскападу, когда мы так удачно бежали от бедной мисс Хант в Висбадене. На этот раз кругом расстилалась снежная пустыня, трудно вообразить, какой могла быть цель задуманного мной путешествия. Дело было на склоне дня, мы только что вернулись с первой нашей прогулки в обществе Mademoiselle, и я кипел негодованием и ненавистью. Долго подстрекать покладистого Сергея к тому, чтобы он хотя б отчасти разделил мое возмущение, не пришлось. Бороться с малознакомым нам языком (по-французски мы знали лишь несколько обиходных фраз) да еще быть лишенными всех привычных забав — с этим мы примириться не могли. La bonne promenade[1], которую она нам обещала, свелась к чинному хождению около дома, где снег был расчищен, а обледенелую землю посыпали песком. Она заставила нас

[1] Славная прогулка *(фр.)*.

нацепить вещи, которых мы не носили и в пургу, — какие-то страшные гетры и башлыки, мешавшие двигаться. Она удержала нас, когда я подбил Сергея исследовать пухлые, белые округлости, заменившие летние клумбы. Она не позволила нам пройтись под похожими на свисающие со стрех органные трубы сосульками, дивно горевшими под низким солнцем. Она отвергла как ignoble[1] мое любимое развлечение (придуманное мисс Робинсон) — лежать ничком на плюшевых саночках, с веревкой, привязанной к передку, и рукой в кожаной рукавице, тянущей меня вдоль оснеженной дорожки, под белеющими деревьями, — Сергей при этом не лежал, но сидел на вторых, обтянутых красным плюшем санках, привязанных сзади к моим, синим, а прямо перед моим лицом быстро-быстро мелькали пятки двух валенок с чуть загнутыми кверху носками, и то одна, то другая подошва оскальзывалась на проплешине шершавого льда. (Рука и ноги принадлежали Дмитрию, самому старому и низкорослому из наших садовников, а дорожка шла по аллее дубков, видимо, бывшей главной артерией моего детства.)

Я изложил брату коварный замысел и склонил его к соучастию. Едва вернувшись с прогулки, мы оставили Mademoiselle пыхтеть на ступеньках парадной, а сами промчались через весь дом, создав у нее впечатление, что собираемся спрятаться в какой-то из дальних комнат. На деле же, мы дотрусили до противоположной веранды, откуда опять выбежали в парк. Упомянутый дог как раз суетливо примеривался к ближнему сугробу, но заметил нас и, еще не решив, какую ногу задрать, присоединился к нам радостным галопом.

Втроем пройдя по сказочно удобной тропинке, мы вскоре свернули через пушистый снег к ведущей в деревню проезжей дороге. Меж тем солнце село. С жуткой внезапностью наступила тьма. Братец объявил, что продрог и устал, но я подбадривал его и в конце концов помог ему сесть верхом на дога (единственного члена экспедиции, который был по-прежнему весел). Мы прошагали больше трех верст (фантастически сияла луна, брат в совершенном

---

[1] Низменное *(фр.)*.

молчании все сваливался со своего коня), когда Дмитрий с фонарем нагнал нас и отвел домой. “Гиди-э, гиди-э?” — отчаянно выкликала с парадного крыльца Mademoiselle. Я без единого слова скользнул мимо нее. Брат расплакался и сдался. Дог, которого, между прочим, звали Турка, вернулся к своим прерванным исследованиям в отношении удобных и осведомительных сугробов.

4

В детстве мы лучше знаем руки людей, ибо они, эти знакомые руки, живут и витают на уровне нашего роста; мадемуазелины были неприятны мне каким-то лягушачьим лоском тугой кожи, усыпанной уже старческой горчицей. До нее никто из взрослых не трепал меня по щеке. Mademoiselle же, едва появившись, ошеломила меня тем, что именно с этого и начала — в знак мгновенного расположения. Все ее ужимки ясно вспоминаются мне, как только воображаю ее руки: манера скорее облущивать, чем очинять карандаш, держа его кончиком к себе, к своей огромной бесплодной груди, облеченной в зеленую шерсть; способ чесать в ухе — вдруг совала туда мизинец, и он както быстро-быстро там трепетал. И еще — обряд, соблюдавшийся при выдаче чистой тетрадки: со всегдашним легким астматическим пыхтением, округлив рот, она раскрывала тетрадку, делала в ней поле, т. е. резко проводила ногтем большого пальца вертикальную черту и по ней сгибала страницу — прижмет, отпустит, прогладит тылом ладони; после чего готовая тетрадка одним движением обращалась вокруг оси, чтобы поместиться передо мной. Затем новое перо; она с легким шипом слюнила его блестящее острие, прежде чем обмакнуть его в крестильную купель чернильницы. После этого, наслаждаясь каждым члеником каждой очень отчетливой буквы (особенно потому, что предыдущая тетрадь кончилась полной размазней), я надписывал слово “Dictée”[1], покамест Mademoiselle выискивала в учебнике что-нибудь потруднее да подлиннее.

---

[1] Диктовка *(фр.)*.

5

Декорация между тем переменилась. Инеистое дерево и высокий, с ксантиновой дыркой сугроб убраны безмолвным бутафором. Летний день дышит крутыми облаками, грудью вперед прущими по синеве. Глазчатые тени колышутся на парковых тропах. На сегодня уроки кончились, и Mademoiselle читает нам вслух на веранде, где циновки и плетеные кресла пахнут из-за жары вафлями и ванилью. Солнце, проходя через ромбы и квадраты цветных стекол, ложится россыпью драгоценных камений по беленым подоконникам и выцветшему коленкору длинных диванчиков под ними. Вот время, когда Mademoiselle проявляет свою сокровенную суть.

Какое неимоверное количество томов она прочитала нам на этой веранде! Ее изящный голос тек да тек, никогда не ослабевая, без единого рывка и заминки: это была изумительная чтеческая машина, никак не зависящая от ее больных бронхов. Мы прослушали все: “Les Malheurs de Sophie”, “Le Tour du Monde en Quatre Vingts Jours”, “La Petite Chose”, “Les Misérables”, “Le Comte de Monte Cristo”[1] и еще много всякой всячины. Из неподвижной горы струился голос; двигались только губы да самый маленький — но настоящий — из подбородков ее буддаподобной туши. С черными ободками пенсне отражало вечность. Иногда муха садилась ей на суровый лоб, и тогда все три морщины разом подскакивали, точно три бегуна над тройкой барьеров. Но ничто другое не возмущало этого лица, которое я так часто рисовал в блокноте, ибо его простая, бесстрастная симметрия гораздо сильнее притягивала мой вороватый карандаш, чем ваза с цветами или утиный манок, будто служивший мне моделью.

Мое внимание отвлекалось — и тут-то, быть может, выполнял свою настоящую миссию ее на редкость чистый и ритмичный голос. Я смотрел на дерево, и колыханье его листвы перенимало этот ритм. Егор топтался среди пионов. Трясогузка пробегала несколько шажков, останавливалась,

---

[1] “Сонины проказы”, “Вокруг света в восемьдесят дней”, “Малыш”, “Отверженные”, “Граф Монте-Кристо” *(фр.)*

будто что вспомнив, и семенила дальше, оправдывая свое имя. Откуда ни возьмись, бабочка-полигония, сев на верхнюю ступень веранды, расправляла плашмя на припеке свои вырезные бронзовые крылья, мгновенно захлопывала их, чтобы показать белые инициалы на аспидном исподе, и вдруг была такова. Постояннейшим же источником очарования в часы чтения была прозрачная арлекинада цветных стекол, вставленных в беленые рамы по обе стороны веранды. Сад, пропущенный сквозь эту волшебную призму, исполнялся странной тишины и отрешенности. Посмотришь сквозь синий прямоугольник — и песок становится пеплом, траурные деревья плавают в тропическом небе. Желтый создавал янтарный мир, пропитанный особо крепким настоем солнечного света. В красном темно-рубиновая листва густела над розовым мелом аллеи. В зеленом зелень была зеленее зеленого. Когда же после всех этих роскошеств обратишься, бывало, к одному из немногих квадратиков обыкновенного пресного стекла, с одиноким комаром или хромой караморой, это было так, будто берешь глоток воды, когда не хочется пить, и трезво белела скамья под знакомой хвоей. Но из всех оконец, в него-то мучительно жаждала посмотреть ностальгия позднейших лет.

Mademoiselle так и не узнала никогда, как могущественны были чары ее ровно журчащего голоса. В дальнейшем ее притязания на минувшее оказались совсем другими: "Ah, comme on s'aimait — вздыхала она, — как мы веселились вместе! В те добрые давние дни в château! А мертвая восковая куколка, которую ты похоронил под дубом! [Вовсе нет — набитого шерстью Голивога.] А помнишь как вы с Сергеем оставили меня, стенающую, блуждать по лесной глуши? [Преувеличение.] Ah, la fessée que je vous ai flanquée — Боже, как я тебя, бывало, шлепала! [Один раз попробовала, но никогда больше попыток не повторяла.] Votre tante, la Princesse[1], которую ты ударил своим маленьким кулачком, когда она мне нагрубила! [Не припоминаю.] А как бывало ты поверял мне шепотом свои детские горести! [Никогда!] А уютный уголок в моей комнате, куда ты любил забиваться, потому что там тепло и покойно..."

---

[1] Ваша тетушка, княгиня *(фр.)*.

Комната Mademoiselle, и в городе, и в деревне, казалась мне жутким местом — подобием теплицы, в которой таится толстолистое растение, пропитанное тяжелым, едким духом. Расположенная, когда мы были маленькими, рядом с нашей, она казалась не принадлежащей к нашему приятному, хорошо проветренному дому. В этом тошнотворном тумане, где пахло, из-под прочих, более смутных, испарений, ржавчиной окисленной яблочной кожуры, тускло светилась лампа, и необыкновенные предметы поблескивали на письменном столе: лаковая шкатулка с лакричными брусками, которые она распиливала перочинным ножом на черные кусочки и отправляла их таять на языке; цветной снимок — швейцарское озеро и замок с крупицами перламутра вместо окон; толстый слоистый шар, слепленный из серебряных бумажек с тех несметных шоколадных плиток и кружков, которые она ночами ела в постели; несколько фотографий — покойного племянника, его матери (расписавшейся "Mater Dolorosa"[1]) и некоего Monsieur de Marante, которого семья заставила жениться на богатой вдове.

Главенствовал же над прочими портретами еще один, в усыпанной поддельными каменьями рамке. На нем была снята вполоборота стройная, пышноволосая молодая брюнетка в плотно облегающем бюст платье, с твердой надеждой в глазах. "Коса до пят и толщиной в мою руку!" — говорила с пафосом Mademoiselle. Ибо это была она — но тщетно глаз силился извлечь из ее привычных очертаний ими поглощенное изящное создание. Зловещие откровения, которые были даны нам с братом, только увеличивали трудность задачи: то, чего не могли видеть взрослые, наблюдавшие лишь облаченную в непроницаемые доспехи, дневную Mademoiselle, видели мы, дети, когда, бывало, тому или другому из нас приснится дурной сон, и разбуженная звериным воплем, она ввалится в нашу комнату, босая, простоволосая, подняв перед собою свечу, мерцая золотом кружев на кроваво-красном капоте, который не прикрывал ее чудовищных колыханий, — призрачная Иезавель из дурацкой трагедии Расина.

---

[1] Скорбящая мать *(лат.)*.

Всю жизнь я засыпал с величайшим трудом. Люди, которые, отложив газету и удобно сложив глупые руки, мгновенно и как-то запросто начинают храпеть в поезде, мне столь же непонятны, как, скажем, люди, которые уютно испражняются бок о бок с непринужденно принимающим ванну собеседником, или участвуют в массовых демонстрациях, или вообще примыкают к каким-либо организациям, дабы в них раствориться. Сон — самый идиотический из существующих на свете союзов, с тяжелейшими обязанностями и жесточайшими ритуалами. Это духовная пытка, которую я нахожу унизительной. Томительные тяготы сочинительства нередко, увы, вынуждают меня проглатывать мощную пилюлю, которая дарит мне час-другой ночных кошмаров, а то и обращаться к комическому подспорью дневного, недолгого сна — так мог бы семенить к ближайшему эвтаназиуму одряхлевший повеса; но я просто не могу привыкнуть к этой еженощной измене рассудку, человеческому началу, духу. Как бы я ни устал, разрыв с сознанием представляется мне отвратительным. Мне ненавистен Сомнус, палач в черной маске, тянущий меня на плаху, и если с годами, с приближением куда более полного и смешного распада, который в наши ночи, готов признать, довольно далеко уводит меня от всегдашних ужасов засыпания, я свыкся с постельной пыткой настолько, что не без самодовольства слежу, как извлекается из большого, выстланного бархатом, удвоенной прочности футляра привычный топор, то поначалу у меня не имелось ни утешения, ни защиты: ничего, кроме одной символической лампочки в теоретически ослепительной люстре мадемуазелиной спальни, дверь в которую, по решению нашего домашнего врача (привет вам, доктор Соколов!), оставалась слегка приоткрытой. Без этой сверкливой вертикали (которую детские слезы умели преображать в ослепительные лучи сострадания) мне было бы не к чему прикрепиться в потемках, где плыла голова, а рассудок изнемогал в травестийной агонии.

Удивительно приятной перспективой была мне, или могла бы быть, субботняя ночь, когда Mademoiselle, принадлежавшая к старой школе гигиены и видевшая в наших

toquades anglaises[1] лишь источник простуд, позволяла себе роскошь и риск еженедельной ванны — чем продлевалось существование моей хрупкой полоски света. Но теперь начинается пыточка потоньше.

Мы уже перебрались в городской дом, стильное, на итальянский пошиб здание с фресковым цветочным орнаментом над третьим (верхним) этажом и с фонарем на втором, в 1885 году выстроенное моим дедом из финского гранита в Петербурге (ныне Ленинград) — номер 47 по Морской (ныне улица Герцена). Дети занимали третий этаж. В отобранном здесь для описания 1908 году я еще делил детскую с братом. Отведенная Mademoiselle ванна находилась в конце дважды загибающегося коридора, в каких-нибудь двадцати ударах сердца от моего изголовья, и, разрываясь между страхом, что ей вздумается раньше времени возвратиться в свою, смежную с детской, спальню, и завистью к мирному посапыванию брата за японской ширмой, я никогда не успевал воспользоваться лишним временем и заснуть, пока световая щель оставалась залогом хоть точки моего *я* в бездне. И наконец они раздавались, эти неумолимые шаги: вот они тяжело приближаются по коридору, заставляя невесело брякать какой-нибудь хрупкий стеклянный предметик, деливший у себя на полке мое бдение.

Вот — вошла в соседнюю комнату. Происходит быстрый пересмотр и обмен световых ценностей: свечка у ее кровати скромно продолжает дело ламповой грозди на потолке, которая, со стуком взбежав на две ступени естественного, а там и сверхестественного добавочного света, с таким же стуком тухнет. Моя вертикаль еще держится, но как она тускла и ветха, как содрогается всякий раз, что скрипит под ворочающейся мадемуазелью кровать. Ибо я ее еще слышу. Вот серебристый шелест выговаривает "Suchard"; вот раздается трк-трк-трк фруктового ножика, разрезающего страницы "La Revue des Deux Mondes". Наступает период упадка: она читает Бурже. Ни одному его слову не дано его пережить. Роковая минута близится. В ужасной тоске я отчаянно стараюсь приманить сон, ежеминутно открывая

[1] Английские привычки *(фр.)*.

глаза, чтобы проверить, там ли мой мутный луч, и воображая рай — место где бессонный сосед читает бесконечную книгу при свете вечной свечи.

Тут-то неизбежное и случается: защелкивается футляр пенсне, шуркнув, журнал перемещается на мраморный ночной столик; Mademoiselle бурно дует; с первого раза подшибленное пламя выпрямляется вновь; при втором порыве свет гибнет. В этом кромешном мраке я теряю направление, постель тихо вращается, в паническом трепете сажусь и всматриваюсь в темноту; наконец глаза, постепенно приноровившиеся к черноте, отделяют от энтоптического шлака некие более драгоценные размывы, куда-то плывущие в бесцельном беспамятстве, и, наполовину вспомянутые, они замирают тусклыми складками оконных гардин, за которыми в дальней дали бодрствуют уличные фонари.

Невероятно чуждыми казались эти ночные невзгоды в те восхитительные петербургские утра, когда неистовая и нежная, сырая и слепящая арктическая весна спроваживала ломаный лед по морской сини Невы! Сияли крыши. Весна расцвечивала слякоть на мостовых фиолетовыми тонами, которых нигде я с тех пор не видел. В эти роскошные дни on allait se promener en équipage[1], как говорилось по-старинке в нашем кругу. Снова чувствую волнующий переход с плотно подстегнутого, до колен достающего полушубка к короткому синему пальто с якорьками на медных пуговицах. С величественной Mademoiselle и торжествующим, заплаканным Сергеем — мы с ним еще дома повздорили, — расположившимися на заднем, более интересном сиденье открытого ландо, меня соединяет впадина полости. Иногда я слегка лягаю его под общим пледом, и наконец Mademoiselle строго приказывает мне прекратить. Мы проплываем мимо выставочных окон Фаберже, чьи высоко ценимые царской семьей минеральные монстры — осыпанные каменьями тройки, красующиеся на мраморном страусином яйце, и тому подобные — были для нашей семьи эмблемами крикливой безвкусицы. Звенят церковные колокола, первая лимонница летит над Дворцовой аркой, еще

---

[1] Ездили кататься в экипаже *(фр.)*.

какой-нибудь месяц и мы вернемся в деревню; и поднимая взгляд, я вижу, как высоко над улицей, на канатах, от фронтона к фронтону, вздуваются ветром огромные, напряженно гладкие, полупрозрачные полотнища, и три широкие их полосы — бледно-красная, бледно-голубая и просто линялая — усилиями солнца и беглых теней лишаются смутной связи с каким-то неприсутственным днем, но зато теперь, в столице памяти, несомненно празднуют они самую сущность того весеннего дня, шлепоток слякоти, начало свинки, распушенное крыло экзотической птицы, с одним красным глазком, на шляпе у Mademoiselle.

6

Она провела с нами семь лет, и уроки становились все реже, а характер ее все хуже. Угрюмо незыблемой скалой кажется она по сравнению с приливом и отливом английских гувернанток и русских воспитателей, перебывавших в нашем большом доме. Со всеми ними она была в дурных отношениях. Летом редко садилось меньше пятнадцати человек за стол, а в дни рождений это число возрастало до тридцати и больше, и вопрос, где ее посадят, был для нее жгуч. В такие дни из соседних поместий наезжали дяди, тети, двоюродные братья и сестры, деревенский доктор прикатывал на своих легоньких дрожках, и в прохладном вестибюле звучно сморкался сельский учитель, переходя от зеркала к зеркалу со скрипучим букетом зеленоватых влажных ландышей или с пуком хрупких, словно синеных, васильков в кулаке.

Когда Mademoiselle усаживали на слишком дальнем конце огромного стола и в особенности когда одной из наших бедных родственниц, почти такой же толстой ("Je suis une sylphide à côté d'elle"[1], — презрительно пожимая плечами говаривала Mademoiselle), удавалось ее пересесть, губы Mademoiselle от обиды складывались в якобы ироническую усмешку, и если при этом какой-нибудь простодушный ее визави отзывался любезной улыбкой, то она

[1] Я сильфида по сравнению с ней *(фр.)*.

быстро мотала головой, будто выходя из глубокой задумчивости, и произносила: "Excusez-moi, je souriais à mes tristes pensées"[1].

Природа, словно не желая обделить Mademoiselle всем тем, что обостряет уязвимость, наградила ее глухотой. За столом, случалось, мы с братом замечали, как две крупных слезы сползают по ее большим щекам. "Ничего, не обращайте внимания", — тоненьким голосом говорила она и продолжала есть, пока слезы не ослепляли ее; тогда, с душераздирающим всхлипом, она вставала и чуть ли не ощупью выбиралась из столовой. Добирались очень постепенно до причины ее горя. Скажем, общий разговор обращался к военному кораблю, которым командовал мой дядя, и она усматривала в этом тонкий намек на ее Швейцарию, не имевшую флота. Или же она все более убеждалась, что всякий раз, как разговор ведется по-французски, делается это ради недоброй забавы — не давать ей направлять и украшать беседу. Бедняжка так торопилась влиться в понятную ей речь до возвращения разговора в русское русло, что неизменно попадала впросак.

"А как поживает ваш парламент?" — бодро выпаливала она со своего конца стола, окликая отца, который после изнурительного дня отнюдь не горел желанием обсуждать горести государства с на редкость далеким от реальности человеком, который ничего о них не знал да и знать не желал. А не то ей покажется, что разговор коснулся музыки, и она преподносила: "Помилуйте, и в тишине есть своя красота! Однажды вечером, в дикой альпийской долине, я буквально *слышала* тишину!" Невольным следствием таких реплик — особливо когда слабеющий слух подводил ее, и она отвечала на мнимый вопрос — была мучительная пауза, а вовсе не вспышка блестящей, легкой causerie[2].

Между тем, сам по себе ее французский язык был так обаятелен! Неужто нельзя было забыть поверхностность ее образования, озлобленность нрава, плоскость суждений, когда эта жемчужная речь журчала и переливалась, столь же лишенная истинной мысли, как аллитеративные прегре-

---

[1] Простите, я улыбалась своим грустным мыслям *(фр.)*.

[2] Болтовня *(фр.)*.

шения благостных стишков Расина? Настоящей поэзии я приобщился не через ее ограниченную эрудицию, а через книги в отцовской библиотеке; тем не менее прозрачные звуки ее языка, подобного сверканью тех кристаллических солей, кои прописываются для очищения крови, действовали на меня возбудительно и плодотворно. Потому-то так грустно думать теперь, как страдала она, зная, что никем не ценится соловьиный голос, исходящий из ее слоновьего тела. Она зажилась у нас, зажилась слишком, смутно надеясь, что каким-то чудом превратится в подобие Madame de Rambouillet, царящей в золоченой salon[1] и блеском ума чарующей поэтов, принцев, вельмож.

Она бы продолжала надеяться, если бы не некий Ленский, молодой русский учитель, с близорукими глазами и пронзительными политическими взглядами, который был нанят, чтобы натаскивать нас по различным предметам и составлять нам компанию в наших затеях. У него было несколько предшественников, ни одного из них Mademoiselle не любила, но про него говорила, что это le comble[2] — дальше идти некуда. Преклоняясь перед моим отцом, Ленский с трудом переваривал кое-что в нашем обиходе, как, например, лакеев в ливреях и французский язык, каковой он почитал за аристократическую условность, неуместную в доме у демократа. Mademoiselle же решила, что если Ленский на все прямые вопросы ей отвечает мычанием (которое он, за неимением других прикрас, старался германизировать), то делает он это не потому, что не знает ни слова по-французски, но с намерением ее грубо оскорбить при всех.

Вижу и слышу, как Mademoiselle сладчайшим тоном, но уже со зловещим подрагиванием губ, просит его передать ей хлеб, и слышу и вижу, как не знающий по-французски Ленский спокойно продолжает хлебать суп; наконец Mademoiselle с шипящим "Pardon, monsieur"[3], преувеличенно широким движением ныряет через тарелку Ленского

---

[1] Гостиной *(фр.)*.

[2] Переходит все границы *(фр.)*.

[3] Простите, мосье *(фр.)*.

по направлению к корзинке с хлебом и втягивается обратно через него же с "Merci!" [1], полным такой иронии, что пушком поросшие уши Ленского становятся алее герани. "Скот! Наглец! Нигилист!" — всхлипывала она позже в своей комнате, давно утратившей соседство с нашими, хоть и остававшейся еще на том же этаже.

Если Ленскому случалось резво сбегать по лестнице, пока по ней поднималась — с астматическими паузами через каждые десять, примерно, ступенек — Mademoiselle (бывший в нашем петербургском доме небольшой водяной лифт часто бастовал, оскорбительно намекая на ее тяжесть), то она всякий раз уверяла, что, проходя, он непременно толкает ее, пихает, сбивает с ног, так что мы едва ли не видели, как он топчет ее распростертое тело. Все чаще и чаще уходила она из-за стола — и десерт, о котором она бы пожалела, дипломатично посылался ей вдогонку. Из глубины как бы все удалявшейся комнаты своей она писала матери письма на шестнадцати страницах, и мать спешила наверх и заставала ее трагически укладывающей чемодан. И однажды ей дали уложиться.

7

Она вернулась в Швейцарию. Разразилась Первая мировая война, потом революция. В начале двадцатых, много времени спустя после того как выдохлась наша переписка, я, благодаря неожиданно удачному ходу судьбы, попал вместе с моим университетским другом в Лозанну и решил, что стоит, пожалуй, повидаться с Mademoiselle, если она еще жива.

Она была жива. Еще потолстевшая, совсем поседевшая и почти совершенно глухая, она встретила меня бурными изъявлениями любви. Изображение Шильонского замка заместила аляповатая тройка. Она с таким же жаром вспоминала свою жизнь в России, как если бы это была ее утерянная родина. И то сказать, в Лозанне проживала целая колония таких бывших швейцарских гувернанток. Они

[1] Спасибо! *(фр.)*.

жались друг к дружке и ревниво щеголяли воспоминаниями, образуя островок среди стихии, ставшей для них чужой. Лучшим другом Mademoiselle была теперь похожая на мумию бывшая гувернантка моей матери, M-lle Golay, все еще чопорная и пессимистичная в свои восемьдесят пять лет; она оставалась в нашей семье долгое время спустя после замужества матери и вернулась в Швейцарию всего года за два до Mademoiselle, с которой не разговаривала, пока обе жили у нас. Человек всегда чувствует себя дома в своем прошлом, чем отчасти и объясняется как бы посмертная любовь этих бедных созданий к далекой и, между нами говоря, довольно страшной стране, которой они по-настоящему не знали и в которой никакого счастья не нашли.

Так как беседа мучительно осложнялась глухотой Mademoiselle, мы с приятелем решили принести ей на следующий день аппарат, на которой ей явно не хватало средств. Сначала она неправильно приладила сложный инструмент, что впрочем не помешало ей сразу же поднять на меня влажный взгляд, изображавший удивление и восторг. Она клялась, что слышит каждый звук, даже мой шепот. Между тем этого не могло быть, ибо, озадаченный, я не сказал ни слова. Если бы я заговорил, то предложил бы ей поблагодарить моего товарища, заплатившего за аппарат. Быть может, она слышала то самое молчание, к которому прислушивалась когда-то в альпийской долине? Тогда она себя обманывала, теперь меня.

Прежде чем отправиться в Базель и Берлин, я вышел пройтись вокруг озера холодным, туманным вечером. В одном месте особенно унылый фонарь разбавлял мглу, преобразуя туман в видимый бисер дождя. "Il pleut toujours en Suisse"[1] — утверждение, которое некогда доводило Mademoiselle до слез. Ниже шла по воде крупная рябь, почти волна, и что-то неопределенно белое привлекло мое внимание. Подойдя к самой кромке плещущей воды, я увидел, что это старый, крупный, неуклюжий, похожий на додо лебедь, со смехотворными усилиями старавшийся

[1] "В Швейцарии всегда идет дождь" *(фр.)*.

забраться в причаленную лодку. Ничего у него не получалось. Грузное, беспомощное хлопанье его крыльев, скользкий звук тела о борт колыхающейся и чмокающей шлюпки, клеенчатый блеск черной волны под лучом фонаря — все это показалось мне насыщенным странной значительностью, как бывает во сне, когда видишь, что кто-то прижимает перст к безмолвным губам, а затем указывает в сторону, но не успеваешь досмотреть и в ужасе просыпаешься. И хотя я скоро забыл эту пасмурную ночь, но, как ни странно, именно она, именно тот составной образ — лодка, лебедь, волна — первым представился мне, когда года два спустя я узнал о смерти Mademoiselle.

Всю жизнь она провела, ощущая себя несчастной; это несчастье было прирожденной ее стихией, его колебания, его переменчивая глубина одни только и создавали у нее впечатление движения и жизни. И вот что тревожит меня — этого ощущения несчастия и только его недостаточно, чтобы создать бессмертную душу. Моя огромная, хмурая Mademoiselle вполне уместна на земле, но невозможна в вечности. Удалось ли мне выручить ее из сочиненного мира? Как раз перед тем как слышимый мною ритм запнулся и погас, я поймал себя на сомнении — не проглядел ли я в ней совершенно, в те годы, что знал ее, нечто куда более важное, чем ее подбородки, повадки и даже ее французский, нечто, быть может, родственное последнему от нее впечатлению, сияющему обману, за который она ухватилась, чтобы я мог проститься с нею довольным своей добротой, или этому лебедю, чьи мучения гораздо ближе к художественной правде, чем бледные руки клонящейся танцовщицы; нечто, коротко говоря, что я смог воспринять лишь после того, как люди и вещи, которых я, в безопасности моего детства, любил сильнее всего, обратились в пепел или получили по пуле в сердце.

А вот приложение к рассказу о Mademoiselle. Когда я писал его, я ничего не знал о некоторых поразительно долго проживших людях. Так, в 1960 году мой лондонский двоюродный брат Петр де Петерсон сказал мне, что их англичанка-няня, казавшаяся мне старухой в 1904 году, в Аббации, благополучно здравствует в свои девяносто; не знал я и того, что гувернантка двух сестер моего отца,

M-lle Bouvier (впоследствии M-me Conrad), пережила отца почти на полвека. Она появилась в их доме в 1899-м, став последней в череде гувернанток, и провела с ними шесть лет. Небольшая картинка, нарисованная в 1889 году на память Иваном де Петерсоном, отцом Петра, изображает в виньетках, окружающих надпись, сделанную рукой моего отца: "A celle qui a toujours su se faire aimer et qui ne saura jamais se faire oublier"[1], различные эпизоды жизни в Батове; картинка подписана четырьмя молодыми мужчинами Набоковыми и тремя их сестрами: Натальей, Елизаветой и Надеждой, а также мужем Натальи, их маленьким сыном Митиком, двумя двоюродными сестрами и учителем русского языка Иваном Александровичем Тихотским. Шестьдесят пять лет спустя моя сестра Елена отыскала в Женеве M-me Conrad, которой шел уже десятый десяток. Старушка, пропустив одно поколение, простодушно приняла Елену за нашу мать, тогда восемнадцатилетнюю девушку, наезжавшую с M-lle Golay из Выры в Батово в те далекие времена, долгий свет которых находит столько хитроумных путей, чтобы меня достичь.

[1] Той, которую невозможно было не любить и которую невозможно забыть *(фр.)*.

Глава шестая

1

Летним утром, в легендарной России моего отрочества, проснешься, бывало, и сразу смотришь: какова щель между ставнями? Ежели водянисто-бледна, не стоит и растворять ставни, хоть избавишься от зрелища — насупленный день позирует для своего портрета в луже. С какой досадой выводишь из линии тусклого света свинцовое небо, промокший песок, овсяную кашицу бурых опавших соцветий под кустами сирени и этот рыжеватый листок (первая утрата лета), плоско прилипший к мокрой садовой скамейке!

Но если ставни щурились от ослепительно-росистого сверканья, я тотчас принуждал окно отдать свое сокровище: одним махом комната раскалывалась на свет и тень. Пропитанная солнцем березовая листва поражала взгляд прозрачностью, которая бывает у светло-зеленого винограда; еловая же хвоя бархатно выделялась на синеве, и эта синева была такой насыщенности, какую мне довелось опять отыскать только много лет спустя в горноборовой зоне Колорадо.

С семилетнего возраста все, что я чувствовал, завидя прямоугольник обрамленного солнечного света, подчинялось одной-единственной страсти. Первая моя мысль при блеске утра в окне была о бабочках, которых припасло для меня это утро. Началось все с довольно пустякового случая. На жимолости, нависшей поверх гнутого прислона скамьи, что стояла против парадного крыльца, мой ангел-наставник (чьи крылья, хоть и лишенные флорентийского ободка, очень походят на крылья Гавриила у Фра Анджелико) указал мне редкого гостя, великолепное бледно-желтое животное в черных и синих ступенчатых пятнах, с киноварным глазком над каждой из парных черно-палевых шпор.

Свешиваясь с наклоненного цветка и упиваясь им, оно слегка изгибало словно припудренное тельце и все время судорожно хлопало своими громадными крыльями. Я стонал от желания, острее которого ничего с тех пор не испытывал. Проворный Устин, который был швейцаром у нас в Петербурге, но по комического свойства причине (объясненной в другом месте) оказался тем летом в деревне, ухитрился поймать бабочку в мою фуражку, после чего ее вместе с фуражкой заперли в платяном шкапу, где, по благодушному домыслу Mademoiselle, пленнице полагалось за ночь умереть от нафталина. Однако когда на следующее утро Mademoiselle отперла шкап, чтобы взять что-то, мой махаон с мощным шорохом вылетел ей в лицо, затем устремился к растворенному окну, и вот, ныряя и рея, уже стал превращаться в золотую точку, и все продолжал лететь на восток, над тайгой и тундрой, на Вологду, Вятку и Пермь, а там — за суровый Урал, через Якутск и Верхнеколымск, а из Верхнеколымска — где он потерял одну шпору — к прекрасному острову Св. Лаврентия, и через Аляску на Доусон, и на юг, вдоль Скалистых Гор, где наконец, после сорокалетней погони, я настиг его и поймал на иммигранте-одуванчике под эндемической осиной близ Боулдера. В письме от мистера Брюн к мистеру Роулинс, от 14 июня 1735, хранимого в Бодлианском собрании, утверждается, что некий мистер Вернон преследовал бабочку девять миль, прежде чем смог ее поймать ("The Recreative Review or Eccentricities of Literature and Life"[1], том 1, с. 144, Лондон, 1821).

Вскоре после шкапной истории я нашел грандиозную ночницу, отсиживавшуюся в углу вестибюльного окна, и моя мать усыпила ее при помощи эфира. Впоследствии я применял разные другие средства, но и теперь малейшее дуновение, отдающее тем первым снадобьем, вмиг освещает веранду прошлого, влекущую к себе опрометчивую красоту. Уже будучи взрослым и находясь под эфиром во время операции аппендицита, я отчетливо и ярко, будто на

[1] Обозрение Увеселений, или Чудачества в Литературе и Жизни *(англ.)*.

переводной, по фарфору, картинке, увидел себя ребенком в матроске, расправляющим под руководством китаянки, в которой я сразу признал мою мать, свежий экземпляр глазчатого шелкопряда. И пока собственно я был расправлен и распорот, сон подчеркнуто ярко воспроизвел все — промокшая, пропитанная ледяным эфиром вата, прижатая к лемурьей головке насекомого, последние содроганья его тела, приятный хряск булавки проникающей сквозь жесткую корочку его груди, и осторожное втыкание булавочного острия в пробковую щель расправилки, и симметричное расположенье под аккуратно приколотыми полосками чертежной бумаги плотных, с резкой росписью крыльев.

2

Мне было лет восемь, когда, роясь в чулане нашего сельского дома среди разного рода пыльных предметов, я нашел чудные книги, приобретенные матушкой моей матери в те дни, когда она интересовалась естественными науками и ее дочери давал частные уроки знаменитый университетский профессор-зоолог (Шимкевич). Помню такие курьезы, как четыре исполинских бурых фолианта произведения Альбертуса Себа ("Locupletissimi Rerum Naturalium Thesauri Accurata Descriptio..."[1]), отпечатанного в Амстердаме около 1750 года. На их грубо шершавых страницах гравированы были и змеи, и бабочки, и эмбрионы. В стеклянной банке за шею подвешенный зародыш эфиопского младенца женского пола препротивно коробил меня всякий раз, что я на него натыкался; не вызывало особой любви и чучело гидры на таблице CII — ее семь черепашьих голов с львиными пастями на семи змеиных шеях, странное толстое тело с пуговичными пупырками, завершающееся витым хвостом.

Другие книги, найденные мною на том чердаке среди гербариев, полных эдельвейсов, синих палемоний, первоцветов, оранжево-красных лилий и иных собранных в

[1] Наиболее полный свод природных редкостей с подробным описанием... *(лат.)*

Давосе цветов, были ближе к моему предмету. Я в объятиях нес к себе вниз дивные стопки фантастически красивых томов: тут были и прелестные изображения суринамских насекомых в труде Марии Сибиллы Мериан (1647–1717), и прославленная "Die Schmetterlinge"[1] (Эрланген, 1777) Эспера, и Буадювалевы "Icones Historiques de Lépidoptères Nouveaux ou Peu Connus"[2] (Париж, 1832 и позже). Еще сильнее волновали меня работы, относящиеся ко второй половине столетия — "Natural History of British Butterflies and Moths"[3] Ньюмана, "Die Gross-Schmetterlinge Europas"[4] Гофмана, "Mémoires"[5] вел. кн. Николая Михайловича, посвященные азиатским бабочкам (с несравненно прекрасными иллюстрациями кисти Кавригина, Рыбакова, Ланга), и потрясающий труд Скуддера "Butterflies of New England"[6].

Лето 1905 года, хотя и вполне яркое во многих отношениях, не оживляется в памяти ни единым быстрым порхом или красочным промахом вокруг или поверх наших прогулок с сельским школьным учителем: махаон июня 1906-го еще оставался личинкой, прилепившейся к какому-то зонтичному, росшему у дороги; однако за этот месяц я познакомился с двумя, примерно, десятками наиболее распространенных бабочек, и Mademoiselle что-то уже говорила о некой лесной дороге, упирающейся в болотистый луг полный Малых Перламутровых Нимфалид (названных так в моем первом незабываемом, неувядаемо волшебном маленьком руководстве, "The Butterflies of the British Isles"[7] Ричарда Саута, только что и как раз вовремя вышедшем в свет), как о le chemin des papillons bruns[8]. На следующий год я уже сознавал, что многие из наших бабочек в Англии и Центральной Европе не водятся, и определял их с помо-

[1] "Бабочки" (*нем.*).

[2] "Изображения новых и малоизвестных бабочек" *(фр.)*.

[3] "Естественная история британских дневных и ночных бабочек" *(англ.)*.

[4] "Крупные европейские бабочки" (*нем.*).

[5] "Воспоминания" *(фр.)*.

[6] "Бабочки Новой Англии" *(англ.)*.

[7] "Бабочки Британских островов" *(англ.)*.

[8] Дорога бурых мотыльков *(фр.)*.

щью более сложных атласов. В начале 1907 года тяжкая болезнь (воспаление легких с жаром до 41° по Цельсию) загадочным образом уничтожила мой, пожалуй, чудовищный дар обращения с числами, на несколько месяцев обративший меня в чудо-ребенка (ныне я не способен без карандаша и бумаги умножить 13 на 17; хотя сложить их могу в два счета, уж очень точно входят в свои пазы зубчики тройки); тем не менее бабочки выжили. Мать собрала вокруг моей кровати и библиотеку, и музей, и страстное желание описать новый вид вполне заменило стремление открыть новое простое число. Поездка в Биарриц (август 1907-го) добавила новых чудес (пусть и не столь светозарных и многочисленных, как в 1909 году). К 1908-му я совершенно овладел европейской лепидоптерой в той мере, в какой знал ее Гофман. К 1910-му я уже грезил наяву над страницами первого тома изумительно иллюстрированного труда Зайтца "Die Gross-Schmetterlinge der Erde"[1], уже накупил множество недавно открытых редкостей и уже запоем читал энтомологические журналы, особенно английские и русские. В развитии систематики происходили тогда большие сдвиги. С середины прошлого столетия энтомология в Европе была в целом простым, хорошо поставленным делом, которым заведовали немцы. Ее верховный жрец, доктор Штаудингер, стоял во главе и крупнейшей из фирм, торговавших насекомыми. Даже и поныне, через полвека после его смерти, немецким лепидоптерологам далеко не удалось сбросить гипнотическое иго его авторитета. Штаудингер был еще жив, когда его школа начала терять свое научное значение в мире. Между тем как он и его приверженцы держались видовых и родовых названий, освященных долголетним употреблением, и классифицировали бабочек лишь по признакам, доступным голому глазу, англоязычные авторы вводили номенклатурные перемены, вытекавшие из строгого применения закона приоритета, и перемены таксономические, основанные на изучении органов под микроскопом. Немцы силились не замечать новых течений и продолжали снижать энтомологию едва ли

---

[1] Крупные бабочки планеты (*нем.*).

не до уровня филателии. Их забота о "рядовом собирателе, которого не следует заставлять препарировать", отчасти похожа на то, как нервные издатели популярных романов пестуют "рядового читателя", — которого не следует заставлять думать.

Обозначилась о ту пору и другая, более общая, перемена, совпавшая по времени с моим пылким отроческим интересом к бабочкам. Викторианское и штаудингеровское понятие о виде как о чем-то замкнутом и сплошном по составу, с отдельными (полярными, островными, горными и т. д.) "разновидностями", приделанными к нему снаружи наподобие случайных довесков, сменилось новым понятием о многообразном, текучем виде, органически *состоящем* из географических рас, или подвидов. Этими более гибкими приемами классификации лучше выражалась эволюционная сторона дела, а одновременно с этим биологические исследования предоставляли все больше данных о связях между бабочками и основными тайнами природы.

Загадка мимикрии всегда пленяла меня. Ее феноменам свойственны художественное совершенство, связываемое обычно лишь с творениями человека. Взглянем на пупырчатые с виду макулы на крыле (с добавлением псевдо-рефракции), изображающие слизистый яд, или на лоснистые желтые наросты на хризолиде ("Не ешь — меня уже разжевали, просмаковали и выплюнули"). Взглянем на трюки акробатической гусеницы (буковой ночницы), которая в младенческой стадии походит на птичий помет, а во взрослой, после линьки, обзаводится членистыми, словно у перепончатокрылого, придатками и другими затейливыми особенностями, позволяющими удивительному созданию играть двойную роль (словно восточный актер, который *обращается* в чету сплетенных борцов) — корчащейся гусеницы и крупного муравья, будто бы поедающего ее. Когда некая ночница обретает сходство с некой осой, она и ходит, и сяжками шевелит по-осиному, не по-ночницыному. Когда бабочке случается походить на лист, она не только превосходно передает детали его строения, но еще добавляет, расщедрясь, воспроизведение дырочек, проеденных жучьими личинками. "Естественный подбор" в дарвиновском смысле не может служить объяснением чудотворного со-

впадения подражания внешнего и подражательного поведения; с другой же стороны, и к "борьбе за существование" апеллировать невозможно, когда защитная уловка доводится до такой точки миметической изощренности, изобильности и роскоши, которая находится далеко за пределами того, что способен оценить мозг врага. Я нашел в природе те "бесполезные" упоения, которых искал в искусстве. И та и другое суть формы магии, и та и другое — игры, полные замысловатого волхвования и лукавства.

3

Я охотился на бабочек в разных краях и обличьях: стройным мальчиком в гольфных шароварах и матросской шапочке, тощим космополитом-изгнанником в фланелевых штанах и берете, пожилым толстяком без шляпы и в трусиках. Большая часть стекленых ящичков с моими поимками разделили участь нашего дома в Выре. Тех, что хранились в нашем петербургском жилище, как и малый вклад, сделанный мною в Ялтинский музей, несомненно поел ковровый жучок или иной домашний вредитель. Начатая мною в изгнании коллекция южно-европейских видов сгинула в Париже во время Второй мировой войны. Все мои американские поимки с 1940 по 1960 год (несколько тысяч образцов, среди которых немало больших редкостей и разновидностей) хранятся в Музее сравнительной зоологии, Американском музее естественной истории и Энтомологическом музее Корнелльского университета, где им, конечно, спокойнее, чем было бы в Томске или Атомске. Невероятно счастливые воспоминания, вполне, в сущности говоря, сравнимые с воспоминаниями моего русского отрочества, связаны у меня с исследованиями в МСЗ, Кембридж, Масс. (1941—1948). Не меньшее счастье доставили мне многочисленные ловитвенные поездки, в которых я за двадцать лет общарил, отправляясь в них почти каждое лето, большую часть штатов принявшей меня страны.

В Джексон-Хоул и в Большом Каньоне, на горных склонах над Теллуридой, Коло., на знаменитой сосновой пустоши под Олбани, Нью-Йорк, обитают и будут обитать,

в поколениях, куда более многочисленных, чем очередные переиздания, бабочки, которых я описал как новых. С несколькими моими находками работали другие исследователи, некоторые были названы моим именем. Одна из них, пяденица Набокова (*Eupithecia nabokovi* McDunnough), которую я взял как-то ночью 1943-го на венецианском окне в доме Джеймса Лафлина, самым что ни на есть философическим образом умещается в тематическую спираль, начавшуюся в лесу над Оредежью году в 1910-м, — а то и раньше, быть может, на той речке в Новой Земле, полтора столетия назад.

В отношении множества человеческих чувств и стремлений, тщеславия и достижений немногое способно превзойти энтомологические исследования по богатству и напряженности волнения. С самого начала в них угадывалось обилие перезванивающихся граней. Одна из них — острая потребность быть одному, потому что любой спутник, даже самый тихий, посягал на сгущенное упоение моей манией. Ее удовлетворение не допускало ни компромиссов, ни исключений. Мне было лишь десять лет, а гувернантки и гувернеры знали уже, что утро всецело принадлежит мне, — и благоразумно держались в стороне.

По этому поводу вспоминаю визит к нам моего школьного товарища, мальчика, к которому я был привязан и с которым мы нередко играли, получая удовольствие от общества друг друга. Как-то летом — году, кажется, в 1913-м, — он явился к нам поздно вечером из города. Отец его недавно погиб в катастрофе, семья была разорена, и, за недостатком денег на железнодорожный билет, отважный паренек проделал верст сорок на велосипеде, чтобы провести со мной несколько дней.

На другое утро я сделал все возможное, чтобы без его ведома покинуть дом ради утренней прогулки. Не позавтракав, в отчаянной спешке, я собрал сачок, коробочки для поимок, склянку с эфиром и через окно выбрался наружу. Углубившись в лес, я почувствовал, что спасен, но все продолжал быстро шагать, с дрожью в икрах, со жгучими слезами в глазах, и сквозь призму стыда и отвращения к себе представлял моего бедного друга с его большим блед-

ным лицом и траурным галстуком, валандающимся в знойном саду, треплющим от нечего делать пыхтящих собак — и изо всех сил старающимся как-нибудь оправдать мое отсутствие.

Разрешите мне беспристрастно рассмотреть моего демона. Никто, кроме родителей, толком моей одержимости не понимал, прошло немало лет, прежде чем я повстречал другого такого же страдальца. Едва ли не первый затверженный мною урок состоял в том, что полагаться на других в рассуждении роста моей коллекции никак не следует. Одним летним вечером 1911 года ко мне в комнату явилась с книгой в руках Mademoiselle и, заговорив о том, что ей хочется показать мне, как остроумно обличает Руссо зоологию (в противовес ботанике), успела настолько углубиться в гравитационный процесс погружения своего туловища в кресло, что мой отчаянный вопль уже не смог его остановить: на сиденьи я оставил накрытый стеклом ящик с длинной, прелестной серией больших белянок. Первая реакция Mademoiselle была реакцией уязвленного самолюбия: уж конечно не ее вес следует обвинять в повреждении того, что она на самом-то деле попросту уничтожила; вторая состояла в попытке утешить меня: Allons donc, ce ne sont que des papillons de potager![1] — и только усугубила мое горе. Недавно купленная у Штаудингера сицилийская пара оказалась раздавлена и разодрана. Огромный экземпляр из Биаррица был весь искромсан. Загублены были некоторые из лучших моих местных поимок. Впрочем, у этих аберрация, напоминавшая канарскую расу вида, еще могла быть залечена несколькими каплями клея, а вот драгоценный гинандроморф — слева самец, справа самочка, — у которого оторвались крылья и даже следов не осталось от брюшка, погиб окончательно: пристроить на место крылья было еще возможно, но как теперь докажешь, что вся четверка принадлежала этому безголовому тораксу на гнутой булавке? На другое утро бедная Mademoiselle, напустив на себя таинственность, отправилась в Петербург и вернулась под вечер, привезя мне («кое-что получше твоих капустниц»)

[1] Подумаешь, это всего лишь огородные бабочки! *(фр.)*

банальную уранию на гипсовой подставке. "Как ты обнимал меня, как плясал от радости!" — восклицала она десять лет спустя, изобретая новехонькое прошлое.

Наш сельский доктор, которому я, отправляясь в заграничное путешествие, оставил на попечение драгоценные куколки редкой ночницы, написал мне, что они отлично вылупились, но на самом деле их, вероятно, пожрала мышь, ибо по моем возвращении старый обманщик преподнес мне каких-то заурядных крапивниц, которых, верно, второпях наловил в своем же саду и напихал в ящичек для выкармливания в виде приемлемой подмены (это *он* так думал). Все же лучше был наш кухонный мальчик, энтузиаст, порой занимавший у меня снаряжение и возвращавшийся часа через два с сачком, в котором бурлила беспозвоночная живность наряду еще с кое-чем. Распустив устье перехваченного веревочкой сачка, он, как из рога изобилия, вываливал свои трофеи — куча кузнечиков, песок, разломанный надвое гриб, рачительно подобранный по дороге домой, еще кузнечики и единственная оббитая белянка.

В сочинениях больших русских поэтов я нахожу только два лепидоптерических образа, обладающих подлинно чувственным качеством: безупречное изображение Буниным несомненной крапивницы:

И так же будет залетать
Цветная бабочка в шелку —
Порхать, шуршать и трепетать
По голубому потолку.

и фетовскую "Бабочку", произносящую:

Надолго ли, без цели, без усилья,
Лететь хочу?
Вот-вот, сейчас, сверкнув, раскину крылья
И улечу.

В поэзии французской поражают известные строки Мюссе ("Le Saule" [1]):

---

[1] Ива *(фр.)*.

Le phalène dorée dans sa course légère
Traverse les prés embaumés[1]

являющиеся абсолютно точным описанием сумеречного полета геометриды, называемой в Англии Orange moth[2]; и еще у Фарга есть чарующе удачная фраза (в "Les Quatres Journées"[3]) о саде, в котором при наступлении ночи se glace de bleu comme l'aile du grand Sylvain[4] (тополевая ленточница). А из очень немногих истинно лепидоптерологических образов в английской поэзии любимейший мой создан Браунингом:

On our other side is the straight-up rock;
And a path is kept 'twixt the gorge and it
By boulder-stones where lichens mock
The marks on a moth, and small ferns fit
Their teeth to the polished block

("By the Fire-side")[5]

Поразительно, насколько мало внимания обращают на бабочек обычные люди. "Ни одной", — спокойно ответил коренастый, путешествующий пешком с Камю в рюкзаке швейцарец, когда я намеренно, для осведомления моей недоверчивой спутницы, спросил у него, не заметил ли он каких-либо бабочек, пока спускался по тропе, на которой ты и я за миг до того упивались их обилием. Справедливо и то, что когда я вызываю в памяти образ определенной тропинки, запомнившейся мне в мельчайших деталях, но принадлежащей к лету 1906-го — предшествующему, то есть, дате, которая стоит на первом из местных моих ярлы-

---

[1] Золотистая бабочка медленно / Порхает над душистыми лугами *(фр.)*.

[2] Оранжевая ночница *(англ.)* — сливовая пяденица (Angerona prunaria L.).

[3] Четырех днях *(фр.)*.

[4] Скользят голубянки, точно крыло величественного эльфа *(фр.)*.

[5] С другой стороны отвесная скала, / Между нею и дроком проложена тропинка / Из валунов, где лишайники повторяют / Узор на крыльях мотылька и мелкие папоротники / Вгрызаются в гладкий камень. "У камня" *(англ.)*

ков, — и с тех пор ни разу больше на посещенной, я не могу различить ни одного крыла, ни одного взмаха, ни одного лазурного вспорха, как будто некое злое заклятье пало на адриатическое побережье, обратив всех его бабочек в невидимок. Именно это ощутит, верно, энтомолог, бредущий обок торжествующего, уже содравшего шлем ботаника, средь уродливой флоры параллельной планеты, и не видящий окрест ни единого насекомого; вот так же (странное доказательство того странного факта, что скуповатый постановщик при всякой возможности использует обстановку нашего детства как готовую декорацию наших взрослых снов) вершина приморского холма в одном из моих возвратных ночных кошмаров, куда я тайком протаскиваю из бодрствования мой складной сачок, пестрит чабрецом и донником, но напрочь лишена всех тех бабочек, которые непременно должны на ней быть.

Мне рано открылось и другое обстоятельство, а именно то, что "бабочник" (как выражаются те из нас, кто наиболее склонен к жаргону), смиренно занимающийся своим делом, непременно возбуждает что-то странное в своих ближних. Бывало, собираемся на пикник, и я тихо, никому не мешая, несу свои скромные принадлежности в шарабан, отдающий дегтем (деготь использовали, чтобы отпугивать мух от лошадей), или в Опель с откидным верхом, пахнущий чаем (так пах бензин сорок лет назад), и кто-то из моих кузенов либо теток говорит: "Оставил бы ты сетку дома хоть этот раз. Разве ты не можешь играть, как все нормальные мальчики? Неужели тебе нравится портить всем удовольствие?" У придорожного знака NACH BODENLAUBE[1] в Бад Киссингене (Бавария) только что я догнал вышедших на прогулку отца и монументального старца Муромцева (бывшего за четыре года до того, в 1906-м, председателем Первой Думы), как он обратил ко мне, ранимому одиннадцатилетнему отроку, свою мраморную голову и с прославившей его важностью проговорил: "Смотри, мальчик, только не гоняться за бабочками: это портит ритм прогулки". В Крыму 1918 года, на тропинке над Черным морем,

[1] К Боденлаубе (*нем.*).

среди кустов в восковом цвету, колченогий большевицкий часовой хотел арестовать меня за то, что, дескать, сигнализирую (сачком, сказал он) английским военным судам. Летом 1929 года, когда я собирал бабочек в Восточных Пиренеях, не было случая, чтобы, шагая с сачком через деревушку, я оглянулся и не увидел каменеющих в тех позах, в каких застало их мое прохождение, поселян, точно я был Содом, а они жены Лота. Еще через десять лет, в Приморских Альпах, я однажды заметил, как за мной извилисто-тихо, по-змеиному, зыблется трава, потому что жирный полевой жандарм полз следом на животе, дабы выяснить, не ловлю ли я певчих птиц. Америка выказала пожалуй еще больше нездорового интереса по отношению к моим ретиарским занятиям — быть может, оттого, что когда я перебрался в нее на жительство, мне уже было под сорок, а чем старше человек, тем страннее он выглядит с ловчей сеткой в руках. Угрюмые фермеры указывали мне на знак "УДИТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ"; из проносившихся по шоссе автомобилей доносился издевательский рев; сонные собаки, равнодушные к зловоннейшему бродяге, настораживались и, рыча, шли на меня; малютки показывали меня, тыча пальчиками, своим озадаченным мамам; отличающиеся широтою взглядов туристы хотели знать, не ловлю ли я жучков для насадки; и однажды утром, в пустыне близ Санта-Фе, среди высоких юкк в цвету, за мною шла более мили огромная вороная кобыла.

4

Когда, отряхнув погоню, я сворачивал с рыхлой красной дороги, ведшей от нашего вырского дома к полю и лесу, оживление и блеск дня были как трепет сочувствия ко мне.

Очень юные, очень темные эребии, появлявшиеся только каждый второй год (весьма удобно, воспоминания сразу выстраиваются в ряд), порхали меж елей или показывали красные глазки и клетчатую бахрому, греясь на придорожном папоротнике. Высоко подскочив над травой, крохотная бархатница увертывалась от моего сачка. Имелось здесь и несколько ночниц, разноцветных любительниц солнца,

плывущих с цветка на цветок, будто раскрашенные мухи, и мучимых бессонницей самцов в поисках попрятавшихся самок — вроде вон того мечущегося в кустах дубового коконопряда. Я заметил (то была одна из главных загадок моего детства) мягкое бледно-зеленое крылышко, завязшее в паутине (теперь-то я знал, что это: остатки большой зеленой пяденицы). Здоровенная гусеница древоточца, нарочито сегментированное, плоскоголовое, плотски окрашенное, глянцевито розовое странное создание, "голое, как червяк", если воспользоваться французским сравнением, пересекло мою тропу в отчаянных поисках места, где можно окуклиться (ужасный гнет метаморфозы, аура безобразного припадка в публичном месте). На коре вот этой березы, кряжистой, росшей совсем рядом с парковой оградкой, я нашел прошлой весной темную аберрацию кармелитки Сиверса (всего лишь еще один серенький мотылек для читателя). В канаве под мостком ярко-желтая лесная толстоголовка якшалась со стрекозой (для меня — еще одной "либеллулой"). Два самца червонной лицены поднялись с цветка на страшную высоту, все время дерясь, — погодя один из них спорхнул назад, на свой репейник. Все это были обыкновенные насекомые, но всякую минуту что-нибудь необычайное могло заставить меня затаить дыхание. Помню, как однажды я с бесконечными предосторожностями пододвигал сачок все ближе и ближе к редкой тэкле, грациозно сидевшей на веточке. Я ясно видел белое W на темно-коричневом исподе ее крыла. Крылья были плотно сжаты, и нижние терлись друг о дружку дискообразным движением — быть может производя блаженный, тоненький стрепет, слишком высокий по тону, чтобы человек мог его уловить. Я давно мечтал именно об этом виде и вот наконец, подведя рампетку поближе, ударил. Ты слыхала стон теннисиста, промазавшего легкий мяч. Ты видела лицо всемирно знаменитого гроссмейстера Вильгельма Эдмундсона, когда он, давая в минском кафе сеанс одновременной игры, нелепо зевнул и подставил ладью местному любителю, педиатру Шаху, который в итоге и победил. Но никто (за вычетом моего постаревшего "я") не мог увидеть в тот день, как я вытряхивал веточку из сетки и глядел на дыру в кисее.

5

Близ пересечения двух тележных дорог (одной ухоженной, бегущей на север-юг между "старым" и "новым" нашими парками, и другой, грязной, колеистой, ведущей, если свернуть на запад, к Батову), в месте, где по обе стороны спуска теснятся осины, я уверенно ожидал встретить в третью неделю июня больших иссиня-черных нимфалид в чистых белых полосках, скользящих и парящих над сочной глиной, совпадавшей оттенком с изнанкой их крыльев, складываемых при посадке. То были падкие до грязи самцы бабочки, которую старинные аврелианцы называли обычно "тополевым адмиралом", принадлежащей, говоря точнее, к буковинскому подвиду. Девятилетним мальчиком, еще на зная этой расы, я заметил, как сильно экземпляры, встречающиеся у нас, на севере России, отличаются от центрально-европейских, изображенных у Гофмана, и поспешил написать Кузнецову, одному из величайших русских, а то и мировых лепидоптеристов всех времен, назвав мой новый подвид *"Limenitis populi rossica"*[1]. Долгий месяц спустя, он вернул мое описание и акварельное изображение "*rossica* Набоков", нацарапав на обороте письма всего два слова: "*bucovinensis* Ормузаки". Как же я ненавидел Ормузаки! И как обиделся, обнаружив в одной из позднейших статей Кузнецова ворчливое упоминание о "школьниках, норовящих давать имена мелким разновидностям тополевой нимфалиды"! Впрочем, не устрашенный оплошностью с *"populi"*, я "открыл" на следующий год "новую" ночницу. В то лето я усердствовал в ловитве при лунном свете, расстилая на парковой поляне простынь поверх травы и разгневанных светляков, и освещая ее ацетиленовой лампой (которой предстояло, шесть лет спустя, обливать своим светом Тамару). На сияющую арену слетались из окружавшей меня плотной тьмы ночницы, и именно там, на этой волшебной простыне я взял прекрасную *Plusia* (ныне *Phytometra*), отличавшуюся, как я сразу увидел, от своих ближайших сородичей сиренево-бордовыми (взамен золотисто-бурых) передними крыльями и более узкими прикор-

[1] Ленточник тополевый русский *(лат.)*.

невыми пятнами — ни в одной из моих книг ничего похожего изображено не было. Я послал описание и рисунок Ричарду Сауту для публикации в “The Entomologist”. Бабочка оказалось неведомой и ему, однако он был настолько добр, что сверился с коллекцией Британского музея — и выяснил, что она давным-давно описана Кречмаром как *Plusia excelsa.* Я принял печальную новость, выраженную в самых сочувственных словах (“...следует поблагодарить за находку... весьма редкой волжской бабочки... превосходное изображение...”) с невиданным стоицизмом; впрочем, много лет спустя я сквитался с первооткрывателем моей ночницы, отдав его имя слепцу в одном из романов.

Позвольте мне вспомнить и о бражниках — реактивных самолетах моего отрочества! Июньскими вечерами краски умирают медленно. Кусты сирени в пышном цвету, перед которыми я стоял с сеткой в руке, являли мне пушисто-пепельные соцветья — призраки лиловизны. Молодая луна висела над туманом ближнего поля. Во многих садах этак стаивал я впоследствии — в Афинах, Атланте, Лос-Анжелесе, — но никогда, никогда не изнывал я от такого желания, как перед той серевшей сиренью. И вот начиналось: ровное гудение переходило от цветка к цветку и, в вибрирующем нимбе вкруг обтекаемого тела, розово-оливковый сфинкс повисал перед венчиком, который он с воздуха пытал длинным хоботком. Его черная красавица-гусеница (напоминавшая, когда она выпячивала очковые пятна на передних сегментах, миниатюрную кобру) появлялась два месяца погодя в сырых местах, на иван-чае. Так всякое время дня и года отличалось другим очарованием. И наконец, в холодные, даже морозные августовские ночи можно было приманить ночниц, вымазав стволы в саду смесью патоки, пива и рома. Среди ветреного черного мрака фонарь освещал липко-блестящие трещины в коре, где, по две-три на каждый ствол крупные ночницы впитывали сладость, нервно подняв, как дневные бабочки, полураскрытые крылья и показывая невероятный ярко-малиновый атлас задних из-под лишаево-серых передних. “Катокала адультера!” — восторженно вопил я по направлению освещенных окон и спотыкаясь бежал в дом показывать отцу улов.

6

"Английский" парк, отделявший усадьбу от лугов, был просторен и путан — лабиринт тропинок, тургеневские скамейки и завозные дубы между местных берез и елей. Старания, начавшиеся еще во времена моего деда, удержать парк от возврата в дикое состояние, вечно чуть-чуть не дотягивали до полного успеха. Никакому садовнику не по силам было справиться с курчавыми кучками черной земли, которые розовые лапки кротов насыпали поверх опрятного песка главной аллеи. Травы, грибы и горбатые корни деревьев пересекали во всех направлениях спрыснутые солнцем тропинки. Медведей истребили в восьмидесятых годах, но случайный лось еще захаживал в парк. Маленькая рябина с еще меньшей осиной карабкались на живописный валун, держась за ручки, точно чета неловких, тихих детей. Другие нарушители, поизворотливей — заблудившиеся пикникеры или загулявшие крестьяне, — доводили до неистовства нашего седовласого сторожа, Ивана, выцарапывая на скамьях и воротах срамные слова. Несколько по-иному процесс одичания продолжается и теперь, ибо когда я пытаюсь сегодня по памяти пройтись вьющейся тропкой из одного места в другое, то замечаю, в тревоге, зияющие там и сям пустоты, рожденные забвением не то незнанием, родственные пробелам терра инкогнита, которые картографы прежних времен называли "спящими красавицами".

В полях за парком воздух переливался бабочками над переливом цветов — ромашек, скабиоз, колокольчиков и иных, — все это скользит у меня сейчас цветным маревом перед глазами, как те пролетающие мимо широких окон вагона-ресторана роскошные, обольстительные луга, которых никогда не обследовать пассажиру. А за этой муравчатой страной чудес поднимался, как темная стена, лес. Блуждая здесь, я выискивал на древесных стволах (зачарованная, безмолвная часть дерева) мелких ночниц, называемых в Англии "Pugs"[1], — эти маленькие, нежные существа

---

[1] Пяденицы.

днем плотно прикладываются к пегим поверхностям, с которыми сливаются их плоские крылья и приподнятые брюшки. Здесь, на самом дне солнечной зелени, я осматривал огромные стволы. Ничего в мире не было слаще возможности добавить, если вдруг повезет, какой-нибудь новый, замечательный вид к длинному списку пядениц, уже названных другими. И мое пестрое воображение явственно, почти гротесково потворствовало моему желанию (а на самом деле, где-то за сценой, в заговорщичьей тиши, невозмутимо готовило события моего отдаленнейшего будущего), преподнося мне призрачные выписки мелким шрифтом: "...единственный доныне известный экземпляр...", "...единственный известный экземпляр *Eupithecia petropolitanata* был взят русским школьником...", "...молодым русским собирателем...", "...мною в Царскосельском уезде Петербургской губернии, в 1910 г... 1911 г... 1912 г... 1913 г...". И наконец, той благословенной черной ночью в Уасач-Рэндж.

Поначалу, лет, скажем, в восемь-девять, я редко забредал дальше полей и лесов, лежавших меж Вырой и Батовом. Затем, наметив себе место, находящееся дальше версты на три, а то и больше, я добирался туда на велосипеде, привязывая рампетку к раме; однако проехать на колесах удавалось далеко не по всякой лесной тропе, — можно было, конечно, скакать верхом, но наши свирепые русские оводы не позволяли оставить лошадь привязанной в лесу на сколько-нибудь долгое время: мой умница-гнедой однажды чуть не залез на дерево, к которому был привязан, пытаясь избавиться от них, — от здоровенных тварей с влажно-шелковистыми глазами и тигровыми тушками, а с ними от серых карликов с еще более язвительными хоботками, но не столь увертливых, — прихлопнешь двух-трех таких, присосавшихся к шее жеребца серых пропойц одним ударом гантированной руки, и тебя переполняет чудесное, острое облегчение (которого, боюсь, не одобрил бы диптеролог). Как бы там ни было, охотясь на бабочек, я всегда предпочитал пешее хождение иным способам передвижения (исключая, естественно, летучее сиденье, с ленцой скользящее над древесным ковром и камнями неисследованной горы или вздымающееся над самыми цветущими

кронами тропического леса); ибо когда идешь, особенно по местам, тобой уже хорошо изученным, есть пронзительное удовольствие в том, чтобы уклоняться с пути и навещать тут поляну, там овраг, там то или иное сочетание растительности и почвы, дабы так сказать наведать знакомую бабочку именно в ее естественной среде и посмотреть, народилась ли уже, и если народилась, то как поживает.

Затем наступил июльский день — году, по-моему, в 1910-м, — когда я почувствовал потребность хорошенько исследовать обширную болотистую местность за Оредежью. Пройдя пять-шесть верст вдоль реки, я перешел ее по досчатому мостику, откуда видать было слева крыши деревушки, яблони, желтые бревна на зеленом бережку и красочные пятна одежд на траве, скинутых деревенскими девчонками, которые голышом купались в мелкой воде, скача и крича и столь же мало заботясь обо мне, как если бы я был бесплотным послом моих нынешних воспоминаний.

На противоположном берегу реки густое сборище мелких бабочек, состоявшее главным образом из самцов голубянок, пьянствовало на жирно растоптанной и унавоженной коровами грязи, и весь рой поднялся на мерцающий воздух из-под моих ног и снова опустился по моем прохождении.

Продравшись сквозь сосняк и низкорослый ольшаник, я вышел к болоту. Не успел слух уловить зуд двукрылых вокруг, утробный кряк дупеля над головой, кочковое чмоканье под ногами, как я понял, что найду здесь тех особых полярных бабочек, чьими изображениями, а то и неиллюстрированными описаниями я упивался несколько лет. В следующий миг я был уже окружен ими. Над кустиками голубики с дымчатыми, дремными ягодами, над карим блеском мочажек, над мхом и валежником, над цветущими свечками ароматной болотной орхидеи ("ночной фиалки" русских поэтов) скользила низким полетом смуглая нимфалида, носящая имя северной богини. Хорошенькая кордигера, похожая на самоцветный камень ночница, сновала над своим трясинным кормовым растением. Я преследовал обведенных по краю розовым желтушек, мрамористо-серых сатирид. Не замечая комаров, которые точно мех покрыва-

ли голые по локоть руки, я наклонялся, чтобы с мычанием наслаждения выдавить жизнь из какого-нибудь осыпанного серебристыми точками лепидоптерона, трепещущего в складках сетки. Мои пальцы тонко пахли крыльями бабочек, аромат их, менявшийся от вида к виду — ванильный, лимонный, мускусный, дымчатый, сладкий, почти неопределимый, — пробивался сквозь болотные запахи. Все еще не насытившись, я шел да шел вперед. Наконец я добрался до конца болота. Подъем за ним был раем лупинов, аквилей, пестемонов. Лилия-марипоза сияла под пондерозовой сосной. Вдали, над границей древесной растительности, тени облаков пестрили тускло-зеленые горные луга и серобелый Longs Peak.

Признаюсь, я не верю во время. Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой. Пусть спотыкаются посетители. И высшее для меня наслаждение вневременности — это наудачу выбранный пейзаж, где я могу быть в обществе редких бабочек и кормовых их растений. Вот это — блаженство, и за блаженством этим есть нечто, не совсем поддающееся определению. Это вроде какой-то мгновенной физической пустоты, куда устремляется все, что я люблю в мире. Чувство единения с солнцем и скалами. Трепет благодарности, обращенной to whom it may concern[1] — гениальному ли контрапункту человеческой судьбы или благосклонным духам, балующим земного счастливца.

---

[1] Ко всем, кого это может касаться *(англ.)*.

Глава седьмая

1

В первые годы нашего столетия в железнодорожном агентстве на Невском была выставлена двухаршинная модель коричневого спального вагона, далеко превосходившая в подробном правдоподобии мои жестяные заводные поезда. Можно было разглядеть голубую обивку диванчиков, красноватую шлифовку и тисненую кожу внутренних стенок, вделанные в них зеркала, тюльпанообразные лампочки для чтения и прочие умопомрачительные детали. Широкие окна чередовались с более узкими, то одинокими, то парными, кое-где с матовыми стеклами. В некоторых отделениях уже были сделаны на ночь постели.

Тогдашний величественный, романтический Норд-Экспресс (после Первой мировой войны он стал уже не тот, сменив нарядную каревость на нуворишечью голубизну), состоявший исключительно из таких же международных вагонов, ходил только два раза в неделю и доставлял пассажиров из Петербурга в Париж. Я сказал бы, прямо в Париж, если бы пассажиров не переводили из него в другой, обладающий поверхностным сходством состав на русско-немецкой границе (Вержболово-Эйдкунен), где бокастую, развалистую русскую колею (шестьдесят с половиною дюймов) заменял европейский стандарт (пятьдесят семь с половиною дюймов), а березовые дрова — уголь.

В дальнем углу памяти я могу распутать по крайней мере пять таких путешествий в Париж, с Ривьерой или Биаррицем в конце. Выбираю относящееся к 1909 году, когда наша экспедиция состояла из одиннадцати человек и одной таксы. Отец в дорожной кепке и перчатках сидит с книгой в купе, которое он делит с нашим гувернером. Мы с братом отделены от них туалетной каморкой. Следующее

купе занимает мать со своей горничной Наташей. Далее следуют мои маленькие сестры, их английская гувернантка мисс Лавингтон, и русская няня. Нечетный Осип, отцовский камердинер (лет через десять педантично расстрелянный большевиками за то, что угнал к себе наши велосипеды, а не передал их народу), делит купе с посторонним.

В рассуждениях историческом и художественном, год начался с политической карикатуры в "Punch": богиня Англия склоняется над богиней Италией, на чью голову слетел один из кирпичей Мессины — возможно, худшая картинка из всех когда-либо вдохновленных землетрясением. В апреле этого года Пири дошел до Северного полюса. В мае пел в Париже Шаляпин. В июне, озабоченный слухами о новых выводках цеппелинов, американский военный министр объявил репортерам, что Соединенные Штаты намерены создать воздушный флот. В июле Блерио перелетел из Кале в Дувр (сделав лишний крюк — заблудился). Теперь был конец августа. Ели и болота северозападной России прошли своим чередом и на другой день сменились немецкими соснами и вереском.

На подъемном столике мать играет со мной в дурачки. Хотя день еще не начал тускнеть, наши карты, стакан и — на другом плане — замки чемодана отражаются в оконном стекле. Через поля и леса, и в неожиданных оврагах, и посреди убегающих домишек бесплотные картежники играют на ровно поблескивающие ставки. Игра получилась долгая, очень долгая: нынешним сереньким зимним утром вижу сияющими в зеркале яркого отельного номера эти же самые замки того же именно, теперь семидесятилетнего чемодана, nécessaire de voyage[1] из свиной кожи, с "Е. Н." затейливо переплетающимися на серебряной табличке под серебряной же коронкой, купленного в 1897 году перед свадебным путешествием матери во Флоренцию. В 1917-м он перевез из Петербурга в Крым, а затем в Лондон горстку драгоценностей. Году в 1930-м он лишился у ломбардщика дорогих хрустальных и серебряных коробочек, от которых остались внутри замысловато изогнутые кожаные пустоты.

[1] Дорожный несессер *(фр.)*.

Но я вполне вознаградил его за эту потерю в те тридцать лет, что он разъезжал со мной — из Праги в Париж, из Сен-Назера в Нью-Йорк и сквозь зеркала более чем двухсот мотельных комнат и арендуемых домов, разбросанных по сорока шести штатам. То, что из нашего русского наследства уцелел лишь дорожный чемодан, и логично и символично.

"Не будет ли? Ты ведь устал", — говорит мать, а затем задумывается, медленно тасуя карты. Дверь купе отворена, и в коридорное окно видны провода — шесть тонких черных проволок, — которые упорно лезут все выше в небо, несмотря на молниеносные удары, наносимые им одним телеграфным столбом за другим; впрочем, едва они, триумфально подхваченные трогательным ликованием, взлетают к верхнему краю оконницы, их одним махом сбивает особенно злостный столб, и приходится им опять начинать с самого низа.

Когда, на таких поездках, поезду случалось замедлить ход, чтобы величаво влачиться через большой немецкий город, где он чуть не задевал фронтоны домов и вывески магазинов, я испытывал двоякое наслаждение, которого тупик конечного вокзала мне доставить не мог. Я видел, как город, со своими игрушечными трамваями, липами и кирпичными стенами, вплывает в купе, якшается с зеркалами и до краев наполняет коридорные окна. Это приятельское соприкосновение между экспрессом и городом объясняло лишь часть пронзительного удовольствия. Другая же состояла в данном мне поводе вообразить себя вон тем пешеходом и за него пьянеть от вида романтических, длинных, карих вагонов, с черными, как крылья нетопыря, межтамбурными гармониками и огненными на низком солнце металлическими буквами, неторопливо переходящих железным мостом через будничную улицу и сворачивающих, с внезапной вспышкой всех окон, за последний ряд домов.

Иногда эта перерслойка зрительных впечатлений мстила мне. Широкооконный вагон-ресторан, перспектива непорочных бутылок минеральной воды, митры сложенных салфеток и бутафорские шоколадные болванки (под чьими

обертками — "Cailler", "Kohler" и так далее — крылось всегда только дерево) сначала представлялись прохладным раем за длинной чередой качких коридоров; но по мере того как дело подходило к последнему роковому блюду и все более ужасно напирал задом на наш стол один эквилибрист с полным подносом, пропуская другого такого же, все назойливее становилось ощущение, что вагон со всем содержимым, включая кренящихся лакеев, неряшливо и неосторожно вправляется в ландшафт, причем этот ландшафт находится сам в сложном многообразном движении — дневная луна упрямо едет вровень с тарелкой, плавным веером раскрываются луга вдалеке, ближние деревья несутся к рельсам на невидимых качелях, между тем как параллельная колея внезапно кончает самоубийством, прибегнув к анастомозу, а за ней насыпь с мигающей травой томительно поднимается, поднимается, — пока вся эта мешанина скоростей не заставляет молодого наблюдателя вернуть свою порцию omelette aux confitures de fraises[1].

Впрочем, ночами оправдывалось вполне волшебное названье "Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens"[2]. С моей постели под койкой брата (спал ли он? был ли там вообще?) я наблюдал в полумраке отделения, как опасливо шли и никуда не доходили предметы, части предметов, тени, части теней. Деревянное что-то потрескивало и скрипело. У двери в уборную покачивалась на крюке одежда, и в такт ей моталась повыше кисть синего двустворчатого ночника. Эти затаенные пошатывания, эти нерешительные подступы было трудно соотнести с полетом ночи вовне, которая — я знал — мчалась там стремглав, непроглядная, в длинных искрах.

Я усыплял себя простым актом отождествления с водителем поезда. Ощущение сонного благополучия обтекало меня по мере того, как я все так хорошо устраивал, — беззаботные пассажиры в их отделениях радовались поездке, которую я им устроил, покуривали, обменивались зна-

---

[1] Омлета с клубничным вареньем *(фр.)*.

[2] Международное общество спальных вагонов и европейских экспрессов дальнего следования *(фр.)*.

ющими улыбками, кивали, дремали; прислуга, повара, поездная стража (которую надо же было куда-то пристроить) после них пировали в вагоне-ресторане; сам же я, в гоночных очках и весь в масле и саже, высматривал из паровозной будки рубиновую или изумрудную точку в черной дали. Но затем, уже во сне, я видел что-то совсем-совсем другое — стеклянный шарик, закатившийся под рояль, или игрушечный паровозик, упавший набок и все продолжавший работать бодро крутящимися колесами.

Течение моего сна иногда прерывалось тем, что ход поезда изменялся. Тихо шагали мимо огни; проходя, каждый из них заглядывал в ту же щелку, и световой циркуль мерил мрак купе. Наконец, поезд останавливался с протяжным вестингаузовским вздохом. Сверху вдруг падало что-нибудь (братнины очки, как выяснялось назавтра). Необыкновенно интересно было подползти к изножию койки — в сопровождении кое-каких частей постели — дабы осторожно отцепить оконную шторку и осторожно откатить ее вверх до половины (дальше не пускал край верхней полки).

Словно луны Юпитера, бледные ночные бабочки вращались вокруг одинокого фонаря. Разъединенная на части газета ехала по скамье. Где-то в вагоне слышались глухие голоса, уютное покашливанье. Ничего особенно занимательного не было в части перрона передо мной, но почему-то я не мог оторваться от нее, покуда она сама не уезжала.

На другое утро мокрые поля, искалеченные ивы по радиусу канавы, шеренга дальних тополей, перечеркнутых полосой млечно-белого тумана, уже сообщали, что поезд мчится по Бельгии. Он приходил в Париж в четыре пополудни, и, даже если мы там только ночевали, я всегда успевал купить что-нибудь, например маленькую медную Tour Eiffel[1], грубовато покрытую серебряной краской, — прежде чем сесть в полдень на Сюд-Экспресс, который, по пути в Мадрид, доставлял нас к десяти вечера на вокзал La Négresse в Биаррице, в нескольких километрах от испанской границы.

---

[1] Эйфелеву башню *(фр.)*.

2

Биарриц в те годы еще сохранял свою тонкую сущность. Пыльные кусты ежевики и плевелистые terrains à vendre[1] окаймляли белую дорогу, ведущую к нашей вилле. Карлтон тогда еще только строился, и суждено было пройти тридцати шести годам до того, как бригадный генерал Сэмюель Мак Кроскей займет королевские апартаменты в Отель дю Пале, построенном на месте того дворца, где в шестидесятых годах невероятно изгибчивый медиум Daniel Home был пойман, говорят, на том, что босой ступней ("ладонью" вызванного духа) гладил императрицу Евгению по доброй, доверчивой щеке. На каменном променаде у казино пожилая цветочница с угольными бровями и нарисованной улыбкой ловко продевала в петлицу какому-нибудь остановленному ею господину тугую дулю гвоздики — он скашивал взгляд на жеманное проникновение цветка, и слева у него вспухала королевская складка подбрюдка.

Сочно окрашенные дубовые коконопряды, искавшие пропитания в зарослях, совсем не походили на наших (которые, кстати, и не кормятся на дубах), здешние эгерии обитали не в лесах, а по зеленым изгородям, и пятна имели рыжие вместо бледно-желтых. Клеопатра, тропического обличия лимонно-оранжевая крушинница, истомленно порхающая по садам, была для меня откровением в 1907 году, да и сейчас поймать ее было приятно.

По задней линии пляжа разномастные парусиновые стулья и кресла заняты были родителями детей, в соломенных шляпах играющих впереди на песке. Среди них можно было высмотреть и меня: стою на коленях и стараюсь при помощи увеличительного стекла поджечь найденную в песке гребенку. Щегольски белые штаны мужчин показались бы сегодня комически ссевшимися в стирке; дамы же в тот сезон носили легкие манто с шелковыми отворотами, широкополые шляпы с высокими тульями, густые вышитые белые вуали, — и на всем были кружевные оборки —

[1] Участки для продажи *(фр.)*.

на блузках, рукавах, парасолях. От морского ветра губы становились солеными. Безумно быстро проносилась через трепещущий пляж залетная желтушка.

Добавочные звук и движение создавали продавцы cacahuètes, засахаренных фиалок, фисташкового мороженого, лепешечек кашу́ и громадных сухих, ломких вогнутых вафель, содержавшихся в красном бочонке. С ясностью, которой не замутили никакие позднейшие наложения, вижу вафельщика с тяжелой этой посудиной на согбенной спине, шагающего по глубокому мучнистому песку. Когда его подзывали, он, рванув ее за ремень, сваливал с плеча на песок и ставил на манер Пизанской башни, затем, стерев рукавом пот с лица, пальцем приводил в трескучее движение стрелку лотерейного счастья, вращающуюся по циферблату на крышке бочонка. Фортуне полагалось определить размер куска вафли ценой в одно су, и чем больше выходила порция, тем жальче бывало продавца.

Ритуал купания происходил в другой части пляжа. Профессиональные купатели, дюжие баски в черных купальных костюмах, помогали дамам и детям преодолевать страх и прибой. Такой беньер ставил клиента спиной к накатывающей волне и держал его за ручку, пока вращающаяся громада, зеленея и пенясь, бурно обрушивалась сзади, мощным ударом сбивая клиента с ног. После дюжины таких кувырканий беньер, блестя, как тюлень, вел своего отдувающегося, влажно сопящего, дрожащего от холода подопечного к суше, где незабываемая старуха с седой щетиной на подбородке быстро выбирала ему один из висящих на веревке купальных халатов. В уединеньи кабинки другой прислужник помогал тебе стянуть набухший водой, отяжелевший от песка купальный костюм. Костюм плюхался на доски, и ты переступал на него и приплясывал на его синеватых расплывшихся полосках. В кабинке пахло сосной. Прислужник, горбун с лучистыми морщинами, приносил таз с горячей водой для омовения ног. От него я узнал и навеки сохранил в стеклянной ячейке памяти, что бабочка на языке басков "мизериколетея", — так я, во всяком случае, расслышал (из семи найденных мною по словарям слов самое близкое — "micheletea").

3

На более бурой и влажной части пляжа, той, куда низкий прибой наносил самую лучшую для строительства замков грязь, я как-то оказался действующим лопаткой рядом с французской девочкой Колетт.

Ей должно было исполниться десять в ноябре, мне исполнилось десять в апреле. Она обратила мое внимание на зазубренный осколок фиолетовой раковинки, оцарапавшей голую подошву ее узкой длиннопалой ступни. Нет, я не англичанин. По ее зеленоватым глазам словно переплавлялись вплавь веснушки, покрывавшие ее остренькое лицо. Она носила то, что теперь назвали бы купальным костюмом, — синюю фуфайку с закатанными рукавами и синие вязаные трусы. Я поначалу принял ее за мальчика, а потом удивился, увидев браслетку на худенькой кисти и шелковистые спирали коричневых локонов, свисавших из-под ее матросской шапочки.

Разговор Колетт состоял из быстрого, словно птичьего, порывистого щебета, в котором мешались гувернантский английский с парижским французским. Двумя годами раньше, на этом самом пляже, я был горячо увлечен Зиной, прелестной, загорелой, капризной дочкой сербского натуропата, — помню (нелепо, ведь нам обоим было в то время всего по восьми) grain de beauté[1] на ее абрикосовой коже, прямо под сердцем, и ужасную коллекцию ночных горшков, полных и полных наполовину (поверхность одного пузырилась), на полу в прихожей их семейного пансиона, куда я зашел как-то утром и получил от нее, пока ее одевали, найденного кошкой мертвого сфинкса. Теперь, познакомившись с Колетт, я сразу понял, что вот это — настоящее. По сравнению с другими детьми, с которыми я игрывал в Биаррице, в ней была какая-то странность! Я понимал, между прочим, что она менее счастлива, чем я, менее любима. Царапина на ее нежном, шелковистом запястье давала повод к ужасным догадкам. Как-то она сказала про краба: "Он так же больно щиплется, как мама".

---

[1] Родинка *(фр.)*.

Я придумывал разные способы спасти ее от ее родителей, бывших "des bourgeois de Paris"[1], как ответил какой-то знакомый, пожав плечом, на вопрос моей матери. Я по-своему объяснил себе эту пренебрежительную оценку, зная, что они приехали из Парижа на своем сине-желтом лимузине, а девочку с ее собакой и гувернанткой послали в обыкновенном "сидячем" поезде. Собака была сучкой фокстерьера с бубенчиком на ошейнике и виляющим задом. Из чистой жизнерадостности она, бывало, лакала соленую воду, набранную Колетт в игрушечное ведерко. Вижу рисунок на нем — парус, закат и маяк, — но не могу припомнить имя собачки, и это мне так досадно.

За два месяца пребывания в Биаррице моя страсть к Колетт едва ли не превзошла увлечения клеопатрой. Поскольку мои родители не горели желанием встречаться с ее, я видел Колетт только на пляже, но мечталось мне о ней беспрестанно. Если она являлась заплаканной, то во мне вскипало беспомощное страдание, от которого слезы наворачивались на глаза. Я не мог перебить комаров, искусавших ее тоненькую шею, но мог раз за разом драться — и дрался — с рыжим мальчиком, обидевшим ее. Она мне совала горсточками теплые от ее ладони леденцы. Как-то мы оба наклонились над морской звездой, витые концы Колеттиных локонов защекотали мне ухо, и вдруг она повернулась и поцеловала меня в щеку. От волнения я мог только пробормотать: "You little monkey"[2].

У меня была золотая монета, и я полагал, что этого хватит на побег. Куда же я собирался ее увезти? В Испанию? В Америку? В горы над По? "Là-bas, là-bas, dans la montagne"[3], как пела Кармен в недавно слышанной опере. Помню странную, бессонную ночь, я лежал в постели, прислушивался к повторному буханью океана и составлял план бегства. Океан приподнимался, слепо шарил в темноте и тяжело падал ничком.

---

[1] Парижскими буржуа *(фр.)*.

[2] Ах, ты, обезьянка *(англ.)*.

[3] Туда, туда, скорее в горы *(фр.)*.

О самом побеге мне почти нечего рассказать. В памяти только отдельные проблески: Колетт, с подветренной стороны хлопающей палатки, послушно надевает парусиновые туфли, пока я запихиваю рампетку в бумажный мешок. Другой проблеск: убегая от погони, мы сунулись в кромешную темноту маленького кинематографа около казино — что, разумеется, было совершенно незаконно. Там мы сидели, нежно соединив руки поверх фокстерьера, изредка позвякивавшего бубенчиком у Колетт на коленях, и смотрели судорожный, мигающий дождичком, но чрезвычайно увлекательный фильм — бой быков в Сан-Себастьяне. Последний проблеск: Линдеровский уводит меня вдоль променада. Его длинные ноги шагают с грозной целеустремленностью, мне видно, как под тугой кожей его мрачно сжатых челюстей играют мускулы. Мой девятилетний брат, которого он ведет другой рукою, то и дело забегает вперед и, подобный совенку в своих очках, вглядывается в меня с ужасом и любопытством.

Среди безделушек, накупленных перед отъездом из Биаррица, я любил больше всего не бычка из черного камня и не гулкую раковину, а довольно символичный, как теперь выясняется, предметик, — пенковую ручку с микроскопическим оконцем на противоположном от пера изукрашенном конце. Если один глаз зажмурить, а другой приложить к хрусталику, да так, чтобы не мешал лучистый перелив собственных ресниц, то можно было увидеть волшебный фотографический вид — залив и линию скал, идущую к маяку.

И вот тут-то случается чудо. Процесс воссоздания этой ручки и микрокосма в ее глазке побуждает память к последнему усилию. Я снова пытаюсь вспомнить кличку Колеттиной собаки — и с дальнего того побережья, с гладко отсвечивающих песков прошлого, где каждый вдавленный след наполняется водой и закатом, победно летит, летит, отзываясь и вибрируя: Флосс, Флосс, Флосс!

По дороге домой мы остановились на один день в Париже, куда уже успела вернуться Колетт, и там, в рыжем парке под холодной голубизной неба (верно, по сговору между нашими менторами), я видел ее в последний раз. Она явилась с обручем и коротенькой палкой-водилом,

и все в ней было изящно и ловко, в согласии с осенней парижской tenue-de-ville-pour-fillettes[1]. Она взяла из рук гувернантки и передала моему брату прощальный подарок — коробку облитого сахаром миндаля, — который, конечно, предназначался мне одному; и тотчас же побежала прочь, палочкой погоняя свой сверкающий обруч сквозь солнце и тень, вокруг, вокруг набитого палой листвой бассейна, у которого я стоял. Эти листья смешиваются у меня в памяти с кожей ее башмаков и перчаток, и была, помнится, какая-то подробность в ее наряде — ленточка, что ли, на шотландской шапочке или узор на чулках, — напомнившая мне тогда радужную спираль внутри стеклянного шарика. И вот теперь я стою и держу этот обрывок самоцветности, не совсем зная, куда его приложить, а между тем она обегает меня все шибче, катя свой обруч, и наконец растворяется в тонких тенях, падающих на гравий дорожки от переплета проволочных дужек ее петлистой оградки.

---

[1] Городской наряд для девочек *(фр.)*.

Глава восьмая

1

Сейчас будут показывать волшебный фонарь, но сначала позвольте мне сказать, где и когда это происходит. Мы с братом родились в Петербурге, столице царской России, — он в середине марта 1900 года, я одиннадцатью месяцами раньше. Английским и французским гувернанткам нашего детства время от времени помогали, а после и вытеснили их отечественные воспитатели и репетиторы, все больше студенты последних курсов столичного университета. Эпоха этих учителей началась примерно в 1906 году и продлилась лет десять, перекрыв, с начала 1911-го, наши гимназические годы. Каждый новый учитель жил у нас — зимой в петербургском доме, а остальное время в нашем сельском поместьи, милях в пятидесяти от города, или на заграничных курортах, куда мы часто уезжали осенью. Три года — вот самый большой срок, который требовался мне (у меня это получалось лучше, чем у брата), чтобы вымотать любого из этих закаленных молодых людей.

Выбирая учителей, отец как будто следовал остроумному плану нанимать каждый раз представителя другого сословия или племени, словно бы подставляя нас всем ветрам, какие дули в Российской империи. Сомневаюсь, чтобы замысел его был вполне осознанным, однако, когда оглядываюсь назад, вижу картину на удивление ясную, и образы учителей появляются в световом пятне памяти, подобно проекциям волшебного фонаря.

Милейший и незабываемый сельский учитель, знакомивший нас в 1905 году с русской грамотой, приходил лишь на несколько часов в день, и оттого он, собственно, не принадлежит к представляемой серии. Однако он помогает связать ее начало и конец, ибо мое последнее вос-

поминание о нем относится к пасхальным каникулам 1915 года, когда брат и я приехали с отцом и с неким Волгиным, последним и худшим нашим гувернером, заниматься лыжным спортом в оснеженных окрестностях нашего поместья, под ослепительным, почти фиалковым небом. Наш старый друг пригласил нас "закусить" у него, в увешанном сосульками здании школы; закуска оказалась сложным, любовно продуманным пиршеством. Ясно возникает у меня в памяти его сияющее лицо и прекрасно подделанное выражение удовольствия на лице у моего отца при появлении мясного блюда — жаренного в сметане зайца, — которого он не терпел. Комната была жарко натоплена. Мои лыжные сапоги оказались по мере оттаивания не столь непромокаемыми, как предполагалось. Глазами, еще слезившимися от ослепительного снега, я старался разобрать висевший на стене так называемый "типографический" портрет Льва Толстого. Подобно мышиному хвосту на одной из страниц "Alice in Wonderland"[1] он был весь составлен из печатного текста. На изображение бородатого лица Толстого целиком пошел его рассказ ("Хозяин и Работник"), причем получилось каким-то образом разительное сходство с нашим хозяином. Мы уже приступили к злосчастному зайцу, как распахнулась дверь, и синеносый, закутанный в бабий пуховой платок слуга Христофор внес боком, с глупой улыбкой, большую корзину с бутылками и снедью, которую бабушка, зимовавшая в Батове, по бестактности сочла нужным послать нам на тот случай, если бы сельский учитель нас не докормил. Раньше, чем хозяин мог успеть обидеться, отец велел лакею ехать обратно с нераспакованной корзинкой и краткой запиской, удивившей вероятно старуху, как удивляли ее все поступки сына. В кружевных митенках и пышном шелковом пеньюаре, скорее исторический экспонат, чем живой человек, она лежала целыми днями на кушетке, обмахиваясь веером из слоновой кости. Под рукой у нее всегда имелись леденцы-бульдегомы или стакан миндального молока, а также ручное зеркальце, ибо она имела обыкновение каждый час

---

[1] Алиса в Стране Чудес *(фр.)*.

припудривать лицо большой розовой пуховкой; маленькая мушка на щеке проступала из-под пудры, будто ягода черной смородины. При всей томности, отличавшей ее повседневное времяпрепровождение, женщина она была на редкость закаленная, имевшая обыкновение круглый год спать при раскрытом окне. Как-то утром, после ночного бурана, горничная обнаружила ее лежащей под слоем искристого снега, осыпавшего ее постель и ее саму, но ничего не сумевшего сделать со здоровым румянцем бабушкиного сна. Если она кого и любила, так это младшую свою дочь, Надежду Вонлярлярскую, ради которой неожиданно для всех продала в 1916 году Батово — сделка, на которой никто в уже сгущавшихся сумерках имперской истории выгадать не сумел. Всем нашим родственникам она жаловалась на некие темные силы, соблазнившие ее даровитого сына отвергнуть "блестящую" карьеру и оставить царскую службу, на которой состояли все его предки. Особенно недоумевала она, как это мой отец, столь ценивший, бабушка это знала, радости, доступные только при большом состоянии, может богатством рисковать, сделавшись либералом, т.е. поборником революции, которая (как она совершенно правильно предугадала) должна в конце концов привести его к нищете.

2

Наш учитель грамматики был сыном плотника. Следующая картинка в моем волшебном фонаре изображает молодого человека, которого мы называли Ордо, образованного сына дьякона. На прогулках с братом и со мной, в холодноватое лето 1907 года, он носил байронический черный плащ с S-образной серебряной пряжкой у шеи. В лесных дебрях под Батовом, на том месте, где являлся призрак удавленника, Ордо нас забавлял довольно кощунственным и глупым представлением, которого мы с братом требовали всякий раз что здесь проходили. Склонив голову и хлопая жутковатым, вампировым плащом, он медленно кружился вокруг траурной осины. Как-то сырым утром, во время исполнения этого ритуала, он обронил портсигар, и, помо-

гая его искать, я нашел у подножья дерева весьма редкого в наших краях амурского бражника — чету только что вылупившихся, восхитительно бархатистых, лиловато-серых существ, мирно совокуплявшихся, свисая с травяного стебля, за который они уцепились шеншилевыми лапками. Осенью того же года Ордо поехал с нами в Биарриц, и там же через несколько недель внезапно покинул нас, оставив на подушке вместе с прощальной запиской безопасную бритву "жиллет", которую мы ему подарили. Со мной редко бывает, чтобы я не знал, какое воспоминание мое собственное, а какое получено из вторых рук; тут я колеблюсь: многими годами позже моя мать, предаваясь воспоминаниям, со смехом рассказывала о пламенной любви, которую она нечаянно зажгла. Как будто вспоминаю полуотворенную дверь в гостиную и там, посредине пола, Ордо, нашего Ордо на коленях, чуть не ломающего руки перед моей молодой, красивой, оцепеневшей от удивления матерью. То обстоятельство, что разум мой вроде бы видит краем глаза колыхания романтического плаща на содрогающихся плечах Ордо, наводит меня на мысль, не пересадил ли я нечто от лесного танца в ту размытую комнату нашей биаррицкой квартиры (под окнами которой, в отделенном канатами углу площади, местный воздухоплаватель Sigismond Lejoyeux занимался надуванием огромного горчичного шара).

Следующим идет украинец, жизнерадостный математик с темными усами и светлой улыбкой. У него также имелись свои достоинства — например, чудный фокус с исчезновением монеты. "Монета, положенная на лист бумаги, накрывается стаканом и мгновенно исчезает". Возьмите обыкновенный стакан. Аккуратно заклейте отверстие кружком бумаги. Бумага должна быть линованной (или клетчатой) — это усилит иллюзию. На такую же бумагу положите монету (к примеру, серебряный двугривенный). Быстрым движением накройте монету стаканом. При этом смотрите, чтобы клетки или полоски на бумажном листе и на стакане совпали. Совпадение узоров есть одно из чудес природы. Чудеса природы рано занимали меня. В один из его выходных дней бедный фокусник лишился на улице чувств, и полиция посадила его в холодную с дюжиной

пьяниц. На самом деле он страдал болезнью сердца, от которой умер несколько лет спустя.

Следующая картинка кажется вставленной вверх ногами. На ней виден наш третий гувернер, стоящий на голове. Это был крупный, пугающе сложенный латыш, который умел ходить на руках, поднимал огромные тяжести, играл гирями и мог в одну секунду наполнить большую комнату запахом целой роты солдат. Когда ему казалось уместным наказать меня за какую-нибудь легкую шалость (помню, например, как однажды, когда он спускался по лестнице, я с верхней площадки уронил каменный шарик прямо на его привлекательную, необыкновенно твердую на вид голову), он прибегал к замечательно педагогическому приему: предлагал, что мы оба натянем боевые перчатки и попрактикуемся в боксе. Затем он с обжигающей точностью лупил меня по лицу. Хотя в общем я предпочитал эти бои доводящим до судороги в кисти pensums[1], придуманным Mademoiselle, заставлявшей меня двести раз подряд переписывать пословицу Qui aime bien, châtie bien[2], я не очень горевал, когда добряк отбыл после всего только месячного, но бурного пребывания.

Затем был поляк. Он был студент медик, красавец собой, с влажными карими глазами и гладкими волосами, — несколько похожий на французского актера Макса Линдера. Макс продержался с 1908 по 1910 год и завоевал мое восхищение одним зимним днем в Петербурге, когда внезапное площадное волнение перебило течение нашей прогулки. Казаки с глупыми и свирепыми лицами, размахивая нагайками, напирали на возбужденную толпу. Сыпались шапки, по крайности три галоши чернелись на снегу. Была минута, когда казалось, один из казаков направляется на нас, и я заметил, что Макс наполовину вытащил из внутреннего кармана маленький револьвер, в который я тут же влюбился, — но, к несчастью, все стихло. Раз-другой он водил нас повидаться со своим братом, изможденным ксендзом, человеком весьма известным, чьи руки рассеян-

---

[1] Дополнительным заданиям *(фр.)*.

[2] Кто крепко любит, тот строго карает *(фр.)*.

но витали над нашими православными вихрами, пока он с Максом на присвистывающем польском обсуждал не то политические, не то семейные дела. Вижу моего отца — летним днем в деревне он состязается с Максом в стрельбе, решетя револьверными пулями ржавую вывеску "Охота воспрещается" в нашем лесу. Милейший Макс был человеком крепким, и потому я удивился, когда он что-то стал ссылаться на мигрень, утомленно отказываясь кикать со мною футбольный мяч или идти купаться на реку. Теперь-то я знаю, что тем летом у него завязался роман с замужней женщиной, жившей за несколько верст от нас. То и дело в течение дня он улучал минуту, чтобы посетить псарню, где кормил и улещивал сторожевых псов. Их спускали с цепи в 11 вечера, и ему приходилось встречаться с ними под покровом темноты, когда он пробирался из дома в заросль, где его земляк, камердинер моего отца, припрятывал для него велосипед со всеми аксессуарами — звонком, насосом, кожаным футляром с инструментами и даже зажимчиками для панталон. Обочинами проселочных дорог и горбатыми от корней лесными тропами нетерпеливый Макс катил к далекому месту свиданий — охотничьему павильону — по славной традиции светских измен. Его встречали на обратном пути студеные утренние туманы и четверка забывчивых догов, а уже в восемь утра начинался новый день. Гадаю, не с некоторым ли облегчением покинул Макс осенью того года (1909-го) место своих еженощных подвигов, чтобы сопутствовать нам в нашей второй поездке в Биарриц. Там он взял двухдневный отпуск, чтобы совершить благочестивое, покаянное путешествие в Лурд в обществе смазливой и бойкой молодой ирландки, состоявшей в гувернантках при моей любимой пляжной подруге Колетт. На следующий год он перешел от нас на службу в рентгеновское отделение одной из петербургских больниц, а позднее, между двумя мировыми войнами, стал, сколько я знаю, чем-то вроде медицинской знаменитости в Польше.

На смену католику явился протестант — лютеранин еврейского происхождения. Назову его Ленским. Он с нами ездил в Германию в конце 1910 года, а после нашего возвращения в следующем январе и поступления в школу

остался почти на три года, чтобы помогать нам с уроками. Именно в его правление Mademoiselle, жившая у нас с 1905-го, наконец прекратила борьбу с вторжением московитов и уехала в Лозанну. Ленский родился в бедной семье и охотно вспоминал, как между окончанием гимназии в своем родном городе у Черного моря и поступлением в Петербургский Университет зарабатывал на жизнь тем, что украшал яркими морскими видами булыжники с галечного берега и продавал их как пресс-папье. У него было розовое овальное лицо, какие-то голые, с короткими ресницами глаза за голым же пенсне и бледно-голубая бритая голова. Мы очень скоро открыли в нем три основных свойства: он был превосходный учитель; он был напрочь лишен чувства юмора; и в отличие от наших прошлых учителей, он нуждался в нашей защите. Он чувствовал себя в безопасности, пока рядом были наши родители, но когда они отсутствовали, это чувство могло быть нарушено какой-нибудь выходкой со стороны любой из наших теток. Для них резкие выступления отца против погромов и иных затей правительства были причудой сбившегося с пути дворянина, и я не раз с ужасом подслушивал их речи насчет происхождения Ленского и "безумных экспериментов" моего отца. В таких случаях я ужасно грубил им и после обливался жгучими слезами в тиши клозета. Не то чтобы я любил Ленского. Было нечто крайне раздражительное в его сухом голосе, чрезмерной аккуратности, манере постоянно протирать специальной тряпочкой очки или подравнивать свои ногти какой-то особой машинкой, в педантичной правильности слога и, возможно, более всего — в его фантастическом утреннем обыкновении маршировать (по всей видимости, только что встав, но уже обувшись и надев штаны, с которых свисали сзади красные подтяжки, и странную, сетчатую какую-то рубаху, облегавшую его пухлый, волосатый торс) к ближайшему водопроводному крану, где он ограничивал свое омовение тем, что досконально ополаскивал розовое лицо, голубой череп и жирную шею, за чем следовало по-русски смачное прочищение носа — и вот он снова шагает, так же целеустремленно, но уже роняя капли и промаргиваясь, к себе в спальню, где у него

в потаенном месте хранились три священных и неприкосновенных полотенца (он, к слову, был настолько *брезглив* — в непередаваемом русском значении слова, — что омывал руки после всякого прикосновения к деньгам или лестничным перилам).

Он жаловался моей матери, что мы с Сергеем — иностранцы, уродцы, фаты, снобы, "патологически равнодушные" к Гончарову, Григоровичу, Короленко, Станюковичу, Мамину-Сибиряку и другим на диво скучным писателям (сравнимым с американскими "региональными авторами"), которыми, по его словам, "зачитываются нормальные мальчики". К моему тайному раздражению, он присоветовал нашим родителям навязать быту двух мальчиков — троица детей помладше была вне его досягаемости — более демократический строй, и это означало, к примеру, что в Берлине мы сменили отель Адлон на огромные апартаменты мрачного пансиона на унылой улочке, а устланные бобриком вагоны международных экспрессов — на грязные полы и сигарную вонь укачливых и громких шнельцугов. В заграничных городах, как, впрочем, и в Петербурге, он замирал перед витринами магазинов, зачарованный изделиями, нисколько не занимавшими нас. Собираясь жениться и не имея ничего, кроме жалованья, он с неимоверно тщательным расчетом планировал свой будущий обиход. Время от времени необдуманные порывы нарушали его бюджет. Заметив однажды растрепанную каргу, пожирающую глазами шляпу с пунцовым плерезом в окне модного магазина, он эту шляпу тут же ей купил — и долго не мог отделаться от женщины. В собственных приобретениях он действовал более осмотрительно. Мы с братом терпеливо выслушивали его подробные мечтания, когда он, бывало, расписывал каждый уголок в уютной, хоть и скромной, квартире, которую он приготавливал в уме для жены и себя. Иногда его фантазия слишком уж воспаряла. Однажды она сосредоточилась на дорогой люстре в петербургском магазине Александра, торговавшем труднопереносимыми предметами буржуазной роскоши. Не желая, чтобы в магазине догадались, какой именно товар он обхаживает, Ленский сказал нам, что возьмет нас посмотреть на люстру, только если мы пообещаем сдерживать себя и не привле-

кать ненужного внимания красноречивым разглядыванием. Со всевозможными предосторожностями он подвел нас под ужасающего бронзового осьминога и только тогда мурлычащим вздохом дал нам понять, что это и есть облюбованная им вещь. С такими же предосторожностями, передвигаясь на цыпочках и понижая голос, чтобы не разбудить монстров судьбы (которые, как он, видимо, полагал, были против него настроены), — он познакомил нас со своей невестой, небольшой изящной барышней с глазами испуганной газели и ароматом свежих фиалок, приставшим к ее черной вуальке. Мы встретились, помнится, перед аптекой на углу Потсдамер и Приватштрассе, заваленной палой листвой улочки, на которой стоял наш пансион, и Ленский попросил нас не сообщать нашим родителям о присутствии его невесты в Берлине, и манекен в витрине аптеки повторял движения бритья, и с грохотом проносились трамваи, и уже начинал идти снег.

3

Мы теперь подходим вплотную к основной теме этой главы. Зимой следующего года Ленскому взбрела в голову дикая фантазия раза два в месяц по воскресеньям устраивать в нашем петербургском доме сеансы общеобразовательного характера с показом картинок волшебного фонаря. Ими он намеревался иллюстрировать ("обильно", говорил он, причмокивая тонкими губами) воспитательное чтение перед группой, которая, как он простодушно полагал, будет состоять из зачарованных мальчиков и девочек, совместно обретающих незабываемый опыт. Он считал, что демонстрация этих картин не только пополнит наши знания, но в частности научит брата и меня лучше уживаться с другими детьми. Используя нас в качестве ядра, он собрал вокруг этого замершего центра несколько слоев рекрутов — наших подвернувшихся под руку кузенов и кузин; разных сверстников, с которыми мы встречались каждую зиму на более или менее скучных праздниках; школьных наших товарищей (эти были необычайно тихи, но, увы, примечали каждую мелочь); детей наших слуг. Получив от нашей

мягкой и оптимистичной матери полную свободу действий, он арендовал сложный аппарат и нанял обслуживать его очень грустного на вид человека, своего университетского приятеля; как я теперь понимаю, участливый Ленский старался, помимо прочего, помочь нуждающемуся товарищу.

Никогда не забуду первого чтения. Ленский выбрал повествовательную поэму Лермонтова, рассказывающую о приключениях юного послушника, который, сбежав из кавказского монастыря, скитается в горах. Как это обычно бывает у Лермонтова, в поэме сочетаются прозаизмы с прелестнейшими словесными миражами. Поэма изрядно длинна, и эти семьсот пятьдесят довольно монотонных стихов были распределены Ленским между лишь четырьмя стеклянными картинками (неловким движением я разбил пятую перед началом представления).

По соображениям пожарного порядка для представления выбрана была прежняя детская, в углу которой находились выкрашенный побуревшей бронзовой краской колоннообразный котел для нагрева воды и тонконогая ванна, целомудренно накрытая простыней. Задернутые шторы не позволяли видеть двор внизу, березовые поленницы и желтые стены мрачной пристройки, в которой размещались конюшни (часть их преобразовали в гараж для двух автомобилей). Несмотря на изгнание древнего одежного шкапа и четы сундуков, эта гнетущая задняя комната с волшебным фонарем у одной ее стены и поперечными рядами стульев, подушечек и канапе, приготовленных для двух десятков зрителей (включая невесту Ленского и трех-четырех наших гувернанток за вычетом Mademoiselle и мисс Гринвуд), казалась тесной и душноватой. Слева от меня сидела самая непоседливая из моих кузин, дымчатая блондинка лет примерно одиннадцати, с длинными волосами Алисы в Стране Чудес и нежным цветом лица, напоминающим розовый оттенок раковин; она сидела так близко, что я чувствовал нежную косточку ее бедра при каждом ее движении — она то теребила медальон, то продевала ладонь между затылком и душистыми волосами, то со стуком соединяла коленки под шуршащим шелком желтого чехла, просвечивающим сквозь кружево платья. Справа от меня находился сын

отцовского камердинера, поляка, совершенно неподвижный мальчик в матроске; он необыкновенно походил на Наследника, и по еще более необыкновенному совпадению, страдал тем же трагическим недугом, гемофилией, так что по нескольку раз в год придворная карета привозила в наш дом знаменитого доктора и ждала, и ждала под медленным косым снегом, и если зацепиться взглядом за самую крупную из сероватых снежинок (спускающуюся мимо фонарного окна, в которое смотришь), можно было разглядеть их грубоватую, неправильную форму и даже колыхание при тихом полете.

Потух свет. Ленский приступил к чтению:

Немного лет тому назад
Там, где сливаяся шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь.

Монастырь и с ним две реки послушно появились и застыли в унылом оцепенении (хоть бы один стриж пронесся над ними!) на протяжении двухсот строк, после чего был заменен приблизительной грузинкой с сосудом. Всякий раз как оператор убирал пластинку, картинка соскальзывала с экрана со странной прытью — увеличение влияло не только на изображаемую сцену, но и на скорость ее устранения. Этим ограничивалось волшебство фонаря. Нам показывали заурядные горы вместо романтических лермонтовских высот, которые

...в час утренней зари
Курилися как алтари,

и когда молодой монах стал рассказывать другому затворнику о своей борьбе с барсом:

И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;

кто-то рядом со мной приглушенно мяукнул; это мог быть юный Ржевуский, с которым я ходил на уроки танцев, или

Алик Нитте, прославившийся года два спустя в связи с полтергейстом, или кто-то из моих кузенов. Пронзительный голос Ленского все звучал и звучал, а мне становилось ясно, что аудитория, за несколькими исключениями — такими, возможно, как Самуил Розов, мой чувствительный школьный товарищ, — втихомолку глумится над представлением, и что мне предстоит потом услышать немало насмешливых отзывов. Мне было ужасно, до дрожи жаль Ленского — за мягкие складки на его бритой голове, за его мужество, за нервные движения указки, на которую, при неосторожном ее приближении к экрану, съезжали световые краски, притрагиваясь к ее кончику с холодной игривостью кошачьей лапки. К концу сеанса монотонность происходящего стала невыносимой; нерасторопный оператор долго искал последнюю пластинку, смешав ее с "просмотренными", и пока Ленский терпеливо ждал в темноте, некоторые из мальчиков стали отбрасывать на испуганный светлый экран черные тени поднятых рук, а спустя еще несколько секунд один неприятный озорник (неужели это был я — Гайд моего Джекилла?) ухитрился показать силуэт ноги, что, конечно, сразу вызвало шумное подражание. Но вот — пластинка нашлась, и вспыхнула на полотне, и я вспомнил поездку времен раннего детства, — наш поезд, скрывшись от горной грозы, углубился в длинный, темный Сен-Готардский туннель, и гроза уже кончилась, когда он вышел оттуда, и тут:

О, как сквозили в вышине
В зелено-розовом огне,
Где радуга задела ель,
Скала и на скале газель!

Должен добавить, что во время этого и следующих, еще более людных, более ужасных воскресных сеансов меня томили отзвуки некоторых слышанных мною семейных рассказов. В начале восьмидесятых годов мамин отец, Иван Рукавишников, не найдя для сыновей частной школы по своему вкусу, создал собственную академию, наняв дюжину лучших профессоров и собрав десятка два мальчиков,

которым он предложил несколько лет бесплатного обучения в своем петербургском доме (Адмиралтейская набережная, 10). Предприятие не имело большого успеха. Не всегда бывали сговорчивы те знакомые его, чьи сыновья подходили по его мнению в товарищи его собственным, а многие из тех мальчиков, которых ему удалось набрать, оказались питомцами неприемлемыми. Я с редким отвращением представлял себе его, упрямо обследующим гимназии и своими странными невеселыми глазами, столь знакомыми мне по фотографиям, выискивающим мальчиков, наиболее привлекательных по наружности среди лучших учеников. Говорили, он даже платил деньги небогатым родителям, чтобы набрать товарищей двум своим сыновьям. Сколь ни мало походили рукавишниковские причуды на скромные сеансы с волшебным фонарем, затеянные нашим учителем, но мысленная ассоциация побудила меня воспрепятствовать тому, чтобы Ленский продолжал появляться на людях в глупом и навязчивом виде, и я был рад, когда после еще трех представлений ("Медный всадник" Пушкина, "Дон Кихот" и "Африка — страна чудес") мать сдалась на мои отчаянные мольбы и вся эта история закончилась.

Теперь, думая о ней, я вспоминаю не только убожество, аляповатость, желатиновую несъедобность в зрительном плане этих картинок на мокром полотне экрана (предполагалось, что влага делает их цвета сочнее), но и то, как прелестны были самые пластинки, если просто поднимешь их двумя пальцами на свет — прозрачные миниатюры, карманного формата волшебные страны, ладные мирки, проникнутые тихим светом чистейших красок! Гораздо позже я вновь открыл ту же отчетливую и молчаливую красоту на круглом сияющем дне волшебной шахты микроскопа. Ландшафт на стеклянной пластинке уменьшением своим разжигал фантазию; орган насекомого под микроскопом был увеличен ради холодного изучения. Мне думается, что в гамме мировых мер есть такое место, где встречаются воображение и знание, точка, которая достигается уменьшением крупных вещей и увеличением малых: точка искусства.

4

Ленский был человек разносторонний, умеющий объяснить решительно все, что касалось школьных уроков; тем более нас поражали его постоянные университетские неудачи. Причиной их была, как со временем выяснилось, совершенная его бездарность в области финансовой и политической, которую он с таким упорством атаковал. Помню, в какой лихорадке он находился накануне одного из самых важных, окончательных экзаменов. Я беспокоился не меньше его, и перед самым событием не мог удержаться от соблазна подслушать у двери, как по его же настоятельной просьбе мой отец проверяет в виде репетиции его знание "Принципов политической экономии" Charles Gide. Листая книгу, отец спрашивал, например: "Чем порождается стоимость?" или "В чем заключается разница между банкнотами и бумажными деньгами?" — и Ленский предприимчиво прочищал горло, а затем погружался в полное молчание, как будто исчезал. Затем прекратилось и это его бойкое покашливание, и паузы нарушались только легким постукиванием отцовских ногтей по столу, и только раз с протестом и надеждой страдалец воскликнул: "Этого вопроса в книге нет, милостивый государь!" — но вопрос в книге был. И наконец отец вздохнул, закрыл ее мягко, но звучно и проговорил: "Голубчик, вы непременно провалитесь — вы не знаете ничего". "Разрешите мне быть другого мнения", — ответил Ленский с достоинством. Сидя очень прямо, будто набитое чучело, он выехал на нашей машине в университет, оставался там до сумерек, вернулся в извозщичьих санях, среди снежной бури, и в немом отчаянии поднялся к себе.

В конце своего пребывания у нас он женился и уехал в свадебное путешествие на Кавказ, в лермонтовские места, после чего вернулся к нам на одну зиму. В его отсутствие, летом 1913 года, нами занимался швейцарский гувернер, Monsieur Noyer. То был коренастый, с пушистыми усами, человек, читавший нам Ростанова "Cyrano de Bergerac", сочно выговаривая каждую строку и сообразно с персонажами, которых он изображал, меняя голос от флейты до фагота. Сервируя в теннисе, он твердо вставал на самой

линии, широко расставив толстые ноги в смятых парусиновых штанах, затем как-то приседал и наносил по мячу страшный, но на редкость бестолковый удар.

Весной 1914 года, когда Ленский нас окончательно покинул, к нам поступил молодой человек родом из волжской губернии. Он был обворожительный малый благородного происхождения, хороший теннисный игрок и наездник; на эти свои достоинства он в основном и полагался, тем более что к этому времени ни брат, ни я не нуждались в какой-либо учебной помощи, каковую по обещанию, данному моим родителям его оптимистическим покровителем, этот мерзавец мог нам оказать. При первом же нашем разговоре он походя сообщил, что Диккенс написал "Хижину дяди Тома", мы побились об заклад, и он проиграл мне кастет. После этого он избегал затрагивать в моем присутствии литературных персонажей и литературные темы. Он был очень беден, странноват, пыльный, отдающий эфиром, не скажу, чтобы совсем неприятный запах исходил от его выцветшего университетского мундира. У него были прекрасные манеры, мягкий нрав, незабываемый почерк — сплошные шипы и колючки (подобный ему я видел только в письмах одного сумасшедшего, которые, увы, получаю, начиная с благословенного 1958 года) — и неограниченный запас похабных историй (которыми он потчевал меня sub rosa[1], говоря мечтательным, бархатистым голосом и ни разу не прибегнув к грубому выражению) о его приятелях и poules[2], а также о разных наших родственницах, на одной из которых, светской даме, почти вдвое старшей его, он вскоре женился лишь затем, чтобы избавиться от нее, — делая карьеру при Ленине, сплавил в трудовой лагерь, где она сгинула. Чем больше думаю о нем, тем пуще верю, что он был совершенно безумен.

Но Ленского я не совсем потерял из виду. Еще когда он был с нами, он основал на занятые у тестя деньги фантастическое предприятие для скупки и эксплуатации разных изобретений. Было бы нечестно и несправедливо сказать,

---

[1] Тайком *(лат.)*.

[2] Девках *(фр.)*.

что он выдавал их за свои, но он усыновлял их и говорил о них с теплотой и нежностью, как бы намекавших на подлинное отцовство — пусть и основанное на чувствах, а не на фактах. Однажды он пригласил нас испробовать на нашем автомобиле новый тип мостовой, внушавшей ему большие надежды и состоявшей (сколько могу судить по странному блеску в сумерках времени) из жутковато сплетенных металлических полосок. Мы попробовали — и лопнула шина. Впрочем, он утешился, приобретя другой ходкий товар: чертежи того, что он называл "электропланом", штука эта походила на старый биплан Блерио, но имела — снова цитирую его — "вольтовый" двигатель. Летала она лишь в его грезах — и в моих. Во время войны он поставил армии чудотворный лошадиный корм в виде плоских галет (он и сам грыз его и предлагал грызть друзьям), но лошади упорно держались овса. Он торговал множеством других патентов, столь же безумных, и был по уши в долгах, когда получил — после смерти тестя — небольшое наследство. Было это в начале 1918 года, потому что, помню, он нам писал (мы замешкались в окрестностях Ялты), предлагая деньги и любую помощь. Наследство он мигом вложил в увеселительный парк на побережье Восточного Крыма и без конца хлопотал о хорошем оркестре, постройке скетинг-ринга из какого-то особого дерева, возведении фонтанов и каскадов, освещаемых красными и зелеными лампочками. В 1919 накатились большевики и потушили иллюминацию, а Ленский бежал во Францию; последний раз я слышал о нем в двадцатых годах, по слухам, он жил на Ривьере, зарабатывая на скудную жизнь тем, что расписывал морскими видами раковины и булыжники. Не знаю — и воображать не хочу, — что случилось с ним после вторжения нацистов во Францию. Несмотря на некоторые свои странности, это был в сущности очень чистый, очень порядочный человек, чьи личные правила были так же строги, как правила грамматики, и чьи тяжеловесные "диктанты" я до сих пор вспоминаю с радостью: "Что за ложь, что в театре нет лож! Колокололитейщики переколотили выкарабкавшихся выхухолей". Много лет спустя, в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, я как-то процитировал эту языковую закавыку зоологу, спросивше-

му у меня, вправду ли русский язык так труден, как говорят. Через несколько месяцев мы с ним встретились снова, и он сказал: "Знаете, я много думал об этих московских мускусных крысах: почему принято говорить, что они выкарабкиваются? Что с ними происходит — они впадают в зимнюю спячку или просто прячутся?"

5

Когда думаю о чередовании этих учителей, меня не столько интересуют забавные перебои, которые они вносили в мою молодую жизнь, сколько коренная устойчивость и полнота этой жизни. Я с удовлетворением отмечаю высшее достижение памяти, мастерство, с которым она использует врожденные гармонии, собирая к себе под крылышко повисшие и блуждающие там и сям тональности прошлого. И мне нравится задним числом представлять себе, при завершении и разрешении этих нестройных аккордов, что-нибудь бессмертное, например длинный стол, за которым в дни летних именин и рождений пили ранними вечерами шоколад — на воздухе, в аллее берез, лип и кленов, в самом ее устье, на песчаной площадке сада, разделявшего парк и дом. Вижу скатерть и лица сидящих людей, и на всем — игру светотени под движущейся легендарной листвой, несомненно преувеличенную тем же духом страстного поминовения, вечного возвращения, который всегда побуждает меня подбираться к праздничному столу извне, из глубины парка — не от дома, — точно душа, для того чтобы вернуться сюда, должна подойти беззвучными шагами блудного сына, изнемогающего от волнения. Сквозь трепетную призму я различаю лица знакомых и родственников, двигаются беззвучные губы, произнося забытые речи. Вижу пар, мреющий над шоколадом, и тарелки с черничным пирогом. Замечаю крылатое семя, которое, вращаясь, спускается как маленький геликоптер на скатерть, и через скатерть легла, бирюзовыми жилками внутренней стороны к слоистому солнцу, голая рука девочки, лениво вытянувшаяся с раскрытой ладонью в ожидании чего-то — быть может, щипцов для орехов. На том месте,

где сидит очередной гувернер, вижу лишь переменный образ, последовательность наплывов и затемнений; пульсации моей мысли мешаются с меняющимися тенями листвы, обращая Ордо в Макса, Макса в Ленского, а Ленского в сельского учителя, после чего вся череда трансформаций повторяется. И тут, внезапно, в тот самый миг, когда краски и очертания берутся, каждое, за свое дело — веселое, легкое, — точно по включении волшебного тока, оживают звуки: голоса, говорящие вместе, треск расколотого ореха, звяк небрежно переданных щипцов, тридцать сердец, заглушающих мое своими размеренными ударами, шелест и шум тысячи деревьев, местная симфония голосистых летних птиц, а из-за реки, из-за ритмичных деревьев доносится нестройный и восторженный гам купающейся деревенской молодежи, как дикие звуки растущих оваций.

Глава девятая

1

Передо мною большой потертый альбом для вырезок, обтянутый черной тканью. Он содержит старые документы, включая дипломы, дневники, наброски, удостоверения личности, карандашные заметки и кое-какие печатные материалы, которые моя мать старательно сохраняла до самой своей смерти в Праге и которые затем, между 1939 и 1961 годами пережили множество злоключений. Основываясь на этих документах и собственных моих воспоминаниях, я составил приводимую ниже краткую биографию моего отца.

Владимир Дмитриевич Набоков, юрист, публицист и государственный деятель, сын Дмитрия Николаевича Набокова, министра юстиции, и баронессы Марии фон Корф, родился 20 июля 1870 года в Царском Селе близ Петербурга и пал от пули убийцы 28 марта 1922 года в Берлине. До тринадцати лет он получал образование дома, от французских и английских гувернанток, а также русских и немецких учителей; от одного из них он перенял и затем передал мне passio et morbo aureliana[1]. Осенью 1883 года он начал посещать гимназию на тогдашней Гагаринской улице (предположительно переименованной в двадцатых годах недальновидными Советами). Стремление первенствовать было в нем огромно. Одной зимней ночью он, не справившись с заданной на дом задачей и предпочтя воспаление легких насмешкам у классной доски, выставил себя на полярный мороз в надежде, что его, сидящего в одной ночной рубашке у открытого окна (оно выходило на Дворцовую площадь с ее отглаженным луною столпом), свалит своевременная болезнь; наутро он был по-прежнему здоровехонек, зато незаслуженно слег учитель, которого он так

[1] аврелианские страсти и муки *(лат.)*.

боялся. Шестнадцати лет, в мае 1887-го, он завершил курс гимназии с золотой медалью и начал изучать юриспруденцию в Петербургском Университете, который закончил в 1891 году. Учебу он продолжил в Германии (преимущественно в Галле). Тридцать лет спустя один из его однокашников, с которым он совершал велосипедные прогулки по Черному лесу, прислал моей вдовой матери томик "Мадам Бовари", бывший тогда с отцом, написавшим на форзаце: "Непревзойденный шедевр французской литературы" — суждение, справедливое и поныне.

14 ноября (дата скрупулезно праздновавшаяся все последующие годы в нашей чуткой к годовщинам семье) 1897 года он женился на Елене Ивановне Рукавишниковой, двадцатиоднолетней дочери сельского соседа, которая родила ему шестерых детей (первый родился мертвым).

В 1895 году он был произведен в камер-юнкеры. С 1896-го по 1904-й читал лекции по уголовному праву в Императорском училище правоведения в Петербурге. Камер-юнкерам полагалось перед всяким публичным выступлением испрашивать на то разрешения у "Министра Двора". Отец, естественно, не стал этого делать, печатая в журнале "Право" свою знаменитую статью "Кровавая кишиневская баня", в которой осудил роль, сыгранную полицией в подстрекательстве к Кишиневскому погрому 1903 года. В январе 1905 года он был указом царя лишен придворного чина, после чего прервал всякую связь с царским правительством и решительно погрузился в антидеспотическую политическую деятельность, продолжая между тем свои юридические труды. С 1905-го по 1915-й он был президентом русской секции Международной криминологической ассоциации и на конференциях в Голландии развлекался сам и развлекал аудиторию, переводя вслух, когда в том бывала нужда, русские и английские доклады на немецкий и французский, и наоборот. Он красноречиво выступал против смертной казни. Как в личных, так и в общественных делах он неизменно следовал своим принципам. В 1904 году на официальном банкете он отказался поднять бокал за здоровье монарха и, как говорят, преспокойно поместил в газетах объявление о продаже придворного мундира. С 1906-го по 1907-й он, совместно с И. В. Гессеном и А. И. Каминкой,

редактировал "Речь", одну из немногих в России ежедневных газет либерального направления, а также правоведческий журнал "Право". Политически он был "кадетом", т. е. членом партии КД ("Конституционно-демократическая партия"), впоследствии справедливо переименованной в "Партию народной свободы". Обладая острым чувством юмора, он немало потешался над беспомощной, хоть и злобной, мешаниной, в которую советские лексикографы обращали его взгляды и достижения в их редких биографических упоминаниях о нем. В 1906 году его выбрали в Первую Думу, гуманное и героическое учреждение, по-преимуществу либеральное (которое, однако, невежественные иностранные публицисты, жертвы советской пропаганды, нередко путают с "боярской думой"!). Здесь он произнес несколько великолепных речей, отзвуки которых раскатились по всей стране. Когда царь меньше чем через год распустил Думу, некоторые из ее членов, включая и моего отца (который, как показывает фотография, сделанная на Финляндском вокзале, нес свой железнодорожный билет засунутым под шляпную ленту), удалились в Выборг на нелегальное совещание. В мае 1908 года он начал отбывать трехмесячный тюремный срок — несколько запоздалое наказание за составленный в Выборге им и его товарищами революционный манифест. "Поймал ли В. каких-нибудь *"egeria"* этим летом?" — спрашивает он в одной из своих беззаконных записок из тюрьмы, которые через подкупленного охранника и преданного друга (Каминку) доставлялись моей матери в Выру. "Скажи ему, что я видел в тюремном дворе лимонниц и капустниц". После освобождения ему запретили участвовать в выборах, однако (один из парадоксов, столь частых при власти царей) он мог свободно работать в яро либеральной "Речи", чему он и посвящал девять часов в день. В 1913 году правительство оштрафовало его на символическую сумму в сто рублей (примерно столько же долларов в то время) за его репортажи из Киева, где после шумного судебного процесса Бейлис был признан неповинным в убийстве православного мальчика, совершенном в "ритуальных" целях; правосудие и общественное мнение еще могли временами брать верх в прежней России; и тому, и другому оставалось просу-

ществовать всего пять лет. Вскоре после начала Первой мировой войны отца мобилизовали и отправили на фронт, но затем перевели в Петербург, приписав к Генеральному штабу. Воинская этика не позволяла ему активно участвовать в первых возмущениях либеральной революции марта 1917 года. Похоже, История с самого начала старалась лишить его возможности в полной мере проявить присущие ему дарования выдающегося государственного деятеля в русской республике западного типа. В 1917-м, при первых шагах Временного правительства — то есть, когда кадеты еще принимали в нем участие, — он занимал в Совете Министров ответственный, но невидный пост Исполнительного Секретаря. Зимой 1917—1918-го его избрали в Учредительное Собрание — затем лишь, чтобы при разгоне последнего ретивые большевики-матросы арестовали его. Ноябрьская революция уже шла своим кровавым путем, однако в те дни хаос приказов и контрприказов порой принимал нашу сторону: отец прошелся по тусклому коридору, увидел в конце его открытую дверь, вышел на боковую улочку и отправился в Крым с заплечным мешком, который велел своему камердинеру Осипу принести на безлюдный угол, и пакетом бутербродов с икрой, добавленных нашим добрым поваром, Николаем Андреевичем, по собственному почину. С середины 1918-го по начало 1919-го, между двумя большевицкими оккупациями и в постоянных трениях с охочими до пальбы элементами деникинской армии, он был министром юстиции ("минимального правосудия", кривясь, говаривал он) одного из Краевых правительств — Крымского. В 1919-м он отправился в добровольное изгнание, жил сначала в Лондоне, затем в Берлине, где в сотрудничестве с Гессеном редактировал либеральную эмигрантскую газету "Руль" вплоть до покушения на него, совершенного в 1922-м году темным негодяем, которого Гитлер во время Второй мировой войны назначил заведовать делами русских эмигрантов.

Он очень много писал, по большей части на политические и криминологические темы. Знал à fond[1] поэзию и

[1] Досконально *(фр.)*.

прозу нескольких стран, знал наизусть сотни стихотворений (его любимыми поэтами были Пушкин, Тютчев и Фет — о последнем он напечатал превосходную статью), был знатоком Диккенса и, помимо Флобера, высоко ценил Стендаля, Бальзака и Золя — троицу невыносимых посредственностей, на *мой* собственный вкус. Он признавался, что написание рассказа или стихотворения, любого рассказа или стихотворения, представляется ему таким же непостижимым чудом, как построение электрического двигателя. С другой стороны, он безо всяких затруднений писал по юридическим и политическим вопросам. Он обладал правильным, пусть несколько однообразным слогом, который и сейчас, несмотря на все старомодные метафоры классического образования и высокопарные клише русской журналистики, сохраняет — на мой пресыщенный слух — привлекательное, сумрачное благородство, составляя необычный контраст (как если бы слог этот принадлежал какому-то родственнику постарше и победнее) его красочной, живой, часто поэтичной и порой соленой повседневной речи. Сохранившиеся в альбоме черновики некоторых его прокламаций (начинающихся словом “Граждане!”) и редакционных статей написаны наклонным, точно в прописи, прекрасно ровным, невероятно правильным почерком и почти свободны от поправок — чистота, определенность, согласная работа души и тела, которую я, усмехаясь, сравниваю с моим мышиным почерком и чумазыми черновиками, с резней поправок, перемарываний и новых поправок в тех самых строках, посредством которых я вот уже два часа пытаюсь описать двухминутную пробежку его безупречной руки. Его черновики были чистовыми копиями мысли. Именно так он написал, с феноменальной легкостью и быстротой (присев за неудобную детскую парту в классной скорбного дворца), текст отречения Великого Князя Михаила (следующего в череде наследников после отказа царя и его сына от трона). Не диво, что он был и прекрасным оратором, сдержанной, “английской” складки, избегавшим рубящей мясницкой жестикуляции и риторического лая демагогов, — и в этом отношении тоже я, обращающийся без отпечатанного текста в потешного мямлю, не унаследовал ничего.

Лишь недавно я в первый раз прочел его немаловажный "Сборник статей по уголовному праву", изданный в 1904 году в Петербурге, очень редкий, возможно единственный, экземпляр которого (принадлежавший прежде "Михаилу Евграфовичу Ходунову", о чем свидетельствует фиолетовый чернильный штампик на форзаце) передал мне благожелательный путешественник, Эндрю Фильд, купивший его в букинистическом магазине, посетив в 1961 году Россию. Это том в 316 страниц, содержащий девятнадцать статей. В одной из них ("Плотские преступления", написана в 1902 году) отец обсуждает — отчасти пророчески, в некотором странном смысле — случаи (имевшие место в Лондоне), когда "девочек в нежнейшем возрасте, т. е. от восьми до двенадцати лет, отдавали в жертву сластолюбцам". В той же статье он демонстрирует очень либеральный и "современный" подход к разного рода аномалиям, кстати создав удобное русское слово для обозначения "гомосексуала" — "равнополый".

Было бы невозможно перечислить буквально тысячи его статей в различных периодических изданиях, таких как "Речь" и "Право". В одной из последующих глав я еще скажу о его представляющей исторический интерес книге, посвященной полуофициальному визиту военного времени в Англию. Некоторые его воспоминания, относящиеся к 1917–1919 годам, появились в "Архиве русской революции", напечатанном Гессеном в Берлине. 16 января 1920 года он прочитал в Королевском Колледже, Лондон, лекцию "Советское правление и будущее России", неделю спустя опубликованную в "The New Commonwealth" № 15 (и аккуратно вклеенную в альбом моей матерью). Весной того же года я заучил наизусть большую ее часть, приготовляясь выступить против большевизма на дебатах студенческого дискуссионного союза в Кембридже; защитником большевиков (победившим в дебатах) был человек из "The Manchester Guardian"; я забыл его имя, зато помню, как я иссяк, процитировав то, что запомнил, — это была моя первая и последняя политическая речь. Месяца за два до смерти моего отца эмигрантский журнал "Театр и жизнь" начал печатать частями его воспоминания о детстве (тут мы с ним пересекаемся — слишком ненадолго). Я нахожу в них

превосходные описания ужасных вспышек раздражения, охватывавших его преподавателя латыни в Третьей Гимназии, как и страсти отца к опере, очень рано возникшей и сохранившейся на всю жизнь: между 1880-м и 1922-м он, должно быть, слышал каждого первоклассного европейского певца и, хотя сам ничего сыграть не умел (кроме первых величавых аккордов увертюры к "Руслану"), помнил каждую ноту любимых им опер. Вдоль этой дрожащей струны музыкальный ген, миновавший меня, соскользнул через отца от Вольфганга Грауна, органиста шестнадцатого столетия, к моему сыну.

2

Мне было одиннадцать лет, когда отец решил, что домашнее образование, которое я получил и продолжал получать, может с пользой пополняться учебой в Тенишевском Училище. Созданное сравнительно недавно, училище это, одно из замечательнейших в Петербурге, было намного современнее и либеральнее обычных гимназий, в которых обучалось большинство детей. Его учебный курс, состоящий из шестнадцати "семестров" (восемь гимназических классов), примерно соответствовал последним шести годам американской школы плюс двум первым университетским. Принятый туда в январе 1911 года, я попал в третий "семестр", или в начало восьмого класса по американской системе.

Учебный год длился с пятнадцатого сентября по двадцать пятое мая, с двумя перерывами: двухнедельным между семестрами, освобождавшим, так сказать, место для гигантской рождественской елки, касавшейся своей звездой бледно-зеленого потолка в одной из красивейших наших зал, и недельных пасхальных каникул, в которые завтраки оживлялись крашеными яйцами. Поскольку мороз и метели, начинаясь в октябре, дотягивали до середины апреля, не диво, что мои школьные воспоминания оказываются по преимуществу зимними.

Когда Иван Первый (затем куда-то подевавшийся) или Иван Второй (додержавшийся до тех времен, когда я его

посылал с романтическими поручениями) будил меня в восемь утра, наружный мир еще покрывала смуглая гиперборейская мгла. Электрический свет в спальне резал глаза мрачным йодистым блеском. Уткнув локоть в подушку и опершись жужжащим ухом о ладонь, я заставлял себя подготовить десять страниц несделанного домашнего урока. На прикроватном столике, вблизи коренастой лампы с двумя бронзовыми львиными головами, стояли не совсем обычные часы: вертикальный короб из хрусталя, внутри которого перелистывались справа налево фарфорово-белые, похожие на странички пластины с черными цифрами, каждая задерживалась на минуту, будто рекламные картинки на экране старого синема. Я давал себе десять минут, чтобы сфотографировать мозгом текст (теперь у меня уходит на это два часа!), и еще, скажем, двенадцать, чтобы выкупаться, одеться (с помощью Ивана), скатиться вниз и проглотить чашку тепловатого какао, с поверхности которого я стягивал, подцепив ее за середку, округлую, морщинистую коричневую кожицу. Утра мои были скомканы, и пришлось прервать уроки бокса и фехтования с удивительно гуттаперчевым французом, мосье Лустало.

Он, впрочем, продолжал приходить почти ежедневно, чтобы боксировать или биться на рапирах с моим отцом. Уже надевая шубу, я кидался через зеленую залу (где мандарином, горячим воском и бором пахло так долго после Рождества) по направлению к "библиотечной", откуда доносились топот и шарканье. Там я находил отца, высокого, плотно сложенного человека, казавшегося еще крупнее в своем белом тренировочном костюме: он парировал выпады и нападал сам, и короткие возгласы проворного его тренировщика — "Battez!", "Rompez!" — смешивались с лязгом рапир.

Попыхивая, отец снимал выпуклую маску с потного лица, чтобы поцеловать меня. В этой части библиотеки приятно совмещались науки и спорт: кожа переплетов и кожа боксовых перчаток. Глубокие кресла с толстыми сиденьями стояли вдоль книгами выложенных стен. В одном конце просторной комнаты поблескивало выписанное из Англии сложное сооружение, "пунчинг-бол" — четыре стальные штанги подпирали доску, с которой висел

грушевидный мешок для боксовых упражнений. Назначение этого аппарата, особенно в сочетании с пулеметным "ра-та-та-та", вызвало большие сомнения у ватаги до зубов вооруженных уличных бойцов, влезших к нам через окно в 1917 году и не сразу поверивших объяснениям буфетчика. Когда Советская Революция вынудила нас покинуть Петербург, библиотека распалась, но некоторые довольно странные остаточки еще проявлялись за границей. Лет двенадцать спустя в Берлине мне подвернулся на уличном лотке один такой найденыш с экслибрисом отца. Довольно кстати это оказалось "Войной миров" Уэльса. Прошло еще десять лет — и вот держу в руках обнаруженный в указателе Нью-Йоркской Публичной Библиотеки под именем отца экземпляр опрятного каталога, который был частным образом отпечатан еще тогда, когда перечисленные в нем призрачные книги стояли, плотные и полнокровные, на отцовских полках.

3

Он снова надевал маску, и возобновлялись топ, выпады и стрепет, а я спешил обратно тем же путем, что пришел. После густого тепла вестибюля наружный мороз ледяной рукой сжимал легкие. Прежде всего я смотрел, который из двух автомобилей, Бенц или Уользлей, подан, чтобы мчать меня в школу. Первый из них состоял под управлением кроткого бледнолицего шофера Волкова, старшего из двух; это был мышиного цвета ландолет. По сравнению с нелепой, безносой и бесшумной электрической каретой, ему предшествовавшей, очерк этого Бенца поражал своей динамичностью, но, в свою очередь, стал казаться старомодным и косно квадратным, с как-то печально съежившимся капотом, едва только сравнительно длинный, черный английский лимузин стал делить с ним гараж.

Начать день поездкой в новой машине значило начать его хорошо. Пирогов, второй шофер, был толстым коротышом рыжеватой комплекции, к которой чрезвычайно шел цвет шубки, надетой поверх его вельветиновой формы, и оранжево-бурые краги. Если задержка в уличном движении

заставляла его затормозить (для чего он вдруг со странной пружинистостью растягивался) или если я досаждал ему, пытаясь что-нибудь передать при помощи писклявого, не очень разговорчивого рупора, его толстый затылок, отделенный от меня стеклом перегородки, наливался кровью. Он откровенно предпочитал выносливый Опель с откидным верхом, которым мы три или четыре года пользовались в деревне, и водил его со скоростью семидесяти километров в час (чтобы уяснить, какой отваги это требовало в 1912 году, следует принять во внимание нынешнюю инфляцию скорости): и то сказать, самая суть летней свободы — бесшкольности, загородности — остается в моем сознании связанной с экстравагантным ревом мотора, высвобождаемым открытым глушителем на длинном, одиноком шоссе. Когда на второй год войны Пирогова призвали, его заменил черный, с каким-то диким выражением глаз Цыганов, бывший гонщик, участвовавший от России в международных состязаниях и сломавший себе три ребра в Бельгии. Летом или осенью 1917 года, вскоре после выхода отца из кабинета Керенского, Цыганов решил, несмотря на энергичные протесты отца, спасти мощный Уользлей от возможной конфискации, для чего разобрал его на части, а части попрятал в различные, одному ему известные места. Еще позже, в сумраке трагической осени, когда большевики уже брали верх, один из адъютантов Керенского просил у моего отца крепкую машину, которой премьер мог бы воспользоваться, если придется спешно бежать; но наш слабый, старый Бенц для того не годился, а Уользлей конфузным образом исчез, и если я лелею воспоминание об этой просьбе (мой знаменитый друг не так давно отрицал ее, хотя его адъютант определенно обращался с ней к отцу), то лишь из соображений композиции — по причине занятной тематической переклички с участием Кристины фон Корф в вареннском эпизоде 1791 года.

Хотя густые снегопады куда обычнее в Петербурге, чем, скажем, в окрестностях Бостона, несколько автомобилей, перед Первой мировой войной сновавших по городу средь обилия саней, почему-то никогда не испытывали тех безобразных невзгод, с которыми современные машины сталкиваются под белое Рождество в доброй Новой Англии.

Немало диковинных сил участвовало в строительстве города. Приходится предположить, что сама комбинация его снегов — опрятных сугробов вдоль панелей и гладкого, плотного слоя на восьмиугольных деревянных плашках мостовой — возникла в результате нечестивого сотрудничества между геометрией улиц и физикой снежных туч. Как бы там ни было, поездка в училище никогда не отнимала более четверти часа. Наш дом был № 47 по Морской. За ним следовал князь Огинский (№ 45), итальянское посольство (№ 43), немецкое посольство (№ 41) и обширная Мариинская площадь, после которой номера домов продолжали понижаться. В северной части площади был сквер. Там однажды нашли в листве липы ухо и палец террориста, павшего при неряшливой перепаковке смертоносного свертка в комнате на другой стороне площади. Те же самые деревья (филигранный серебряный узор в жемчужной дымке, из которой на заднем плане выступает бронзовый купол Исакия) были свидетелями того, как конные жандармы, укрощавшие Первую Революцию (1905—1906), сбивали удалыми выстрелами ребятишек, вскарабкавшихся на ветки в поисках спасения. С улицами и площадями Петербурга связано немало историек вроде этих.

Повернув на Невский, автомобиль минут пять ехал по нему, и как весело бывало без усилия обгонять какого-нибудь закутанного в шинель конногвардейца в легких санях, запряженных парой вороных жеребцов, всхрапывающих и наддающих под синей сеткой, мешавшей комьям крепкого снега лететь пассажиру в лицо. Мы сворачивали влево по улице с прелестным названием Караванная, навсегда связанной у меня с магазином игрушек. Следом появлялся цирк Чинизелли (знаменитый своими борцовскими турнирами). И наконец, переехав заледенелый канал, мы останавливались у ворот Тенишевского Училища на Моховой.

4

Примкнув, по собственному выбору, к великой бесклассовой русской интеллигенции, мой отец полагал правильным определить меня в школу, выделяющуюся из прочих

своими демократическими принципами, безразличием к классовым, расовым и религиозным разграничениям и передовыми методами образования. За вычетом этих особенностей, Тенишевское не отличалось ничем от прочих школ мира, в какой бы точке времени или пространства они ни находились. Как во всех школах, ученики терпели некоторых учителей, а других ненавидели; как во всех школах, между мальчиками происходил постоянный обмен непристойных острот и эротических сведений. Я был превосходным спортсменом и в общем не очень страдал бы в школе, если бы дирекция только поменьше заботилась о спасении моей души.

Меня обвиняли в нежелании "приобщиться к среде"; в "надменном щегольстве" (главным образом французскими и английскими выражениями, которые испещряли мои русские сочинения, что было для меня только естественным); в отказе пользоваться грязными мокрыми полотенцами в умывальной; в том, что при драках я пользовался наружными костяшками кулака, а не нижней его стороной, как принято у русских забияк. Один из наставников, плохо разбиравшийся в играх, хотя весьма одобрявший их группово-социальное значение, пристал ко мне однажды с вопросом, почему, играя в футбол, я всегда торчу в воротах, "вместо того чтобы бегать с другими ребятами". Особой причиной раздражения было еще то, что я приезжаю в школу и уезжаю из нее в автомобиле, между тем как другие мальчики, достойные маленькие демократы, пользуются трамваем или извозчиком. Один из учителей, скривившись от отвращения, внушал мне как-то, что я, на худой конец, мог бы оставлять автомобиль в двух-трех кварталах от школы, избавив тем самым моих школьных товарищей от необходимости смотреть, как шофер "в ливрее" ломает передо мной шапку. То есть школа как бы позволяла мне таскать с собою за хвост дохлую крысу, но при условии, что я не стану совать ее людям под нос.

Однако наибольшее негодование возбуждало то, что уже тогда я испытывал непреодолимое отвращение ко всяким "движениям" и союзам. Помню, в какое бешенство приходили добрейшие и благонамереннейшие из моих наставников оттого, что я решительно отказывался участвовать,

в виде бесплатного добавления к школьному дню, в каких-то кружках, где избиралось "правление" и читались исторические рефераты, а впоследствии, в старших классах, происходили даже дискуссии на политические темы. Постоянное давление, имевшее целью заставить меня примкнуть к той или иной группе, моего сопротивления так и не сломило, но привело к напряженному положению, усугублявшемуся тем, что всякий ставил мне в пример отца.

Мой отец и вправду был человек очень деятельный, однако его деятельность я воспринимал, как часто бывает с детьми знаменитых отцов, сквозь собственную призму, разлагавшую на множество волшебных красок простоватый цвет, видный моим наставникам. По причине разносторонности его интересов — криминологических, юридических, политических, издательских, филантропических — отцу приходилось участвовать в заседаниях множества комитетов, часто происходивших у нас в доме. О том, что такое заседание должно было состояться, всегда говорил странный звук, доносившийся с дальнего конца нашего просторного и звучного вестибюля. Это в нише под мраморной лестницей наш швейцар, когда я возвращался из училища, очинивал карандаши. Для этих целей использовалась тяжелая старомодная машина с ручкой, которую он быстро вращал одной рукой, держа другой вставленный в боковое отверстие карандаш. Многие годы он был банальнейшим из вообразимых примером "верного слуги", балагуром и умницей, умевшим с какой-то особой лихостью разглаживать двумя пальцами, направо и налево, усы и вечно чуть припахивающим жареной рыбой: запах этот зарождался в его загадочной подвальной квартирке, где у него имелась толстая жена и близнецы — гимназист моего возраста и томящая воображение, неопрятная маленькая Аврора с голубой косиной и медными локонами; но, по-видимому, нудная возня с карандашами сильно озлобила бедного старого Устина, — ибо я готов ему посочувствовать, я, пишущий только очень острым карандашом, держащий целые букетики "В 3" в расставленных вкруг меня вазочках и по сту раз на дню крутящий ручку снаряда (прикрученного к краю стола), в маленьком ящичке которого так быстро скапливается такое множество смуглых древесных волокон.

Впоследствии выяснилось, что он давным-давно поступил на службу в царскую тайную полицию — безобидную, конечно, в сравнении с людьми Дзержинского и Ягоды, но все же изрядно надоедливую. Уже в 1906 году, например, полиция, подозревая, что отец проводит в Выре тайные совещания, прибегла к услугам Устина, который под каким-то предлогом, мне не запомнившимся, но с тайной целью выведать, что там в действительности происходит, упросил отца взять его с собою на лето в качестве дополнительного лакея (он был когда-то помощником буфетчика в хозяйстве Рукавишниковых); и именно он, вездесущий Устин, зимою 1917—1918 героически провел представителей победивших Советов в кабинет отца на втором этаже, а оттуда, через музыкальную и будуар матери, в угловую юго-восточную комнату, в которой я родился, и к нише в стене, к тиарам цветного огня, вполне вознаградившим его за махаона, когда-то пойманного им для меня.

Около восьми вечера вестибюль наполнялся многочисленными галошами и шубами. В комитетской рядом с библиотекой, за длинным, в сукне, столом (на котором были разложены прекрасно отточенные карандаши) отец с коллегами обсуждал некоторые тонкости их противодействия царю. В темном углу высокие часы разражались над бубнением голосов вестминстерским звоном; а за комитетской были сложные глубины — чуланы, витые лестницы, подобие буфетной, — где мы с двоюродным братом Юрой обычно задерживались, держа наготове пистолеты, на нашем пути в Техас, и там однажды полиция поместила толстого, подслеповатого агента, который, будучи обнаружен, неторопливо и тяжело опустился на колени перед нашей библиотекаршей, Людмилой Борисовной Гринберг. Интересно, как бы я мог делиться всем этим с моими школьными учителями?

5

Реакционная печать беспрестанно нападала на партию отца, так что я более или менее привык к появлявшимся в ней время от времени вульгарным карикатурам — отец и

Милюков преподносят Мировому Еврейству матушку-Россию на блюде и прочее в этом роде. Но однажды, вероятно, зимой 1911 года, самая влиятельная из правых газет наняла сомнительного журналиста, и тот состряпал оскорбительную статью, содержавшую инсинуации, которых отец оставить без внимания не мог. Поскольку широко известная низость истинного автора статьи делала его "недуэлеспособным" (как это называется в русском дуэльном кодексе), отец послал вызов редактору напечатавшей статью газеты, человеку вероятно несколько более приемлемому в этом смысле.

Русская дуэль была делом куда более серьезным, нежели ее привычная парижская разновидность. Редактору потребовалось несколько дней, чтобы решить, примет он вызов или не примет. В последний из этих дней, в понедельник, я, как обычно, отправился в училище. Поскольку газет я не читал, то и оставался в полном неведении относительно всей этой истории. К середине занятий я заметил, что какой-то открытый на определенной странице журнальчик ходит по рукам и вызывает смешки. Улучив время, я перехватил его: журнальчик оказался последним номером площадного еженедельника, в гаерских тонах расписавшим вызов отца, с добавлением идиотских комментариев по части предоставленного им противнику права выбора оружия. Содержались в нем и шпильки в адрес отца, обратившегося к феодальному обычаю, который он порицал в своих статьях. Немало было также сказано о числе его слуг и костюмов. Между прочим я узнал, что в секунданты отец пригласил своего зятя, адмирала Коломейцева, героя японской войны. В Цусимском сражении этот мой дядя, имевший тогда чин капитана, сумел пришвартовать свой эсминец к горящему флагманскому броненосцу и снять с него начальника эскадры.

По окончании урока я установил, что журнальчик принадлежит одному из моих лучших друзей. Я обвинил его в предательстве и издевке. В последующей драке он, упав навзничь на парту, зацепился ногой обо что-то и сломал щиколодку. Он пролежал в постели месяц, при чем благородно скрыл и от семьи и от школьных учителей мое участие в деле.

Больно было смотреть, как его несут вниз по лестнице, но эта боль потонула в общем ощущении несчастья. По какой-то причине автомобиль за мной в тот день не приехал, пришлось взять извозчика, и во время невероятно медленного унылого и холодного путешествия домой я многое успел передумать. Я теперь понимал, почему накануне мать провела со мной так мало времени и не спустилась к обеду. Я понимал, что за специальные уроки давал в последние дни моему отцу Тернан, еще лучший, чем Лустало, maître d'armes[1]. Какое оружие выберет противник, спрашивал я себя, — клинок или пулю? Или выбор уже сделан? Мое воображение осторожно брало столь любимую, столь жарко дышащую жизнью фигуру фехтующего отца и переносило ее, за вычетом маски и защитной байки, в какой-нибудь сарай или манеж, где дрались на дуэлях. Я уже видел отца и его противника, в черных штанах, с обнаженными торсами, яростно бьющимися, — видел даже и тот оттенок странной неуклюжести, которой элегантнейший фехтовальщик не может избежать в настоящем поединке. Этот образ был так отвратителен, так живо представлял я себе спелую наготу бешено пульсирующего сердца, которое вот-вот проткнет шпага, что мне на мгновение захотелось, чтобы выбор пал на более отвлеченное оружие. Но скоро мое отчаяние еще усилилось.

Пока сани ползли по Невскому, где в густеющих сумерках уже зажглись расплывчатые огни, я думал об увесистом черном браунинге, который отец держал в правом верхнем ящике письменного стола. Этот пистолет был так же знаком мне, как остальные, более очевидные, украшения кабинета: модные в те дни objets d'art[2] из хрусталя или жилковатого камня; мерцающие семейные фотографии; огромный, мягко освещенный Перуджино; небольшие, отливающие медвяным блеском, голландские полотна; розовато-дымчатый пастельный портрет моей матери работы Бакста — художник написал ее вполоборота, изумительно передав нежные черты, высокий зачес пепельных волос

---

[1] Фехтовальщик *(фр.)*.

[2] Украшения *(фр.)*.

(поседевших еще до того, как ей исполнилось тридцать), чистую округлость лба, сизую голубизну глаз, изящную линию шеи.

Когда я просил похожего на тряпичную куклу возницу ехать быстрее, он лишь клонился на бок, привычным полувзмахом руки обманывая лошадь, показывая будто собирается вытащить короткий кнут из голенища правого валенка, а косматая маленькая кляча столь же расплывчато, как возница с кнутишком, притворялась, что ускоряет трусцу. Я же в снежном оцепенении, в которое меня привела эта тихая езда, переживал все знаменитые дуэли, столь хорошо знакомые русскому мальчику. Я видел Пушкина, смертельно раненного первым выстрелом, угрюмо садящегося, чтобы разрядить пистолет в Дантеса. Я видел Лермонтова, улыбающегося Мартынову. Я видел, как дородный Собинов в роли Ленского рушится на сцену и отбрасывает свое оружие в оркестр. Нет ни одного сколько-нибудь почтенного русского писателя, который не описал бы этого une rencontre[1], разумеется всегда в классическом стиле duel à volonté[2] (а не в прославленном фильмами и карикатурами "спина-к-спине-шагом-марш-развернулись-бах-бах"). В годы, более-менее недавние, представители нескольких приметных семей трагически гибли на дуэлях. И покамест мой дремотный ванька медленно катил по Морской, туманные силуэты дуэлянтов медленно сходились, поднимая пистолеты и спуская курки — на заре, на сырых полянах старинных поместий, на холодных воинских плацах или в поземке меж двух рядов елей.

И как бы за всем этим оставалась еще особая эмоциональная пропасть, ее я отчаянно старался перескочить, чтобы не разрыдаться, — нежная дружба, на которой зиждилось мое уважение к отцу; обаяние полноты нашего совершенного согласия; уимблдонские матчи, за которыми мы следили по лондонским газетам; шахматные задачи, которые мы вместе решали; пушкинские ямбы, триумфально слетавшие с его языка всякий раз, что я упоминал кого-

---

[1] Поединок *(фр.)*.

[2] Дуэль со стрельбой не по команде *(фр.)*.

нибудь из мелких современных поэтов. Наши отношения окрашивал повседневный обмен домодельными нелепицами, комично искаженными словечками, имитациями традиционных интонаций, всеми теми скрытыми от других семейными шутками, которые составляют тайный шифр счастливых семей. Он был до крайности строг в вопросах поведения и склонен к резкостям, когда отчитывал кого-либо из детей или слуг, но врожденная человечность его была слишком велика, чтобы, выговаривая Осипу, приготовившему не ту рубашку, по-настоящему обидеть его, и точно так же не по чужим рассказам составленное представление о том, что такое отроческая гордость, смягчало резкость упреков и порождало неожиданное прощение. И оттого я был скорее озадачен, чем обрадован, когда однажды, узнав, что я нарочно рассек себе бритвой ногу повыше колена (шрам сохранился и поныне), чтобы уклониться от чтения в классе стихов, которых я не выучил, он, похоже, не смог по-настоящему на меня рассердиться; а последующее его признание в собственном отроческом проступке того же рода наградило меня за то, что я не скрыл от него правды.

Я вспомнил летний день (уже и в ту пору казавшийся давним-давним, хоть прошло не больше четырех-пяти лет), когда он ворвался ко мне в комнату, схватил сачок, стремглав пронесся по ступеням веранды — и вот уже возвращается, держа двумя пальцами редкую, великолепную самочку русской тополевой ленточницы, которую он углядел с балкона своего кабинета греющейся на листе осины. Я вспомнил наши долгие велосипедные прогулки по ровному Лужскому шоссе, вспомнил ухватистость, с которой он — с мощными икрами, в гольфных шароварах, твидовой куртке, клетчатой кепке — взбирался на высокое седло своего Дукса, которого слуга подводил, будто коня, прямо к крыльцу. Проверив, хорошо ли он вычищен, отец стягивал замшевую перчатку и, под встревоженным взглядом Осипа, испытывал, довольно ли туго накачаны шины. Затем он брался за руль, упирался левой ступней в металлический колышек, торчащий из задней части рамы, отталкивался правой ногой, поместив ее по другую сторону заднего колеса, и, после трех-четырех таких подпихиваний (велоси-

пед уже катил) неторопливо утверждал правую ногу на педали, взмахивал левой и оседал в седло.

Наконец я добрался до дома и, едва войдя в парадную, услышал громкие веселые голоса. Словно во сне с его нарочитой своевременностью событий, мой дядя-адмирал спускался по лестнице. С устланной красным ковром площадки второго этажа, где безрукая мраморная гречанка высилась над малахитовой чашей для визитных карточек, мои родители еще говорили с ним, и он, спускаясь, со смехом оглядывался на них и хлопал перчаткой по балюстраде. Я сразу понял, что дуэли не будет, что противник извинился, что все хорошо. Минуя дядю, я бросился вверх на площадку. Я увидел спокойное всегдашнее лицо матери, но взглянуть на отца я не мог. Тут оно и случилось: сердце мое поднялось, как на зыби поднялся "Буйный", когда капитан подвел его вплотную к горящему "Суворову", и у меня не было носового платка, и предстояло пройти еще десяти годам до той ночи в 1922 году, когда в берлинском лекционном зале мой отец заслонил докладчика (своего старого друга Милюкова) от пуль двух русских фашистов и, пока боксовым ударом сбивал с ног одного из них, был смертельно ранен другим. Но ни тени от этого будущего не падало на нарядную лестницу петербургского дома, спокойна была большая прохладная ладонь, легшая мне на голову, и несколько линий игры в сложной шахматной композиции еще не слились на доске.

Глава десятая

1

Книги капитана Майн-Рида (1818–1883) о Диком Западе, в упрощенном переводе, были в начале века излюбленным чтением русских мальчиков и после того, как увяла его американская слава. Владея английским, я мог наслаждаться "Безглавым Всадником" в несокращенном оригинале. Двое друзей обмениваются одеждами, шляпами, конями, и злодей ошибается жертвой, — вот главный завиток сложной фабулы. Бывшее у меня издание (вероятно, английское) осталось стоять на полке памяти в виде пухлой книги в красном переплете, с водянисто-серой заглавной картинкой, глянец которой сначала, когда книга была нова, предохранял лист папиросной бумаги. Я помню постепенную гибель этого листка, который сперва начал складываться неправильно, а затем изорвался; сам же фронтиспис, на котором, верно, изображался несчастный брат Луизы Пойндекстер (и возможно, два-три койота, если только сюда не припутывается "Смертельный Выстрел", еще один роман Майн-Рида), так долго озарялся жарким светом моего воображения, что выгорел совершенно (однако чудесным образом заменился настоящим ландшафтом, как я отметил, переводя эту главу на русский язык в 1953 году, а именно, видом в окне ранчи, которую мы с тобой снимали в тот год: пустыня с кактусами и юккой, утренним жалобным криком куропаточки — по-моему, Гамбелевой, — преисполняющими меня чувством каких-то небывалых свершений и наград).

Теперь нам предстоит встреча с моим двоюродным братом Юриком, худеньким, смуглолицым мальчиком с круглой, коротко остриженной головой и лучезарными серыми глазами. Сын разведшихся родителей, за которым не

приглядывал никакой гувернер, городской мальчик без сельского поместья, он во многих отношениях отличался от меня. Зимы он проводил в Варшаве, где его отец, барон Евгений Рауш фон Траубенберг, был генерал-губернатором, а летом приезжал гостить в Батово или Выру, если только его мать, моя эксцентричная тетя Нина, не увозила его за границу, на скучные воды Центральной Европы, где она отправлялась на долгие одинокие прогулки, оставляя его на попечении гостиничных казачков и горничных. В деревне Юрик вставал поздно, так что я не виделся с ним до моего возвращения к завтраку после четырех-пятичасовой охоты на бабочек. С самого раннего детства он был абсолютно бесстрашен, но брезглив, недоверчив по части "естественной истории", не мог заставить себя прикоснуться ни к единой извивающейся твари, не переносил забавной щекотки пойманного в кулак лягушонка, тычущегося там, точно маленький человечек, или деликатной, приятно прохладной, ритмично волнообразной ласки гусеницы, вспозающей по голой голени. Он коллекционировал раскрашенных оловянных солдатиков — я ничего в них не понимал, но он знал их мундиры так же хорошо, как я бабочек. Он не играл ни в какие игры с мячом, не умел толком бросить камень, не умел даже плавать и скрыл это от меня, и однажды — мы в тот раз пытались переправиться через реку у лесопилки, переступая с одного плавучего бревна на другое, — он едва не утонул, когда особенно скользкий сосновый ствол, хлюпая, завертелся у него под ногами.

Мы познакомились под Рождество 1904 года (мне было пять с половиной, ему семь) в Висбадене: помню, он вышел из сувенирной лавки и побежал ко мне с брелоком, дюймовым серебряным пистолетиком, который ему не терпелось мне показать, — и вдруг растянулся на тротуаре, но, поднимаясь, не заплакал, не обращая внимания на разбитое в кровь колено и продолжая сжимать крохотное оружие. Летом 1909 или 1910 года он восторженно развернул предо мной драматические возможности книг Майн-Рида. Он читал их по-русски (будучи во всем, кроме фамилии, человеком куда более русским, чем я) и, подыскивая под-

ходящую для игры фабулу, склонен был соединять их с Фенимором Купером и с собственными темпераментными выдумками. Я относился к этим играм с большей отрешенностью и старался придерживаться сценария. Декорацией нам служил обычно батовский парк, с тропинками еще более извилистыми и коварными, чем в Выре. Для наших лесных поединков мы пользовались пружинными пистолетами, стреляющими с порядочной силой палочками длиной с карандаш, при чем мы сдирали с медного кончика резиновую присоску. Позднее мы перешли на духовые ружья разнообразных систем, которые били восковыми шариками или маленькими оперенными стрелами — с несмертельными, но весьма чувствительными последствиями. В 1912 году Юрик появился у нас с внушительным, украшенным перламутровыми накладками револьвером, который мой учитель Ленский преспокойно отобрал у него и запер, впрочем, мы успели разнести из него крышку от обувной коробки (прежде чем взяться за настоящую мишень — за туза), которую мы по очереди держали над головой, стоя на джентльменском расстоянии один от другого в зеленой аллее, где, по слухам, много туманных лет назад произошла дуэль. Следующее лето он провел в Швейцарии, с матерью — и вскоре после его смерти (в 1919-м) она, вновь посетив тот же самый отель и получив тот же номер, который они занимали тогда, в июле, сунула руку в складку кресла в поисках выпавшей заколки для волос и извлекла на свет крохотного кирасира, спешенного, но все сжимающего кривыми ножками бока незримого скакуна.

На неделю приехав к нам в 1914-м (шестнадцати с половиной лет против моих пятнадцати, разница уже начала сказываться), он первым делом, едва мы оказались вдвоем в саду, небрежно извлек "амбровую" папироску из маленького серебряного портсигара, пригласив меня полюбоваться формулой 3 x 4 = 12, которую он выгравировал на внутренней позолоте крышки в память о трех ночах, проведенных им, наконец-то, с графиней Г. Ныне он был влюблен в молодую жену старика-генерала из Гельсингфорса и в капитанскую дочку из Гатчины. С чувством близким к отчаянию я встречал каждое новое проявление его

обличавшего светскую опытность стиля. "Откуда здесь можно сделать несколько довольно приватных звонков?" — спросил он. И я повел его мимо пяти тополей и старого сухого колодца (из которого нас, всего года два назад, вытянули на веревке трое перепуганных садовников), к коридорчику в крыле для прислуги, где на опечатанной солнцем стене висел самый дальний и древний из телефонов имения, глыбоподобный ящик с ручкой, которую приходилось с металлическим лязгом накручивать, чтобы вызволить из него тоненький голос телефонистки. Сидя на придвинутом к стене сосновом столе и болтая длинными ногами, он непринужденно беседовал о том о сем со слугами (чего от меня никто не ждал, да я и не знал бы — как) — престарелым лакеем с густыми бакенбардами, которого я никогда прежде не видел улыбающимся, или с бойкой посудомойкой, чью голую шею и откровенный взгляд я только тут и приметил. После того как Юрик завершил третий иногородний разговор (я со смесью облегчения и досады обнаружил, что французский его из рук вон плох), мы отправились с ним в деревенскую бакалейную лавку, куда я иначе и не помыслил бы заглянуть, не говоря уж о том, чтобы купить в ней три фунта черно-белых подсолнечных семечек. На обратном пути мы, окруженные бабочками раннего вечера, ищущими мест для ночлега, жевали и сплевывали, и он показал мне, как поставить этот процесс на конвейер: расщепить семечко правосторонними зубами, вылущить ядрышко языком, выплюнуть половинки лузги, переместить гладкое ядрышко к левым коренным зубам и жевать, тем временем разгрызая справа новое семечко, которое ждет та же участь. Кстати, насчет правых — Юрик признался, что он твердый "монархист" (скорей романтического, чем политического толка), и с большим неодобрением отозвался о моем якобы "демократизме". Он прочитал мне несколько образчиков своей гладкой, альбомной поэзии и с гордостью сообщил, что Диланов-Томский, модный поэт (обожавший итальянские эпиграфы и распределение стихов по разделам с заглавиями вроде "Песни утраченной любви", "Ночные урны" и тому подобные), похвалил его за эффектную, "длинную" рифму "внемлю

музе я" и "любовная контузия", которую я парировал лучшей моей (еще не использованной) находкой: "заповедь" — "посапывать". Юрик гневался на Толстого за отрицание им воинского искусства и пылко обожал князя Андрея Болконского — ибо только что открыл для себя "Войну и Мир", которую я прочел одиннадцатилетним (в Берлине, на турецкой софе нашей сумрачно рококошной квартиры на Приватштрассе, выходившей на темный, сырой парк за домом, с лиственницами и гномами, так и застрявшими в этой книге навек, будто почтовая открытка).

Вдруг вижу себя в юнкерской форме: мы снова направляемся в деревню, стоит уже 1916 год, и мы (подобно Морису Джеральду и обреченному Генри Пойндекстеру) поменялись одеждой — на Юрике мой костюм из белой фланели и полосатый галстук. За недолгую неделю, что он тогда прогостил у нас, мы изобрели развлечение, описания которого я нигде пока не встречал. В нижней части нашего сада, на окруженной жасминами маленькой круглой площадке для игр стояли качели. Мы подтягивали их веревки так, чтобы зеленая доска качелей пролетала над самым носом и лбом того, кто навзничь лежал под ней на песке. В начале забавы один из нас вставал на доску и раскачивал ее, другому же полагалось утвердить затылок на отмеченном месте и смотреть, как с огромной, казалось, высоты доска проскальзывает над его запрокинутым лицом. А через три года, он, офицер деникинской кавалерии, пал, сражаясь с красными в северном Крыму. Я видел его, мертвого, в Ялте: весь перед черепа был сдвинут назад силой нескольких пуль, ударивших его, словно железная доска чудовищных качелей, когда он, обогнав свой отряд, безрассудно поскакал один на красный пулемет. Так утолил он пожизненную жажду боевого бесстрашия, последнего доблестного броска с револьвером или обнаженной саблей в руке. И если бы я был вправе сочинить ему эпитафию, я мог бы в виде итога сказать — словами, более пышными, чем те, что я сумел подобрать здесь, — что всеми чувствами, всеми помыслами правил в Юрике один дар: чувство чести, равное, в нравственном смысле, абсолютному слуху.

2

Недавно я перечел "The Headless Horseman" (в непривлекательном издании без всяких иллюстраций). В нем есть проблески таланта. Возьмем для примера тот бар в бревенчатом техасском отеле, в лето Господне (как выражается капитан) 1850-ое, с барманом без сюртука, большим франтом — на нем рубашка с рюшами "из самого лучшего полотна и кружев". Цветные графины (среди которых "антикварно тикают" голландские часы) "кажутся радугой за его плечами и как бы венчиком окружают его надушенную голову". Из стекла в стекло переходят и лед, и вино, и моногахила. Запах мускуса, абсента и лимонной корки наполняет таверну. Резкий свет канфиновых ламп подчеркивает темные астериски, произведенные "экспекторацией" на белом песке, которым усыпан пол. В другое лето Господне, а именно 1941-е, я поймал несколько очень хороших ночниц у неоновых огней газолиновой станции между Далласом и Форт-Уортом.

В бар входит злодей, "рабо-секущий миссисиппец", бывший капитан волонтеров, красивый, нарядный и озлобленный Кассий Калхун. Он провозглашает тост — "Америка для американцев, а иностранных проныр долой, особенно п-х [уклончивость, сильно меня озадачившая, когда я об нее впервые споткнулся: покойных? противных?] ирландцев!" — при чем нарочно толкает Мориса Мустангера (пунцовый шарф, бархатные панталоны с разрезами, горячая ирландская кровь), молодого коноторговца, а на самом деле баронета, *сэра* Мориса Джеральда, как выясняется под конец книги к сугубому восхищению его невесты. Быть может, неуместные восхищения вроде этого и были причиной того, что столь быстренько закатилась слава нашего романиста-ирландца на второй его родине.

Немедленно после толчка Морис совершает ряд действий в следующем порядке: ставит свой стакан на стойку; вынимает из кармана шелковый платок; отирает им с вышитой груди рубашки "осквернившее ее виски"; перекладывает платок из правой руки в левую; берет со стойки полупустой стакан; выхлестывает остаток его содержимого в лицо Калхуну; спокойно ставит стакан опять на стойку.

Эту серию действий я все еще помню наизусть, так часто мы разыгрывали ее с двоюродным братом.

Дуэль на шестизарядных кольтах состоялась тут же в опустевшей таверне. Несмотря на интерес, возбуждаемый поединком ("оба были ранены... кровь прыскала на песок пола"), что-то неудержимо побуждало меня покинуть в мечтах таверну и смешаться с затихшей перед отелем толпой, чтобы поближе рассмотреть ("в душистом сумраке") неких "сеньорит сомнительного звания".

Еще с большим волнением читал я о Луизе Пойндекстер, белокурой кузине Калхуна, дочке сахарного плантатора, "самого высокого и кичливого из подобных ему" (хотя почему старый сахарный заводчик должен быть непременно высок и кичлив для меня оставалось загадкой). Она является перед нами томимая муками ревности (хорошо известной мне по детским балам, когда Мара Ржевуская, бледная девочка с белым бантом в черных волосах внезапно и необъяснимо начинала не замечать меня), стоящей на краю своей "azotea", опершись белой рукой о каменный парапет, "еще влажный от ночных рос", чета ее грудей поднимается и опускается в быстром, судорожном дыхании, позвольте перечесть, чета ее грудей поднимается и опускается, а лорнет направлен...

Этот лорнет я впоследствии нашел в руках мадам Бовари, а потом его держала Анна Каренина, от которой он перешел к чеховской Даме с Собачкой и был ею потерян на ялтинском молу. Луизой он был направлен в пятнистую тень под мескитами, где любимый ею всадник вел невинную беседу с дочкой богатого "haciendado", донной Айсидорой Коваруббио де Лос Ланос (чьи "волосы на голове спорили пышностью с хвостом дикого коня").

"Мне как-то случилось, — объяснил впоследствии Морис Луизе на одной из конных прогулок, — оказать донне Айсидоре небольшую услугу, а именно избавить ее от шайки дерзких индейцев". "Небольшую услугу, говорите вы! — воскликнула молодая креолка. — Да знаете ли вы, что кабы мужчина оказал *мне* такую услугу..." "Чем бы вы наградили *его*?" — спросил Морис с нетерпением. "Pardieu![1] Я бы его

[1] Клянусь Богом! (*исп.*)

полюбила!" "В таком случае я отдал бы полжизни, чтобы вы попали в лапы Дикого Кота и его пьяных товарищей, а другую — чтобы вас спасти".

И тут наш галантный автор вкрапливает странное признание: "Сладчайшее в моей жизни лобзание было то, которое имел я сидючи в седле, когда женщина — прекрасное создание, в отъезжем поле, — перегнулась ко мне со своего коня и меня, конного, поцеловала".

Это "сидючи" придает, признаем, и плотность и продолжительность лобзанию, которое капитан с таким удобством "имел", но даже в одиннадцать лет мне было ясно, что такая кентаврская любовь поневоле несколько ограничена. К тому же Юрик и я знали одного мальчика, который это испробовал, но лошадь девочки спихнула его лошадь в канаву с водой. Истомленные приключениями в чаппарале, мы ложились на траву и говорили о женщинах. Невинность наша кажется мне теперь почти чудовищной при свете разных "любовных исповедей" (которые можно найти у Хавелока Эллиса и где угодно), где речь идет о спаривающихся, будто безумные, малютках. Трущобы любви были незнакомы нам. Доведись нам услышать о двух нормальных пареньках, идиотски онанирующих в обществе друг друга (как о том столь сочувственно, с описанием всех запахов, повествуется в современных американских романах), нам даже мысль о подобном деянии показалась бы столь же комичной и невозможной, как любовная связь с родившимся без рук, без ног существом. Нашим идеалом была королева Гвиневера, Изольда, не лишенная жалости belle dame[1], жена другого, гордая и покорная, светская и нестрогая, с тонкими щиколками и узкими руками. Девочки в аккуратных чулочках и туфельках, с которыми мы и другие мальчики встречались на танцевальных уроках и рождественских балах, вмещали все волшебство, всю сладость, все звезды елки, сохраненной в их райках вместе с пунктирами пламени, и они дразнили нас, оглядываясь через плечо, упоительно участвуя в наших смутно праздничных снах, но они, эти нимфетки, принадлежали к иному классу

[1] Прекрасная дама *(фр.)*.

существ, чем юные красавицы и хищницы в огромных шляпах, к которым на самом деле тянулись наши сердца. Заставив меня кровью подписать клятву молчания, Юрик поведал мне о замужней даме в Варшаве, к которой он, двенадцати-тринадцатилетний, питал тайную страсть и любовником которой стал года два спустя. Боюсь, рассказ о моих пляжных подружках выглядел бы, в сравнении, скудновато; не помню, какую подмену — под стать его роману — я им выдумал. Впрочем, в том самом году нечто вроде романтического приключения мне все-таки довелось испытать. Я собираюсь продемонстрировать очень трудный номер, своего рода двойное сальтомортале с "вализским" перебором (меня поймут старые акробаты), и посему прошу совершенной тишины.

3

Август 1910 года брат и я провели в Бад Киссингене с нашими родителями и гувернером (Ленским); затем отец и мать отправились в Мюнхен и в Париж, оттуда вернулись в Петербург, а из Петербурга приехали в Берлин, где мы, мальчики, прожили с Ленским осень и начало зимы, выправляя зубы. Американский дантист — Лоуэлл либо Лоуэн, точного имени его я не помню, — выкорчевал некоторые из наших зубов, а оставшиеся перекрутил тесемками перед тем, как обезобразить нас проволоками. Даже ужаснее резиновой груши, накачивавшей в дупло жгучую боль, были ватные тампоны — я не выносил сухости их прикосновений и взвизгов, — которые накладывались пациенту между деснами и языком для удобства хирурга; и была еще льнувшая к беспомощным глазам картинка в оконном стекле, какой-нибудь пасмурный морской вид или серый виноград, встряхиваемый унылыми содроганиями далеких трамваев под унылыми небесами. "Ин ден Цельтен ахтцен А" — адрес, хореически приплясывая, возвращается ко мне, а следом за ним и шепотливый ход кремового электрического таксомотора, привозившего нас туда. Мы считали, что нам полагается много развлечений в награду за эти адские утра. Брат любил музей восковых фигур, расположенный

в аркадах близ Унтер ден Линден, — гренадеры Фридриха, Бонапарт, интимно беседующий с мумией, молодой Лист, сочинивший во сне рапсодию, и убитый Марат; а для меня (еще не знавшего тогда, что Марат был завзятым лепидоптеристом) имелся на углу тех же аркад знаменитый магазин Грубера, торговавший бабочками, — пропахший камфорой рай наверху узкой крутой лестницы, по которой я взбирался чуть ли не каждый второй день, чтобы осведомиться, доставили ли наконец заказанную мной теклу Чапмана или недавно вновь открытую белянку Манна. Мы испробовали теннис на публичных кортах, но зимний ветер нес поперек площадки сухие листья, да кроме того и Ленский играть толком не умел, хоть и настаивал, чтобы мы играли втроем, при чем не снимал пальто. Вследствие этого мы стали почти ежедневно посещать скетинг ринк на Курфюрстендаме. Помню, ролики неизменно прикатывали Ленского к колонне, которую он все пытался обнять, но с ужасным лязгом рушился; немного поупорствовав, он удовольствовался тем, что сидел в одной из лож за плюшевым парапетом, поедая клин чуть подсоленного торта мокка со взбитыми сливками, между тем как я раз за разом самодовольно обгонял отважно ковыляющего Сергея — один из тех саднящих кратеньких фильмов, что имеют обыкновение постоянно прокручиваться в мозгу. Военный оркестр (Германия была в те годы страной музыки), управляемый необычайно пружинистым дирижером, оживал каждые десять, примерно, минут, но не мог заглушить неумолкаемой, стремительной воркотни роликов.

Существовала в России, да и сейчас без сомнения существует, особая порода мальчиков, которые, вовсе не обязательно отличаясь атлетической внешностью или обширным умом, собственно говоря, зачастую весьма вяло проявляя себя в школе, обладая тощим сложением и быть может даже предрасположением к чахотке, тем не менее феноменально преуспевали в футболе *и* шахматах и с невероятной легкостью и грацией научались всякому новому спорту (Боря Шик, Костя Букетов, прославленные братья Шарабановы, — где все они ныне, мои соратники и соперники?). Я хорошо катался на коньках, поэтому перейти на ролики мне было не труднее, чем мужчине заменить обычную

бритву на безопасную. Очень скоро я научился исполнять на этом паркетном ринке два-три заковыристых роликовых шага и скоро уже танцевал с пылом и мастерством, каких не дождалась от меня ни одна бальная зала (мы, Шики и Букетовы, на балах, как правило, не блещем). Было там несколько инструкторов в красной форме, средней между мундиром гусара и ливреей гостиничного казачка. Все они говорили на той или иной разновидности английского языка. Среди постоянных посетителей я вскоре заприметил группу молодых американок. Сначала все они сливались для меня в общее кружение яркой, экзотической красоты. Дифференциация началась, когда во время одного из моих сольных танцев (за несколько секунд до худшего падения, которые мне когда-либо пришлось претерпеть) кто-то что-то сказал обо мне, я стремительно повернулся, и чудесный, струнно звенящий женский голос откликнулся: "Да, такой ловкий!"

До сих пор вижу ее, высокую, в небесно-синем, по мерке сшитом костюме, в большой бархатной шляпе, пронзенной сверкающей булавкой. По очевидным причинам я решил, что ее зовут Луизой. По ночам я не спал, воображая ее в разного рода романтических положениях, думая о ее стройном стане и белой шее и удивляясь странному неудобству, которое я до той поры связывал только с натирающими рейтузами. Как-то под вечер я увидел ее в вестибюле ринка с самым лихим из инструкторов, и этот гладко причесанный наглец типа Калхуна держал ее за кисть и что-то выспрашивал с кривой ухмылкой, а она глядела в сторону и по-детски вертела так и сяк плененной рукой, и в ближайшую ночь я застрелил его, заарканил, зарыл живым в землю, опять застрелил, задушил, язвительно оскорбил, холодно взял на мушку, пощадил и оставил влачить жизнь в вечном позоре.

Высоко нравственному и несколько наивному Ленскому, впервые попавшему за границу, не всегда удавалось легко согласовать свой интерес к туристским приманкам с педагогическим долгом. Мы с братом этим пользовались и заводили его в места, куда родители нас бы может быть и не пустили. Так, например, он легко поддался приманчивости Винтергартена, и вот однажды мы очутились с ним

сидящими в одной из передних лож и потягивающими "айсшоколаде". Программа была обычная: жонглер во фраке; певица, которая вспыхивала поддельными каменьями на груди, заливаясь концертными ариями в переменных лучах зеленого и красного света: затем комик на роликах. Между ним и велосипедным номером (о котором скажу в свое время) было в программе объявлено: The Gala Girls[1], — и с потрясающей и постыдной внезапностью, напомнившей мне мое падение на ринке, я узнал моих американских красавиц в гирлянде бесстыжих, горластых "герльз", которые, рука об руку, переливались справа налево и потом обратно, ритмически вскидывая десяток одинаковых ног из-под десятка воланистых венчиков. Я нашел лицо моей Луизы и понял, что все кончено, что я потерял ее, что никогда не прощу ей слишком громкого пения, улыбки слишком красного рта, смехотворного переодевания, столь не схожего с очаровательными повадками не только "гордой креолки", но и "сеньорит сомнительного звания". Сразу перестать думать о ней я, конечно, не мог, но испытанное потрясение, видимо, послужило толчком для индуктивного процесса, ибо вскоре я заметил, что теперь уже *любой* женский образ возбуждает знакомое мне, все еще загадочное неудобство. Я спросил о нем у родителей (вернувшихся в Берлин посмотреть, как подвигаются наши дела), и отец деловито зашуршал немецкой газетой, только что им развернутой, и ответил по-английски (с интонацией "мнимой цитаты", при помощи которой он любил разгоняться в речах): "Это, мой друг, всего лишь одна из абсурдных комбинаций в природе — вроде того, как связаны между собой смущение и зардевшиеся щеки, горе и красные глаза, shame and blushes, grief and red eyes... Tolstoy vient de mourir[2]", — внезапно прибавил он другим, ошеломленным голосом, обращаясь к моей матери.

"Да что ты! — удрученно воскликнула она, соединив руки, и затем прибавила: — Пора домой", — точно смерть Толстого была предвестником каких-то апокалиптических бед.

---

[1] Веселые девочки *(англ.)*.

[2] Толстой умер *(фр.)*.

4

Вернемся теперь к велосипедному номеру — по крайней мере, в моей версии. Летом следующего года Юрик не приезжал в Выру, и я остался наедине с моими романтическими волнениями. В дождливые дни, сидя на корточках перед редко навещаемой книжной полкой, в полумраке, как бы умышленно мешающем мне в моих тайных исследованиях, я разыскивал значение всяких темных, темно соблазнительных и раздражительных терминов, в русском восьмидесяти-двух-томном издании Брокгаузовской энциклопедии, где, в видах экономии, заглавное слово той или этой статьи замещалось на протяжении подробного изложения темы его начальной буквой, так что колонки плотной, набранной миньоном печати не только требовали усиленного внимания, но и приобретали мишурное сходство с маскарадом, на котором сокращение малоизвестного слова играло с алчным взглядом в прятки: "Моисей безуспешно боролся с П.... В новейшие времена семейная П. была сильно развита в Австрии, в царствование Марии-Терезы... Во многих местах в Германии доход от П. поступал в пользу духовенства... Только в 1843 г. П. была объявлена терпимою и в СПб... Изнасилованная хозяином, детьми его или кем-либо из прислуги в самом раннем возрасте 9—10—12 лет, такая сирота почти всегда оканчивает профессиональной П." — и так далее, и все это скорее облекало в тайну намеки на разврат, которые я встретил, впервые принявшись за Чехова и Андреева, чем проливало на них трезвый истолковательный свет. Ловлею бабочек и всякими видами спорта заполнялись солнечные часы, но никакое физическое утомление не могло унять беспокойство, ежевечерне высылавшее меня в смутное путешествие. После верховых прогулок, которым посвящалась большая часть предвечернего времени, велосипедная езда в цветных сумерках вселяла в меня удивительно мягкое чувство едва ли не бесплотности. В соответствии с моими представлениями о гоночных моделях, рулевые рога моего Энфильда я перевернул так, что их концы были ниже уровня седла. Я летел по парковым аллеям, следуя вчерашнему оттиску моих же дунлоповых шин; тщательно объезжал кряжи дре-

весных корней; намечал издали палую веточку и с легким треском надламывал ее чуткой передней шиной; ловко лавировал между двумя плоскими листочками или между камушком и ямкой в земле, из которой его выбило накануне; наслаждался краткой гладью мостка над ручьем; проскакивал проволочную ограду теннисной площадки; толчком колеса отпахивал беленую калитку в конце парка; и затем, в упоении воли и грусти, разгонялся вдоль спекшейся, приятно липкой обочины долгих полевых дорог.

В то лето я каждый вечер проезжал мимо золотой от заката избы, на пороге которой стояла Поленька, однолетка моя, дочка нашего старшего кучера Захара, — стояла, опершись о косяк, мягко и свободно, как водится в сельской России, сложив на груди руки. Она следила за моим приближением с удивительно приятным сиянием на лице, но по мере того, как я подъезжал, сияние сокращалось до полуулыбки, затем до слабого отсвета в уголках ее сжатых губ, а там и он, наконец, выцветал, так что поравнявшись с ней, я не находил никакого выражения на ее прелестном круглом лице. Но как только я проезжал и оглядывался на нее, перед тем как взмыть в гору, уже опять намечалась впадинка, опять лучились таинственным светом ее дорогие черты. Я никогда не сказал с ней ни слова, но долго после того как я перестал ездить вечерами по той дороге, наше сводившееся к обмену взглядами знакомство время от времени еще возобновлялось в течение двух-трех лет. Она появлялась откуда ни возьмись и всегда стояла немного в сторонке, всегда босая, потирая подъем одной ноги об икру другой или почесывая четвертым пальцем пробор в светлорусых волосах, и всегда прислонялась к чему-нибудь — к двери конюшни, пока седлают мне лошадь, или к стволу дерева в резко-яркое сентябрьское утро, когда всей оравой деревенская прислуга собиралась провожать нас на зиму в город. С каждым разом ее грудь казалась мне мягче, а голые руки крепче, и раз-другой, незадолго до того как она пропала из виду (выданная в шестнадцать лет за кузнеца из далекого села), я заметил блеск нежной насмешки в ее широко расставленных светло-карих глазах. Странно сказать, но в моей жизни она была первой, имевшей колдовскую способность прожигать мой сон насквозь (а достигала

она этого просто тем, что *не* давала погаснуть улыбке) и вытряхивать меня в липко-влажное бодрствование всякий раз что снилась мне, а между тем в сознательной жизни я даже пуще боялся испытать отвращение от запекшейся грязи на ее ногах и затхлого запаха крестьянского платья, чем оскорбить ее тривиальным псевдо-господским ухаживанием.

5

Прежде чем расстаться с ее навязчивым образом, мне хотелось бы задержать перед глазами две особенно живые картины. Первая долго жила во мне совершенно отдельно от Поленьки, связуемой мною с дверьми и закатами, как если бы я подсмотрел русалочье воплощение ее жалостной красоты, которое лучше оставить в покое. Дело было в июне того года, когда нам обоим минуло по тринадцать лет; я пробирался по берегу Оредежи, преследуя так называемых "парнасцев" — *Parnassius mnemosyne*, говоря точнее, — диковинных, древнего происхождения бабочек с полупрозрачными, глянцевитыми, шуршащими крыльями и пушистыми вербными брюшками. Погоня завела меня в заросль млечно-белых черемух и ольх у самого края холодной синей реки, как вдруг донеслись крики и всплески, и я увидел из-за благоухающего куста Поленьку и трех-четырех других подростков, полоскавшихся нагишом у развалин старой купальни, в нескольких футах от меня. Мокрая, задыхающаяся, с соплей под курносым носом, с детскими ребрами, выгнутыми под бледной пупырчатой от холода кожей, с забрызганными черной грязью икрами, с круглым гребешком, горевшим в темных от влаги волосах, она спасалась от бритоголовой, тугопузой девочки и бесстыдно возбужденного мальчишки с тесемкой вокруг чресел, применяемой в этих местах против сглазу, которые, хлеща и шлепая по воде вырванными стеблями водяных лилий, обратили ее в торопливое бегство; и секунду-другую — прежде чем уползти в тусклом тумане отвращения и желания — я смотрел, как чужая Поленька дрожит, присев на досках полуразломанного причала, скрещенными руками

прикрывая от восточного ветра груди и показывая преследователям кончик языка.

Второй образ относится к святкам 1916 года. Стоя в тишине на устланной снегом платформе станции Сиверской, что на Варшавской линии (самой близкой к нашему сельскому дому), я смотрел на дальнюю серебряную рощу, постепенно становившуюся свинцовой под вечереющим небом, и ждал, чтобы появился из-за нее тускло-фиолетовый дым поезда, который должен был доставить меня обратно в Петербург после дня лыжного спорта. Дым послушно появился, и в эту же минуту она прошла мимо меня с другою девушкой — обе были в толстых платках, в больших валенках, в ужасных бесформенных стеганых кофтах с ватой, торчавшей из прорванной черной материи, и проходя, Поленька, с синяком под глазом и вспухнувшей губой (муж, что ли, бил ее по праздникам?), заметила, ни к кому не обращаясь, задумчиво и мелодично: "А барчук-то меня не признал", — только этот один раз и довелось мне услышать ее голос.

6

Этим голосом говорят со мною ныне те летние вечера, когда отроком я, бывало, катил мимо ее избы. В том месте, где полевая дорога вливалась в пустынное шоссе, я слезал с велосипеда и прислонял его к телеграфному столбу. На целиком раскрывшемся небе медлил грозный в своем великолепии закат. Среди его незаметно меняющихся нагромождений взгляд различал ярко-пятнистые структурные детали небесных организмов, и червонные трещины в черных массивах, и гладкие эфирные берега, похожие на миражи пустынных островов. Я тогда еще не знал (теперь отлично знаю), что мне делать с такими вещами, — как избавляться от них, переплавлять их в нечто такое, что можно в печатном виде отдать читателю, пускай *он* справляется с блаженной дрожью; и это незнание усугубляло томление. Исполинская тень начинала заливать равнину, и в тишине ровно гудели столбы, и питающиеся по ночам существа начинали всползать по стеблям своих кормовых

растений. Хруп, хруп, хруп — прелестный полосатый червь, не изображенный у Спулера, вцепившись в ствол колокольчика, работал челюстями по краю ближайшего листка, выедая в нем сверху вниз неторопливый полукруг, разгибая шею и снова понемногу сгибая ее, чтобы углубить аккуратную лунку. Машинально я переводил едока вместе с его растеньицем в спичечный коробок, чтобы свезти домой, где на следующий год он породит для меня Дивный Сюрприз, но мои мысли были далеко: Зина и Колетт, мои пляжные подружки; танцовщица Луиза; все те раскрасневшиеся, душисто-волосые, в низко повязанных поясах девочки на детских праздниках; томная графиня Г., пассия моего двоюродного брата, Поленька, улыбающаяся в агонии моих новых снов; все это сливалось в один образ, мне неизвестный, но который мне скоро предстояло узнать.

Помню один такой вечер. Блеск его рдел на моем велосипедном звонке. Над черной музыкой телеграфных струн веерообразно застыли густо-лиловые тучи на фламинговорозовой подкладке; это было как чудовищная овация с заменой звуков красками и формами! Овация стихала, и с нею гасло все; но над самым горизонтом, в светозарном бирюзовом просвете под слоями почерневших туч, глазу представлялась даль, которую только очень глупый читатель мог бы принять за запасные части того или любого иного заката. Она занимала совсем небольшую долю огромного неба, и была в ней та особая отчетливость, которая свойственна предметам, если смотреть не с того конца в телескоп. Там, в миниатюрном виде, расположилось, поджидая, семейство ведряных облаков, скопление светлых завоев, анахронизм млечных красок; нечто очень далекое, но разработанное до последних подробностей; фантастически уменьшенный, но безупречно сформированный, совсем уже готовый для сдачи мне, мой завтрашний сказочный день.

Глава одиннадцатая

1

Чтобы восстановить лето 1914 года, в которое мной овладело цепенящее неистовство стихосложения, мне только нужно живо вообразить некий "павильон", а вернее беседку. Долговязый пятнадцатилетний подросток, каким я был тогда, спрятался в ней от грозы, которых необычайное множество пролилось тем июлем. Беседка моя снится мне самое малое дважды в год. Появляется она, как правило, совершенно независимо от содержания сна, каковым, разумеется, может быть все что угодно, от Авалона до явнобрачия. Она, так сказать, мреет где-то рядом, словно скромная подпись художника. Я нахожу ее приставшей в уголку живописного полотна сновидения или затейливо внизанной в какую-нибудь декоративную часть картины. Однако временами она как бы замирает поодаль, немного барочная и все же не спорящая со статью деревьев — темной ели, белой березы, побег которой однажды пробился через ее дощатый пол. Винно-красные, бутылочно-зеленые и темно-синие ромбы цветных стекол беседки сообщают нечто часовенное ее решетчатым оконцам. Она осталась такой же, какой была в мою отроческую пору, — старая, крепкая деревянная постройка над папоротниковым оврагом в старой, приречной части нашего вырского парка. Осталась такой же или, может быть, чуть получшела. В той, настоящей, не хватало нескольких стекол, и ветер заметал вовнутрь крошащуюся листву. Узкий мосток над яругой в самой глуши парка и беседка, встающая в середине его, будто сгущенная радуга, становились после недолгого дождика скользкими, словно натертыми темной и, пожалуй, волшебной мазью. Этимологически "pavilion" и "papilio"[1] —

---

[1] Беседка... бабочка.

близкие родственники. Мебели внутри не было никакой, лишь откидной, на ржавых петлях, столик под восточным окном, сквозь два-три опустевших или прозрачных ромба которого проглядывал между синих расплывов и пьяных краснот отблеск реки. На полу у моих ног лежал на спине мертвый слепень, рядышком с бурыми останками березовой сережки. А на уцелевших пятнах побелки снутри двери забредавшие сюда чужаки оставляли надписи вроде "Здесь были Даша, Тамара и Лена" или "Долой Австрию!".

Гроза миновала быстро. Ливень, масса рушащейся воды, под которой корчились и перекатывались деревья, вдруг сразу выродился в косые линии безмолвного золота, разбитые на короткие и длинные прочерки, выступающие из фона, образованного стихающим волнением листвы. Бездны сладостной синевы расползались между огромными облаками — груда на груде, ослепительно белые, лиловато-пепельные, лепота, плавучие легенды, гуашь и гуано, — и в линиях их различался то тайный намек на женскую грудь, то посмертная маска поэта.

Теннисный корт обратился в край великих озер.

За парком, над дымящимися полями, вставала радуга; поля обрывались зубчатой темной границей далекого ельника; радуга частью шла поперек него, и этот кусок леса совершенно волшебно мерцал сквозь бледную зелень и розовость натянутой перед ним многоцветной вуали — нежность и озаренность его обращала в бедных родственников ромбовидные цветные отражения, отброшенные возвратившимся солнцем на дверь беседки.

Следующий миг стал началом моего первого стихотворения. Что подтолкнуло его? Кажется, знаю. Без единого дуновения ветерка, один только вес дождевой капли, сияющей в паразитической роскоши на душистом сердцевидном листке, заставляет его кончик кануть вниз, и подобие ртутной капли внезапно соскальзывает по его срединной прожилке, и лист, обронив яркий груз, взлетает вверх. Лист, душист, благоухает, роняет — мгновение, за которое все это случилось, кажется мне не столько отрезком, сколько разрывом времени, недостающим ударом сердца, сразу вернувшимся в перестуке ритма: говорю "в перестуке", потому что когда и впрямь налетел ветер, деревья приня-

лись все разом бодро стряхивать капли, настолько же приблизительно подражая недавнему ливню, насколько строфа, которую я уже проборматывал, походила на потрясенье от чуда, испытанное мною в миг, когда сердце и лист были одно.

2

Под жадным послеполуденным жаром скамьи, мостки и пни (в сущности, все, кроме корта) сохли с невероятной быстротой, и вскоре от моего начального вдохновения почти ничего не осталось. Но хоть яркая щелка закрылась, я продолжал упорствовать в сочинительстве. Посредником моим оказался русский язык, однако с тем же успехом им мог стать украинский, “бейсик инглиш” или воляпюк. Стихи, произведенные мною в те дни, были, пожалуй, не более чем знаком того, что я жив, что мною владеют, владели или, уповательно, будут владеть некие сильные чувства. То было проявление скорее способности ориентироваться, чем искусства, схожее, стало быть, с полосками краски на валуне при дороге или колонкой из уложенных друг на друга камней, метящей горную тропу.

Впрочем, с другой стороны, вся поэзия относительна: старания выразить свое отношение ко вселенной, объятой сознанием, это позыв незапамятный. Длани сознания тянутся, ощупывают, и чем они длиннее, тем лучше. Щупальца, а не крылья, вот прирожденные органы Аполлона. Вивиан Дабл-Морок, мой философический друг, в позднейшие годы говаривал, что если ученый видит все, что происходит в одной точке пространства, то поэт ощущает все, происходящее в одной точке времени. Задумавшись, он постукивает себя по колену карандашом, смахивающим на волшебную палочку, и в этот же самый миг автомобиль (с нью-йоркским номером) пролетает дорогой, ребенок стучится в сетчатую дверь соседской веранды, старик в Туркестане зевает посреди мглистого сада, венерианский ветер катит крупицу пепельного песка, доктор Жак Хирш в Гренобле надевает очки для чтения, и происходят еще триллионы подобных же пустяков, — создающих, все

вместе, мгновенный, просвечивающий организм событий, сердцевиной которого служит поэт (сидящий в садовом кресле в Итаке, штат Нью-Йорк).

В то лето я был слишком юн для выработки сколько-нибудь основательной теории "космического синхронизма" (процитируем вновь моего философа). Но я хотя бы открыл, что человек, который надеется стать поэтом, должен обладать способностью думать о нескольких вещах зараз. Во время неторопливых блужданий, сопровождавших сочинение первого из моих стихотворений, я столкнулся с нашим сельским учителем, рьяным социалистом, человеком достойным, всей душой преданным моему отцу (я рад вновь поприветствовать этот образ), вечно улыбающимся, вечно потеющим, вечно с тугим букетиком полевых цветов. Чинно беседуя с ним о внезапном отъезде отца в город, я одновременно и с равной ясностью регистрировал не только его увядающие цветы, цветастый галстук, угрей на мясистых закрутках ноздрей, но и долетавший издалека унылый голосок кукушки, и блестку опускающейся на дорогу полевой перламутровки, и запомнившиеся мне картинки (увеличенные изображения сельскохозяйственных вредителей и портреты бородатых русских писателей) в просторных классах деревенской школы, которую я навещал раза два; и — продолжая перечисление, вряд ли способное передать призрачную простоту процесса в целом, — трепет какого-то вполне постороннего воспоминания (о потерянном мной педометре), выпущенного из соседней клетки мозга; и вкус травинки, которую я жевал, смешивался с кукованием и со взлетом бабочки, и во все это время я полно и безмятежно сознавал многослойность моего сознания.

Он улыбнулся, поклонился (преувеличенным поклоном русского радикала), пятясь, отступил на несколько шагов, повернулся и бодро пошел своей дорогой, а я вновь обратился к моим стихам. За то краткое время, на которое я их покинул, что-то, казалось, произошло со словами, которые я уже успел соединить: они выглядели теперь не такими светозарными, как до заминки. Подозрение мелькнуло у меня в уме — да настоящие ли это слова? По счастью, холодный проблеск критической проницательности скоро

угас. Пыл, который я покушался выразить, вернулся, снова вдохнув в посредника иллюзорную жизнь. Шеренги выстроенных для смотра слов снова жарко сияли — выпяченные грудки, опрятные мундирчики, — и я приписал игре воображения некоторую, краем глаза замеченную мной мешковатость.

3

Помимо вполне понятной неопытности, молодому русскому версификатору приходилось одолевать еще одно, особое препятствие. В отличие от стихов сатирических или повествовательных, с их богатым словарем, русская элегия страдала сильно запущенным словесным худосочием. Только очень умелым рукам удавалось заставить ее оторваться от ее скромных корней — пустенькой французской поэзии восемнадцатого столетия. Правда, уже в мои дни новая школа деятельно разламывала старые размеры, однако должно было пройти время, чтобы консервативный новичок обратился к ней в поисках нейтрального инструмента, — быть может, оттого, что ему не хотелось, уйдя от простого выражения простых эмоций, окунаться в рискованные приключения с формой. Форма, однако же, за себя мстила. Русские поэты девятнадцатого века гнули податливую элегию, гнули, и получили в итоге нечто однообразное, раз за разом сопрягающее определенные слова или типы слов (вроде русских аналогов fol amour и langoureux et rêvant[1]), которых позднейшие лирики не могли стряхнуть целое столетие.

В особенно неотвязной конструкции, свойственной четырех-шестистопному ямбу, длинное, раскоряченное прилагательное занимало первые четыре-пять слогов последних трех стоп строки. Хороший четырехстопный пример — “тер-пи бес-чис-лен-ны-е му-ки” (en-dure in-cal-cu-la-ble tor-ments). Молодой русский поэт имел склонность соскальзывать в приманчивую пропасть слогов, для показа которой я выбрал “бесчисленные” лишь потому, что это

[1] Безумная любовь, мечтательный и томный *(фр.)*.

прилагательное легко переводится; истинными фаворитами были такие типические элементы элегии как “задумчивые” (pensive), “утраченные” (lost), “мучительные” (anguished) и так далее, все с ударением на втором слоге. При всей его великой длине слово этого рода содержит всего одно собственное ударение, вследствие чего предпоследний метрический акцент строки приходится на безударный обычно слог (“ны” в русском примере, “la” в английском). Это порождает приятное ощущение стремительного движения, которое, впрочем, представляет собой эффект слишком приевшийся, чтобы искупать скудость содержания.

Наивный новичок, я попадался во все ловушки, расставляемые певучим эпитетом. Не то чтобы я не боролся. Собственно говоря, я тяжко трудился над моими элегиями, бесконечно возясь с каждой строкой, выбирая и отвергая слова, испытывая их на вкус с остекленелой самозабвенностью чайного дегустатора, и все же слова жестоко мне изменяли. Рама формировала картину, кожура — мякоть плода. Тривиальное расположение слов (короткий глагол или существительное — длинное прилагательное — короткое существительное) рождало тривиальную беспорядочность мысли, и такие строки как “поэта горестные грезы” (или в переводе “the poet’s melancholy daydreams”), роковым образом тянули за собой рифмующуюся строку с окончанием “розы”, или “березы”, или “грозы”, отчего определенные чувства связывались с определенной обстановкой не свободным усилием твоей воли, но полинялой лентой традиции. И все же, чем ближе подбиралось мое стихотворение к завершению, тем большую обретал я уверенность, что видимое мной будет увидено и другими. Вглядываясь в имевшую очертания человечьей почки клумбу (и замечая розовый лепесток, одиноко лежащий на суглинке, и крохотного муравья, исследующего его обмахрившийся краешек) или разглядывая смуглую талию березового ствола с ободранной каким-то бездельником бумажной пестрядью бересты, я действительно верил, что все это будет воспринято читателем сквозь волшебную вуаль моих слов, таких как “утраченные розы” или “задумчивые березы”. Мне и в голову не приходило, что бедные эти слова никакой вуали образовать не могут, ибо настолько непроницаемы для све-

та, что воздвигают стену, в которой только и можно различить, что затасканные обрывки из поэтов, покрупней и помельче, которым я подражал. Годы спустя, на убогой окраине иноземного города, я, помнится, увидел забор, доски для которого привезли из какого-то другого места, где они, видимо, ограждали стоянку бродячего цирка. Зверей намалевал на нем некий разносторонне одаренный зазывала, но тот, кто разбирал прежнюю ограду и сколачивал эту, был не то слеп, не то слабоумен, так что теперь на заборе виднелись лишь разрозненные составные части зверей (некоторые к тому же вверх ногами) — смуглый круп, голова зебры, слоновья нога.

4

В плане телесном мои усиленные труды отмечало множество невразумительных действий и поз — хождение, сидение, лежание. Каждое из них в свой черед разделялось на фрагменты, не имеющие особого пространственного значения: к примеру, в процессе хождения я мог в какой-то миг блуждать по парковой глуши, а в другой — мерить шагами комнату. Или возьмем сидячую стадию: я вдруг осознавал, что тарелка с чем-то, чего я, возможно, так и не попробовал, уже убрана, и что моя мать, сидящая во главе длинного стола, чуть дергая левой щекой, — знак охватившей ее тревоги, — внимательно вглядывается в меня в попытках понять причину моего капризного уныния и отсутствия у меня аппетита. Я поднимал голову, чтобы объясниться, — но и стола уже не было, я одиноко сидел на придорожном пеньке, а ручка моего сачка, размеренно двигаясь, прочерчивала дугу за дугой на буром песке: наземные радуги, в которых глубина каждой бороздки отвечала своему, особому цвету.

Окончательно решившись досочинить стихотворение или умереть, я впал в наиболее гипнотическое из череды этих состояний. Без особого удивления я обнаружил, что лежу на кожаной кушетке в холодной, мглистой, редко навещаемой комнате, бывшей некогда кабинетом деда. Я лежал на этой кушетке навзничь, в своего рода рептиль-

ном оцепенении, одна рука свисала, касаясь костяшками цветочного узора на ковре. Когда я в следующий раз вышел из транса, зеленоватая флора была на том же месте и рука свисала все так же, только сам я лежал на краешке шаткого причала, а купавы, которых касалась рука, были настоящими, и волнистые пухлые тени ольховой листвы на воде — апофеоз клякс, небывало разросшиеся амебы — ритмично пульсировали, выдвигая и втягивая темные ложноножки, которые, сжимаясь, разламывались по скругленным граням, образуя ускользающие, текучие макулы, а те вновь смыкались, заново преобразуясь в оконечные щупики. Я же снова погрузился в мой личный туман, и когда снова вынырнул из него, мое распростертое тело уже лелеяла низкая парковая скамья, и оживленная тень, в которую окуналась моя ладонь, скользила теперь по земле, среди фиалковых тонов, сменивших черноту и зелень воды. В таком состоянии обычные мерки существования значат так мало, что я не удивился бы, выйдя из этого туннеля прямиком в парк Версаля, или Тиргартена, или в Национальный парк "Секвойя"; и наоборот, когда я ныне впадаю в этот давний транс, я совершенно готов, очнувшись, очутиться высоко на некоем дереве, над крапчатой скамейкой моего отрочества, прижимаясь животом к толстой, удобной ветке и покачивая рукой среди листьев, по которым ходят тени других листьев.

В различных положениях меня настигали различные звуки. То мог быть обеденный гонг или нечто не столь привычное, к примеру подлое пенье шарманки. Где-нибудь у конюшен старый бродяга вертел ее ручку, и, понукаемый иными впечатлениями, впитанными в более ранние годы, я мысленно видел его с места, на котором сидел. На передней доске инструмента изображались балканские селяне, пляшущие под пальмовидными ивами. Время от времени он менял руку. Я видел кофтенку и юбочку его лысой обезьянки, ее ошейник, свежую ссадину на шее, цепочку, которую она покусывала всякий раз, что старик за нее дергал, причиняя обезьянке резкую боль, и нескольких слуг, стоявших вокруг, глазея, ухмыляясь, — простому народу страсть как нравятся обезьяньи "штуки". Всего два дня назад, невдалеке от места, где я это пишу, я повстречал

фермера с сыном (на редкость здоровым малым, вроде тех, каких видишь в рекламе кормов для брекфаста), с таким же увлечением наблюдавших, как кошка мучает юного бурундучка — отпустит его от себя на несколько дюймов и снова придавит. Большая часть бурундучьего хвоста уже исчезла, обрубок кровоточил. Поскольку убежать зверек не мог, он прибегнул к последнему средству: лег на бок, чтобы раствориться в игре света и тени на земле, но слишком бурно дышащий бок выдал его.

Еще одной музыкальной машиной, пробившейся сквозь мои стихи, был домашний фонограф, приведенный в действие приближением вечера. На веранде, где собрались наши родственники и знакомые, из его медной трубы изливались цыганские романсы, столь любимые моим поколением. То были более-менее анонимные имитации цыганских песен — или имитации имитаций. Цыганистость их образовывалась низким монотонным стоном, прерываемым чем-то вроде икоты, — это звучно разбивалось настигнутое любовью сердце. Лучшие из них порождали гортанные ноты, звенящие в стихах настоящих поэтов (прежде всего Александра Блока). Худшие можно уподобить вздору в стиле апаш, сочиняемому посредственными литераторами и декламируемому по парижским ночным клубам плотного сложения дамами. Естественная их среда определялась плачущими соловьями, цветущей сиренью и аллеями что-то шепчущих деревьев, осенявших парки деревенских усадеб. Соловьи заливались трелями, и в сосновой роще солнце, садясь, раскидывало по стволам пронзительно красные, разновысокие пятна. Казалось, на темном мху лежит, еще подрагивая, цыганский бубен. Какой-то миг последние ноты хрипловатого контральто влеклись за мною сквозь сумерки. Когда тишина вернулась, первое мое стихотворение было готово.

5

Стряпня и впрямь получилась жалкая, содержащая, помимо псевдопушкинских интонаций, множество заимствований. Извинимы были лишь эхо тютчевской грозы да

залетевший из Фета преломленный солнечный луч. Что до остального, смутно помню упомянутое в ней “воспоминанья жало” (которое я зримо представлял себе в виде яйцеклада наездника-ихневмона, оседлавшего гусеницу капустницы, да не решился об этом сказать) и что-то насчет старосветского обаяния далекой шарманки. Хуже всего были постыдные поскребыши из “цыганского” пошиба лирики, принадлежавшей Апухтину и Великому Князю Константину. Меня ими старательно закармливала молодая и довольно симпатичная тетушка, умевшая также отбарабанить знаменитое “À Une Femme”[1] Луи Буйе, в котором метафорический скрипичный смычок нелепым образом используется для игры на метафорической гитаре, и множество всякого вздору из Эллы Уилер Уилкокс, обожаемой императрицей и ее фрейлинами. Вряд ли стоит добавлять, что тематически моя элегия трактовала об утрате нежной возлюбленной — Делии, Тамары или Леноры, — которой я никогда не терял, никогда не любил да и не встречал никогда, — но готов был повстречать, полюбить, утратить.

В глупой наивности я веровал, что сочинил нечто прекрасное и удивительное. Неся это сочинение к дому, — все еще не записанное, но столь завершенное, что даже знаки препинания его оттиснулись на моем сознании, точно складки подушки на щеке спящего, — я не сомневался, что мать встретит мое достижение слезами счастливой гордости. Мне и в голову не приходило, что она, может быть, как раз в этот вечер слишком занята другими событиями, так что ей и вовсе не до слушания стихов. Никогда еще я так не нуждался в ее похвале. Никогда еще я не был столь уязвим. Нервы мои трепетали из-за тьмы, которая незаметно для меня, поглощенного иным, окутала землю, и наготы небесной тверди, полного разоблачения которой я также не заметил. Надо мною, между бесформенных деревьев, обступивших мою тающую тропу, слабо светилось от обилия звезд ночное небо. В те годы это волшебное месиво созвездий, туманностей, межзвездных провалов и прочих элемен-

---

[1] Женщине *(фр.)*.

тов грозного представления нагоняло на меня неописуемую дурноту, безоговорочный ужас, как будто я, головою вниз, свисал с земли на самом краю бесконечного пространства, а притяженье земли хоть и держало меня за пятки, но могло их в любой миг отпустить.

В доме уже было темно, светились лишь два угловых окна в верхнем этаже (гостиная матери). Ночной сторож впустил меня, и медленно, осторожно, чтобы не нарушить порядка слов в моей ноющей голове, я взобрался наверх. Мать полулежала на диване с петербургской "Речью" в руках и еще неразвернутой лондонской "Times" на коленях. Рядом, на стеклянной столешнице, мерцал белый телефон. Несмотря на поздний час, она еще ожидала, что отец позвонит из Петербурга, в котором его задержало напряжение близящейся войны. Близ дивана стояло кресло, мною, впрочем, всегда избегаемое из-за его золотистого атласа, при одном взгляде на который у меня от спинного хребта разбегалась, будто ночная молния, зазубристая дрожь. Чуть откашлявшись, я присел на ножную скамейку и приступил к декламации. При этом я глядел на дальнюю стену, где, в воспоминании, так ясно вижу несколько маленьких дагтеротипов и силуэтов в овальных рамках, сомовскую акварель (молодые березки, половинка радуги — все тающее, влажное), великолепную версальскую осень Александра Бенуа и цветной рисунок, сделанный еще в девичестве матерью моей матери — все та же парковая беседка с красивыми окнами, частью заслоненными сцепленьем ветвей. Сомов и Бенуа пребывают ныне в каком-то советском музее, но беседку уже никому национализировать не удастся.

Когда память моя заколебалась на миг, ступив на порог последней строфы, для которой пришлось перепробовать столько вступительных слов, что окончательно выбранное как бы терялось среди обилия ложных входов, я услышал, как мать шмыгнула носом. Наконец я закончил чтение и взглянул на нее. Она блаженно улыбалась сквозь слезы, катившие по ее лицу. "Как удивительно, как прекрасно", — сказала она и с нежностью, еще нараставшей в ее улыбке, протянула мне зеркальце, чтобы я мог увидеть кровь,

размазанную по моей щеке — там, где я, неосознанно подперев кулаком щеку, раздавил вдосталь напившегося комара. Но я увидел не только это. Глядя в собственные глаза, я с изумлением обнаружил в них лишь останки моего привычного “я”, разрозненные обломки сгинувшей личности, которую разум мой не без усилий смог снова вернуть в стекло.

Глава двенадцатая

1

Я впервые увидел Тамару — выбираю ей псевдоним, окрашенный в цветочные тона ее настоящего имени, — когда ей было пятнадцать, а мне на год больше. Мы повстречались в сильно пересеченной, но милой местности (черные ели, белые березы, болота, покосы, пустоши), лежащей к югу от Петербурга. Тянулась далекая война. Двумя годами позже явился пресловутый deus ex machina[1], Русская Революция, заставив меня покинуть эту незабываемую обстановку. Да собственно и тогда уже, в июле 1915-го, смутно зловещие знамения и погромыхивание закулисного грома, жаркое дыхание невиданных мятежей отзывалось в так называемой "символистской" школе русской поэзии — особенно в стихах Александра Блока.

В начале того лета, и в течение всего предыдущего, имя "Тамара", прокравшись, являлось (с той напускной наивностью, которая так свойственна повадке судьбы, приступающей к важному делу) в разных местах нашего имения ("Вход воспрещается") и во владениях моего дяди ("Вход строжайше воспрещается") на противоположном берегу Оредежи. Я находил его начерченным палочкой на красноватом песке аллеи, или написанным карандашом на беленом заборе, или недовырезанным на деревянной спинке какой-нибудь древней скамьи, точно сама Матушка-Природа таинственными знаками предуведомляла меня о существовании Тамары. В тот притихший июльский день, когда я увидел ее, стоящей совершенно неподвижно (двигались только зрачки) в березовой роще, она как бы зародилась

---

[1] Бог из машины *(лат.)*.

здесь, среди настороженных деревьев, с беззвучным совершенством мифологического воплощения.

Дождавшись того, чтобы сел овод, она прихлопнула его и пустилась догонять двух других, не таких красивых девушек, звавших ее. Немного позже, с удобного для наблюдения места над рекой, я увидел, как они шли через мост, постукивая высокими каблучками, одинаково засунув руки в карманы темно-синих жакеток и, чтобы отогнать мух, то и дело встряхивая головами, убранными цветами и лентами. Очень скоро я проследил Тамару до скромной дачки, которую ее семья снимала в деревне. Верхом или на велосипеде я проезжал мимо, и на том или другом услужливом повороте дороги что-то ослепительно взрывалось под ложечкой (после чего сердце еще долго пешком возвращалось на место оттуда, куда его закинуло), и я обгонял Тамару. Матушка-Природа убрала сперва одну ее подругу, потом другую, но только в августе — 9 августа 1915 года, если быть по-петрарковски точным, в половине пятого часа прекраснейшего из вечеров этого месяца, в радужно-оконной беседке, куда, как я заметил, вошла моя нарушительница, — только тогда я набрался смелости с ней заговорить.

Сквозь тщательно протертые стекла времени ее красота все так же близко и жарко горит, как горела бывало. Она была небольшого роста, с легкой склонностью к полноте, но очень грациозна, благодаря гибкости стана да тонким щиколодкам. Примесью татарской или кавказской крови объяснялся, вероятно, особый разрез ее веселых глаз и рдяная смуглота щек. Ее профиль на свет был обрисован тем драгоценным пушком, которым подернуты плоды фруктовых деревьев миндальной группы. Она обвиняла свои густые темно-каштановые волосы в непокорности и тиранстве и угрожала обрезать их, да собственно и обрезала год спустя, но я навсегда запомнил их такими, какими увидел впервые, — туго заплетенными в толстую косу, свернутую на затылке кольцом и стянутую широкой, черного шелка лентой. Ее очаровательная шея была всегда обнажена, даже петербургской зимой, ибо она каким-то образом добилась разрешения не носить удушающего воротничка, который полагалось носить русским гимназисткам. Сказав что-нибудь смешное или процитировав нечто

из своего огромного запаса второстепенных стихов, она совершенно обворожительно раздувала ноздри и иронически всхрапывала. Зыбление ее быстрого смеха, быстрота речи, раскат картавого "р", нежный, влажный блеск нижних век — да все ее черты казались мне упоительно чарующими, но каким-то образом, вместо того, чтобы выказывать ее личность, образовывали слепящую завесу, в которой я запутывался всякий раз что пытался узнать о ней побольше. Когда я говорил ей, что мы женимся в конце 1917-го, как только кончу гимназию, она спокойно называла меня дурачком. Я очень смутно представлял себе ее семью. У матери было имя и отчество (больше я ничего о ней не знал), отзывавшее купечеством не то духовенством. Отец, который, сколько я понял, едва-едва интересовался своей семьей, служил экономом в большом имении где-то на юге.

Осень в тот год наступила рано. Уже в конце августа палая листва по щиколодку усеяла землю. Плыли перелесками бархатные, с палевой каймой траурницы. Гувернер, неусердному попечению которого мы с братом были предоставлены в то лето, пробовал спрятаться в кусты, чтобы следить за мной и Тамарой при помощи старого телескопа, найденного им на чердаке, однако был, в свой черед, выслежен дядиным багровоносым стариком-садовником Апостольским (большим, кстати, охотником до девок на выданьи), почтительно доложившим о том моей матери. Шпионства мать не терпела, да к тому же (хоть я никогда не говорил с нею о Тамаре) знала о моей любви все, что ей требовалось, из моих же стихов, которые я ей читал с достойным всяческой похвалы умыслом услышать объективное суждение, и которые она любовно переписывала в особый альбом. Отец находился в своей воинской части; он счел долгом, когда ознакомился, вернувшись с фронта месяц спустя, с моими сочинениями, задать мне несколько неудобных вопросов, — но душевная чистота матери позволяла ей, и позволила впредь, одолевать затруднения и похуже. Она только покачивала головой, с сомнением, но не без нежности, да велела буфетчику каждую ночь оставлять для меня фрукты на освещенной веранде.

Я водил мою возлюбленную по всем потаенным лесным уголкам, в которых прежде так пылко грезил о том, как я встречу ее, как я ее сотворю. И в одной сосновой рощице все встало по местам, я разъял ткань вымысла и выяснил вкус реальности. Дядя в то лето отсутствовал, и мы могли привольно бродить по его густому, просторному, двухсотлетнему парку с зарастающими мхом инвалидами античности на главной аллее и лабиринтом тропинок, расходящихся от центрального фонтана. Мы шли, "болтая руками" на деревенский манер. Под далекими, благожелательными взглядами старика Приапостольского я срывал для нее георгины с цветочного бордюра, разбитого вдоль гравиевой каретной дороги. Не так безопасно чувствовали мы себя у нее дома, или вблизи от него, или даже на деревенском мосту. Помню грубый рисунок на некой белой калитке, соединивший наши, странные в уменьшительной форме, имена, а чуть в стороне от этой мазни деревенского дурня — изречение "Осмотрительность — подруга страсти", написанное щетинистым, хорошо мне знакомым почерком. Однажды на закате, близ оранжево-черной реки, молодой дачник с наездницким хлыстом в руке поклонился ей, проходя, отчего она покраснела, будто девица из романа, но сказала только с бодрой насмешливостью, что он в жизни на лошади не сидел. А в другой раз, когда мы вышли на изгиб шоссе, две мои сестрички едва не выпали, от ярого любопытства, из семейного Торпедо, лихо свернувшего к мосту.

Темными дождливыми вечерами я заряжал велосипедный фонарь магическими кусками карбида, защищал спичку от ветра и, заключив белое пламя в стекло, осторожно углублялся во мрак. Круг света выбирал влажный, выглаженный край дороги между центральной системой луж и длинными обочинными травами. Шатким призраком мой бледный луч мотался по глинистому скату у поворота, и я съезжал к реке. За мостом дорога опять поднималась навстречу шоссе Рождествено—Луга, и у самого пересечения с ним пешая тропинка, отороченная мокрым жасмином, круто шла вверх по насыпи. Приходилось слезать с велосипеда и толкать его в гору. Наверху мертвенный свет моего фонаря мелькал по шести белым колоннам, образующим

портик с задней стороны безмолвного, закрытого ставнями дядиного дома — такого же безмолвного и закрытого, каков он, быть может, и ныне, полвека спустя. Там в приютном углу под аркадой, из которого она следила за рысканьями моего всплывающего фонаря, ждала меня, присев спиною к колонне на широкий парапет, Тамара. Я гасил фонарик и ощупью поднимался к ней. Так хочется описать все это поярче — и это, и многое другое из того, что, как вечно надеешься, сможет пережить заточение в зоологическом саду слов, — но подступившие к дому столетние липы, скрипя и шумно накипая ветром в беспокойной ночи, заглушают монолог Мнемозины. Постепенно их вздохи стихали. Из сточной трубы, сбоку от веранды, слышалось суетливое, неутомимое журчанье воды. Иногда какой-то добавочный шорох, перебивавший ритм дождя в листве, заставлял Тамару обращать лицо в сторону воображаемых шагов, и тогда я различал ее черты как бы в легком свечении, — ныне занимающемся над горизонтом моей памяти, несмотря на обильный дождь, — но никого там не было и некого было бояться и, тихо выпустив задержанное на мгновенье дыхание, она опять закрывала глаза.

2

С наступлением зимы наш безрассудный роман был перенесен в угрюмый Петербург. Теперь мы прискорбным образом лишились нащего ставшего привычным деревенского убежища. Меблированные комнаты, достаточно сомнительные, чтобы приютить нас, находились вне предела наших дерзаний, а великая эра автомобильных амуров была еще далека. Негласность свиданий, столь приятная в деревне, теперь обернулась против нас, а мысль встречаться у нее или у меня на дому, под неизбежным посторонним наблюдением, обоим нам была невыносима. В итоге мы принуждены были странствовать по улицам (она в своей скромной серой шубке, я в белых гетрах и с кастетом в бархатном кармане пальто с каракулевым воротником), — и эти постоянные искания приюта порождали странное чувство безнадежности, которое, в свой черед, предвещало

другие, значительно более поздние и одинокие блуждания. Мы пропускали школу: не помню, как устраивалась Тамара; я же уговаривал одного из двух шоферов ссадить меня по пути в училище на том или ином углу (оба были добрыми товарищами и в самом деле отказывались брать у меня золото — удобные пятирублевые монеты, приходившие из банка аппетитными увесистыми колбасками по десяти или двадцати сияющих кружочков, эстетические воспоминания о которых позволяют мне ныне утешаться мыслью, что и моя гордая эмигрантская бедность тоже осталась в прошлом). Зато никаких хлопот не имел я с нашим восхитительным, отменно продажным Устином, заведовавшим нижним телефоном, номер которого был 24–43, двадцать четыре сорок три; Устин бойко рапортовал звонившим, что у меня застужено горло. Интересно, кстати, что произойдет, если я вот сейчас произведу по аппарату, стоящему на моем столе, международный вызов? Номер не ответит? Нету такого номера? И страны такой нет? Или голос Устина произнесет "мое почтение"? Существуют же разреклажированные славяне и курды, которым перевалило за сто пятьдесят. Номер телефона в кабинете отца (584–51) в справочнике не значился, и классный наставник, наводивший справки о моем пошатнувшемся здоровье, никакого толка добиться не мог, даром что я временами пропускал три дня подряд.

Мы бродили под белым кружевом запечатленных поэзией аллей общественных парков. Мы сиживали на холодных скамейках, — сняв сначала их ровную снежную попону, а затем задубевшие варежки. Мы посещали музеи. В будни по утрам там бывало дремотно и пусто, и очень тепло, по сравнению с ледяной пеленой и красным, висевшим, будто зардевшаяся луна, солнцем в восточных окнах. Здесь мы отыскивали тихие отдаленные зальца, с паллиативными мифологиями, на которые никто не приходил смотреть, офортами, медалями, палеографическими экспонатами, свидетелями истории печатного дела — и с иными бедными вещицами этого рода. Лучшей, по-моему, нашей находкой был чуланчик, где сложены были щетки и лесенки; но штабель пустых рам вдруг заскользил, опрокидываясь в темноте, и привлек любознательного поклонника искусств,

и мы бежали. В Эрмитаже, этом петербургском Лувре, имелись хорошие уголки, особенно в некоторых залах первого этажа, среди стеклянных витринок со скарабеями, за саркофагом Нана, верховного жреца Птаха. В Русском музее императора Александра III две залы (тридцатая и тридцать первая, в северо-восточном углу), где хранились академические никчемности вроде полотен Шишкина ("Просека в сосновом бору") и Харламова ("Голова цыганенка"), оказывали нам подобие гостеприимства за высокими стеклянными шкапами с рисунками, — пока грубый инвалид турецкой кампании не принялся грозиться полицией. Постепенно из больших музеев мы переходили в маленькие, в Музей Суворова, например, где помню совершенно тихую комнату, полную дряхлых доспехов, гобеленов и рваных шелковых знамен, в которой восковые солдаты в париках, ботфортах и зеленых мундирах держали над нами караул. Но куда бы мы ни заходили, тот или иной седовласый, с выцветшими глазками сторож на замшевых подошвах за несколько посещений неизменно присматривался к нам, проникался подозрениями, и приходилось опять переселять куда-нибудь наше украдчивое неистовство — в Педагогический музей, в Музей придворных карет или в крохотное хранилище старинных географических карт, которого и в путеводителе-то не сыщешь, — и оттуда опять на холод, в какие-нибудь переулки или к огромным воротам и позеленевшим львам с кольцами в зубах, в стилизованный снежный пейзаж "Мира Искусства" — Добужинского, Александра Бенуа — столь любимый мною в те дни.

Под вечер мы часто скрывались в последний ряд одного из двух кинематографов на Невском (Паризиана или Пикадилли). Фильмовое искусство несомненно шло вперед. Морские волны, окрашенные в нездоровый синий цвет, бежали и разбивались о черную, узнаваемую скалу (Rocher de la Vierge[1], Биарриц, — приятно, думал я, снова увидеть берег моего международного детства), имелась специальная машина, подражавшая звуку прибоя, издавая влажное шипенье, которое почему-то никогда не могло остановиться

[1] Скала в Биаррице.

одновременно с морской картиной, а всегда продолжалось еще две-три секунды, когда уже мигала следующая: бодренькие похороны, скажем, или оборванные военнопленные с подчеркнуто нарядными молодцами, их пленившими. Довольно часто почему-то названием главной картины служила цитата из какого-нибудь популярного стихотворения или романса, и название это могло быть предлинным, вроде "Отцвели уж давно хризантемы в саду" или "И сердцем как куклой играя, он сердце как куклу разбил". У звезд женского пола были низкие лобики, роскошные брови, размашисто подведенные глаза. Любимцем экрана был Мозжухин. Один прославленный постановщик приобрел под Москвой дом с белыми колоннами (несколько похожий на дядин), и эта усадьба появлялась во всех его картинах. Мозжухин по снегу подъезжал к ней на лихаче и устремлял светло-стальной взгляд на горящее окно, между тем как знаменитый желвачок играл у него под тесной кожей скулы.

Когда музеи и кинематографы нас подводили, а ночь только еще начиналась, мы углублялись в изучение пустынь самого сурового и загадочного города в мире. Льдистая влага на наших ресницах превращала одиночные уличные фонари в морских тварей с раскладными хребтами. При переходе просторной площади с беззвучной внезапностью возникали перед нами разные зодческие призраки. Мы ощущали холодную дрожь, обыкновенно связуемую не с высотой, но с глубиной — с бездной, вдруг открывающейся под ногами, — когда величавые столпы из сплошного гранита, отполированные когда-то рабами (их вновь полировала луна, и они медленно вращались над нами в полированной пустоте ночи), уплывали в вышину, чтобы там подпереть таинственные округлости собора Святого Исакия. Мы останавливались как бы на самом краю грозных громад из камня и металла и, соединив руки, в лилипутовом благоговении закидывали головы, встречая на пути все новые видения, — десяток лоснисто-серых атлантов дворцового портика, или гигантскую порфирную урну у чугунной решетки сада, или тот огромный столп, увенчанный черным ангелом, скорей наваждением, чем украшением залитой лунным сияньем Дворцовой площади, все

возносившимся вверх, безнадежно пытаясь дотянуться до подножья пушкинского “Exegi monumentum”[1].

Позднее, в редкие минуты уныния, она говаривала, что наша любовь не справилась с трудностями той зимы; дала трещину, говорила она. В течение всех тех месяцев я не переставал писать стихи к ней, для нее, о ней — по два-три стихотворения в неделю; весной 1916-го я напечатал сборник и пришел в ужас, когда она мне указала нечто, совсем не замеченное мной, пока я составлял книгу. Та же зловещая трещина имелась и в сборничке — банальная гулкая нота, бойкая мысль о том, что наша любовь обречена, потому что ей никогда не вернуть чуда ее первых мгновений, шороха тех лип и шуршанья дождя, сочувственного соучастия сельской глуши. Спешу добавить, что стихи мои были попросту юношеским вздором, — чего оба мы тогда не понимали, — лишенным каких-либо достоинств, и никогда бы не следовало их издавать. Книгу (экземпляр которой еще существует, увы, в “закрытом хранилище” Ленинской библиотеки в Москве) по заслугам немедленно растерзали в своих тусклых журнальчиках те немногие рецензенты, которые заметили ее. Владимир Гиппиус, мой преподаватель русского языка в Тенишевском Училище, первоклассный, хоть и сложноватый поэт, перед которым я преклонялся (по-моему, он превосходил талантом свою значительно более знаменитую кузину Зинаиду Гиппиус), принес как-то экземпляр моего сборничка в класс и к упоительной радости моих одноклассников обрушил безжалостные сарказмы (он был большой хищник, этот рыжеволосый господин) на самые романтичные мои строки. Его знаменитая кузина, встретившись на заседании Литературного Фонда с моим отцом, его председателем, просила передать мне, пожалуйста, что я никогда, никогда писателем не буду. Благожелательный, нуждающийся и безграмотный журналист, у которого имелись причины испытывать благодарность к моему отцу, написал обо мне невозможно восторженную статью, строк пятьсот, сочившихся приторными похвалами; отец успел вовремя перехватить ее, и я живо помню, как мы читали манускрипт

---

[1] Я памятник себе воздвиг *(лат.)*.

и производили звуки — смесь зубовного скрежета и стона — которыми у нас в семье полагалось реагировать на безвкусицу или gaffe[1]. Эта история навсегда излечила меня от всякого интереса к литературной славе и была вероятно причиной того почти патологического и не всегда справедливого безразличия к "рецензиям", которое в дальнейшем лишило меня переживаний, свойственных, говорят, большинству авторских натур.

Из всех петербургских весен та весна 16-го года представляется мне самой типической, когда вспоминаю такие образы, как: Тамара в незнакомой мне белой шляпе среди зрителей футбольного состязания между школами, во время которого, в то воскресенье, редкая удача помогала мне раз за разом спасать ворота от гола; бабочку-траурницу — ровесницу нашей любви — греющую в луче солнца на спинке скамьи в Александровском Саду свои поцарапанные черные крылья с выцветшим за время спячки кантом; гудение колоколов в пряном воздухе, над темно-синей рябью Невы, сладостно свободной ото льда; пеструю от конфетти ярмарочную слякоть Конно-Гвардейского Бульвара на вербной неделе, писк, хлопанье, деревянные игрушки, горластых разносчиков восточных сладостей, картезианских чертиков, называемых "американскими жителями", — крохотных бесенят из стекла, поднимающихся и опускающихся в стеклянных трубках, наполненных розоватым или сиреневым спиртом, вроде как настоящие американцы (хоть эпитет означал всего лишь "иноземные") в лифтовых шахтах прозрачных небоскребов, когда гаснут в зеленеющем небе огни контор. Уличная суматоха насылала опьяняющее желание опять увидеть лес и поле. Тамара и я особенно мечтали об этом возвращении к нашим прежним блужданиям, но мать ее весь апрель колебалась, не зная, на что решиться — снять ли опять ту же самую дачку или остаться из экономии в городе. Наконец, поставив дочери одно условие (которое Тамара приняла с кроткой твердостью андерсеновской русалочки), она сняла дачу, и немедленно нас обволокло упоительное лето, и вот — вижу ее, мою счастливую Тамару, привставшую на цыпочки, чтобы

[1] Пошлый промах *(фр.)*.

потянуть книзу ветку черемухи со сморщенными ягодами, и весь мир и его деревья играют у нее в смеющемся взоре, и от ее веселых усилий на жарком солнце расплывается темное пятно по желтой чесуче платья под ее поднятой рукой. Мы забирались очень далеко в мшистую глубину бора, и купались в заветном затоне, и клялись в вечной любви на венках из цветов, которые она, как всякая русская русалочка, так хорошо умела сплетать, и в конце лета она вернулась в город, чтобы поступить на службу (это и было условие, поставленное ей матерью), а затем несколько месяцев я не видел ее вовсе, будучи поглощен разнообразными похождениями, которых, я считал, элегантный littérateur[1] должен искать для приобретения опыта. Я уже вступил в судорожную фазу чувств и чувственности, которой предстояло продлиться десять, примерно, лет. Глядя на нее с башни моего настоящего, вижу себя, как целую сотню молодых людей, все они гонятся за переменчивой девой в череде одновременных или наслаивающихся любовных связей, порой очаровательных, порой омерзительных, простирающихся от приключения длиною в одну ночь до отношений длительных, запутанных и притворных, приносивших весьма посредственные художественные плоды. Весь этот опыт и тени всех этих очаровательных женщин сейчас, при восстановлении прошлого, мне не только ни к чему, но еще создают какое-то досадное смещение фокуса, и как ни тереблю винтов наставленной памяти, не могу припомнить, как и где мы с Тамарой расстались. Возможно, для помутнения есть и другая причина: мы слишком часто расставались до этого. В то последнее лето в деревне мы расставались навеки после каждого тайного свидания, когда в текучей ночной тьме, на старом деревянном мосту, между туманным месяцем и мглистой рекой, я целовал ее теплые, мокрые веки и свежее от дождя лицо и, отойдя, тотчас возвращался, чтобы проститься с нею еще раз, а потом долго въезжал вверх по крутой горе, виляя во тьме, вжимая педали в чудовищно крепкий, упругий мрак, не желавший, чтобы его растоптали.

---

[1] Литератор *(фр.)*.

Помню, впрочем, с раздирающей душу яркостью один летний вечер 1917 года, когда после зимы необъяснимой разлуки, вдруг, в дачном поезде, я опять увидел Тамару. Всего несколько минут, между двумя станциями, мы простояли с ней рядом в тамбуре качающегося, грохочущего вагона, я — в состоянии острого смятения, мучительного сожаления; она же ела шоколад, аккуратно отламывая от плитки маленькие, твердые дольки, и рассказывала про контору, где работала. С одной стороны полотна, над синеватым болотом, темный дым горящего торфа смешивался с дотлевающими развалинами широкого янтарного заката. Думаю, можно доказать ссылкой на где-нибудь напечатанное свидетельство, что как раз в этот вечер Александр Блок отмечал в своем дневнике этот дым, эти небесные развалины. Позже был в моей жизни период, когда я почувствовал себя вправе связать это с моим последним воспоминанием о Тамаре, обернувшейся на ступенях вагона, чтобы взглянуть на меня перед тем, как сойти в жасмином насыщенную, обезумевшую от кузнечиков тьму; но ныне никакие посторонние маргиналии не могут замутить чистоту страдания.

3

Когда в конце года Ленин взял верх, большевики немедленно подчинили все и вся своему стремлению удержать власть; тогда-то и начал набирать силу режим кровопролития, концентрационных лагерей и заложничества. В то время многие верили в возможность борьбы с ленинской бандой и спасения достижений Мартовской революции. Отец, избранный в Учредительное Собрание, которое поначалу еще пыталось противостоять посягательствам Советов, решил до последней возможности оставаться в Петербурге, однако большую семью свою отправил в Крым, в ту пору еще свободный (этой свободе предстояло прожить лишь на несколько недель дольше). Мы поехали двумя партиями; брат и я ехали отдельно от матери и трех младших детей. Советская эра насчитывала от роду одну тусклую неделю; еще выходили либеральные газеты; и ожидая вместе с нами

поезда на Николаевском вокзале, мой невозмутимый отецприсел в буфете за угловой столик, чтобы написать своим текучим, "райским" (как говорят машинистки, дивясь на отсутствие помарок) почерком передовицу для обреченной на погибель "Речи" (или, может быть, какую-то другую неотложную статью) на тех особых, длинных, линованных полосках бумаги, что пропорционально соответствуют газетным столбцам. Насколько я помню, основной причиной нашей с братом спешной отправки была вероятность того, что нас, если мы останемся в городе, призовут в новую "красную" армию. Я был недоволен, что приходится ехать в столь чарующие места посреди ноября, когда сезон ловли бабочек давно уж закончился, тем более, что в откапывании куколок я никогда особенно силен не был (впрочем, через некоторое время я откопал нескольких под большим дубом нашего крымского парка). Недовольство сменилось унынием, когда отец, наскоро перекрестив каждого из нас, как бы между прочим добавил, что "весьма возможно" никогда больше нас не увидит, и вслед за этим ушел, в макинтоше, военной фуражке, с портфелем подмышкой, и скрылся в парном тумане.

Весьма длительная поездка на юг началась в довольно еще приличной атмосфере, вагон первого класса "Петербург—Симферополь" был жарко натоплен, лампы были целы, в коридоре стояла и барабанила по стеклу довольно известная певица в драматическом гриме, с букетом хризантем в бурой бумаге, который она прижимала к груди, а за стеклом кто-то шел и махал рукой, потому что поезд уже заскользил без единого рывка, указывающего, что мы покидаем этот серый город навсегда. Однако после Москвы уюта как не бывало. При нескольких заминках в нашем медленном, тоскливом продвижении в поезд, включая наш спальный вагон, набились в той или иной степени большевизированные солдаты, возвращавшиеся с какого-то фронта во-свояси (и называвшиеся, в зависимости от политических взглядов называющего, либо "дезертирами", либо "красными героями"). Мы с братом почему-то нашли забавным запереться в нашем купе и никого не впускать. Несколько солдат, ехавших на крыше вагона, усовершен-

ствовали развлечение, попытавшись, не без некоторого успеха, употребить вентилятор нашего отделения в виде уборной. Когда замок двери не выдержал, брат, обладавший незаурядными сценическими способностями, изобразил все положенные симптомы тифозной горячки, и нас оставили в покое. На третье, что ли, утро, едва рассвело, я воспользовался какой-то остановкой, перебившей это веселое путешествие, чтобы выйти подышать воздухом. Осторожно переступая тела храпящих людей, я пробился через коридор и сошел с поезда. Белесый туман висел над платформой безымянной станции — мы находились где-то недалеко от Харькова. Я был в гетрах и котелке. В руке я держал трость, коллекционный экземпляр, принадлежавший дяде Руке — светлого, прелестного, веснущатого дерева, с круглым и гладким коралловым набалдашником в золотой коронообразной оправе. Признаюсь, что будь я одним из трагических бродяг, маячивших в тумане этой платформы, по которой прогуливался взад-вперед недружелюбный молодой франт, я бы не удержался от соблазна уничтожить его. Только я собрался влезть обратно в вагон, как поезд дернулся и поехал, нога моя соскользнула, а тросточка упала под поплывший поезд. Особенно привязан к ней я не был (и собственно, через несколько лет по небрежности ее потерял), но на меня смотрели из окон, и пыл молодого amour prorpe[1] заставил меня сделать то, на что сегодня бы никак не решился. Я дал проползти одному, второму, третьему, четвертому вагону (русские поезда, как известно, очень постепенно набирали скорость), и, когда наконец обнажились рельсы, поднял лежавшую между ними трость и бросился нагонять уменьшавшиеся, как в кошмаре, буфера. Крепкая пролетарская рука, следуя правилам сентиментальных романов (вместо таковых же марксизма), помогла мне взобраться в последний вагон. Но если бы я поезда не догнал, правила эти, может быть, не были бы нарушены, ибо я оказался бы недалеко от Тамары, которая уже переехала на юг и жила на украинском хуторе, в каких-нибудь ста верстах от места моего глупого приключения.

---

[1] Самолюбие *(фр.)*.

4

О ее местопребывании я неожиданно узнал через месяц после того, как мы появились в южном Крыму. Наша семья осела недалеко от Ялты, в Гаспре, около Кореиза. Места эти показались мне совершенно чужими, запахи были не русские, звуки были не русские, рев осла, раздававшийся каждый вечер сразу за тем, как муэдзин начинал нараспев молиться на крыше деревенского минарета (узкой бирюзовой башенки на фоне персикового неба), — все это решительно напоминало Багдад. И вот, вижу себя стоящим на кремнистой, белой как мел тропинке над белым как мел руслом ручья, отдельные, змеистые струйки которого тонко оплетали яйцеподобные камни, через которые они текли, — и держащим в руке письмо от Тамары. Я смотрел на крутой обрыв Ялтинских гор, по самые скалы венца обросший каракулем таврической сосны; на дебреобразную полоску вечнозеленой растительности между горой и морем; на перламутровое небо, где претенциозно горел лунный серп с единственной рядом стыдливой звездой; и вся эта искусственная обстановка вдруг представилась мне приятно проиллюстрированным, пусть и прискорбно сокращенным местом из “Тысячи и одной ночи”. Внезапно я ощутил всю горечь изгнания. Влияние Пушкина, конечно, — Пушкина, бродившего здесь в пору ссылки среди привозных кипарисов и лавров, — но хоть некоторые позывы и могли исходить от его элегий, моя экзальтация не кажется мне позерством. С тех пор и на несколько лет потеря родины оставалась для меня равнозначной потере возлюбленной, пока писание романа не утолило плодовитого томления.

Между тем жизнь семьи коренным образом изменилась. За исключением некоторых драгоценностей, хитроумно схороненных в обычных жестянках с туалетным тальком, у нас не осталось ничего. Но не это было, конечно, существенно. Местное татарское правительство смели новенькие советы, и мы испытывали самое бредовое и унизительное чувство полнейшей незащищенности. Всю зиму 1917–1918-го и до самой ветреной и яркой крымской весны идиотская смерть ковыляла бок о бок с нами. Каждый второй день на белом ялтинском молу (где, как помните,

чеховская Дама с Собачкой потеряла когда-то лорнет в курортной толпе), бандитского облика большевицкие матросы, специально для того завезенные из Севастополя, предусмотрительно привязывали тяжести к ногам безобидных жителей, а затем расстреливали их. Отец, человек далеко не безобидный, к тому времени присоединился к нам после всяческих опасных приключений и принял, в этом краю специалистов по легочным заболеваниям, мимикрическое обличие доктора, не сменив однако же имени ("просто и изящно", как сказал бы о соответствующем ходе шахматный комментатор). Мы жили в неприметном отдельном домике, предоставленном нам добрым другом, графиней Софьей Паниной. В некоторые ночи, когда особенно упорными становились слухи о грабежах и расстрелах, мужчины нашей семьи выходили по очереди караулить дом. Тонкие тени олеандровых листьев, колеблемые ветерком с моря, осторожно перемещались по бледной стене, как бы с преувеличенной осторожностью указывая на кого-то. У нас был дробовик и бельгийский автоматический пистолет, из которого мы старательно палили по листку с декретом, извещавшим, что каждый, противозаконно владеющий стрелковым оружием, будет казнен на месте.

Случай обошелся с нами по-доброму; ничего не случилось, не считая испуга, когда в разливе январской ночи к нам подкралась разбойничьего вида фигура, вся в коже и меху, которая, впрочем, оказалась нашим бывшим шофером Цыгановым: он не задумался проехать от самого Петербурга, на буферах и в товарных вагонах, по всему пространству ледяной и звериной России, только для того, чтобы доставить нам деньги, неожиданно посланные друзьями. Привез он и письма, пришедшие на наш петербургский адрес, и среди них было то письмо от Тамары. Прожив у нас с месяц, Цыганов заявил, что крымская природа ему надоела, и отправился тем же способом назад, на север, с большим мешком за плечами, набитым различными предметами, которые мы бы с удовольствием ему отдали, знай мы, что ему приглянулись все эти теннисные туфли, пресс для штанов, ночные сорочки, дорожные часы, утюг и еще какая-то чепуха, теперь уже мной забытая: на отсутствие их нам с мстительным пылом указала худосочная горничная,

чьих бледных чар он тоже не пощадил. Любопытно, что он уговорил нас перенести драгоценные камни моей матери из жестянки с туалетным тальком (секрет которой он сразу разгадал) в яму, вырытую в саду под разносторонним дубом, — где они и оказались в полной сохранности после его отъезда.

Затем, одним весенним днем 1918 года, когда розовый дымок цветущего миндаля оживил темные горные склоны, большевики исчезли, и их заменили на редкость молчаливые немцы. Русские патриоты разрывались между животной радостью, связанной с избавлением от родных палачей, и тем, что за отсрочку исполнения приговора приходится благодарить чужеземных захватчиков — да еще и немцев. Последние, однако, уже проигрывали войну на западе и в Ялту вошли на цыпочках, со стесненными улыбками — армия серых призраков, игнорировать которых патриоту не составляло труда; он их и игнорировал, разве что фыркая неблагодарно при виде робких табличек "ТРАВУ НЕ ТОПТАТЬ", возникших на парковых лужайках. Месяца через два, очень мило починив канализацию на различных виллах, в которых обитали комиссары, немцы в свою очередь отбыли; на смену явились с востока белые, и скоро они уже бились с Красной армией, наседавшей на Крым с севера. Отец вошел министром юстиции в Краевое Правительство, находившееся в Симферополе, а мы переселились под Ялту, в Ливадию, прежнее владение царя. Торопливая, горячечная веселость, обычная для удерживаемых белыми городов, вновь возродила, в вульгарном виде, привычные приметы прежних, мирных лет. Буйным цветом расцвели всякого рода театры. Однажды, на горной тропе, я встретился со странным всадником в черкеске; напряженное, вспотевшее лицо его было удивительным образом расписано желтой краской. Он гневно дергал поводья лошади, которая, не обращая никакого внимания на всадника, спускалась по крутой тропе, с сосредоточенным выражением обиженного гостя, решившего покинуть вечеринку. Я прежде видел понесших лошадей, но никогда не видел, так сказать, пошедших; изумление мое приятно обострилось, когда я узнал в несчастном наезднике Мозжухина, которым мы с Тамарой часто любовались на экране. На горном пастбище

репетировали сцену из фильма "Хаджи-Мурат" (по повести Толстого о рыцарственном предводителе горцев). "Держите проклятое животное", — сказал Мозжухин сквозь зубы, увидев меня, но в ту же минуту, с хрустом и грохотом осыпи, двое настоящих татар примчались ему на помощь, а я со своей рампеткой продолжал подниматься к зубчатым скалам, где меня поджидала гипполита эвксинской расы.

В то лето 1918 года, скудный маленький оазис с миражом молодости, мы с братом часто хаживали в береговое имение Олеиз, которым владела гостеприимная и эксцентричная семья. Между мною и моей однолеткой Лидией Т. вскоре возникла веселая дружба. Нас постоянно окружало множество молодых людей — юные красавицы с браслетами на загорелых руках, известный живописец по фамилии Сорин, актеры, балетный танцовщик, веселые белогвардейские офицеры, некоторым из которых предстояло в скором будущем погибнуть, так что пикники на пляжах и полянах, потешные огни и изрядное количество крымского мускаталюнель немало способствовали развитию большого числа шутливых романов; а тем временем мы с Лидией использовали этот легкомысленный, упадочный и не вполне реальный фон (воскрешавший, как я не без приятности полагал, атмосферу посещения Крыма Пушкиным за сто лет до того) для отчасти утешительной игры нашего собственного изобретения. Идея ее состояла в пародировании биографического подхода, так сказать спроецированного в будущее и тем самым преобразующего весьма нарочитое настоящее в подобие парализованного прошлого, воспринимаемого старчески словоохотливым мемуаристом, который вспоминает, беспомощно плутая в тумане, о своем юношеском знакомстве с великим писателем. К примеру, Лидия либо я (все определялось минутным вдохновением) могли произнести, выйдя после ужина на террасу: "Писатель любил выйти после ужина на террасу", или "Я всегда буду помнить замечание, сделанное В.В. одной теплой ночью: "А теплая нынче ночь", — заметил он", или еще глупее: "У него была привычка сначала разжечь папиросу, а уж потом ее выкурить", — все это произносилось с интонацией раздумчивого, пристрастного воспоминания, казавшейся нам в ту пору смешной и безобидной; но теперь —

теперь ловлю себя на мысли, не пробудили ли мы, сами того не ведая, некоего своенравного и злобного демона.

Все эти месяцы, во всяком мешке с почтой, ухитрившемся добраться с Украины до Ялты, я получал письмо от моей Синары. Ничего нет загадочнее способа, которым письма, под присмотром непредставимых почтальонов, циркулируют сквозь жуткую неразбериху гражданских войн; тем не менее всякий раз что в нашей переписке возникал, вследствие этой неразберихи, разрыв, Тамара вела себя так, словно доставка почты равнялась для нее обычному природному явлению, вроде перемены погоды или регулярности приливов, — явлению, на которое не способны влиять дела человеческие, — и корила меня за то, что я ей не отвечаю, между тем как я только и делал во все эти месяцы, что писал к ней и думал о ней — несмотря на множество совершавшихся мною измен.

5

Счастлив писатель, которому удалось вставить в труд свой подлинное любовное письмо, полученное им в юности, облечь его податливой плотью, словно чистую пулю, и в безопасности сохранить между созданных им характеров. Жаль, что не сберег я всю нашу переписку тех дней. Письма Тамары постоянно воскрешали деревню, которую мы так хорошо знали. В каком-то смысле они были далеким, но восхитительно чистым антифонным откликом на куда менее выразительные стихи, которые некогда я ей посвящал. Посредством неизбалованных слов, секрета которых я так и не смог раскрыть, ее гимназическая проза умела с громовой мощью возродить каждый шорох сырой листвы, каждый заржавленный осенью побег папоротника в сельской местности под Петербургом. “Почему нам было так весело, когда шел дождь?” — вопрошала она в одном из последних писем, припадая, так сказать, к чистому источнику риторики. “Боже мой (скорее “Mon Dieu”, чем “My God”), где оно — все это далекое, светлое, милое!” (русский язык не требует здесь подлежащего, роль отвлеченных существительных играют на голой сцене, залитой мягким светом, нейтральные прилагательные).

Тамара, Россия, глухой лес, постепенно переходящий в старинные парки, мои северные березы и ели, вид моей матери, опускающейся на колени, чтобы поцеловать землю, при каждом своем возвращении в деревню из города в начале лета, et la montagne et le grand chêne[1] — вот что судьба в конце концов увязала в неряшливый узел и зашвырнула в море, навсегда разлучив меня с отрочеством. Не знаю, впрочем, так ли уж многое можно сказать в пользу более безболезненной участи, в пользу, допустим, гладкой, спокойной, столь явственной в маленьких городках неразрывности времени, с ее примитивистским отсутствием перспективы, при котором и в пятьдесят еще живешь себе в дощатом домике своего детства и всякий раз, прибираясь на чердаке, натыкаешься на все те же побурелые школьные учебники, так и застрявшие в позднейших наслоениях мертвых вещей, и жена твоя летними солнечными утрами останавливается на улице, чтобы в который раз вытерпеть минуту-другую в обществе страшной, болтливой, крашеной, влачащейся в церковь миссис Мак-Ги, бывшей когда-то, году в 1915-м, хорошенькой, шаловливой Маргарет Энн с пахнущим мятой дыханьем и проворными пальцами.

Перелом моей собственной участи дарит меня, в ретроспекции, обморочным упоением, которого ни на что на свете не променяю. С самого времени нашей переписки с Тамарой тоска по родине стала для меня делом чувственным и частным. Ныне, если воображаю колтунную траву Яйлы, или Уральское ущелье, или солончаки за Аральским морем, я остаюсь столь же холоден в патриотическом и ностальгическом смысле, как в отношении, скажем, Ютахи; но дайте мне, на любом материке, сельский простор, напоминающий Петербургскую губернию, и душа моя тает. Каково было бы в самом деле увидать опять прежние мои места, мне трудно представить себе. Часто думаю: вот, съезжу туда с подложным паспортом под вымышленной фамильей. Это можно было бы сделать.

Но вряд ли я когда-либо сделаю это. Слишком долго, слишком праздно я об этом мечтал. Совершенно так же во

[1] И гора, и огромный дуб *(фр.)*.

всю вторую половину моего шестнадцатимесячного проживания в Крыму я все собирался поступить в Деникинскую армию, не столько для того, чтобы проклацать верхом на боевом коне по брусчатым петербургским предместьям (мечта моего бедного Юрика), сколько чтобы добраться до Тамариного хуторка, — собирался так долго, что когда наконец надумал, армия уже развалилась. В марте 1919-го красные ворвались в северный Крым и в портах его началась суматошная эвакуация анти-большевицких сообществ. На небольшом, неказистом греческом судне “Надежда”, с грузом сушеных фруктов возвращавшимся в Пирей, наша семья отплыла по глянцевым водам из севастопольской бухты, под беспорядочно бившим с берега пулеметом (порт только что был захвачен большевиками). Помню, пока судно виляло по бухте, я старался сосредоточиться на шахматной партии, которую играл с отцом, — у одного из коней не хватало головы, покерная фишка заменяла недостающую ладью, — и чувство, что я покидаю Россию, полностью заслонялось мучительной мыслью, что при красных или без красных, а письма от Тамары так и будут приходить, бессмысленным чудом, в южный Крым, и разыскивать беглого адресата, слабо порхая по воздуху, словно смущенные бабочки, выпущенные в чуждой им зоне, на неправильной высоте, среди неведомой флоры.

Глава тринадцатая

1

В 1919 году целая стайка Набоковых — три семьи, в сущности говоря, — через Крым и Грецию бежала из России в Западную Европу. Мы с братом должны были поступить в Кембриджский университет, на стипендию, предоставленную нам скорее во искупление наших политических бед, чем в виде признания интеллектуальных достоинств. Предполагалось, что вся остальная семья пока поселится в Лондоне. Житейские расходы должны были оплачиваться горсткой драгоценностей, которые Наташа, дальновидная старая горничная, перед самым отъездом матери из Петербурга в 1917 году смела с туалетного столика в nécessaire и которые какое-то время были погребены или, возможно, претерпели процесс некоего таинственного созревания в крымском саду. Мы покинули наш северный дом ради краткой, как мы полагали, передышки, благоразумной отсидки на южной окраине России; однако бешеное неистовство нового режима стихать никак не желало. Два проведенных в Греции весенних месяца я посвятил, снося неизменное негодование пастушьих псов, поискам оранжевой белянки Грюнера, желтянки Гельдриха, белянки Крюпера: поискам напрасным, ибо я попал не в ту часть страны. На палубе кьюнардовского лайнера "Паннония", 18 мая 1919 года отплывшего от берегов Греции, направляясь (на двадцать один год раньше, чем требовалось, — что касается меня) в Нью-Йорк, но нас высадившего в Марселе, я учился плясать фокстрот. Франция прогремела мимо в угольно-черной ночи. Бледный "канал" еще качался внутри нас, когда поезд Дувр—Лондон тихо затормозил и встал. Картинки с изображением серой груши, там и сям

висевшие на угрюмых стенах вокзала “Виктория”, рекламировали мыло для ванн, которым меня в детстве намыливала английская гувернантка. Уже через неделю я лощил пол на благотворительном балу, щека к щеке с моей первой английской душечкой, ветреной, гибкой девушкой, старшей меня на пять лет.

Отец и раньше бывал в Англии — в последний раз он приезжал туда в феврале 1916 года, с пятью другими видными деятелями русской печати, по приглашению британского правительства, желавшего показать им свою военную деятельность (которая, как им намекнули, недостаточно оценивалась русским общественным мнением). По дороге туда поэт и романист Алексей Толстой (не родственник графа Льва Николаевича), вызванный отцом и Корнеем Чуковским на соревнование — требовалось придумать рифму к “Африка”, — сочинил, хоть его и томила морская болезнь, очаровательное двустишие:

Вижу пальму и кафрика.
Это — Африка.

В Англии гостям показали флот. Обеды и речи следовали друг за дружкой величественной чередой. Своевременное взятие русскими Эрзерума и предстоящий вскоре в Англии военный призыв (“Will you march too or wait till March 2?”[1]) снабжали ораторов подручными темами для речей. Состоялись — официальный банкет, на котором председательствовал сэр Эдвард Грей, и забавный разговор с Георгом Пятым, у которого Чуковский, enfant terrible[2] этой компании, стал добиваться, нравятся ли ему произведения Оскара Уайльда — “дзи воркс оф Уалд”. Король, озадаченный выговором собеседника, да к тому же никогда и не бывший рьяным читателем, ответил встречным вопросом: нравится ли гостям лондонский туман (Чуковский впоследствии с большим торжеством приводил это как

---

[1] Ты тоже выступишь в поход или будешь дожидаться 2 марта? *(англ.)*.

[2] Несносное дитя *(фр.)*.

пример английского ханжества — замалчивания писателя из-за безнравственности его личной жизни).

При недавнем посещении Публичной Библиотеки в Нью-Йорке выяснилось, что описанный выше эпизод не вошел в книгу отца "Из воюющей Англии" (Петроград, 1916 г.) — вообще я нахожу в ней мало примеров его обычного юмора, не считая, быть может, описания игры в бадминтон (или в "файвс", что ли) с Г. Дж. Уэльсом и забавного рассказа о посещении английских окопов во Фландрии, где гостеприимство хозяев любезно включило даже взрыв немецкого снаряда вблизи посетителей. Отчет этот, прежде чем быть изданным в виде книги, печатался с продолжением в русской газете. В одной из статей отец рассказал, с несколько старосветским простодушием, о том, как он подарил свое вечное перо Swan адмиралу Джеллико, который за завтраком занял его, чтобы автографировать меню, и похвалил его плавность. Неуместное обнародование названия фирмы получило в лондонских газетах немедленный отклик в виде огромного объявления от фирмы Mabie, Todd and Co., Ltd., которая цитировала перевод этого места из статьи отца и изображала его на рисунке предлагающим ее изделие командиру флота под хаотическим небом морского сражения.

Но теперь не было ни речей, ни банкетов, ни даже игры в файвс с Уэльсом, которого оказалось невозможным убедить, что большевизм представляет собой лишь брутальную, законченную разновидность варварского гнета, — саму по себе такую же древнюю, как пески пустынь, — а вовсе не привлекательно новый эксперимент, за который его принимали столь многие иностранные наблюдатели. После нескольких дорогостоящих месяцев проживания в снятом на Эльм-Парк-Гарднз доме родители с тремя младшими детьми переехали в Берлин (где до своей смерти в марте 1922 года отец вместе с Иосифом Гессеном, также членом Партии Народной Свободы, редактировал русскую эмигрантскую газету), между тем как брат мой и я поступили в Кембриджский университет — он в Christ College, а я в Trinity.

2

У меня было двое братьев — Сергей и Кирилл. Кирилл, младший ребенок в семье (1911—1964), был также и моим крестным сыном, что случается в русских семьях. В ходе церемонии крещения, производившейся в зале нашего вырского дома, я несколько минут с опаской продержал его в руках, прежде чем передать крестной матери, Екатерине Дмитриевне Данзас (двоюродной сестре моего отца и внучатой племяннице К. К. Данзаса, бывшего на роковой дуэли секундантом Пушкина). В раннем возрасте Кирилл, вместе с двумя моими сестрами, принадлежал к отдаленным детским, отчетливо отделенным от комнат, занимаемых старшими братьями в городском доме и в поместье. За два десятилетия моего европейского изгнания, 1919—1940, я виделся с ним очень редко, а после и вовсе не виделся, вплоть до следующего моего приезда в Европу в 1960 году, когда мы с ним короткое время встречались, радостно и очень по-дружески.

Кирилл учился в школах Лондона, Берлина и Праги и закончил университет в Лёвене. Он женился на Жильберте Барбансон, бельгийке, управлял (юмористически, но не без успеха) бюро путешествий в Брюсселе и умер в Мюнхене от сердечного приступа.

Он любил морские курорты и обильную пищу. Как и я, он ненавидел бой быков. Говорил на пяти языках. Был мастером на розыгрыши. Одной из главных реальностей его жизни была литература, особенно русская поэзия. В стихах его ощущается влияние Гумилева и Ходасевича. Печатался он редко и всегда очень сдержанно говорил о своих сочинениях, как и о своей укрытой за пеленою подшучивания внутренней жизни.

Говорить о другом моем брате мне, по различным причинам, необычайно трудно. Запутанные поиски Себастьяна Найта (1940), с их беседками и матовыми комбинациями, ничто в сравнении с задачей, от решения которой я уклонился в первом варианте этих мемуаров и перед которой стою теперь. Если не считать двух-трех пустяковых приключений, кратко описанных мною в предыдущих главах, его отрочество редко переплеталось с моим. Он не более

чем тень на заднем плане самых пестрых и подробных моих воспоминаний. Меня нежили и баловали, он же лишь присутствовал при этом. Рожденный кесаревым сечением через десять с половиной месяцев после меня, 12 марта 1900, он созрел раньше, чем я, и физически выглядел старше. Мы редко играли вместе, большая часть того, что я любил — игрушечные поезда, игрушечные пистолеты, индейцы, бабочки, — оставляла брата равнодушным. Лет в шесть-семь его охватило страстное поклонение (поощряемое Mademoiselle) перед Наполеоном, так что он даже в постель брал с собой бронзовый бюстик. Я был мальчишкой неуемным, склонным к приключениям и несколько хулиганистым. Он был тих и вял, и проводил с нашими наставниками куда больше времени, чем я. В десять он заинтересовался музыкой и с той поры брал бесчисленные уроки, ходил с отцом на концерты и целыми часами играл наверху на пианино отрывки из опер, разносившиеся по всему дому. Я подкрадывался сзади и тыкал его пальцами под ребра — горестное воспоминание.

Мы с ним учились в разных школах; он ходил в прежнюю гимназию отца и носил установленную правилами черную форму, к которой добавил в пятнадцать лет нечто противозаконное: мышастые гетры. Примерно в это же время страница из братнина дневника, найденная мной на его столе и прочитанная и по причине дурацкого удивления показанная домашнему учителю, который тут же показал ее отцу, прояснила, задним числом, некоторые странности его поведения в прошлом.

Единственной игрой, которую мы любили оба, был теннис. Мы много играли вдвоем, особенно в Англии, на неровном травяном корте в Кенсингтоне, на хорошем глиняном в Кембридже. Он сильно заикался, что служило помехой при обсуждении спорных пунктов. Несмотря на слабый сервис и отсутствие сколько-нибудь приличного удара слева, победить его было нелегко, ибо он принадлежал к игрокам, у которых никогда не случается двух неправильных подач кряду и которые возвращают любой мяч с упорством тренировочной стены. В Кембридже мы с ним проводили вместе куда больше времени, чем где бы то ни было, и обзавелись, наконец, несколькими общими друзья-

ми. Университет мы окончили по одним и тем же предметам и с одинаковыми отличиями, после чего он перебрался в Париж, где в последующие годы давал уроки английского и русского, совсем как я в Берлине.

Снова мы встретились с ним уже в тридцатых годах и были вполне дружны в 1938—1940, в Париже. Он часто забегал поболтать на rue Boileau, где мы с тобой и с ребенком снимали две убогие комнатки, вышло однако так (он уезжал куда-то), что о нашем отъезде в Америку он узнал уже погодя. С Парижем у меня связаны самые унылые воспоминания, облегчение, с которым я его оставил, было ошеломляющим, и все же с сожалением думаю о брате, изливающим свое заикающееся изумление равнодушной консьержке. О жизни его во время войны мне известно немногое. Какое-то время он работал переводчиком в одной берлинской конторе. Человек прямой и бесстрашный, он порицал режим перед коллегами, и те его выдали. Брата арестовали, обвинив в том, что он "британский шпион", и отправили в гамбургский концентрационный лагерь, где он умер от истощения 10 января 1945 года. Это одна из тех жизней, что безнадежно взывает к чему-то, постоянно запаздывающему, — к сочувствию, к пониманию, не так уж и важно к чему, — важно, что одним лишь осознанием этой потребности ничего нельзя ни искупить, ни восполнить.

3

Начало моего первого терма в Кембридже было зловещим. Помню мокрый и мрачный октябрьский день, когда с неловким чувством, что участвую в каком-то жутковатом ряженье, я в первый раз надел иссиня-черный студенческий плащ и черный квадратный головной убор, чтобы явиться с официальным визитом к Е. Гаррисону, моему "тютору", университетскому наставнику. Я поднялся по лестнице и постучал в слегка приоткрытую массивную дверь. "Входите", — с отрывистой гулкостью сказал далекий голос. Я миновал подобье прихожей и попал в кабинет. Бурые сумерки опередили меня. В кабинете не было света, кроме пышущего огня в большом камине, около которого

смутная фигура восседала в еще более смутном кресле. Я подошел со словами: "Моя фамилья..." и вступил в чайные принадлежности, стоявшие на ковре около низкого камышового кресла мистера Гаррисона. С недовольным кряком он наклонился с сиденья, поставил чайник на место и затем зачерпнул с ковра в небрезгливую горсть и шлепнул обратно в чайник извергнутое им черное месиво чайных листьев. Так студенческий цикл моей жизни начался с ноты неловкости, с ноты, которая не без упорства повторялась во все три года моей университетской жизни.

Гаррисону показалась блестящей идея дать мне в сожители другого White Russian[1], так что сначала я делил квартирку в Trinity Lane с несколько озадаченным соотечественником. Через несколько месяцев он покинул университет, и я остался единственным обитателем этих апартаментов, казавшихся мне нестерпимо убогими в сравнении с моим далеким и к тому времени уже не существовавшим домом. Ясно помню безделушки на камине (стеклянную пепельницу с крестом Trinity, брошенную кем-то из прежних жильцов; морскую раковину, в которой томился взаперти гул одного из летних месяцев, проведенных мною у моря) и ветхую пианолу моей квартирной хозяйки, трогательное сооружение, набитое надорванной, раздавленной, спутанной музыкой, которой довольно было вкусить один раз, чтобы уж больше к ней не касаться. Узкая Trinity Lane была благоустроенной и довольно грустной улочкой, почти лишенной движения, но обладающей зато длинной и мрачной историей, начинавшейся в шестнадцатом веке, когда она именовалась Findsilver Lane, впрочем ходовое ее название было куда грубее — из-за отвратительного состояния ее сточных канав. Я часто простужался, хотя утверждение, которое приходится временами слышать, будто зимой в кембриджских спальнях стоит такая стужа, что вода в умывальном кувшине промерзает до дна, совершенно неверно. На самом деле все ограничивалось тонким слоем льда на поверхности, да и тот легко разбивался зубной щеткой на кусочки, издававшие звон, обладающий, задним числом, праздничной притягательностью для моего обамериканив-

[1] "Белого" русского *(англ.)*.

шегося уха. В остальном вылезание из постели не сулило никакого веселья. Кости мои и поныне чувствуют холод утреннего паломничества в ванное заведение при колледже, когда тащишься по Trinity Lane, выдыхая чахлые клубы пара, в тонком халате поверх пижамы и с губкой в холодном толстом мешке подмышкой. Ничто в мире не могло бы заставить меня носить те нательные фуфайки, которыми втайне согреваются англичане. Пальто почиталось принадлежностью неженки. Облачение рядового кембриджского студента, был ли последний спортсменом или поэтом левого толка, отличалось тусклой прочностью: башмаки на резиновых подошвах, темно-серые фланелевые панталоны и консервативно бурый свитер на пуговицах ("джемпер") под просторной курткой. Те, кого, по моим понятиям, можно было отнести к модникам, носили старые бальные туфли, бледносерые фланелевые штаны, яркожелтый "джемпер" и пиджак от хорошего костюма. К тому времени мое юношеское увлечение нарядами уже угасало, и все же после русских строгостей было приятно разгуливать в шлепанцах, без подвязок и в рубашках с пришитыми воротничками (в ту пору — дерзкое новшество).

Мирный маскарад, в который я довольно вяло включился, оставил в моей душе отпечаток столь незначительный, что продолжать его описание было бы просто скучно. Настоящая история моего пребывания в английском университете есть история моих потуг стать русским писателем. У меня было чувство, что Кембридж и все его знаменитые особенности — величественные ильмы, расписные окна, говорливые башенные часы — не имеют сами по себе никакого значения, существуя только для того, чтобы обрамлять и подпирать мою пышную ностальгию. Эмоционально я был в состоянии человека, который только что потеряв нежно к нему относившуюся родственницу, вдруг понимает — слишком поздно, — что из-за какой-то лености души, усыпленной дурманом житейского, он как-то никогда не удосужился узнать покойную по-настоящему, как она того заслуживала, и никогда не высказал своей, тогда мало осознанной, любви, которую теперь уже ничем нельзя было разрешить. Я сидел у камина в моей кембриджской комнате, и слезы навертывались на глаза, и разымчивая баналь-

ность тлеющих углей, одиночества, отдаленных курантов наваливалась на меня, изменяя самые складки моего лица, — подобно тому, как лицо авиатора искажает фантастическая скорость его полета. Я думал о том, сколько я пропустил в России, сколько всего я бы успел приметить и запасти, кабы предвидел, что жизнь повернет так круто.

Некоторым встреченным мною в Кембридже собратьям по изгнанию эти чувства были столь очевидны и знакомы, что разговор о них показался бы плоским и почти неприличным. Когда же мне случалось беседовать с теми из “белых” русских, что побелее, я скоро замечал, что патриотизм и политика сводились у них к животной злобе, направленной против Керенского скорей, чем Ленина, и зависевшей исключительно от материальных неудобств и потерь. Но гораздо сложнее и неожиданнее для меня обстояло дело с теми английскими моими знакомыми, которые считались культурными, тонкими, человеколюбивыми людьми, но которые, несмотря на свою духовную изысканность, начинали нести сверхъестественный вздор, как только речь заходила о России. Мне особенно вспоминается один молодой социалист, долговязый великан, чьи медлительные и сложные манипуляции трубки раздражали собеседника, не соглашавшегося с ним, но соглашавшегося пленяли своей чудесной успокоительностью. Я много и мучительно спорил с ним о политике; горечь исчезала, как только он начинал говорить о любимых наших английских поэтах. Ныне он довольно известен среди равных ему — фраза, согласен, немного бессмысленная, но я ведь и стараюсь сделать его понеузнаваемее; я дам ему имя “Несбит” — так я прозвал его тогда (или теперь пытаюсь вас в этом уверить) не только из-за его мнимого сходства с портретами молодого Максима Горького, ценимой в ту эпоху региональной посредственности, один из рассказов которой (“Мой спутник” — еще одна уместная нота) перевел по-английски некий Р. Несбит Бейн, но и потому, что “Несбит” позволяет ввести сладостно палиндромную ассоциацию с “Ибсен” — именем, которое мне скоро понадобится.

Говорят, и, вероятно, справедливо, что в двадцатые годы сочувствие ленинизму со стороны английских и американских передовых кругов основано было на соображениях

внутренней политики. Однако оно зависело и от простого невежества. То немногое, что мой друг знал о прошлом России, он получил из мутных коммунистических источников. Когда я допытывался, как же он оправдывает зверский террор, установленный Лениным, пыточные застенки, забрызганные кровью стены, — Несбит выбивал трубку о чугун очага, менял положение громадных скрещенных ног в тяжелых башмаках и что-то бормотал о "союзной блокаде". Русских эмигрантов всех возможных оттенков, от крестьянского социалиста до генерала Белой армии, он преспокойно сбивал в кучу "царистских элементов" — примерно так же нынешние советские писатели распоряжаются словом "фашист". Ему никогда не приходило в голову, что если бы он и другие иностранные идеалисты были бы русскими в России, их бы ленинский режим истребил так же естественно, как хорьки или фермеры истребляют кроликов. По его мнению то, что он довольно жеманно называл "меньшим разнообразием мнений" при большевиках (чем в мрачные дни царизма), было следствием "отсутствия всякой традиции свободомыслия в России" — утверждение, вычитанное им, полагаю, в какой-нибудь слабоумной "Заре над Россией" из тех, что писали в то время красноречивые английские и американские ленинисты. Но что меня раздражало, быть может, сильнее всего, так это отношение Несбита к самому Ленину. Всякому образованному и понимающему русскому известно, что вкуса и интереса к эстетическим материям у этого ловкого политика было столько же, сколько у заурядного русского мещанина на пошиб флоберовского épicier[1] (такие обожают Пушкина по гнусному либретто Чайковского, плачут на итальянских операх и млеют перед любой картиной, которая рассказывает "историю"); однако Несбит и его интеллектуальные друзья видели в нем чувствительнейшего, обладающего поэтичным складом ума покровителя и поборника новейших течений в искусстве и только снисходительно улыбались, когда я пытался им объяснить, что связь между передовым в политике и передовым в поэтике — связь чисто словесная (чем, конечно, радостно пользовалась советская

---

[1] Лавочник *(фр.)*.

пропаганда) и что чем радикальнее русский человек в своих политических взглядах, тем обыкновенно консервативнее он в художественных.

В моем распоряжении было немало таких истин, которые я норовил обнародовать, однако Несбит, твердо укоренившийся в своем невежестве, считал их просто фантазиями. Русскую историю (объявлял я, к примеру) можно рассматривать с двух точек зрения (по какой-то причине обе равно сердили Несбита): во-первых, как эволюцию полиции (странно безличной и как бы даже отвлеченной силы, иногда работающей в пустоте, иногда беспомощной, а иногда превосходящей правительство в зверствах); а во-вторых, как развитие изумительной культуры. При царях (мог продолжать я), несмотря на бестолковый и свирепый в основе своей характер их правления, вольнолюбивый русский человек имел несравненно больше возможностей для самовыражения и несравненно меньше рисковал при этом, чем под правлением Ленина. Со времени реформ восемьсот шестидесятых годов страна обладала (хоть и не всегда его придерживалась) законодательством, которым могла бы гордиться любая западная демократия, сильным общественным мнением, которое не позволяло деспотам особенно разгуляться, повсеместно читаемыми периодическими изданиями всех оттенков либеральной политической мысли, и что особенно поразительно, бесстрашными и независимыми судьями ("Ой, бросьте..." — перебивал меня Несбит). Когда революционеров ловили, ссылка в Томск или Омск (ныне Бомбск) выглядела курортным отдыхом в сравнении с учрежденными Лениным концентрационными лагерями. Политические ссыльные убегали из Сибири с фарсовой легкостью, чему свидетельство знаменитый побег Троцкого — Святого Льва Троцкого, Деда Мороза, весело возвратившегося под Святки в санях, запряженных северным оленем, — ходу, Резвый, ходу, Бестолочь, ходу, Молниеносный Мясник!

Вскоре я понял, что если мои взгляды, не столь уж и необычные для русского демократа за границей, встречались английскими демократами in situ[1] с болезненным

---

[1] На месте нахождения *(лат.)*.

удивлением или вежливой насмешкой, то английские ультраконсерваторы охотно принимали мою сторону, но при этом на таких грубо-реакционных основаниях, что меня их прискорбная поддержка лишь приводила в уныние. Я кстати горжусь, что уже тогда разглядел признаки того, что с такой очевидностью выяснилось ныне, когда постепенно образовался некий семейный круг, связывающий представителей всех наций: жовиальных строителей империи на своих просеках среди джунглей; французских жандармов; немецкое отродье, которое мне и называть-то не хочется; старого доброго погромщика-богомольца русской или польской породы; жилистого американца-линчера; человека с плохими зубами, из которого в баре не то в писсуаре тонкой струйкой сочатся расистские анекдотцы; и, на продолжении того же недочеловеческого круга, — безжалостных, бледномордых автоматов в богатых брюках Джона Хелда и пиджаках с квадратными плечьми, этих грозно нависающих над всеми нашими круглыми столами Sitzriesen[1], которых советская власть начала экспортировать году в 1945-м, после двадцати лет искусственного подбора и пошива для них одежды — лет, за которые заграничная мужская мода успела перемениться, так что этот символ бесконечно доступного сукна способен породить лишь жестокое осмеяние (как случилось в послевоенной Англии, когда знаменитая советская футбольная команда вышла на парад в партикулярном платье).

4

Очень скоро я бросил политику и весь отдался литературе. Я пригласил в мои кембриджские комнаты червленые щиты и синие молнии “Слова о полку Игореве” (ни с чем не сравнимого, загадочного эпоса конца то ли двенадцатого, то ли восемнадцатого столетия), поэзию Пушкина и Тютчева, прозу Гоголя и Толстого, а с ними — великолепные работы великих русских естествоиспытателей, которые исследовали и описали дебри Средней Азии. Однажды на

[1] Сидячие манекены *(нем.)*.

рыночной площади я нашел на книжном лотке русское издание, подержанный "Толковый Словарь Живого Великорусского Языка" Даля в четырех томах. Я приобрел его и решил читать по меньшей мере десять страниц в день, выписывая слова и выражения, которые мне особенно придутся по сердцу, и предавался этому занятию довольно долго. Страх потерять или засорить чуждыми влияниями единственное, что я успел вывезти из России — ее язык, — стал прямо болезнью, он изнурял меня куда сильнее, чем тот, который мне предстояло испытать двумя десятками лет позже, — страх, что я не смогу даже приблизиться в моей английской прозе к уровню моей же русской. Я засиживался до поздней ночи, окруженный почти дон-Кихотским нагромождением тяжелых томов, и лакировал мертвые русские стихи, не столько выраставшие из живых клеток какого-либо повелительного чувства, сколько нароставшие вокруг какой-нибудь живой фразы или словесного образа, который мне хотелось использовать ради него самого. Как я ужаснулся бы, если бы тогда увидел, что сейчас вижу так ясно — прямое воздействие на мои русские построения разного рода современных ("георгианских") английских рисунков стиха, которые кишели в моей комнате и бегали по мне, будто ручная мышь. И Боже мой, сколько труда я на них потратил! Внезапно, на туманном ноябрьском рассвете, я приходил в себя и замечал, как тихо, как холодно (вторая моя зима в Кембридже была, кажется, самой холодной и плодовитой). Червленое и синее пламя, в котором я видел баснословную битву, съеживалось до траурного тления: студеный закат сквозь лишаи бора. И все же я долго еще не мог заставить себя перейти в спальню, боясь не столько бессонницы, сколько неизбежных сердечных перебоев, подстрекаемых холодом простыней, да удивительного недуга, anxietas tibiarum, — болезненного беспокойства, нестерпимого нарастания мышечного чувства, когда приходится то и дело переменять положение своих конечностей. А потому я подкидывал еще угля и оживлял пламя, затянув черную, дымную пасть камина листом лондонского "Таймза". Начиналось приятное гудение за бумагой, тугой, как барабанная шкура, прекрасной, как пергамент на свет. Скоро гуд превращался в рев, оранжевое пятно появлялось

посредине листа, текст, пришедшийся на него (например, "В распоряжении Лиги нет ни подопытных кроликов, ни пушек..." или "...возмездие, припасенное Немезидой для Союзников за их нерешительность и колебания в Центральной и Восточной Европе..."), выделялся со зловещей отчетливостью — и тут оранжевое пятно взрывалось. Затем горящий лист с фырчащим шумом освобожденного феникса улетал в трубу к звездам. Приходилось платить двенадцать шиллингов штрафа, если властям доносили об этой жар-птице.

Литературная братья, Несбит с друзьями, весьма сочувствовала моим ночным трудам, но зато не одобряла множества других моих интересов, как например: энтомологии, розыгрышей, девушек и особенно спорта. Из игр, в которые я игрывал в Кембридже, футбол остается продутой ветром росчистью посреди этого довольно путанного периода. Я был помешан на голкиперстве. В России и в латинских странах доблестное искусство вратаря искони окружено ореолом особого романтизма. За независимым, одиноким, бесстрастным, знаменитым голкипером тянутся по улице зачарованные мальчишки. Как предмет трепетного поклонения, он соперничает с матадором и воздушным асом. Его свитер, фуражка, толстозабинтованные колени, перчатки, торчащие из заднего кармана трусиков, резко отделяют его от остальных членов команды. Он одинокий орел, он человек-загадка, он последний защитник. Фотографы, благоговейно преклонив одно колено, снимают его, когда он грандиозно ныряет вдоль зияющих ворот, чтобы концами пальцев задеть и отклонить низкий, молниеносный удар, — и каким одобрительным ревом исходит стадион, пока он на миг-другой остается ничком лежать на земле перед своим незапятнанным голом.

Увы, в Англии, во всяком случае в Англии моей молодости, национальный страх перед показным блеском и слишком суровая озабоченность солидной сыгранностью всей команды не поощряли развития причудливого голкиперского искусства. По крайней мере, этими соображениями я старался объяснить отсутствие особой удачливости в моей игре на футбольных полях Кембриджа. О, разумеется,

были блистательные бодрые дни — запах земли и травы, прославленный в межуниверситетских боях форвард все близится, близится и ведет мелькающим носком ступни новый желтый мяч, затем резкий удар, удачный перехват и долгое жужжание в пальцах... Но были и другие, более памятные, более эзотерические дни под тяжелыми небесами, когда пространство перед моими воротами представляло собой сплошную жижу черной грязи, и мяч был жирен, точно плумпудинг, и болела голова после бессонной ночи, посвященной составлению стихов. Я отвратительно мазал — и вынимал мяч из задней сетки. Игра милосердно переходила на другой конец поля. Начинал накрапывать слабенький дождь, задумывался и шел опять. С какой-то воркующей нежностью кричали галки, возясь в безлиственном ильме. Собирался туман. Игра сводилась к неясному мельканью голов у едва зримых ворот "St. John", или "Christ", или с каким колледжем мы в тот раз играли? Далекие невнятные звуки пинков, крик, свисток — все это было неважно и никак не относилось ко мне. В большей мере, чем хранителем футбольных ворот, я был хранителем тайны. Сложив руки на груди и прислонясь к левой штанге, я позволял себе роскошь закрыть глаза, и в таком положении слушал плотный стук сердца, и ощущал слепую морось на лице, и слышал разорванные звуки еще далекой игры, и думал о себе как о сказочном экзотическом существе, переодетом английским футболистом и сочиняющим стихи на непонятном никому языке о неизвестной никому стране. Не удивительно, что товарищи мои по команде не очень меня жаловали.

Ни разу за три моих года в Кембридже — повторяю: ни разу — не навестил я университетской библиотеки и даже не позаботился выяснить, где она расположена (теперь она в новом месте, его я знаю), или узнать, существует ли вообще библиотека колледжа, из которой можно брать книги для чтенья в своей берлоге. Я пропускал лекции. Я тайком удирал в Лондон и куда угодно. У меня было несколько одновременных любовных романов. Мистер Гаррисон проводил со мною пугающие беседы. Я перевел на русский язык два десятка стихотворений Руперта Брука, "Alice in

Wonderland" и "Colas Breugnon" Ромэна Роллана. Что до учебы, я мог с таким же успехом посещать Инст. М. М. в Тиране.

Такие вещи, как горячие булочки и пирожные, запиваемые чаем после игры, или крики газетчиков: "Пайпа, пайпа!", мешающиеся с велосипедными звонками на темнеющих улицах, казались мне в ту пору более характерными для Кембриджа, чем кажутся теперь. В конце концов я поневоле понял, что, помимо ярких, но более-менее преходящих обычаев, в Кембридже присутствует нечто, присущее только ему, более глубокое, чем ритуалы и правила, нечто такое, что множество раз пытались определить его напыщенные питомцы. Мне это коренное свойство представляется постоянством ощущения свободного простора времени. Не знаю, поедет ли кто-нибудь и когда-нибудь в Кембридж, чтобы отыскать следы шипов, оставленные моими футбольными бутсами в черной грязи перед пустым голом, или проследовать за тенью моей шапочки по четырехугольной лестнице моего тютора, но знаю, что я, проходя под почтенными стенами, думал о Мильтоне, Марвелле и Марло с чем-то большим, нежели трепет туриста. На что ни посмотришь кругом, ничто не было занавешено по отношению к стихии времени, всюду зияли естественные просветы в нее, так что мысль привыкала работать в особенно чистой и вольной среде, и поскольку в пространстве тело стесняли узкий переулок, стенами заставленный газон, темная арка, душа, по контрасту, особенно живо воспринимала прозрачную ткань времени, — вот так же море, видимое в окне, наполняет тебя радостью, даже если ты не любитель плаваний. У меня не было ни малейшего интереса к местной истории, и я был совершенно уверен, что Кембридж никак не действует на мою душу; на деле же именно Кембридж снабжал меня и мое русское раздумье не только рамой, но и красками, и внутренним ритмом. Полагаю, среда не влияет на живое существо, если только в нем, в этом существе, не содержится уже восприимчивая частица или жилка (все то английское, чем питалось мое детство). Мне впервые стало это ясно перед отъездом, в последнюю мою и самую грустную кембриджскую весну, когда я вдруг почувствовал, как что-то во мне так же есте-

ственно соприкасается с непосредственным окружением, как с моим русским прошлым, и этого состояния гармонии я достиг в ту минуту, когда кропотливая реставрация моей восхитительно точной России была наконец закончена. Один из немногих "практических" поступков на моей совести это то, что я употребил долю этого хрустального материала для получения диплома с отличием.

5

Помню задумчивое движение плоскодонок и каноэ по Кему, гавайский вой граммофонов, медленно плывших сквозь солнце и тень, и ленивую руку девушки, мягко вращавшей туда-сюда ручку своего павлино-яркого парасоля, откинувшись на подушки плоскодонки, которой я неспешно правил. Белые и розовые каштаны были в полном цвету; их массы толпились по берегам, вытесняя небо из реки, и особое сочетание их листьев и соцветий порождало что-то вроде эффекта en escalier[1], как в угловатых фигурах, вытканных на великолепном зеленом и блекло-розовом гобелене. Воздух был тепл, как в Крыму, и пропитан тем же пушистым, сладким запахом каких-то цветущих кустарников, окончательно определить которые мне так никогда и не удалось (я позже ловил его дуновения в парках южных штатов). Три арки каменного, итальянского вида мостика, перекинутого через узкую речку, образовывали в соединении со своими почти совершенными, почти незыблемыми отражениями в воде три прелестных овала. И в свою очередь вода наводила кружевной свет на камень внутренней стороны свода, под которым скользила моя гондола. Порою лепесток, роняемый цветущим деревом, медленно падал и со странным чувством, что подсматриваешь нечто такое, чего ни богомольцу, ни случайному зрителю видеть не следует, я старался схватить взглядом его отражение, которое быстро — значительно быстрее, чем падал лепесток, — поднималось к нему навстречу, и на долю секунды пугался, что фокус не выйдет, что благословенное жрецами

---

[1] Лесенки *(фр.)*.

масло не загорится, что отражение промахнется, и лепесток без него поплывет по течению, но всякий раз нежное соединение удавалось, — с волшебной точностью слов поэта, которые встречают на полпути его или читательское воспоминание.

Вновь посетив Англию после почти семнадцатилетнего перерыва, я допустил грубую ошибку, а именно отправился в Кембридж не в конце пасхального терма, а гнилым февральским днем, который всего лишь напомнил мне мою старую, бестолковую тоску по родине. Я безнадежно пытался найти в Англии академическую работу (легкость, с которой я получил такого рода место в США, и поныне остается для меня источником постоянного благодарного изумления). Посещение Кембриджа оказалось во всех отношениях неудачным. Я позавтракал с Несбитом в маленьком ресторане, который должен бы был обдать меня воспоминаниями, но, вследствие множества случившихся с ним перемен, не обдал. Несбит бросил курить. Время смягчило его черты, он больше не походил ни на Горького, ни на переводчика Горького, но приобрел легкое сходство с Ибсеном, — лишившимся обезьяньей растительности. Побочная забота (кузину не то незамужнюю сестру его, жившую у него в экономках, только что отвезли в клинику Бине или еще куда-то) явно мешала ему сосредоточиться на том очень личном и спешном деле, о котором я хотел с ним поговорить. В маленьком вестибюле, на столе, где прежде стоял аквариум с золотыми рыбками, грудой лежали переплетенные тома “Панча” — все теперь выглядело по-другому. Другой была и форма у подавальщиц, и ни одна из них не была так привлекательна, как та, которую я так живо помнил. Впав в некоторое отчаянье и как бы спасаясь от скуки, Ибсен уцепился за политику. Я хорошо знал, что меня ждет, — поношение сталинизма. В начале двадцатых годов Несбит ошибочно принимал собственный восторженный идеализм за нечто романтическое и гуманное в мерзостном ленинском режиме. Ибсен же, в не менее мерзостное царствование Сталина, опять ошибался, ибо принимал количественное расширение своих знаний за какую-то качественную перемену в советской власти. Гром

"чисток", который ударил в "старых большевиков", героев его юности, стал для него целительным потрясением, какого во дни Ленина не смогли вызвать никакие стоны из трудового лагеря на Соловках или подземной тюрьмы на Лубянке. С ужасом он произносил имена Ежова и Ягоды, но совершенно не помнил их предшественников, Урицкого и Дзержинского. Между тем как время исправило его взгляд на текущие советские дела, он не позаботился пересмотреть предубеждения его юности и по-прежнему видел в коротком правлении Ленина нечто вроде славного quinquennium Neronis[1].

Он посмотрел на часы, и я посмотрел на часы тоже, и мы расстались, и я пошел бродить под дождем по городу, а затем посетил знаменитый парк моего бывшего колледжа и некоторое время разглядывал галок в черной сети голых ильмов и первые крокусы в дымчато-бисерной траве. Снова гуляя под этими столь воспетыми деревьями, я тщетно пытался достичь по отношению к своим студенческим годам того же пронзительного и трепетного чувства прошлого, которое тогда, в те годы, я испытывал к своему отрочеству, однако все, что мне удалось воскресить, это разрозненные картинки: М. К., русский, диспепсически поносит последствия обеда в Колледж-холле; Н. Р., другой русский, резвится, как ребенок; П. М. влетает в мою комнату с экземпляром "Улисса", днями контрабандой привезенным из Парижа; Дж. К. тихо входит, чтобы сказать, что он тоже только что потерял отца; Р. К. очаровательно приглашает меня составить ему компанию в поездке в швейцарские Альпы; Кристофер Имярек увиливает от предполагаемой теннисной партии на четверых, узнав, что его партнером будет индус; Т., старенький, хрупкий лакей, обливает в Холле супом профессора А. Э. Хаусмана, который резко вскакивает, словно человек, вырванный из транса; С. С., никакого отношения к Кембриджу не имеющий, но продремавший в своем кресле половину литературного вечера (в Берлине) и получивший тычок в ребра соседским локтем, тоже резко вскакивает — посреди чита-

[1] Нероновское пятилетие *(лат.)*.

емого кем-то рассказа; Соня у Льюиса Кэрролла вдруг начинает рассказывать сказку; Е. Гаррисон вдруг дарит мне "Паренька из Шропшира", томик стихов о юных мужчинах и смерти.

Ненастный день сузился до бледно-желтой полоски на сером западе, когда я, неожиданно для себя, решил посетить моего старого тютора. Словно сомнамбул, я поднялся по знакомой лестнице и автоматически постучал в полуоткрытую дверь с его именем на табличке. Голосом, лишь чуть менее отрывистым и лишь чуть более гулким, он велел мне войти. "Не знаю, помните ли вы мсня...", — начал я, идя через смутную комнату к тому месту, где он сидел у уютного огня. "Дайте-ка взглянуть", — произнес он, медленно поворачиваясь в своем низком кресле. Послышался удручающий треск и роковой лязг: я вступил в поднос с чайной посудой, стоявший у ножки его камышового кресла. "Да, конечно, — сказал он, — конечно, я вас помню".

Глава четырнадцатая

1

Спираль — одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и раскрывшись, круг перестает быть порочным, он получает свободу. Пришло мне это в голову в гимназические годы, и тогда же я придумал, что гегелевская триада (столь популярная в прежней России) в сущности выражает всего лишь природную спиральность вещей в отношении ко времени. Завои следуют один за другим, и каждый синтез представляет тезис следующей серии. Возьмем простейшую спираль, в которой можно различить три элемента, или загиба, отвечающие элементам триады: назовем "тезисом" первую дугу, с которой спираль начинается в некоем центре; "антитезисом" — дугу покрупнее, которая противополагается первой, продолжая ее; а "синтезом" — дугу еще более крупную, которая продолжает вторую, заворачиваясь вдоль наружной стороны первого загиба. И так далее.

Цветная спираль в стеклянном шарике — вот какой я вижу мою жизнь. Двадцать лет, проведенных в родной России (1899–1919), это дуга тезиса. Двадцать один год добровольного изгнания в Англии, Германии и Франции (1919–1940) — очевидный антитезис. Годы, которые я провел на новой моей родине (1940–1960), образуют синтез — и новый тезис. Сейчас моим предметом является антитезис, а точнее — моя европейская жизнь после окончания (в 1922-м) Кембриджа.

Оглядываясь на эти годы изгнанничества, я вижу себя и тысячи других русских людей, ведущими несколько странную, но не лишенную приятности, жизнь в вещественной нищете и духовной неге, среди не играющих ровно никакой роли иностранцев, призрачных немцев и французов, в чьих, не столь иллюзорных, городах нам, изгнанникам,

доводилось жить. Глазам разума туземцы эти представлялись прозрачными, плоскими фигурами, вырезанными из целлофана, и хотя мы пользовались их изобретениями, аплодировали их клоунам, рвали росшие при их дорогах сливы и яблоки, между ними и нами не было и подобия тех человеческих отношений, которые у большинства эмигрантов были между собой. Порой казалось, что мы игнорируем их примерно так же, как бесцеремонный или очень глупый захватчик игнорирует бесформенную и безликую массу аборигенов; однако время от времени — и по правде сказать, частенько — призрачный мир, по которому мирно прогуливались наши музы и муки, вдруг отвратительно содрогался и ясно показывал нам, кто собственно бесплотный пленник, а кто жирный хан. Наша безнадежная физическая зависимость от того или другого государства, холодно предоставившего нам политическое убежище, становилась особенно очевидной, когда приходилось добывать или продлевать какую-нибудь дурацкую "визу", какую-нибудь чертову "карт д'идантите", ибо тогда жадный бюрократический ад норовил засосать просителя, и он изнывал и чах, пока пухли его досье в столах крысоусых консулов и полицейских чиновников. "Документы", как уже было сказано, — это плацента русского человека. Лига Наций наделила лишившихся русского гражданства эмигрантов так называемым "нансеновским" паспортом, чрезвычайно неполноценным документом болезненно-зеленого оттенка. К обладателю этой бумажки относились немногим лучше, чем к преступнику, выпущенному из тюрьмы под подписку о невыезде, каждый переезд его из одной страны в другую бывал сопряжен с самыми отвратительными испытаниями, и чем меньше была страна, тем больше шуму она поднимала. Где-то в глубине своих гланд власти хранили идейку, что, как бы дескать плоха ни была страна — скажем, советская Россия, — всякий беглец из нее должен считаться по природе своей презренным, поскольку он существует вне национальной администрации; а потому и взирать на него надлежит с неосмысленным неодобрением, с каким некоторые религиозные общины относятся к дитяти, зачатому вне брака. Не все из нас соглашались быть ублюдками и привидениями. Некоторым из русских эмиг-

рантов сладко вспоминать, как они осаживали или обманывали всяких высших чиновников в разных министерствах, Préfectures и Polizeipraesidiums[1].

В Берлине и в Париже, двух столицах изгнанничества, русские эмигранты создали компактные колонии, культурное содержание которых значительно превосходило средний показатель тех лишенных крепости иностранных сообществ, в среде которых они разместились. Внутри этих колоний они держались друг за друга. Говорю, разумеется, о русской интеллигенции, преимущественно принадлежавшей к демократическому направлению, а не о более броской разновидности русского человека — из тех, кто "был, знаете ли, советником царя или еще там кого", которая первой приходит на ум американской клубной даме всякий раз что упоминается "русский белоэмигрант". Жизнь в этих поселениях была настолько полной и напряженной, что эти русские "интеллигенты" (слово, в значении которого сильнее оттенок общественного идеализма и слабее — умственной спеси, чем в привычном для Америки "intellectuals"[2]) не имели ни времени, ни причин обзаводиться какими-то связями вне своего круга. Ныне, в новом, полюбившемся мне мире, где я прижился с такой же легкостью, с какой перестал изгонять из моих хореических трехстопников седьмой добавочный слог, экстраверты и космополиты, когда я упоминаю при них об этих прошлых материях, думают, что я шучу, — или обвиняют меня в попятном снобизме, если я заверяю их, что среди знакомых мне блестящих французов и немцев (по большей части домовладелиц и литераторов) у меня было всего двое друзей.

Так или иначе за годы моей уединенной жизни в Германии я ни разу не сталкивался ни с теми кроткими музыкантами стародавних времен, что играли свои рапсодии (в тургеневских романах) чуть ли не целую летнюю ночь напролет; ни с веселыми старыми ловцами бабочек, которые прикалывали поимку к тулье своей шляпы и над которыми так потешался Век Рационализма: Лабрюйерова джентль-

---

[1] Префектуры и полицайпрезидиумы *(фр.* и *нем.).*

[2] Интеллектуалы *(англ.).*

мена, рыдающего над погубленной паразитом гусеницей; Геевых "философов, более важных, нежели мудрых", которые, скажите пожалуйста, "низводят науку до изучения бабочек"; Поповых "любознательных германцев", которые "ценят как некую редкость" этих "красивых насекомых"; да и просто так называемых добрых и разумных людей, которых во время последней войны тоскующие по дому солдаты со Среднего Запада, похоже, предпочитали замкнутому французскому фермеру и бойкой Маделон Второй. Напротив, самая яркая фигура, какую нахожу, перебирая в памяти мои очень немногие нерусские и нееврейские знакомства в годы между двумя войнами, это воспитанный и тихий молодой человек в очках — немецкий студент, чьим коньком были казни. Уже при второй встрече он показал мне купленную им серию ("Ein bischen retouchiert"[1], сказал он, наморщив веснущатый нос), изображавшую разные моменты заурядной декапитации в Китае; он с большим знанием дела указывал на красоту роковой сабли и на прекрасную атмосферу полной кооперативности между палачом и пациентом, которая заканчивалась истинным гейзером дымчато-серой крови, бьющим из очень отчетливо снятой шеи обезглавленного участника процедуры. Небольшое состояние позволяло молодому собирателю довольно много разъезжать; он и разъезжал, отрываясь от изучения гуманитарных наук, которые были ему необходимы для получения степени доктора философии. Он жаловался, впрочем, что ему не везет, добавляя, что если не увидит в самом скором времени чего-нибудь действительно стоящего, то может и не выдержать напряжения. На Балканах он присутствовал при двух-трех посредственных повешениях, а на Бульваре Араго — на широко разрекламированной, но оказавшейся весьма убогой и механической "гильотинаде" (как он выражался, думая, что это по-французски); как-то всегда так выходило, что ему было плохо видно, пропадали детали, и не удавалось ничего интересного снять дорогим аппаратиком, спрятанным в рукаве макинтоша. Несмотря на сильнейшую простуду, он недавно ездил в Регенсбург, где казнь совершалась со старинной

[1] Слегка ретушировано (*нем.*).

истовостью — с помощью топора; он ожидал многого от этого зрелища, но, к величайшему разочарованию, осужденному повидимому дали наркотическое средство, вследствие чего он едва реагировал, только вяло шлепался об землю, между тем как палач в маске и его неловкий помощник падали на него. Дитрих (так звали моего знакомца) надеялся когда-нибудь попасть в Америку, чтобы посмотреть электрокуцию (из этого слова он наивно выводил прилагательное "cute"[1], которое узнал от побывавшего в Америке кузена); и, мечтательно хмурясь, Дитрих спрашивал себя, неужели правда, что во время этого представления сенсационные облачки дыма выходят из природных отверстий тела. При третьей и последней встрече (сколько еще было в нем штрихов, которые мне хотелось сохранить для возможного использования!) он рассказал — без гнева, но скорее с печалью, — что однажды провел целую ночь, терпеливо наблюдая за приятелем, который решил покончить с собой и даже согласился проделать это выстрелом в рот, при хорошем свете и стоя лицом к Дитриху, но не имея ни честолюбия, ни чувства чести, вместо того безнадежно напился. Я давно потерял Дитриха из виду, но вполне ясно представляю себе выражение спокойного удовлетворения в его светлых форелевых глазах, когда он нынче (и может быть, в ту минуту, как я это пишу) в кругу других ветеранов, которые с гоготом бьют себя ладонью по ляжке, демонстрирует нежданно-негаданно свалившиеся на него сокровища — те абсолютно вундербар фотографии, которые ему посчастливилось снять в пору правления Гитлера.

2

Я достаточно сказал о сумраке и свете изгнания в моих русских романах, особенно в лучшем из них, в "Даре" (недавно вышедшем по-английски — "The Gift"); однако стоит привести здесь для удобства краткое резюме. За немногими исключениями, все либерально настроенные творческие люди — поэты, романисты, критики, историки, философы и так далее — покинули Россию Ленина-Сталина. Те, кто

---

[1] Привлекательный *(англ.)*.

этого не сделали, исчахли там либо загубили свои дарования, прилаживаясь к требованиям государства. То, чего никак не удавалось добиться царям, а именно — полного подчинения сознания воле правительства, большевики получили в два счета после бегства за границу или уничтожения основной массы интеллигентов. Изгнанники поудачливее могли теперь предаваться своим занятиям с такой безвозбранностью, что порой спрашивали сами себя, не является ли (в определенном смысле) абсолютная духовная свобода следствием того, что им приходится работать в абсолютной пустоте. Разумеется, хорошие читатели имелись среди эмигрантов в числе, достаточном для того, чтобы оправдать издание русских книг в Берлине, Париже и других городах, при чем в относительно широких масштабах; но поскольку ни одно из этих сочинений не могло иметь хождение в Советском Союзе, вся затея приобретала вид хрупкой нереальности. Число названий впечатляло куда сильнее числа проданных экземпляров, а в названиях издательств — "Орион", "Космос", "Логос" и тому подобных — чуялось нечто лихорадочное, непрочное, немного противозаконное, как у фирм, издающих астрологическую литературу или руководства по элементарным основам половой жизни. Впрочем, если спокойно оглянуться на прошлое и судить, прибегая лишь к художественным и научным меркам, книги, созданные эмигрантскими авторами *in vacuo*[1], выглядят более вечными, более пригодными для человеческого потребления, нежели рабские, редкостно провинциальные и трафаретные потоки политического сознания, вытекавшие в то же самое время из-под перьев молодых советских писателей, которых по-отечески рачительное государство снабжало чернилами, бумагой и теплыми свитерами.

Издатель газеты "Руль" (и моих первых книг), Иосиф Владимирович Гессен, с благодушным попустительством позволил мне питать поэтический раздел газеты моими незрелыми стихами. Синева берлинских сумерек, шатер цветущего углового каштана, легкое головокружение, бед-

[1] В пустоте *(лат.)*.

ность, влюбленность, мандариновый оттенок преждевременной световой рекламы и животная тоска по еще свежим запахам России — все это в ямбическом виде, переписанное от руки, волоклось в издательский кабинет, где близорукий И. В. подносил новое стихотворение поближе к лицу и после этого краткого, более-менее осязательного знакомства, опускал его на свой стол. К 1928 году стали приносить кое-какие деньги немецкие переводы моих книг, и весной 1929 года мы с тобой поехали ловить бабочек в Пиренеях. Но только в конце тридцатых годов мы покинули Берлин навсегда, хотя уже задолго до этого я повадился навещать Париж для публичных чтений.

Немыслимая частость этих литературных чтений, проводимых в частных домах или наемных залах, была приметной особенностью эмигрантской жизни, вполне отвечавшей ее скитальческому и театральному характеру. В кукольном представлении, происходящем в моем мозгу, различные типы исполнителей выделяются очень отчетливо. Вот поблекшая актриса с глазами, словно драгоценные камни; на мгновенье прижав к лихорадочному рту стиснутый в кулаке платочек, она воскрешает ностальгическое эхо Московского Художественного Театра, подвергая какие-нибудь знаменитые стихи воздействию — наполовину препарирующему, наполовину ласкающему — своего медленного, прозрачного голоса. Вот безнадежно второсортный прозаик, голос которого блуждает в тумане ритмической прозы, меж тем как зал следит за нервным дрожанием его бедных, неловких, но тщательных пальцев, подсовывающих прочитанную страницу под еще оставшиеся, так что рукопись, пока длится чтение, сохраняет пугающую и жалостную пухлость. Вот молодой поэт, в котором его завистливая братия не может не видеть черты гениальности, такой же явственной, как полоска на скунсе; вытянувшись в струнку посредине сцены, бледный, с остекленелым взором, с руками, неспособными ухватить хоть что-то, позволяющее удержаться в этом мире, он закидывает голову назад и изливает свои стихи раздражающим слух, раскатистым распевом, резко обрывающимся, словно дверь захлопывается на последней строке, и застывает, ожидая, когда аплодисменты заполнят наступившую тишину. Вот старый

cher maître[1], размеренно, жемчужина за жемчужиной, роняющий в публику восхитительный рассказ, читанный им бессчетное множество раз, и всегда одинаково, с тем же выражением брезгливой неприязни, которое несут благородные складки его лица на фронтисписе собрания его сочинений.

Полагаю, отстраненный наблюдатель немало потешился бы, разглядывая этих почти бесплотных людей, имитировавших посреди чужих городов погибшую цивилизацию, — далекие, почти легендарные, почти шумерские миражи Москвы и Петербурга, 1900—1916 (что уже тогда, в двадцатых и тридцатых годах, звучало подобно 1916—1900 до Р.Х.). Но они были, по крайности, бунтарями, как всякий большой русский писатель с начальных времен русской литературы, и, оставаясь верными этому мятежничеству, к которому потребность в справедливости и свободе влекла их с той же силой, что и под гнетом царей, почитали чудовищно нерусским и недостойным человека поведение вынянченных Советским Союзом авторов, рабскую услужливость, с которой те отзывались на каждую тонкость каждого правительственного постановления; ибо искусство низкопоклонства развивалось там в прямой пропорции ко все возрастающей распорядительности сначала ленинской, а после сталинской политической полиции, и преуспевающий советский писатель был тот, чей изощренный слух улавливал тихий шепоток официального внушения задолго до того, как он оборачивался трубным ревом.

Вследствие ограниченного обращения их произведений за границей, даже эмигрантским писателям старшего поколения, слава которых твердо установилась в дореволюционной России, невозможно было надеяться, что книги доставят им средства к существованию. Писания еженедельной колонки в эмигрантской газете никогда не хватало на то, чтобы сводить концы с концами. По временам нежданный куш приносил перевод на иностранный язык, в основном же продление жизни пожилого писателя зависело от подношений разнообразных эмигрантских организаций, заработков, доставляемых публичными чтениями, да от щедро-

---

[1] Маэстро *(фр.)*.

сти частных благотворителей. Авторы помоложе, менее известные, но более адаптивные, пополняли случайные субсидии тем, что брались за какую угодно работу. Я, помню, давал уроки английского и тенниса. С упорством переламывал я стойкое обыкновение берлинских бизнесменов произносить слово "business"[1] так, что оно рифмовалось с "dizziness"[2]; и словно ловкий автомат, под медленно плывущими облаками летнего дня, перечерпывал их загорелым дочкам мяч за мячом через сетки пыльных кортов. Я получил пять долларов (немалая сумма в Германии времен инфляции) за мой русский перевод "Alice in Wonderland". Я помогал составить русскую грамматику для иностранцев, в которой первое упражнение начиналось словами: "Мадам, я доктор, вот банан". И самое замечательное — я составлял для эмигрантской газеты, для берлинского "Руля", первые русские кроссворды, для которых придумал новое слово "крестословица". Странно теперь вспоминать это причудливое существование. Пуще всего обожаемый составителями рекламных объявлений для задних обложек список более-менее прозаических профессий молодого автора (пишущего о Жизни и Идеях, которые, конечно, куда важнее просто "искусства") таков: разносчик газет, сифонщик, монах, борец вольного стиля, десятник литейного цеха, водитель автобуса и так далее. Увы, я оказался лишен этих призваний.

Страсть к словесности близко сводила меня со многими русскими авторами за границей. Я был молод тогда и питал к литературе интерес куда более жгучий, чем теперь. Новая проза и поэзия, сияющие планеты и бледные галактики, ночь за ночью втекали в окошко моей мансарды. Их создателями были и независимые авторы разного возраста и таланта, и группки, и клики, объединявшие молодых и молодящихся писателей, порой очень одаренных, сгрудившихся вокруг покровительственного критика. Самый значительный из этих жрецов сочетал интеллектуальную талантливость с нравственной посредственностью и сверхъ-

[1] Бизнес *(англ.)*.

[2] Головокружение *(англ.)*.

естественную точность вкуса по части современной русской поэзии с обрывочным знанием русской классики. Члены его группы считали, что ни простое отрицание большевизма, ни рутинные идеалы западной демократии не являются достаточными для построения философии, на которую может опереться эмигрантская литература. Они жаждали веры, как попавший за решетку наркоман жаждет возврата в свой маленький рай. Они довольно трогательно завидовали пикантной изысканности парижских католиков, которой с такой очевидностью не хватало русскому мистицизму. Достоевской раздрызганности не по силам было тягаться с неотомистским мышлением; но разве не существует других путей? Вожделение веры, постоянное повисание на краю какой-либо признанной религии способны, как выяснилось, сами по себе доставлять своеобразное удовольствие. И только много позднее, в сороковых годах, некоторые из этих авторов наконец отыскали уверенный скат, по которому можно соскальзывать в позе, более-менее коленопреклоненной. Таковым оказался восторженный национализм, позволяющий называть государство (в данном случае сталинскую Россию) достойным и обаятельным на том единственном основании, что его армия победила в войне. Однако в начале тридцатых годов пропасть национализма угадывалась лишь еле-еле, а жрецы литературы еще наслаждались сладким замиранием на ее скользком краю. В их отношении к литературе они были странно консервативны; первым для них шло спасение души, вторым — взаимное восхваление, а там уж можно было поговорить и об искусстве. Оглядываясь на них сегодня, обнаруживаешь удивительное обстоятельство: эти свободные зарубежные беллетристы норовили, в подражание тому, что творилось у них на родине, связать мысль по рукам и ногам, провозглашая, будто представлять какую-то группу или эпоху куда важнее, чем быть независимым писателем.

Владислав Ходасевич частенько сетовал в двадцатые и тридцатые годы на то, что молодые поэты эмиграции, переняв у него приемы своего искусства, тем не менее плетутся по пятам за ведущими кликами, подражая им в мод-

ной angoisse[1] и стараниях преобразовать собственную душу в нечто иное. Я сильно привязался к этому ядовитому, выкованному из иронии и отзывающего металлом дара болезненному человеку с презрительными ноздрями и густыми бровями, поэзия которого представляет собою чудо не менее сложное, чем поэзия Тютчева и Блока, и сколько бы я ни вызывал его в воображении, он никогда не встает со стула, на котором сидит со скрещенными худыми ногами, поблескивая злорадными, умными глазами и вправляя длинными пальцами половинку "Зеленого Капораля" в мундштук.

Еще одним независимым писателем был Иван Бунин. Я всегда предпочитал его мало известные стихи его же знаменитой прозе (взаимосвязь их, в общей структуре его сочинений, напоминает случай Гарди). Когда я с ним познакомился, его болезненно занимало собственное старение. С первых же сказанных нами друг другу слов он с удовольствием отметил, что держится прямее меня, хотя на тридцать лет старше. Он наслаждался только что полученной Нобелевской премией и, помнится, пригласил меня в какой-то дорогой и модный парижский ресторан для задушевной беседы. К сожалению, я не терплю ресторанов и кафэ, особенно парижских — толпы, спешащих лакеев, цыган, вермутных смесей, кофе, закусочек, слоняющихся от стола к столу музыкантов и тому подобного. Есть и пить я люблю полулежа (предпочтительно на диване) и молча. Задушевные разговоры, исповеди на достоевский манер тоже не по моей части. Бунин, подвижный пожилой господин с богатым и нецеломудренным словарем, был озадачен моим равнодушием к рябчику, которого я достаточно напробовался в детстве, и раздражен моим отказом разговаривать на эсхатологические темы. К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом. "Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве", — горько отметил Бунин, когда мы направились к вешалкам. Худенькая, миловидная девушка, найдя наши тяжелые пальто, пала, с ними в объятиях, на низкий прилавок. Я хотел помочь Бунину надеть его реглан, но он остановил

[1] Тоска *(фр.)*.

меня гордым движением ладони. Продолжая учтиво бороться — он теперь старался помочь мне, — мы выплыли в бледную пасмурность парижского зимнего дня. Мой спутник собрался было застегнуть воротник, как вдруг приятное лицо его перекосилось выражением недоумения и досады. С опаской распахнув пальто, он принялся рыться где-то подмышкой. Я пришел ему на помощь, и общими усилиями мы вытащили мой длинный шарф, который девица ошибкой засунула в рукав его пальто. Шарф выходил очень постепенно, это было какое-то разматывание мумии, и мы тихо вращались друг вокруг друга, к скабрезному веселью трех панельных шлюх. Закончив эту операцию, мы молча продолжали путь до угла, где обменялись рукопожатиями и расстались. В дальнейшем мы встречались довольно часто, но всегда на людях, обычно в доме И. И. Фондаминского (святого, героического человека, сделавшего для русской эмигрантской литературы больше, чем кто бы то ни было, и умершего в немецкой тюрьме). Почему-то мы с Буниным усвоили какой-то удручающе-шутливый тон, русский вариант американского “kidding” [1], мешавший настоящему общению.

Знавал я и множество других эмигрантских авторов. Я не знал умершего молодым Поплавского, далекую скрипку между близких балалаек.

О, Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни

Его заунывного звука я никогда не забуду, как никогда не прощу себе раздраженной рецензии, в которой напал на пустяковые недочеты его неоперившихся стихов. Я встречал мудрого, степенного, обаятельного Алданова; дряхлого Куприна, осторожно несущего по дождливым улицам бутылку vin ordinaire [2]; Айхенвальда — русскую версию Уолтера Патера, — впоследствии убитого трамваем; Марину Цветаеву, жену двойного агента и гениальную поэтессу, которая в конце тридцатых годов вернулась в Россию и сгинула там. Однако автором, более всего интересовавшим

[1] Поддразниванья *(англ.)*.

[2] Ординарное вино *(фр.)*.

меня, был, конечно же, Сирин. Он принадлежал к моему поколению. Из молодых писателей, возникших уже в изгнании, он был самым одиноким и самым надменным. С выхода первого его романа в 1925 году и во все последующие пятнадцать лет, пока он не исчез так же загадочно, как появился, его творения возбуждали в критиках острое и отчасти болезненное любопытство. Подобно тому как в прежней России марксистские критики восьмидесятых годов могли порицать его за отсутствие интереса к экономическому устройству общества, так и жрецы эмигрантской беллетристики возмущались отсутствием у него религиозных прозрений и моральной озабоченности. Все в нем не могло не оскорблять русского чувства нормы и в особенности той русской благопристойности, которую, например, американцы столь опасно оскорбляют в наши дни, позволяя себе в присутствии высших советских военных чинов валяться по креслам, засунув обе руки в карманы штанов. И напротив, поклонники Сирина высоко, и, может быть, слишком высоко, ставили его необычный слог, алмазную точность, деятельное воображение и прочее в том же роде. На русских читателей, вскормленных решительной прямотой русского реализма и повидавших фокусы декадентского жульничества, сильное впечатление производила зеркалистая угловатость его ясных, но жутковато обманчивых фраз и сам тот факт, что подлинная жизнь его книг протекает в строе его речи, который один критик сравнил с "окнами, открытыми в смежный мир... метелью следствий, тенью, оставленной караваном мыслей". По темному небу изгнания Сирин, если воспользоваться уподоблением более консервативного толка, пронесся, как метеор, и исчез, не оставив после себя ничего, кроме смутного ощущенья тревоги.

3

В продолжение двадцати лет изгнания я посвящал чудовищное количество времени составлению шахматных задач. Определенная позиция разрабатывается на доске, при чем задача состоит в том, чтобы поставить черным мат

в определенное число ходов, как правило, в два или три. Это сложное, восхитительное и никчемное искусство связано с обыкновенной игрой только в том смысле, как скажем одинаковыми свойствами шара пользуется и жонглер, чтобы сплести новый номер, и теннисист, чтобы выиграть турнир. Характерно, что в большинстве своем шахматные игроки — равно простые любители и гроссмейстеры — мало интересуются этими узко специальными, изящными, причудливыми головоломками и, хотя чувствуют прелесть хитрой задачи, совершенно неспособны задачу сочинить.

Для сочинения шахматной задачи нужно вдохновение, которое принадлежит к полу-музыкальному, полу-поэтическому, а говоря точнее, к математически-поэтическому типу. Бывало, в течение мирного дня, в досужем кильватере случайно проплывшей мысли, внезапно, без всякого предупреждения, я чувствовал приятное содрогание в мозгу, где намечался зачаток шахматной композиции, обещавший мне ночь труда и отрады. Это мог быть новый способ слить необычный стратегический прием с необычной защитой; или же проблеск расположения фигур, которое должно было воплотить наконец, с юмором и изяществом, трудную тему, до того казавшуюся невоплотимой; или просто движение в тумане моего разума, маневр силовых единиц, представленных шахматными фигурами, — род быстрой пантомимы, предвещающий новые союзы и новые столкновения; но чем бы оно ни было, оно принадлежало к невероятно вдохновительному разряду ощущений, и единственное мое сегодняшнее возражение против маниакальных манипуляций резными фигурками или их духовными двойниками — это то, что я ради них загубил столько часов, которые тогда, в мои наиболее плодотворные, кипучие годы, я мог посвятить словесным авантюрам.

Знатоки различают несколько школ задачного искусства: англо-американская сочетает чистоту конструкции с ослепительным тематическим вымыслом, не связывая себя никакими принятыми правилами; грубым великолепием поражает германская; замечательно отделаны, но неприятны своей пустотой и гладкостью произведения чешских композиторов, строго ограничивших себя определенными искусственными правилами; этюды прежней России, до-

стигавшие сияющих высот искусства, и механические советские задачи, или так называемые "задания", заменяющие художественную стратегию нагромождением разработанных до последнего изнурения тем. Следует пояснить, что шахматные темы — это такие приемы, как создание засад, отвод основных сил, запирание фигур и их освобождение, но только определенная их комбинация дает приемлемую задачу. Меня лично пленяли в задачах обманы, доведенные до дьявольской тонкости, и оригинальность, граничащая с гротеском; и, хотя в вопросах конструкции я старался по мере возможности держаться классических правил, как например единство, экономия сил, подрезание незакрепленных концов, я всегда был готов пожертвовать чистотой формы требованиям фантастического содержания, заставлявшего форму взбухать и взрываться, будто пластиковый пакет, в который попал обозленный бес.

Одно — уяснить основную игру композиции, другое — построить ее на доске. Умственное напряжение доходит до бредовой крайности; понятие времени выпадает из сознания: рука строителя нашаривает в коробке пешку, сжимает ее, пока мысль колеблется, нужна ли тут затычка, можно ли обойтись без преграды, — и когда разжимается кулак, оказывается, что прошло, может быть, с час времени, истлевшего в накаленном до сияния мозгу составителя. Доска перед ним становится магнитным полем, системой нажимов и бездн, звездным небом. Прожекторами двигаются через нее слоны. Тот или этот конь превращается в рычаг, который пробуешь, и прилаживаешь, и пробуешь опять, доводя композицию до потребного уровня неожиданности и красоты. Как мучительна бывала борьба с ферзем белых, когда нужно было ограничить его ужасную мощь во избежание двойного решения! Следует понимать, что соревнование в шахматных задачах происходит не между белыми и черными, а между составителем и воображаемым разгадчиком (подобно тому, как в первоклассных произведениях писательского искусства настоящая борьба ведется не между героями романа, а между романистом и читателем), а потому значительная часть ценности задачи зависит от числа "иллюзорных решений", — обманчиво сильных первых ходов, ложных следов, нарочитых линий развития,

хитро и любовно приготовленных автором, чтобы сбить будущего разгадчика с пути. Но чего бы я ни сказал о задачном творчестве, я вряд ли мог бы до конца объяснить блаженную суть работы, точки ее соприкосновения с другими, более очевидными и плодотворными действиями творческого разума, от прокладки курса через опасные моря до писания тех невероятно сложных романов, где автор в состоянии ясного безумия ставит себе единственные в своем роде правила и преграды, которые он соблюдает и одолевает с пылом божества, строящего полный жизни мир из самых невероятных материалов — из скал, из листов копировальной бумаги, из незрячего трепета. В случае шахматного сочинительства происходящее сопровождается чувством тающей физической услады, особенно когда фигуры, явившись на генеральную репетицию авторской мечты, начинают вести себя положенным образом. Тут есть ощущение "ладности" (восходящее к детству, когда в постели мысленно проходишь подробный образ завтрашней забавы и чувствуешь, как очертания игрушек точно прилаживаются к уголкам и лункам в мозгу); тут есть та же приятность: гладко и удобно одна фигура заходит за другую, чтобы в удобстве и тайне тонкой засады заполнить квадрат; и есть приятное скольжение хорошо смазанной и отполированной машинной части, легко и отчетливо двигающейся под разведенными пальцами, легко поднимающими и легко опускающими фигуру.

Мне вспоминается одна определенная задача, над которой я работал несколько месяцев. Наконец настала та ночь, когда мне удалось выразить некую тему. Моя задача назначалась в утешение изощренному мудрецу. Простак-новичок совершенно бы не заметил ее пуанты и нашел бы довольно простое, "тезисное" решение, минуя те замысловатые мучения, которые в ней ожидали опытного умника. Ибо этот опытный умник попал бы в узор иллюзорного решения, основанного на теме, весьма модной и "передовой" (белый король подвергается шаху), которое сочинитель, затратив уйму усилий, "подложил" разгадчику (и которое совершенно уничтожалось скромным ходом едва заметной пешки). Пройдя через этот "антитезисный" ад, умудренный разгадчик добирался до простого ключа задачи

(слон на с2), как если бы кто сумасбродным образом добирался из Олбани в Нью-Йорк через Ванкувер, Азию, Европу и Азорские Острова. Интересные дорожные впечатления (чужие пейзажи, гонги, тигры, красочные местные обычаи, например, когда жених и невеста трижды обходят священный огонь в земляной жаровне) с лихвой возмещают ему досаду, и наконец, достижение простого ключа награждает его синтезом пронзительного художественного наслаждения.

Помню, как я медленно выплыл из обморока сосредоточенной шахматной мысли, и вот, на огромной английской, сафьяновой доске в бланжевую и красную клетку, безупречное положение было сбалансировано, как созвездие. Задача действовала, задача жила. Мои Staunton'ские шахматы (двадцать лет назад подаренные мне англизированным братом моего отца, Константином), великолепные массивные фигуры из рыжеватого и черного дерева ростом до десяти сантиметров, сияли лаковыми контурами, как бы сознавая свою роль на доске. Увы, если присмотреться внимательнее, можно было заметить, что некоторые фигуры выщерблены (ибо много пришлось им поездить в их ящике, сменив за эти годы больше пятидесяти квартир); но на верхушке королевской ладьи и на челе королевского коня все еще сохранился рисунок красной коронки, вроде круглого знака на лбу у счастливого индуса.

Мои часы — ручеек времени по сравнению с оледенелым его озером на доске — показывали половину четвертого. Дело было в мае — в середине мая 1940 года. Накануне, после нескольких месяцев ходатайств и брани, удалось впрыснуть взятку в нужную крысу в нужном отделе и получить, наконец, visa de sortie[1], которая в свою очередь давала возможность получить разрешение на пересечение Атлантики. Глядя на мою шахматную задачу, я вдруг почувствовал, что с окончанием работы над ней целому периоду моей жизни благополучно пришел конец. Кругом было очень тихо, тишина как бы зыблилась от облегчения, которое я испытывал. В соседней комнате ты и наш маленький сын мирно спали. Лампа на столе была в чепце из голубой

[1] Выездная виза *(фр.)*.

сахарной бумаги (смешная военная предосторожность), и вследствие этого свет окрашивал лепной от табачного дыма воздух в лунные оттенки. Непроницаемые занавески отделяли меня от затемненного Парижа. Заголовок свисавшей с кресла газеты сообщал о нападении Гитлера на Нидерланды.

Передо мной лист бумаги, на котором в ту парижскую ночь я нарисовал схему моей задачи. Белые: Король, a7; Ферзь, b6; Ладьи, f4 и h5; Слоны, e4 и h8; Кони, d8 и e6; Пешки, b7 и g3; Черные: Король, e5; Ладья, g7; Слон, h6; Кони, e2 и g5; Пешки, c3, c6, d7. Белые начинают и дают мат в два хода. Ложный след, неотразимо соблазнительная “иллюзорная комбинация”: пешка идет на b8 и превращается в коня, после чего белые тремя разными, очаровательными матами отвечают на три по-разному раскрытых шаха черных; но черные разрушают всю эту блестящую комбинацию тем, что, *вместо* шахов белым, делают маленький, никчемный с виду выжидательный ход в другом месте доски. В одном углу листа с диаграммой замечаю тот же штемпель, который украсил все книги, все бумаги, вывезенные мной из Франции в Америку в мае 1940 года. Это круглый отпечаток, и цвет его — последнее слово спектра: violet de bureau[1]. В центре видны две прописные буквы размера цицеро, R. F., это, разумеется, République Française[2]. Из других букв, поменьше, бегущих по периферии, составляется Contrôle des Informations[3]. Но лишь теперь, многие годы спустя, я могу обнародовать информацию, скрытую в моих шахматных символах и пропущенную этим контролем, да, собственно, уже обнародовал.

---

[1] Канцелярская лиловизна *(фр.)*.

[2] Французская республика *(фр.)*.

[3] Контроль информаций *(фр., буквально)*.

Глава пятнадцатая

1

“О, как гаснут — по-степи, по-степи, удаляясь, годы!” — если прибегнуть к душераздирающей горациевой интонации. Годы гаснут, мой друг, и скоро никто уж не будет знать, что знаем ты да я. Наш сын растет; розы Пестума, туманного Пестума, отцвели; люди неумные лихо добираются до тайных сил природы, которые кроткие математики предсказали, — похоже, к тайному своему удивлению; а потому, пожалуй, пора, мой друг, просмотреть древние снимочки, пещерные рисунки поездов и аэропланов, залежи игрушек в чулане.

Заглянем еще дальше, в майское утро 1934 года, начертим, утвердясь в этой точке, некую часть Берлина. Я проходил ее, возвращаясь домой в пять часов утра из больницы около Байришер Плац, куда отвез тебя двумя часами раньше. Весенние цветы украшали портреты Гинденбурга и Гитлера в витринах рамочных и цветочных магазинов. Левацкие группы воробьев устраивали громкие утренние собрания в кустах сирени и в кронах лип. Прозрачный рассвет совершенно обнажил одну сторону улицы. На другой стороне дома еще синели от холода, тени разной длины постепенно сокращались с той деловитостью, с которой молоденький день перенимает у ночи ухоженный, обильно политый город, где свежий запах асфальта мешается с травянистым духом тенистых деревьев; но для меня зрительные впечатления были совершенно новы, поскольку я никогда еще не видел этой улицы на рассвете, хоть, с другой стороны, нередко ходил здесь, бездетный, солнечными вечерами.

В чистоте и пустоте незнакомого часа тени лежали с непривычной стороны, получалась полная перестановка,

не лишенная некоторого изящества, вроде того, как в зеркале парикмахерской, к которому грустный цирюльник, приостановив снование бритвы, обращает свой взор (как делают все они в такие часы) и видит отраженный в этом окне отрезок панели, уводящий беспечных прохожих в неправильном направлении, в отвлеченный мир, — который вдруг перестает быть забавным и обдает душу волною ужаса.

Когда я думаю о моей любви к кому-либо, у меня привычка проводить радиусы от этой любви, от моего сердца, от нежного ядра личного чувства к чудовищно удаленным точкам вселенной. Что-то заставляет меня примеривать мою любовь к непредставимым и неисчислимым величинам — к поведению туманностей (самая отдаленность которых уже есть род безумия), к ужасным западням вечности, к непознаваемому, скрытому за непознанным, к беспомощности, холоду, головокружительным сложностям и смыслам времени и пространства. Привычка пагубная, но противиться ей я не в силах. Так, в бессонную ночь, раздражаешь нежный кончик языка, без конца проверяя острую грань сломавшегося зуба — и не хочешь, а все упорствуешь. Я знал людей, которые невольно коснувшись чего-нибудь, — дверного косяка, стены, — должны были пройти через целый строй прикосновений к разным плоскостям в комнате, прежде чем привести свою жизнь в прежнее равновесие. Тут ничего не поделаешь, я должен знать, где стою, где стоишь ты и мой сын. Когда этот замедленный и беззвучный взрыв любви происходит во мне, разворачивая свои тающие края и ошеломляя меня сознанием чего-то значительно более необъятного, нетленного и мощного, чем весь набор вещества и энергии в любом вообразимом космосе, тогда я мысленно должен себя ущипнуть, не спит ли мой разум. Я должен сделать все пространство и время соучастниками в моем чувстве, смертном чувстве любви, дабы помочь себе в борьбе с окончательным унижением, со смехотворностью и ужасом положения, в котором я мог развить в себе бесконечность чувства и мысли при конечности существования.

Так как в метафизических вопросах я враг всяких объединений и не желаю участвовать в организованных экс-

курсиях по антропоморфическим парадизам, мне приходится полагаться на собственные свои не столь уж и слабые силы, когда думаю о лучших своих переживаниях; когда, например, как сейчас, вспоминаю о страстной заботе, переходящей почти в куваду, с которой я относился к нашему ребенку. Ты помнишь все наши открытия (предположительно делаемые всеми родителями): идеальную форму младенческих ногтей на миниатюрной руке, которую ты мне без слов показывала у себя на ладони, где она лежала, как отливом оставленная маленькая морская звезда; эпидерму ноги или щеки, которую ты предлагала моему вниманию дымчато-отдаленным голосом, точно нежность осязания могла быть передана только нежностью живописной дали; расплывчатое, ускользающее нечто в синем оттенке радужной оболочки глаза, удержавшей как будто тени, впитанные в древних баснословных лесах, где было больше птиц, чем тигров, больше плодов, чем шипов, и где, в пестрой глубине, зародился человеческий разум; и, самое главное, первое путешествие младенца в следующее измерение, новую связь, установившуюся между глазом и достижимым предметом, которую думают объяснить те бездарности, которые делают "научную карьеру" в биометрии или при помощи лабиринтов с тренированными крысами. Ближайшее подобие зарождения разума мне кажется можно найти в том дивном толчке, когда, глядя на путаницу сучков и листьев, вдруг понимаешь, что дотоле принимаемое тобой за часть этой ряби есть на самом деле птица или насекомое.

Есть также острое удовольствие (и чем еще, в конце-то концов, могут наградить научные изыскания?) в объяснении начального цветения человеческого рассудка сладостной паузой в эволюции всей остальной природы, животворной минутой лени и неги, позволившей, прежде всего, сформироваться Homo poeticus[1], — без которого не родился бы sapiens[2]. "Борьба за существование" — какой вздор! Проклятие труда и битв ведет человека обратно к кабану, к хрюкающей твари, одержимой поисками еды. Мы с тобой

[1] Человек поэтический *(лат.)*.

[2] Разумный *(лат.)*.

часто отмечали маньякальный блеск в глазу у хозяйственной дамы, когда в пищевых замыслах она этим взглядом блуждает по бакалейной или по моргу мясной. Пролетарии всех стран, разъединяйтесь! Старые книги ошибаются. Мир был создан в воскресенье.

2

В годы младенчества нашего мальчика, в Германии Гитлера и во Франции Мажино, мы в той или этой мере постоянно нуждались в деньгах, но чудесные друзья не забывали снабжать нашего сына всем самым лучшим, что можно было достать. Хотя сами мы были бессильны, мы ревностно следили, чтобы не наметилось разрыва между вещественными благами в его младенчестве и нашем, тут-то и вмешивалась дружелюбная судьба, подлечивая этот разрыв всякий раз, что он грозил раскрыться. Впрочем, и наука выращивания младенцев сделала успехи столь же разительные и стремительные, как воздухоплавание или земледелие, — *я*, в мои девять месяцев, не получал на обед целого фунта протертого шпината, не получал сок от дюжины апельсинов в один день; и тобою заведенная педиатрическая рутина была несравненно художественнее и тщательнее, чем все, что могли бы придумать престарелые няньки нашего детства.

Думаю, отцы-буржуа прежних дней — труженики в высоких крахмальных воротничках и брюках в тонкую полоску, столь отличные от сегодняшних молодых американских ветеранов или от счастливого безработного русского эмигранта пятнадцатилетней давности, вряд ли поняли бы мое отношение к нашему ребенку. Когда бывало ты поднимала его, напитанного теплой кашицей и важного как идол, и держала его в ожидании рыжка, прежде чем превратить вертикального ребенка в горизонтального, я участвовал и в твоем ожидании и в стесненности его насыщенности, которую преувеличивал, отчасти негодуя на твою веселую веру в скорое рассеивание того, что мне представлялось болезненным гнетом, а потому испытывал восхитительное облегчение, когда тупой пузырек поднимался и лопался

на серьезных губах и ты с поздравительным шепотом низко нагибалась, чтобы опустить младенца в белые сумерки постельки.

Знаешь, я до сих пор чувствую в запястьях отзывы той профессиональной сноровки, того движения, когда, например, надо было легко и ловко вжать ручку, чтобы коляска, немного задравшись, поднялась с асфальта на тротуар. У него сначала был сложный, мышиного цвета, бельгийский экипажик, с толстыми автомобильными шинами и роскошными рессорами, такой большой, что не входил в наш мозгливый лифт. Этот экипажик торжественно плыл по панели с пленным младенцем, лежащим навзничь под пухом, шелком и мехом; только его зрачки двигались, выжидательно, и порою обращались кверху с быстрым взмахом нарядных ресниц, дабы проследить за скользившей в узорах ветвей голубизной, уплывавшей за грань полуприподнятого куколя коляски, а затем он бросал на меня подозрительный взгляд, как бы желая узнать, не принадлежат ли эти дразнящие деревья и небо к тому же порядку вещей, как его погремушки и родительский юмор. Затем последовала более легкая повозка, и в ней он пытался встать, натягивая до отказа ремни, цепляясь за борта, походя не столько на пьяного пассажира яхты, сколько на упоенного ученого в космическом корабле, озирая пеструю путаницу живого, теплого мира, с любопытством философа глядя на выброшенную им за борт подушку, — и однажды сам выпал, когда лопнул ремень. Еще позже я катал его в особом стульчике на двух колесах: с первоначально упругих и верных высот ребенок спускался все ниже и ниже и теперь, в полтора года, мог коснуться земли перед едущим стульчиком, съезжая с сиденья и стуча по панели каблучками в предвкушении отпуска на свободу в городском саду. Вздулась новая волна эволюции и опять начала его поднимать, когда в два года, на рождение, он получил серебряной краской выкрашенную модель гоночного Мерседеса, в два аршина длины, которая подвигалась при помощи двух скрытых внутри органных педалей, и в которой он мчался по тротуарам Курфюрстендама, с насосными и гремящими звуками, и из всех открытых окон доносился стократно умноженный рев диктатора, все еще бившего себя в грудь

в Неандертальской долине, которую мы оставили далеко позади.

Стоило бы может быть выяснить филогенетические стороны страсти, которую мальчики испытывают ко всякой штуке на колесах, особенно к железнодорожным поездам. Мы все знаем, конечно, как объяснял ее венский шарлатан. Мы оставим его и его попутчиков трястись в третьем классе науки через полицейское государство полового мифа (кстати сказать, какую ошибку совершают диктаторы, игнорируя психоанализ, которым целые поколения можно было бы легко развратить!). Молодой рост, стремительность мысли, американские горы кровообращения, — все виды жизненности суть виды скорости, и неудивительно, что развивающийся ребенок хочет перегнать природу и наполнить минимальный отрезок времени максимальным пространственным наслаждением. Глубоко в человеческом духе заложена способность находить удовольствие в обгоне, в перетягивании земной тяги, в возможности переиграть притяжение земли. Чудотворная парадоксальность округлых предметов, пожирающих пространство простым постоянством вращения, — вместо того чтобы передвигаться, раз за разом вздымая тяжелые конечности, наверное, радостно потрясала юное человечество. Костер, в который вглядывался, сидя на голых куличках, мечтательный маленький варвар, или неуклонный ход лесного пожара, тоже, полагаю, повлияли за спиною Ламарка на хромосому-другую, повлияли загадочным образом, в который западные генетики не склонны вникать в той же мере, в какой физики-теоретики — обсуждать внешние особенности внутреннего пространства или местонахождение кривизны; ибо каждое измерение подразумевает наличие среды, в которой оно работает, и если в ходе спирального развития мира пространство спеленывается в некое подобие времени, а время, в свою очередь, — в некое подобие мышления, тогда, разумеется, наступает черед нового измерения — особого Пространства, не схожего, верится, с прежним, если только спирали не обращаются снова в порочные круги.

Но в чем бы ни состояла истина, мы с тобой никогда не забудем, на этом или другом поле сражения, те мосты,

на которых мы проводили часы с нашим маленьким (от двух до шести лет) сыном в ожидании поезда внизу. Я видел, как дети постарше и поунылее останавливаются на миг, чтобы наклониться через перила и сплюнуть в одышливую трубу проходящего внизу паровоза, но ни ты, ни я никогда не признаем, что из двух детей нормальнее тот, кто находит практическое разрешение для бесцельной экзальтации непонятного транса. Ты ничего не сделала, чтобы сократить или наполнить рассудочным содержанием эти часовые стоянки на обдуваемых ветром мостах, когда наш ребенок с безграничным терпением и оптимизмом надеялся, что щелкнет семафор, и вырастет локомотив из точки вдали, где столько сливалось рельс между черными спинами домов. В холодные дни на нем было мерлушковое пальтецо с такой же шапочкой и варежки, и жар его веры держал его в плотном тепле и согревал *тебя* тоже, ибо, чтоб не дать пальцам замерзнуть, надо было только поминутно зажимать то один, то другой кулачок в своей руке, то правой, то левой, — и мы диву давались, какое количество тепла может развить тело крупного дитяти.

3

Помимо грез о скорости, а может быть, и в связи с ними есть еще в каждом ребенке человеческое по сути своей стремление к перелепке земли, к воздействию на рыхлую среду (если только он не марксист от рождения или труп, смиренно ожидающий, когда окружающая среда вылепит *его*). Вот почему дети так любят копаться в песке, строить шоссе и туннели для любимых игрушек. У нашего сына была крохотная модель "Синей птицы" сэра Малкольма Кэмпбелла — из раскрашенной стали, со съемными покрышками, — с нею он бесконечно играл, сидя на земле, и солнце обращало в подобие нимба его длинноватые светлые волосы и придавало медовый оттенок его голой спине, на которой скрещивались бридочки его вязаных, темно-синих штанишек (под ними, когда его раздевали, обнаруживался как бы парный купальничек естественной белизны). Никогда прежде я так много не сиживал на стольких

скамьях и садовых стульях, каменных тумбах и ступенях, парапетах террас и бортах бассейнов. Пресловутый сосновый лес вдоль Груневальдского озера в Берлине мы посещали редко. Ты, помнится, спрашивала, вправе ли какое-либо место зваться лесом, когда в нем так много отбросов, когда оно замусорено пуще пристойных, претенциозных улиц соседствующего города. Удивительные предметы попадались в этом Груневальде. Вид железной кровати, посреди перелеска выставляющей напоказ анатомию своих пружин, или черного портновского манекена, валяющегося под цветущим кустом боярышника, заставлял гадать, кто мог потрудиться принести так далеко эти и другие широко раскиданные по бестропому лесу вещи. Однажды я нашел обезображенное, но еще бодрое зеркало, полное чащобных отражений, — как бы даже пьяное от смеси пива и шартреза, — с сюрреалистической лихостью прислоненное к стволу. Может быть такие вторжения в бюргерские места отдыха были обрывистыми грезами будущих неурядиц, дурным пророческим сном о разрушительных взрывах, вроде той кучи голов, которую сир Калиостро провидел в канаве королевского парка. Поближе к озеру летом, особенно в воскресенья, все кишело телами в разной стадии оголенности и загорелости. Только белки и некоторые гусеницы оставались в пальто. Сероногие женщины в исподнем белье сидели на жирном сером песке; отвратительные, тюленеголосые мужчины в грязных купальных трусиках гонялись друг за другом; замечательно миловидных, но плохо ухоженных девушек, обреченных на то, чтобы несколько лет спустя — в начале 1946-го, если быть точным, — выносить негаданный приплод с турецкой или монгольской кровью в невинных венах, преследовали, хлопая по попкам (отчего они вскрикивали: "Оу-оу!"); и возбуждение, которым тянуло от этих бедных игруний и от сброшенных ими одежд (аккуратно расправленных там и сям на земле), мешалось с вонью стоялой воды, создавая адский смрад, подобного коему я больше нигде не встречал. В берлинских парках и скверах запрещалось раздеваться, но разрешалось расстегнуть две-три пуговки рубашки, и можно было видеть на каждой скамейке молодых людей с ярко выраженным арийским типом, которые, закрыв глаза, подставляли под

одобренное правительством солнце прыщавые лбы и груди. Брезгливое, и может быть преувеличенное содрогание, отразившееся в этих заметках, вероятно результат нашей постоянной боязни, чтоб наш ребенок чем-нибудь не заразился. Ты всегда считала омерзительно пошлым и не лишенным мещанского привкуса мнение, что маленькие мальчики только тогда и милы, когда они ненавидят мытье и обожают убийство.

Мне бы хотелось вспомнить все те скверы, где мы с ним сидели; мне бы хотелось обладать даром профессора Джека из Гарварда и Арнольд-арборетума, уверявшего своих студентов, что он способен с закрытыми глазами установить принадлежность любой ветки просто по ее шелесту на ветру ("Граб, жимолость, итальянский тополь. Э-э — сложенная вдвое академическая справка!"). Конечно, я очень часто могу определить географическое положение того или этого садика по какой-то его черте или сочетанию черт: узкие дорожки, усыпанные гравием, окаймленные карликовым буксом и все встречающиеся друг с дружкой, как персонажи в комедии; низкая, кубовой окраски, скамья с тисовой, кубической формы, живой изгородью сзади; квадратная клумба роз в раме гелиотропа — эти подробности явно связаны с небольшими скверами на перекрестках берлинских предместий. Столь же очевидно, стул из тонкого железа с паукообразной тенью под ним, слегка смещенной с центра, и приятно поверхностная, хоть и определенно психопатическая вращательная кропилка с собственной радугой, висящей над жемчужной травой, означают для меня парк в Париже; но, как ты хорошо понимаешь, глаза памяти настолько пристально направлены на маленькую фигурку, сидящую на корточках (нагружающую игрушечный возок камушками или рассматривающую блестящую мокрую кишку, к которой пристало немножко гравия, по которому она только что проползла), что разнообразные места нашего жительства — Берлин, Прага, Франценбад, Париж, Ривьера, снова Париж, Антибский мыс и так далее — теряют свое суверенство, складывают в общий фонд своих окаменелых генералов и свои мертвые листья, общим цементом скрепляют содружество своих тропинок и соединяются в федерации бликов и теней, сквозь которые изящные

дети с голыми коленками мечтательно катятся на жужжащих роликах.

Время от времени узнаваемый обрывок исторического фона помогает установить место — и подменяет иными узами те, которые предлагает личное видение. Нашему мальчику было около трех лет в тот ветреный день в Берлине (где конечно никто не мог избежать знакомства с вездесущим портретом фюрера), когда я с ним остановился около клумбы бледных анютиных глазок: на личике каждого цветка было темное пятно вроде кляксы усов, и по довольно глупому моему наущению, он, страшно развеселясь, что-то такое сказал об их сходстве с толпой подпрыгивающих маленьких Гитлеров. Могу также назвать тот цветущий сад в Париже, где я, в 1938-м или 1939-м, видел тихую девочку лет десяти с лишенным всякого выражения бледным лицом, одетую в темное убогое нелетнее платье, словно она бежала из сиротского приюта (действительно, немного позже я увидел, как ее увлекали две плавных монахини), которая ловкими пальчиками привязала живую бабочку к ниточке и прогуливала слабо порхающее, слегка подбитое насекомое на этом эльфийском поводке (верно приходилось заниматься кропотливой вышивкой в том приюте). Ты часто обвиняла меня в ненужном жестокосердии при моих прозаичных энтомологических исследованиях во время наших поездок в Пиренеи и Альпы; и в самом деле, если я отвлек внимание нашего ребенка от этой нарочитой Титании, я это сделал не потому, что проникся жалостью к ее ванессе (к ее Red Admirable[1], или Admiral[2] на вульгарном жаргоне), а потому, что в ее хмурой игре присутствовало что-то отвратительно символичное. Возможно, я попросту вспомнил об очень простом старомодном способе, употреблявшемся французским полицейским, — и несомненно употребляемом и поныне, — когда он ведет в часть красноносого пролетария, воскресного бунтаря, которого он превращает в на редкость покорного и даже ревностного сателлита тем, что держит беднягу при помощи небольшого крючочка, вроде рыбачьего, всаженного в его

---

[1] Красная Обожаемая *(англ.)*.

[2] Адмирал *(англ.)*

нехоленую, но очень чувствительную и отзывчивую плоть. Бдительной нежностью мы с тобой старались оградить доверчивую нежность нашего мальчика, но неизменно сталкивались с тем, что какая-нибудь гнусная дрянь, нарочно оставленная хулиганом на детской площадке, была еще малейшим из зол, и что ужасы, которые прошлые поколения мысленно отстраняли, как анахронизмы или как нечто, случавшееся только в далеких ханствах или мандаринствах, на самом деле происходили вокруг нас.

Время шло, и тень, бросаемая дураком сделанной историей, стала наконец показываться даже на солнечных часах, и мы начали беспокойно странствовать по Европе, и было такое чувство, точно эти сады и парки путешествуют вместе с нами. Расходящиеся аллеи Ленотра и его затейливые цветники остались позади, как поезда, переведенные на запасной путь. В Праге, куда мы заехали в 1937-м показать нашего сына моей матери, имелся парк Стромовка, где за прирученными деревьями раскрывалась свободно волнующаяся даль. Ты вспомни и те сады со скалами и альпийскими растениями — молодилом и камнеломкой, — которые как бы проводили нас в Савойские Альпы, присоединясь к нам на отдыхе (оплаченном тем, что сумели продать мои переводчики), и затем последовали за нами в города на равнинах. Деревянные руки в манжетах, пригвожденные к древесным стволам в старых парках лечебных курортов, указывали в ту сторону, откуда доносилось приглушенное буханье духового оркестра. Умная тропка сопутствовала аллее-улице: не всюду идя параллельно с нею, но по собственной воле признавая ее водительство и вприпрыжку возвращаясь к ней от пруда с утками или бассейна с водяными лилиями, чтобы опять присоединиться к процессии платанов в том или этом пункте, где парк, заразясь от отцов города неподвижной идеей, вымечтал статую. Корни, корни чего-то зеленого в памяти, корни пахучих растений, корни воспоминаний, одним словом — корни, способны проходить большие расстояния, преодолевая некоторые препятствия, проникая сквозь другие, пользуясь каждой трещиной. Так эти сады и парки шли с нами через Европу. Гравистые дорожки останавливались и собирались в кружок, чтобы смотреть, как мы нагибались и щурились,

отыскивая мяч, ушедший под бирючину, но там, на темной сырой земле ничего не различалось, кроме пробитого, лиловатого троллейбусного билета или кусочков испятнанной марли и ваты. Круглое сиденье обходило толстый ствол дуба, чтобы взглянуть, кто там сидит на другой стороне, и находило грустного старика, читающего газету на языке чужого народа и ковыряющего в носу. Лаковые лавры замыкали лужок, где наш мальчик нашел первую свою живую лягушку, заскочившую в лабиринт подстриженных кустов, и ты сказала, что будет дождь. Дальше, под менее свинцовыми небесами, разворачивался пленительный вид заросших розами лощин и плетенья ветвей на аллеях, и трельяжей, помавающих ползучими растениями, готовых, если дать им шанс, обернуться в перголы, опутанные виноградом, если же нет, то обнаружить кокетливейшую из кокетливых публичных уборных, убогого шалеобразного сооружения сомнительной чистоты, где на пороге прислужница в черном вязала чулок.

Вниз по склону, плоскими камнями отделанная тропинка, ставя вперед все ту же ногу, опасливо пробралась через заросль ирисов и обернулась шустрой дорогой, где мягкая земля была вся в отпечатках подков. Сады и парки, кажется, стали двигаться быстрее по мере того, как удлинялись ноги нашего мальчика; и, когда ему было уже почти четыре года, деревья и цветущие кусты решительно повернули к морю. Как видишь скучного начальника небольшой станции, стоящего в одиночестве на обрезанной скоростью платформе, мимо которой промахивает твой поезд, так тот или другой серый парковый сторож удалялся, пока ехали наши сады, увлекая нас к югу, к апельсиновым рощам, к земляничным деревьям, к цыплячьему пуху мимоз и pâte tendre[1] безупречного неба.

Ступенчатые сады на горных склонах чередой террас, с каждой каменной ступени которых прыскал яркий кузнечик, спустились, уступ за уступом, к морю, при чем оливы и олеандры чуть не сбивали друг друга с ног в своем нетерпении увидеть пляж. Там наш мальчик, замерев, стоял на коленках, чтобы быть снятым в дрожащем мареве солнца

[1] Род фарфора *(фр.)*.

на мерцающем фоне моря, которое превратилось на сохраненных нами снимках в бельмо, но в действительности оно было серебристо-голубое, с большими фиалковыми темнотами вдали, порожденными теплыми токами в содружестве и в сотрудничестве (слышишь, как галька рокочет, увлекаемая волной?) с речистыми старыми поэтами и их улыбчивыми уподоблениями. И среди похожих на леденцы зеленых, розовых, синих стеклышек, вылизанных водой, и камушков с перевязью, и рифленых раковинок, сияющих снутри, иногда попадались кусочки глиняной посуды, еще сохранившие красоту цвета и глазури. Их он приносил тебе или мне для оценки, и если на них были синие шевроны, или полоски лиственного узора, или любые другие блестящие эмблемы, сочтенные драгоценными, они с легким звоном опускались в игрушечное ведро, — если же нет, вспышка и всплеск отмечали их возвращение в море. Не сомневаюсь, что между этими слегка вогнутыми ивернями майолики был и такой кусочек, на котором узорный бордюр как раз совпадал, продолжая его, с узором кусочка, который я нашел в 1903 году на том же берегу, и эти два осколка тянулись за третьим, который на том же самом Ментонском пляже моя мать нашла в 1882 году, и за четвертым осколком той же посудины, найденным ее матерью сто лет тому назад, — и так далее, покамест это собрание кусочков, когда бы все они сохранились, не сложилось бы в целую, совершенно целую чашу, разбитую итальянским ребенком Бог весть где и когда, но теперь починенную при помощи *этих* бронзовых скрепок.

Осенью 1939 года мы вернулись в Париж, а примерно 20 мая следующего года опять очутились у моря, но уже на западном побережье Франции, в Сен-Назере. Там один последний маленький сад окружил нас, тебя и меня и нашего сына, уже шестилетнего, идущего между нами, когда мы направлялись к пристани, где еще скрытый домами нас ждал "Шампелен", чтобы унести нас в Нью-Йорк. Этот сад был тем, что французы зовут, фонетически, "скварр", а русские — "сквер", может быть потому, что в Англии подобные ему обычно встречаются вблизи предназначенных для гуляния публики площадей ("square") или прямо на них. Разбитый на последнем рубеже прошлого и на самом

краю настоящего, он остался у меня в уме просто как геометрический рисунок, который я, разумеется, мог бы легко заполнить уместными красками, если бы мне достало беспечности нарушить тишину чистой памяти, которую я оставлял нетронутой (не считая, быть может, прорвавшегося кое-где шума в ушах, вызванного напором моей усталой крови) и в которую смиренно вслушивался с самого начала этих замет. Все что я действительно помню об этом бесцветном узоре, это его остроумный тематический союз с трансатлантическими садами и парками; ибо вдруг, в ту минуту, когда мы дошли до конца дорожки, ты и я увидели нечто такое, на что мы не тотчас обратили внимание сына, чтобы он сам смог во всей полноте блаженного потрясения, в изумлении и радости, открыть впереди невообразимо огромный, нереалистично реальный прототип всех пароходиков, которые он бывало подталкивал, сидя в ванне. Там, перед нами, где прерывчатый ряд домов отделял нас от гавани и где взгляд встречали всякие сорта камуфляжа, как например голубые и розовые подштанники, пляшущие кекуок на веревке, или дамский велосипед, почему-то делящий с полосатою кошкой куцый чугунный балкончик, — с великим удовлетворением различалась среди хаоса кровельных углов выраставшая из-за бельевой веревки великолепная труба парохода, вроде того, как на загадочных картинках, где все нарочно спутано («Найдите, что Спрятал Матрос»), однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда.

Указатель

А

Б

В

Л

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш



ИЗ ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ, 1972 г.

Нью-Йоркская газета, для которой предназначалось это проведенное в 1972 году по переписке интервью отказалась его печатать. В приводимом ниже варианте вопросы моего интервьюера либо сокращены, либо стилизованы.

Критики, писавшие о "Прозрачных вещах", похоже, затрудняются описать тему этой книги.

Тема книги проста — потустороннее разматывание клубка наугад выбранных судеб. Среди рецензентов нашлось несколько внимательных читателей, прекрасно написавших о моей книге. И все-таки ни они, ни, разумеется, заурядная критическая мелкота не заметили структурного узла романа. Могу ли я объяснить его простую и изящную суть?

Разумеется.

Позвольте мне процитировать одно место с первой страницы моей книги, озадачившее тех, кто поумнее, и сбившее с толку тех, кто поглупее: "Когда мы сосредотачиваем внимание на материальном объекте... самый акт сосредоточения способен помимо нашей воли окунуть нас в его историю". По ходу книги приводится несколько примеров, когда пробивается этот "тонкий защитный слой" настоящего. Там есть личная история карандаша. Есть также, в одной из последующих глав, прошлое убогой комнаты, в которой призрачный наблюдатель, вместо того чтобы заниматься Персоном и проституткой, уплывает в середину прошлого века и видит русского путешественника, маленького Достоевского, вселяющегося в эту комнату по пути из швейцарского игорного дома в Италию.

Еще один критик сказал...

Да, я как раз к этому и подбираюсь. Рецензенты моей маленькой книжицы с легким сердцем впадают в ошибку, предполагая, будто умение видеть вещи насквозь есть профессиональная функция романиста. На самом деле обобщение подобного рода является не только прискорбно плоским, но и совершенно неверным. В отличие от загадочного наблюдателя или наблюдателей "Прозрачных вещей" романист, подобно всем смертным, чувствует себя на поверхности настоящего гораздо уютнее, нежели в тине прошлого.

Так кто же он, этот наблюдатель; кто эти курсивом выделенные "мы" в семнадцатой строке романа; к кому, ради всего святого, относится "мне" в самой первой его строке?

Решение, друг мой, отличается такой простотой, что, подсказывая его, испытываешь чуть ли не смущение. Второстепенным, но на удивление деятельным персонажем моего романа является мистер R., американский писатель немецкого происхождения. Пишет он по-английски лучше, чем говорит. В разговоре R. имеет неприятную привычку вставлять там и сям "знаешь" и "понимаешь" немецкого эмигранта и, что еще утомительнее, искажать, калечить или не к месту втискивать самые заурядные американские клише. Хороший пример — его непрошеное, хоть и добронамеренное замечание в последней главе: "И знаешь, сынок, это дело нехитрое".

Кое-кто из рецензентов увидел в мистере R. пародию на мистера N.

Вот именно. Их привела к этому заключению опрометчивая машинальность мышления, связанная, я думаю, с тем, что оба писателя — натурализированные американские граждане и обоим случилось, или случалось, пожить в Швейцарии. К началу "Прозрачных вещей" мистер R. уже мертв, а его последнее письмо уже отправлено издателем "на хранение" в архив (смотри двадцать первую главу). Уцелевший же автор не только является художником не-

сравнимо лучшим, чем мистер R., но последний в своих "Фигуральностях" на самом деле прыскает завистливым ядом в сторону нестерпимо улыбающегося Омира ван Балдикова (девятнадцатая глава) — анаграмматическое имя, расшифровать которое по силам даже ребенку. На пороге моего романа Хью Персона приветствует дух или духи — может быть, его покойный отец или покойная жена; более вероятно — мсье Крониг, прежний распорядитель отеля "Аскот"; еще более вероятно — призрак мистера R. Это обещает нам триллер: чей дух станет вмешиваться в сюжет? И все же одно обстоятельство остается совершенно прозрачным и определенным: в последней строке книги только что умершего Хью приветствует, что здесь уже растолковано, не кто иной, как развоплощенный, но по-прежнему отзывающий карикатурой мистер R.

Понятно. А чем теперь заняты вы, барон Балдиков? Новым романом? Мемуарами? Собираетесь вновь натянуть нос тупицам?

У меня почти готовы два томика рассказов и сборник статей, да и новый восхитительный роман уже просунул ножку в мою дверь. Что до натягивания носа тупицам, этим я никогда не занимался. Мои книги, все мои книги, предназначены не для "тупиц", не для идиотов, уверенных в том, что я обожаю длинные латинизмы, не для полоумных ученых, отыскивающих в моих сочинениях сексуальные или религиозные аллегории; нет, мои книги предназначаются для Омира ван Б., для моей семьи, для нескольких интеллигентных друзей и для всех мне подобных, в каких бы расщелинах нашего мира они ни ютились — от библиотечных кабинок Америки до мрачных пропастей России.

ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ "ВОГ", апрель 1972 г.

Мир был и остается открытым для вас. При вашем прустовском чувстве пространства — чем привлекает вас Монтре?

Чувство пространства у меня скорее набоковское, чем прустовское. Что до Монтре, то он привлекателен многим — милые люди, близость гор, бесперебойно работающая почта, жизнь в уютном отеле. Мы живем в старой части "Палас-отеля", строго говоря, это его исконная часть, та, которая только и существовала сто пятьдесят лет назад (на старых гравюрах года примерно 1840-го можно видеть изначальный постоялый двор и будущее наше окно). Наши апартаменты состоят из нескольких крошечных комнат и двух с половиной ванных — это результат недавнего слияния двух гостиничных номеров. Последовательность их расположения такова: кухня, гостиная-столовая, комната моей жены, моя комната, бывшая кухонька, ныне заполненная моими бумагами, и прежняя комната нашего сына, превращенная теперь в кабинет. Все это забито книгами, папками и картотечными ящиками. То, что можно с некоторой напыщенностью назвать библиотекой, представляет собой комнату на задах, содержащую мои опубликованные произведения, есть еще добавочные полки на чердаке, слуховое окно которого часто посещают голуби и альпийские клушицы. Я сообщаю эти скрупулезные подробности для того, чтобы доказать несостоятельность передергиваний, наличествующих в другом интервью, недавно опубликованном другим нью-йоркским журналом, — длинном сочинении, с прискорбно перевранными цитатами, неверным тоном и подложными разговорами, в ходе которых я изображен называющим ученость моего близкого друга "педан-

тизмом" и отпускающим двусмысленные шуточки по поводу трагической судьбы мужественного писателя.

Присутствует ли доля правды в слухах о том, что вы собираетесь навсегда покинуть Монтре?

Ну, ходят слухи, что всякий из живущих ныне в Монтре рано или поздно покинет его навсегда.

"Лолита" представляет собой своеобразный Бедекер по Соединенным Штатам. В чем состоит для вас очарование американских мотелей?

Очарование их чисто практическое. Год за годом мы с женой каждое лето проезжали ("Плимут", "Олдсмобил", "Бьюик", "Бьюик-спешл", "Импала" — в этом порядке моделей) многие тысячи миль с единственной целью коллекционирования бабочек, — все они пребывают ныне в трех музеях (Естественной истории в Нью-Йорке, Сравнительной зоологии в Гарварде и "Комсток-холл" в Корнеле). Обычно мы проводили в очередном мотеле день-два, но временами, если охота шла хорошо, задерживались и на неделю. Основное raison d'être[1] мотеля состоит в возможности прямо с его порога ступить в осиновую рощу с люпинами в полном цвету или на дикий горный склон. И разумеется, по пути из одного мотеля в другой мы тоже совершали множество вылазок. Все это я опишу в следующих моих мемуарах, в "Говори дальше, память", там будет много любопытного (помимо сведений о бабочках) — забавные истории, происшедшие в Корнеле и Гарварде, потешные потасовки с издателями, моя дружба с Эдмундом Уилсоном и так далее.

В поисках бабочек вы посетили Вайоминг и Колорадо. На что похожими показались вам эти места?

Мы с женой собирали бабочек не только в Вайоминге и Колорадо — в большинстве штатов, равно как и в Канаде.

---

[1] Право на существование, разумное основание, смысл *(фр.)*.

Список мест, в которых мы побывали между 1940-м и 1960-м, занял бы многие страницы. Каждая бабочка, убитая требующим определенной сноровки сжатием торакса, тут же отправлялась в конвертик лощеной бумаги, которых примерно тридцать умещается в коробку из-под лейкопластыря, представлявшую собой единственное мое полевое снаряжение, если не считать сачка. При правильном хранении пойманных бабочек можно держать в таких конвертах многие годы, а уж после вновь размягчить и расправить. Точное место и дата поимки надписываются на каждом конверте и, кроме того, помечаются в записной книжке. Хотя мои поимки хранятся ныне в американских музеях, я сохранил сотни их бирок и заметок о них. Вот лишь несколько выбранных наугад примеров:

По пути к Терри-Пик от 85-й автострады, близ Леда, на высоте 6500–7000 футов, в Блэк-Хиллс, Южная Дакота, 20 июля 1958.

Над Томбой-роуд, между Сешл-Танл и Бульэн-Майн, примерно 10500 футов, близ Теллурида, округ Сан-Мигель, зап. Колорадо, 3 июля 1951.

Близ Карнера, между Олбани и Скенектади, Нью-Йорк, 2 июня 1950.

Близ Колумбайн-лодж, Эстес-Парк, вост. Колорадо, около 9000 футов, 5 июня 1947.

Сода-Маунт, Орегон, примерно 5500 футов, 2 августа 1953.

Над Порталом, по дороге в Растлер-Парк, между 5500 и 8000 футами, горы Чирикауа, Аризона, 30 апреля 1953.

Ферни, в трех милях к востоку от Элко, Британская Колумбия, 10 июля 1958.

Гранитный перевал, горы Биг-Хорн, 8950 футов, вост. Вайоминг, 17 июля 1958.

Близ Кроули-Лэйк, Бишоп, Калифорния, около 7000 футов, 3 июня 1953.

Близ Гэтлинбурга, Теннесси, 21 апреля 1959.

Et cetera, et cetera[1].

---

[1] И так далее, и тому подобное *(лат.)*.

Куда вы теперь отправляетесь за бабочками?

В разные хорошие места в Вале, в Тессине, в Гризоне, в холмах Италии, на средиземноморских островах, в горах южной Франции и так далее. В основном я занимался высокогорными бабочками Европы и Северной Америки, побывать в тропиках мне так и не пришлось.

Маленькие горные поезда, забирающиеся в альпийские луга сквозь солнце и тень, вдоль скальной стены или елового бора, вполне терпимые в ходу и упоительные конечным пунктом своего назначения, доставляют вас в исходную точку прогулки, занимающей целый день. Хотя мой любимый способ передвижения — это канатная дорога, и особенно кресельные подъемники. Скользить в этом волшебном сиденье под утренним солнцем из долины к боровой границе, следя за собственной сидящей в профиль тенью с призраком рампетки в призрачном кулаке, медленно возносящейся вдоль цветущего склона внизу, среди пляшущих сатирид и стремительных нимфалид, — все это представляется мне волшебной грезой в лучшем смысле этих слов. Когда-нибудь охотник за бабочками узнает ощущения еще более волшебные, перелетая горы с крохотной ракетой, закрепленной у него на спине.

А в прошлом, отправляясь на поиски бабочек, как вы обычно путешествовали? Приходилось ли вам, например, надолго останавливаться где-нибудь, разбивая палатку?

Семнадцатилетним юношей, в канун Русской революции, я серьезно обдумывал (став единоличным обладателем наследственного состояния) лепидоптерологическую экспедицию в Центральную Азию, которая, естественно, подразумевала необходимость подолгу жить в палатке. Еще раньше, лет примерно в восемь или девять, я редко забредал дальше полей и лесов, лежавших вблизи нашего поместья под Петербургом. В двенадцать я намечал место, находившееся дальше полудюжиной, а то и больше миль, и добирался туда на велосипеде, привязывая рампетку к раме; однако проехать на колесах удавалось далеко не по всякой лесной тропе, — можно было, конечно, скакать верхом, но наши свирепые русские оводы не позволяли

оставить лошадь привязанной в лесу на сколько-нибудь долгое время: мой умница-гнедой однажды чуть не залез на дерево, к которому был привязан, пытаясь избавиться от них — от здоровенных тварей с влажно-шелковистыми глазами и тигровыми тушками, а с ними от серых карликов с еще более язвительными хоботками, но не столь увертливых, — прихлопнешь двух-трех таких присосавшихся к шее жеребца серых пропойц одним ударом гантированной руки, и тебя переполняет чудесное, острое облегчение (которого, боюсь, диптеролог бы не одобрил). Как бы там ни было, охотясь на бабочек, я всегда предпочитал пешее хождение иным способам передвижения (исключая, естественно, летучее сиденье, с ленцой скользящее над древесным ковром и камнями неисследованной горы или вздымающееся над самыми цветущими кронами тропического леса); ибо, когда идешь, особенно по местам, тобой уже хорошо изученным, есть пронзительное удовольствие в том, чтобы уклоняться с пути и навещать тут поляну, там овраг, там то или иное сочетание растительности и почвы, дабы, так сказать, наведать знакомую бабочку именно в ее естественной среде и посмотреть, народилась ли уже, и если народилась, то как поживает.

Каков ваш идеал роскошного гранд-отеля?

Совершенная тишина, никакого радио за стеной, никого в лифте, никто не топает над головой, никто не храпит внизу, никаких гондольеров, бражничающих напротив, за лужайкой, никаких пьяных в коридоре. Помню одну ужасную сценку (а то был пятизвездный "палас", отмеченный в путеводителе красной певчей птичкой, обозначающей роскошь и уединение!). Услышав какой-то шум прямо за дверью моей спальни, я высунул голову в коридор, уже готовя проклятие, которое с шипением выдохлось, едва я увидел, что там происходит. Американец с внешностью разъездного дельца, пошатываясь, брел коридором в обнимку с бутылкой виски и сыном, мальчиком лет двенадцати, пытавшимся удержать его, повторяя: "Пожалуйста, пап, пожалуйста, ложись спать", что напомнило мне схожую ситуацию из чеховского рассказа.

Как по-вашему, что изменилось за последние шестьдесят лет в самом стиле путешествий? Вы ведь любили спальные вагоны.

О да. В первые годы нашего столетия в железнодорожном агентстве на Невском была выставлена трехфутовая модель коричневого спального вагона, далеко превосходившая в подробном правдоподобии мои жестяные заводные поезда. К сожалению, она не продавалась. Можно было разглядеть голубую обивку диванчиков, красноватую шлифовку и тисненую кожу внутренних стенок, вделанные в них зеркала, тюльпанообразные лампочки для чтения и прочие умопомрачительные детали. Широкие окна чередовались с более узкими, то одинокими, то парными, кое-где с матовыми стеклами. В некоторых отделениях уже были сделаны на ночь постели.

Тогдашний величественный, романтический Норд-Экспресс (после Первой мировой войны он стал уже не тот, сменив нарядную каревость на нуворишечью голубизну), состоявший исключительно из таких же международных вагонов, ходил только два раза в неделю и доставлял пассажиров из Петербурга в Париж. Я сказал бы, прямо в Париж, если бы пассажиров не переводили из него в другой, обладающий поверхностным сходством состав на русско-немецкой границе (Вержболово—Эйдкунен), где бокастую, развалистую русскую колею (шестьдесят с половиною дюймов) заменял европейский стандарт (пятьдесят семь с половиною дюймов), а березовые дрова — уголь.

В дальнем углу памяти я могу распутать по крайней мере пять таких путешествий в Париж, с Ривьерой или Биаррицем в конце. Выбираю относящееся к 1909 году, когда наша экспедиция состояла из одиннадцати человек и одной таксы. Отец в дорожной кепке и перчатках сидит с книгой в купе, которое он делит с нашим гувернером. Мы с братом отделены от них туалетной каморкой. Следующее купе занимает мать со своей горничной Наташей. Далее следуют мои маленькие сестры, их английская гувернантка, мисс Лавингтон (ставшая позже гувернанткой царских детей), и русская няня. Нечетный Осип, отцовский камердинер (лет через десять педантично расстрелянный большевиками за то, что угнал к себе наши велосипеды, а не передал их народу), делит купе с посторонним (Ферōди, известным французским актером).

Плюмажи пара исчезли, исчезли гром и сверкание, исчезла романтика железных дорог. Популярный train rouge[1] — это просто помощневший трамвай. Что до европейских спальных вагонов, они стали серыми и вульгарными. Одноместное купе, которым я обычно езжу, представляет собой низенькую конурку с угловым столиком, прикрывающим никчемные умывальные приспособления (отчасти схожие с таковыми же в фарсовом американском "купе", где для того, чтобы добраться до нужных принадлежностей, приходится вставать, подпирая, точно Лазарь, плечом свой одр). И все же для человека с прошлым эти международные спальные вагоны, доставлявшие вас прямиком из Лозанны в Рим или из Сицилии в Пьемонт, сохраняют некое приставшее к ним потускневшее очарование. Правда, тема вагона-ресторана совсем заглохла; сандвичи и вино сменились лоточниками, бродящими по поезду между станциями, а ваш пластиковый завтрак готовится перетруженным, полуодетым проводником в его неопрятном отсеке, смежном со зловонным вагонным ватер-клозетом; и все же мгновения восторга и изумления все еще возвращаются ко мне из детства во время полных таинственности и протяжных вздохов полуночных остановок или при первых проблесках моря и скал поутру.

А что вы думаете о сверхсамолетах?

Я думаю, что рекламным отделам авиакомпаний, когда они расхваливают просторность стоящих рядами сидений, следует воздержаться от изображения небывалых детишек, егозящих между невозмутимой матерью и пытающимся читать незнакомцем с седыми висками. Во всем остальном эти огромные машины являются шедеврами техники. Я никогда не перелетал Атлантики, однако совершил несколько упоительных перелетов рейсами "Свиссэйр" и "Эйр Франс". Вино, которое там подают, превосходно, а вид, открывающийся с небольшой высоты, перенимает дух своей красотой.

---

[1] *Букв.* красный поезд *(фр.).* Распространенное в 60-х гг. название французских поездов-экспрессов. Вагоны первого класса красились тогда в красный цвет.

Что вы думаете о багаже? Не кажется ли вам, что и он тоже утрачивает былой стиль?

Я думаю, что хороший багаж всегда красив, а такой попадается в наши дни на каждом шагу. Стиль, конечно, меняется. Нет уже с нами тех слоноподобных стоячих сундуков для платья, один из которых появляется в приятной для глаза, но в остальном нелепой киноверсии посредственной, однако во всяком случае внушающей доверие "Смерти в Венеции" Манна. Я и поныне храню элегантный, элегантно потертый образчик багажа, принадлежавший некогда моей матери. Его путешествия в пространстве подошли к концу, но он еще негромко напевает, перемещаясь во времени, ибо я храню в нем старые семейные письма и такие занятные документы, как свидетельство о моем рождении. Я года на два моложе этой древней вализы пятидесяти сантиметров в длину, тридцати шести в ширину и шестнадцати в высоту и являющейся в узкопрактическом смысле грузноватым nécessaire de voyage[1] из свиной кожи, с "Е. Н.", затейливо переплетающимися на серебряной табличке под серебряной же коронкой. Его купили в 1897 году перед свадебным путешествием матери во Флоренцию. В 1917-м он перевез из Петербурга в Крым, а затем в Лондон горстку драгоценностей. Году в 1930-м он лишился у ломбардщика дорогих хрустальных и серебряных коробочек, от которых остались внутри замысловато изогнутые кожаные пустоты. Но я вполне вознаградил его за эту потерю в те тридцать лет, что он разъезжал со мной — из Праги в Париж, из Сен-Назера в Нью-Йорк и сквозь зеркала более чем двухсот мотельных комнат и арендуемых домов, разбросанных по сорока шести штатам. То, что из нашего русского наследства уцелел лишь дорожный чемодан, и логично, и символично.

Как вы представляете себе "совершенное путешествие"?

Как первую прогулку по любому новому месту — в особенности такому, где до меня не побывал еще ни один

---

[1] Дорожный несессер *(фр.)*.

лепидоптеролог. В Европе и поныне есть неисследованные горы, а я все еще в состоянии проходить по двадцати километров за день. Рядовой любитель пешей ходьбы может, прогуливаясь, испытать прилив наслаждения (безоблачное утро, деревня еще спит, одна сторона улицы уже залита солнечным светом, надо попытаться купить на обратном пути английские газеты, вот и поворот... по-моему, да, тропа к Водопадам), но холодный металл ручки сачка в правом моем кулаке усиливает это наслаждение до почти непереносимого блаженства.

ИНТЕРВЬЮ НЕМЕЦКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ, 1971 г.

О ВРЕМЕНИ И ЕГО ТКАНИ

Мы в состоянии вообразить любые разновидности времени, скажем, "прикладное время" — время, приложимое к событиям, которое мы измеряем посредством часов и календарей; однако такие типы времени оказываются неизбежно подпорченными нашим представлением о пространстве, пространственной преемственностью, пространственными протяженностями и участками пространства. Когда мы говорим о "прохождении времени", мы представляем себе отвлеченную реку, текущую сквозь обобщенный ландшафт. Прикладное время, измеримые иллюзии времени полезны для целей, преследуемых историками или физиками, но меня они не интересуют, как не интересуют и созданного мною Вана Вина в четвертой части "Ады".

В этой книге мы с ним пытаемся разобраться в *сущности Времени*, не в его течении. Ван говорит, что можно быть "любителем Времени, эпикурейцем длительности", способным чувственно наслаждаться самой тканью времени, "его веществом и размахом, ниспаданием складок, самой неосязаемостью его сероватой кисеи, прохладой его протяженности". Он также уверен, что "Время есть жидкая среда, в которой подрастает культура метафор".

Время, хоть оно и родственно ритму, это не просто ритм, который подразумевает движение, — Время не движется. Величайшее открытие Вана состоит в его восприятии Времени как провала между двумя ритмическими биениями, суженного и бездонного безмолвия *между* биениями — не как самих биений, которые суть лишь прутья решетки, запирающей Время. В этом смысле жизнь человека это не пульсации сердца, но пропущенный им удар.

ЛИЧНОЕ ПРОШЛОЕ

Итак, Чистое Время, Перцептуальное Время, Осязаемое Время, Время, свободное от содержания, контекста и комментария, — это и есть разновидность Времени, описанная созданным мной человеком под моим сочувственным руководством. Прошлое также является частью этой ткани, частью настоящего, однако оно немного размыто. Прошлое есть постоянное накопление образов, но мозг наш — не самый совершенный орган непрерывной ретроспекции, и лучшее, что мы способны сделать, — это попытаться удержать пятна радужного света, порхающие в нашей памяти. Сам акт удержания — это акт искусства, художественного отбора, художественного слияния, художественной перетасовки действительных событий. Дурной мемуарист ретуширует прошлое, получая в итоге подсиненную либо розоватую фотографию, сделанную чужим человеком, чтобы утешить сентиментальную боль утраты. С другой стороны, мемуарист хороший прилагает все силы к тому, чтобы сохранить предельную точность детали. Один из способов, которым он достигает своей цели, состоит в том, чтобы отыскать на своем полотне точное место и наложить на него точный мазок памятного ему цвета.

ПРОШЛОЕ РОДОВОЕ

Отсюда следует, что совокупление, взаимное сочетание запомнившихся подробностей — это главная особенность художественного процесса восстановления своего прошлого. А это подразумевает проведение изысканий не только в своем собственном прошлом, но и в прошлом своей семьи, поисков чего-то такого, что схоже с тобой, что является твоим предварительным образом, еле приметной аллюзией на твое живое и мощное Ныне. Разумеется, это игра для стариков. Прослеживание пращура до самого его логова мало чем отличается от мальчишечьих поисков птичьего гнезда или мяча, закатившегося в траву. Рождественская елка твоего детства попросту заменяется родовым древом.

Как автор нескольких статей, посвященных лепидоптере, таких, к примеру, как "Nearctic Members of the Genus *Lycaeides*"[1], я испытываю некоторый трепет, узнавая, что дед моей матери с материнской стороны, Николай Козлов, родившийся два столетия назад и ставший первым президентом Российской Императорской медицинской академии, написал статью, озаглавленную "Сужение яремной дыры у людей умопомешанных и самоубийц", совершенный отклик на которую представляют мои "Неарктические члены и проч.". И не менее совершенной является связь между пяденицей Набокова — маленькой американской бабочкой, названной в мою честь, и рекой Набокова на Nova Zembla, ни больше ни меньше, названной именем моего прадеда, участвовавшего на заре девятнадцатого столетия в арктической экспедиции. Все это стало известным мне уже в поздние годы моей жизни. В моей семье к разговорам о предках относились неодобрительно, запрет исходил от отца, питавшего особое отвращение к малейшим приметам или призракам снобизма. Воображая себе все те сведения, которые я мог бы теперь привести в своих мемуарах, я, пожалуй, сожалею о том, что такие разговоры у нас не велись. Но в нашем доме, шестьдесят лет назад, двенадцать сотен миль отсюда, это было просто не принято.

РОДОВОЕ ДРЕВО

Мой отец, Владимир Набоков, был либеральным государственным деятелем, членом первого российского парламента, защитником справедливости и закона в весьма непростой империи. Он родился в 1870 году, отправился в изгнание в 1919-м, а три года спустя был убит двумя фашистского толка громилами, стараясь заслонить от них своего друга профессора Милюкова.

Родовые владения Набоковых соседствовали в Санкт-Петербургской губернии с родовыми владениями Рукавишниковых. Моя мать, Елена (1876–1939), была дочерью Ивана Рукавишникова, сельского барина и филантропа.

---

[1] "Неарктические члены рода *Lycaeides*" *(англ.)*.

Мой дед с отцовской стороны, Дмитрий Набоков (1827–1904), в течение восьми лет (1878–1885), при двух царях, занимал пост министра юстиции.

Предки с отцовской стороны моей бабушки, фон Корфы, прослеживаются до четырнадцатого века, между тем как в женской линии присутствует длинная вереница фон Тизенхаузенов, одним из предков которых был Энгельбрехт фон Тизенхаузен из Лифляндии, около 1200 года принимавший участие в третьем и четвертом Крестовых походах. Еще одним прямым моим предком был Кангранде делла Скала, князь Вероны, который некогда дал приют изгнаннику Данте Алигьери и герб которого, две большие собаки, держащие лестницу, украшает "Декамерон" Боккаччио (1353). Внучка делла Скала, Беатриче, вышла в 1370 году за Вильгельма, графа Оттингена, правнука толстяка Болко Третьего, графа Силезского. Их дочь стала женою фон Вальдбурга, между тем как трое Вальдбургов, один Киттлиц, двое Полензе, десяток Остен-Сакенов и наконец Вильгельм-Карл фон Корф и Элеонора фон дер Остен-Сакен произвели на свет деда моей бабки с отцовской стороны, Николая, павшего в бою 12 июня 1812 года. Его жена, бабушка моей бабушки, Антуанетта Граун, приходилась внучкой композитору Карлу-Генриху Грауну (1701–1759).

БЕРЛИН

Мой первый русский роман, "Машенька", был написан в Берлине в 1924 г., "Машенька" же стала первой из моих книг, переведенных, в 1928 г., на другой язык. Она вышла в немецком издательстве "Ullstein" под названием "Sie kommt — kommt Sie?"[1]. Следующие семь моих романов также были написаны в Берлине, в Берлине же разворачивалось, полностью или частично, и их действие. Таков вклад Германии в атмосферу и в создание моих написанных в Берлине восьми русских романов. Когда я перебрался туда из Англии в 1921 году, я обладал лишь поверхност-

[1] Букв.: "Она придет — придет ли она?" *(нем.)*

ным знанием немецкого языка, приобретенным в более ранний приезд в Берлин — в 1910 году я, мой брат и наш русский учитель выправляли там зубы у американского дантиста. В университетские годы, проведенные мной в Кембридже, я поддерживал жизнь в моем русском языке, читая русскую литературу, мой основной университетский предмет, и в пугающих количествах сочиняя русские стихи. Перебравшись в Берлин, я испытывал панический страх перед немецким языком, я боялся, что, научившись бегло говорить по-немецки, я как-то поврежу драгоценные залежи моего русского. Преодоление лингвистических помех облегчалось для меня тем, что я жил в замкнутом кругу моих русских друзей-эмигрантов и читал исключительно русские газеты, журналы и книги. Единственные мои вылазки в области местного языка состояли в обмене любезностями со сменявшими друг друга хозяевами и хозяйками съемных комнат и в рутинных фразах, произносимых в магазинах: "Ich möchte etwas Schinken"[1]. Ныне я сожалею о своей нерадивости — сожалею из соображений культурного характера. Все, что я сделал в этом плане, — это юношеский перевод песен Гейне для русской контральто, которой, кстати сказать, требовалось, чтобы музыкально значимые гласные совпадали с оригиналом по полноте звучания, вследствие чего я превратил "Ich grolle nicht" в "Нет, злобы нет" вместо непригодной для пения старой версии "Я не сержусь". Позже я прочел Гете и Кафку en regard[2], как читал я и Гомера с Горацием. Ну и разумеется, я с самого детства, прибегая к помощи словаря, копался во множестве немецких книг, посвященных бабочкам.

АМЕРИКА

В Америке, где я писал свои книги только по-английски, положение мое было совершенно иным. Едва ли не с младенчества я говорил по-английски с той же легкостью, что и по-русски. Уже в тридцатые годы, в Европе, я напи-

---

[1] Мне кусочек ветчины *(нем.)*.

[2] Здесь: пользуясь параллельным переводом *(фр.)*.

сал по-английски один роман, это не считая перевода двух моих русских книг. Лингвистически, если не эмоционально, переход на новый язык был не очень тяжелым. И во искупление тех терзаний, которые я испытывал, я написал в Америке несколько русских стихотворений, неизмеримо превосходящих все сочиненное в мой европейский период.

ЛЕПИДОПТЕРА

По-настоящему я занимался лепидоптерой в течение всего семи-восьми лет, в сороковые годы, и преимущественно в Гарварде, где я работал научным сотрудником энтомологического отдела в Музее сравнительной зоологии. Эта работа была отчасти связана с выполнением обязанностей музейного хранителя, но основную часть времени я уделял классификации некоторых мелких голубянок на основе устройства гениталий их самцов. При такого рода исследованиях приходится постоянно пользоваться микроскопом, а поскольку я предавался им по шести часов ежедневно, то и испортил себе зрение непоправимым образом; но с другой стороны, годы, проведенные в Гарвардском музее, так и остались самыми радостными и волнующими во всей моей взрослой жизни. В летние месяцы мы с женой отправлялись ловить бабочек, преимущественно в Скалистые горы. Последние пятнадцать лет я занимался такой ловлей то здесь, то там — в Северной Америке и в Европе, но не опубликовал ни одной посвященной бабочкам научной статьи, поскольку сочинение новых романов и перевод старых посягают на слишком большую часть моей жизни: миниатюрные крючочки на лапках бабочек-самцов ничто в сравнении с орлиными когтями литературы, раздирающими меня днем и ночью. В сущности, моя энтомологическая библиотека в Монтре меньше, чем те груды книг о бабочках, которыми я владел в детстве.

Мне удалось открыть или ревизовать некоторое количество видов и подвидов бабочек, преимущественно в Новом Свете. В таких случаях фамилия открывателя, написанная латинскими буквами, добавляется к курсивному названию, которое он дал открытому им существу. Несколько бабочек

и одна ночница названы в мою честь, в этих случаях моя фамилия присоединяется к имени описываемого насекомого, приобретая вид "*nabokovi*", а уже следом идет фамилия открывателя. Еще в Южной Америке существует род *Nabokovia* Hemming. Все мои американские коллекции находятся в музеях — в Нью-Йорке, в Бостоне, в Итаке. Бабочки, которых я собирал в последнее десятилетие, все больше в Швейцарии и Италии, до сих пор не расправлены. Они все еще лежат в конвертиках из лощеной бумаги, хранящихся в жестяных коробочках. Со временем они отмякнут во влажных полотенцах, затем будут проколоты булавками, затем расправлены и снова высушены на дощатых подставках и, наконец, снабжены бирками и помещены в стеклянные ящички или шкапы для сохранения, как я надеюсь, в прекрасном энтомологическом музее в Лозанне.

СЕМЬЯ

Я всегда был ненасытимым пожирателем книг, и сейчас, как и в детстве, видение света ночной лампы на томике у кровати — это обетованное пиршество и путеводная звезда всего моего дня. К числу других острых моих удовольствий принадлежат телевизионные футбольные матчи, время от времени — бокал вина или треугольный глоток баночного пива, солнечные ванны на лужайке и сочинение шахматных задач. Возможно, менее ординарным является безмятежный ход семейной жизни, которая за долгое ее течение — почти полвека — неизменно оставляла в полных дураках всех пугал внешнего окружения и всех приставал наружных обстоятельств во все периоды нашей изгнаннической жизни. В большинстве своем мои сочинения посвящены жене, а ее портрет часто воспроизводится некими таинственными способами отражения цвета во внутренних зеркалах моих книг.

Мы поженились в Берлине, в апреле 1925 года, в самый разгар сочинения мною первого из моих русских романов. Мы были до смешного бедны, ее отец разорился, моя овдовевшая мать существовала на скудную пенсию, мы

жили с женой в мрачных комнатах, которые снимали в западной части Берлина, у бедствующих семей немецких военных; я преподавал теннис и английский язык, и девять лет спустя, в 1934-м, на заре новой эры, родился наш единственный сын. В конце тридцатых мы перебрались во Францию. Мои произведения начали переводить, на мои чтения в Париже и других городах приходило немало людей, но затем наступил конец моей европейской эры: в мае 1940-го мы уехали в Америку.

СЛАВА

У советских политиков имеется довольно смешное провинциальное обыкновение — аплодировать аудитории, которая аплодирует им. Надеюсь, меня не обвинят в игривом самодовольстве, если в ответ на ваши комплименты я скажу, что у меня были величайшие читатели, какие когда-либо доставались любому из авторов. Я считаю себя американским писателем, родившимся в России, получившим образование в Англии и вдохновляемым культурой Западной Европы; я сознаю это смешение, но даже самый прозрачный плампудинг не в состоянии рассортировать все его составляющие, особенно пока вокруг него еще вьются язычки бледного пламени. Фильд, Аппель, Проффер и многие другие в США, Циммер в Германии, Вивиан Дамор-Блок (робкая кембриджская фиалка) — все они добавляли свою эрудицию к моему вдохновению, и с блестящими результатами. Я многое хотел бы сказать о моих героических русских читателях, но этому препятствуют самые разные чувства — помимо чувства ответственности, — с которыми я все еще не могу совладать сколько-нибудь рациональными способами.

ШВЕЙЦАРИЯ

Безупречная почтовая служба. Отсутствие докучных демонстраций и злостных забастовок. Альпийские бабочки. Сказочные закаты прямо на запад от моего окна — озеро

в блестках, расколотое солнце! Не говоря уже о приятном сюрпризе метафорического заката в столь очаровательной обители.

"Все суета"

Эта фраза — всего лишь софизм, ибо, если она справедлива, она и сама "суета", а если нет, значит, "все" — неверно. Вы говорите, что она представляется моим главным девизом. И я задумываюсь: неужели в моих книгах и впрямь так много гибельного разочарования? Гумберт разочарован, это очевидно; разочарование уготовано и иным из моих негодяев; полицейские государства в некоторых моих романах и рассказах также терпят ужасное разочарование; но любимые мои создания, мои блистательные персонажи — в "Даре", в "Приглашении на казнь", в "Аде", в "Подвиге" и так далее — в конечном итоге оказываются победителями. Сказать по правде, я верю, что в один прекрасный день явится новый оценщик и объявит, что я был вовсе не фривольной птичкой в ярких перьях, а строгим моралистом, гонителем греха, отпускавшим затрещины тупости, осмеивавшим жестокость и пошлость — и считавшим, что только нежности, таланту и гордости принадлежит верховная власть.

КОММЕНТАРИИ

ПРОЗРАЧНЫЕ ВЕЩИ
(TRANSPARENT THINGS)

Роман начат 7 октября 1969 г., закончен 1 апреля 1972 г. Опубликован 13 октября 1972 г. издательством "McGraw-Hill Book Company", Нью-Йорк. Здесь и далее даты публикаций даются по книге *Boyd B.* Vladimir Nabokov: The American Years. Princeton, 1991.

На русском языке впервые издан под названием "Просвечивающие предметы" (перевод А. Долинина и М. Мейлаха): *Набоков.* Романы. М.: "Художественная литература", 1991.

Первый вариант настоящего перевода напечатан в журнале "Новая Юность", № 18, 1996. Перевод выполнен по первоизданию.

При подготовке комментария использовались, помимо других материалов, комментарии А. Долинина к вышеупомянутой книге и комментарий Брайена Бойда, напечатанный в третьем томе трехтомного собрания англоязычных сочинений В. Набокова (*Nabokov V.* Novels 1955–1962), вышедшего в 1996 г. в серии "The Library of America".

При ссылках на какой-либо том имеется в виду том настоящего собрания сочинений.

3

С. 16 ...мы замечаем резчика, старого Илию Борроудэйла... — В 1564 г. (год рождения Шекспира) близ городка Борроудэйл в Кумберленде, Англия, было открыто месторождение чистого графита в сплошных кусках. В 1565 г. швейцарский натуралист Конрад Геснер дал в своем трактате о минералах первое описание карандаша из графита, заделанного в дерево.

5

С. 20 Резкое дин-дин-дон... — В шекспировской "Буре" Ариэль, уверяя Фердинанда в смерти его отца, поет:

Отец твой спит на дне морском,
Он тиною затянут,
И станет плоть его песком,
Кораллом кости станут.

....

Морские нимфы, дин-дин-дон,
Хранят его последний сон.

(Перевод М. Донского)

С. 21 ...ненамеренный каламбур... — Вывеску можно прочитать и как 3 Photo osés. По-французски Photos osées означает "рискованные фото".

6

С. 22 ...пусть он даже силен, как бостонский душитель... — Между июнем 1962 г. и январем 1964 г. в окрестностях Бостона было изнасиловано и задушено тринадцать пожилых женщин. Пресса называла совершившего эти преступления (впоследствии пойманного) убийцу бостонским душителем.

8

С. 27 "Анакреон... задушенный "винным скелетом..." — Греческий поэт Анакреон (ок. 570—478 до Р.Х.) умер, подавившись проглоченной вместе с вином косточкой винограда.

"...Алехину... мертвый бык". — Шахматный чемпион Александр Алехин (1892—1946) умер в Португалии. При вскрытии выяснилось, что он подавился непрожеванным куском мяса.

...покойного символиста Атмана... — Атман — субъективное психическое начало, душа в индуизме, понимаемая как в личном, так и в универсальном смысле.

Кромлех... менгир... — Кромлехи и менгиры — ритуальные каменные сооружения кельтов, населявших в древности Британские острова. О них говорится в главе 3 романа "Любовница французского лейтенанта" (1969) Джона Фаулза. Критика порой сравнивала этот роман с набоковской "Адой".

9

С. 31 chamar — В "Гяуре" Дж. Байрона используется слово symar, представляющее собой вариант *англ.* cymar (накидка, лег-

кое платье), которое, в свою очередь, происходит от старо-французского chamarre.

С. 32 Ouvre ta robe, Déjanire... sur mon bûcher. — Деянира, жена Геракла, послала ему пропитанный кровью кентавра Хирона хитон, причинявший ему страшные мучения. Деянира, узнав об этом, повесилась, а Геракл сжег себя на погребальном костре. Французская цитата взята из стихотворения Альфреда де Мюссе "Джулии".

10

С. 34 ...Шерлокова квартирная хозяйка... — Отсылка к рассказу А. Конан Дойля "Пустой дом". Еще одна такая отсылка содержится в романе "Бледное пламя" (см. комм. Кинбота к строке 27, с. 348 третьего тома).

С. 35 Никтурия — болезнь, ночное мочеиспускание.

...Тамворт: от английской породы пятнистой свиньи... — Тамвортская порода свиней, по названию английского города Tamworth, близ которого она была выведена.

11

С. 38 ...короткую, словно жизнь цветочной гирлянды... — Неоднократно встречающийся у Набокова мотив, связанный со стихотворением А. Хаусмана "На смерть молодого атлета" (см. комм. к с. 45 первого тома и к с. 446 третьего тома).

12

С. 39 Как часто случалось в романах R., "на звонок никто не ответил". — См., например, в последней главе "Пнина": "Он и позвонил, и хоть ответа на вереницу настойчивых нот, изображающих действительный звон в воображаемой далекой прихожей, не последовало..." В конце "Лолиты" (глава 29 второй части), когда Гумберт приезжает к Лолите: "Я нажал на кнопку звонка... Personne: никого". Там же (глава 35 второй части) приезд к Куильти: "Звонку моему ответствовала настороженная ироническая тишина". В "Бледном пламени" Градус несколько раз звонит у закрытых дверей.

Патапуф — От *фр.* patapouf — "толстяк, пузан".

С. 42 ...мечта лютвидгеанца... — Имеется в виду Чарльз Лютвидж Доджсон, автор “Алисы в Стране Чудес”, известный под псевдонимом Льюис Кэрролл. Одно из его хобби состояло в фотографировании обнаженных девочек.

С. 43 ...Дентонову подставку с парусником... — Имеется в виду алебастровая подставка для демонстрации эффектных бабочек, на которой в данном случае закреплен парусник, бабочка из рода орнитоптер.

13

С. 46 ...не может быть... “рафалович” по-русски... — В 1927 г. Набоков напечатал отрицательную рецензию на два сборника эмигрантского поэта С. Л. Рафаловича (1875—1943).

С. 49 “yellow blue tibia” — Ср. “yellow blue Vass” в “Аде” (с. 182 четвертого тома).

19

С. 70 “Pauline anide” — Последнее слово, созвучное с *англ.* a nude — “обнаженная модель”, означает по-латыни “бесформенная, лишенная дифференциации” (применяется при описании человеческого эмбриона).

...как правильно — “Савой” или “Савойя”? — Первое — название сети фешенебельных отелей, второе — департамента во Франции.

...Кондом в Гаскони от Письки в Савойе. — В оригинале Condom и Pussy, реально существующие места. Перевод этих слов буквально соответствует указанному в тексте.

С. 72 ...“бурные баланы”... — От *лат.* balanus — “желудь”; многие производные от этого слова связаны с крайней плотью и головкой мужского полового органа.

...“пятнастый небрис”. — От *гр.* nebris — “шкура молодого оленя”, одежда Дионисия и сатиров.

“Reign of Cnut”... “the Knout” — Имя Cnut, или Canute, носили несколько датских королей (Кнуд, или Кнут по-русски). The Knout — это офранцуженное *рус.* “кнут”, попавшее и в английский язык. Предлагаемая “робкой считчицей” перестановка дает непристойное *англ.* cunt.

20

С. 74 танатология — наука о смерти (от *гр.* tanatos — “смерть”).

С. 76 Супермен, несущий в объятиях младую душу! — Из стихотворения Лермонтова “Ангел” (1831): “Он душу младую в объятиях нес”.

21

С. 78 Эйлер, Леонард (1707—1783) — математик и физик, швейцарец по происхождению, работавший в Берлине и в Санкт-Петербурге.

Босуэлл, Джеймс (1740—1795) — секретарь и автор основанной на дневниковых записях биографии выдающегося английского писателя и ученого Сэмюэля Джонсона (1709—1784).

22

С. 81 ...католический поэт и без малого святой... — Возможно, имеется в виду французский поэт и путешественник Сен-Джон Перс (1877—1975).

...нелепо уменьшенное русское имя покойной старухи. — “Настя” схоже с *англ.* nasty — “противный, мерзкий”.

23

С. 82 Carte du Tendre — В Примечаниях Вивиан Дамор-Блок к “Аде” это выражение объясняется как “‘Карта нежной любви’, сентиментальная аллегория семнадцатого века”.

С. 85 “Дождь в Виттенберге, сушь в Витгенштейне”. — В “Логико-философском трактате” (1929) Людвига Витгенштейна (1889—1951) говорится: “Например, я ничего не знаю о погоде, когда я знаю, что дождь либо идет, либо не идет”. Виттенберг — университет, в котором учился Гамлет. В интервью, данном Альфреду Аппелю-младшему (см. третий том), Набоков говорит: “О трудах Витгенштейна мне ровным счетом ничего не известно, да и само его имя я услышал в пятидесятые, должно быть, годы”.

24

С. 86 "Прах ко праху"... — из заупокойной службы в англиканской церкви ("The Book of Common Prayer").

25

С. 87 К поискам утраченного времени в смысле, полностью отличном от ужасного "Je me souviens, je me souviens de la maison où je suis né" Гудгрифа да и от Прустовой погони? — Французская цитата представляет собой буквальный перевод стихотворения "Помню я, помню..." (1827) английского поэта Томаса Гуда (1799—1845). Б. Бойд считает, что "Гудгриф" (фамилия, которую можно перевести как "Добросердечное горе") сочетает в себе фамилии Гуда и Ч. К. Скотт-Монкрифа — переводчика Пруста на английский, заменившего название "В поисках утраченного времени" ("À la recherche du temps perdu") на "Воспоминания о прошедшем" ("Remembrance of Things Past"), чтобы сохранить в заглавии Прустово R—T—P и вместе с тем создать перекличку с 30-м сонетом Шекспира: "When to the sessions of sweet silent thought / I summon up remembrance of things past..."

С. 88 "Бью-Ромео" — В Стрезе существует отель "Борромео".

С. 89 "Transatlantic" — Возможно, имеется в виду журнал "The Atlantic Monthly", напечатавший несколько рассказов Набокова.

26

С. 94 Амилькар — также Гамилькар. Это имя носил карфагенский стратег, отец Ганнибала.

СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ!
(LOOK AT THE HARLEQUINS!)

Роман писался в 1973—1974 гг.

Первое издание: N.Y.: McGraw-Hill, 27 августа 1974 г.

Перевод выполнен по изданию: *Nabokov V.* Look at the Harlequins! Penguin Books, 1980. В публикуемом тексте учтены замечания и поправки, сделанные сыном писателя Д. В. Набоковым при проверке рукописи перевода.

На русском языке печатается впервые.

При подготовке комментариев использовались следующие источники: *Barton Johnson, D.* Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov. Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1985; *Boyd, B.* Vladimir Nabokov. The Russian Years. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1990; *Boyd, B.* Vladimir Nabokov. The American Years. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1991; а также комментарии Брайена Бойда к трехтомнику Набокова, выпущенному в серии "The Library of America", 1996.

Далее при ссылках на текст этого романа используются следующие обозначения: римской цифрой обозначается часть, арабской — глава. Буквами ВВ обозначен князь Вадим Вадимович Блонский(?). При ссылках на тот или иной том имеется в виду, если не оговорено иное, том настоящего собрания сочинений.

С. 100 Другие произведения повествователя — При первом взгляде на приведенный список возникает ощущение чего-то смутно знакомого. Оно не обманчиво. Читатель еще увидит в дальнейшем, что повествователя то и дело путают с каким-то другим писателем, да и сам он томится чувством, будто он — "непохожий близнец, пародия, скверная версия жизни иного человека... иного писателя". Этим иным писателем является, конечно, Владимир Набоков, и мы попробуем здесь провести параллели между произведениями двух этих авторов.

Тамара 1925 — "Машенька" (1926). Тамарой названа в "Других берегах" и в "Память, говори" Валентина Шульгина, юношеская любовь Набокова, ставшая прототипом Машеньки. В настоящем романе парижский издатель Оксман, разговаривая с героем, несколько раз сбивается, называя "Тамару" то "Машенькой", то "Княжной Мери". Лермонтовская "Княжна Мери" тут, конечно, ни при чем, однако стоит отметить, что в английском переводе (1970) роман "Машенька" получил название "Mary" и что Набоков перевел в сотрудничестве с сыном "Героя нашего времени" на английский язык.

Пешка берет королеву 1927 — "Король, дама, валет" (1927), "Защита Лужина" (1929). Процитируем из I.11: "Дама, сидевшая рядом со мной, сообщила, что она без ума от вероломного разговора между Пешкой и Королевой — насчет мужа, — неужели они и вправду выбросят бедного шахматиста из окна?" Убийство мужа ("короля") замышляют в "Король, дама, валет" его жена и любовник жены ("дама" и "валет"), Лужин кончает с собой, выпрыгнув из окна.

Полнолуние 1929 — "Лунный разлив стихов" (VI.1) — вот все, что сообщается нам об этом романе. Среди русских произведений

Набокова нет романа в стихах, есть лишь большая "Университетская поэма", написанная "онегинской строфой". Присутствие луны в заглавии романа позволяет провести параллель между ним и гораздо более поздним английским романом Набокова "Бледное пламя" ("Но *эта* штука манит / В себя луну. Ну, Вилли! "Бледный пламень"!"), обязанном своим названием характеристике, которую дает луне-воровке шекспировский Тимон Афинский.

Камера люцида (Slaughter in the Sun) 1931 — Приведенное в скобках английское название по-русски звучит так: "Убийство при ярком (солнечном) свете". Здесь, несомненно, имеется в виду роман Набокова "Камера обскура" (1932), перевод английской версии которого ("Laughter in the Dark", т. е. "Смех в темноте") напечатан во втором томе.

Красный цилиндр 1934 — "Приглашение на казнь" (1935). "С разрешения почтеннейшей публики, вам наденут красный цилиндр", — используя такую "подставную фразу", судья объявляет Цинциннату Ц. о том, что он приговорен к отсечению головы.

Подарок Отчизне 1950 — Не следует обманываться датой, она относится ко времени издания, а не написания. Содержание этого, законченного к 1939 г. романа, подробно изложенное в II.5, позволяет заключить, что он представляет собой сплав "Дара" (что подчеркивается самим видом его английского названия "The Dare") с "Подвигом" (1932). Подобно "Дару", роман ВВ был завершен в 1938 г. Подобно "Дару", он содержит вставную биографию, только не Чернышевского, а Достоевского. Подобно "Дару", изданному отдельной книгой лишь в 1952 г. (Chekhov Publishing House, Нью-Йорк), он полностью вышел в свет лишь в 1950-м (Turgenev Publishing House, Нью-Йорк).

See under Real 1939 — "The Real Life of Sebastian Knight" (1941). Содержание этого романа подробно излагается в II.11.

Esmeralda and Her Parandrus 1941 — Можно предположить здесь присутствие рассказа "Волшебник" (1939) и романа "Лолита" (1955). Эсмеральда из "Собора Парижской Богоматери" Виктора Гюго была цыганочкой. "Гитаночка" Лолита упоминается в "Аде". Отметим, кстати, что парандр — это мифический олень с копытами серны, шкурой цвета медвежьей и оленьими рогами, живущий в Эфиопии и способный, подобно хамелеону, менять свой цвет.

Dr Olga Repnin 1946 — "Пнин" (1957). Фамилию главного героя этого романа носил Иван Петрович Пнин (1773—1805), незаконнорожденный сын генерала-фельдмаршала Репнина, поэт, публицист, член (а с 1805 г. председатель) Вольного общества

любителей словесности, наук и художеств, сторонник просвещения и противник крепостного права.

Exile from Mayda 1947 — Из сказанного в романе следует, что это сборник рассказов. Провести какие-либо аналогии затруднительно.

A Kingdom by the Sea 1962 — отзывает содержанием "Бледного пламени" (1962), однако это опять-таки "Лолита". Название, взятое из стихотворения Эдгара По "Аннабель Ли", приведенного в комментариях к "Лолите" (см. второй том), было некоторое время рабочим названием будущей "Лолиты".

Ardis 1970 — "Ада" (1969), действие первой части которой разворачивается в поместье Ардис.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

С. 101 В один из дней пасхального триместра моего последнего кембриджского года (1922-го)... — Набоков, подобно ВВ, учился в Кембридже в 1919–1922 гг. Создается, впрочем, впечатление, что ВВ, проучившийся на год меньше положенного, университетского курса не окончил.

Ивор Блэк — Здесь содержится уже привычный для читателя Набокова черно-белый мотив (ср., например, доктора Биянку Шварцман в "Лолите"). Имя Ивор образовано от *англ.* ivory — "слоновая кость", а фамилия Black означает "черный" (отчего он и возникает в VII.2 в виде ученого мавра с указкой из слоновой кости). Об иных обстоятельствах, связанных с фамилией Ивора и Ирис, см. ниже комм. к с. 175.

...поставить переведенного на английский гоголевского "Ревизора". — "Ревизор" в романе упоминается трижды, помимо этого имеются еще две ссылки на Гоголя плюс утверждение Ивора (сделанное чуть ниже), что само название пьесы "происходит от французского rêve, то есть 'сон'". Возможно, все это — указание читателю, что перед ним хлестаковские выдумки, отягощенные бредом безумца. Сны вообще занимают в романе слишком много места, чтобы не приглядеться к ним повнимательнее.

Тринити — Набоков, как и Себастьян Найт, учился в кембриджском Тринити-колледже (Колледже Святой Троицы).

"Питт" — кембриджский клуб студентов-спортсменов.

С. 102 Беннетт — вероятно, Арнольд Беннетт (1867–1931), английский романист, драматург и критик.

Барбеллион — Вильгельм Нерон Пилат Барбеллион (1889–1919), псевдоним английского натуралиста и писателя Брюса Фредерика Каммингса. Жизненный путь его является как бы зеркальным отражением набоковского. Зарабатывая хлеб насущный литературным трудом, преимущественно ненавистной ему журналистикой, он после многих лет самостоятельных занятий сумел стать тем, кем мечтал стать с детства, — признанным натуралистом, сотрудником Британского музея естественной истории.

С. 103 ...он надеялся, что Себастьян... все же сумеет приехать к поре винограда или к триумфу лаванды. — Судя по всему, это герой первого англоязычного романа Набокова Себастьян Найт. "После Кембриджа я поехал на континент и провел там две тихих недели в Монте-Карло", — пишет Найт ("Утерянные вещи", см. с. 38 первого тома). В Кембридж Найт поступил, как и Набоков, в 1919-м, и в отличие от ВВ закончил его с отличием в 1922-м. По пути в Монте-Карло Себастьян заезжал в Париж к брату и предлагал ему "поехать с ним на Ривьеру" (том первый, с. 49).

2

С. 104 Мак-Наб — третий "шотландец" в английских романах Набокова, составляющий компанию Мак-Фатуму из "Лолиты" и Мак-Мату из "Подлинной жизни Себастьяна Найта". Упоминание о сходстве ВВ с молодым актером, принявшим "это имя в последние годы своей жизни — или по крайности славы", т. е., подобно Набокову, отказавшимся во второй половине жизни от псевдонима, — первая в романе ссылка на двойника ВВ, вернее, человека, двойником которого является сам ВВ.

С. 105 Родителей я видел не часто. — См. комм. к с. 182.

С. 106 ...я сотворил эту двоюродную бабку... — Таким образом, вопрос о реальном существовании "баронессы Бредовой, рожденной Толстой" остается открытым.

Мстислав Чарнецкий — Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (том 38, с. 393) отмечает двух Чарнецких:

1. Польского писателя XVII в. Максимилиана Чарнецкого, автора "Mnemozinon Virtutis" ("Добродетели Мнемозины") и "Sapho Slawianska" ("Славянская Сафо").

2. Киевского воеводу, коронного гетмана Стефана Чарнецкого (1599–1665), воевавшего с русскими, казаками и шведами и назначенного в год своей смерти главнокомандующим над польскими войсками.

Отметим присутствие музы памяти Мнемозины ("Мнемозина, говори" — таков был первый вариант заглавия "Память, говори") и Сафо (введшей столь важную в "Бледном пламени" тему однополой любви в мировую литературу) у первого и дату рождения второго (ровно за 300 лет до Набокова).

Ян III Собеский (1624–1696) — польский воевода, состоявший некоторое время под началом Стефана Чарнецкого (см. предыдущий комм.) и в 1676 г. коронованный как Ян III.

...зарогатил последнего зубра. — В центральной Польше последний зубр был убит в 1627 г.

С. 107 ...прелестный револьверик Дагмары. — Аллюзия на Дагмару (?–1212), дочь чешского короля Оттокара I и супругу датского короля Вальдемара Победителя, ставшую в датской народной поэзии воплощением всех добродетелей христианки, супруги и королевы. Данное ей при рождении имя — Драгомира, однако народ прозвал ее Дагмарой (Денницей) "за ее миловидность".

...обрел нечаянного покровителя в лице графа Старова... — Отметим пока лишь совпадение фамилии графа с фамилией доктора Старова из "Подлинной жизни Себастьяна Найта", лечившего мать рассказчика и самого Себастьяна. Более подробно о графе Старове см. комм. к с. 175.

3

С. 109 Ивор прозвал его "Мата Хари"... приводящий на ум хлопотливую семейку в жаркой стране, далеко-далеко от дома. — Мата Хари — это сценический псевдоним танцовщицы и кокотки Маргареты Гертруды Мак-Леод, урожденной Зелле (1876–1917), ставший нарицательным именем шпионки-соблазнительницы. Вместе с мужем, офицером голландской армии, она с 1897 по 1902 г. жила на Яве и Суматре. Став в 1916 г. агентом французской разведки в оккупированной немцами Бельгии, она была затем заподозрена в связях с немецкой разведкой, арестована и в 1917 г. расстреляна во Франции.

С. 111 Нина Лесерф — несчастная любовь Себастьяна Найта. Впрочем, в 1922 г. она еще не носила этой фамилии, поскольку

при встрече с первым ее мужем, Пал Палычем Речным, в 1927 г. ей не было и двадцати. В связи с предыдущим комм. интересно отметить, что муж отзывается о ней так: "Потому что я, знаете, не удивлюсь, если она окажется международной шпионкой. Мата Хари! Ее тип". (См. с. 142 первого тома.)

4

С. 111 "М-р Н., русский аристократ"... Нуди слепил меня воедино с господином В.С.... — видимо, еще одно неявное появление Владимира Набокова-Сирина.

С. 113 Мне предстояло встретиться с профессором Юнкером... — возможно, аллюзия на одного из основоположников психоанализа, швейцарского врача Карла Густава Юнга (1875–1961). Набоков переделывает фамилию Jung в Junker — слово, означающее и по-немецки, и по-английски "юнкер", но также (в английском языке) и вещь, годную только для помойки.

С. 114 Звали его Мольнар, и это "н" было как семечко в дупле; лет через сорок я им воспользовался в "A Kingdom by the Sea". — В оригинале Molnar, при том что *англ.* molar означает "коренной зуб". Эту фамилию Гумберт Гумберт даст выдуманному им дантисту (см. с. 356 второго тома).

5

С. 116 ...автофаэтон "Икар"... — Существование такого автомобиля сомнительно. В греческой мифологии Икар, сын строителя Дедала, улетел вместе с отцом из плена на острове Минос на слепленных воском крыльях, но погиб, слишком приблизясь к солнцу, отчего воск растаял. Схожая участь постигла и другого мифологического персонажа — Фаэтона, сына Гелиоса (Солнца) и нимфы Климены. Он пожелал править колесницей отца и погиб, испепеленный ее жаром, едва не погубив при падении землю. Отметим еще родство этого синего "Икара" с небесно-голубым "Белларгусом", упомянутым в IV.1. Отметим, наконец, что в XVIII и XIX вв. фаэтонами назывались в Англии двухместные четырехколесные экипажи с откидным верхом. Именно в таком фаэтоне "Виктория" дважды возвращаются с пикников Ван и Ада (главы 13 и 39 первой части "Ады").

С. 117 У Уэльса был "м-р Снукс", оказавшийся производным от "Seven Oaks". — Имеется в виду рассказ "Сердце мисс Уинчелси" из сборника "Двенадцать рассказов и сон" (1905).

...что сказал Стивен в "Страстных друзьях"... — Начало главы 7 романа Уэллса.

Как насчет Хаусмана? — См. комм. к с. 551.

С. 119 ...навстречу участи леммингов... прохлопав не только суть моей книги, но и свою грызуновую Гадару. — Набоков проводит аналогию между леммингами, мелкими грызунами из семейства полевок, обитающими в северных областях Европы, Америки и Азии, популяция которых примерно раз в три-четыре года резко возрастает, вследствие чего они начинают мигрировать и иногда в огромных количествах гибнут в реках, озерах и в море (в прежние времена считали, что они совершают массовое самоубийство) и рассказом Евангелия от Марка (Мк. 5, 1–20) о том, как Иисус, придя в землю Гадаринскую, встретил человека, одержимого множеством бесов, и изгнал их, позволив им войти в свиней: "...устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч; и потонули в море". Одним из центров этой "земли Гадаринской" был город Гадара, нынешний Умм-Кейс в Иордании, расположенный невдалеке от Тивериадского озера (того "моря", в которое бросились свиньи).

...нахмурясь над Таухницем... — Имеется в виду приобретшая всеевропейскую известность "Коллекция британских и американских авторов", издававшаяся в Германии на английском языке издательством Таухница в 1841–1939 гг.

6

С. 122 ...одна из моих кембриджских душечек, Виолетта Мак-Д.... — Имя Виолетта носит героиня "Университетской поэмы" Набокова. В "Других берегах" Набоков в посвященной Кембриджу главе 12 пишет: "...вспоминаю ленивую руку той или другой Виолетты, вращавшей свой цветной парасоль, откинувшись на подушки своеобразной гондолы, которую я неспешно подвигал при помощи шеста".

С. 123 Брук, Руперт (1887–1915) — английский поэт, которого высоко ценил и переводил молодой Набоков (см. комм. к с. 45 первого тома). Здесь подразумевается фотография, напечатанная в "Избранных стихах Руперта Брука" (Лондон, 1921).

...пока вы читали Пушкина, — про волны, с обожаньем ложившиеся к ее ногам. — Это строфа XXXIII главы первой "Евгения Онегина":

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим легкой чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

С. 124 "Cannice-Matin" — от названия одной из наиболее читаемых газет французской Ривьеры "Nice-Matin" ("Утро Ниццы").

"Samuels Cement Company" — Здесь можно усмотреть шутливо переиначенное имя американского писателя, известного под псевдонимом Марк Твен (1835—1910) — Samuel Clemens.

С. 125 У подножия "Мирана-палас". — Отец Гумберта Гумберта из "Лолиты" владел отелем с таким же названием. См. комм. к с. 19 второго тома.

...мы пьем чай с Рапалловичем и Чичерини. — В апреле—мае 1922 г. состоялась Генуэзская конференция, на которой представители европейских держав обсуждали планы возрождения экономики Центральной и Восточной Европы, в частности России. Советскую делегацию возглавлял Г. В. Чичерин (1872—1936). В результате проведенных им в Рапалло близ Генуи сепаратных переговоров с Германией был подписан Рапалльский договор, положивший начало тесным связям Советской России с Германией.

С. 126 "Du côté de chez Swann" — первый том эпопеи Марселя Пруста "В поисках утраченного времени".

..."Леди Крессида..." в небезупречном фарсе Шекспира. — Имеется в виду драма (или комедия — на этот счет существуют разные мнения) Вильяма Шекспира "Троил и Крессида".

7

С. 129 ...Каннер отверг его как eine "Пандору"... — Пандорой называется крупнейшая европейская бабочка-перламутровка *Argynnis pandora Den. et Schiff.*

С. 130 ...кому? — Психее? Ваалзевуву?.. — Греческим словом "Психея" обозначаются два понятия — "душа" и "бабочка". В изобразительном искусстве "психея-душа" изображалась то

в виде бабочки, вылетающей из погребального костра или влетающей в Аид, то в виде крылатой девочки. Известная всем история Амура и Психеи, метафорически изображающая человеческую душу, скитающуюся в поисках любви, создана латинянином Апулеем (124—после 170) на основе различных мифов и отразилось на поздних античных геммах изображениями Амура, ловящего Психею с горящим факелом в руке. *Ваалзевув* — вариант имени Вельзевула, "повелителя бесов" в христианской традиции, происходящего от финикийского бога Баал-зебуба, или Ваалзевува — "повелителя мух".

8

С. 135 Médor — В кличке этого мертвого пса слышится отзвук имени Медора (Medoro), вероломного рыцаря из поэмы Лудовико Ариосто (1474—1533) "Неистовый Роланд", женившегося на возлюбленной Роланда Анджелике, отчего Роланд впал в безумие и буйство. В написании "Медор" оно встречается в пушкинском "Из Ариостова 'Orlando Furioso'".

С. 137 Жаль, что Вивиан слишком слаб на желудок, чтобы с нами поехать. — По-видимому, это относится к ВВ. См. также в VII.3: "Бедный Вивиан, бедный Вадим Вадимович, он был всего лишь плодом чьего-то — даже не моего собственного — воображения". Это имя заставляет вспомнить такие набоковские псевдонимы, как Vivian Calmbrood, Vivian Bloodmark и Vivian Darkbloom (последний обратился в русской "Лолите" в Вивиан Дамор-Блок).

9

С. 139 Я целовал ее губы, шею, ожерелье, шею, губы. — В главе 25 первой части "Ады": "Она целовала его лицо, руки и снова губы, веки, мягкие черные волосы. Он целовал ее щиколки, колени, ее мягкие черные волосы".

10

С. 141 ...управлять кинокомпанией "Аменис"... — Название фирмы — "Синема" наоборот.

С. 143 Серов, Валентин Александрович (1865–1911) — русский живописец, создатель множества портретов.

...в "Белом Кресте"? Нет, Швейцария тут ни при чем. — Флаг Швейцарии представляет собою красное полотнище с большим белым крестом в середине.

Борис Морозов — Можно предположить, что прототипом этого персонажа послужил Андрей Белый (1880–1934), настоящее имя которого Борис Бугаев. С ноября 1921 по октябрь 1923 г. Белый жил в Берлине, где и Набоков прожил с 1922 по 1937 г. Тут следует сказать, что русский "литературный Париж" ВВ соединяет в себе реальные Париж и Берлин.

...две статьи в "Новостях эмиграции"... — Подразумеваются "Последние новости", парижская газета русских эмигрантов, в которой часто печатался Набоков.

С. 144 Мы наняли квартиру в шестнадцатом округе Парижа, на рю Депрео, 23. — В шестнадцатом округе был центр русской эмигрантской диаспоры в Париже. Рю Депрео могла быть названа в честь поэта-классициста Никола Буало-Депрео (1636–1711). Интересно также отметить поэта и балетного танцовщика Жана-Этьена Депрео (1746–1820), жившего в Париже в конце XVIII — начале XIX в. Возможно, именно его имя повинно в балетных ассоциациях, возникающих в одном из следующих абзацев.

нансеновский паспорт — особого вида паспорт, в начале 20-х гг. выдававшийся Лигой наций лицам без гражданства и, в частности, русским эмигрантам. Пользовался особой нелюбовью Набокова. См. комм. к с. 46 третьего тома.

11

С. 147 ...получала устный пересказ на своего рода домодельном воляпюке. — См. комм. к с. 502. Здесь слово "воляпюк" естественным образом возникает из звучания фамилий Купалова и Лапукова.

С. 149 "Patria" — Этот журнал, названный ВВ в II.2 "первейшим из русских журналов в Париже", соответствует, видимо, "Современным запискам", издателем которого был И. И. Фондаминский. См. ниже комм. к с. 164.

Демьян Базилевский — Позже ВВ называет его "выдающимся критиком" и своим "верным зоилом", что позволяет заподозрить

присутствие в этой фигуре поэта и влиятельного парижского критика Г. В. Адамовича (1894–1972), о котором подробнее см. комм. к с. 44 третьего тома. Не исключено, впрочем, что Набоков распределил, так сказать, черты Адамовича между Базилевским и Боярским (см. ниже), если не кем-то еще. Дальнейшие сведения, сообщаемые ВВ о Базилевском, — симпатии к Горькому, переезд в 1939 г. в США, основание там русскоязычного журнала, которым он правил по крайней мере до 1974 г. — заставляют вспомнить о Романе Гуле (1896–1986), в 20-е гг. сотрудничавшем в просоветском берлинском журнале "Накануне" (накануне возвращения, стало быть), а в 1950 г. перебравшемся в США и ставшем членом редакционной коллегии (с 1966 г. — главным редактором) основанного в 1942 г. в Нью-Йорке Марком Алдановым (1886–1957) "Нового журнала".

...включая неподражаемого "Простакова-Скотинина"... — Боярский соединяет фамилии двух персонажей комедии Д. И. Фонвизина (1744–1792) "Недоросль", брата и сестры.

Христофор Боярский — Парижский критик Христофор Мортус из "Дара" представляет собой, как известно, соединение двух литературных недругов Набокова — Георгия Адамовича и Зинаиды Гиппиус (1869–1945). Это позволяет предположить, что Боярский является одним из воплощений Адамовича. Интересно, что несколько позже (II.4) он распадается на "подпевал" Базилевского — Христова и Боярского. Болгарская фамилия первого может указывать на Гайто Газданова (1903–1971), бывшего, впрочем, прозаиком, а не критиком.

...историю о новом председателе Союза русских писателей-эмигрантов в Германии. — Председателем берлинского русского Союза писателей и журналистов был Иосиф Владимирович Гессен (1865–1943). Подробнее о нем см. комм. к с. 465.

12

С. 154 ...с той ее замысловатой non sequitur, которую мне предстояло спустя сорок лет отдать героине "Ardis'a"... — Пример из главы 14 первой части "Ады": "Это ведь твой отец там под дубом, верно? — Нет, это вяз, — ответила Ада".

13

С. 155 Утром 23 апреля 1930 года... — день рождения Набокова и, по-видимому, ВВ. См. комм. к с. 182.

С. 157 ...оперный плащ. Мы бы с тобой завернулись в него, как сиамские близнецы из твоего рассказа. — Речь идет о рассказе Набокова "Сцены из жизни двойного чудища", написанном в октябре 1950 г.: "Просторная черная бурка покрывала нам плечи, и когда мы приседали на корточки..." (с. 255 третьего тома).

"Паон д'Ор" ("Paon d'Or") — "Золотой павлин" (*фр.*).

"Пандора" — Здесь имеется в виду, разумеется, не бабочка, о которой шла речь в комм. к с. 129, а мифическая Пандора, первая женщина, созданная Афиной и Гефестом по личному указанию Зевса, разгневанного тем, что Прометей похитил огонь для людей, и решившего в наказание им создать женщину.

"putty saw-lay" — petit salé, т. е. солонина *(фр.).*

...четверка бабочек морфо... — Это крупные южно-американские тропические бабочки (размах крыльев у одного из видов до 17 см), из которых, в частности, делают сувениры. Самой красивой считается Morpho rhetenor, имеющая синюю окраску, изменяющую оттенок в зависимости от угла, под которым падает свет. Набоков упоминает этих бабочек также в романах "Под знаком незаконнорожденных" (глава 18): "...синие, как морфо, небеса"; "Пнин" (главка 4 главы 4): "...крест, на котором эго распинаются, как морфо на расправилках" и "Ада" (см. цитату в примечании к с. 232).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

С. 163 ...как в гейневском месяце мае... — "В чудеснейшем месяце мае / Все птички запели в лесах" (вторая строфа стихотворения Генриха Гейне "В чудеснейшем месяце мае...", перевод П. Вейнберг).

...напомнило что-то из параллельного мира... — а именно, из рассказа Набокова "Возвращение Чорба" (1925). Герой рассказа после медового месяца, оборванного смертью жены, возвращается в ее родной город, снимает в гостинице комнату, в которой

провел с женой первую ночь после свадьбы, приводит туда женщину с улицы и сразу же засыпает: "...Ее разбудил страшный, истошный вопль. Это кричал Чорб. Он проснулся среди ночи, повернулся на бок и увидел жену свою, лежавшую с ним рядом. Он крикнул ужасно, всем животом".

С. 164 Степан Иванович Степанов — Возможно, его прототипом является Илья Исидорович Фондаминский (1880–1942), бывший (подобно Степанову) видным членом партии эсеров. Набоков, приезжая из Берлина в Париж, останавливался у него, и он же организовывал для Набокова публичные выступления. Фондаминский был также одним из создателей и редакторов журнала "Современные записки", напечатавшего несколько романов и рассказов Набокова. Рассказывая в "Память, говори" о своих отношениях с Буниным, Набоков пишет: "В дальнейшем мы встречались довольно часто, но всегда на людях, обычно в доме И. И. Фондаминского (святого, героического человека, сделавшего для русской эмигрантской литературы больше, чем кто бы то ни было, и умершего в немецкой тюрьме)". В этом же доме Набоков познакомился в 1932 г. с упоминаемым несколько ниже А. Ф. Керенским.

...авеню Кох? или Рош?.. — Подразумевается авеню Фош, названная в честь маршала Франции Фердинанда Фоша (1851–1929), командовавшего в 1918 г. войсками союзников на западном фронте.

С. 165 И. А. Шипоградов — Под этим именем Набоков выводит Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953), лауреата Нобелевской премии по литературе (1933). Об отношениях Набокова с Буниным см. в этом томе главку 2 главы 14 "Память, говори".

...Василий Соколовский (странно прозванный И. А. "Иеремией")... — Под Соколовским разумеется Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941), поэт и прозаик. Данное Соколовскому Шипоградовым прозвище Иеремия содержит перевертыш первых четырех букв фамилии Мережковского, кроме того, в воспоминаниях парижских эмигрантов упоминается его "борода библейского пророка". Многотомная (в 1914 г. в России вышло 24-томное Полное собрание сочинений Мережковского) "мистическая и общественная история украинского клана" Соколовского, по-видимому, отвечает трилогии Мережковского "Христос и Антихрист".

С. 166 Всегда нас радует красивая вещица — "перевод" первой строки "Эндимиона" Джона Китса (1795–1821) "A thing of beauty is a joy forever", известной у нас в переводе Б. Пастернака: "Прекрасное пленяет навсегда".

...“впечатляющий труд Моруа о Байроне”... — Французский писатель Андре Моруа (1885–1967) известен как автор немалого числа “романизированных биографий” (жанр, Набоковым изрядно нелюбимый), среди которых числится и “Байрон” (1930).

С. 167 ...в “Красный цилиндр”, где она стала грациозной маленькой Эми... — У самого Набокова это Эммочка из “Приглашения на казнь”.

С. 168 ...“угол rue St Supplice”... — В Париже есть улица Св. Сульпиция. Французское supplice, созвучное мучающему ВВ supplication из письма Владимира Благидзе, означает “пытка, мука”.

2

С. 169 Тыча нерасторопными, косными пальцами в клавиши старой верной “машинки”... — В отличие от ВВ Набоков печатать на машинке так и не научился.

С. 171 ...3 сентября 1928 года, в Саль Планьоль... — Первое публичное выступление Набокова в Париже состоялось 14 ноября 1932 г. в зале Museé Sociale.

Яблоков — возможно, дружеский поклон в сторону Альфреда Аппеля-младшего (р. 1934), бывшего студента Набокова, ставшего затем его другом и автором нескольких работ о его творчестве (*англ.* apple — “яблоко”). См. в третьем томе интервью, данное Набоковым А. Аппелю.

...или шахмат (в “Пешка берет королеву”) с утраченным конем, “замещенным какой-то фишкой, сироткой иной, незнакомой игры”? — В “Подлинной жизни Себастьяна Найта” (глава 15): “Он приподнял ферзя и бережно втиснул его в пригоршню пожелтелых пешек, из коих одна изображалась наперстком”.

С. 172 ...сделанный мной русский рифмованный перевод “Оды к осени” Китса... — Приведем еще три варианта перевода начальной строки этой оды: “Пора туманов, зрелости полей” (С. Маршак); “Пора плодоношенья и дождей!” (Б. Пастернак); “Туманная и тучная пора” (М. Новикова).

3

С. 173 Дементия (деменция) — слабоумие, приобретаемое во время жизни (в отличие от врожденного) вследствие заболевания;

от *лат.* dementia — “безумие, сумасшествие”. К этому же слову прибегает, говоря о безумии, Чарльз Кинбот из “Бледного пламени” (см. его комм. к строке 629).

С. 175 “Passy na Rousi” — “Пасси на Руси”. Пасси — район Парижа, в котором жило особенно много русских эмигрантов. В “Подлинной жизни Себастьяна Найта” В., в спешке присхавший в Париж и забывший дома деньги, размышляет: “Кто-нибудь из моих многочисленных друзей живет поблизости от вокзала? Нет, они все обитают в Пасси или около Порт-Сен-Клу — в двух русских кварталах Парижа” (том первый, с. 183).

Анна Ивановна Благово — Пожалуй, теперь, когда вот-вот появится будущая вторая жена ВВ, уже пора сказать несколько слов о любопытной теории, сформулированной при обсуждении этого романа Дональдом Бартоном Джонсоном. Суть ее сводится к тому, что основные персонажи романа, возможно, находятся в кровном родстве, а именно являются братьями и сестрами. В интервью, данном в 1969 г. журналу “Time” (перевод его напечатан в четвертом томе), Набоков, отвечая на вопрос, связанный с темой инцеста в “Аде”, говорит: “Инцест меня ни с какого боку не интересует. Мне просто нравится звук “бл” в словах близнецы, блаженство, обладание, блуд”.

Итак, считая этот звук связанным у Набокова с темой инцеста, присмотримся к фамилиям персонажей. Относительно фамилии самого ВВ у нас полной уверенности нет: в VI.2 он называет себя князем Вадимом Блонским, добавляя, впрочем, что это именно он “перепил в 1815-м пушкинского ментора, Каверина”; в VII.3 он, пытаясь вспомнить свою фамилию, говорит: “Блонский? — Нет, это из истории с БИНТ’ом”; в V.1 в связи с той же историей возникают в виде допущения Облонский и О.Б. Лонг; наконец, в V.1 и в VI.1 мелькает Блонг. Далее, девичья фамилия Ирис — Блэк, а Аннетт — Благово. Фамилия любовника Ирис — Благидзе. Девичья фамилия третьей жены ВВ, Луизы Адамсон, нам неизвестна, однако бабку ее звали Сибил Ланье — нам зачем-то (похоже, затем, чтобы назвать имя бабки) сообщается, что она в 1896 г. выиграла Национальное женское первенство по гольфу. Даже в имени дочери ВВ и Аннетт — Изабель, Изабелла, Бел — присутствуют “б” и “л”, правда, разделенные, как бы затем, чтобы оставить нас в недоумении относительно того, “было между ними что-нибудь или не было”. Однако, если все эти “Бл.” — братья и сестры, то кто же их отец? Бартон Джонсон отвечает: “Граф Старов”. Прямых доказательств этого нет, однако косвенных улик более чем достаточно. Перечислим их.

1. Описывая первую свою встречу с графом (I.2), ВВ говорит: “По слухам, Никифор Никодимович... долгие годы обожал мою

прекрасную и причудливую мать", затем дает знать о возникшем у него ощущении, что граф питает к нему не вполне здоровый интерес и в конце концов сообщает: "Должен добавить, что определенные сведения, впоследствии мной полученные, показали, сколь мерзко я заблуждался, предполагая в нем нечто отличное от полуотеческого интереса ко мне, равно как и к иному молодому человеку, сыну известной в определенных кругах петербургской куртизанки". В чем состоят "определенные сведения", нам не сообщается, можно, однако, предположить, что ВВ каким-то образом выяснил, что граф Старов приходится ему отцом, о чем он, собственно, и говорит в VI.1: "...если граф Старов, щеголявший толикой английской крови, действительно был мне отцом".

2. Упомянутый только что "иной молодой человек" — это Владимир Благидзе, "он же Старов" (I.13), "усыновленный племянник" графа, в одной из комнат которого висит портрет работы Серова: "...известная в определенных кругах красавица, мадам де Благидзе, в кавказском костюме" (I.10). Именно его граф устраивает на то место в "Белом Кресте" (I.11), которое он сначала предложил ВВ.

3. После знакомства с Ирис граф осведомляется у ВВ о ее девичьей фамилии. "Я ответил. Он обдумал ответ и покачал головой. А матушку ее? Я назвал и матушку. Та же реакция." О родителях Ирис и Ивора мы знаем лишь, что они разошлись сразу после войны, что мать была "американка, ужасная", а отец "происходил из почтенной семьи и имел 'хорошие связи'", как затем выясняется — в дипломатических кругах. Стало быть, знакомство ее родителей с видным дипломатом графом Старовым, космополитом "со множеством связей в нужных местах" (I.10), отнюдь не исключено.

4. Анна Ивановна Благово была дочерью военного хирурга, который в 1907 г. "женился на провинциальной красавице из приволжского города Кинешмы, что стоит в нескольких милях к югу от одного из самых романтических моих поместий" (II.8), т. е. от Марево. Близко знакомый с матерью ВВ граф Старов мог бывать в Марево, а заодно уж завести в ближней Кинешме роман с провинциальной красавицей. Отметим, кстати, что Аннетт была, вероятно, знакома с Владимиром Благидзе-Старовым: "Кого же она встречала, полюбопытствовал я: трепанаторов? тромбонистов? астрономов? Ну, все больше военных, если уж мне так хочется знать, врангелевских офицеров, благородных, интересных людей, говоривших об опасностях, о службе, о биваках в степи" (II.7). "Трепанаторы" и "астрономы" возникают здесь не случайно. Благидзе, врангелевский офицер, получил в гражданскую войну "ранение в голову" (I.11), которое могло потребовать

трепанации черепа. "Астроном" связан в английском со star — "звезда". В "Бледном пламени" мы уже встречались с прозванным студентами "бутылью со звездами" астрономом по имени Староувер Блю, которое ему дали в честь деда-старовера Синявина.

5. В IV.4 Луиза знакомит ВВ со своей лондонской кузиной, которая характеризуется как "дочь прежнего нашего посла" и которая давным-давно знавала в Лондоне Ирис. Не исключено, стало быть, что и родители Луизы бывали в Лондоне и были вхожи в дипломатические круги. ВВ знакомится с Луизой Адамсон в 1947 г. и называет ее "молодой женой" 55-летнего Джерри Адамсона. При 55-летнем муже "молодой жене" вполне может быть под сорок. Впрочем, Луиза могла быть и моложе — Старов умер в Лондоне в 1927 г. (I.10), прожив около 77 лет. Возможно, "звезды" и "астры" возникающие в последнем абзаце IV.4, после того как Луиза принимает предложение ВВ, это косвенное упоминание о графе Старове.

6. Относительно "ты" двух последних частей романа не известно практически ничего — только общая с Бел дата рождения, 1 января 1942 г., и то, что она по происхождению русская. Д. Бартон Джонсон считает возможным вывести ее за рамки инцестуального контекста.

Разумеется, все это известно нам лишь со слов ВВ, а на представляемые им сведения, вообще говоря, особенно полагаться не приходится (см., например, комм. к с. 182). Но с другой стороны, сам ВВ, по-видимому, не сознает их важности и никакого особого значения им не придает. Другое дело, что эти сведения производят впечатление "безумия, в котором есть своя система".

Оксман — Осип Львович Оксман (1885?–1943?), вероятно, сочетает в себе черты И. В. Гессена (см. о нем комм. к с. 465) и Абрама Когана (см. ниже комм. к с. 177).

С. 176 ...сообщить, что быкочеловек (сколько восторгов принес моей Ирис островной зоосад д-ра Моро...) до утра просидит в магазине... — Английское слово ox означает "вол", а man — "человек". В романе Дж. Г. Уэллса "Остров доктора Моро" имеются гибриды вола-медведя-человека и свиньи-человека.

4

С. 177 Издательская фирма "Боян" (мы с Морозовым печатались в "Медном Всаднике", главном ее сопернике)... — "Боян", названный по имени гипотетического автора "Слова о полку Игоре-

ве", отсылает нас к уже упоминавшемуся берлинскому издательству "Слово" (см. комм. о Гессене к с. 465), а "Медный Всадник" — к возглавлявшемуся Абрамом Коганом берлинскому же, а затем парижскому издательству "Петрополис", эмблемой которого был петербургский памятник Петру Великому. В "Петрополисе" Набоков никогда не печатался, хотя и существовал план публикации в этом издательстве полного текста романа "Дар", осуществлению которого помешало изгнание Когана из Германии. Кроме того, Набоков предлагал Когану рассказ "Волшебник", считающийся прообразом "Лолиты".

...Merlin de Malaune... штаб-квартиру антидеспотической организации. — Имя волшебника Мерлина из Артуровского цикла в сочетании с Malaune, что можно перевести с французского как "злая ольха" (это дерево связано для Чарльза Кинбота из "Бледного пламени" с миром призраков и эльфов), задает зловещую ноту, ощущаемую во всей этой главе. Однако тут присутствует и другой смысловой пласт. В истории Великой французской революции играли видную роль два Мерлина: Антуан-Кристоф Мерлин (1762—1833), или Merlin de Thionville, жирондист, ставший затем одним из организаторов заговора, приведшего к падению деспота Робеспьера, и граф Филипп-Антуан Мерлин (1754—1838), или Merlin de Douai, голосовавший за смертную казнь Людовика XVI.

С. 180 Готовили покушение на Премьера... Все карты спутал Азеф... — Евно Азеф (1869—1918), член ЦК партии эсеров, террорист и агент охранки, выдавший много товарищей по партии. Организовал несколько громких покушений, в том числе на министра внутренних дел фон Плеве (1904). В 1908 г. был разоблачен и приговорен эсерами к смерти, однако сумел скрыться. Упоминание о нем связывает Оксмана с еще одним другом Фондаминского и Набокова, бывшим эсером Владимиром Зензиновым, из-под чьего присмотра как раз и бежал в 1908-м Азеф.

С. 181 "Простые Числа" — Прообразом послужил парижский литературный журнал "Числа", основанный в 1930 г. Николаем Оцупом (1884—1958).

С. 182 ...вы "нахмурены и молчаливы", как Онегин говорит о себе Татьяне... — Строфа XV главы четвертой "Евгения Онегина":

Где скучный муж, ей цену зная
(Судьбу, однако ж, проклиная),
Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно-ревнив!

Мой отец... умер за шесть месяцев до моего рождения. — В I.2 ВВ говорит, что родителей он видел не часто. В II.5 ВВ, пренебрежительно отозвавшись о политических взглядах и культурном уровне отца, сообщает дату его смерти — 22 октября 1898 г., т. е. за полгода и один день до дня, в который родился Набоков и, надо полагать, ВВ. В I.2 ВВ говорит, что мать известна ему "в основном по избитым фразам безымянных мемуаристов". Отсюда, видимо, лишний раз следует, что доверять каким-либо фактам, сообщаемым ВВ, не стоит.

...с величественной нарочитостью Варламова... — Имеется в виду Константин Варламов (1848—1915), актер, сорок лет работавший в труппе петербургского Александринского театра. Роль гоголевского Городничего он впервые сыграл в 1887 г. и продолжал играть до самой смерти.

Он приветствовал меня с понимающей искрой в глазах, как будто мы вместе владели каким-то очень личным и не очень приличным секретом. — Ср. с рассказом о Бунине в главке 2 главы 14 "Память, говори": "Почему-то мы с Буниным усвоили какой-то удручающе-шутливый тон... мешавший настоящему общению".

5

С. 183 Мой отец был игрок и распутник. В свете его прозвали Демоном. Портрет, писанный Врубелем... алмазные очи, черные волосы. — Все это, вплоть до написанного Врубелем портрета, относится и к Демону Вину из "Ады". Такое совпадение может быть у Набокова только намеренным. Более того, инициалы ВВ совпадают с инициалами Вана Вина, а в "Смотри на арлекинов!" также имеется Ада (только не Вин, а Бредова), двенадцатилетняя девочка, двоюродная сестра ВВ, с которой он "постыдным образом заигрывал" (IV.1). Остается заключить, что перед нами "террианский" вариант событий, происходящих в "Аде" на Антитерре. Только если в "Аде" Америка и Россия в духовном и историческом плане сливаются в одну страну, Амероссию, а географическое место нашей России занимает свирепая Татария, то в этом романе все обстоит "как на самом деле" и Демон погибает еще до рождения ВВ, а роман ВВ с Адой прерывается еще в зачаточной стадии.

...Deauville... в серой Нормандии. — Словно бы еще один отголосок "Ады" (глава 3 второй части). Отец и мать Эрика Вина гибнут вблизи нормандской деревушки Deuil. Отметим, однако, что в 1939 г. Набоков, опасаясь, что немцы станут бомбить

Париж, отправил жену и сына к их родственнице Анне Фейгин, жившей в деревушке Deauville.

С. 184 ...серьезно заняться шахматами или, скажем, стать лепидоптерологом... — т. е. приобрести еще пущее сходство с Набоковым.

...русский перевод "Потерянного рая", который заставит литературных кляч шарахаться, а ослов лягаться? — Сделанный Набоковым английский перевод "Евгения Онегина" (завершен в 1957 г., опубликован в 1964 г.) вызвал бурную полемику, продлившуюся больше года.

"В. Ирисин" — переиначенное "В. Сирин", псевдоним, под которым Набоков печатал свои русские произведения.

С. 185 ...в "часы одинокие ночи", выражаясь словами А. К. Толстого... — Цитируется строка из стихотворения "Средь шумного бала...".

Сняв зеленое кабошоновое кольцо... — Кабошоном называется драгоценный камень, кругло обточенный сверху.

С. 186 ...громадный исторический роман генерала Пудова-Узуровского "Царь Бронштейн"... — В главе 3 "Дара" упоминается "дородный роман генерала Качурина 'Красная княжна'". В обоих случаях, видимо, имеется в виду фанатичный антисемит генерал П. Н. Краснов (1869—1947), ставший в эмиграции писателем.

С. 187 "Мемуары любителя попугаев" — В "Даре" Федор Годунов-Чердынцев пишет, но не завершает книгу; это биография его отца, путешественника и лепидоптеролога.

С. 188 ...будто моя проза... герметична... — упрек, предъявлявшийся Набокову Адамовичем.

...комплимент, сделанный мне Базилевским... когда он смекнул, что... Виктор высмеял его склад ума и манеру. — В главе 3 "Дара" пародируется стиль критических писаний Адамовича, представленного в образе Христофора Мортуса.

7

С. 192 ...в Боттичеллиевой "Primavera"... — Картина Сандро Боттичелли (1445—1510) "Весна" (1477—1478), находится в галерее Уффици во Флоренции.

8

С. 195 ...лечившим меня зимой 1907 года от воспаления легких. — В январе—феврале 1907 г. Набоков перенес тяжелое воспаление легких, лишившее его, как он рассказывает в “Память, говори”, недюжинных математических способностей.

9

С. 198 Джеймс Лодж — видимо, поклон в сторону Джеймса Лафлина (упоминаемого также в главке 3 главы 4 “Память, говори”), руководившего издательством “New Directions”, которое опубликовало несколько произведений Набокова, в том числе и “Подлинную жизнь Себастьяна Найта” (1941). В июне—июле 1943 г. Набоковы останавливались в принадлежавшем Лафлину отеле в Альта Лодж, штат Юта. Отметим также, что английского издателя, выпустившего еще в 30-е гг. переводы “Камеры обскуры” и “Отчаяния”, звали Джон Лонг.

С. 199 ...переводил Мюссе. — См. комм. к с. 424.

...на рю Гевара (названной в память стародавнего андалузского драматурга)... — Луис де Гевара (1579—1644) — испанский драматург, автор 400 пьес, большей частью утерянных. В одной из них рассказывается о помешанной девушке, которая прослыла колдуньей и сумела уйти от смерти, лишь осознав, что одержима бесами.

...обедали по соседству в “Хромом Бесенке”... — Название ресторана напоминает об известном сатирическом романе “Хромой бес” (1707) французского писателя Алена-Рене Лессажа (1668—1747), который, впрочем, является переложением полузабытого одноименного романа все того же Гевары (1641).

...в двух минутах ходьбы от Буа. — Имеется в виду Булонский лес.

С. 200 ...неграмотных критиков новой интуитивной школы (чьим незабвенным вождем был Адам Атропович). — Еще один выпад против Георгия Адамовича. Фамилия Атропович произведена от *гр.* atropos — “несгибаемый, неумолимый”.

С. 201 ...“Мать”, слащавый советский фильм... — фильм Всеволода Пудовкина (1893—1953), снятый в 1926 г.

10

С. 203 ...новый фильм Рене Клера... — Рене Клер (1898–1981) — французский кинорежиссер.

...проснулся в образе громадного скарабея... — аллюзия на рассказ Франца Кафки "Превращение", который Набоков, читая лекции в Корнелльском университете, предпочитал называть "Метаморфоза". Этот рассказ обсуждается в интервью, данном Набоковым Альфреду Аппелю-младшему (см. третий том).

С. 204 Хамлет Годман — аналог мистера Гудмена из "Подлинной жизни Себастьяна Найта" (см. первый том).

С. 205 ...в Парагонском университете... — Название произведено от *англ.* paragon — "безукоризненный, образцовый".

С. 207 Черри Нипль — В оригинале Cherry Neaple, что созвучно *англ.* cherry nipple, — "вишневый сосок", откуда и упоминаемая чуть выше "Эротическая Идиллия".

С. 208 ...от Омска до Неочемска... — См. комм. к с. 421 автобиографии "Память, говори". Кроме того, здесь, как считает Б. Бойд, скрыто имя знаменитого американского лингвиста и философа по имени Ноам Чомски (р. 1928), человека левых взглядов, которых Набоков не разделял.

С. 209 "Думаю попробовать "snork"... — Предлагаемое профессором слово образовано от *англ.* snort — "фырканье, храпение" и knock — "резкий удар, стук".

...никчемные термины из обихода Венского Шарлатана... — Такого нелестного отзыва удостоился австрийский психиатр, создатель психоанализа Зигмунд Фрейд (1856–1939). Выпады в его адрес, рассеянные по произведениям Набокова, слишком многочисленны, чтобы их здесь перечислять. По-видимому, наиболее полно Набоков выразил свое отношение к Фрейду в главке 1 главы 1 "Память, говори".

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

С. 210 ...лекторства... предложенного мне... Квирнским университетом. — Д. Бартон Джонсон, прослеживая этимологию названия университета, выстраивает ряд Quirn—kernel—Cornell. Анг-

лийское quirn — это вариант слова quern — “ручная мельница для перца или кофе” (отметим появление под конец этой части романа адвоката по фамилии Пеппермилл, переводящейся как “мельница для перца”); kernel — “зерно, ядрышко”; Cornell — Корнельский университет, в котором Набоков с 1948 по 1959 г. был профессором русской литературы, читая, между прочим, лекции по “Европейским Шедеврам” и Джойсову “Улиссу” (начиная с 1950 г.), упоминаемые чуть ниже.

“The Beau and the Butterfly” — этот журнал упоминается также в “Бледном пламени” и в “Аде”. Речь идет о журнале “The New Yorker”, где немало печатался Набоков. В 1925 г. на его обложке был помещен рисунок Ри Ирвин, изображавший денди Юстаса Тилли, который сквозь монокль вглядывается в бабочку; в дальнейшем этот рисунок еще много раз появлялся на обложках журнала.

С. 212 Нинель — женское имя, возникшее в России в 20-е гг.; “Ленин” задом наперед.

2

С. 215 ...“Dr Olga Repnin”... после докучной поры печатанья выпусками... — Роман Набокова “Пнин” печатался выпусками в журнале “The New Yorker” с 1953 по 1955 г.

С. 218 ...совершенно божественный “Гуммер”... — В главе 4 второй части “Лолиты” школьная начальница мисс Пратт, беседуя с Гумбертом Гумбертом, награждает его при каждом обращении новой фамилией, среди которых присутствует и Гуммер. Вообще главы, посвященные роману с Долли фон Борг, насыщенны аллюзиями, связанными с “Лолитой”. “Она была Долли в школе”, — говорит Гумберт Гумберт (глава 1 первой части).

С. 219 ...что Лили Тальбот... пропустила экзамен. — В списке одноклассников Лолиты (глава 11 первой части) присутствуют Эдвин и Эдгар Тальботы, а их сестра Елизабет, компаньонка Лолиты по развлечениям в лагере Ку, “перешла в дорогую частную школу”.

С. 220 ...читая “Красную Ниву”... — Такой литературно-художественный массовый еженедельник действительно выходил в Москве с 1923 по 1931 г. Б. Бойд, впрочем, считает, что это гибрид дореволюционной “Нивы”, издававшейся в Петербурге с 1870 по 1918 г. с первым советским “толстым” журналом “Красная Новь” (1921—1942), выходившим в Москве.

3

С. 223 ...Думберт Думберт, Думбертон. — Явная отсылка к "Лолите" с дополнительным каламбуром, построенным на dumb — "немой, онемелый" (*англ.*)

...которые обратили бы в импотента и Большого Петра... — Персонаж романа ВВ — аналог м-сье Пьера из набоковского "Приглашения на казнь", любившего поговорить о своих успехах у женщин, но на деле оказавшегося импотентом.

4

С. 228 ...меня вместе с другими Ди-Пи судном доставили в США... — Ди-Пи — русская транскрипция *англ.* DP (displaced person) — "перемещенное лицо".

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

С. 231 Курс вождения этого "Каракала"... — Каракалом называется пустынная рысь, обитающая в Азии и Африке. В III.1 "Пустынная Рысь" уже упоминалась.

...тот раз, что я ухитрился сшибить велосипед почтальона... — В интервью, данном в 1969 г. журналу "Time" (см. четвертый том), Набоков говорит, что садился за руль автомобиля всего два раза в жизни с промежутком в 35 лет. Во второй раз "жена позволила мне несколько секунд подержаться за руль, и я на волос разминулся с единственной стоявшей на дальнем конце просторной автостоянки машиной".

Откуда это сонное чувство, что я пришел с пустыми руками — без чего? — Надо полагать, без сачка для ловли бабочек.

С. 232 ..."Беллargус" — небесной синевы, которую Бел еще предстояло сравнить с синевою морфо. — В Европе широко распространена бабочка голубянка красивая (Lysandra bellargus, или, по другой классификации, Polyommatus bellargus Rott. (Lycaena)). Через другую бабочку, голубянку-икар (Polyommatus icarus Rott. (Lycaena)), устанавливается родственная связь с синим "Икаром" Ивора. Вспомним также из "Ады" (четвертая часть): "Он устремился на запад в темно-синем "Аргусе", бывшем ему дороже морфо и сапфиров..." Относительно морфо см. комм. к с. 157.

..."Mes Moteaux", сказал бы Верлен!... "Приют Лолиты"... — пародируются названия автобиографических этюдов в прозе Поля Верлена (1844–1896) "Mes Hôpitaux" ("Мои больницы", 1891), "Mes prisons" ("Мои тюрьмы", 1893) и "Ma Candidature" ("Моя кандидатура", 1893). Такой же пародийный оттенок имеет и восклицание Гумберта Гумберта "Mes fenêtres!" в главе 27 второй части "Лолиты", где, кстати, очень важна тема мотелей.

С. 233 ...удовольствие, редко выпадающее моей... брюнновой перепонке... — Находящаяся во внутренней части носа брюннова перепонка обладает высокой чувствительностью к запахам.

Валдемар Экскул — Один из исследователей Набокова, Джозеф Гейгер из Иерусалима, отметил ("The Nabokovian" No.36, 1996. P. 28) следующее интересное совпадение. За несколько месяцев до начала Второй мировой войны в автомобильной катастрофе погиб шведского происхождения профессор древней истории из Тюбингена, граф Вольдемар Укскулл-Гилленбанд (1898–1939), более всего известный своим трудом "Плутарх и греческая биография" (1927). Некролог был написан его двоюродным братом, графом Александром Шенк фон Штауффенбергом (1907–1944), казненным после совершенного им покушения на Гитлера. В числе казненных был также отец Вольдемара Укскулл-Гилленбанда. Гейгер полагает, что имя последнего как-то запало в память Набокова еще в Германии и затем всплыло, чтобы быть использованным в этом романе.

С. 234 ...обаятельно одаренный поэт Одес... — В оригинале Audace, что переводится с французского как "отвага, смелость, дерзость, дерзание, наглость".

С. 236 Оба? Одна? Solus rex? — В конце 1930-х гг. Набоков работал в Париже над романом "Solus Rex", который остался неоконченным и был, как считается, утрачен при переезде в США. Замысел этого романа отозвался в главе 3 "Пнина" и в романе "Бледное пламя", где само это словосочетание повторено трижды.

С. 237 Что на глазах у Эммы уронила та светская дама в шелковую шляпу мужчины? — Отсылка ко Флоберовой "Мадам Бовари".

2

С. 240 Одним из действующих лиц в "Смерти Ивана" Толстого является... Сара Бернар. — Французская актриса Сара Бернар (1844–1923) действительно упоминается в "Смерти Ивана Ильи-

ча" Толстого, о которой Набоков читал в Корнелле лекции своим студентам.

Стиль Стэрна очень сентиментальный... — Читая в 1950 г. лекции о "Мэнсфилд парке" Джейн Остин, Набоков требовал от студентов, чтобы они прочли книги, упоминаемые персонажами романа, и среди них "Сентиментальное путешествие во Францию и Италию" Лоренса Стерна (1713–1768).

С. 242 Златые змеи вод морских. — Бел цитирует (по-английски) "Поэму о старом моряке" С. Т. Кольриджа (1772–1834). Приведем здесь соответствующее место в переводе Николая Гумилева (1886–1921):

Где тени не бросал корабль,
Я видел змей морских:
Они неслись лучам вослед,
Вставали на дыбы, и свет
Был в клочьях снеговых.
Где тени не бросал корабль,
Наряд их видел я, —
Зеленый, красный, голубой.
Они скользили над водой,
Там искрилась струя.

...я могу прочесть наизусть... "Мою последнюю герцогиню". — Имеется в виду стихотворение Роберта Браунинга (1812–1889), упоминаемое также в "Бледном пламени".

"Черная вдова" с Джином, Джинджер и Джорджем. — Вышедший в прокат в 1954 г. фильм Наннелли Джонсон с Джином Терни, Джинджер Роджерс и Джорджем Рафтом в главных ролях.

3

С. 243 ..."Exile from Mayda", Goodminton, New York, 1947. — В названии издательства "Goodminton" содержится каламбур, построенный на слове "бадминтон": *англ.* bad — "плохой", good — "хороший". Как сообщает Б. Бойд, к концу 60-х гг. в отношениях между Набоковым и Уолтером Минтоном из издательского дома "Putnam" возникло некоторое напряжение.

С. 244 Я имею в виду "Сирень пятипалую" Серова... при посещении ленинградского Эрмитажа... — Такой картины у Валентина Серова нет. Судя по описанию, речь идет о "Девочке с персиками" (1887), находящейся в Третьяковской галерее, а никак не

в Эрмитаже, в котором русские художники не выставлены вообще.

...Ада Бредова, двоюродная сестра моя... — См. комм. к с. 183.

С. 245 ...Стерлинг, Форт-Морган (в. 4325)... — города на северо-востоке штата Колорадо. В Британской энциклопедии указана несколько иная высота расположения Форт-Моргана — 4320 футов над уровнем моря.

...Грили, прекрасно названный Лавленд... — города на севере штата Колорадо. Второй назван в честь У. Лавленда, президента железной дороги, в ходе строительства которой город и был основан в 1877 г. Ныне это туристический центр, лежащий вблизи от Эстес-Парка (см. ниже), Национального леса Рузвельта и Национального парка "Скалистые горы".

Из "Волчьего Логова", Эстес-Парк... — Эстес-Парк — город на Передовом хребте Скалистых гор, на севере штата Колорадо, окруженный с трех сторон Национальным лесом Рузвельта, с четвертой к нему примыкает Национальный парк "Скалистые горы". В июне 1947 г. Набоков жил здесь в гостинице "Columbine Lodge" ("Голубиное логово", так сказать), писал "Портрет моего дяди", ставший затем главой 3 "Память, говори" (см. с. 317), и ловил бабочек. Воспоминания об этой ловитве отзываются в конце главы 6 "Память, говори".

...виден восточный лик Долгого Пика... — Имеется в виду Longs Peak (см. комм. к с. 434).

4

С. 248 Во весь разговор я не мог отогнать ощущения, что он целиком изъят из кошмара, который привиделся мне или еще привидится в каком-то ином бытии, в иной связной последовательности пронумерованных снов. — А именно в главе 4 второй части "Лолиты".

..."Сочетает секреты механики Запада с Магией Митры"... — Изначально Митра — древнеиранский бог света и истины, впоследствии также и солнца, культ которого получил распространение от Индии до Европы времен Древнего Рима.

"Artisan" — Этот "знаменитый ныне американский ежемесячник" упоминается также в "Аде" (глава 7 третьей части). В обоих случаях это переиначенное название журнала американских интеллектуалов "The Partisan Review".

С. 249 ...приветил меня родом латинской акколады... — Здесь акколада — приветственное объятие.

С. 250 ...на которой лежат лакеи / у подъезда театра / в первой песни "Онегина"... плясуньей, / летящей, как пух... — Отсылка к главе первой "Евгения Онегина".

Строфа XXII:

Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
Еще усталые лакеи
На шубах у подъезда спят...

Строфа XX:

И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола...

С. 252 ...винную лавку Рехта. — Recht — "право, закон" (*нем.*); также Rechte — "правый" (в противоположность левому), что, по-видимому, имеет отношение к неспособности ВВ совершить в воображении левый либо правый поворот.

5

С. 257 Столько больших ваз и ни единой стрелиции. — Другое название стрелиции — райский цветок.

6

С. 259 ...мои попытки изобразить разгневанного Чарльза Доджсона... — ВВ сравнивает себя с Льюисом Кэрроллом (1832—1898), называя его настоящее имя. О тайном пристрастии Кэрролла к "нимфеткам" Набоков упоминает в интервью, данном Альфреду Аппелю-младшему (см. с. 609 третьего тома).

С. 260 ...фотографии двух албанских писателей... поделивших между собой ту самую Престижную Премию... — В 1969 г. многие ожидали, что Нобелевская премия по литературе будет присуждена Набокову, однако ее получил Сэмюэль Беккет (1906—1989). Сразу два писателя поделили между собой эту премию в 1974 г., ими были Эйвинд Джонсон и Харри Мартинсон, оба шведы.

С. 263 ...и я озлился, поскольку считал Паунда шарлатаном. — Речь идет об Эзре Паунде (1885–1972), американском поэте. В интервью журналу "Playboy" (1964, см. с. 586 третьего тома) Набоков называет его "безусловно второсортным". В другом интервью (1966), данном журналу "The Paris Review", Набоков говорит: "...мне приходится бороться с подозрениями насчет существования заговора, направленного против моего рассудка, когда я вижу, как критики и коллеги-писатели хладнокровно принимают в качестве "великой литературы" совокупления леди Чаттерлей или претенциозную чушь мистера Паунда, этого законченного шарлатана. Как я замечаю, в некоторых домах он заменил доктора Швейцера". Еще один выпад содержится в интервью 1969 г., данном лондонской газете "The Sunday Times". Отвечая на вопрос: "Что из прочитанного в последнее время в газетах показалось Вам наиболее забавным?" — Набоков говорит: "Заметка о мистере Э. Паунде, маститом пройдохе, прибывшем с "сентиментальным визитом" в свою alma mater, Клинтон, штат Нью-Йорк, и встреченном в актовом зале — заполненном, по-видимому, кретинами и умалишенными, — стоячей овацией".

7

С. 265 ...тем временем изменяя ей с Розой Браун... — Это та же Бурая Роза, что упоминается в V.1 (brown — "бурый, коричневый" (*англ.*)) и преобразуется затем в Розабель (V.3).

С. 266 ...записал весь мой курс на магнитофонную ленту, дабы вливать его через университетскую радиосеть в комнаты снабженных наушниками студентов. — Эта идея, впервые предложенная доктором Германом Гагеном в романе "Пнин" (главка 10 главы 6), была затем претворена в жизнь доктором Ваном Вином ("Ада", глава 7 третьей части).

Аллан Гардэн... сочетался узами брака со своей юной Вирджинией... — Имя жениха является почти точной анаграммой имени Эдгара Аллана По (плюс одна лишняя буква), женившегося на своей Вирджинии, когда той было тринадцать лет (Вирджинии Гардэна при их знакомстве было всего десять, зато замуж за него она выходит восемнадцатилетней).

Им предстояло в совершенном блаженстве дожить до совместного возраста в сто семьдесят лет... — видимо, отголосок "Лолиты". В "Послесловии к американскому изданию 1958-го года" Набоков, говоря о первых неудавшихся попытках издать роман в США, отмечает, что "в Америке было тогда целых три неприем-

лемых для издателя темы. Две других — это черно-белый брак, преисполненный безоблачного счастья, с кучей детей и внуков; и судьба абсолютного атеиста, который, после счастливой и полезной жизни, умирает во сне в возрасте ста шести лет". Простой расчет показывает, что "холостяку средних лет Элу Гардэну, богатому поэту", если он дожил до 106 лет, в момент знакомства с десятилетней Вирджинией должно было быть 52 года.

...брюхатая бутылка "Гаттинары". — "Гаттинара" — итальянское красное столовое вино.

С. 267 Они торопливо подошли к своему крошечному "Klop'у"... — Скорее всего, это "фольксваген", действительно напоминающий формой клопа.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1

С. 269 ...скопировать "cent fois" (плевки и шипение) какую-нибудь старинную поговорку... — общее с Набоковым воспоминание. См. "Память, говори", с. 450.

...исследовая под партой ножки Лалаги Л... — Имя Лалага, происходящее от *гр.* "болтать, лепетать", носит куртизанка, одна из адресаток любовной лирики Горация. Его же носит одна из знакомых или любовниц Вана Вина (глава 3 второй части "Ады").

...рассказ о моем... набеге на Ленинград... — См. комм. к с. 531.

С. 270 Сан-Бернардино — курортная деревня (французский вариант названия — Сен-Бернар) неподалеку от перевала Сен-Бернар в юго-восточной Швейцарии.

С. 274 генерал Гурко — видимо, родственник генерал-фельдмаршала Иосифа Владимировича Гурко (1828—1901), героя русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

2

С. 278 ...официантка дернулась и уставилась на меня и мою "Daily Worker"... — Оно и неудивительно, поскольку газета американских коммунистов "Daily Worker" стала ко времени описываемых событий (конец 60-х) библиографической редкостью, ибо это

название она носила лишь с 1924 по 1958 г., затем, до 1968 г., называлась "The Worker", а с 1968 г. — "Daily World". Газета коммунистов английских, выходившая под тем же названием в Лондоне (работники Коминтерна фантазией, видимо, не отличались), была переименована в "Morning Star" в 1966 г.

С. 280 ...фасад дома на улице Герцена... Узор из цветов, вьющийся над верхним рядом его окон... — Описывается родной дом Набокова на Большой Морской (Герцена), 47.

...около статуи Пушкина, воздвигнутой лет десять назад комитетом метеорологов. — Памятник работы М. К. Аникушина воздвигнут на площади Искусств в 1957 г.

"Humanité" — газета французских коммунистов.

3

С. 283 ...вечно печалиться о пустом переводе воды (сравни Царскосельскую Статую...)... — Подразумевается статуя-фонтан "Молочница с разбитым кувшином" работы П. П. Соколова (1764–1835), установленная в парке Екатерининского дворца (Царское Село) в 1816 г. В 1830 г. Пушкин написал прославленное стихотворение "Царскосельская статуя", благодаря которому о "молочнице" все забыли:

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.

...то задремывали, то попивали "Кровавого Мерина"... — На самом деле этот коктейль называется "Кровавая Мери" — водка с томатным соком.

...мисс Хавмейер (фамилия почти невероятная)... — Тем не менее музей "Метрополитен" в Нью-Йорке содержит "коллекцию Х. О. Хавмейера", состоящую из работ импрессионистов.

С. 284 Орли — аэропорт в Париже.

...отдавало должное Лоле Слоан с ее карамельной сладостью... — Фотография Сью Лайон, сыгравшей роль Лолиты в вышедшем в 1962 г. фильме Стенли Кубрика, изображала ее сосущей леденец на палочке. Впоследствии она использовалась на обложках изданий "Лолиты".

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

1

С. 288 ..."О сути пространства"... "Ардис". — Четвертая часть "Ады" состоит в основном из эссе Вана Вина о сущности времени.

С. 291 ...чей отец был помощником управляющего в "Куильтон-отеле"... — Название отеля напоминает о Клэре Куильти, злом гении Гумберта Гумберта.

С. 292 ...череды русских бояр, немецких баронов... — О генеалогии Набокова см. главу 3 "Память, говори".

2

С. 295 Тессин — самый южный из кантонов Швейцарии, граничащий с Италией.

С. 296 ...пушкинского ментора, Каверина? — Петр Павлович Каверин (1794—1855) — гусарский офицер, славившийся способностью выпить в один присест четыре бутылки шампанского. Пушкин был дружен с ним в молодые годы.

С. 299 Ту аллею сирени и статуй, где мы с Адой начертили на пестром песке первые наши круги... — См. главу 8 первой части "Ады".

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

1

С. 301 Planchette-Fiction — Имеются в виду книги по спиритизму и всевозможные повествования о потустороннем мире.

2

С. 303 ...я долетел до госпиталя Лекошан... — В оригинале Lecouchant — "садящееся солнце, запад" (*фр.*).

С. 307 В лето Господнее 1798-е слыхивали, как Гаврила Петрович Каменев... хихикает, сочиняя... "Слово о полку Игореве". —

Поэт Г. П. Каменев (1772–1803), купец по происхождению, родился и жил в Казани и лишь изредка наезжал в Москву, где познакомился с Карамзиным и другими литературными знаменитостями. Пушкин считал его первым русским романтиком. Кандидатура его в качестве возможного автора "Слова о полку Игореве" никогда не обсуждалась. "Слово" несколько раз упоминается в "Бледном пламени", где в связи с ним также мелькает дата — 1798 г.

Где-то в Абиссинии пьяный Рембо читал удивленному русскому путешественнику стихотворение "Le Tramway ivre"... — Великий французский поэт Артюр Рембо (1854–1891) в 1885 г. решил забросить поэзию и переселился в Абиссинию, где занялся торговлей оружием. Название стихотворения, которое читает здесь Рембо, образовано из названия его знаменитой поэмы "Пьяный корабль" ("Le Bateau ivre", 1871) и названия написанного в 1916–1917 гг. стихотворения Николая Гумилева "Заблудившийся трамвай", каковое и цитируется в точном французском переводе. Гумилев побывал в Африке (и среди прочего в Абиссинии) дважды, но это произошло уже в 1906–1908 гг., так что свидеться с Рембо он никак не мог.

3

С. 309 ...начинает звучать как "Палпалыч"... — возможно, отзвук Пал Палыча Речного из "Подлинной жизни Себастьяна Найта" (глава 15).

С. 310 Так, вдоль наклонного луча... — Напомним, что вдоль такого же луча соскальзывает автор к Адаму Кругу, чтобы ввергнуть его в безумие и избавить от мучений ("Под знаком незаконнорожденных", глава 18).

Завершая комментарий, приведем для полноты картины ироническое стихотворение Набокова о будущих переводах этого романа:

To Véra

Ах, угонят их в степь, Арлекинов моих,
в буераки, к чужим атаманам!
Геометрию их, Венецию их
назовут шутовством и обманом.

Только ты, только ты все дивилась вослед
черным, синим, оранжевым ромбам...
"N писатель недюжинный, сноб и атлет,
наделенный огромным апломбом..."

Монтре 1.10.74

С. Ильин

ПАМЯТЬ, ГОВОРИ.
Возвращение к автобиографии

(SPEAK, MEMORY.
An Autobiography Revisited)

Эта книга представляет собой третий вариант автобиографии (двумя первыми были "Conclusive Evidence. A Memoir" (1951) и "Другие берега" (1954)). Набоков начал переработку предыдущих вариантов в ноябре 1965 г.

Первое издание: N.Y.: G. P. Putnam's Sons, 9 января 1967 г.

Перевод выполнен по изданию: *Nabokov V.* Speak, Memory. An Autobiography Revisited. N.Y.: A Paragon Book (G. P. Putnam's Sons), 1979, с использованием — там, где это было уместным — фрагментов текста "Других берегов" (Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1978).

При подготовке комментариев использовались источники: *Boyd B.* Vladimir Nabokov. The Russian Years. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1990; *Boyd B.* Vladimir Nabokov. The American Years. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1991; *Казак, В.* Лексикон русской литературы XX века. М.: РИК "Культура", 1996; а также комментарии Олега Дарка к "Другим берегам" в издании: *Набоков, В.* Собрание сочинений в четырех томах, т. 4. М.: "Правда", 1990.

Далее при ссылках на текст этого романа используются следующие обозначения: римской цифрой обозначается глава, арабской — главка. При ссылках на тот или иной том имеется в виду, если не оговорено иное, том настоящего собрания сочинений.

ПРЕДИСЛОВИЕ

С. 317 ...от Санкт-Петербурга до Сен-Назера... — Последним пунктом пребывания Набокова в Европе стал Сен-Назер — город и порт на западе Франции, откуда семья Набоковых отплыла в мае 1940 г. в США.

Джойс, Джеймс (1882–1941) — ирландский писатель, оказавший огромное влияние на английскую и мировую современную литературу. Набоков читал в Корнелльском университете лекции, посвященные его "Улиссу", которого Набоков считал лучшим из созданных в XX в. романов (см. в третьем томе интервью, данное в 1965 г. нью-йоркской образовательной программе "Television 13"). В этом же интервью Набоков говорит: "О да, пусть меня сравнивают с Джойсом, ради Бога, и все же мой английский — это вялый перешлеп начинающего теннисиста в сравнении с игрой чемпиона — Джойса" (см. с. 556 третьего тома). Об отношении Набокова к Джойсу и об их личной встрече говорится также в интервью 1966 г., данном Альфреду Аппелю-младшему (см. с. 614 третьего тома).

Одиберти, Жак (1899–1965) — французский поэт, романист и драматург, известный сложностью синтаксиса и богатством лексикона.

С. 318 "Дюжина Набокова" — "Nabokov's Dozen", сборник рассказов, вышедший в свет в 1958 г. В названии сборника обыграна английская идиома baker's dozen, т. е. "чертова дюжина". Сборник состоял из тринадцати рассказов и "Библиографических замечаний".

С. 319 Мнемозина — богиня памяти в греческой мифологии, дочь Урана (Неба) и Геи (Земли), мать девяти муз (согласно Гесиоду), прижитых ею от Зевса.

С. 321 Темпл, Ширли (р. 1928 г.) — американская актриса, снимавшаяся в 1930-х гг. в мюзиклах и завоевавшая международную популярность. Продолжала сниматься до 1950 г. В 1960-е гг. сделала серьезную политическую карьеру.

"Гэзель Браун" — "Hazel Brown", имя, образованное из описания личных примет Набокова в его американском паспорте: две смежных строки содержат Eye Color (Hazel) — "Цвет глаз (карие)", Hair Color (Brown) — "Цвет волос (шатен)" *(англ.)*.

С. 323 ...задача "Белые берут ход назад"... — Задача впервые напечатана в газете "Последние новости" в 1932 г.; перепечатана с комментариями автора в сборнике "Poems and Problems" (1971); задача и комментарии к ней в переводе С. Сафроновой опубликованы по-русски в издании: В. В. Набоков. Pro et Contra. СПб.: издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1997.

Зноско-Боровский, Евгений Александрович (1884–1954) — русский шахматист и литератор, получивший звание мастера в 1906 г. после победы на турнире в Нюрнберге. В 1927 г. Набоков

напечатал в берлинской газете "Руль" восторженную рецензию на его книгу "Капабланка и Алехин".

...и ни единый не обнаружил имени великого карикатуриста... в последнем предложении... — Последнее предложение начинается в оригинале так: "The ranks of words I reviewed were again so glowing..." Приложив некоторые усилия, можно обнаружить в последних двух словах фамилию американского карикатуриста Отто Соглоу (Otto Soglow, 1900–1975).

Through the window of that index... — В одном из отвергнутых затем вариантов предисловие заканчивалось так: "Как говорит где-то Джон Шейд:

Nobody will heed my index,
I suppose,
But through it a gentle wind *ex*
Ponto blows[1].

Видимо, Набокову не захотелось влагать в уста Шейда столь явное "мой указатель". Возможно, сделай он это, спор о том, кто именно — Шейд или Кинбот — является в "Бледном пламени" автором комментария и указателя, не продолжался бы до сих пор.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

С. 325 ...щель слабого света между двумя вечностями тьмы. — Сравним это со словами Вана Вина: "...сколько бы кратким (а тридцатилетний отрезок, право же, краток до неприличия!) ни было осознаваемое нами собственное бытие, оно представляет собой не точку в вечности, но скорее щель, складку, трещинку, идущую по всей ширине метафизического времени, рассекая его и сияя и — как бы узка она ни была — отделяя плоскость сзади от плоскости впереди" (см. главу 42 первой части "Ады").

С. 326 ...поиски Бэконовских акростихов в твореньях Шекспира... — Имеется в виду теория о том, что автором произведений

---

[1] Думаю, никто не обратит внимания на мой алфавитный указатель, но сквозь него дует ex ponto (т. е. с моря *(лат.)*) ласковый ветер *(англ.)*.

Шекспира был на самом деле его современник, философ и государственный деятель Фрэнсис Бэкон (1561–1626).

С. 327 Так оно и следует из теории рекапитуляции... — Эта теория, называемая также "биогенетическим законом", выдвинута в 1888 г. немецким зоологом-дарвинистом Эрнстом Хакелем (1834–1919). Суть ее в том, что развитие эмбриона следует эволюционному развитию вида.

2

С. 329 Ползти по этому беспросветно-черному туннелю... — "Основным развлечением восьми приходящих сюда детей был запутанный лабиринт из чем-то мягким обитых туннелей, как раз такой высоты, чтобы по ним можно было ползать на всех четырех... Давид уже отчасти его перерос, хотя по-прежнему обожал проползать через туннели" ("Под знаком незаконнорожденных", глава 12).

...и четою играющих мух, поочередно садящихся на пол. — "...и Пифагор (он уже внутри) вычерчивает тени оконных рам на полированном ярком полу, где резвятся мухи (я сажусь, а ты вззздетаешь; я ззужу, а ты садись; и дерг-дерг-дерг; и обе позудели)" ("Под знаком незаконнорожденных", глава 14).

С. 330 ...с неизъяснимым замиранием смотрел на горсть баснословных огней... — "И тогда-то он вдруг увидел то, что теперь вспомнил на Яйле, — горсть огней вдалеке, в подоле мрака, между двух черных холмов: огни то скрывались, то показывались опять, и потом заиграли совсем в другой стороне, и вдруг исчезли, словно их кто-то накрыл черным платком" ("Подвиг", глава 6); "И вдруг Мартын увидел в окно то, что видел и в детстве, — огни, далеко, среди темных холмов; вот кто-то их пересыпал из ладони в ладонь и положил в карман" ("Подвиг", глава 38).

3

С. 332 Куропаткин, Алексей Николаевич (1848–1925) — русский военачальник, во многом повинный в неудачах русско-японской войны. После Февральской революции был арестован, но затем освобожден Временным правительством. В мае 1917 г. вышел в отставку и до конца своих дней жил у себя в имении в Псковской губернии.

4

С. 334 Зуттнер, Берта фон (1843–1914) — австрийская писательница и общественная деятельница; считается, что именно она подала Альфреду Нобелю мысль об утверждении Нобелевской премии мира, лауреатом которой сама же затем и стала (1905). В 1892–1899 гг. редактировала международный пацифистский журнал “Долой оружие!”, названный по ее знаменитому роману (1889).

...альманаха “Воздушные пути”, издаваемого в Нью-Йорке Романом Гринбергом. — В 1939 г. Набоков, нуждаясь в деньгах, напечатал в парижской газете “Последние новости” объявление о том, что дает уроки английского языка. Одним из трех откликнувшихся был Роман Гринберг, бизнесмен, живо интересовавшийся литературой. Они подружились, и дружба эта продолжилась в США, куда перебрался Гринберг и где он издавал и редактировал русскоязычный журнал “Опыты” и альманах “Воздушные пути”.

ГЛАВА ВТОРАЯ

2

С. 342 ...многоугольным фаберовским карандашом... — Немецкая семья Фаберов основала одну из крупнейших фирм в мире по производству карандашей. Основы дела заложил Каспар Фабер (ум. 1784). Его правнук Лотар фон Фабер (1817–1896) создал всеевропейскую карандашную компанию, а родной брат Лотара Эберхард Фабер (1822–1879) продолжил семейное дело в Америке. “Эберхард Фабер № $2^3/_8$” упоминается в “Под знаком незаконнорожденных” (глава 10).

4

С. 352 На четвертом пальце правой руки горит блеск двух обручальных колец: отцовское, слишком для нее широкое, привязано черной ниточкой к ее собственному кольцу. — “Помню, как сидела матушка, сложив на подоле руки и покручивая отцовское обручальное кольцо (что она делала обыкновенно, когда ничем не была занята); она носила его на том же пальце, что и свое, хоть оно было так ей велико, что приходилось их связывать черной ниткой” (“Подлинная жизнь Себастьяна Найта”, глава 3).

Когда мне снятся умершие, они всегда молчаливы, озабочены, смутно подавлены чем-то... —

Нам ведомо из снов, как нелегки
С усопшими беседы, как глухи
Они к стыду, к испугу, к тошноте
И к чувству, что они — не те, не те.
Так школьный друг, что в дальнем пал сраженье,
В дверях кивком нас встретит и в смешенье
Приветливости и могильной стужи
Укажет на подвал, где стынут лужи.

(*"Бледное пламя", строки 589—596*)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

С. 353 ...floreat 1380... — Указан год Куликовской битвы.

С. 354 ...Николай Александрович Набоков... участвовал в 1817 году... в руководимой капитаном... Василием Михайловичем Головниным картографической экспедиции на Новую Землю... — Как показали изыскания Б. Бойда, Набокова ввел в заблуждение его уже упоминавшийся двоюродный брат С. С. Набоков; их прадед не участвовал в экспедиции В. М. Головнина (1776—1831) на Новую Землю, собственно, и экспедиции такой в 1817 г. быть не могло — в этот год Головнин, незадолго до того освободившийся из полуторагодичного японского плена, оправился на шлюпе "Камчатка" в кругосветное плавание, продлившееся два года (возможно, обоих Набоковых ввело в заблуждение наличие на Новой Земле горы Головнина). "Река Набокова" появилась на Новой Земле позже, это имя дал ей в честь своего друга Н. А. Набокова граф Литке (см. ниже) во время первой картографической экспедиции на этот остров.

Литке, Федор Петрович, граф (1797—1882) — русский исследователь и географ, один из основателей (1845) и затем вице-президент Русского географического общества. В 1817—1819 гг. участвовал в кругосветном плавании В. М. Головнина. В летние месяцы 1821—1824 гг. провел первые научные исследования Новой Земли и картографические съемки ее западного побережья.

Врангель, Фердинанд Петрович, барон фон (1797—1870) — исследователь берегов Восточной Сибири, еще один участник кругосветного плавания на "Камчатке".

Иван Александрович Набоков (1787–1852) — генерал, участник войны 1812 г., награжденный многими орденами, в том числе за Бородинское сражение. В 20-е гг. жил с женой, сестрой Ивана Пущина, в Пскове, считается, что к ним несколько раз наезжал из Михайловского ссыльный Пушкин. В 1848 г. уволен по состоянию здоровья из армии и назначен комендантом Петропавловской крепости и директором Чесменской богадельни. В 1849 г. был определен председателем следственной комиссии по делу петрашевцев, благо они у него же в Петропавловской крепости и сидели.

С. 356 Граун, Карл-Генрих (1704–1759) — немецкий композитор, автор 30 опер (либретто двух из них написал Фридрих Великий (1712–1786), придворным капельмейстером которого он был). Грауном написана также кантата "Смерть Иисуса", исполнявшаяся в Германии до конца XIX в.

С. 357 Менцель, Адольф фон (1815–1905) — немецкий живописец, автор картин на исторические темы, некоторые из которых посвящены правлению Фридриха Великого. Набоков, видимо, имеет в виду картину "Концерт Фридриха II в Сан-Суси".

аватары — в индуизме перевоплощения божества в различных людей и животных.

Аксель фон Ферзен — скорее всего, Ганс Аксель фон Ферзен (1755–1810), швед по национальности, служивший во французской армии. Во время Войны за независимость (1775–1783) сражался вместе с французами на стороне Америки. Был близким другом Марии-Антуанетты и в 1791 г. организовал закончившийся неудачей побег королевского семейства из Парижа, причем правил вместо кучера каретой беглецов, а при аресте короля и королевы в Варенне сумел бежать за границу. Вернулся в Швецию, стал маршалом королевства. После смерти в 1810 г. кронпринца Христиана-Августа народная молва обвинила фон Ферзена в его отравлении, и на похоронах принца толпа забила маршала до смерти.

С. 358 Морни, Шарль-Огюст-Луи-Жозеф, граф де (1811–1865) — побочный сын голландской королевы Гортензии де Богарнэ (жены Луи Бонапарта, брата Наполеона I), усыновленный бездетным графом де Морни. В качестве лейтенанта французской армии служил в Африке, затем на полученные от матери деньги основал свекольный завод, был избран депутатом, участвовал в двух революциях, увлекался, теряя и наживая состояния, финансовыми спекуляциями, состоял при президентстве своего единоутробного брата Людовика-Наполеона в министрах внутренних дел, провел

год с небольшим (1856–1857) французским послом в С.-Петербурге, где женился на княжне Трубецкой, затем был президентом Законодательного корпуса, посвящая свои досуги писанию под псевдонимом де Сен-Реми не имевших большого успеха водевилей, в 1862 г. стал герцогом. Альфонс Доде, служивший у Морни секретарем, вывел его под именем Мор в романе “Набоб”. Интересно, что фамилию Богарнэ носит в “Аде” шантажист Ким.

С. 360 Лорис-Меликов, Михаил Тариелович, граф (1825–1888) — один из замечательнейших военных и государственных деятелей России, министр внутренних дел (1880—1881) при Александре II, разработавший программу умеренных реформ. Ушел в отставку после того, как взошедший на престол после смерти своего предшественника Александр III отказался от реформ и стал проводить политику укрепления самодержавия.

С. 361 Дядя Константин служил по дипломатической линии... — В частности, с мая 1917 г. Константин Дмитриевич Набоков возглавлял русское посольство в Лондоне, а впоследствии активно участвовал в подготовке английской интервенции в Советскую Россию.

вел. кн. Сергей — Сергей Александрович (1857–1905), московский генерал-губернатор, погибший 4 февраля 1905 г. от бомбы, брошенной эсером-террористом Каляевым.

С. 362 “Титаник” — английский пароход, затонувший в 1912 г. после столкновения с айсбергом. В катастрофе погибло 1512 человек.

Он опубликовал “Злоключения Дипломата”... — На самом деле книга называется “Испытания дипломата”; это мемуары, печатавшиеся в Стокгольме в 1921 и 1923 гг.

Витте, Сергей Юльевич, граф (1849–1915) — российский государственный деятель. Возглавлял русскую делегацию при подписании Портсмутского мира (см. ниже).

Рузвельт, Теодор (1858–1919) — 26-й президент США (1901–1909).

Портсмутский мир — мирный договор между Россией и Японией, подписанный 5 сентября 1905 г. в Портсмуте (США).

2

С. 362 Рождествено — Приведем справку из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (в основных томах статьи о Рождествено нет; эта взята из II, дополнительного тома (1907)):

"сел. СПб. губ., Царскосельского у., при р. Оредежи, на СПб.-Варшав. шоссе, в 7 вер. от ст. Варш. жел. дор. Сиверской. Больница, школа, народный театр, лесопильный завод. Жит. постоянных ок. 1000, летом много дачников. В 1780 г. Р. было преобразовано в уездный город (Рождественского уезда), но с основанием г. Гатчины в 1798 г. город Р. упразднен, а уезд переименован в Софийский, впоследствии Царскосельский."

Сиверская — Еще одна справка из словаря Брокгауза и Ефрона, относящаяся практически ко времени рождения Набокова (1900): "ст. Варш. жел. дор., в 62 в. от С.-Петербурга, С.-Петербургской губ., Царскосельского у., при р. Оредеже. Дачное место; жителей летом до 6000. Местность красивая, лесистая и здоровая. Правосл. црк., аптека, летом театр. Постоянное население — финны-лютеране".

С. 363 ...пистолетная дуэль Рылеева с Пушкиным, о которой так мало известно... — Известно о ней, в частности, со слов Пушкина: "Очень знаю, что я его учитель в стихотворном языке, но он идет своею дорогою. Он в душе поэт. Я опасаюсь его не на шутку и жалею очень, что его не застрелил, когда имел тому случай, — да черт его знал" (из письма А. А. Бестужеву, 24 марта 1825 г.).

Дельвиг, Антон Антонович (1798—1831) — поэт, издатель "Литературной газеты", близкий друг Пушкина со времен Лицея.

С. 365 Толстой, Петр Андреевич, граф (1645—1729) — приближенный Петра I, выполнявший разнообразные дипломатические поручения царя.

4

С. 371 "Voisin" — один из первых бипланов, построенный братьями Фарман в 1907 г.

С. 372 Он уверял, что у него неизлечимая болезнь сердца и что для облегчения припадка ему непременно нужно лечь навзничь на пол... помер от грудной жабы. — Вспомним, что от этой же болезни умер и Себастьян Найт, и его мать. "Дверь отворяется. Виден Себастьян Найт, распластанный на полу своего кабинета. У стола Клэр собирает в опрятную стопку отпечатанные страницы. Вошедший замирает. "Нет, Лесли, — с пола говорит Себастьян, — я не умер. Я завершил сотворение мира, и это мой отдых субботний" ("Подлинная жизнь Себастьяна Найта", глава 9).

5

С. 374 ...в горах Америки моей / вздыхать по северной России. — парафраз пушкинских строк из строфы L главы первой “Евгения Онегина”:

Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России...

7

С. 376 “Bibliothèque Rose” — “Розовая библиотека”, выходившая во Франции серия детских книг.

С. 377 Mme de Ségure, née Rostopchine — Софья Федоровна Сегюр (1799—1874), дочь видного русского государственного деятеля Ф. В. Ростопчина (1763—1826), ставшая французской писательницей.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

3

С. 384 ...виднелась за рамкою акварели таинственная тропинка... мальчик ступил в такую картинку прямо с кровати... — “Над маленькой узкой кроватью... висела на светлой стене акварельная картина: густой лес и уходящая вглубь витая тропинка. Меж тем в одной из английских книжонок... был рассказ о такой картине с тропинкой в лесу прямо над кроватью мальчика, который однажды, как был, в ночной рубашке, перебрался из постели в картину, на тропинку, уходящую в лес” (“Подвиг”, глава 2).

4

С. 385 ...мисс Рэчель, памятная только по бисквитам... которыми она незаконно делилась со мной, уже почистившим зубы. — “После обеда мы сидели в его кабинете, он глоточками потягивал кофе и слушал жалобы мачехи на пагубную привычку Mademoiselle давать сладости моему младшему брату, уложивши его в постель...” (“Подлинная жизнь Себастьяна Найта”, глава 1).

С. 386 Корелли, Мария (1855–1924) — английская писательница, автор 28 романтически-мелодраматических романов, пользовавшихся огромной популярностью. Вспомним также: "...и кто поэтому не понимает и никогда не поймет, как циничны сегодня племянницы Марии Корелли..." ("Подлинная жизнь Себастьяна Найта", глава 6).

5

С. 390 Яремич, Степан Петрович (1869–1939) — живописец и график, близкий к "Миру искусства", знаток западно-европейского искусства.

Добужинский, Мстислав Валерианович (1875–1957) — русский график и театральный художник, член "Мира искусства". В 1912–1914 гг. давал уроки рисования юному Набокову. Они возобновили знакомство (продолжившееся затем и в Америке) в Берлине в 1926 г. Тогда же Набоков посвятил Добужинскому стихотворение.

С. 391 ...дослужился в шестидесятых годах до Промонтори-Пойнт, Ютаха. — В 1862 г. Конгресс США принял решение о строительстве трансконтинентальной железной дороги, а 10 мая 1869 г. в городе Промонтори, штат Юта ("Ютаха" в набоковском написании), две ветки этой дороги, восточная и западная, соединились.

ГЛАВА ПЯТАЯ

2

С. 397 ...дом, где-то после Советской революции, сгорел дотла... — Неточность, дом простоял до Второй мировой войны и был сожжен немцами.

С. 398 Из всех карандашей только белый сохранял свою девственную длину — пока я не догадался, что... водя им, можно было вообразить все, что угодно. — "Но зато очиненные... Помнишь — белый? Всегда самый длинный, — не то что красные и синие, — оттого, что он мало работал, — помнишь?" — "... Положим, он у меня потом разошелся всласть. Именно потому, что рисовал невидимое. Можно было массу вообразить. Вообще — неограниченные возможности" ("Дар", глава 3).

5

С. 402 ...высокий, с ксантиновой дыркой сугроб... — Ксантиной называется родственное мочевой кислоте химическое вещество, которое в соединении с азотной кислотой дает лимонно-желтый цвет.

С. 404 ...призрачная Иезавель из дурацкой трагедии Расина. — Имеется в виду жена библейского царя Ахава, которая "истребляла пророков Господних" и была за то съедена псами. Героиня трагедии Жана-Батиста Расина (1639—1699) "Аталия", дочь Иезавели, рассказывает, как призрак матери явился к ней с грозными прорицаниями.

С. 405 ...так мог бы семенить к ближайшему эвтаназиуму одряхлевший повеса... — Под "эвтаназиумом" Набоков разумеет место легкого и безболезненного умерщвления. Скорее всего, использованное в оригинале слово euthanasium выдумано Набоковым, во всяком случае, оно отсутствует и в словаре Уэбстера, и в Оксфордском словаре английского языка.

Сомнус — бог сна у древних римлян (греки называли его Гипнос), сын Никты (Ночи) и брат Танатос (Смерти).

С. 406 "Suchard" — сорт швейцарского шоколада.

"La Revue des Deux Mondes" — литературно-художественный журнал, регулярно выходивший во Франции с 1831 по 1944 г.

Бурже, Поль-Шарль-Жозеф (1822—1935) — французский поэт, критик и романист, очень популярный перед Первой мировой войной. В 1901 г. обратился в католицизм, после чего в его романах стали усиливаться мотивы морализаторства, патриотизма, преданности церкви и монархии. Такого Бурже, видимо, и читает Mademoiselle. Дважды (один раз неявно) он упоминается в "Аде" в связи с "внутренним монологом", идею которого он позаимствовал, как считает Ван Вин, у Льва Толстого.

С. 407 ...Фаберже, чьи высоко ценимые царской семьей минеральные монстры... — Карл Густавович Фаберже (1846—1920) назван Британской энциклопедией величайшим из когда-либо существовавших ювелиров и золотых дел мастеров. Фирма Фаберже была основана в С.-Петербурге отцом Карла Густавовича в 1842 г., но настоящий ее расцвет наступил после 1870 г., когда в ней начал работать Карл Густавович, привлекший к работе своих сыновей и нескольких выдающихся ювелиров, швейцарских и русских. Особенно знамениты были пасхальные яйца Фаберже, первое из которых заказал ему в 1884 г. Александр III. После революции

1917 г. он эмигрировал и умер в той самой Лозанне, где доживала свои последние годы Сесиль Миатон, Mademoiselle Набокова. Отношение Набоковых к изделиям Фаберже, видимо, наиболее полно выражено в рассказе "Помощник режиссера" (см. третий том): "Сработавшая их ювелирная фирма наживала порядочные барыши, при всяком торжественном случае преподнося императорской чете ту или иную эмблему тяжеловесной державы (и что ни год — все более дорогую): скажем, аметистовую глыбу с утыканной рубинами бронзовой тройкой, застрявшей на вершине, словно Ноев ковчег на горе Арарат; или хрустальный шар величиною в арбуз, увенчанный золотым орлом с квадратными брильянтовыми глазами, очень похожими на распутинские (много лет спустя Советы показали наименее символичные из этих поделок на Всемирной Выставке — в качестве образчиков своего процветающего искусства)".

6

С. 410 Madame de Rambouillet — Катрин де Вивон, маркиза де Рамбуй (1588–1665). Дочь итальянки и французского посланника в Риме, она, оказавшись в Париже, нашла двор Генриха IV грубым и неразвитым и в 1618 г. создала для хорошо воспитанных, остроумных людей собственный салон, в котором перебывали едва ли не все литературные и ученые знаменитости того времени.

7

С. 411 Изображение Шильонского замка заменила аляповатая тройка. — Шильонский замок является своего рода символом Швейцарии. Он стоит на скале над Женевским озером, был некогда тюрьмой и воспет в этом качестве Байроном в поэме "Шильонский узник" (1816).

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

С. 415 ...крылья Гавриила у Фра Анджелико... — Итальянский живописец Гвидо ди Пьетро (ок. 1400–1455), стал между 1420 и 1422 г. доминиканским монахом и принял имя Фра Джованни да Фьезоле, т. е. "брат Джованни из монастыря Фьезоле"; прозвище

Анджелико (Ангелический) он получил уже после смерти за свои добродетели. На нескольких его "Благовещениях" архангел Гавриил изображен с радужными крыльями.

С. 416 ...хранимого в Бодлианском собрании... — Библиотека Оксфордского университета, основанная в XIV в., была затем (ок. 1550) почти уничтожена Эдуардом VI и вновь восстановлена к 1602 г. коллекционером восточных рукописей сэром Томасом Бодли, именем которого и стала называться. С начала XVII в. эта библиотека бесплатно получает по экземпляру каждой изданной в Англии книги.

2

С. 417 Шимкевич, Владимир Михайлович (1858—1923) — русский зоолог, с 1920 г. член Российской академии наук.

...на том чердаке среди гербариев, полных эдельвейсов, синих палемоний, первоцветов, оранжево-красных лилий и иных собранных в Давосе цветов... — Давос — это курортный город в швейцарском кантоне Граубюнден. Напомним, что и Ван с Адой находят на чердаке ("Ада", глава 3 первой части) гербарий, собранный в Швейцарии их матерью Мариной Дурмановой.

С. 418 Мериан, Мария Сибилла (1647—1717) — рисовальщица и гравировщица, дочь швейцарского гравера Маттеуса Мериана Старшего (1593—1650). Занималась энтомологией. В 1686—1701 гг. совершила путешествие в голландскую Гвиану и привезла оттуда собрание рисунков, которое и было издано в 1705 г. в виде называемой Набоковым книги.

Эспер, Эуген-Иоганн-Кристоф (1742—1810) — немецкий естествоиспытатель, занимавшийся систематикой чешуекрылых.

Буадюваль, Жан-Батист-Альфонс (1801—1879) — французский энтомолог, выдающийся знаток бабочек.

вел. кн. Николай Михайлович (1859—1919) — историк, автор трудов по истории XIX в., инициатор издания ряда книг, отличавшихся образцовым полиграфическим качеством.

Ланг — Художники с такой фамилией (или один и тот же художник) мелькают в двух романах Набокова: в главке 5 главы 3 и главке 6 главы 7 "Пнина" ("...фресковые портреты преподавателей... написаны на стенах университетской столовой великим Лангом") и в "Бледном пламени": "Ланг сделал твой портрет" (Поэма, строка 682).

С. 419 Штаудингер, Отто (1830–1900) — немецкий энтомолог, создатель огромной коллекции и крупный торговец насекомыми.

3

С. 421 ...в Томске или Атомске. — См. также в главе 5 пятой части "Ады": "...агентов далекого Атомска" и в главке 3 главы 13 "Память, говори": "...ссылка в Томск (ныне Бомбск)".

...связаны у меня с исследованиями в МСЗ... — Имеется в виду Музей сравнительной зоологии, в котором Набоков, начиная с 1942 г., проработал четыре года, занимаясь исследованием бабочек.

С. 424 ...кухонный мальчик, энтузиаст, порой занимавший у меня снаряжение и возвращавшийся часа через два с сачком, в котором бурлила беспозвоночная живность наряду еще с кое-чем. Распустив устье перехваченного веревочкой сачка, он, как из рога изобилия, вываливал свои трофеи — куча кузнечиков, песок, разломанный надвое гриб, рачительно подобранный по дороге домой, еще кузнечики и единственная оббитая белянка. — "Помню еще: хватился я однажды сачка, вышел его искать на веранду и встретил откуда-то возвращавшегося с ним на плече, раскрасневшегося, с ласковой и лукавой усмешкой на малиновых губах, денщика моего дяди. "Ну уж и наловил я вам", — сообщил он довольным голосом, как-то свалив на пол сачок, сетка которого была поближе к обручу перехвачена какой-то веревочкой, так что получился мешок, в котором кишела и шуршала всякая живность, — и Боже мой, что тут была за дрянь: штук тридцать кузнечиков, головка ромашки, две стрекозы, колосья, песок, оббитая до неузнаваемости капустница да еще подосиновый гриб, замеченный по пути и на всякий случай прибавленный. Русский простолюдин знает и любит родную природу" ("Дар", глава 2).

Мюссе, Альфред де (1810–1857) — выдающийся французский поэт-романтик и драматург. Набоков перевел его "Декабрьскую ночь" в 1916 г. и посвятил перевод Валентине Шульгиной. В 1927 г. он перевел его же "Майскую ночь", а в 1928 г. сделал другой перевод "Декабрьской ночи".

С. 425 Фарг, Леон-Поль (1876–1947) — французский поэт и эссеист, последовательно примыкавший к символистам, дадаистам, кубистам и сюрреалистам, друг Пикассо и Стравинского.

Браунинг, Роберт (1812–1889) — английский поэт. Его стихотворение “Моя последняя герцогиня” упоминается также в романах “Бледное пламя” (см. комм. Кинбота к строкам 671–672) и “Смотри на арлекинов!” (глава 2 четвертой части). В “Аде” он фигурирует под именем Роберт Браун.

Камю, Альбер (1913–1960) — французский писатель и философ. Набоков относился к нему пренебрежительно. См., например, в интервью нью-йоркской телепрограмме “Television 13” (сентябрь, 1965): “Я, например, нахожу второсортными однодневками произведения многих писателей с раздутой репутацией — таких как Камю, Лорка, Казандзакис, Д. Г. Лоуренс, Томас Манн, Томас Вулф и буквально сотни других “великих” заурядностей” (см. с. 554 третьего тома).

С. 426 ...скуповатый постановщик... наших взрослых снов... — Образ “постановщика снов” несколько раз возникает в произведениях Набокова, например в “Подлинной жизни Себастьяна Найта” (глава 19): “...с обоими Себастьян не был знаком, их поместил сюда постановщик сна — просто потому, что для заполнения сцены сгодится всякий”; в “Под знаком незаконнорожденных” (глава 5): “Естественно, сценарий дневной памяти куда точнее в фактических деталях, ведь постановщикам снов (обыкновенно их несколько, в большинстве безграмотных, из среднего класса, вечно куда-то спешащих) постоянно приходится что-то выкидывать, приукрашивать и переставлять для приличия...”; в “Лолите” (глава 11 первой части): “Гейзиха и Гейзочка ехали верхом вокруг озера, и я тоже ехал, прилежно подскакивая раскорякой, хотя между ногами вместо лошади был всего лишь упругий воздух — небольшое упущение, плод рассеянности режиссера сна”.

...в Бад-Киссингене (Бавария)... — Курортный город Бад-Киссинген Набоков поминает в романе “Под знаком незаконнорожденных” (глава 17): “Стол с закусками: тарелка бутербродов с селедкой и ведро воды в окружении кружек, прибывших сюда с различных немецких курортов (на кружке Круга — вид Бад-Киссингена)”.

Муромцев, Сергей Андреевич (1850–1910) — политический деятель, публицист, один из основателей конституционно-демократической партии. После роспуска I Думы председательствовал на Выборгском совещании.

С. 427 ...к моим ретиарским занятиям — От *лат.* retiarius; так в Древнем Риме называли гладиаторов с сетью.

4

С. 428 ...темную аберрацию кармелитки Сиверса... — Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона содержит статью лишь о Густаве Ивановиче Сиверсе (1843—1898), петербургском энтомологе, сообщая, впрочем, что отец его также был энтомологом, собравшим большую коллекцию и составившим списки бабочек Петербургской губернии. Видимо, отец и имеется Набоковым в виду, поскольку Густав Иванович, бывший, кстати, секретарем великого князя Николая Михайловича (о котором см. комм. к с. 418) коллекционировал преимущественно жуков.

...еще одной "либеллулой"... — Семейство стрекоз имеет номенклатурное название Libellulidœ.

Ты видела лицо всемирно знаменитого гроссмейстера Вильгельма Эдмундсона, когда он, давая в минском кафе сеанс одновременной игры... — выпад, направленный прежде всего в адрес известного американского критика Эдмунда Уилсона (1895—1972), с которым Набокова связывала долгая дружба и который после выхода в свет набоковского перевода "Евгения Онегина" обрушился на него с жестокой критикой, порицая перевод, в частности, за ошибки в русском языке (которого сам Уилсон практически не знал). "Минское кафе" попало сюда из-за пассажа Уилсона в статье, содержащей критику набоковского "Евгения Онегина": "Я слышал, что мистер Набоков настаивает на превосходстве петербургского произношения перед московским, и потому несколько удивлен, увидев, что он рекомендует использовать произношение минское".

5

С. 429 аврелианцы — нарицательное название коллекционеров бабочек, происходящее от названия английского Аврелианского общества.

С. 430 ...описана Кречмаром... отдав его имя слепцу в одном из романов. — Фамилию Кречмар получил герой романа "Камера обскура".

6

С. 433 ..."ночной фиалки" русских поэтов... — например Александра Блока (поэма "Ночная фиалка").

С. 434 Longs Peak — вершина в Скалистых горах (14 000 футов).

to whom it may concern — стандартная фраза, используемая в начале приказов, рекомендательных писем и т. п.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

С. 436 Punch — английский иллюстрированный журнал, выходивший с 1841 по 1992 г. Полное название — "Панч, или Лондонский Кавардак".

Пири, Роберт Эдвин (1856—1920) — американский полярный исследователь, 6 апреля 1909 г. одним из первых достигший района Северного полюса.

Блерио, Луи (1872—1936) — французский авиаконструктор и летчик, 25 июля 1909 г. первым перелетевший через Ла-Манш (из Кале в Дувр) на собственной конструкции моноплане "Блерио XI" с двигателем в 28 л.с.

С. 439 Словно луны Юпитера, бледные ночные бабочки вращались вокруг одинокого фонаря. — "Тихое потрескиванье полированных панелей в синеватой ночи, долгий печальный вздох тормозов на смутно угадываемых станциях, кверху скользит тисненая кожа сторки, и возникает перрон, мужчина катит багаж, молочный шар фонаря, бледная бабочка вьется вокруг, звякает невидимый молоток, проверяя колеса" ("Подлинная жизнь Себастьяна Найта", глава 1).

2

С. 440 Daniel Home — Даниель Дуглас Хум (Хоум или Хьюм, 1833—1886), шотландский спирит и медиум, пользовавшийся покровительством многих августейших особ, в том числе Александра III, Наполеона III и его жены императрицы Евгении. Славен тем, что никогда не был разоблачен.

...гладил императрицу Евгению по доброй, доверчивой щеке. — Имеется в виду Евгения де Монтихо, графиня Тебо (1826—1920), жена Наполеона III. Здесь стоит отметить, что рыбачья деревушка Биарриц вошла в моду после того, как в 1854 г. там провели некоторое время Наполеон III и императрица Евгения.

Последовавшие затем приезды королевы Виктории, Эдуарда VII и Альфонсо XIII Испанского привели к тому, что Биарриц стали официально именовать "королевой курортов и курортом королей".

3

С. 442 ...дочкой сербского натуропата... — т. е. приверженца натуропатии — теории, согласно которой все болезни должны излечиваться лекарствами природного происхождения.

С. 444 ...пенковую ручку с микроскопическим оконцем... — "Как странно томил поэта образ этих старомодных кошмаров", — говорит по поводу несколько иного сувенира Кинбот в комм. к строке 93 поэмы Шейда. Вот два примера: "Круг разглядывал валявшиеся по полке скудные вещицы: старый ржавый велосипедный звонок, бурую теннисную ракету, вставочку из слоновой кости с крохотным хрусталиком на конце. Он заглянул в него, прикрыв один глаз, и увидал киноварный закат и черный мост" ("Под знаком незаконнорожденных", глава 15); "Миражи мотелей в глазке сувенирной ручки" ("Смотри на арлекинов!", глава 2 третьей части).

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

2

С. 449 ...Sigismond Lejoyeux занимался надуванием огромного горчичного шара. — Фамилия "воздухоплавателя" образована от *фр.* joyeux — "веселый, радостный". Вместе с тем "радость, веселье" по-немецки — Freude. Таким образом, Sigismond Lejoyeux это, в сущности, Зигмунд Фрейд (Freud), надувающий воздушные шары своих пустых идей.

С. 450 Макс Линдер — псевдоним Габриеля Ливьеля (1883–1925), французского комика эпохи немого кино.

С. 451 Лурд — город на юге Франции у подножия Пиренеев. С 11 по 16 июля 1858 г. местной 14-летней девочке Бернадетте Субиру являлась в одной из ближних к городу пещер Богородица, открывшая ей целительные свойства протекавших под полом пещеры вод. В 1862 г. Папа подтвердил истинность этих видений; и с тех пор Лурд стал местом паломничества католиков.

3

С. 457 Розов, Самуил Израилевич (1900–1976) — Добрые отношения между Набоковым и этим его однокашником продолжались до самой смерти писателя. Отец Розова был представителем британской компании "Шелл" в Петербурге. В 1917 г. Розов эмигрировал в Англию, учился на инженера в Лондонском университете. При поступлении Набокова в Кембридж Розов ссудил ему свой тенишевский аттестат — Набоков показал его в Кембридже и объяснил, что у него такой же; на самом деле небольшая разница имелась: у Набокова была четверка по физике, остальные пятерки, а у Розова отсутствовала отметка по Закону Божию. Этот аттестат позволил Набокову поступить в Кембридж без предварительных экзаменов (впрочем, у него осталось впечатление, что университетские чиновники его объяснений не поняли и приняли диплом Розова за его собственный). В 1924 г. Розов уехал в Палестину. Набоков и Розов изредка переписывались, но встретились лишь в 1962 г. в Швейцарии и мгновенно узнали друг друга. Возможно, отзвуком этой дружбы является следующий пассаж из "Пнина" (главка 8 главы 4): "Тимофей Палыч мог легко насчитать по малости шестьдесят близких ему людей, с которыми он был накоротке знаком года, скажем, с 1920-го и которых никогда не называл иначе, как Вадим Вадимыч, Иван Христофорович или *Самуил Израилевич*, — каждого по-своему, разумеется, — и они, столь же тепло к нему расположенные, называли его по имени-отчеству, крепко пожимая при встрече руку: "А-а, Тимофей Палыч! Ну как? А вы, батенька, здорово постарели!" Отметим, кстати, и Вадим Вадимыча, который гораздо позднее объявится в "Смотри на арлекинов!"

...Гайд моего Джекилла... — Подразумевается "Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда" (1886) Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894).

...темный Сен-Готардский туннель... — 14-километровый туннель под перевалом Сен-Готард в южной Швейцарии, построенный в 1872–1880 гг. По нему проходит железнодорожный путь, соединяющий Люцерн с Миланом.

О, как сквозили в вышине... — В поэме М. Ю. Лермонтова "Мцыри" эти строки отсутствуют.

4

С. 459 Charles Gide — Шарль Жид (1847–1932), французский экономист.

...читавший нам Ростанова "Cyrano de Bergerac"... — Речь идет о самой популярной из пьес Эдмона Ростана (1868—1918) "Сирано де Бержерак" (1897).

С. 460 ...начиная с благословенного 1958 года... — В этом году в США была опубликована "Лолита".

С. 461 "Колокололитейщики переколотили выкарабкавшихся выхухолей". — Возможно, отзвуком этих диктантов стала фигура мелкого чиновника Конкордия Филадельфовича Колокололитейщикова, которого "все зовут Кол" ("Под знаком незаконнорожденных", глава 17).

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

С. 465 ...совершал велосипедные прогулки по Черному лесу... — Название лесного массива Шварцвальд (Schwarzwald) в южной Германии переводится с немецкого как "Черный лес".

Гессен, Иосиф Владимирович (1865—1943), председатель берлинского русского Союза писателей и журналистов, друг В. Д. Набокова, издатель газеты "Руль", в которой печатались стихи и статьи В. В. Набокова, и глава издательства "Слово", выпустившего в свет романы "Машенька" и "Король, дама, валет", а также сборник стихов и рассказов "Возвращение Чорба". Набоков написал посвященный Гессену некролог, напечатанный 31 марта 1943 г. в "Новом русском слове" (Нью-Йорк).

Каминка, Август Исаакович (1865—1940) — публицист, один из основателей конституционно-демократической партии. В 1920 г. вместе с И. В. Гессеном и В. Д. Набоковым издавал в Берлине газету "Руль".

С. 466 "Речь" — ежедневная газета, центральный орган конституционно-демократической партии. Выходила в Петербурге с 1906 по 1917 г. Закрыта большевиками 8 октября 1917 г. (по новому стилю).

...удалились в Выборг на нелегальное совещание. — После разгона в 1906 г. I Государственной Думы группа ее депутатов (кадетов, трудовиков и социал-демократов) собралась в Выборге и приняла обращение "Народу от народных депутатов", в котором призывала "граждан всей России" впредь до созыва новой Думы "не давать ни копейки в казну, ни одного солдата в армию".

...Бейлис был признан невиновным... — Имеется в виду спровоцированное министерством внутренних дел и всколыхнувшее всю интеллигентную Россию дело Менделя Бейлиса (1911—1913), бухгалтера из Одессы, обвиненного в ритуальном убийстве христианских младенцев. В. Д. Набоков присутствовал на процессе Бейлиса в Киеве и писал отчеты для газеты "Речь", за что и был впоследствии оштрафован правительством.

С. 467 ...вплоть до покушения на него, совершенного в 1922 году темным негодяем, которого Гитлер... назначил заведовать делами русских эмигрантов. — 28 марта 1922 г. Милюков (см. комм. к с. 478) выступал перед русской аудиторией в зале Берлинской филармонии. Двое русских монархистов правого толка Петр Шабельский-Борк и Сергей Таборитский специально приехали из Мюнхена, чтобы убить Милюкова. Первым стрелял Шабельский, и В. Д. Набоков, бывший к тому времени политическим противником Милюкова, сбил террориста с ног и прижал к полу, и тогда Таборитский трижды выстрелил В. Д. в спину. Оба нападавших были приговорены немецким судом к тюремному заключению, но уже в мае 1936 г., когда Гитлер назначил русского эмигранта генерала Бискупского заведовать департаментом по делам эмигрантов, Таборитский стал его заместителем.

С. 469 Эндрю Фильд — первый "официальный биограф" Набокова, автор книг "Nabokov. His Life in Art" ("Набоков. Его жизнь в искусстве", 1967), одобрительно встреченной Набоковым, "Nabokov. His Life in Part" ("Набоков. Его жизнь в частностях", 1977), содержащей множество достойных мистера Гудмена нелепых домыслов (вроде того, что В. Д. Набоков был незаконным сыном Александра II) и, наконец, "The Life and Art of Vladimir Nabokov" ("Жизнь и искусство Владимира Набокова", 1986), соединившей в себе худшие качества двух предыдущих и украшенной такими перлами, как перенос Февральской революции на 1916 г. (с уверениями, будто "временное правительство Александра Керенского свергло царский режим"), а Октябрьской — на сентябрь или утверждение, что Владимир Набоков в письмах к матери называл ее Лолитой).

"Право" — леволиберальный журнал, основанный И. В. Гессеном в 1898 г. в Петербурге.

2

С. 470 Тенишевское Училище — одна из лучших в России того времени школ, основанная в 1900 г. на пожертвованный князем

Вячеславом Тенишевым капитал в миллион рублей. Несколько раньше Набокова в ней учился О. Э. Мандельштам. В зале Тенишевского училища происходили собрания конституционно-демократической партии и заседания Литературного фонда (о котором см. комм. к с. 520).

4

С. 475 Помню, в какое бешенство приходили добрейшие и благонамереннейшие из моих наставников оттого, что я решительно отказывался участвовать, в виде бесплатного добавления к школьному дню, в каких-то кружках, где избиралось "правление" и читались исторические рефераты... — "В том же, а может быть, в следующем году новый школьный директор "с идеями" решил развить у старшеклассников то, что он называл "общественно-политическим сознанием". У него имелась целая программа — собрания, дискуссии, создание партийных группировок, — ну, в общем, много чего. Ребят поздоровее от этих сборищ освобождали по той простой причине, что, будучи задержанными после уроков или во время перемены, они немедля принимались посягать на свободу сограждан. Круг свирепо высмеивал дураков и подлиз, клюнувших на этот гражданский вздор. Директор, при том, что он подчеркивал чисто добровольный статус участия, предупредил Круга (первого ученика класса), что его индивидуалистическая позиция создает опасный прецедент" ("Под знаком незаконнорожденных", глава 5).

С. 477 Дзержинский, Феликс Эдмундович (1877–1926) — первый глава Всероссийской чрезвычайной комиссии, или ВЧК, созданной 20 января 1917 г. и являвшейся тайной полицией большевиков.

Ягода, Генрих Григорьевич (1891–1938) — один из воспитанников и преемников Дзержинского на этом посту, ставший одним из организаторов ОГПУ и затем НКВД. Расстрелян как "враг народа".

5

С. 478 Милюков, Павел Николаевич (1859–1943) — политик, историк, публицист, лидер конституционно-демократической партии.

...самая влиятельная из правых газет наняла сомнительного журналиста... — Летом 1911 г. "Речь" напечатала статью, в которой некий Снессарев, сотрудник консервативной газеты "Новое время", обвинялся в получении крупных взяток от компании "Вестингауз", в то время прокладывавшей в Петербурге трамвайные пути и поставлявшей для них трамваи. Снессарев в ответной статье постарался облить грязью редакторов "Речи", написав, в частности, что В. Д. Набоков спасся от бедности лишь тем, что женился на богатой московской купчихе. В. Д. Набоков обратился к редактору "Нового времени" Михаилу Суворину с требованием напечатать опровержение, присовокупив, что в противном случае вынужден будет считать Суворина ответственным за писанину Снессарева и что это повлечет за собой дуэль. Суворин печатать опровержение отказался, сообщив, что за Снессарева не отвечает, но и от дуэли отказался тоже. Когда В. Д. Набоков изложил всю историю в "Речи", Суворин в "Новом времени" заявил, что не мог счесть вызов действительным, поскольку тот-де был произведен с нарушениями дуэльного кодекса. В ответ В. Д. Набоков напечатал записку Суворина с отказом ответить "на Ваш вызов", прибавив, что вызывать Суворина вторично, видимо, не имеет смысла, поскольку он и за себя не отвечает. Отметим, что отцу Веры Евсеевны Набоковой, Евсею Слониму, также случилось однажды вызвать Михаила Суворина на дуэль по схожему поводу и со схожими результатами.

С. 479 ...портрет моей матери работы Бакста... — Бакст (Розенберг) Лев Самуилович (1866–1924) — русский живописец, график, театральный художник, член "Мира искусства". В связи с этим портретом Набоков пишет: "...Александр Бенуа рассказал мне в Париже, что вскоре после Советской Революции он перевез все работы Бакста, а также несколько своих, например "Дождливый день в Бретани", из нашего дома в Музей Александра III (ныне государственный)".

С. 482 ...сердце мое поднялось... — Свои тогдашние переживания Набоков передал в написанном в 1932 г. рассказе "Лебеда".

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

С. 483 Рид, Томас Майн (1818–1883) — английский романист, ирландец по происхождению. В 1838 г. переселился в Северную Америку, участвовал в торговых и охотничьих экспедициях,

а также в войне с Мексикой (1846), во время которой был произведен в капитаны. Затем он вернулся в Лондон и занялся писательской деятельностью.

С. 485 Купер, Джеймс Фенимор (1789–1851) — первый из крупных романистов Америки.

2

С. 488 моногахила — сорт виски.

...астериски, произведенные "экспекторацией"... — т. е. звездочки плевков.

С. 490 Эллис, Генри Хавелок (1859–1939) — английский врач и литератор, изучавший сексуальное поведение человека и вызвавший громкий скандал, нарушив викторианское табу на открытое обсуждение связанных с ним вопросов в своих семитомных "Этюдах половой психологии" (1897–1928). Публикация первого тома привела к судебному процессу, остальные шесть пришлось издавать в США.

...Гвиневера, Изольда... — прекрасные дамы Артуровского цикла, жена короля Артура и жена короля Марка, возлюбленная Тристана.

belle dame — отсылка к балладе Джона Китса (1795–1821) "La belle Dame sans Merci" ("Прекрасная дама, не знающая жалости", 1819), не единственная в прозе Набокова (см., например, роман "Подлинная жизнь Себастьяна Найта", глава 3, и рассказ "Помощник режиссера").

4

С. 495 "Моисей безуспешно боролся с П." — Цитируется статься "Проституция" из Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

С. 500 ...от Авалона до явнобрачия. — В оргинале "from abduction to zoolatry" (т. е. "от похищения людей до культа животных"). В данном случае важно лишь, что это — начало и конец

алфавита (от альфы до омеги). Этот же прием использован Набоковым в "Бледном пламени": "Судя по книжкам из будуара миссис Гольдсворт, ее умственные запросы достигли полного, так сказать, созревания, проделав путь от Аборта до Ясперса" (комм. Кинбота к строкам 47—48).

Этимологически "pavilion" и "papilio" — близкие родственники. — Оксфордский словарь английского языка указывает среди прочих в этимологии слова pavilion (павильон, беседка) *лат.* papilion (бабочка, мотылек).

2

С. 502 "бейсик инглиш" — предложенный в 1932 г. лингвистом Ч. К. Огденом редуцированный английский язык, содержащий всего 860 слов.

воляпюк — Термин, образованный из двух немецких слов: vol (мир) и pük (язык). Им обозначается как "всемирный язык", изобретенный в 80-х гг. XIX в. немецким пастором Иоганном Мартином Шлейером, так и вообще всякая тарабарщина.

Вивиан Дабл-Морок, мой философический друг... — В оригинале Vivian Bloodmark, еще одна анаграмма английского Vladimir Nabokov. Вспомним также французского мыслителя Пьера Делаланда (1768—1849), из сочинения которого "Рассуждение о тенях" взят эпиграф к "Приглашению на казнь" и о котором в главе 5 "Дара" Федор рассказывает Зине (его же в этой главе вспоминает перед смертью Александр Яковлевич Чернышевский). Набоков признавался, что Делаланд оказал на него очень большое влияние, между тем как Набоков сам же его и выдумал.

С. 503 ...в Итаке, штат Нью-Йорк... — т. е. там, где писалась "Память, говори".

3

С. 506 Годы спустя, на убогой окраине... смуглый круп, голова зебры, слоновья нога. — "Они обычно встречались... на тихой улице поблизости Груневальда... где был, между прочим, замечательный забор, составленный, по-видимому, из когда-то разобранного в другом месте (может быть, в другом городе) , ограждавшего до того стоянку бродячего цирка, но доски были теперь распо-

ложены в бессмысленном порядке, точно их сколачивал слепой, так что некогда намалеванные на них цирковые звери, перетасовавшись во время перевозки, распались на свои составные части, — тут нога зебры, там спина тигра, а чей-то круп соседствует с чужой перевернутой лапой...” (“Дар”, глава 3).

4

С. 507 ...в парк Версаля или Тиргартена или в Национальный парк “Секвойя”... — Парки находятся соответственно в Париже, Берлине и Калифорнии.

5

С. 509 Фет (Шеншин), Афанасий Афанасиевич (1820–1892) — русский поэт.

Апухтин, Алексей Николаевич (1840–1893) — русский поэт.

великий князь Константин — Константин Константинович Романов (1858–1915), поэт и переводчик, президент императорской Академии наук. Опубликовал под псевдонимом “К.Р.” несколько поэтических сборников. Набоков считал его стихи посредственными (см. главу 38 первой части “Ады”).

Элла Уилер Уилкокс (1855–1919) — американская поэтесса.

...волшебное месиво созвездий... нагоняло на меня неописуемую дурноту, безоговорочный ужас... — “Через многие годы Себастьян напишет, что созерцание звезд вызывает у него тошноту и брезгливость, как бывает, когда видишь вспоротое брюхо животного. Но пока Себастьян еще этого не сказал” (“Подлинная жизнь Себастьяна Найта”, глава 14).

С. 510 Бенуа, Александр Николаевич (1870–1960) — русский художник, историк искусства, критик, один из создателей “Мира искусства”. В петербургском доме Набоковых было несколько его работ (см. комм. к с. 479).

Сомов, Константин Андреевич (1869–1939) — русский живописец и график, член “Мира искусства”. Его работы также висели на стенах петербургского дома Набоковых.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

С. 512 ...выбираю ей псевдоним, окрашенный в цветочные тона ее настоящего имени... — Настоящее имя — Валентина Евгениевна (Люся) Шульгина.

...жаркое дыхание невиданных мятежей отзывалось в... стихах Александра Блока. — Строки 72–76 первой главы поэмы А. Блока “Возмездие” (1916):

И черная, земная кровь,
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи.

С. 515 ...старика Приапостольского... — соединение фамилии Апостольский с именем античного бога садов и плодородия Приапа.

Темными дождливыми вечерами... — См. роман “Машенька”, глава 9.

2

С. 518 ...вроде полотен Шишкина (“Просека в сосновом бору”)... — Видимо, имеется в виду “Утро в сосновом лесу” (1889) Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898). Отметим, что в “Других берегах” Набоков ошибочно называет художника Шишковым.

...и Харламов (“Голова Цыганенка”)... — Алексей Алексеевич Харламов (1842–1922) — русский живописец. В 1874 г. получил звание академика за несколько работ, в том числе “Голова итальянки” и “Голова мордовки”, превратившиеся у Набокова в “Голову цыганенка”.

С. 519 Мозжухин, Иван Ильич (1888–1939) — русский киноактер, с 1920 г. жил за рубежом, продолжая с успехом сниматься в немых фильмах.

С. 520 ...весной 1916-го я напечатал сборник... — Этот сборник содержит шестьдесят восемь стихотворений и называется “Стихи”. И. В. Гессен в книге “Годы изгнания: Жизненный отчет” пишет: “...лет четырнадцати, Сирин, по завещанию внезапно

умершего крестного отца, получил и сам миллионное состояние. Приблизительно в это же время В. Д. стал рассказывать, что “Володя пишет стихи, и очень недурные”, но я не усмотрел в них признаков творческого дара... Когда В. Д. поделился со мной радостью, что в ближайшем будущем Володя выпустит в свет сборник стихов, я так решительно протестовал, что мой друг заколебался и только и мог ответить: “Ведь у него свое состояние. Как же мне помешать его намерению?” — и это заставило еще больше усомниться в будущности юноши. Как счастливо ошибся я”.

Гиппиус, Владимир Владимирович (1876–1941) — директор Тенишевского училища, преподаватель литературы, поэт-символист, печатавшийся под псевдонимами Вл. Бестужев и Вл. Нелединский. Учившийся у него Осип Мандельштам в повести “Египетская марка” назвал его “формовщиком душ и учителем для замечательных людей”. Ему же посвящена глава “В не по чину барственной шубе...” в “Шуме времени” О. Мандельштама.

Гиппиус, Зинаида Николаевна (1869–1945) — русская поэтесса, писательница, литературный критик.

Литературный Фонд — Другое название — Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Основано в Петербурге в 1859 г. Деятельностью общества, занимавшегося устройством быта литераторов и ученых, руководил работавший безвозмездно комитет.

С. 521 ...на вербной неделе... картезианских чертиков, называемых “американскими жителями”... — “Он начал с изготовления “демонов Декарта” — бесенят из бутылочного стекла, пляшущих в трубочках с метилатом, которыми на Вредной неделе так бойко торгуют по бульварам” (“Бледное пламя”, комм. Кинбота к строке 171).

С. 523 ...в дачном поезде, я опять увидел Тамару. — См. “Машенька”, глава 9.

4

С. 530 ...письмо от моей Синары. — Отсылка к часто цитируемой строке английского поэта Эрнеста Доусона (1867–1900): “Я верен тебе, Синара, — по-своему”.

5

С. 531 et la montagne et le grand chêne — строка из “Романса к Елене” Рене Шатобриана, ставшая одним из лейтмотивов “Ады”.

...вот, съезжу туда с подложным паспортом под вымышленной фамильей. — Тайное (и никогда не осуществившееся) посещение Набоковым Ленинграда описано им в стихотворении “К князю С. М. Качурину”. Видимо, оно и породило бытовавшие одно время легенды о его приезде в Россию.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

С. 533 кьюнардовский лайнер — лайнер судовой компании, первоначально основанной в 1839 г. Сэмюелем Кьюнардом (1787–1865) для регулярной доставки пароходами почты из Англии в Америку.

С. 534 Толстой, Алексей Николаевич (1883–1945) — русский писатель, в 1919–1923 гг. жил в эмиграции, затем вернулся в Россию. В интервью 1966 г., данном Альфреду Аппелю-младшему, Набоков, знавший Толстого по Берлину, говорит: ”Однажды, году в 21-м или 22-м, обедая с двумя девушками в берлинском ресторане, я оказался сидящим спиной к спине с Андреем Белым, который обедал за соседним столиком с еще одним писателем, Алексеем Толстым. Оба они питали в то время откровенно просоветские настроения (и должны были вот-вот возвратиться в Россию), и разумеется, “белый русский”, каковым я, в этом узком смысле, остаюсь и по сей день, не стал бы разговаривать с “большевизаном”. С Алексеем Толстым я был знаком, но, естественно, делал вид, что не замечаю его.” И чуть дальше: “Он был небесталанным писателем, написавшим два-три запоминающихся научно-фантастических рассказа или романа”.

Чуковский, Корней Иванович (1882–1969) — писатель, переводчик, критик, литературовед. Чуковский хорошо знал В. Д. Набокова по Литературному фонду. В 1916 г., после выхода сборника стихов юного Владимира Набокова, В. Д. Набоков преподнес экземпляр Чуковскому, и тот написал юному поэту сдержанно-хвалебное письмо, в которое, впрочем, был вложен, как бы по ошибке, черновик разносной рецензии.

Грей, сэр Эдвард (1862–1933) — британский государственный деятель, который с 1905 по 1916 г., дольше, чем кто бы то ни было за всю историю Англии, занимал пост министра иностранных дел.

...забавный разговор с Георгом Пятым, у которого Чуковский... стал добиваться, нравятся ли ему произведения Оскара Уайльда. — Георг V (1865–1930) стал английским королем в 1910 г. Английский писатель, поэт, драматург и художественный критик Оскар Уайльд (1854–1900), приговоренный к двум годам каторжных работ (1895–1897) по обвинению в содомии и умерший во Франции, был, безусловно, не лучшей темой для разговора с английским королем. Впрочем, сам Чуковский этой истории не подтверждает — 13 января 1961 г. он записывает в дневнике (этой записи предшествует восторженный отзыв о романе "Пнин"): "Со слов своего отца Влад. Дмитриевича Набокова романист рассказывает в своих мемуарах, будто в то время, когда я предстал в Букингемском дворце пред очами Георга V, я будто бы обратился к нему с вопросом об Оскаре Уайльде. Вздор! Король прочитал нам по бумажке свой текст, и Вл. Д. Набоков — свой. Разговаривать с королем не полагалось. Все это анекдот. Он клевещет на отца..."

С. 535 ...с Г. Дж. Уэльсом... — Герберт Джордж Уэллс (1866–1946) — английский писатель, высоко ценившийся отцом и сыном Набоковыми. В 1914 г. Уэллс приезжал в Россию и был приглашен в дом Набоковых на обед. В интервью 1966 г., данном Герберту Голду, Набоков говорит: "Г. Дж. Уэльс, великий художник, был в детстве моим любимым писателем. Его "Страстные друзья", "Энн Вероника", "Машина времени", "Страна слепых" намного превосходят все, что смогли создать Беннет или Конрад, да, собственно, и любой из его современников. Социологические его размышления, разумеется, можно спокойно проигнорировать, но его романтичность и фантазия великолепны. Помню ужасную минуту во время обеда в нашем петербургском доме, когда Зинаида Венгерова, его переводчица, встряхнув головой, сообщила Уэльсу: "You know, my favorite work of yours is *The Lost World*". "She means the war the Martians lost"[1], — поспешил сказать мой отец". Уэллс упоминается также в "Аде": "Они пересекали лужайки и путешествовали вдоль изгородей примерно так же, как предметы, уносимые человеком-невидимкой в очаровательной

---

[1] "Знаете, из ваших книг я больше всего люблю "Затерянный мир" — "Она имеет в виду войну, проигранную марсианами" *(англ.)*.

сказке Уэльса" (глава 21 первой части); "Ван свернул с гравистой тропы на бархат лужайки (повторяя в обратном порядке действия "доктора *Его*", убегающего в одном из величайших романов английской литературы от невидимки-альбиноса)" (глава 32 первой части); и в "Смотри на арлекинов!" (глава 5 первой части). Возможно также, именно в Уэллса, социалиста по убеждениям, приезжавшего в СССР в 1920 и 1934 гг., беседовавшего при первом приезде с Лениным и написавшего книгу "Россия во мгле" (1920), метит сделанный несколько ниже выпад Набокова: "...утверждение, вычитанное им, полагаю, в какой-нибудь слабоумной "Заре над Россией" из тех, что писали в то время красноречивые английские и американские ленинисты".

...подарил свое вечное перо Swan адмиралу Джеллико... — Джон Джеллико (1859–1935) — адмирал, командовавший британским флотом в Ютландском сражении (31 мая — 1 июня 1916 г.). В книге "Из воюющей Англии" В. Д. Набоков писал: "Когда мне придется читать о подвигах английского Grand Fleet (большого флота), я буду представлять себе, что приказы и отчеты адмирала Джеллико подписаны моей ручкой".

2

С. 536 Гумилев, Николай Степанович (1886–1921) — русский поэт, расстрелянный в 1921 г. по сфабрикованному обвинению в участии в контрреволюционном заговоре и затем реабилитированный советской властью — к столетию со дня рождения. Свое отношение к Гумилеву Набоков выразил в двух стихотворениях, одно из которых написано в 1923 г.:

ПАМЯТИ ГУМИЛЕВА

Гордо и ясно ты умер, как Муза учила.
Ныне в тиши Елисейской, с тобой говорит о летящем
медном Петре и о диких ветрах африканских — Пушкин,

а другое в 1970 г.:

Как любил я стихи Гумилева!
Перечитывать их не могу,
но следы, например, вот такого
перебора остались в мозгу:

"...И умру я не в летней беседке
от обжорства и от жары,

а с небесной бабочкой в сетке
на вершине дикой горы".

Ходасевич, Владислав Фелицианович (1886–1939) — русский поэт. В 1922 г. эмигрировал в Берлин, откуда затем перебрался в Париж. Набоков был дружен с Ходасевичем, высоко отзывавшемся о его творчестве. В уже упоминавшемся неоднократно интервью, данном Аппелю, Набоков говорит: "Я помню Владислава Ходасевича, величайшего поэта своего времени, извлекающего, чтобы поесть с удобством, вставные челюсти изо рта, — совсем как вельможа прошлого". См. статьи: *В. Ходасевич.* "О Сирине" и *В. Набоков.* "Владислав Ходасевич. Собрание стихов" в антологии: Владимир Набоков. Pro et contra. СПб.: изд. Русского Христианского гуманитарного института, 1997; *В. Набоков* "О Ходасевиче" в книге *В. Набоков.* Рассказы. Приглашение на казнь. Эссе, интервью, рецензии. М.: "Книга", 1989.

3

С. 538 Начало моего первого терма в Кембридже... — Кембриджские впечатления Набокова отражены в романах "Подвиг" и "Подлинная жизнь Себастьяна Найта".

С. 540 Облачение рядового кембриджского студента... к модникам... яркожелтый "джемпер"... — "Когда Себастьян, по завершении первого своего университетского года, посетил нас в Париже, меня поразил его иностранный вид. На нем был канареечножелтый джемпер под твидовым пиджаком. Фланелевые брюки обвисали, сползали, не ведая о подвязках, носки. Галстук был в крикливых полосках, и по какой-то чудной причине носовой платок он носил в рукаве" ("Подлинная жизнь Себастьяна Найта", глава 3).

С. 541 ...я дам ему имя "Несбит"... — В "Других берегах" он назван Бомстоном, при этом Набоков ссылается на героя новеллы Ж.-Ж. Руссо "Любовные приключения Эдуарда Бомстона", который отрекается от любви, чтобы предаться политической деятельности. Здесь ссылка на политическую деятельность снята, но речь тем не менее идет о Ричарде Остине Батлере (1902–1982), который, закончив в 1925 г. учебу в Кембридже, до 1929 г. читал в нем французскую историю, а затем, будучи избранным от консервативной партии в парламент, занимал видные посты во многих министерствах, закончив свою политическую деятельность на посту министра иностранных дел (1963–1964).

Ибсен, Генрик (1828–1906) — норвежский драматург.

С. 542 ...связь между передовым в политике и передовым в поэтике — связь чисто словесная... — "Несколькими годами позже Пан вкусил в большевистской среде недолгой искусственной славы, вызванной, я думаю, дурацким представлением (основанным по преимуществу на смешении понятий) о существовании естественной связи между крайней политикой и крайним искусством" ("Подлинная жизнь Себастьяна Найта", глава 3).

С. 543 ...знаменитый побег Троцкого... — Лев Давыдович Троцкий (наст. фамилия Бронштейн, 1879–1940) — русский революционер. Сосланный в 1898 г. в Сибирь, он в 1902 г. бежал оттуда в Лондон с поддельным паспортом на имя Троцкого, оставив в ссылке жену и двух дочерей. В 1905 г. он вернулся в Россию, возглавил Петербургский совет рабочих депутатов, в 1906 г. снова был арестован и сослан в Сибирь, откуда вновь бежал в 1907 г., на этот раз в Вену.

С. 544 ...в богатых брюках Джона Хелда... — Джон Хелд (1889–1958) — американский карикатурист, скульптор и писатель.

4

С. 547 ..."St. John", или "Christ"... — Имеются в виду колледжи Кембриджского университета — колледж Св. Иоанна, основанный в 1511 г., и колледж Христа, основанный в 1505 г. Набоков учился в колледже Св. Троицы (1546).

Брук, Руперт (1887–1915) — английский поэт. Увлекавшийся в молодости Бруком Набоков опубликовал в 1922 г. эссе о его творчестве с большим количеством цитат в собственном переводе.

С. 548 ...Инст. М. М. в Тиране. — "...куда посылали учиться своих дочерей многие офицеры Белой Армии" — пишет Б. Бойд.

...о Мильтоне, Марвелле и Марло... — выпускники Кембриджа: поэт Джон Мильтон (1608–1674), учившийся в колледже Христа с 1625 по 1632 г.; поэт Эндрю Марвелл (1621–1678), окончивший Кембридж в 1639 г.; поэт и драматург Кристофер Марло (1564–1593).

5

С. 549 Белые и розовые каштаны были в полном цвету... — "Разве сам Себастьян не упоминает где-то о "розовых свечках огром-

ных каштанов" вдоль берега какой-то чудесной реки?" ("Подлинная жизнь Себастьяна Найта", глава 5.)

С. 551 Ежов, Николай Иванович по прозвищу "Карлик" (1895—1939) — преемник Ягоды (см. комм. к с. 477) на посту начальника НКВД (1936).

quinquennium Neronis — Первые пять лет правления императора Нерона (54—59) отличались невиданными по тем временам мягкостью и либерализмом.

...супом профессора А. Э. Хаусмана... — Английский поэт Альфред Эдвард Хаусман (1859—1936) упоминается или цитируется в нескольких произведениях Набокова — в главах 3 и 7 "Подлинной жизни Себастьяна Найта", в главе 5 первой части "Смотри на арлекинов!", в "Бледном пламени", герой которого, Чарльз Кинбот, славится тем, что "постоянно цитирует Хаусмана" с немецким акцентом.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

С. 555 ...а не о более броской разновидности русского человека — из тех, кто "был, знаете ли, советником царя или еще там кого", которая первой приходит на ум американской клубной даме... — "Мы выслушали рассказ Пнина... о его действиях при первом проколе шины — на пути с "птицефермы какого-то тайного советника царя", где, как полагал Кокерелл, Пнин проводил летние отпуска" ("Пнин", главка 6 главы 7).

Век Рационализма — Так принято называть период истории Западной Европы, охватывающий последние годы XVII в. и весь XVIII в.

Лабрюйер, Жан де (1645—1696) — французский писатель.

С. 556 Гей, Джон (1685—1732) — английский поэт и драматург.

Поп, Александр (1688—1744) — английский поэт. Некоторые его произведения играют важную роль в "Бледном пламени".

...бойкой Маделон Второй. — "Маделон" называлась песня, написанная в 1914 г. и очень популярная у французских солдат во время Первой мировой войны.

2

С. 561 Самый значительный из этих жрецов сочетал интеллектуальную талантливость с нравственной посредственностью... — Подразумевается Георгий Викторович Адамович (1894—1972) — глава "парижской школы" русской литературной эмиграции, критик и поэт. По словам Набокова, Адамович "автоматически выражал недовольство по поводу всего, что я писал".

С. 562 неотомистское мышление — философская школа католицизма, основанная на учении философа и теолога Фомы Аквинского (ок.1225—1274), которое Папа Лев XIII объявил в 1879 г. единственной истинной философией.

С. 563 Гарди, Томас (1840—1928) — английский поэт и прозаик.

С. 564 Поплавский, Борис Юлианович (1903—1935) — поэт и прозаик, которого в эмиграции называли "вторым Блоком" и "русским Рембо". Ходасевич назвал его "самым талантливым" поэтом эмиграции. "Раздраженная рецензия", о которой чуть ниже говорит Набоков, была напечатана в газете "Руль" 11 марта 1931 г. и содержала, в частности, следующее: "Оговорюсь (как, кстати, любит выражаться критик Адамович): то хорошее, подлинное, что так редко попадается у Поплавского, — дело счастливой случайности. Что тут скрывать — Поплавский дурной поэт, его стихи — нестерпимая смесь Северянина, Вертинского и Пастернака (худшего Пастернака), и все это еще приправлено каким-то ужасным провинциализмом, словно человек живет безвыездно в том эстонском городке, где отпечатана — и прескверно отпечатана — его книга". Впрочем, Набоков был в такой оценке не одинок. Марина Цветаева говорила о Поплавском: "Никакой поэт. Все взято у Блока или Проклятых французов".

О, Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни... — Переиначенная строка из стихотворения Б. Поплавского "Морелла I". У Поплавского: "О, Морелла, усни, как ужасны огромные жизни". "Орел" оказался здесь не случайно — вот строфы третья, четвертая и пятая:

Ты орлиною лапой разорванный жемчуг катала,
Ты как будто считала мои краткосрочные годы.
Почему я Тебя потерял? Ты как ночь мирозданьем играла,
Почему я упал и орла отпустил на свободу?

Ты, как черный орел, развевалась на желтых закатах,
Ты, как гордый, немой ореол, осеняла судьбу.

Ты вошла не спросясь и отдернула с зеркала скатерть
И увидела нежную девочку-вечность в гробу.

Ты, как нежная вечность, расправила черные перья,
Ты на желтых закатах влюбилась в сиянье отчизны.
О, Морелла, усни, как ужасны огромные жизни,
Будь как черные дети, забудь свою родину — Пэри! —

и последняя:

О, Морелла, вернись, все когда-нибудь будет иначе,
Свет смеется над нами, закрой снеговые глаза.
Твой орленок страдает, Морелла, он плачет, он плачет,
И как краска ресниц, мироздание тает в слезах.

Алданов — псевдоним писателя Марка Александровича Ландау (1886—1957), близкого друга В. Набокова.

Айхенвальд, Юлий Исаевич (1872—1928) — русский критик, литературовед, переводчик. В 1922 г. был выслан из Советской России за статью о гибели Гумилева, в которой он проводил параллели с гибелью Андре Шенье на эшафоте. Ему принадлежит один из первых хвалебных отзывов на прозу Набокова. Погиб в Берлине под колесами трамвая. У Набокова есть стихотворение, написанное на его смерть.

Патер, Уолтер Горацио (1839—1894) — английский критик и эссеист, заложивший основы движения, известного под названием “эстетизм”.

С. 565 ...порицать его за отсутствие интереса к экономическому устройству... — “Я предвкушал освежительное соседство враждебных, но вежливых критиков, что станут корить меня в петербургских литературных журналах за болезненное безразличие к политике, к великим идеям невеликих умов и к таким насущным проблемам, как перенаселенность больших городов” (“Смотри на арлекинов!”, глава 5 первой части).

3

С. 569 Staunton'ские шахматы — названы по имени Говарда Стаунтона (1810—1874), английского шахматиста, считавшегося в 40-е гг. XIX в. первым шахматистом мира. В 1835 г. он разработал шахматные фигуры, которые и поныне используются на больших турнирах и матчах.

Глядя на мою шахматную задачу... — Эта задача вместе с содержащим купюры "идеологического характера" отрывком из "Других берегов", озаглавленным "Ночь труда и отрады", и предисловием Фазиля Искандера была напечатана в августе 1986 г. в советском журнале "64. Шахматное обозрение". То была первая официальная публикация Владимира Набокова в Советском Союзе.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

С. 571 "О, как гаснут — по-степи, по-степи, удаляясь, годы!" — Квинт Гораций Флакк, "Оды", книга 2, ода 14 "К Постуму".

...что знаем ты да я. — "Я лишь исковеркал бы реальность, возьмись я рассказывать здесь, что знаешь ты, что знаю я, чего никто больше не знает, о чем никогда, никогда не пронюхает фактолюбивый, грязнопытливый, грязнопотливый биографоман" ("Смотри на арлекинов!", глава 1 шестой части).

Пестум — город Посидония, основанный в 600 г. до Р.Х. на юге Италии греческими колонистами. Переименованный в середине V в. до Р.Х. в Пестум, он был в 274 г. до Р.Х. колонизирован Римом и с течением времени пришел в упадок. Единственное, чем Пестум оставался известен в его последние годы, это розами, в обилии росшими в его окрестностях.

Гинденбург, Пауль фон (1847–1934) — генерал-фельдмаршал, президент Германии с 1925 г. В начале 1933 г. практически отдал власть в руки фашистов, поручив Гитлеру формирование правительства.

С. 573 кувада — существующий у многих народов обряд, имитация отцом родового акта во время рождения ребенка.

2

С. 574 Мажино, Андре (1877–1932) — военный министр Франции в 20–30 гг. Инициатор создания "линии Мажино" — военных укреплений вдоль границы с Германией.

С. 576 Мы все знаем, конечно, как объяснял ее венский шарлатан. — "Тому, что происходит на железной дороге они [дети] уделяют загадочно большой интерес, и все происходящее стано-

вится у них... ядром чисто сексуальной символики..." *З. Фрейд.* Инфантильная сексуальность, 1905 г.

Ламарк, Жан-Батист (1744—1829) — французский естествоиспытатель, создатель учения об эволюции живой природы, согласно которой все биологические виды (слово "биология" тоже ввел в оборот Ламарк) постоянно меняются под воздействием внешних условий и внутреннего стремления всех органов к усовершенствованию.

3

С. 577 Кэмпбелл, сэр Малкольм (1885—1948) — британский автомобильный гонщик, установивший множество мировых рекордов скорости на суше и на воде. Каждому своему гоночному автомобилю и гидроплану он давал имя "Синяя птица" в честь известной пьесы Мориса Метерлинка.

С. 578 Пресловутый сосновый лес вдоль Груневальдского озера в Берлине... — Этот лес подробно описан в главе 5 "Дара".

сир Калиостро — шарлатан, маг и авантюрист граф Алессандро ди Калиостро (1743—1795), настоящее имя — Джузеппе Бальзамо. Пользовался необычайным успехом в парижском высшем свете в годы перед Великой французской революцией.

С. 579 Арнольд-арборетум — принадлежащий Гарвардскому университету парк и лесопитомник в Бостоне.

С. 580 Титания — королева фей в комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь".

С. 581 Ленотр, Андре (1613—1700) — французский парковый архитектор, создавший среди прочего сад в Версале.

С. Ильин, А. Люксембург

ИНТЕРВЬЮ, 1972 г.*

Сведений о публикации этого интервью в периодике и о личности интервьюера не имеется. Настоящий текст включен В. Набоковым в сборник своих интервью и статей "Strong Opinions" (1973).

---

* Комментарии к интервью подготовлены редактором.

С. 599 ...два томика рассказов... — Имеются в виду сборники "A Russian Beauty and Other Stories" ("Красавица и другие рассказы") и "Tyrants Destroyed and Other Stories" ("Истребление тиранов и другие рассказы"), вышедшие в свет в 1973 и 1975 гг. соответственно. Оба томика состоят из переведенных на английский язык русских рассказов В. Набокова, в последний сборник включен также написанный по-английски рассказ "Сестры Вэйн" (см. третий том).

...сборник статей... — сборник интервью, статей и заметок В. Набокова "Strong Opinions" ("Основательные суждения"), составленный автором и вышедший в свет в 1973 г.

...новый восхитительный роман — вероятно, речь идет о романе "Смотри на арлекинов!".

ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ "ВОГ", апрель 1972 г.

Интервью взято репортером Симоной Морини в Монтре (Швейцария) 3 февраля 1972 г. Опубликовано в нью-йоркском журнале "Vogue" 15 апреля 1972 г. Впоследствии включено в сборник "Strong Opinions".

С. 601 ...трагической судьбы мужественного писателя. — Возможно, имеется в виду А. И. Солженицын.

Бедекер — путеводитель; назван по ставшему нарицательным имени знаменитого немецкого издателя путеводителей Карла Бедекера (1801–1859).

С. 604 диптеролог — специалист по двукрылым насекомым.

ИНТЕРВЬЮ НЕМЕЦКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ, 1971 г.

Интервью для немецкой телекомпании "Bayerischer Rundfunk" снималось К. Хоффманом в Монтре в октябре 1971 г. Некоторые пассажи из этого интервью В. Набоков включил в сборник "Strong Opinions".

С. 611 река Набокова — см. комм. к с. 354.

Nova Zembla — старое европейское название Новой Земли.

С. 612 Скала — итальянский гибеллинский род, господствовавший в Вероне с 1260 по 1387 г. (*ит.* della Scala, *лат.* Scaligeri). Кангранде I делла Скала (1291—1329), о котором говорит Набоков, был наиболее выдающимся представителем этого рода, возглавившим Верону в 1312 г. При его дворе состояли многие ученые и поэты того времени.

С. 616 ...Фильд, Аппель, Проффер... — Эндрю Филд — первый биограф В. Набокова, Альфред Аппель — ученик Набокова и исследователь его творчества, Карл Проффер — глава издательства "Ардис", автор книги "Ключи к 'Лолите'".

...Циммер в Германии... — Имеется в виду проф. Дитер Циммер — немецкий набоковед, подготовивший немецкое собрание сочинений В. Набокова.

СОДЕРЖАНИЕ

Набоков В. В.

Н14 Американский период. Собрание сочинений в 5 томах: Пер. с англ./Сост. С. Ильина, А. Кононова. Комментарии С. Ильина, А. Люксембурга. — СПб.: «Симпозиум», 2004. — 700 стр. (Т. 5).

ISBN 5-89091-014-0
ISBN 5-89091-048-5 (т.5)

Собрание англоязычной художественной прозы Владимира Набокова (1899—1977) предпринимается в России впервые.

В настоящем томе представлены последние крупные произведения писателя: романы «Прозрачные вещи» (1972) и «Смотри на арлекинов!» (1974), а также роман-автобиография «Память, говори» (1967) — заключительная, переработанная и дополненная версия русскоязычных «Других берегов» (1954).

В книгу также включены набоковские интервью, тематически и хронологически связанные с публикуемыми произведениями, и подробные комментарии.

Владимир Набоков
Американский период
Собрание сочинений в 5 томах
Том V

Составление
С. Б. Ильина и А. К. Кононова

Ответственные редакторы *А. В. Глебовская, М. В. Горшков*
Художественный редактор *М. Г. Занько*
Технический редактор *Е. И. Каплунова*
Верстка *И. В. Петровой*
Корректоры *Е. Д. Светозарова, Е. Э. Байер*

Издательство «СИМПОЗИУМ».
190000, Санкт-Петербург, ул. М. Морская, 18.
Тел./факс +7 (812) 314-46-13; 595-44-22.
E-mail: symposium@online.ru

Подписано в печать 05.10.04. Формат 84×108/32.
Гарнитура Ньютон. Печать высокая. Усл. печ. л. 36,96.
Доп. тираж 3000 экз. Заказ № 673.

Отпечатано с фотоформ в ФГУП «Печатный двор»
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИМПОЗИУМ»



Сказать по правде, я верю, что в один прекрасный день явится новый оценщик и объявит, что я был вовсе не фривольной птичкой в ярких перьях, а строгим моралистом, гонителем греха, отпускавшим затрещины тупости, осмеивавшим жестокость и пошлость — и считавшим, что только нежности, таланту и гордости принадлежит верховная власть.

Следующий миг стал началом моего первого стихотворения. Что подтолкнуло его? Кажется, знаю. Без единого дуновения ветерка, один только вес дождевой капли, сияющей в паразитической роскоши на душистом сердцевидном листке, заставляет его кончик кануть вниз, и подобие ртутной капли внезапно соскальзывает по его срединной прожилке, и лист, обронив яркий груз, взлетает вверх. Лист душист, благоухает, роняет — мгновение, за которое все это случилось, кажется мне не столько отрезком, сколько разрывом времени, недостающим ударом сердца, сразу вернувшимся в перестуке ритма: говорю "в перестуке", потому что когда и впрямь налетел ветер, деревья принялись все разом бодро стряхивать капли, настолько же приблизительно подражая недавнему ливню, насколько строфа, которую я уже проборматывал, походила на потрясенье от чуда, испытанное мною в миг, когда сердце и лист были одно.

ISBN 5-89091-048-5

